МОРИС СИМАШКО

Избранное

1

МОРИС СИМАШКО

Избранное
в трех томах

МОРИС СИМАШКО

Избранное

Том первый

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1991

ББК 84Р7-44
С37

Симашко М.
С 37 Избранное в трех томах.— Алма-Ата: Жазушы.Т.1.— 496 с., ил.

ISBN 5-605-00981-8 (Т.1)
ISBN 5-605-00984-2

Первый том избранных произведений известного советского писателя составили романы «Маздак», «Искупление Дабира» и «Повести Черных и Красных песков».

С $\frac{4702010201-069}{402(05)-91}$ 73—91 ББК84Р7-44

ISBN 5-605-00981-8(Т 1)
ISBN 5-605-00984-2

© М. Симашко. «Маздак», «Искупление Дабира» «Повести Черных и Красных песков» М., «Советский писатель», 1984
© Издательство «Жазушы», 1991

МАЗДАК

UNIVERSITY OF WASHINGTON
LIBRARIES

ПРОЛОГ

1

Рык, низкий и страшный, наполняет землю. Тысяча солнц сразу вспыхивает, как от удара кованой персидской палицы. Сенатор Агафий Кратисфен прищуривает глаза, медленно поворачивает голову. Едущие с ним патриции сбиваются в кучу. Тяжеловесные византийские кони с мохнатыми ногами, оседая на зады, пятятся обратно в полутьму заборов. Так было задумано два века назад, когда строили этот дворец: длинный крытый проезд к нему, трубное содрогание и вполнеба отраженное солнце...

Они слезают с коней, отдают поводья в протянутые сзади руки и долго стоят в сухой тишине. Площадь выложена квадратами черного таврского камня...

Сияние, исходящее от парадной стены дворца, нестерпимо и мешает сосредоточиться. Сенатор по давней привычке закрывает глаза...

Зачем он здесь, в великом городе царя персов Ктесифоне, в год четыреста девяносто первый от рождения Спасителя?.. Радужные круги блекнут, из тьмы возникает типично исаврийское лицо с жесткими, неряшливо подкрашенными усами. Нагловатые, навыкате глаза — как мокрые каштаны в луже, большой исаврийский нос разбух и оттягивает веки. Лицо императора Зенона, пославшего его сюда...

Специально носит усы исавриец, чтобы досадить сенату. Когда семнадцать лет назад он волею судьбы сделался императором, то в тот же день оголил лицо, стремясь походить на всех мраморных римских августов сразу. Но варвар на престоле не лучше свиньи за обеденным столом. Прошло немного времени, и он снова отпустил волосы под носом на манер своих диких сородичей. Всех исаврийцев, кто умеет считать до трех, перетащил в Константинополь. Они болтают с ним по-своему и называют императора старым языческим именем, которое не выговорить в один присест...

Нечего удивляться, что поганому исаврийцу зеленый цвет ближе голубого[1]. Вот и сейчас из «голубых» в его посольстве лишь два патриция, да и то потому, что еще не до конца опаскудились персы и ценят голубую кровь. Разве не потому послали к ним его, Агафия Кратисфена, чья фамилия уходит корнями к Ромулу и Рему, а по эллинской линии — к одному из тридцати, в чреве коня проникших в Трою.

Нет, не для Зенона-исаврийца или его предшественника императора Льва вот уже двадцать пять лет ездит сенатор по миру. Где не побывал он за это время! В обезлюдевшем Карфагене склонял приплывших из Европы рыжих вандалов к Новому Риму, уговаривал и ссорил друг с другом на Дунае туполобых готских конунгов, вел посольские диспуты с персами по всей восточной границе — в Нисибине, Эдессе, Армении Лазике; трижды был у гуннов...

В старом Риме здоровый белобрысый германец снял штаны и испражнялся прямо посреди форума, валялись на улицах расшибленные статуи без рук и голов, одичавшие собаки раз гребали мраморную крошку и пожирали трупы. Поразила его вода в Тибре: из желтой она стала черной и пахла волчьим пометом.

И до конца дней своих не забыть ему Иллирии. На горном перевале варвар припряг в повозку к быкам двух матрон — мать и дочь, которых угонял в свои леса на Север. «Если ты римлянин — убей меня!» — быстро проговорила молодая женщина. Сквозь изодранную тунику светилось благородное тело, и злобный, отроду не мывшийся скот хлестал ее бичом именно по обнаженным местам. Сенатор отвернулся к видневшемуся в стороне морю. Он знал их — патрицианок из самых родовитых семейств побережья. Но чем он мог помочь, если сам накануне убеждал конунга Теодориха повернуть свои орды от Константинополя на Запад империи, к старому Риму.

Вечный Рим!.. Им и пришлось сейчас расплатиться за спокойствие Нового Рима — Константинополя. Где будет третий Рим?..

Трудное время для империи, и поэтому он здесь, Агафий Кратисфен, новоримский сенатор. У персов дела еще хуже, и вот уже тридцать лет не угрожают они Константинополю. Белые гунны теснят их из Турана, желтые гунны — савиры что ни год прорываются через кавказские перевалы, в Иберии и Армении до сих пор неспокойно. А самое непонятное делается у них внутри. По рассказам перебежчиков и донесениям из погранич-

---

[1] «Голубые» — потомственная аристократия. «Зеленые» представители торгово-ростовщической знати. Две наиболее влиятельные цирковые партии Рима, а затем Византии.

ных провинций, персы громят имения знатных родов, распределяют между собой их имущество. Такого не было у них от сотворения мира...

В горячей пустоте площади сенатору послышался вдруг тонкий спокойный голос. Пропали исаврийские усы. Умное розовое лицо с мягким подбородком приплыло и стало на расстоянии вытянутой руки. Подлинный управитель империи — Урвикий!..

Как-то уж так получается в Новом Риме, что евнухи из домашних императорских покоев неслышно переходят в Государственный совет и берут в руки кормило. Может быть, в этом и заключается мудрость. Лишенные ослепляющей человека плотской страсти, они смотрят на мир с холодной рассудительностью и безошибочно различают реальности бытия и политики. Не свидетельствует ли это о зрелости империи?..

— Ты, сенатор Агафий, должен ощущать равновесие войны и мира.— Стальные глаза евнуха не были замутнены каким-либо желанием.— Как привязанные друг к другу вот уже тысячу лет Рим и Персия. Враг для нас полезен не менее, чем друг. Если один из нас рухнет, не удержится и другой. Пропадет смысл существования империи...

То, что говорил от имени императора Урвикий в напутствие посольству, было известно сенатору. Когда отец нынешнего царя персов — дьяволом одержимый Пероз попал со всей своей армией в плен к туранским гуннам, этот самый евнух Урвикий пошел на все. Даже выплаты исаврийской гвардии урезал, чтобы собрать золото для персов на выкуп царя Пероза...

Только не в прорву ли сыплется византийское золото? По договору с персами империя должна платить им ежегодно за охрану кавказских перевалов. Прорвавшись через хребет, гунны всегда могут повернуть вдоль Понта в империю. Случалось, чуть ли не до Константинополя докатывались они, оставляя после себя жесткий навоз и головешки. А персы ослаблены безмерно. Тот же Пероз семь лет назад снова предпринял войну в Туране, и до сих пор никто не знает, где упокоились его кости. Четыре года потом правил персами Валарш — слабовольный брат Пероза. Он принялся заигрывать с голодной чернью, и знать ослепила его, лишив тем самым права престола. Теперь на персидском троне совсем юный царь — сын буйного Пероза. Известно, что он был заложником за отца у белых гуннов, в Туране...

Главная задача посольства — выяснить, насколько слабы персы. Способен ли новый царь царей выделить сейчас армию по цене? Кому придется меньше платить: персам — за охрану перевалов, или гуннам — за то, чтобы не сворачивали в империю

и грабили только персидскую Армению? И потом: не рухнет ли от всего этого государство персов, обнажив для гуннов Восток империи?..

Совсем уж некстати появилась вдруг пышнотелая императрица Ариадна, улыбнулась сенатору. Или нет, не ему, а здоровенному силенциарию Анастасию, который всегда рядом с Урвикием. Что же, исаврием пьет как язычник, а императрица еще полна страстей. Умом и телом пошла она в свою мать — вдовствующую императрицу Верину. Если так, то не мешало бы поберечься императору Зенону...

Снова тоскливо, из-под земли рычат трубы. Сенатор открывает глаза... Необычное сочетание покоряет волю: зеркальный дворец в черной оправе площади. Какая дьявольская душа придумала это?!..

Закончилось первое «Время Уважения», и они идут: впереди сенатор, а сзади десять ромейских патрициев с голубыми и зелеными партийными повязками у ножен мечей.

Сенатор, хоть и впервые в Ктесифоне, все знает об этом дворце. Парадная стена его облицована плитами зеркального серебра. Каждую ночь накануне последнего — пятого — дня персидской недели их натирают белым евфратским песком. Блеск и грандиозность формы необходимы языческому царю для управления. Но вот когда константинопольские барышники начинают строить дома выше сирийских пальм и разукрашивают их, как Господь Бог глупую птицу павлина, людей со вкусом тошнит...

Все же правильно, что император включил в посольство торгашей из «зеленых». Речь здесь пойдет о деньгах, а не об умении красиво вытереть нос. У «зеленых» в столице персов больше знакомых. Базары в Константинополе расцвечены персидской парчой. А у эрандиперпата — начальника царской канцелярии,— который встречал их вчера, сапоги точно такие же, как у сенатора. Даже кисточки на голенищах у перса — по последней византийской моде...

Дворцовая арка в кольце серебра наливается тяжелым красным огнем. Солнечная стена расходится в стороны, растворяя небо и землю. Пятью поясами врезаны в стену гигантские ниши, и каждая отражает собственное солнце... Сенатор чувствует свою хромоту. Он вспоминает лицо персидского лучника, метнувшего когда-то стрелу ему в правую ногу. Это было давно, еще при Перозе. Как бешеный пес метался огнепоклонник со своими «бессмертными» по всему Востоку, залетая и в пределы

империи Бог и послал тогда желтых гуннов на ум императору Зенону А путь гуннам через Аланские ворота в персидскую Армению показывал с божьей помощью он, сенатор Агафий Кратисфен Потому и разорвала стрела сухожилие на ноге, что вместо надежного ромейского сапога с железными пластинами был на ней гуннский кожаный чулок...

Нельзя хромать. Кривые, слепые, горбатые не оскверняют этого дворца. Блаженному царю Валаршу, брату Пероза, не из мести прокололи тут зрачки три года назад. Просто не нужен он стал на престоле, а формальных изъянов не имел. Царь персов должен быть чист телом, пропорционален членами и способен покрывать женщину. Телесное уродство, по их мнению, искажает мысли. И люди, на которых смотрит он, не должны быть безобразны. Сенатор ступает теперь ровно, размеренно... Никто почему-то не рассказывал ему об этом дьявольском свете внутри дворца. Отсюда, с солнца, ничего не видно. Только холодная красная глубина без звука и мерцания. Мертвой радугой перевешивается арка с одного конца земли на другой...

Опять низкий беспощадный рык рвется из-под каменных плит Нет сил больше слушать его, а он не кончается, долгий, звериный. И запах — сладкий, с дымом и кровью...

Тишина еще хуже. «Время Уважения» не имеет конца. Они стоят уже под аркой, в багровом тумане. Солнце осталось сзади, и глаза различают все дальше. Вот они, трубы,— на высоких подставках, мощные, уходящие под самый верх арки. У начала каждой трубы — мехи и безмолвные синие рабы возле них. Звук ударяет из широких жерл в потолок, сотрясает каменный пол и потом извергается в мир всем этим бездонным злом. Дворец царя персов днем и ночью открыт вселенной, только в глубине его тяжелая ковровая завеса. От нее этот адский свет, ровно отраженный по стенам и потолку листовым серебром...

Зал быстро светлеет. Крылатые курильницы отделяются от стен. В глазах бронзовых чудовищ — рубины, из сжатых пастей струится розовый дымок. Неподвижны гирканские лучники-из гвардии «бессмертных». Два безмолвных ряда их уходят вдаль, до самой завесы. Через весь зал ползут отсюда на животе посланники малых царей. Но император Нового Рима признается сейчас богом и братом этого перса за красной завесой. Поэтому лишь белое полотно натягивают на губы патрициям, чтобы не смешивалось их дыхание с дыханием царя. Два писца-диперана делают знаки — слева и справа. Голые эфиопы нажимают ручки мехов, и трубы ревут. Сейчас хоть можно видеть, как опадают мехи..

Они ступают на широкую ковровую дорогу. Все стоят здесь

на установленных местах: бронзовые тени с широкими мечами у пояса. Сначала управители провинций — сатрапы и шахрадары, военные правители — канаранги, потом паткоспаны — управители четырех сторон Эрана. Слева — паткоспан Севера, справа Юга; затем Востока и Запада. Варвары нуждаются в симметрии.

Сенатор узнает длинного усатого эрандиперпата, с которым подробно обговаривал прием. Даже здесь, перед самой завесой, где одни только персидские стратиги и богородственники, они не смешиваются. Эрандиперпат стоит на одной линии с распределителем денег — эранамеркером марзпан Армении — с хирским царем. Первыми от завесы стоят главный стратиг — эраспахбед Зармихр Каренид и главный вазирг Шапур из Михранов. Это они лишили зрения бесхарактерного Валарша, освободив трон этому царю. Бык и леопард на их родовых кулонах. Куда занесет персидскую колесницу такая упряжка?..

Трубы ударяют в спину. Патриции валятся на пол, касаясь вытянутой правой рукой завесы. Так было оговорено по «Гахнамаку» — «Книге Порядка». «Голубой» патриций с краю косит глазом. В полушаге от него гривастая голова с приподнявшими влажную губу клыками. Теплое львиное дыхание шевелит волосы ромея. Он хочет отодвинуться, но невидимая рука прижимает его к ковру...

Сенатор теперь стоит прямо перед завесой. Только львы остались с ним на одной линии: два могучих зверя на бронзовых цепях. Он снова закрывает глаза... «Хрисар-гир!.. Прочь хрисар-гир!» Двадцать тысяч «зеленых» совсем недавно орали это в цирке императору Зенону, требуя отменить городской налог Попробовали бы здесь!.. Партия — римское слово. По-гречески означает «сторона». Императору следует думать о равновесии...

Впрочем, император Зенон так и не отменил тогда налога. Он привез шестьдесят галер дешевой египетской пшеницы и ввел новый праздник с большими призовыми заездами...

Белые руки протягиваются сзади к лицу сенатора. Прохладное полотно закрывает ему рот и нос. Ревут трубы, приоткрывается завеса, и Агафий Кратисфен падает ладонями вперед, на ту сторону. Правую руку с вытянутым пальцем выдвигает он вверх — за милостью. И лишь когда выдыхаются трубы, поднимает глаза... Фарр — божественное сияние там, в высоте, над головой юноши. Он светится, играя золотыми бликами, покоряя и завораживая. Непосвященному не увидеть цепи, на которой висит над троном большая корона Сасанидов. Прозрачные индийские камни отражают священный огонь. Закрытый красным покрывалом мобедан мобед, главный доверитель духа Аурамазды,

поддерживает горение в высоком жертвеннике. Никого больше нет здесь. Тихо шелестит молитва жреца жрецов Эрана...

Красивое, бронзовое от огня лицо молодого царя неподвижно. Изгиб темных бровей повторяет твердую линию подбородка. Все на месте у персов: парящая в воздухе корона, ровное пламя, шепот мага. Что же разрушает симметрию?.. Глаза царя...

Гром труб. Отрывистые, как волчий кашель, слова вспарывают багровую тишину...

ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ МАЗДЕ КАВАД, БОГ ЦАРЬ ЦАРЕЙ АРИЙЦЕВ И НЕАРИЙЦЕВ, ИЗ РОДА БОГОВ, СЫН БОГА ПЕРОЗА, ЦАРЯ ПРИНИМАЕТ ПРИВЕТСТВИЕ ЗЕНОНА, КЕСАРЯ РУМАЯ.

Губы царя сжаты. Невидимый голос падает с неба. Только сейчас видит сенатор крылья орла на золотой короне. Тусклые железные пластины перьев в пять рядов — древний царский знак Эрана еще со времен Ксеркса...

Опять перед ними завеса — красная, в тяжелых ромбах. Они отходят спиной. Неподвижны эранспахбед и главный вазирг, ровными парами стоят паткоспаны, канаранги, шахрадары. И вдруг звякает бронза. Лев на правой стороне трясет головой, что-то ищет в своей щерсти. Голый раб пинает пяткой в желтый жилистый зад, и лев прижимает уши, укладывается. Отвратительно гудят трубы...

II

«В четвертом году правления Кавада, царя Эрана; в восемьсот третьем году греков; в четыреста девяносто первом году от рождения Спасителя...» Нет, сенатор Агафий Кратисфен не станет подписывать этот договор от лица императора Зенона, вечного августа и автократора.

Он это понял, когда раб во дворце пнул пяткой льва. И у молодого царя были быстрые глаза. Что-то совсем неясно стало у персов...

Нисибин — город, который на границе,— приехал формально требовать назад сенатор. На сто двадцать лет уступил его когда-то Эрану император Иовиниан-миротворец. Время отдачи минуло семь лет назад. Сенатор и ездил тогда в Нисибин, чтобы сказать это. И когда послы Эрана снова спросили о деньгах, которые по договору платила персам империя за войну с гуннами, сенатор Агафий Кратисфен лишь передал от лица императора Зенона: «Достаточно тебе подати, бог и царь, что взимаешь с нашей Нисибии».

Так остался персидский царь Валарш без денег. Когда

Зармихр с Шапуром-вазиргом прокодоли ему зрачки, лучники-гирканцы смеялись и говорили, что от постной еды им все равно не натянуть луки...

Так что Нисибин всегда в запасе. Главное — гунны лезут через все кавказские перевалы. Сенатор отодвинул от себя свиток с договором, который три недели составляли два его патриция и ученые персидские чиновники — дипераны...

Остановились они в загородном дасткарте — личном имении эрандиперпата Картира Спендиата, и возвращаться тогда из дворца сенатор решил через плебейскую часть города. Два диперана из царской канцелярии и четырнадцать персидских латников-азатов в конном строю с пиками сопровождали их. Ктесифон был пустой. Высокие стены из белого камня скрывали за собой дома и сады. Узкие, обложенные кирпичом каналы с желтой водой пропадали в закованных железными решетками нишах. Раза два или три молча проехали мимо них другие азаты. Лишь однажды приоткрылись тяжелые, с бронзовыми зверями ворота в стене, настороженно выглянул старый перс в кольчуге и сразу же притворил ворота. Уже по выезде из дворцовых кварталов увидели мертвого. Человек валялся совсем голый, и внутренности его были выедены птицами. Раньше такого не было у персов. Мертвая плоть считается у них поганой, и нельзя класть ее на чистую землю...

Они проехали каменный мост через главный царский канал. Кони замотали головами и остановились. Люди лежали в светлой пыли, прямо на дороге. Сотник-азат привстал на стременах, и они стали расползаться. Глаза их смотрели на солнце бессмысленно не мигая. Сразу за приехавшими лошадьми люди снова укладывались в теплую пыль.

Заборы здесь были из глины. За ними висели ветки шахтута с запыленными жирными ягодами. Сенатор подумал, что в Византии и не в голод бы ободрали их до черной коры, если бы торчали так над улицей. Персы не понимают воровства...

На третьем квартале опять забеспокоились лошади. Один из лежащих не ушел с дороги. Открытые глаза его были присыпаны пылью. Сотник рукояткой плети кольнул коня между ушей. Азаты проехали над мертвым не глядя. Служители из дакмы — Башни Молчания, куда свозят мертвых, просто не успевали управляться. Пока ехали, добрый десяток мертвецов проволокли мимо них, ухватив специальными крючьями под подбородок, в промежность и за ребра...

Потом попали сразу двое, которые не вставали. И сенатор вдруг увидел громадных птиц с грязно-белыми шеями. Они сидели совсем низко: на заборах, башнях, высохших ветках. Тусклые клювы их были испачканы черной кровью...

Седьмой год великий голод в Эране. Бог наказал горделивого Пероза, которого занесло за бешеную реку Окс, в страну белых гуннов. Те помогли ему когда-то сесть на престол Эрана, они его и погубили. Сына своего Кавада, что царствует сейчас, пришлось оставить ему тогда в Туране заложником. По горсти серебра с каждого свободного перса собрал Пероз для его выкупа, да и Урвикий помог от лица императора Зенона. А потом снова пошел перед войной к Оксу, и никто не знает, куда делся после разгрома. Половину Хорасана с Мервом забрали себе туранцы. До сих пор по полгорсти серебра с головы собирают дипераны для уплаты им контрибуции...

Частый звон слышался впереди. Это выехали они к большой царской дороге. Медленно шел по ней караван: четыре боевых слона и сотни полторы мулов с поклажей. Хирские арабы с крестами на шее и обручами на головах горячили коней по бокам. На Востоке империи их тоже нанимают для стражи...

Посредине каравана ехал худой бородатый сириец в пропыленном коричневом плаще, под которым виднелись латы. Вдруг Леонид Апион, «зеленый» патриций из посольства, махнул ему рукой, и сириец соскочил с коня. Они слегка стукнулись ладонями и заговорили по-арабски. Еретический несторианский крест[1] из дерева висел на шее сирийца. Не к лицу было ромейскому патрицию так ронять себя. А впрочем, для того и взял сенатор этого Леонида Апиона, что тот имеет торговые дела в Ктесифоне...

С караваном доехали до площади. От мулов пахло мускусом и еще чем-то приторным, как от новоримских патрицианок. Слоны и мулы свернули в переулок, а они остались на торжище. Не было здесь звонких персидских дынь, мешков с орехами и корзин с виноградом, которые привык видеть сенатор в пограничных городах. Пусто было в шелковых рядах, чернели холодные кузни. А люди продавали что-то, сговаривались, шептались. Как и на границе, много было иудеев и сирийцев. Воркующее арамейское пение вплеталось в четкий язык пехлеви, слышалась и черная византийская божба.

На гуннском базаре кучами лежали нечистоты: скотские и человеческие. Лошадей продавали туранской породы — поджарых, с сильной грудью, а рабов всяких: худощавых аланов, широкоскулых жужаней, рыжих мясистых готов, еще каких-то приземистых и долговолосых в волчьих шкурах. Сразу за деревянными загонами без всякого порядка продавались рабы-персы,

---

Несториане — последователи смещенного византийского патриарха Нестория, положившего в V веке нашей эры начало расколу и отделению восточной христианской церкви.

в основном дети. Но их не покупали, а лошадей торговали только сбивших ноги, на мясо...

И вдруг базар заколебался. Вздох прошел по толпе. Лежавшие начали подниматься, отряхиваться от пыли. Дехканы торопили приведенных на продажу рабов. Сенатор перехватил взгляд сотника. Непривычное волнение было в нем...

Они поехали за всеми.С разных улиц люди двигались в одном направлении. Пробираться становилось все труднее, но азаты теперь не шпорили лошадей. Когда ехать дальше уже было нельзя, они тоже остановились...

Черным кубом стоял посреди толпы громадный языческий храм без дверей и окон. Все смотрели в его сторону. Потом люди качнулись и стали молча отступать, освобождая посыпанную мелким белым камнем землю у ступеней...

— О Маздак... о-о!..

Такой мучительный стонущий звук одновременно вырвался у тысяч и тысяч людей, что заныло сердце. Все было в нем: жалоба, беспредельная горесть, надежда. Даже кони перестали мотать головами...

Человек в красном вышел откуда-то сбоку. Лишь потом сенатор понял, что это мобед — жрец огня. Сначала он увидел только глаза человека. Словно вспыхнуло что-то — большие, серые, с умным спокойным вниманием оглядели они толпу, задержались на нем, Агафии Кратисфене, на патрициях. А может быть, не было этого. Наверное, каждому на площади казалось, что глаза мага остановились на нем.

Неожиданно впереди, под самой мордой своего коня, увидел сенатор лежавшего лицом кверху перса. Солнце тускло отражалось в его глазах. А маг уже шел к нему быстрыми легкими шагами. Подойдя, присел, положил ладонь на глаза мертвому. Не было самоосквернения хуже этого по законам Мазды. Площадь молчала.

Подержав руку на лице мертвеца, маг встал и возвратился к храму. Он поднялся по ступеням, стремительно повернулся. Снова вспыхнули глаза, и он быстро заговорил о темных силах зла, которые довели до жестокой смерти этого человека. Они оживают, мрачные чудовища, во лжи, ненависти и разрушении. Но самые отвратительные из них — жадность и своекорыстие. Как в сите, которым отделяет мельник светлые зерна хлеба от горьких черных плевел, смешались сейчас в мире тьма со светом, зло с добром...

Это было что-то вроде манихейства — старой бестолковой

ереси, с которой когда-то покончили в империи. Да и в Эране огнепоклонники изгнали ее из государства, а самого ересиарха не то сожгли, не то четвертовали. Но нет, те скорей блаженные: до сих пор манихеи в таврских лесах живут без женщин и не едят мяса. Есть даже такие, что не срезают себе растений в пищу...

Маг резко выбросил вперед руку, указывая на мертвого. Кто съел хлеб этого человека? Кто забрал у него природой определенную женщину?

Уж не зардуштакан ли это? Омерзительное учение, которое отдает женщин во всеобщее пользование. Старый Рим заразился им отсюда, с Востока. Писано у отцов церкви, как совокуплялись на улицах подобно вавилонским блудницам, спали все под одним одеялом. Рухнул Рим, как Вавилон!..

В быстрой речи мага был легкий дефект, присущий северным персам. Он скрадывал звонкое рыканье языка пехлеви. Но голос его был звучный, сильный, освобождающий от сомнений. Ровными кольцами укладывалась цепь страстной варварской логики... Разве принадлежат кому-нибудь огонь, вода, земля, из которых составлен мир? Справедливо ли, чтобы один имел больше другого? Зло случайно. Оно исчезнет, когда все на земле будет распределено поровну!..

Яркие серые глаза притягивали. С трудом отвел сенатор взгляд. Люди стояли безмолвно, подавшись вперед, лица их осмыслились. В белой толпе желтели армянские одежды, провалами выделялись черные иудейские плащи. Рядом терлось о стремя потное коричневое плечо с набухшим тавром. Раб тоже слушал, приоткрыв рот с коричневыми зубами!..

Сенатор дернул повод. Толпа выпустила их, не заметив. Азаты снова ехали с ничего не выражающими лицами.

— О-о-о Маздак!..

Звук теперь доносился откуда-то с неба, и казалось, что стонут пустые улицы, деревья, вода в каналах. Да, упование, неистовая надежда были в нем...

По дороге к дасткарту сенатор свернул в сторону видневшегося селения. Кривая улица поросла верблюжьей колючкой. Заборы местами рухнули, и в проломах виднелись пустые дворы. На жердях верхних этажей сидели совы. Персы и в голод не едят ночных птиц...

III

На следующий день Леонид Апион поехал в Ктесифон по своим делам. Сенатор вдруг решил ехать с ним. Патриций с некоторым удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал.

Они тронулись на восходе, когда сморенные поздним ужином другие посольские ромеи спали.

Два стражника с нашитым на левую часть груди золотым слоном — родовым знаком дома Спендиатов — раскрутили ворот. Окованные железом двери раздвинулись, и сенатор с Леонидом Апионом выехали наружу. Серые фаланги олив стояли по обе стороны мощенной гранитом дороги. Их насадил здесь когда-то дед эрандиперпата — знаменитый Михр-Нарсе Спендиат, великий вазирг Бахрама Пятого и Ездигерда Второго. Деревья были ухожены, вымазаны зеленой глиной — от червей, земля поблескивала от ила. Сразу за вторыми воротами вразброс стояли глиняные дома с садами и огородами. На плоских крышах подсушивались прошлогодние абрикосы, во дворах копались куры. Рабы Спендиатов отрабатывали свое у закрепленных за каждым олив и жили лучше свободных персов. Сенатор вспомнил свое македонское имение и вздохнул. Вор на воре рабы его, и палка для них как похвала. Не государственное содержание, быть бы ему нищим...

В город поехали другой дорогой — вдоль реки. Вода в Тигре была мутная, нечистая. С того берега, из старой Селевкии, медленно плыл паром, укрепленный по краям надутыми козьими шкурами. По дорогам, тропинкам, через поросшие колючкой поля двигались люди. Некоторые гнали перед собой ослов с поклажей, но таких было немного. Охрана в узких каменных воротах задерживала только цыган. Они яростно ругались, а маленькие белые собачки у них на руках выворачивались наизнанку от усердия. Голый мальчишка швырял сухие комья земли в стражников. Когда один, рассвирепев, пустил в него дротиком, тот увернулся и показал задницу.

Долго ехали пригородом, где пришлось держать платок у носа. Через заборы виднелись бассейны с ядовитой водой, в которых вымачивались скотские шкуры. Это был квартал скорняков. Дома здесь стояли одинаковые — глинобитные, на каменном фундаменте, с маленькими, мазанными глиной дворами. Медные шестиугольные звезды или кресты над калитками отличали дом иудея от дома христианина.

Проехали кузнечный и оружейный кварталы, где больше жили огнепоклонники, свернули через переулок на большую площадь. На той стороне у ворот ходил раб с лопаткой, подбирал навоз. Другой разбрызгивал воду из ручной лохани.

Впереди Леонид Апион, а за ним сенатор въехали на широкий двор. Там уже было подметено и полито. По правую руку вдоль длинного склада с открытыми дверями рабы расстилали широкие полотнища, высыпали на них белые коконы,

укладывали мотки пряжи. Шелк молочно искрился на солнце. Слева за глиняной загородкой мерно жевали слоны из вчерашнего каравана. За складом виднелся проезд на другой, еще больший двор, оттуда на третий. Где-то в дальних конюшнях всхрапывали, били копытами о доски мулы...

В главном складе, куда зашли они, было прохладно. Земляной пол пахнул зелеными вениками. На тахте за низким сирийским столиком сидели несколько человек, среди них хозяин вчерашнего каравана. Леонид Апион поздоровался со всеми и сразу заговорил о деле. Как понял сенатор, речь шла о крупной партии китайского шелка, который сушился сейчас во дворе. Часть его предназначалась для отправки в Константинополь, но Леонид Апион сразу стал настаивать, чтобы в империю отправили весь шелк. Сейчас перемирие с европейскими варварами, и многочисленные конунги их платят наворованным в Риме золотом не считаясь. Компания выиграет дополнительно по четыреста, а то и по четыреста двадцать драхм на мешке сырца.

С самого начала внимание сенатора привлек большой иудей с властным лицом, которого называли мар Зутра. Все склонились к тому, что сырец следует сразу отправить в Византию. Ромейские мастера лучше знают вкусы своих патрицианок. А отходы они так раскрашивают, что готские королевы визжат от радости. К тому же персидские шахрадары платят столько, сколько сами пожелают...

Мар Зутра внимательно выслушал всех. Нет, сказал он, мы не можем все переправить ромеям. Царь царей охраняет нашу торговлю и мастерские, которые дают ему доход. Но разве один он над нами? Если мы перестанем отделять из своих товаров знатным людям государства Эраншахр, то усилится их ропот против нас. И гонения снова пойдут на христиан и иудеев, как при великом Шапуре или еще недавно — при Бахраме Пятом и вазирге его Михр-Нарсе. Сможет ли сейчас молодой царь защитить нас? Жены и дети наши здесь, прах наших отцов в этой земле. И разве не лишим мы еды своих единоверцев, которые ткут парчу в Ктесифоне и Бет-Лапате?.. Вот если бы уважаемый сотоварищ Леонид Апион из Рума организовал в императорской Антиохии или Киликии выкормку этих шелкородящих червей, компания на одних пограничных сборах выиграла бы вчетверо. Другой наш уважаемый сотоварищ Авель бар-Хенанишо привез вчера из своего долгого пути саженцы тутовника с гигантскими листьями, который растет на островах за Китаем, в стране Восходящего Солнца. Тепло и влага на тех островах чередуются так же, как в Сирии...

Сенатор сам не заметил, как пересел к столу и начал ощупывать плотные коконы, похожие на птичьи яйца. Лишь пальцами можно было ощутить невидимые волоски, которые тянулись из них. Когда-то из-за этих червей великий вазирг Михр-Нарсе закрыл границу для христианских богомольцев. Будто бы они в посохах пронесли коконы для расплода в империи, и казна царя царей лишилась трети серебра за провоз шелка из Китая.

Нет, не в том дело. Граница Эрана с империей тянется от одного конца света до другого, так что посохи для тайного проноса были ни к чему. Просто надо было персу отвадить своих христиан от Византии...

— А сколько времени нужно, чтобы выросли саженцы? — спросил неожиданно для себя сенатор.

Мар Зутра так, словно ждал этого вопроса, объяснил, что на третий год уже можно использовать крайние листья. От нормальных подстриганий тутовник лучше растет. А белые коконы идут в один вес с червонным эфиопским золотом.

— Торговля — не просто барыш,— добавил он вдруг по-гречески с чуть слышной арамейской певучестью.— Напрасно стараетесь забыть вы своего Одиссея...

При этом иудей покосился на партийную повязку сенатора. Уезжая, Агафий Кратисфен протянул ему руку. Сегодня он все делал помимо своей воли...

Обратно поехали через базар, и сопровождал их Авель бар-Хенанишо, сириец из каравана. Возле несторианской церкви сенатор спросил, почему она без приличествующих украшений.

— Для нас Христос был страдающим человеком, а не Богом,— тихо и убежденно ответил Авель бар-Хенанишо.— Наша церковь гонимая. По заветам Учителя противостоит она скверне мира. А есть ли скверна хуже власти? Кнут в руки взяли вы в Риме и Константинополе, забыв, что подлинная сила — в сострадании. Логика кнута самым коротким путем приведет вас к дьяволу.

— Но интересы пропаганды учения среди язычников требуют золотить купола божьих храмов,— заметил сенатор.

— В пещерах одержало победу слово Божье,— возразил сириец.— Идолы нуждаются в позолоте, не Бог.

Авель бар-Хенанишо свернул в ковровые ряды базара по своим делам. Сенатор почему-то поехал к языческому храму. Но пророка с удивительными речами там не было. Люди на площади лежали тихо. Куб храма был слеп и холоден...

Уже подъезжая к наружным воротам дасткарта Спендиатов, они увидели толпу. Рабы волокли кого-то, пиная ногами и встряхивая. Это был голый цыганенок, что дразнил стражников возле Ктесифона. Он так, видно, и не попал в город. Седая растрепанная женщина с плачем тащила за крыло придушенную курицу, которую хотел он украсть. Дети забегали с боков и бросали в цыганенка камни.

На вытоптанной площадке перед домом старшины поселка стоял раб с топором. Принесли горшок с земляным маслом, которое останавливает кровь. Цыганенка прижали коленом к земле, а правую руку растянули на пне карагача. Раб примерился взглядом, приподнял топор. Гибкая плеть перехлестнула вдруг ему руку, рванула кверху. Топор врезался в песок...

Всадник с полузакрытым лицом сделал знак отпустить вора. Он выехал, видимо, из ворот дасткарта. Сзади на дороге ждал его другой всадник, тоже без отметок на одежде.

Надсмотрщик с плоским неприятным лицом, который держал коленом цыганенка, стал кричать, что они по закону наказывают вора. Всякий порядок нарушится, если спускать с рук. Они — люди Спендиатов и сердце вырвут тому, кто станет мешаться в их дела. Трое здоровенных рабов подступили сзади. Всадник молча́ поднял коня на дыбы и протянул плетью через все лицо кричавшего. Тот сразу успокоился и стал отступать спиной к калитке. Цыганенка и след простыл...

Поворачивая коня к дороге, всадник бросил быстрый взгляд на ромеев. Башлык сдвинулся в сторону, и сенатор увидел красивое твердое лицо со светлым пушком вокруг рта. Агафий Кратисфен вздрогнул, потер себе глаза, но всадник уже поскакал...

Перед самыми воротами их шепотом окликнули. Сенатор обернулся и под стеной в колючих кустах разглядел цыганенка. Тот весело скалился, стирая листьями мяты кровь с лица и трогая надорванное ухо.

— Богатый дядя, дай что-нибудь... Дай, а то они мою курицу отняли!..

Леонид Апион бросил несколько монет. Цыганенок поймал их все сразу и тут же исчез...

Рабы окапывали оливы, пропускали к ним воду. Мутными пенящимися ручейками текла она под могучие старые деревья. Сенатор медленно ехал по узкой дороге и никак не мог вспомнить, где видел он быстрые глаза всадника...

IV

К концу недели посольства их позвал к себе эраншахбед Зармихр, главный стратиг персов. Пир проходил в большом белом дворце Каренов, первом от дворца царя царей. На воротах, дверях, в простенках угрожали широкие бычьи головы с бронзовыми завитушками между рогов. У главного входа темнел недоделанный рельеф: Зармихр Карен на тяжелом коне принимает венок покорности от царя Иберии Вахтанга. Такое в Эране до сих пор высекалось лишь прямыми потомками Сасана, основателя династии...

Все западное изгоняли у себя в последний век персы и от парфян оставили только греческие и римские ложа. Очень уж много варварской бронзы сияло на стенах и потолке, даже толстые каменные колонны были выкрашены ею сверху донизу. Для почетных гостей стоял, уже на гуннский манер, высокий помост с отдельной тахтой. Туда, к большому Зармихру, и сел сенатор.

В первый раз он ел белую болотную пшеницу из Индии. Продолговатые жемчужные зерна разбухли и пропитались жиром. В сочетании с сочным мясом и сладкими кореньями они таяли во рту и не отягощали желудка. Как всегда, у персов горами были насыпаны белый и цветной виноград, колотый миндаль, фрукты. Пили выпаренное армянское вино, настоянное на таврском дубу. Рабы бесшумно разносили узкогорлые благородные кувшины с восковой печатью города Двин. На этом вине разорялись когда-то римские кутилы. Персы выпивали его целыми кубками. Обычное вино они тоже пили из золоченых рогов по-варварски, не разбавляя в необходимой пропорции водой. Оттого и произошел скандал...

Когда персидский певец — гусан — начал первую по закону песню в возвеличение царя царей, то Фаршедвард Карен, младший брат Зармихра, прыгнул с ложа и вырвал у него из рук чанг для аккомпанирования.

— Имени жугута пусть не слышат благородные стены! — закричал Фаршедвард и по-арийски мерзко выругался.

Сенатор все понял. Жугутами здесь в поношение звали иудеев. Сыном Ездигерда Первого от иудейки был Бахрам Пятый — знаменитый прадед нынешнего царя царей. Бахрам Гур, дикий осел, как прозвали его за буйство в бою и в постели. И Гург называли его, что значит волк... Тянет персидских царей на иудеек. Еще предок их Ксеркс Ахеменид влил иудейскую кровь в царские жилы. Эсфирь, как явствует из писания, была

ему дороже первого министра. Персы освободили народ Божий из вавилонского плена, и особый день в честь персидского царя празднуют иудеи...

Стратиг Зармихр сидел прямо, неподвижно. Лицо усмирителя Кавказа было мясистое, широколобое, с солдатскими морщинами у рта. И вправду в нем проглядывало бычье. Эрандиперпат тоже молчал, глядя куда-то вверх. Кроме быка на родовых кулонах сидящих скалились в большинстве тигр и черная пантера. Не видно было ни одного леопарда Михранов. Из знатных людей Эрана не было знаков гирканских Испахпатов, Суренов, Зиков. Молодой Карен продолжал выкрикивать что-то плохое, теперь уже о главном вазирге Шапуре. Непрочно все было в государстве персов...

V

«В четвертом году правления Кавада...» Да, не станет сенатор подписывать этот договор, который сейчас перед ним на сирийском столике в родовом дворце Спендиатов. Леонид Апион с самого начала сказал, что деньги персам за охрану перевалов пропадут впустую. Другое дело — не бросятся ли туранцы на империю, если рухнет Эран. Действительно, как привязанные друг к другу две вселенские державы!..

Маг на площади перед храмом огня утвердил сенатора в решении не надеяться на персов в кавказских проходах. Когда такое говорят открыто, да еще священнослужители,— значит, государство непрочно. Еще два раза слушал сенатор красноречивого пророка и не мог уйти...

Эрандиперпат Картир, внук Михр-Нарсе, с первой встречи понял, что не подпишут ромеи договора в Ктесифоне. Его умное безразличное лицо со староперсидскими усами ни разу не изменилось, пока сенатор день за днем копался в бесчисленных пунктах старых соглашений о Нисибине, городе на границе. Персам придется ехать в Константинополь к самому императору Зенону.

Весь Ктесифон объездил сенатор за эти дни, побывал на том берегу, в Селевкии. Голодные все прибывали. Они шли уже из Мидии и Хузистана. В прошлый год бешеный Пероз открывал для дехкан амбары знатных людей. Делал это на свою беду и Валарш. В дасткартах вокруг Ктесифона есть старый хлеб. На заднем подворье Спендиатов видел сенатор широкие каменные хранилища, полные зерна и кувшинов с маслом. Сможет ли приоткрыть их молодой царь для свободных дехкан, которые бросают свои деревни — дехи и вместе с рабами бегут в города.

Из них ведь его азаты — всадники и пешие латники. Что без них царь царей против быков и тигров, скалящихся на трон Сасанидов. Поберечь бы ему свои красивые глаза...

То, что говорил голодным людям маг на площади, было неслыханно. Не пробиться уже стало к храму в день жрецов персидской недели... Отнять у богатых и разделить поровну. Вечный языческий идеализм. Все то же персидское величие духа при забвении грешной материи. Мертвых они утаскивают поскорее с глаз и сваливают в смрадные каменные ямы. Так здесь избавляются от всяких реальностей. Восток не понимает равновесия...

Темнеть стало в комнате с золотыми слонами под потолком. Агафий Кратисфен подошел к узкой оконной нише, сдвинул плетенные из камыша ставни и невольно потянулся рукой к глазам. Прямо перед ним в родовом саду Спенднатов стоял тот самый маг из храма огня!..

Да, это был пророк, которого все называли Маздаком. В своей обычной красной тоге, он говорил что-то, как и на площади выбрасывая вперед правую руку. Эрандиперпат слушал, сидя на тахте у водоема, и лицо его было безразлично...

Только потом обратил сенатор внимание на третьего. В саду стоял юноша, который защитил цыганенка. Темный огонь вспыхивал в его глазах при каждом взмахе руки мага Маздака. Снова почудилось сенатору, что он видел уже где-то этот твердый арийский подбородок, резкий изгиб бровей. Бронзой уходящего солнца осветилось лицо юноши. Фарр засиял над его головой... Сенатор Агафий Кратисфен узнал. Это было лицо царя персов!

Как можно скорей захотелось сенатору покинуть Ктесифон. Уже через день тронулись они в обратный путь. В сопровождении двух сотен азатов ехало с ними посольство персов. Сам эрандиперпат Картир Спендиат возглавил его для пути в Константинополь. Впереди шел большой белый слон — личный подарок царя царей и бога Кавада вечному августу — императору и автократору — самодержцу Зенону.

Когда проезжали базар, увидели пеших латников, теснивших толпу от храма огня. Знак быка был на их щитах. С гиканьем и свистом носились по площади конные гирканцы с волчьими хвостами на башлыках...

Часть I

МАЗДАК

С того пути, которым шли пророки,
Цари, вожди, мобедов круг высокий,
Свернул, Маздаку вняв, отважный шах:
Узнал он правды блеск в его речах!

Фирдоуси, «Шах-Наме»

I

В странном, сладком испуге дрогнуло что-то под ребрами... Девочка приподнялась на носки, и нежная тень отчетливо обозначилась у нее под рукой. Да, гречанки не бреют там волосы, он же знает. Но не думал, что у нее тоже...

До колен видны обе ее ноги, когда она тянется так. Изгиб под хитоном и непонятная, заставляющая краснеть округлость там, где грудь. Какие все же хитоны у ромейских девочек!..

Вот уже целый год бегает он сюда, в кусты сирени у старой крепости. К самой стене примыкает двор ритора Парцалиса. Он знает ее голос, полный густого солнца...

Смеется она и прямо с ветки ест черешню. Возле левой брови у нее пятнышко, которое не видно отсюда. К нему только прикасается он губами, когда представляет себя рядом с ней. А потом уже целует тоненькую шею, руку с зажатой в ней черешней, стройные ноги до самой земли, на которой стоит она. Стараясь не задеть мешающих выпуклостей под хитоном, поднимает ее на руки...

Он замечает вдруг, что приподнялся над кустами, и быстро прячется. Теперь она с рабыней Пулой моет большой хорасанский ковер. Отец ее, благородный ритор, скупает и отправляет ромеям персидские ковры. Все педагоги и наставники академии занимаются чем-нибудь еще. Но так, чтобы не узнал ректор, а главное — епископ мар Бар-Саума. И студенты, которые не имеют хозяйства поблизости, тоже торгуют, помогают считать язычникам или учат слову Божию недорослей. Им позволяется в каникулы...

Это Тыква, с которым делит он жилище, рассказывал про волосы у гречанок. И про все другое, если не врал. Смеется над ним Тыква, потому что меньше всех он здесь. Женатые тоже учатся у них. А Тыкву он видел с Пулой, как ушли они в крепость и вдруг пропали в траве. И с наставником Пинехасом ходит туда рабыня ритора. Что же они там...

А тут, во дворе, эта самая рабыня Пула о чем-то разгова-

ривает с ней, касается ее руки и белого хитона, когда свертывает ковер. Они уже закончили мытье. Пула налила для нее чистую воду в корыто. Девочка стала туда одной ногой, старательно отмывает ее от пыли. Совсем белое колено там, куда не попадает солнце. Еще выше моет она ногу, и он зажмуривает глаза...

Что-то рассыпается в кустах. Он вздрагивает и отлепляет от щеки черешневую косточку. Пула смеется. Лицо его становится влажным. Но нет, рабыня ничего не говорит ей. И сама уже не смотрит в его сторону. Обе они затаскивают ковер за дом, где солнце...

Осторожно выбирается он из колючих кустов, лезет через камни. Неужели увидела его рабыня ритора?.. У Пулы крепкие ноги, вздернутый нос и распущенные волосы цвета конского каштана. И пахнет от нее чем-то таким. Наверное, травой из крепости. На нее всегда оглядываются студенты и толкают друг друга, а она идет через площадь и не смотрит. Когда рабыня идет так, плечи у нее двигаются. Может быть, неправда все, что рассказывал про нее Тыква!..

Через заросший бурьяном ров перебегает он, и вот уже стена академии. Стершийся от локтей пролом, камни приставлены с этой стороны. Но за стеной кричит на кого-то мар Бобовай. Нужно бежать к большим воротам, пока нет там эконома...

Старый Хильдемунд со своей бочкой въезжает во двор. Можно спрятаться за ней. В мастерской, через которую идти в книгохранилище, слабые и увечные шьют верблюжьи седла в каникулы. Никто не смотрит на него. Он торопливо оттаскивает засов с дубовой двери...

Книги лежат рядами, одна на другой, тяжелые, черные. Запах кожи и воска от них. Но не они нужны, а те, что вытащил утром мар Бобовай из большого сундука с медным запором. Этих не дают студентам. Даже ему, в помощь эконому состоящему библиотекарем, пришлось читать их урывками. Все языческие книги скупают для одного важного перса. Сам мар Бар-Саума отбирает и отправляет их ему в Ктесифон. Вчера этот перс приехал с войском и белым слоном, которого везет в подарок от царя царей ромейскому кесарю...

Их все меньше, таких книг, с розовыми, красными, сиреневыми переплетами, с золотыми и бронзовыми женщинами на застежках. Когда за истинную веру изгоняли академию из Эдессы, ромейские стражники зажгли костер. Все рукописи без знака креста бросили туда: латинские, греческие и еврейские...

И пахнут они иначе· чем-то тревожным, волнующим Он провел рукой по тусклому пергаменту и вздохнул. Девочку с белыми коленями и родинкой у брови тоже зовут Еленой. Самое красивое имя было у жены царя греков, про которого эта книга с обгоревшим углом. Неужели против Бога такие прекрасны стихи. Господь любит поэзию, иначе лишил бы языка царя Соломона. Но ректор мар Нарсей тоже не позволяет их читать а только логические и математические сочинения. Можно еще языческую историю в выдержках...

Следующую рукопись приходится подклеивать. Между строк расползлись бурые пятна... «Боги построили Рим, и боги хранят эти стены. Что нам Юпитера гнев, ежели Цезарь здоров!...» Громовым и твердым был язык ромеев-латинян. Покорности учил Спаситель, и они распяли его...

У персов язык пехлеви другой. Слова кованые и звонкие, как из бронзы. Только произносят их по-разному. Будто трогают струны чанга — говорят здесь, в Нисибине, городе на границе А солдаты из Ктесифона проглатывают середину, и слова рвут струны. Святое имя Авраам носит он, а диперан Фаруд, которому по поручению епископа помогал он составлять списки христианских колен города, зовет его с арийским выговором Аб рамом..

Сходные с пехлеви звучания есть у ромейских греков, но сам язык не похож. Как из мрамора он, и нельзя ничего ни прибавлять, ни отсекать от фразы...

Языки, как и книги, пахнут по-разному. Одни травой другие — теплым молоком или морем. И цвет у каждого свой синий, красный, золотой. Даже привкус от слов различный остается во рту Спокойные и неспокойные бывают они...

Епископ мар Бар-Саума, который берет его к себе по четвергам для переписки, удивляется, что нет для него чуждого языка. Разве трудно ощущать людскую речь? Когда каркинские купцы отдали в приношение академии старого раба Хильдемунда, ворчание его тоже казалось непонятным. Чтобы узнать смысл, пришлось походить немного за бочкой водовоза. И еще подолгу смотреть на север, представляя, что почесываешь рыжую бороду... Если заглянуть в глаза человека, дальше уже легко Рыжий Хильдемунд кроме своего языка научил его еще гортанному разговору черных людей. Не эфиопов, а других из страны завоеванной славным вандальским королем Гейзерихом..

От смешения кровей его талант к языкам, ибо отец у него был перс, а мать — арамейка. Это говорит Тыква. Но отца с матерью еще раньше зарезали в Эдессе, когда псы кесаревы драли истинно верующих христиан. Не помнит он их Знает

лишь, что отца звали Вахрам-ромей. Так, Вахромеями, кличут всех персов-христиан на границе. А Тыква даже близкие Богу арамейские слова кладет, как камни сыплет из фартука...

Мар Бобовай сам укрепил мешки на спине осла. Не легче камней оказались книги, и осел лишь с третьего пинка тронулся с места. Аврааму пришлось идти рядом, покалывая божью скотину дротиком...

В городе прибавилось войска. Персов из Ктесифона сразу можно было отличить от местных, пограничных. Кованые латы были у них, ездили они ровным строем. Христиане останавливались и подолгу смотрели им вслед...

Он удивился, увидев военных лошадей во дворе епископа. У хауза с водой сидели солдаты. Пики их были составлены в пирамиду. Никого из работников епископа не было у дома, и ему пришлось самому разгружать осла. Персы молча смотрели, как он тужится с мешками. Потом один, высокий, со знаком сотника, подошел, взял рукой оба мешка и поднял ему на плечи...

В горнице на табурете епископа сидел большой человек со свисающими вниз крашеными усами. Богатая персидская одежда была на нем, а сапоги ромейские, с кисточками. Мар Бар-Саума, сидевший за столиком, приказал внести книги...

Перс был плох зрением и к самым усам тянул рукопись, чтобы увидеть текст. Тогда мар Бар-Саума поручил Аврааму читать для перса вслух титулы. Он начал читать и переводить на пехлеви. В одном подзаголовке у историка Плиния Римского было обозначено свайное селение германцев-фризов. Авраам запнулся вначале, но потом перевел его пехлевийским термином «дех», что означает деревня. Перс смотрел на него сонными, как у птицы, глазами. Было непонятно, слышит ли он...

Зашли два диперана и унесли книги. Перс встал и, сопровождаемый мар Бар-Саумой, пошел во двор. У двери он обернулся.

— Паган,— негромко сказал перс и вопрошающе посмотрел на Авраама.

Только когда вышли перс с епископом, он сообразил, в чем дело. Да, конечно же «паган», а не «дех»! Термином «дех» нужно переводить селения, где жили свободные римляне. А поселения рабов-чужеземцев персы называют «паган». От них и к ромеям пришло слово «поганый»... Значит, все понимал перс, что читал он по-латыни!..

Мар Бар-Саума вернулся и забегал по комнате. Маленькая тощая фигурка его стремительно носилась из угла в угол, большая белая борода развевалась на поворотах. Случилось что-то необычное.

Аврааму пришлось долго ждать на своем месте за столиком. Как всегда, развернул он свиток клееной египетской бумаги, зачинил перо. А мар Бар-Саума все метался.

— Брат мой и господин!..— закричал вдруг епископ молодым звонким голосом. Потом подбежал по очереди к каждому из трех окон, прикрыл их и только после этого определил положенный письму верх.— Епископу истинных христиан Ктесифона мар Акакию от епископа Нисибина мар Бар-Саумы...

«Брат мой и господин!.. Умер Зенон, кесарь Рума, и грехи его предстанут вместе с ним перед лицом господина. Никто из христиан на границе не знает еще об этом...»

Мар Бар-Саума сделал предостерегающий знак и опустил голову. Теперь голос его звучал размеренно и глухо. Перо успевало за ним...

«Глад, и мор, и всеобщее недовольство в стране арийцев. Разве не говорит опыт церкви, какой путь избирают великие из персов, чтобы отвести от себя остервенение черни. Не с того ли начиналось истребление христиан полтораста лет назад при Шапуре или гонения при вазирге Михр-Нарсе?

Неспокойны истинно верующие христиане здесь, в городе, на границе. Много может пообещать им коварнодушный в своем благочестии Анастасий, который, как знают все, станет новым кесарем. Забудут они кровь и пожарища Эдессы, отдадутся под десницу Константинополя. А тогда война будет за Нисибин. И одинаково, кто втопчет нас в прах: слоны царя царей или македонская конница кесаря. Меж львом рыкающим и клыкастым тигром мы здесь. Война десятерицею проходится по сиротам и гонимым. Больше других им нужен мир.

Пусть же братья наши в Ктесифоне найдут путь к сердцу царя царей, чтобы не наложил он сейчас двойной сбор на христиан границы. Ибо не даст ему новый кесарь положенного золота, и захочется стричь царю царей уже стриженных овец. Как чистейшая Эсфирь в древности просветлила ум владыки персов и спасла народ Божий от налогов и казней, так действуйте и вы. И пусть сгладятся все споры и обиды между нами. Кому как не гонимым, быть братьями...»

Темно уже было за окнами. Лампад не зажигали. Епископ сидел на своем табурете, скорчившись и закрыв глаза. Все белее становилась его борода.

«...Я написал тебе это письмо, мой брат и господин, в

весеннем месяце нисан, в год 491 от рождения Спасителя, в год 803 царства Александра, сына Филиппа Македонского, в год 4 Кавада, царя персов...»

Ночь и день потом смешались в неестественный, без конца и начала сон. Не помнит, ехал он на осле или шел пешком в черных улицах. Сторож Матвей вел у ворот тихий ночной разговор со старым Хильдемундом...

Из-за Тыквы получилось все. Авраам ткнулся в свою дверь, но она не подавалась. Шевеление и разговор были за ней. Потом рука Тыквы втащила его внутрь. Рабыня Пула сидела на лежанке, и хитон был распоясан на ней...

Лампада горела в углу. Тыква взял кувшин с табурета и налил ему полную кварту. Пула захохотала, и Авраам тогда выпил всю кварту Сладким и прохладным было то, что он пил, только заколотилось сердце. С испугом подумал Авраам, что это вино Рабыня протянула руки, повлекла его к себе..

Он упирался, чтобы не коснуться оголенной ее шеи. И вдруг упруго ощутилось необычное под хитоном, куда попала рука. Дернулся он, но влажные сильные губы захватили весь его рот Белая горячая плоть вырвалась из-под хитона, мягко ударила ему в щеку Запахло травой из крепости...

Голые руки с силой толкнули его. Она засмеялась и медленно заправила грудь под хитон. Тыква налил ему, и Авраам снова выпил, не ощущая вкуса. Она тоже пила и хохотала, сводя каждый раз расползающийся хитон на груди...

Еще пили... Тыква вывел его в коридор, что-то шептал в ухо. Потом Авраам сидел под дверью и слушал, как они возились в комнате. Рабыня мерно, мучительно вскрикивала, смеялась и плакала почему-то...

Авраам встал, но черный коридор упал на него. Ударяясь о стены, добежал он до серого проема, вывалился. Жесткий бурьян ухватили руки, тело выворачивалось от мерзости...

Лицом на невидимой земле лежал Авраам. Песчинки кололи кожу, но это не имело значения. Черная пустота была, и сам он был этой пустотой. Толчок и яркий свет извлекли его в мир. Почему-то теперь он опять сидел у своей двери, привалившись головой. Наставник Пинехас с фонарем стоял над ним и мар Бобовай в наброшенной на плечи хламиде. Сзади пялился сторож Матвей...

Что-то закричал Пинехас и ухватил рабыню за хитон, когда открылась дверь. В памяти осталась голая рука ее, мелькнувшая к лицу наставника. Фонарь грохнулся...

Снова горел огонь. Сторож Матвей смачивал водой тряпку,

лепил к заплывшему глазу наставника Пинехаса. Мар Бобовай ругался и тряс поясом от женского хитона. Тыква только вертел головой...

Тошнота опять подступала к горлу, и Авраам бегал через черный двор на клоаку, сгибался там, дрожа и отирая липкий пот. Мутно качалась наползавшая из-за стены луна. Ночь была вечной...

Авраам проснулся и долго лежал с открытыми глазами. Потом он одевался, а мар Бобовай нетерпеливо подергивал большой деревянный крест под бородой. И два наставника ждали...

Двор разверзся солнечной ямой. А на дне ее упирались в землю дубовые козлы с веревками для удержания рук. Лишь когда ректор мар Нарсей громко призвал мысли всех к избранному Богом сыну человеческому, он испуганно огляделся. На него смотрели все одним безглазым лицом...

Нет, не про Авраама это было... Патлы зачесывает наперекор правилам. В кабаках языческих вино поглощает. Вползанием в дома пробавляется, отнюдь не писанием, чтением и толкованием. Блудницу в крепость слова божия, в самую келью свою приволок. Как овцу лишайную из стада, изгнать из стен школьных, из города богоспасаемого Нисибина, приют давшего...

Все это про Тыкву. А про кого еще читал мар Нарсей?.. В лакании соучаствовал. Измарался, скоту уподобившись...

И вдруг все увидел Авраам. Полукружиями поднимались скамьи, как в старом языческом театре на краю города. Вся академия собралась здесь, потому что кончился месяц нисан, время каникул. И за стеной на крепостном холме стояли люди. Когда же успел он распоясаться?..

Наставник Пинехас захватил веревкой его руки. Носом и щекой лежал он на теплой доске. В бадье с водой набухали прутья, и зеленый листочек плавал сверху.

Только когда потянули с него штаны, забился он в слепом ужасе. И сразу колючим огнем обожгло спину. Авраам широко открыл рот, но не услышал своего голоса...

Его потом отрывали, а он все боялся отпустить доску. Мокрые оранжевые пятна плыли со всех сторон. Он стоял со спущенными штанами, а с холма кричали и свистели ему. Белый хитон Елены, дочки ритора, тоже был там. Но Аврааму уже было все равно...

Штаны подтянули на нем и поставили у столба с двадцатью

одним правилом академии. Толкали каждый раз под руку, и он брал пепел из деревянной миски, сыпал себе на голову. Что-то еще говорил мар Нарсей...

И на топчане лицом вниз лежал он потом в каморке водовоза Хильдемунда. Старый вандал мягко смазывал ему елеем спину, обкладывал какой-то травой, ворча и утешая...

Это было последнее воспоминание. Потому что прибежал наставник Нинехас, а за ним мар Бобовай. Вскоре был он уже в доме епископа. Мар Бар-Саума не метался, как обычно. Только благословил на службу у перса и долго молча смотрел на него.

Так получилось, что в этот же день он ехал по большой царской дороге на Ктесифон вместе с отрядом солдат. Серая кобыла была под ним такая же, как у двух других персидских диперанов. Впереди недвижно сидел в седле начальник царской канцелярии — эрандиперпат Картир, тот самый большой перс с длинными усами, которого видел он у епископа. И книги везли в кожаном сундуке...

На груди под крестом лежали у него в сумке два письма. Одно — епископу Ктесифона мар Акакию, другое — собственноручно написанное мар Бар-Саумой его дальнему родственнику Авелю бар-Хенанишо с рекомендациями.

Авраам — сын Вахромея так и не посмотрел назад. Сердце его было пустым...

II

От дороги осталась песня...

Сначала ничего не было, только болезненная липкость в спине, и еще каменные столбы — конусы со звериными рельефами через каждый фарсанг пути. Сохранились они от старых арийских царей — Кеев, протоптавших эту дорогу к грекам тысячу лет назад. А ромеи, которые тоже властвовали здесь, поставили милевые камни: по три мили в фарсанге.

На второй день уже Авраам забыл об истерзанной спине, ибо огнем горели зад и ноги в промежности. Чувствовался каждый бугорок на дороге, слезы застилали глаза. У царского почтового поста, где стали на ночлег, он не мог слезть с лошади. Старый диперан-христианин принялся клясть его по-арамейски на все лады. И снова помог большой персидский сотник. Взглянув, как идет он враскорячку, перс сказал что-то армянину-смотрителю. Тот принес зеленой травяной мази, от которой утихло жжение.

Утром сотник сам затянул подпруги на его кобыле, по-новому уложил седло. Другие персы, уже на конях, молча ждали. И важный эрандиперпат Картир молчал и смотрел через перевал на встающее солнце...

Персы всегда молчали. Дорога была уезженная и мягкая от навоза. Копыта слышались лишь на деревянных мостках через стекающие с гор потоки. И караванов было мало. Только дважды на день звякали бубенцы, и на конях с подрезанными хвостами проносились к границе и обратно почтовые гонцы — армяне.

Песня пришла на пятый день. Сначала пахнуло в лицо теплым сладковатым ветром. Последние холмы раздвинулись, и широкая синяя долина до горизонта открылась впереди. Дорога сразу растекалась на много путей, и лошади пошли, затанцевали прямо по свежей, еще не выгоревшей траве. Может быть, тогда и началась песня без слов...

А на пригорке возле самой дороги двое персов, старик и мальчик, срезали широкими серпами первую весеннюю пшеницу. Едущий рядом с сотником молодой азат снял шапку, подставил ветру бритую крашеную голову с темной гривкой волос, оставленной посередине. И потом запел, совсем тихо вначале...

Он пел про косарей, что жнут пшеницу на горе. Это их судьба — жать пшеницу. А под горой через широкую синюю долину идет войско. Вечный воитель Ростам впереди, и яростным солнцем полыхает его меч. Железнотелый — ему имя, шкура тигра — одежда. Судьба предопределила быть ему опорой Кеева трона... Дрожит Туран — пристанище черного Ахримана. Ревут карнаи — боевые трубы. Вслед за Ростамом, затмевая день, плывут знамена витязей Эрана. Могучий слон на знамени — это Тус, прародитель Спендиатов, от каждого удара которого плачет целое туранское селение. Солнце и луна на знаменах, под которыми Фарибурз с Густахмом. Хищнопенного барса голову везет Шидуш, похожий на горный кряж. Полные грозной отваги, едут они: Гураз, чей знак — кабан, доблестный Фархад со знаком буйвола, Ривниз — с зеленоглазым тигром, открывшим пасть. Как жемчужина светла ромейская рабыня на ратном знамени удалого Бижана. Волк матерый с капающей изо рта кровью венчает стяг его отца — старого Гива. И золотой лев — знак дома неистового Гударза здесь...

Плачет Туран. Негде спрятаться его коварному царю Афрасиабу. Быками под лапой эранского льва валятся туранские витязи. И вот уже горячей кровью благороднейшего из них — Пирана наполняет чашу старый Гударз. И выпивает всю чашу в память павших сыновей и внуков...

Снова дымом и кровью пьяны всадники. Сам Кей-Хосрой, могучий прародитель царя царей Эрана, ведет их. Быстрее мысли настигают туранцев доблестные мечи, быкоголовые палицы вбивают их в землю...

Песня теперь гремела, наполняла всю степь, пропитывала каждую травинку. Это было только перечисление в походном порядке древних Кеевых воителей с краткой боевой характеристикой. Первая строчка запева подхватывалась всеми и дважды повторялась уже вместе со второй, завершающей. Но было во всем что-то необъяснимое, вечное, трагически предопределенное. Бронза древних страстей плавилась в глухом громе копыт, качании горизонта, буйных вскриках и свисте. Сердце рвалось куда-то, растворяясь в сладких языческих ритмах. И нельзя было, не хотелось уже сдерживаться...

•

Эта песня сразу оторвала от всего, что было раньше. Ушли куда-то в сон родная тетка, у которой жил он по смерти родителей, академия, Тыква и пахнущая травой рабыня Пула, мар Бобовай и даже тоненькая ромейская девочка с коричневым пятнышком у брови. А мар Бар-Саума на своем табурете в углу стал вдруг маленьким и очень старым...

Давно уже замолчали азаты, а песня продолжалась. В такт ей четко ударяли копыта, качался горизонт. Она не уходила и ночью врывалась в сны, вместе с кровью приливала к сердцу Авраама. Даже когда пришли к Тигру и многовесельный царский тайяр заскользил, опережая красноватую воду, песня осталась. Она мешала разглядывать реку, которой он никогда не видел, и стала затихать лишь тогда, когда он спрятался за воротом с канатами и развернул полоску египетской бумаги...

Песня успокаивалась, послушно укладываясь ровными витыми строчками. Бронзовые удары языка пехлеви, гром копыт и буйный свист сгущались на светлой папирусной глади. Он помнил каждый шорох, каждый порыв ветра в поле. Неслышная тень упала на бумагу. Авраам поднял голову...

Сам эрандиперпат Картир круглыми немигающими глазами смотрел на песню. Большая рука с печатью на перстне протянулась, взяла ее, приблизила к тяжелым усам. Потом рука положила песню снова на колени. Перс важно, утверждающе кивнул головой.

Теперь можно было смотреть на реку. Мутно-розовая вода казалась живой, пахла рыбой и пиленым деревом. Они обгоняли связанные веревками барки с таврским камнем и дубом. Те

лодочники, что шли наперекор течению, в трудных местах не гребли, а подтягивались, ровными кругами укладывая канаты на палубах. Перед их тайяром с царским знаком орла впереди сразу раздвигались плавучие мосты. Все больше становилось на реке мелких лодок. Тайяр ударял их медным носом, если не успевали отойти в сторону. Одна лодка перевернулась, и человек хватался за днище, поддерживая тонущую козу. Коза кричала детским голосом...

В последнюю ночь где-то слева растекалось на полнеба беззвучное зарево. Вода стала совсем красной. Азаты молча смотрели в сторону далекого пожара, и глаза их тоже были красными. Так и слилось к утру дымное огнище с поднимающимся солнцем.

Река сузилась. Лодок и паромов стало еще больше, и пришлось рыкать в военную трубу на носу тайяра. После полудня впереди вдруг сверкнуло так, что невозможно стало смотреть. Он понял, что это Ктесифон — стольный город Кеев.

III

Кто-то дергал изголовье...

Но не обрывался долгий вечер, когда плыли с факелами в бесчисленных каналах. Еще полночи ехали потом черными дорогами к имению эрандиперпата. Качались и качались ветки в небе, голова клонилась к невидимой лошадиной шее. В темноте гремели решетки ворот, бесплотные тени глядели в лицо каждому. Раб с факелом вел его узкими коридорами, другой сзади нес книги. В зале с синеющим потолком оставили его. Он помнил, что приклонил голову на книгу, и снова переливалась вода в свете факелов...

Ухнуло куда-то все. Он открыл глаза, поспешно встал, оправляя хламиду.

— Ты кто? — спросил Светлолицый с нежным пушком на щеках. Темные брови круто изгибались к вискам.

— Авраам я, из Нисибина,— ответил тот.

Светлолицый был старше Авраама. Военная куртка была на нем и мягкие кавказские сапоги внатяжку. Короткий арийский меч висел на поясе. И спрашивал он отрывисто, с арийским звоном в голосе.

— Из Нисибина, — повторил Авраам.— Это город, который на границе...

Они помолчали, глядя друг на друга. Светлолицый отошел. Авраам с изумлением оглядел стены зала, которые не видны были ночью. Рядами шли ниши, и все были заполнены книгами,

свитками, глиняными пластинами и письменами древних. У одной только стены было в пять раз больше книг, чем во всей библиотеке мар Бобовая.

— Подойди! — позвал Светлолицый.

Авраам подошел к тахте у окна. На ковре лежала раскрашенная в черно-белую клетку доска и костяные фигуры. Он видел эту арийскую игру «Смерть царя». Диперан Фаруд, которому помогал он переписывать христиан Нисибина, играл всегда в нее с другим персом.

Светлолицый перенес до линии границы одного из красных латников, посмотрел ожидающе. Авраам растерянно покачал головой.

— Пешие так наступают,— показал Светлолицый.— Разят они сбоку, где не прикрыто щитом... Шахрадары на слонах тоже бьют по своим линиям наискось. А это рахт — башня на колесах. Она идет на приступ прямо или сдвигается в стороны... Сильнее всех Фируз — победитель, Рука Царя...

— Пероз? — переспросил Авраам.

— Да, Фируз,— подтвердил на ктесифонский манер Светлолицый.— Он бьет всех и во все стороны.

— А тебя как зовут? — спросил Авраам.

Светлолицый со стуком бросил костяного воителя:

— Никак меня не зовут!

Вошел другой, высокий и крепкий, посмотрел на Авраама.

— Сядь, Сиявуш! — сказал Светлолицый.— Он не умеет.

Тот, которого звали Сиявуш, молча сел играть. Он был одних лет со Светлолицым и одет так же. Только глаза были холодные, и брови не изгибались, а напрямую срастались над крепким костистым носом. Фигуры он двигал резко, не долго думая.

Потом пришел сам эрандиперпат Картир и с ним еще трое. Двое были со звериными знаками на кулонах, а третий — арийский жрец в красной хламиде. Увидев Авраама, эрандиперпат удивленно приподнял брови:

— Иди, я позову тебя, когда будешь нужен!

Авраам поскорее вышел за ковровую завесу. Его испугал красный маг — огнепоклонник. Серые яркие глаза под выпуклым лбом скользнули по одежде, кресту, остановились на лице Авраама. Спокойная внимательность была в них и что-то еще, необъяснимое. Они притягивали, и нельзя было скрыть своих мыслей...

Не дьявольский ли это свет? Авраам вспомнил, что много дней уже не молился. Он посмотрел на высокие своды и вздохнул. Прошел одним коридором, перешел в другой, нашел

маленький дворик с отхожим местом и бронзовым кувшином с водой. А он слышал, что арийские мобеды запрещают подмывание...

Опять ходил он в коридорах и никак не мог найти выхода. Стены из белого камня скрадывали шаги. Свет падал откуда-то сверху косыми прямоугольниками. Из бокового прохода послышались голоса. Отведя заменяющую дверь тяжелую кожаную завесу, он вышел наружу.

На широком, мощенном камнем дворе азат в дорожных латах водил запаленного коня. Тут же располагались конюшни, стояла укатанная гора сена. Военная казарма была точно такая же, как у дома сатрапа на царской стороне в Нисибине. Под длинным навесом рядами стояли пирамиды пик с прислоненными внизу щитами, висели на столбах тяжелые луки.

В углу двора был хауз с водой, над ним тахта. Несколько солдат сидели полукругом и ели. Это были азаты из посольского сопровождения. Сотник Исфандиар, который помогал ему в дороге, сделал приглашающий знак рукой.

Авраам обрадовался знакомым азатам, ему сразу стало легче. Он присел на краю тахты, и Фархад-гусан, который запевал в дороге песню, положил ему отваренной пшеницы в солдатскую чашку, хотел положить и мяса.

— Мясо свиньи! — предупредил старый азат с разрубленным ухом.

Персы с любопытством смотрели на Авраама, и он покраснел.

— Носящие крест ромеи из-за моря едят свиней,— сказал Исфандиар.— А почему наши христиане не едят?

— Зато наши обрезаны, как иудеи,— заметил Фархад.

— Бог один у вас с иудеями. Что же законы его не одинаково выполняются?..

Ни в голосе, ни в глазах сотника не было издевательства. Одно только искреннее недоумение. Авраам не знал, что ответить. Персы поговорили еще о разных богах, каких знали у варваров. Аврааму взамен мяса положили полкружка соленого армянского сыра — пендыра.

— Мертвых там засыпают землей, а в руки дают лук со стрелами,— рассказывал бывший в плену за Оксом азат с покалеченным ухом.— Лошадей и прислуживающих людей убивают и кладут с ними, а еще хоронят еду и напитки...

— Много законов на свете! — задумчиво сказал Исфандиар.

— Истина — как одеяло.— Глаза Фархада блеснули.— За один конец его тянет иудей, за другой — носящий крест, за

третий — индус, за четвертый — поклоняющийся Мазде. Какое одеяло выдержит!

— Да, так и говорит правдивый Маздак! — громко сказал один из азатов.

Авраам еще в Нисибине слышал о знаменитом арийском священнослужителе — мобеде, носящем это странное имя. Маздак — факел при обрядах у огнепоклонников, «Источающий свет Мазды» означает это имя на пехлеви.

Тот, что с покалеченным ухом, неодобрительно качнул головой и сунул обе руки в прорез куртки. Авраам знал, что у огнепоклонников на голом теле святая веревка с тремя памятными узлами: «Добрая Мысль», «Доброе Слово» и «Доброе Дело». Другие азаты, которые закончили еду, тоже нащупали руками узлы и сосредоточились. Посидев так недолго, они встали, успокоенные. Им надо было чистить лошадей и оружие перед выездом в город.

Авраам оставил их и прошел через калитку в сад. Между защитной стеной и дворцовыми щелями-окнами полосой росли розовые кусты. Он сел на траву, прислонился спиной к дереву. Грело солнце, пчелы жужжали в густом воздухе, где-то кричал осел. В первый раз вспомнился ему город на границе, старая ромейская крепость на краю и водовоз Хильдемунд. Больше никого не хотел он вспоминать. Жалкой и смешной в большом мире была черная сгорбленная фигурка мар Бар-Саумы... Какое одеяло выдержит... Так говорит Маздак...

— Эй, господин... Господин!..

Авраам вздрогнул, встал на ноги.

— Кто здесь? — спросил он громко.

— Не кричи, господин... Я — Рам!

В густом плюще у стены стоял мальчик-цыган, совсем голый, лишь цветной лоскут прикрывал срам. В круглых черных глазах его был ужас...

— Убить хотят царя из Ктесифона!..

Цыганенок дрожал от страха и нетерпения. Авраам тоже испугался и не знал, что делать...

— Какого царя? — по-цыгански спросил он.

— Я — Рам, сам слышал,— зашептал цыганенок.— Царя хотят убить, который здесь. В ямах они ждут. Иди скажи ему!..

Он на миг изменил свое лицо, преобразился, круто провел пальцем по брови. И Авраам сразу узнал Светлолицего. Так смотрел тот утром во время игры.

Цыганенок вдруг нырнул под плющ в сухой канал, пролез через решетку в стене.

— Я покажу...— крикнул он уже откуда-то из-под стены.

Авраам постоял еще мгновение, потом заспешил к дому. Со стороны сада не было входа... Что говорил этот цыганенок? Какого-то царя...

Он прибавил шагу и за поворотом набежал на Светлолицего. Тот шел с Сиявушем.

— Там мальчик, Рам!..

Авраам показал рукой в сад. Сиявуш повернул голову, посмотрел вдоль стены. Кошка вышла из кустов, перебежала к дому.

— Какого-то царя хотят убить...

— Говори!

Светлолицый быстро протянул руку, сжал локоть Авраама. Глаза у него стали страшные. Авраам испуганно показал за стену.

— Он там ждет, Рам.

Светлолицый стремительно повернулся и бросился бегом по присыпанной красным песком дорожке. На переднем дворе ожидал служитель с лошадью.

— Рахш!

Они с Сиявушем прыгнули в седла, накинули плащи на головы. Решетка во внутренней стене сразу поднялась. Светлолицый сделал знак Аврааму.

Из-за оливы шмыгнул цыганенок, уцепился за стремя Светлолицего.

— Там! — показал он куда-то за вторую, внешнюю, стену дасткарта.

Авраам едва поспевал за верховыми. Цыганенок бежал, держась за стремя. Большие кованые ворота внешней стены раздвигались слишком медленно. Светлолицый выругался, схватился за меч. Сиявуш, перегнувшись с седла, перехватил уздечку его коня. Светлолицый рванулся было вперед, но потом послушался и слез с коня.

— Где они? — спросил Сиявуш.

Рам показал на кусты справа у дороги. За ними были ямы для добывания глины и гора сохнущего кирпича.

— Эй, раб!.. И ты, раб! — Сиявуш указал на двух работающих у олив.

Рабы приблизились, положив обе руки на головы и не сводя глаз с сапог Сиявуша. Он быстро навернул им на тела плащи — свой и Светлолицего, толкнул к лошадям. Тот, что помоложе, никак не мог взобраться в седло. Сиявуш подбросил его и свистнул.

Кони тронулись небыстрым шагом. Со стороны дворца

рысью подъехали десятка полтора азатов. Сиявуш остановил их. Вместе со Светлолицым влезли они на нижнюю площадку башни для стражи и приложились к щели...

Никого не было видно ни на дороге, ни в кустах над ямами. Кони проехали поселок у стены дасткарта. Они уже почти миновали кусты, когда Рам подскочил и крикнул. Молодой раб, что ехал на лошади Светлолицего, завалился вдруг набок и начал сползать с седла. Конь стряхнул его на землю и, сделав полукруг, понесся обратно. Другой конь привстал на дыбы, попятился...

Светлолицый бросился к одному из азатов, вырвал лук и вскочил на его коня. За ним понеслись другие азаты с Сиявушем. Съехав с дороги, Светлолицый вскинул сразу коня на дыбы и рухнул вместе с ним в кусты. Это произошло так быстро, что никто ничего не понял. На всякий случай пустили десяток стрел в колючую чащу.

Авраам с Рамом подбежали к павшему на дороге рабу. Стражник отвел плащ с его лица: оно еще было испуганным, изо рта вытекала струйка крови. Черная маленькая стрелка жестко торчала против сердца. Авраам перекрестился...

Светлолицый с Сиявушем теперь осторожно объезжали кусты, держа луки напряженными. Азаты поскакали в оцепление с другой стороны. И тогда увидели бегущего. Перепрыгивая через кучи глины, мчался он к кирпичам. Азаты не успели: им помешал большой ров, что вел к ямам. Убегавший оглянулся: кривая улыбка сдвинула его верхнюю губу, и желтые зубы открылись до корней. Авраам ясно увидел это, несмотря на расстояние. Что-то нечеловечески жестокое, злобное, ночное было в рябом потном лице. Взобравшись на коня, убийца поскакал к роще. Когда азаты переехали ров, никого уже не было видно...

Убитый раб лежал на земле. Азаты расступились, одновременно приложили ладони правой руки ко лбу. От дома шел эрандиперпат Картир. Увидев завернутое в плащ Светлолицего тело, он остановился, стал вглядываться. Длинные крашеные усы его тревожно дрогнули. Но тут эрандиперпат услышал голос самого Светлолицего и с недоумением посмотрел на всех...

В это время принесли из кустов и бросили на траву еще одного мертвого. Пущенные азатами стрелы все же попали в кого-то. Сиявуш наклонился, посмотрел, ногой повернул мертвое тело к солнцу. На выгоревшей рубахе явственно проявились дуги бычьих рогов от спорового родового знака. Светлолицый в ярости схватился за меч, плюнул на рубаху мертвого.

Принесли новые плащи. Сиявуш со Светлолицым завернулись в них и выехали за ворота. Впереди и сзади них теперь поскакали азаты...

Заплакала женщина, приходившаяся матерью мальчику-рабу. А он лежал как живой: все такой же испуганный. Собрались еще рабы, но никто не касался убитых. Все мертвое у персов поганое, а здесь — вдвойне: брызги зла от Ахримана попали на них, ибо умерли они насильственной смертью. И тут снова увидел Авраам красного мага-огнепоклонника.

— О Маздак... Маздак, о-о!..

Оставшиеся азаты, стражники, рабы — все коснулись ладонями глаз и сложили на груди руки. Только мать плакала, ничего не замечая. Глубокая складка сдвинула громадный лоб мага. Мягко, властно, разрешающе положил он ей на плечо руку:

— Коснись своего ребенка, женщина!

Она сначала отшатнулась назад и вдруг пала на тело сына лицом и руками. В ясных глазах мага не было сомнения.

— Это просто отжившая плоть, люди!..

Рабы уже безбоязненно взялись, понесли мертвых куда-то. Авраам во все глаза смотрел на великого мага.

— О-о Маздак!..

Женщина, не поднимаясь с колен, протянула к нему руки, и маг печально кивнул ей большой головой.

IV

Дипераном третьего ряда будет он. Еще неделю назад объявили ему об этом, в день приезда. Это значит, что стал он главнее того самого Фаруда, которому помогал прошлым летом переписывать христиан Нисибина. Ибо только дипераном второго ряда был Фаруд. А всего пять рядов диперанов, и над всеми — эрандиперпат.

Большой и важный, эрандиперпат Картир сам объяснил Аврааму его обязанности. Библиотеку языческих книг будет приводить он в порядок. И еще записывать на трех языках: пехлеви, ромейском-греческом и арамейском все, что скажут ему из происходящего в арийском государстве Эраншахре. Диперан, который делал это, умер зимой. Аврааму отвели комнату — впритык к библиотеке...

Он потянулся на лежанке, радостная легкость была во всем теле. Форменное одеяние диперана!.. Авраам вскочил, быстро сбегал по нужде, всполоснулся и начал одеваться. Облегающая тело куртка с царским знаком, широкие у бедер штаны для удобства при конной езде, высокие мягкие сапоги. Он сразу сделался выше, а твердая куртка не давала опускать голову. Два дня назад надел он ее и тут же увидел девочку на заднем дворе дасткарта. Дочкой управляющего садом Михробазеда была она

и все бегала мимо кухни, где получали еду дипераны. Четверо их жили в доме эрандиперпата. старый Саул, который ругал его в дороге, и трое молодых. Ближе всех стал Артак, хоть и язычник...

Рука Авраама нерешительно остановилась помешал кипарисовый крест. Он вспомнил глаза эконома, пригонявшего на нем одежду в царских мастерских. Портные тоже были христиане и все поглядывали в его сторону Авраам тогда оставил крест сверху, хотя другие дипераны-христиане носят его под курткой И кресты у них совсем маленькие.

Впрочем, многие христиане на границе и по ту сторону, в империи, вовсе не носят крестов. Это здесь стали носить после старых гонений. Когда-то, при царе Шапуре Втором, в год истребления христиан, повесили на позор им тяжелые дубовые кресты на шею. В память мучеников не снимают их теперь...

В коридоре он остановился, пригладил волосы ладонью и сам не заметил, как убрал крест под застежками на груди. Там он и остался, под курткой...

Девочки, которую заметил он, не было во дворе. Артак уже получил по круглому персидскому хлебцу для себя и Авраама. Как и в другие дни, им дали еще кислое молоко в чашках. Саул уже поел и подгонял их. Сегодня был большой Царский Совет..

Двенадцать диперанов сидели за желтой занавеской, которая скрывала нишу писцов от царского зала. Они все видели и слышали оттуда. Гладкая подставка стояла перед каждым и бронзовая чернильница. Старший диперан Саул только хмурился, когда они слишком громко говорили друг с другом.

- Внизу, в необъятном зале, стены были серебряные, и светильники тысячу раз отражались в них. На квадратных колоннах выделялись звери с крыльями и цари на конях. Все они: звери, лошади и люди были приземистые, могучие, с толстыми ногами и мощно выгнутыми шеями. Арташир, внук Сасана, основателя династии, Шапур Великий, Бахрам Гур — он видел уже эти рельефы на дороге из Нисибина. У арийцев царь — это Бог, и Авраам с замиранием поглядывал на красную завесу от пола до потолка в начале зала. Царь царей, незримый за ней, будет сегодня здесь. Он правнук всех этих богов в коронах с тяжелыми прямыми мечами у пояса. А пока что рядом с Авраамом диперан Артак все баловался и дергал за штаны худенького армянина Вуника.

Это у нас маленький зал, объяснял Артак. Главный зал — с той стороны, для приемов...

Авраам только издали видел гигантский сверкающий фасад. На площадь перед дворцом никого не пускали. Сюда, в Зал Царского Совета, они проехали сзади, через внутренний двор. Но почему здесь нет окон, и персы жгут светильники, когда снаружи день?..

Диперан Вуник вдруг повернулся и ловко щелкнул пальцем в лоб донимавшего его Артака. Молодые прыснули. Главный диперан-распорядитель внизу недовольно посмотрел в их сторону. Артак лишь погрозил Вунику кулаком...

Один огромный ковер, темно-бордовый, в персидских ромбах, закрывал весь пол. В строгом порядке были разложены по нему красные, синие и желтые подушки. Как раз посредине зала ковер был прорезан по кругу, и зияла черной пустотой яма.

— Зачем она? — тихо спросил Авраам.

Артак как-то странно посмотрел на него и не ответил, только поежился и втянул голову в плечи.

Прислуживающие внизу дипераны давно уже скрылись в боковых проходах... Окинув в последний раз внимательным взглядом зал, вышел распорядитель. Наступила тишина...

И вдруг дрогнули стены. Авраам испуганно оглянулся на других диперанов, но они были спокойны. Когда затих низкий глухой рев, он понял, что это персидские трубы карнаи.

АТРАВАН!.. СЛУЖИТЕЛИ СОВЕСТИ, ГДЕ ВЫ?

Невидимый голос стократно отдавался под высоким куполом. Неслышно поплыли по ковру кроваво-красные покрывала. Мобедан мобед, высший арийский маг, опустился на первую к царской завесе подушку. За ним сели, откинув с лица покрывала, пять главных мобедов — жрецов огня. Авраам вытянул шею — крайним среди этих мобедов был большелобый Маздак...

Все красные подушки с левой стороны занял атраван — сословие жрецов. И сели они по порядку. Артак шепотом объяснил ему, кто из них служители огня, судьи, наставники нравственности...

И снова загремели трубы.

АРТЕШТАРАН!.. ОПОРА ПРЕСТОЛА И ХРАНИТЕЛИ МУЖЕСТВА, ГДЕ ВЫ?

Это было сословие правящих и воителей. Они прошли на правую сторону — к синим подушкам. Первым сел артештаран-салар — глава легиона из рода саксаганских царей. Рядом с ним, подвернув по закону правую ногу, опустились на родовые подушки вазирг Шапур и главный военачальник эранспахбед Зармихр...

— Быку сегодня опять нелегко придется! — заметил Артак.

Авраам вгляделся в бычью голову на кулоне эранспахбеда. Он вспомнил вдруг убийцу — лучника, которого вытащили из кустов возле дасткарта. Точно такие же рога были на его рубахе. И Светлолицый в гневе плюнул тогда...

Эрандиперпат Картир, начальник всех дипераноп Эраншахра, сидел на одной линии с вазиргом и эранспахбедом, дальше шли сатрапы и шахрадары городов, округов и провинций, марзпаны подчиненных территорий. Среди воителей, почти рядом с Зармихром, выделилось знакомое лицо: большой костистый нос, сросшиеся брови. Сиявуш!..

Авраам поискал глазами Светлолицего, но не нашел. У Сиявуша теперь был широкий блестящий пояс. Украшенные золотом ремни шли от него через плечи, перекрещиваясь на спине. Раскрытая волчья пасть скалилась на круглом кулоне, который пряжкой стягивал боевые ремни на груди Сиявуша. Видно, немалый был он воитель...

В третий раз грохнули трубы.

ВАСТРИОШАН!.. КОРМЯЩИЕ И ОДЕВАЮЩИЕ, ГДЕ ВЫ?

Желтых подушек было совсем мало. Далеко впереди сел вастриошансалар — глава третьего сословия: простых земледельцев, мастеров и торгующих. Его Авраам узнал сразу. Это был начальник царских мастерских, тонкоголосый важный перс. К нему ходили они с Саулом приставлять печать к разрешению на пошив формы диперана. Прямо за ним сейчас сели пятеро стариков в белых крестьянских одеждах. Один был такой дряхлый, что глаза у него сами закрылись, как только опустили его на подушку. Пожилыми были и два купца сзади. И только старшина кузнецов выделялся ростом и могучими плечами. Старый кожаный фартук с черными ожогами от огня закрывал его грудь. Авраам вспомнил персидское предание. Простой кузнец Кова спас когда-то трон Кеев от змея-узурпатора Заххака и вернул его арийскому царю Фаридуну. С тех пор вечным знаменем Эраншахра стал кожаный фартук — «Звезда Ковы», и старшина кузнецов всегда присутствует в Большом Царском Совете.

В неподвижном мертвом ожидании сидел зал. И тогда в четвертый раз выматывающе завыли карнаи. Когда укатился куда-то под землю их гул, все прикрыли ладонями глаза и опустили головы в сторону завесы.

ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ МАЗДЕ КАВАД, БОГ, ЦАРЬ ЦАРЕЙ АРИЙЦЕВ И НЕАРИЙЦЕВ, ИЗ РОДА БОГОВ, СЫН БОГА ПЕРОЗА, ЦАРЯ, СЛУШАЕТ ВАС, АРИЙСКИЕ СОСЛОВИЯ!

Все подняли лица, положили перед собой руки. Три главы сословий: мобедан мобед, артештарансалар и вастриошансалар сделали разрешающий жест. И тогда заговорил эрандиперпат Картир. Авраам знал его тихий и глуховатый голос. Но купол над головой усиливал звук и равномерно распределял по всему залу.

— Брат царя царей и бога Кавада, кей-саро Запада Зенон, умер...

Никто не пошевелился. Все дипераны уже знали о смерти ромейского кесаря. Артак шепотом объяснил, почему кесаря называют братом арийского царя. Персы считают, что великий македонский император Александр был сыном Кея-Дария Ахменида от дочери Филиппа Македонского. Потому и имя он взял себе на арийский манер — Искандарий и звание кей-сар. И жить тоже потом пришел в Эраншахр...

— Но Зенон, который умер, был простой исаврийский солдат,— удивился Авраам.— Потом он стал кесарем.

— У нас тоже так бывает, дорогой Авраам.— В голосе Артака была шутливая важность.— Но всегда выясняется, что такой человек обязательно из царского рода. Просто птица Симург еще младенцем утащила его из дома царя. Или злые люди положили его в бочку и пустили в море...

Не просто умер кей-сар Зенон. Есть сведения, что, воспользовавшись слабостью к вину, его живым заколотили в могильный ящик. И когда по ромейскому обычаю молились над ним в главном константинопольском храме, крики его перекрывали пение попов...

Эрандиперпат посмотрел на завесу, задумчиво качнул головой... Жена кей-сара Ариадна уже объявила свое желание сделать мужем и императором безродного ромея Анастасия, из партии «зеленых». Ее поддерживают мать-императрица Верина и вазирг ромеев — евнух Урвикий. Трудно угадать истину в мыслях женщин и оскопленных, но наши друзья в Константинополе считают, что силенциарий Анастасий еще до дня летнего солнцестояния станет новоримским кей-саром. И может случиться, что Эраншахр не получит золота, положенного от ромеев за охрану кавказских перевалов. Чем будет платить тогда туранцам?

На Кавказе неспокойно. Марзпан Армении доносит, что иберийский царь Вахтанг Волчья Грива снова тайно объединяет

своих картлинцев с горными армянами против света Мазды. В новом городе Тбилиси имел он встречу с албанским царем Вачаганом. Любым способом стремятся они вывернуться из-под железной руки царя царей. И условились, что при новой войне им следует договориться со степными гуннами по ту сторону Кавказа...

Все сидели неподвижно, руки у каждого лежали на колене поджатой правой ноги. Эрандиперпат закончил речь, снова приложил ладонь к глазам. Сделав так же, заговорил вазирг Шапур. Лицо у него было белое и худое, а голос слабый. Видимо, он чем-то болел.

— Это плохо, если ромеи не дадут денег,— сказал вазирг.— Государственный хранитель золота — эранамаркер Иегуда подтверждает, что нет средств даже на очередную выдачу жалования охране дворца. Поступления оказались в полтора раза меньше, чем в прошлом году, а цена на пшеницу выросла вчетверо. Хузистан и Мидия почти ничего не дали в царскую казну: саранча съела там все живое. Хорасан опять наполовину вытоптали туранцы. И если не дать им то, что обязались мы выплатить после исчезновения бога Пероза, они придут сюда.

Рассказывают о царе Бахраме...— В голосе главного вазирга появилась жизнь.— Услышал Бахрам Гур разговор сов при луне в оставленном людьми селении и попросил мобеда перевести ему смысл. «Я стану тебе женой,— говорила совиха филину.— Но мне мало развалин одной деревни. Для хорошей жизни мне нужно двадцать деревень, откуда ушли бы люди».— «Если правление этого царя продлится, то все совы на земле станут счастливыми»,— отвечает филин. Вспомните, что сделал тогда царь царей!

Разве не наступает время, о котором говорила ночная птица? Разве не пустуют селения Эраншахра и не полны дороги умирающими? Все новых земель требуют некоторые из великих, и у царя царей скоро не останется людей, платящих подать. Богаче самого царя и бога стали эти из великих, и ночь затмила их разум. Говорят, на рельефах в домах у них священная повязка Мазды покрывает неизвестные нам головы!..

Вазирг Шапур замолчал, но не делал знака окончания речи. Все смотрели на эранспахбеда Зармихра. Он сидел прямо, и широкий лоб его был словно из большого тяжелого камня.

— Арийскую мудрость зову! — Голос вазирга стал вдруг звучным и сильным.— Звезды гнева остановились над Эраншахром. Пусть каждый из нас придет на задний двор своего дасткарта, отмерит пятую часть пшеницы прошлых урожаев и отдаст царю царей для раздачи в селения. И пятую часть масла,

сушеных плодов, и всего, что есть там, пусть отдаст. И каждый из великих пусть пойдет в свою хранильницу и пятую часть того, что там, отдаст в казну царя царей для войска и уплаты туранцам. Так сохраним остальное!

Он обессиленно опустил руки. Знак начала речи сделал мобедан мобед. Голос у него был певучий и то поднимался до самых высоких нот, то уходил в пришептывания...

— Свет Мазды меркнет в душах людей. От этого — несчастья Эраншахра. Вопреки заветам пророка от естественной жизни в развратные города уходят зороастрийцы. Разве не пренебрегают уже многие из них огнем, первым началом из начал? Разве не моются уже они в христианских банях, оскверняя своей плотью согретую на огне воду, второе начало из начал? И не находятся разве уже мобеды, которые вместо отведенных для человечьей падали башен разрешают осквернять его землю, третье начало из начал?

— Пятой части не хочет выделить! — шепнул Артак.

Мобедан мобед заговорил о христианах. Это их церкви возвышаются над храмами огня, их кости оскверняют арийскую землю, их попы убивают арийских детей, чтобы взять здоровую кровь для своей пасхи. Снова в Нихавенде пропал зороастрийский мальчик. Тамошний датвар — праведный судья — выяснил, что накануне ребенок играл во дворе сапожника Гушнаспа, который два года назад отрекся от огня и прозывается теперь по-христиански Евсеем.

Все знают, что христиане режут больных в своей медицинской школе в Гундишапуре. Кругом проникли и командуют эти ромейские прислужники. Распятый иудейский Бог Исо послал их, чтобы расслабить крепкую арийскую руку, размочить слезами твердое арийское сердце, дурманом сострадания отравить чистую арийскую душу. Некоторые мобеды продались им...

Теперь все смотрели на Маздака, но он думал о чем-то своем. Авраам посмотрел на диперанов. Половина их были христиане. Двое быстро записывали речь мобедан мобеда. Остальные играли в кости или подчищали изогнутыми ножичками-скребками ногти. Саул дремал, время от времени вскидывая голову и подозрительно глядя на Артака с Вуником...

Авраам снова стал слушать мобедан мобеда. Тонкошеий бритоголовый старец говорил равномерными, словно заученными периодами. К концу каждого предложения он далеко вперед вытягивал маленькую голову из широкой красной хламиды, а закончив, быстро втягивал ее обратно. Главный маг предлагал перебить всех христиан и иудеев, а имущество их взять на прокорм и уплату войску.

— Знает ли Солнце Истины, великий мобед мобедов, что две трети поступлений в казну Эраншахра в этом году пришло от царских мастерских, базаров и торговых продвижений из Индии и Китая? — спросил главный вазирг Шапур.— Лучшие мастера наши — христиане и иудеи. Кто пилит дуб, с которого ест желуди?

— В Мазде спасение Эраншахра! — пронзительно закричал мобедан мобед, выбросив вперед правую руку и до отказа вытянув шею.— Пусть сословие атраван — все мобеды и хербады — отправится в Фарс к своему главному Огню. К своему сословному Огню в Шизу пусть отправится артештаран: цари, великие и воители. В Хорасан, к своему Огню, пусть пойдут старшины вастриошан. Огонь очистит и просветлит мысли!..

Потом в ряд говорили шахрадары на синих подушках. Они рассказывали о нападениях голодных. В Хузистане дочиста ограбили дасткарт Михрака, из рода младших Зиков. Сам великий умер от удара серпом в живот. Пшеницу, масло и все, что было, разделили в селениях, а жен и дочерей его роздали по дворам, где не было женщин. Людей вели за собой свободные дехканы окрестных деревень, а подстрекали низшие мобеды. И говорили они, что это и есть правда Мазды.

На днях только горел большой дасткарт Михргударзов — всего в трех фарсангах от Ктесифона вверх по Тигру. Тысячи голодных скапливаются на улицах Ктесифона, Гундишапура, Истахра, Нихавенда. И не имеющие хлеба дехканы с ними...

— Бык... Бык....— оживились деперапы.

Эранспахбед Зармихр Карен неспешно коснулся лица, твердо опустил обе руки на колено.

— Слоны — опора порядка! — Хрипловатый голос знаменитого военачальника колыхнул огонь в светильниках, слова обрывались как камни.— Тремя боевыми линиями пусть пройдут они по селениям, где допущены беззакония. А за ними — тысяча гурганцев. И пусть ничего больше не растет там!..

Авраам увидел глаза полководца, удивительно маленькие и круглые на широком мясистом лице. Даже не глаза это были, а две злые водянистые точки без ресниц и бровей. Эранспахбед требовал старой арийской казни для тех, кто нарушает порядок.

— Связать и растоптать слонами на майдане, как при Шапуре Великом! Это все христиане мутят. Много воли дали им, вот и подбивают молодых и неразумных. Нехорошие песни уже поют про великих...

Артак, записывающий речь эранспахбеда, пощелкивая паль-

цами левой руки, тихонько пропел двустишие о быке, которого пора кастрировать.

Авраам закрыл глаза. Все сместилось со своих мест, плавало и кружилось без опоры. Нисибийское построение мира рухнуло... Эраншахр: таинственное сияние над головой царя царей, тысячелетние твердь и сущность. Он представлял себе; бесчисленные цари и народы, склонившие головы; города, которых не посчитаешь; от блеска дворцов слепнут однажды видавшие их; боевые слоны по четыреста в ряд, под которыми прогибается земля. Он открыл глаза...

Недвижно сидели на подушках мобеды и великие. Ровно горели светильники. Цари на рельефах требовательно протягивали богу правые руки. Все было так и не так!..

Шахрадары продолжали говорить. Слабеет огонь Мазды. Уважение к старшим и великим теряется. Пайгансалар — «Отвечающий за порядок в государстве» не может справиться с этим. В его подчинении только городские и базарные стражники. Усилить надо войска порядка!..

Что-то вдруг случилось в зале. Дипераны умолкли, перестали возиться. Мобедан мобед дернулся и быстро втянул голову...

Сразу же поразил голос: спокойный, резкий, без взлетов и замираний. Он сглаживал арийские рыкающие звуки, словно не имел времени задерживаться на них. Но никто не замечал этого.

— Великий мобедан мобед справедливо призывает нас разжечь ярче огонь Правды.— Глаза Маздака в упор смотрели на того, о ком он говорил.— Прямодушен отважный эранспахбед, требующий наказать ложь и беззаконие. Мудры и рассудительны великие, говорившие здесь против беспорядков...

О трех началах всего сущего, данных людям Маздой, напомнил нам наставник веры. Огонь, Вода и Земля — эти вечные начала. Бог не делил их — одному больше, другому меньше,— когда создавал мир. И плоды, рожденные из трех начал, отдал он всем. И радости жизни представил он людям одинаково. Это есть порядок Мазды. Все остальное — хаос и тьма. Почему же, когда великий вазирг Шапур, поделившись с нами пятой частью своей мудрости, предложил на столько же приоткрыть хранилища для голодных братьев, мы не слышим слов одобрения?..

Авраам замер. Яркие глаза мага скользнули на миг по нише писцов, встретились с его глазами. Почти одновременно вздрогнули другие дипераны. Маздак обвел весь зал, рывком сдвинул тогу на груди. Тремя узлами на теле была повязана грубая веревка. Левая рука мага собрала воедино все узлы.

— Великое триединство Мазды — Добрая Мысль, Доброе Слово, Доброе Дело!..— Наша жажда света — только Мысль, наши гимны огню — только Слово. Где облекающее их Дело? Люди умирают с голоду — и полны наши хранилища. Холодны постели людей — и переполнены ленивыми женщинами наши гаремы. Лишь сытого единоверца кормим, такому же пресыщенному отдаем на ночь жену. И забываем, что кровь блекнет от сытости и пресыщения так же, как от голода и воздержания...

Зачем огонь в храмах, если тьма в душах! — Маздак круто повернулся к царской завесе.— Не пятую часть из хранилищ должны отсчитывать, потому что часть — всегда подаяние. Что отвратительней подаяния, которое погружает в ложь берущего и дающего? Пусть все ворота и запоры откроются, и в людях вспыхнет тогда первозданный свет Мазды!

Они уже не были одинаково неподвижны. Эранспахбед Зармихр выпятил нижнюю губу. Прищурившись, улыбнулся главный вазирг Шапур. Мобедан мобед покачивал головой на длинной шее. Великие исподтишка переглядывались. Поблекли серебряные зеркала в простенках, багровый отсвет от царской завесы падал на напряженные лица...

И никто из них не смотрел на Маздака, кроме двух или трех — из сословия артештаран. Древний старик в белой крестьянской одежде вдруг проснулся. Он даже приподнялся с круглой желтой подушки, стремясь разглядеть говорившего. И еще громадный кузнец в старом кожаном фартуке не сводил с мага Маздака спокойных глаз...

Загремели трубы.

ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ МАЗДЕ КАВАД, БОГ, ЦАРЬ
ЦАРЕЙ АРИЙЦЕВ И НЕАРИЙЦЕВ, ИЗ РОДА БОГОВ,
СЫН БОГА ПЕРОЗА, ЦАРЯ, СЛЫШАЛ ВАС,
АРИЙСКИЕ СОСЛОВИЯ!..

V

Легкие и светлые лампады горели в доме врача Бурзоя — сына Аудмихра. Летний розовый виноград и сыр-пендыр лежали на плоских блюдах. И два высоких остроплых кувшина прислонены были к стене возле стола. Они наливали, пили и ели, разговаривали и смеялись...

Артак с Вуником привели его сюда после Царского Совета. И врач Бурзой, седоватый, умный перс, говорил ему «вы». Дипераны разных служб были тут от пятого до второго ряда:

врачи, художники из царских мастерских, судьи-датвары и молодой арийский мобед, сбросивший свою хламиду при входе. Персы, сирийцы, иудеи не различались. Пришло на мысль о новом Вавилоне, как называют на границе Ктесифон, и тут же забылось. Бурзой, хозяин дома, знал на память стихи о гречанке Елене, но не совсем так, как в книге, которую привезли из Нисибина. И художник по шелку Кашви из Гундишапура их знал, и молодой иудей Абба.

Вино было не той мерзкой влагой, которую хлебал Тыква. Оно приятно холодило язык, очищало и приподнимало мысли. Еще раз мир перевернулся в голове, но уже легко и просто. Артак не стесняясь прислонил пустое блюдо к уху, застучал, запел во все горло о тупом быке. Губы он грозно оттопыривал, как эранспахбед Зармихр. А диперан-финансист Евсей изобразил своего начальника эранамаркера Иегуду, когда с жугутской жадностью оттягивает тот время оттиска печати при денежных выдачах. Он и дулся, и почесывал за ухом, и шептал всякие иудейские слова. Абба и другие валились на подушки от смеха. Здесь все были свои и не было недоверия...

Об эрандиперпате Картире сказали, что хороший человек, лишь ухмылялись при этом. Оказывается, четырех жен по ученой скромности держал усатый старик. И взял пятую — молодую Фарангис из рода саксаганских царей, которая сразу заменила ему целый гарем. Говорят, несмотря на ученость, древний обычай чтит теперь долгоусый Картир: из всех своих ближних и дальних Спендиатов приглашает крепких молодых в гости, чтобы оставлять на ночь. Есть, правда, слухи, что полных трех ночей с нею сам Бахрам Гур бы не выдержал. И еще говорят, что уже успокоилась она на постоянном госте — воителе Сиявуше из гилянских Испахпатов. Теперь жизнь старика размеренна и спокойна. Даже песня об этом есть. Артак снова стал отстукивать такт на блюде. Кабруй, царский музыкант, тронул струны чанга, запел. Речь шла о старом достойном дереве, взявшем под свою охрану прозрачный и душистый родник. Все было на месте, розы и тюльпаны цвели кругом. Не хватало лишь кого-то, кто пил бы из родника и выедал вокруг сладкую траву. И вот тот, которого недоставало, явился:

У родника, где так трава сладка,
Увидел я гилянского бычка...
Пусть вечно это дерево цветет!
Да будет сень его как небосвод!
Пусть вечно льется чистый родничок,
И пусть пасется рядом с ним бычок![1]

[1] Гургани. Вис и Рамин.

Друг над другом смеялись легко и беспощадно. Разились вперемежку арийское упрямство, иудейская спесь, христианское велеречие, армянская страсть к соленому сыру. А заспорили сразу, как пересохшая трава вспыхивает от одной молнии. Маздак!..

— Мысль и Слово — лишь атрибуты, не имеющие значения. Какая разница, чему поклоняться: арийскому огню, иудейской книге или гуннским камням. Это только различные формы стремления к правде. Чем, кроме шелухи, является форма? И что значит пустое стремление? Дело и есть правда. Для него не жаль формы, как бы красива она ни была. Природа создала людей равными, и следует вернуться к первозданной правде!..

Так говорил Розбех, перс-датвар, и рука его под фиолетовым судейским плащом была сжата в кулак. Художник Кашви кивал головой, глаза Аббы горели черным иудейским огнем самоотречения. Противоречащих не было — спорили лишь о способах выражения мысли. На лицах у всех был отсвет тоги удивительного мага. Так казалось Аврааму...

Красная вода в реке, и зарево вполнеба... Мертвые на улицах... Кровь на рубашке убитого раба... И большелобый человек в багровом тумане, выбрасывающий сжатую руку к царской завесе...

Снова заговорил Розбех... Слово поработило мир, наполнило его ложью. Кого насыщают наши молитвы, наши росписи и песни, наши расчеты движения планет? Лишь идущий за быком в поле правдив. Они, сеющие хлеб и кующие железо, должны править миром!

— Разве не нужен людям красивый рисунок на ткани? — возразил своим негромким голосом Бурзой.— А человек, рассчитавший плотину в Дизфуле, не накормил ли многих людей?

— Хлеб нужен людям, а не красота!.. Все мы, диперапы: судьи, лекари, астрологи и поэты — только рабы и прислужники богатых и пресыщенных. Разве не ложь — копировать формы и краски природы? Мы можем познавать сложные таинства чисел, составлять головоломные теоремы, блуждать мыслью в мирах, но чем заменим живого быка, впряженного в соху?..

— А если когда-то позволит бог? — Врач Бурзой не шутил.— Если мысль станет производить во много раз больше, чем руки?

— Мыслью не вспашешь поля!

— Доброе слово учит нравственности...

— От хлеба и женщины — нравственность!..

Видно было, что спор давний. Розбех опрокидывал заслоны Бурзоя, обнажая его диперанскую трусость перед делом. Всякое

насилие есть ложь. Но если совершается во имя справедливости, то становится угодным Мазде. Кашви, Артак, все остальные кивали головами. Абба бледнел, стискивая кулаки, в глазах его стояли слезы. Кабруй рванул струны, гордый прекрасный голос его наполнил комнату. Они подхватили...

Слон мчится вперед, сметая все на пути, и только ветер свистит в ушах вожатого-копьеносца... Старая солдатская песня, но слова совсем другие, необычные. Устремленная мысль, страсть, поэтическая мощь были в них. Могучее животное рушило стены дасткартов, втаптывало зло в землю, а впереди занималась светлая заря...

Это был его город. Огромный Ктесифон, бесконечные кубы и прямоугольники из камня и глины, миллионы каналов. Бесчисленными улицами и площадями синел он в ночи. Легкий теплый туман плыл из предрассветной черноты Тигра. Баг-Дад это был, Богом Данный город Киев, вечная столица Востока. Великая и добрая сила скопления вер и языцей в его ложе. Воистину мировой город. Задворками тут же становились города и империи, теряя эту способность. Все книги Востока и Запада об этом...

Артак с Вуником окликнули из серой мглы. Он отвернул коня от темной громады Ктесифона, и рысью понеслись они к дасткарту Спендиатов. Ветер жизни, волнующий и радостный, пел в ушах голосом Кабруя...

Никак не мог уснуть он на своей лежанке в книгохранилище, хотя уже утро блекло в оконных щелях. Вспомнились ему приход с нисибийскими письмами сначала к родственнику Авелю бар-Хенанишо, а потом с ним вместе к самому мар Акакию — главному епископу христиан Востока. Торговыми делами в своем огромном складе был занят Авель бар-Хенанишо, но принял Авраама по-доброму, дал серебра на расходы. Мар Акакий, желтолицый старик в суровой черной мантии, нехорошо дернул щекой, услыхав, что письмо от мар Бар-Саумы. Люди знали про размолвку между епископами. Ровным голосом объяснял мар Акакий обязанности члена общины, три или четыре раза напомнил, что тут они на виду у всего мира, а не где-нибудь в Нисибине. Ни одной службы не должен он пропускать... Вчера как раз была вечерняя служба, и Авраама снова на ней не было...

Заснул он на мгновение. Голос Кабруя подбросил его с лежанки, он схватился за перо. Чуть светлее стало за окнами, черными уступами выдвигались книги по стенам...

Нет, не с боевой песни Кабруя начал Авраам. Сначала записал он притчу о совах из времен царствования Бахрама Гура, которую рассказал вчера на Царском Совете главный вазирг Шапур, и легенду об Искандарии Македонском, что якобы тот был сыном арийского царя из дома Кеев. Вдруг заметил он, что пишет мерными двустишиями. Так было естественней на языке пехлеви, и он продолжал. Еще притчу о цыганах записал Авраам...

Ее рассказал позавчера голосистый Фархад-гусан. Все они снова сидели на казарменном дворе у хауза с водой, и Авраам подошел. Голозадый цыганенок Рам выплясывал перед ними, и солдаты смеялись. Вот тогда и сказал Фархад, откуда взялись на свете цыгане. Это Бахрам Гуд пригласил их из Индии, чтобы в свободное время песнями и танцами забавляли земледельцев. Десять тысяч мужчин и женщин пришли оттуда, и каждому дал царь царей осла, по паре быков и зерно для посева. Разожгли сразу огромные костры цыгане и не встали с места, пока не съели всех быков и зерно. Рассердился Бахрам Гуд, но по зрелом размышлении понял, что каждому следует заниматься своим делом. «Ослы-то хоть остались?» — спросил царь царей у цыган. Потом велел им погрузить поклажу, разделил их на четыре части и направил в четыре разные стороны: на Север, Юг, Восток и Запад. Так и бродят по миру теперь цыгане, потому что имел Бахрам Гуд силу заклятия...

Только записав все это, взялся он за «Песню Красного Слона», которую пел Кабруй-хайям... Хайям или хаом. «Вино Жизни» это значит по-арийски. Напиток самого бога, которым причащаются зороастрийцы при своем служении огню. Поэтов тоже называют этим именем, если сладки, мудры и пьянящи их стихи.

Хайям! Лехайм! Хайль! Хай! Хей!.. На всех языках, божьих и варварских,— это жизнь, здравица. Что-то роднило людей когда-то...

VI

Маленькая рука ее была, как всегда, холодной. И молчала она обычно. Даже имя свое — Мушкданэ не произнесла ни разу. «Мускусное зернышко» — означало оно. На следующий день после посещения дома врача Бурзоя остановил он дочку управляющего садом Михробазеда, бегущую с блюдом желтых слив на голове. Она без удивления посмотрела на него, повернула голову с блюдом в ту сторону, куда он показал, и побежала дальше. А вечером пришла. Он сразу взял ее за руку и удивился, что она холодная...

Каждый вечер стояли они у стены, там, где лазил цыганенок Рам. Авраам брал ее за руку, а она смотрела в темноту, куда-то поверх стены. Он начинал говорить, спрашивал ее, а она молчала. И Авраам не знал, что ему дальше делать...

Отблески светильников из узких окон библиотеки рассыпались по листьям деревьев, громадная персидская бабочка крутилась в прямоугольнике света. Сегодня снова был здесь великий маг Маздак, а с ним Сиявуш со Светлолицым, Розбех, еще какие-то люди. Каждый день приезжали они в дасткарт. Стражу без знаков на одежде выставляли теперь во всех проходах и даже на дороге...

Эрандиперпат Картир велел однажды позвать его. Им понадобилась старая ромейская книга, в которой, со слов грека Платона, пояснялось существо мира. Темной пещерой видел Платон этот мир, на стене которой двигались кривляющиеся, перевернутые тени другого, настоящего, мира.

Сладкий дымок от звериной курильницы окутывал библиотечный зал. Все сидели полукругом на туго скатанных подушках. На ковре стояли кувшины с цветочной водой. Лишь Светлолицый сидел у столика для арийской игры, а маг Маздак стоял, чуть расставив ноги под красной тогой. Светлолицый с удивлением посмотрел на Авраама и кивнул — одними глазами.

И опять широко открытые глаза мага изучающе остановились на нем, когда он протянул найденную книгу. Ничего призывного, приказывающего, убеждающего не было в его взгляде, но Авраам уже знал, что если этот человек сделает знак, то он бросится в пламя. И не только он. Авраам видел уже на площади перед храмом, как дрогнули вдруг тысячи людей. Даже у тех, кто умирал от голода, появились силы встать. Из последних сил ползли они к Маздаку. И стон стоял: «О-о-о!..»

Заспорили о логических фигурах, ссылаясь на книги, которых он не знал. А Маздак все стоял, и видны были его расставленные ноги в остроносых персидских туфлях. Легкая улыбка была в уголках его рта, но слушал он внимательно. И лишь потом короткой фразой остановил спорящих... Нет, Высшая Сила, безусловно, есть. Это Бог, природа или материя — назовите, как хотите. Четыре силы в нем: способность Различения противоположностей, покоряющая время Память, не дающая терять равновесие Мудрость и, наконец, Радость удовлетворения, к которой стремится все живое. Эти четыре понятия управляют миром путем семи сущностей: Власть, Управление, Хранение, Исполнение, Разумение, Рассуждение, Служение. А семь вращаются по извечному кругу двенадцати действий: произносить, давать, брать, нести, питаться, двигаться, пасти, сеять, бить,

приходить, уходить, пребывать твердым. Соединение этих Четырех сил с Семью и через них с Двенадцатью и есть свет правды. Так что у платоников с их пещерой имеется зерно истины, ибо свет этот действительно попадает в наш мир через узкую щель, преломляясь и искажаясь. Но законы света тверды и извечны, в то время как тьма случайна и все равно будет побеждена. Этого не знал Платон. Наша задача — осветить пещеру до последних ее уголков!..

Авраам вдруг понял необычную силу великого мага. Ясные серые глаза под огромным лбом не ведали сомнения. И людей освобождали от него, давая им чистую веру. Да «Четыре» через «Семь» и «Двенадцать». И свет, разгоняющий тьму. Это была та правда, которую ждали на площадях...

Листья померкли, света больше не было. Простучали копыта за стеной. К ночи они всегда уезжали: Маздак, Светлолицый и другие. Потом быстро, сверху донизу, засеребрились сразу все деревья. Луна стремительно двигалась по краю крыши. Авраам привычно сжал маленькую руку: «Мушкданэ!» И вздохнул: рука была холодной, глаза ее не мигали...

Жаркая волна вдруг прилила к сердцу. Все напряглось в нем. Он уже увидел здесь ее, Белую Фарангис, когда все уезжали. И ждал...

Так близко ее еще не было. С полуспущенным покрывалом остановилась она в шаге от них. Цвета луны были ее лицо и изогнутая шея, черный провал был вместо губ. Даже частое тревожное дыхание слышал он и чувствовал, как напрягается и опадает светлый шелк на ее груди. Она не видела их, его и дочку садовника Мушкданэ, стоящих вплотную к стволу платана...

Он ничего не понял вначале. Просто Белая Фарангис перестала дышать, вся подавшись вперед. Рот ее открылся в беззвучном крике ожидания. Лишь потом, через некоторое время, послышались твердые шаги. Сиявуш подошел в отброшенном за спину плаще, и все тело ее со стоном приникло к нему. Покрывало сползло, упав краем на землю, и ничего больше не было под ним...

Рука Сиявуша двигалась, темнела на светлых бедрах... Не выпуская его, зажав в зубах покрывало, повела она высокого Сиявуша. Там была малая калитка в стене на женскую половину сада.

— Мушкданэ!..

Авраам стиснул холодную руку, взял девочку выше — за

локоть, за плечо. Оно было совсем худое и тоже холодное, глаза ее не мигали. Он подержал ее еще немного, отпустил. И она ушла домой, на задний двор дасткарта...

Боясь наступить на сухую ветку, подошел Авраам к самой калитке. Маленьким квадратом темнела она в стене, а за ней было тихо. Он долго стоял, неистово прислушиваясь, потом пошел к себе, в книгохранилище. На повороте в главный коридор пришлось отступить в нишу. Эрандиперпат Картир с большим свитком в руке прошел мимо него медленным размеренным шагом. Раб с факелом освещал ему дорогу... Знает или не знает старик, что воитель Сиявуш у его жены Фарангис? По древним арийским законам лучшая женщина дома — гостю, но кто соблюдает их? Перс Курт в Нисибине, увидев со своей молодой женой приехавшего брата, не дал им встать — так и приколол, как застал, к ковру одним кинжалом. Здесь все знают о Фарангис и Сиявуше, а в городе поют...

Яркий белый свет лился в узкие щели окон, Авраам не мог уснуть. Постель была какая-то влажная, невыносимая. Он встал, сбросил кошму, лег горячим телом на доски...

VII

Эрандиперпат Картир позвал его к себе. Теперь Авраам часто выполнял его поручения по царской переписке с ромеями. Но главная его работа была все та же — кратко излагать день за днем, что делается в государстве персов. И еще переданы были ему записки всех царских диперанов-хронологов, которые были до него, папирусные книги ромеев и арамеев. Историю династии предстояло ему составить. Полным хозяином библиотеки он стал и целыми днями от зари до зари копался в ней. Ему уже представлялась будущая книга...

Эран, Ариана, Страна арийцев... Кеи — извечно предопределенные ей и миру цари... Не случайно у всех земных владык есть в термине этот знак — «кей». Каганы, конунги, кениги, князи, короли, кинги, кесари. Так, вопреки ромеям, утверждают ученые персы. И эта династия — лишь продолжение древней Кеевой крови.

Тысячу лет назад начались цари Ахеменидского дома из Фарсы. Киры, Дарии, Ксерксы — они воевали с туранцами, вавилонскими и египетскими царями, ромеями-греками и ромеями-латинянами, от Китая до Карфагена клонилось все перед ними. Конец им положил Александр Великий, которого персы называют Двурогим и числят своим Кеем, хотя был он из ромейской страны Македонии. Те, что видели, говорят, что на

фарсанг лежат развалины, которые оставил он от Кеевой столицы Персенолиса в Истахре...

Пятьсот лет после этого правили арийцами парфянские цари вкупе с наследниками Искандария. Они тоже считались Кеями, но по побочным линиям. Родственники эрандиперпата Картира — Спендиаты были кровно связаны с парфянами, и в его родовом книгохранилище нашел Авраам старый свиток с изложением событий, случившихся в правление Аршакидов — парфянских владетелей.

Но подлинные Кеи чистой царской крови по-прежнему обитали в Фарсе, где вечно горит их огонь. И когда пришло время, великий маг Сасан зажег скрытый до тех пор от глаз людей божественный фарр над головой своего внука Арташира — сына Папака. Это случилось два с половиной века назад — в 224 году по христианскому исчислению. В битве при Ормиздакане Арташир собственной рукой убил парфянского царя Артабана, забрал у него родовую корону Кеев и дочь его взял себе в жены. По имени прародителя Сасана и называется династия...

Тогда же, при Арташире, начали записывать его деяния, а потом деяния его внуков и правнуков — Сасанидов. Их, эти записи, следует лишь привести в порядок, отделить зерна от плевел, изложить достойно и красочно на языках пехлеви, арамейском и ромейском-греческом. Авраам уже на память знал всех царей и великих до сегодняшнего дня, одержанные победы, построенные и разрушенные города...

Был Шапур Великий после своего отца Арташира. Он взял в плен римского императора Валериана вместе со всем войском, превратил в рабов пленных ромеев и заставил их строить плотину на реке Карун при Дизфуле. Так и называется она теперь — «Плотиной кесаря». При Шапуре проповедовал пророк Мани, призвавший все веры к братству, а людей — к очищению от зла. Огнепоклонники, христиане, иудеи — все тогда склонялись к манихейству, и царь царей поощрял их. Но потом пророка заключили в темницу, а по смерти Шапура — казнили...

Множество было царей после Шапура Великого. Не подолгу правили они, ибо многочисленные братья свергали друг друга. По старым арийским законам, не должен иметь каких-либо телесных уродств царь царей, чтобы не окривели и мысли его. Когда человек крепок, прям и строен, с красивым лицом, острым зрением и мощной мужской плотью — не будет злобы в его душе. Потому издревле завещано лишь выкалывать глаза царю при свержении. Слепой остается Кеем, но уже не допускается к правлению. И делается это в круглой черной яме посредине Царского Совета...

А случалось, чуть не век сидел на троне царь царей, как произошло это с Шапуром Вторым. Младенцем возвели его, и семьдесят лет правил он Эраншахром. При нем были неоднократно отбиты туранцы, отвоевана почти вся Армения и Нисибин — город, который на границе, тоже перешел к персам. Горе обрушилось в его правление на христиан, потому что не любил их Шапур Второй. Записаны тогдашним дипераном-хронологом его слова: «Они живут на моей земле, а смотрят в сторону кей-сара, врага моего!»

Зато Ездигерд Первый, внук его, открыл свое сердце христианам. Иудейку из дома экзиларха взял он себе в жены, принял из Константинополя малолетнего кесаря Феодосия на воспитание, разрешил собрать в Селевкии Собор христиан Востока. Во всем уравнял он христиан и иудеев с огнепоклонниками, и построены при нем в Эраншахре многочисленные церкви. За это прозвали его арийские маги базагаром — грешником. И ничего не говорится в диперанских записях, как умер он на двадцать первом году царствования. Рассказывается лишь там, что поехал царь царей охотиться в Гурган — Страну Волков. Дивный белый конь выскочил из священного источника и ударил его копытом в сердце...

Когда старший сын Ездигерда Первого приехал в Ктесифон, чтобы наследовать отцу, его лишили жизни. А царем царей был объявлен Хосрой — тоже Кей-Сасанид, но не от племени Ездигерда Первого...

Зато второй сын царя-безбожника от иудейки, Бахрам, с малолетства воспитывался у благородных хирских арабов, которые считали его своим и никого не допускали к нему. Вместе с ним ворвались они в Ктесифон, но Бахрам не стал выкалывать глаза своему брату Хосрою. Просто предложил он снять цепи с громадных диких львов по обеим сторонам короны Сасанидов и сказал, чтобы Хосрой садился на престол. Когда тот отказался, Бахрам спокойно перешагнул через рычащих львов и сел сам...

Ни про одного из арийских царей нет столько рассказов. Еще мальчиком в Нисибине слышал их во множестве Авраам. Это он, Бахрам Пятый, нашел волшебный клад Джамшида и роздал среди бедных. Сильным и великим не давал он власти над дехканами и земледельцами, воевал с заколдованными львами, волками, драконами. И лжи не терпел этот царь: простого водоноса Ламбака щедро одарил за гостеприимство и наказал за жадность еврея Барахама. Еще про царя и цыган есть рассказ...

Имелась у него слабость: ни одной женщины, будь то девица или замужняя не мог пропустить царь царей, чтобы не насла-

диться ею. Потому и прозвали его Гуром, то есть онагром, диким ослом. Говорят, и умер он от плотского истощения. Но все прощается ему в сказаниях — арийских и неарийских. В христианских горных селениях Тавра и Кавказа, по ту и эту сторону границы, рисуют его на стенах церквей. Гиваргис-Победоносец называют его там. Верхом на белом коне колет он змия, и фарр — святое сияние изображается над его головой...

А ведь при нем, как известно, снова начались христианские погромы в Эраншахре и продолжались при сыне его Ездигерде Втором. Только все говорят, что злобствовал против христиан не царь царей, а его вазирг Михр-Нарсе Спендиат — дед длинноусого эрандиперпата Картира...

Смутное время началось потом в Эраншахре. Снова дрались за власть друг с другом царские сыновья, а страной правила их мать — царица Денак, вдова Ездигерда Второго. По всему миру разошлись белокаменные геммы с изображением ее прекрасного лица, которые выделывались знаменитыми мастерами Ктесифона...

Убив брата, сел на престол ее сын Пероз. Туранских белых гуннов призвал он к себе на помощь против брата, а потом всю жизнь воевал в ними. Когда туранцы взяли его в плен, то царь царей оставил им в залог сына Кавада, который правит сейчас Эраншахром. А потом снова пошел Пероз войной на них и пропал в пустыне со всем войском.

И не сразу стал после отца править Кавад. Сначала сидел на троне Валарш — брат Пероза, пока не выкололи ему глаза. Сделали это, объединившись, вазирг Шапур и эранспахбед Зармихр, которые враждуют всегда на Царском Совете...

Все досконально записывали дипераны: про то, как Бык-Зармихр топтал слонами кавказские селения; про голод, который приходил в Эран, а царь царей Пероз, и за ним Валарш силой открывали зернохранилища у великих; про туранцев, что не оставляли в покое границы Эраншахра; про ромеев, что бунтуют исподтишка христианские Армению и Картли, натравливают гуннов из-за гор Кавказа; про персидских христиан, которые, невзирая на церковный раскол, тянутся душой к ромеям...

Зачем же позвал его эрандиперпат Картир?.. Усы у старика были крашеные, цвета темной бронзы, и тяжело обвисали по обе стороны широкого подбородка. Здесь, в зале для раздумий, тоже стояли по стенам книги и плиты с древними письменами. Солнечный зайчик, попавший сюда из окна под потолком, казался чужим.

— Отец твой — перс...

Старик не спрашивал, не утверждал, а просто говорил сам с собой. Авраама словно бы и не было здесь. Но слова относились к нему...

Долго молчал потом эрандиперпат, а Авраам думал о себе. Кто же он такой, если родился в ромейской Эдессе и жил потом в Нисибине — городе на границе? Близки ли ему эти люди, поклоняющиеся Огню? «В тебе огонь,— говорил ему недавно один старый перс.— Заткни крепко пальцами уши и послушай, как он горит!» Смешное доказательство для тех, кто читал трактаты ромейских врачей...

Старик заговорил — глухо, размеренно, без подъемов и опусканий голоса... Помнит он, как Авраам записывал песню, когда плыли сюда из Нисибина. И знает про то, что персидские притчи собирает Авраам. Нужно будет собрать их все до единой и вписать в историю арабских владык. Но далеки друг от друга сказки и история...

И сколько их, этих притч!.. В Нисибине слышал Авраам бесчисленное количество сказаний о древнем воителе Ростаме, который одевался в тигровую шкуру и взял себе имя «Сделанный из железа» — Тахамтан... И еще был «Сделанный из железа» — Тахамтан... И еще был «Сделанный из меди» — Руинтан, как назвал себя другой мифический воитель — Исфандиар... Великое множество сподвижников имелось у них. Огнедышащих драконов побеждали они, летали на коврах-самолетах, просыпались после смерти от живой воды... И куда определить в такой книге сказание о цыганах или о водоносе Ламбаке? Как разделить в ней правду и вымысел?..

А эрандиперпат встал, постоял и положил вдруг руку ему на голову. Тяжелая безжизненная ладонь была больше всей головы Авраама. Наверно, такие руки были и у деда его — вазирга Михр-Нарсе, который громил христиан...

Авраам поднял глаза. Неизреченная грусть стыла в безразличном взгляде эрандиперпата Картира. Такую грусть уже видел Авраам у людей, прочитавших много книг. Интересно, какой взгляд был у гонителя Михр-Нарсе?.. Эрандиперпат снял руку с головы Авраама, отпуская его. Но когда Авраам был уже у выхода, старик тихо спросил:

— Почему ты ночами ходишь в саду?..

Откуда знает он про это?.. Видно, доносит ему все надзиратель над рабами, плосколицый Мардан. Тот с первого взгляда невзлюбил Авраама, и тупые водянистые глаза его с настойчивой внимательностью следили за ним. Мушкданэ, дочка садовника, рассказала Аврааму, что больно щиплет ее за тело Мардан, когда

встречает в темном коридоре... А может быть, и про Белую Фарангис с Сиявушем рассказывает старику надзиратель?!.

— Иди, диперан...

Все такой же тихий был голос у эрандиперпата Картира.

VIII

Споры продолжались в доме Бурзоя. Розбех, близкий Маздаку человек, был датвар, разрешающий судебные тяжбы между огнепоклонниками. И говорил он четко, резко, не принимая возражений:

— Не только на сытых и голодных, на пресыщенных и лишенных женского лона разделен сейчас Эраншахр. Разве не знаете, что, когда дехканы и люди вастриошан требуют у великих хлеба и справедливости, те гасят их страсти кровью иноверцев. Убив кого-нибудь, человек удовлетворяет свою бунтующую плоть!..

Да, они знали, ибо чуть ли не половина дипераноѵ были христиане, иудеи, индусы. И в городах Эраншахра жило две трети инородцев. Как обычно, в Гундишапуре и самом Ктесифоне некоторые мобеды уже призвали арийцев к христианскому побоищу. Но Маздак и идущие с ним принимали к себе всех, по примеру пророка Мани. И не произошло погромов, ибо на самом деле нет людей, лучше арийцев относящихся к иноверцам.

— Надолго ли хватит людского согласия? — возразил, как всегда, Бурзой.

— Навсегда оно! — ответил Розбех.

Авраам огляделся. Все они были с Розбехом, разноплеменные дипераны первых трех рядов: Артак, Вуник, Кабруй-хайям, Абба, Лев-Разумник...

Многих из них Авраам уже знал. Несколько раз бывал он в доме Артака, потомственного диперана. Старый перс, дед Артака, предложил ему заткнуть пальцами уши, чтобы услышать горящий внутри человека огонь. К маздакитам старый диперан был враждебен и считал спасителем Эраншахра Быка-Зармихра. Даже сейчас, уйдя давным-давно с царской службы, носил он форменную шапку с выцветшим полем и куртку с нашитыми крыльями — знаком царя царей. Артак смеялся, слушая его, а старик негодовал.

— Правильно предречен был тысячу лет тому назад конец Эраншахру! — шипел он, моргая красными веками.— Время пришло, если сословия перемешиваются, а мобеды потворствуют греху!..

Другой диперан, Вуник, был из рода мятежных армян,

которых сорок лет назад переселили в Ктесифон из Нисибина и других пограничных с ромеями селений, чтобы не сносились с лазутчиками кесаря. Вуник-нисибиец поэтому называли его, что означает «Вуник с границы». Отец Вуника был чеканщиком по серебру. Тонким молоточком выбивал он большие красивые блюда с птицей Симург и танцующими женщинами. Блюда эти подавались потом во все страны света.

Сошелся Авраам и с маленьким горячим иудеем Аббой. А тенью Аббы был Лев-Разумник, вместилище неизреченной глупости. Звали его Махой, и только за тупость получил он свое прозвище. И еще среди иудеев звался он «тысячником». По преданию, когда Господь Бог создал свой народ избранный, то велел пройти ему перед собой. У девятисот девяноста девяти евреев отбирал бог глупость и всю ее без остатка отдавал тысячному...

В первое же знакомство Лев-Разумник крепко взялся за шнуровку куртки Авраама, приблизил к самому его лицу свои выкаченные глаза и принялся объяснять смысл правды Маздака. Маленького Аббу передернуло, и он грубо оборвал его. Так случалось всякий раз, но Лев-Разумник вечно ходил за Аббой и значительно поднимал палец вверх, когда тот говорил. Может быть, потому что был Абба из дома самого экзиларха иудеев Ктесифона и Междуречья...

Абба беспощадно определял требования к своей общине. Раздача среди неимущих всего того, что на складах у торгующих, раздел земли и воды, а также рабов...

— Вы посмотрите на нашего Хисду бен Арика! — гневно говорил он.— У него земли — другого конца не увидишь. И вся эта земля вдоль канала: пить ему можно с утра до вечера, уж поверьте мне. И двадцать рабов варят у него черное вавилонское пиво, которое продают на всех базарах до самого моря. На одном этом он зарабатывает тысячи. А с бедняков евреев, которым сдает землю, сдирает половину выращенного. Или Иошуа бен Гуна, виноторговец. Кроме вина он отправляет в Карку ежегодно по десять тайяров изюма. А что делать тому, кто сажает и поливает виноградную лозу? И лучше ли поступают торгующие, такие, как мой высокий дядя?!.

Авраам был у маленького Аббы. Тут они свободно ходили друг к другу: христиане, иудеи, огнепоклонники.

— Ты не знаешь, что такое наши евреи,— сказал Абба по дороге с раздражением и как будто стесняясь.— Эта мелочная иудейская спесь, вечная грызня о достойном месте в синагоге, глубокомысленные споры по какой-нибудь букве в книге. О, эта тупая вера в книгу! Если в книге написано, что дождь, то пусть

камни плавятся от солнца — еврей закутается в плащ. И самое страшное, что ему будет хорошо. Силой воображения он выживет...

На царской половине Ктесифона стоял дом экзиларха. Там же был и дом епископа мар Акакия, к которому приходил Авраам сразу по приезде из Нисибина. И церковь с синагогой стояли напротив. Говорили, что спор издавна шел между ними, чья крыша выше, а гонитель христиан и иудеев — вазирг Михр-Нарсе хорошо пополнил когда-то свою и царскую казну. За каждый разрешенный вверх ряд кирпича он брал с той и другой общины столько же серебра по весу, пока раввин с епископом сами не договорились оставить соревнование...

В передней половине огромного дома экзиларха все крылось хорасанскими и согдийскими коврами, сияло арийской бронзой. Сзади было проще: один большой столовый зал и длинный дубовый стол на добрых полторы сотни человек. Такой же струганый стол для единоверцев сотрапезников видел Авраам и у епископа.

На Аббу в доме смотрели ласково, а он покрикивал на всех. Даже своим братом Вениамином помыкал, и тот послушно все исполнял. Широколицего крепкого Вениамина Авраам встречал на торговом дворе у своего родственника Авеля бар-Хенанишо, который водил караваны и имел общее дело с экзилархом...

К Аврааму в доме экзиларха сразу подсел худой разговорчивый старик в потертой ермолке. Он тут же сообщил, что Абба не просто какой-нибудь там Абба, хоть он царский диперан и такой ученый человек. Абба — это прямой росток дома Давидова, потомок того самого царя Давида, настоящего помазанника божьего, а не какого-нибудь...

Тут старик посмотрел на диперанскую куртку Авраама и сам себе закрыл ладонью рот. Но слова прорвались и опять потекли, потому что молчать старик просто не мог, и руки его летали, как взбудораженные ночные птицы при свете дня... Рав-Кагана был экзиларх, потом мар Гуна, брат его. А после него стал экзилархом евреев Эраншахра другой Рав-Гуна, сын Рав-Каганы по закону, ибо был от прямого ствола Давида. А жена Рав-Гуны была дочерью главы академии в Вавилоне — ученейшего Рав-Ханины. Понимаете?..

Авраам поспешно кивнул головой.

....Только однажды пошел судья экзиларха в Вавилон, чтобы устроить чтение по спорным вопросам талмуда, но не допустил его Рав-Ханина. И вызвал тогда экзиларх этого Рав-Ханину в Махозу, как называют евреи Ктесифон, и велел стоять ему день и ночь у Западных ворот. Приказал экзиларх, и вырвали все

волосы бороды его; и приказал не давать ему пристанища. Пошел Рав-Ханина, сел в большой синагоге Махозы и плакал; наполнилась чаша слезами, и выпил он ее. И в тот же час случилась смерть в доме экзиларха: все умерли в одну ночь. Остался только вот этот самый Абба в чреве матери его. Понимаете?..

Опять пришлось кивнуть.

...И уснул тогда в синагоге Рав-Ханина, глава академии, и увидел он во сне, что зашел в сад кедровый, взял топор и срубил все кедры, которые были в нем. Остался лишь один кедр маленький под землей. И поднял он топор, чтобы срубить его, как вдруг появился красный старец и сказал ему в гневе: «Я — Давид, царь Израиля, и этот сад — мой сад. Ты, что надо тебе было в нем, зачем срубил ты его?» Ударил его старец, и повернулось его лицо назад. Проснулся академик Рав-Ханина и видит свою спину. Спросил он тогда своих ученых Рав-Сама и Рав-Исаака: «Остался ли из дома Давидова хоть один?» Ответили ему: «Не остался из них ни один, кроме дочери твоей, которая беременна». Пошел Рав-Ханина и стерег у дверей ее в дождь и солнце, пока родила она мальчика...

— А Вениамин? — не удержался Авраам.

— От ветки лишь, а не от ствола Вениамин! — отмахнулся старик.— Так вот, как родила она, выпрямилось лицо Рав-Ханины. А экзилархом, когда вымер дом Давидов, стал Рав-Пахда, зять покойного Рав-Гуны, давший много денег царю царей и вазиргу персов. Только ненадолго: божья муха влетела ему в ноздрю — опух и умер. И стал тогда законным экзилархом мар Зутра, брат покойного Рав-Гуны, и Аббу малолетнего взял в дом свой от Рав-Ханины, из Вавилона...

— Так он тоже из дома Давидова — экзиларх мар Зутра? — заинтересовался Авраам.

— Да, но лишь от ветки,— пояснил старик.— И всем, кто из дома Давидова, показывается в какой-то день столб огненный, и они могут идти с ним на врагов, обращая в пепел...

Авраам заглянул в глаза старика. Они восторженно сияли, и не было силы, которая могла бы убить этот безумный блеск. Уходивший зачем-то Абба еле смог оторвать его от Авраама.

— Про столб говорил? — спросил Абба.

— Говорил...

— Ну, вот видишь!..

Абба опустил черную курчавую голову. Аврааму стало жаль друга, и он положил на его руку свою. Так они сидели долго...

С самим экзилархом мар Зутрой, который вместе с Авелем бар-Хенанишо содержал большое торговое подворье, разговаривал Авраам. Он пришел в очередной раз к своему родственнику

и увидел большого иудея с густой бородой вкруг всего лица. Холодные темные глаза были у него и властные движения. Авель бар-Хенанишо, приходившийся троюродным дядей Аврааму, собирался как раз с бесчисленным караваном в далекий путь. Гремя колокольчиками, один за другим выходили из высоких каменных ворот верблюды, груженные кавказским чеканным серебром, бронзой, слоновой костью из страны эфиопов, светлой ромейской шерстью. Хирские всадники умчались вперед,расчищая дорогу. Где-то в Мерве, на краю Хорасана, охрану примут у них туранские кайсаки, в далекой Согдиане на смену придет китайская стража, с которой и войдут они в пределы Поднебесной империи. И обратный путь предстоит им такой же, на полгода, через пески и пропасти, только будут гружены верблюды шелком да еще нежной голубой посудой, которую так любят ромеи.

Молчалив и неприступен был Авель бар-Хенанишо, соблюдавший все праздники Христовы и никогда не снимавший с шеи тяжелый деревянный крест. Дав обычно Аврааму положенное от себя серебро, постояв с ним недолго, снова углублялся он в расчеты. Аврааму скучно было слушать его бесконечный разговор с мар Зутрой. Скупо и негромко роняли они арамейские слова, и почти всегда это были цифры. Не было у Авраама родственной близости к этому человеку...

Рядом они стояли: высокий, сухощавый дядя его Авель бар-Хенанишо и большой важный экзиларх мар Зутра. Когда последний верблюд вышел из ворот и начал удаляться от них, показывая широкие белые ступни, Авель бар-Хенанишо повернулся к иудейскому экзиларху, и молча прижались они друг к другу лицами. Край деревянного креста торчал, запутанный в их бородах...

Постояв так с мар Зутрой, дядя повернулся, неспешно влез на большого рыжего коня и поехал не оглядываясь. Улица от торговой площади шла прямо к Восточным воротам. Мар Зутра неотрывно смотрел вслед уходящему караване и вдруг заговорил негромким ясным голосом:

— Большой и достойный человек ваш дядя бар-Хенанишо...

По словам его выходило, что торговое занятие — главное дело в этом мире, ибо все человеческие чувства рождаются при таком общении. Обмен плодами трудов человеческих — основа всего, потому что нет уз более крепких, чем вещественные. Война и мир на земле зависят от них. Чем больше ромейских торговых людей входит в их дело, тем дальше отодвигается война с кесарем. А чем большую прибыль получают от их дела торговые люди в Согдиане, тем спокойнее на туранских рубежах. Разве

испокон веку все войны с ромеями были не потому, что персы рвались к морям — Красному, Черному и Средиземному, чтобы стать на торговых путях! Находящийся в круге этого общения между народами всегда процветает — нравственно и государственно. Как только обрубаются эти питающие артерии, страна и народ вянут, дичают и быстро уходят из истории...

Это было необычно для Авраама. Значит, не цари, стратиги, мобеды, а производящие и торгующие — суть истории? Что же тогда означает воитель Ростам с его подвигами?.. Так или иначе, Аврааму было приятно, что экзиларх говорил с ним как с равным и понимающим.

Человек сорок обедали у экзиларха: какие-то старики, старухи, бесчисленные родственники и множество детей — те, что постарше, ели со взрослыми, а маленькие — на другой половине стола, с женщинами. Неистовый шум, плач, смех и восклицания неслись оттуда, но никто и бровью не повел. Обед был скупой, с положенными для иудеев и христиан запретами. Мар Зутра, великий экзиларх, имеющий доступ к самому царю царей, сидел молчаливый и важный во главе стола. Только раз уловил Авраам, как потеплели его холодные глаза, когда посмотрел на своего племянника Аббу...

IX

При свете солнца увидел он Белую Фарангис... Замерли и опустили глаза азаты. Стихли за стеной шумливые рабы, собиравшие оливки. И сразу вдруг перестали пахнуть цветы. Она шла той же дорогой, что и ночью, закутанная в светлое шелковое покрывало, и только часть лица и еще узкая белая рука с зелеными и золотыми камнями на пальцах отданы были солнцу.

Авраам стоял неподвижно у дерева. Она прошла мимо, не видя его, как и при луне. Все было у нее ночное — необычный профиль, прозрачная, словно из теплого льда, белизна, как на фарфоре нарисованные губы. И лишь глаза — зелено-золотые, продолговатые — отражали день. Радость, печаль, ожидание счастья светились в них открыто, перемешанные с чистым небом и разноцветной перевернутой землей.

Она стояла перед воротами, и Авраам боялся двинуться с места, чтобы не переступить ее дорогу. Потом Белая Фарангис пошла обратно, и опять грозным туманом из старых арийских сказаний повеяло на него. Квадрат в желтой стене погасил белую тень. Подняли глаза азаты у себя на дворе, зашумели собиратели

оливок, жарко, ошеломляюще запахли гигантские ктесифонские розы. Целая река их росла между высокими окнами дворца и стеной...

А ночью он снова мучительно ждал с нею воителя Сиявуша. И когда приходил Сиявуш, он горел с нею вместе, бессмысленно сжимая постороннюю руку дочки садовника...

Артак и Кабруй-хайям взяли его с собой. Персидские овальные хлебцы имелись у них, сыр, халва и яблоки, потому что голод был в Ктесифоне. И еще певец Кабруй-хайям тащил на плече здоровенный кувшин с крепким вавилонским вином, которое везут из Междуречья иудеи. Лошадей не седлали, ибо сразу за Южными воротами был храм Источника. Жрицы жили при нем, в специальном поселке...

Они голодные были, эти женщины. Как только отыскали в вечерней полутьме нужную калитку и зашли в пустую, устланную камышом комнату, появились жрицы. Они заходили неслышно и садились от порога у стены. Главная среди них приняла у Артака и молча раздала им еду. Женщины тихо и быстро ели, потом запили вином, передавая друг другу чашу. Так же неслышно ушли они. Остались лишь трое...

Пока они ели, главная жрица, знавшая диперанов, рассказала Артаку о делах храма. Почти никто не приходит сейчас с приношением плодотворящей богине. Пятьдесят молодых и крепких жриц было здесь раньше для танцев и удовлетворения мужской необходимости. Остались лишь те, которых они видели...

Залив принесенным ими маслом громадный бронзовый факел, она зажгла его от скудно мерцавшей лампады. Буйный огонь осветил раскрашенные стены, убрал тени с женских лиц. У всех были широкой линией нарисованные брови. И подкрашенные глаза казались одинаково большими и черными. Покрывала, не в пример обычным женщинам, ограждали лишь плечи и часть груди...

Теперь все, что осталось из еды и питья, составили на коврик с расшитыми плодами. Разговаривали все громче, и женщины серебристо смеялись, взглядывая почему-то всякий раз на Авраама.

— О, ты красивый, христианин Авраам! — сказала ему главная жрица.

Он ощутил, как горячая кровь прилила к лицу. На него смотрели уже из-под белых покрывал на улицах. В доме Артака круглолицая сестра диперана все жалась к Аврааму, когда при-

ходилось помогать ей таскать по лестнице на крышу персики для сушки. Сам Артак собирал с дедом плоды с веток в саду. Она говорила, что ей страшно, вскрикивала всякий раз и просила поддержать. Он осторожно придерживал ее снизу, а она валилась всей тяжестью... И на торговом подворье у дяди перебирающие коконы арамейки смеялись, звали его к себе... Потом, лежа на досках, он стискивал руки и представлял, как надо было делать это с сестрой Артака. И на торговом подворье был совсем темный склад со старыми мешками...

Авраам почти не пил. Он шел сюда, взволнованный тем, что предстояло изведать, и знал, зачем несут они с собой еду и питье. Но когда увидел утоляющих голод женщин, смутился...

А товарищи пили и тянули руки к женщинам. Вина было еще много. Главная жрица села, ровно вытянув ноги, поставила между ними треугольную арфу и заиграла. Чудный голос Кабруй-Хайяма наполнил комнату. Это была песня парфянского воителя Рамина, обращенная к луноликой царице Вис. Ласковая, томительная мелодия растворяла мысли, убирала настоящее, звала к мучительному счастью.

Я от желанья изнемог, гляди;
Прижми меня к серебряной груди...

Все три женщины поднялись, взяли каждая в правую руку триконечный светильник и в левую — кубок с вином. Одинаково наклонившись, зажгли они от факела свои светильники, опустили покрывала с плеч и плавно задвигались, раскачиваясь телом. Сначала только чуть наполнялось бедрами белое полотно. Потом все шире стали разводиться круги, все мятежней заходило оно толчками. Медленно, почти незаметно сползали покрывала, обнажались розовые груди с торчащими сосками, чуть видимые ребра, живот. И вот лишь на раскачивающихся круглых бедрах задержались слабые куски материи...

А бедра вырывались, вздрагивали в мучительном нетерпении, стремясь окончательно сбросить мешающую ткань. Казалось, это делалось отдельно от женщин, которые по-прежнему неподвижно держали светильники и кубки. Ровно горел их огонь, и не пролилось ни капли вина...

Оборвал на полуслове песню и протянул к одной руки Кабруй — хайям: Выпив все вино из ее кубка и единым вздохом задув светильник, он поднял ее покрывало до плеч и повел в темнеющую нишу. Артак сделал то же с другой. Таких ниш в стенах было несколько: глубоких, обособленных...

Она все танцевала перед ним, не опуская рук. Широкие розоватые бедра с треугольной тенью посредине призывно колебались на уровне его глаз. А он смотрел ей в лицо, на которое

падал ровный свет от правой ее руки с тремя огнями. И не мог уже оторвать взгляда от рта ее с горестными, плохо замазанными морщинками по краям, которым только что женщина ела хлеб. И был этот хлеб платой за предстоящее!..

Авраам встал, растерянно посмотрел в серьезное лицо главной жрицы и пошел к выходу...

Железные ворота Ктесифона были закрыты. Темными прямоугольниками стояли башни по обе стороны от них. После ухода солнца за горизонт сам царь царей не может въехать в город.

Авраам вернулся к источнику, на котором стоял храм, вместе со слабо мерцающей при луне водой пошел к Тигру. И в реке вода была бесшумна. Он сел на нагретую за день землю, принялся смотреть. Какие-то длинные неясные тени медленно проплывали перед глазами. Наверное, грузовые тайяры мар Зутры или плоты с верховьев. На той стороне, за широкой водной гладью, темнела деревьями Селевкия Великая, разрушенная когда-то ромеями...

Почему убежал он сейчас? Ведь для этого и шел он туда. Все было обычно для других. И ниша призывно темнела в стене... Рука его бессознательно нащупала крест под жесткой диперанской курткой. Всплыло вдруг в памяти лицо епископа Бар-Саумы, бегающего по комнате. Длинная белая борода развевалась на поворотах...

X

Снова была песня. На этот раз другая, но такт все тот же — мерный, степной, с сухим стуком копыт... С полуночи засвистали поход молодому азату, и уже заплакала свои карие глаза девушка... Фархад-гусан снова скакал без шапки, и ветер трепал на бритой голове оставленную на счастье полоску густых черных волос...

Было время осенних полевых работ, когда поочередно отпускают азатов со службы по домам. Только вместо положенного месяца на этот раз им давали по десять дней, ссылаясь на предстоящую войну с ромеями. Но не ромеи были тому виной...

Авраам отпросился с сотником Исфандиаром в его родовой дех, и эрандиперпат разрешил. Старик читал все его записи и молча кивал головой. Он освобождал теперь Авраама от других диперанских обязанностей, лишь заставлял сидеть на царских собраниях. Там все повторялось; эранспахбед Зармихр противо-

стоял вазиргу Шапуру, мобедан мобед призывал к истреблению христиан, а всех их обличал справедливый маг Маздак. Так или иначе, великие боялись его. Два раза направлял эранспахбед Зармихр конных гурганцев в помощь стражникам для разгона голодных перед храмом Маздака, но в последний раз половину их стащили с коней. В доме врача Бурзоя открыто говорили, что ждать осталось недолго...

Когда выбирались азаты из Ктесифона, мертвые валялись под копытами. Их все прибавлялось, голодных со всех концов Эраншахра. Как только они умирали, специальные прислужники стаскивали их особыми острыми крючьями на каменный пустырь за Северными воротами.

Это было как раз на пути. Слева красновато отсвечивал Тигр, а справа стояли непрерывный треск и скрежет, словно дробили камни. Вся долина до ближайших холмов была покрыта шевелящейся черной массой. Прислужники на конях волокли мертвых прямо в середину пустыря, и тогда черный вихрь взметывался в небо, закрывал солнце. Тысячи громадных птиц неистово били крыльями, и ветер шевелил конские гривы. Не успевали отъехать прислужники — черное облако оседало и слышался все тот же леденящий душу треск лопающихся костей.

Удовлетворенный хриплый клекот стоял над долиной. Конь под Авраамом вздрагивал всей спиной, жался к реке...

Не проехали и четверти фарсанга в сторону от реки, и кони стали. Через дорогу переводили людей, прикованных к единой железной цепи. Гуркаганы это были, «Волчья кровь». За грабеж и убийство, по арийским законам, опускали их под землю, где рыли они во тьме большой царский кариз — водовод. Там и должны были они умереть.

Через каждые двести шагов пробивался от кариза наверх узкий колодец для проветривания текущей воды, но так глубоко это было, что дневной свет не достигал до низу. Почти все, которых вели на цепи, смотрели пустыми глазами, повернув головы к солнцу. Их навсегда ослепила тьма. Попавшие недавно мучительно дергались, стремясь уберечь лицо от света...

Цепь не обрывалась. Медленно, нескончаемо ползла она из круглой дыры в земле, пересекала дорогу и снова уходила под землю. Как из белой китайской бумаги были лица гуркаганов. Отвращение увидел Авраам в глазах азатов. Нет у персов человека презренней убийцы или вора...

И вдруг замер Авраам. Один из гуркаганов приоткрыл

наконец глаза. Искривилось большое, с крупными дырками от оспы лицо, желтые зубы обнажились до корней. Что-то необычное, жестокое, крысье проглянулось в этой улыбке. Но тут другой, маленький и черный горбун,задергал цепь, забился в припадке, начал кусать рядом идущего. Стражник принялся размеренно бить его бамбуковой, с бронзовыми шипами, палкой. Горбун хватал зубами за нее, и кровь капала из большого безгубого рта. Авраам вновь обернулся к рябому гуркагану, но тот уже вместе с цепью уполэал в землю.

Значит, поймали все же его!.. Аврааму вспомнился первый день в Ктесифоне, скачущие меж кустами Сиявуш со Светлолицым и убегающий по ту сторону рва человек. Та же оскаленная улыбка была у него...

Полсотни азатов ехало с ними. По дороге они сворачивали к своим селениям. К деху сотника Исфандиара повернули только на второй день к вечеру. Пятеро азатов ехали в том же направлении. Кроме них были приглашенные в гости Авраам, Фархад-гусан и еще двое.

Хороший, легкий конь был под Авраамом, и сам он ездил теперь как азат. Убитая копытами дорога суживалась между холмами, снова разбегалась, терялась в жесткой сухой траве. Неподвижные суслики проваливались при их приближении. Они бы уже доехали, но по древнему арийскому закону по возвращении домой надо раньше навестить кузню. А это было на добрый фарсанг в сторону...

Крепкая, из дикого горного камня, со времен первых Кеев стояла она здесь на восьми дорогах. Две дехканские арбы и десятка полтора азатов из других полков уже ждали очереди. Возвращаясь, каждый азат обязан привезти домой новый сошник. И выковать его должны только в своей кузне. Полуголый перс, прикрытый одним кожаным передником, бил красное железо. Молодой курчавый цыган раздувал мехи. Белые искры летели во все стороны, и нельзя было оторвать глаз от этого...

Красное, как из железа, солнце закатывалось за холмы. Полукругом сидели азаты. Позвякивая пальцами по прикрепленным к ореховой дуге воловьим жилам-струнам, слепой гусан пел о сотворении Богом мира и человека; о первом на земле царе Кей-Марсе, научившем людей одеваться в звериные шкуры; о внуке его Хушанге, добывшем огонь из камня; о золотом царствовании Джамшида... Тысячу лет царствовал вещий Джамшид, мудро разделивший людей на сословия, пока не бросил вызов самому Богу. «Мир — это я!» — сказал он, и с этого начались все войны и несчастья...

Когда измучили арийцев распри и усобицы, послали они старейшин к соседнему царю Заххаку в Страну Всадников, чтобы пришел и владел ими. Явился тот со своим войском и стал править, а законного царя Джамшида распилил надвое. Только заклят был дьяволом-иблисом отцеубийца Заххак. Две змеи от поцелуев Ахримана выросли из его плеч, и кормить их надо было человечьими мозгами. Двух самых прекрасных арийских юношей приносили ежедневно в жертву змееподобному царю. И вот тогда-то объявился спаситель Эрана, простой кузнец Кова. На железную пику поднял он свой передник, ставший знаменем Эраншахра...

От Ковы пошло у арийских царей имя Кавад. И когда беда грозит Эрану, Бог посылает царя с этим именем... Молчали азаты. Глубокая ночь была уже давно. А кузнец с глухим стуком все бил и бил красное железо, и звездами взлетали искры в черное небо...

Авраам не спал... Кова... ковать... коваль...

Дех был небольшой: домов сорок. Глухими дувалами выходили они наружу. Сад, огород и хозяйственные строения были за ними, а заезжали туда через вмазанные в стену резные деревянные ворота. Канал — яб протекал под дувалами через все дворы, а улица вилась как придется...

Еще издали были видны коричневые прямоугольники на плоских крышах: сушились поздняя курага и персики — шапта-ла. Хороший знак: у самого въезда оглушил азатов с дувала огненный с зелеными переливами петух. Авраам вспомнил старика гусана у кузни. Это царь Тахмурас дал людям петуха с курами, обязав кормить и называть ласковыми именами...

Две жены были у сотника Исфандиара и шестеро детей от них. И раб был у него, но только на две трети. На треть он был свободным и имел маленькую мазанку со своим огородом сразу за дувалом Исфандиара.

Женщины надели новые покрывала к приезду господина, но быстро сняли: надо было готовить еду. Мальчики с невыстриженными клочками волос на бритых головах сразу принялись кормить лошадей. Обмылись с дороги по-арийски — нагретой на солнце водой из медного кумгана. Фархад-гусан и он, Авраам, были гостями Исфандиара. Другие азаты тоже взяли к себе в дом по гостю, и лишь один, Адурбад, поехал дальше в одиночестве. В малом селении жил он, в полуфарсанге от главного деха.

Ели большие светлые лепешки и суп из козла, зарезанного к приезду хозяина. Раб Ламбак, низенький длиннорукий перс, ел со всеми из общей глиняной миски. Потом передохнули на кошме у хауза с водой, переоделись в белое и пошли со двора. Исфандиар подумал немного и кивнул Аврааму, чтобы тот шел со всеми.

— Внутрь только тебя не пустят! — сказал ему Фархад-гусан...

Храм огня стоял на холме — маленький куб без окон. Низ его был из камня, а верх мазан красной глиной, как все дома в селении. Внизу у холма уже ждали приехавшие азаты — свои и из окрестных дехов. Несколько седоусых стариков сидели полукругом на корточках. Тут же был маг — тоже старый, но с бритым лицом. Он подслеповато щурился на всех, а красную хламиду держал свернутой под рукой. Вместе с другими он спрашивал у азатов, правда ли, что бог и царь царей Кавад думает совсем отменить сбор с дыма. Об этом говорили и в кузне, и по дороге сюда...

С холма было все хорошо видно. Брошенные дома узнавались по оплывшим, рухнувшим дувалам, потемневшим крышам. Даже деревья во дворах были какого-то другого — серого цвета. Многие свободно пашущие из сословия вастриошан ушли за речку на землю великих Каренов, потому что сборы там были меньше, чем на царской земле. Сразу за речкой виднелись мазанки нового селения. У самого подножия гор стояла ровная стена зеленых деревьев, квадратные белые башни поднимались за ними. Это был дасткарт Фаршедварда Карена — младшего брата Быка-Зармихра.

Маг, приложив ладонь к глазам, посмотрел на солнце и принялся облачаться в свою хламиду. Все поднялись с корточек, прислужник пошел к дому у подножия холма за атрибутами. Авраам решился:

— Отец служитель совести, позволено ли будет мне увидеть Огонь?

Старый маг с изумлением посмотрел на него.

— Это царский диперан,— сказал Исфандиар.

Все с почтением посмотрели на Авраама.

— Нельзя иноверцу в капище огня...— Маг почесал большим пальцем за ухом.— Пусть постоит в проходе...

Прислужник вынес чашу, каменный топорик и барсам — пучок ярко-зеленых прутьев от какого-то горного кустарника. Маг принял у него топорик и прутья. Все встали, положив руки на веревочные узлы под одеждами. Настало «Время Сосредоточения»...

«Ануаварью» — главную молитву зашептал маг. Как ветер шелестели слова. Авраам оглянулся. Наверное, он один понимал что-то из шепота мага, потому что читал древние арийские книги.... «Так же, как бога небесного, следует выбрать и наставника земного по праведности его, чтобы был он подателем добрых мыслей и вдохновителем дел, ведущих к истине — Мазде, а мир принадлежит ей!» — таков был смысл формулы из двадцати одного вечного слова.

Маг с топориком и прутьями, служитель с чашей, а за ними старики и азаты двинулись вверх к храму. Авраам шел сзади, рядом оказался раб — подросток с живыми темными глазами. По облику его было видно, что это аншахрик — невольник из иноверцев, скорее всего от корня тех римлян, которых два века назад пленил царь царей Шапур Первый. Это они построили знаменитую Плотину Кесаря в Дизфуле...

Двери у храма не было. Стена возникла сразу при входе. Нужно было сворачивать налево, узкий лабиринт вел вдоль всех четырех стен. Это было сделано, чтобы дневной свет не попадал внутрь и не смешивался там со святым огнем Мазды.

Через пахнущую печной глиной тьму двигался Авраам, задевая шершавые стены и тыкаясь в идущего впереди азата. Мальчик-аншахрик, которому тоже запрещалось заходить сюда, дергал его за руку при поворотах. Когда забрезжил свет, он подмигнул Аврааму и втолкнул вдруг его в самую молельню. Никто и головы не повернул в их сторону, а ему отсюда все хорошо было видно и слышно...

Резкое багровое пламя покачивалось на четырехгранном столбе-пиреуме. Никакой книги или свитка не было у мага, по арийскому закону слово написанное теряло чистоту. Даже в школах магов книги Авесты учили с голоса, из века в век. Недавно, уже при Сасанидах, стали добавлять к ним Зенды — толкования, разъясняющие древние, непонятные для нынешних персов слова...

«Зем-зем» дразнили арийских магов за их шуршащие молитвы. И песчаного варана, шуршащего и шипящего в колючей траве, называли зем-зем. Ровным кругом стояли азаты, и красные угли тлели в спокойных глазах. К растению, из которого производят «Напиток Жизни» — хайям, обращался маг... «Первое твое изготовление я прославляю словом, о мудрый, когда жрец берет ветви... Я прославляю и облако и дождь, которые дают расти твоему телу на вершинах гор. Я прославляю высокие горы, на которых ты вырос, Хайям! Я прославляю землю широкую, обширную, производительную, безграничную, твою мать, Хайям праведный. Я прославляю поле земли, где ты растешь, благо-

вонный, и маздаическим ростом растешь, Хайям, на горе. И чтобы ты вырос по пути птиц, и был явно источником праведности. Расти моим словом, по всем стволам, по всем ветвям, по всем сучьям!..»[1]

Маг вложил прутья в чашу, брызнул на огонь, на людей. Чашу передали по кругу, и каждый по очереди пригубил из нее...

«Малейшего выжимания Хайяма, малейшего прославления Хайяма, малейшего вкушения Хайяма достаточно для уничтожения тысячи злых духов. Изгоняется осквернение из того дома, куда его привезут, где его прославляют, Хайяма целебного, явную силу его и пребывание его в селении. Ибо все другие напитки сопровождаются дайвом — дьяволом гнева страшным, но то питье, что от Хайяма, сопровождается праведностью возвышающей: радостно увеселяет сок Хайяма...»

Снова побрызгал маг, и чаша прошла круг. Безостановочно шелестели молитвы...

«Спросил Заратуштр Аурамазду: «Аурамазда, дух святейший, творец миров телесных! Кому из людей ты впервые открылся, кроме меня, Заратуштра? Кого ты учил вере арийской, заратуштрийской?» Сказал Аурамазда: «Иима-Джамшида прекрасного...»

И Иим выступил к светилам навстречу пути солнца. Он толкнул эту землю золотой палкой и ударил ее рожном, так говоря: милая, святая Арамати-земля, выдвинься, раздвинься, кормилица животных, скота и людей! И Иим раздвинул эту землю на одну треть больше того, чем она прежде была. Там нашли обиталище животные, скот и люди, по своему удовольствию и желанию, каково бы ни было желание каждого... Собрание устроил тогда создатель Аурамазда с небесными азатами в знаменитой родине арийцев на доброй реке Датье... Да не будет там ни спорливости, ни наветливости, ни невежливости ни неверия, ни бедности, ни обмана, ни низкого роста, ни уродливости, ни выломанных зубов, ни чрезмерного тела, и никакого из других пятен, которые есть тавро Ахримана, на людей наложенное...

И сказал Аурамазда: «Молись ты, Заратуштр, доброй вере маздаяснической...» Речь мою исполнил Заратуштр, говоря: «Молюсь, Аурамазда, творец праведного творения. Молюсь Митре, имеющему широкие пастбища, носящему отличное оружие. Молюсь святой молитве чрезвычайно славной; молюсь самосозданному небосводу, беспредельному времени, воздуху, действующему на высоте. Молюсь ветру сильному, сотворенному Маздою...»

---

[1] Авестийские тексты даны в редакции К. Г Залемана.

Авраам вначале ничего не понимал. Обе жены Исфандиара сели к ужину вместе с мужчинами и сняли покрывала. Брови у них были соединены широкой темной линией, но лица не были крашены, как у городских. Старшая сидела спокойно и строго, не опуская красивых темно-золотистых глаз. Младшая, лет пятнадцати, круглолицая и крепкая, краснела всякий раз и так и не подняла глаз...

Он совсем забыл об этом. Только когда Исфандиар с факелом проводил Фархад-гусана в гостевую комнату, вспомнил он арийские правила. Аврааму постелили на тахте против входа, и он все видел.

— Какая женщина в этом доме пришлась по тебе, Фархад-гусан? — с тихой торжественностью спросил сотник Исфандиар, став у входа и держа факел в вытянутой руке.

— Ты лучше меня это знаешь, Исфандиар-лев! — так же торжественно ответил из комнаты Фархад-гусан.

Сотник Исфандиар ушел и вернулся уже без факела, ведя за руку завернутую в покрывало фигуру. По росту Авраам определил, что это — младшая, круглолицая. Они остановились перед занавешенным входом...

— Ты поел хлеб в моем доме,— сказал Исфандиар.— Возьми необходимую тебе на ночь женщину...

— Согласна ли женщина? — спросил Фархад-гусан.

— Да, она согласна,— ответил Исфандиар.

Завеса приоткрылась, и белое покрывало скрылось за ней. Исфандиар повернулся и пошел на женскую половину дома. Авраам лежал и смотрел на звезды...

Было жарко. Он открыл глаза, и солнце ослепило его. Авраам встал, отер пот. Никого не было во дворе. Только рыжий конь его стоял, привязанный к столбу. Неужели спят еще?..

Грубошерстная ковровая завеса гостевой комнаты была откинута. Он подошел, посмотрел: никого там не было. Даже на женской половине были отброшены завесы. Он быстро сполоснулся из стоявшего у тахты кумгана, свернул белое домотканое полотно, на котором спал. Потом решил выглянуть на улицу. Ворота были лишь притворены...

Вчерашний мальчик-аншахрик ехал мимо на осле с перевернутыми через седло кувшинами в плетеной суме. Он махнул рукой куда-то в долину:

— Они там.

Авраам вернулся, оседлал коня и поехал за мальчиком. Осел дробно трусил по пыльной дороге, и нельзя никак было подобрать шаг коня. Но ехать далеко не пришлось. Мальчик показал острой палочкой туда, где горы ближе всего подходили к селе-

нию. В низинках между холмами виднелись люди. Авраам толкнул коня...

Он приехал к самому началу. Пара длиннорогих волов стояла впряженная в соху. Мужчины повернулись к солнцу лицами, руки их были сложены на груди под одеждой. На мешках с зерном сидели женщины. Редкая прошлогодняя стерня виднелась на буроватой земле. Здесь, в предгорьях, можно было сеять хлеб без поливов.

— Пора, брат Фархад! — Сотник Исфандиар вынул большие руки из-под рубахи.

— Бог — помощник, брат Исфандиар! — ответил Фархад.

Теперь, после этой ночи, они считались родственниками. Авраам посмотрел на женщин: обе деловито готовили зерно к севу. Исфандиар подошел, взялся за соху обеими руками, приподнял, негромко сказал что-то. Синеватое свежее железо с хрустом вошло в землю. Соха скрипела под тяжестью тела, качнулась и двинулась...

Влажный темнеющий след оставался за ней. Комья земли солнечно сверкали, соприкоснувшись с железом. Дойдя до выложенной камнями межи, Исфандиар повернул быков назад. Ручки сохи на второй заезд принял у него Фархад-гусан, за ним раб Ламбак. Потом они стали меняться реже. Темная полоса становилась все шире. И вот женщины, старшая и младшая, подули в кулаки — от злых девов — и пошли следом, разбрасывая из деревянных мисок крупную бронзовую пшеницу. Теперь свободный мужчина гнал за ними лошадей с бороной. Это была рабочая лошадь, приземистая и ширококостая. Тонконогие войсковые кони паслись, спутанные, неподалеку. Они не годились для земли...

Он еще никогда не видел такими сотника Исфандиара и Фархад-гусана. Что-то могучее, вечное было в их упирающихся в землю фигурах, в сильных руках, разворачивающих и направляющих соху. Горы в белых облачных шапках, желто-зеленая долина и люди с быками и сохой, оплодотворяющие землю,— все было естественно, как в древних молитвах.

Ему до дрожи в руках захотелось взяться за соху, тоже пойти за серыми быками по жесткой бугристой земле. Он сказал об этом. Оба с удивлением посмотрели на него, но Исфандиар без слов отдал ему ручки сохи.

Авраам каким-то высоким, не своим голосом крикнул на быков, навалился телом на соху, но успевшее общарапаться железо не лезло почему-то в землю. Оно проехало поверху шагов десять, рисуя беловатую линию, а потом вдруг зарылось по самое дерево, дернулось, вырвав громадный ком земли, и запрыгало

дальше. И быки почему-то шли равнодушно, словно не касалось их то, что сзади...

Когда он вернулся с быками назад, Исфандиар так же молча забрал у него ручки сохи. Он ничего не сказал, но Аврааму стало почему-то неловко. Это была серьезная работа — пахать землю.

Обедали у расщепленного молнией тутовника на краю поля. Ели печенные в золе яйца с солью и вареную пшеницу. Тут же, по другую сторону от дерева, обедали соседи — семья одного из азатов: старик отец, мать и сам он. Жены у азата не было, и вол был только один, с обломленным до половины рогом. Пожелтевшие усы висели у старика, но выправка была ровная, военная. Вместе с сыном налегали они каждый на одну ручку сохи и успели вспахать к обеду почти столько же, сколько Исфандиар.

Подошел пожилой перс-пастух с длинным плетеным кнутом на плече. Вместе со своим помощником-аншахриком, который привел сюда Авраама, пас он людских и дехканских коров в балке неподалеку. Свободные податные из сословия вастриошан назывались просто «люди» в отличие от служилых азатов-дехкан из военного сословия. А всю общину персы называли миром...

Из разговора, медленного, немногословного, Авраам узнал, что здесь, у гор, находится царская земля, выделенная столбовым дехканам. Часть ее они сдавали людям из вастриошан. Кроме того, люди со своих земель должны десятину пшеницы, соломы и плодов, растущих не на деревьях, передавать на содержание дехканских семейств. Шесть дехканских родов на сорок два дыма вастриошан было в селении. Земля за рекой до самых гор принадлежала им. Но шесть лет назад правивший тогда царь Валарш в награду за усмирение Кавказа передал Каренам всю заречную землю и половину воды. Дехканы и люди сообща жаловались в округ, начальнику — кардару, сатрапу области, но бесполезно. А пока многие тоже ушли к Каренам, и те приняли их. Сейчас в дехе осталось только двадцать четыре семьи из вастриошан. Мост через речку строили тоже их люди. Налоговый диперан — вор и взяточник. Когда приезжает — из семьи в семью переходит, где красивые женщины. Полтора кувшина вина за один раз выпивает этот человек, конь уже не удерживает его на себе. И дехканы, и приписанные люди не знают, что делать дальше...

Вечером они опять сидели на тахте. Пахло пылью и молоком. За дувалом хлопал кнутом и покрикивал мальчик-аншa-

хрик, звякали коровьи бубенчики. Ворота были растворены, и коровы заходили во дворы, шли к своим сараям.

Раб Ламбак оказался хорошим рассказчиком. Положив перед собой длинные руки и тараща круглые совиные глаза, объяснил он повадки всякого порождения нечистой силы Ахримана — девов горных, лесных, водяных, домовых. Миллионы их незримо действовали вокруг, оборачиваясь то оленем, то волком, то добрым ласковым старичком или невиданной красоты девушкой... Это были дайвы из древних арийских книг, девы, дивы. Авраам вспомнил одну ромейскую рукопись о путешествиях к северным народам. Девами там называют молодых женщин, а слово звучит похвалой: дивное диво. Так же как «ромеи» по ту сторону моря, а по эту — «арамеи»...

Когда Авраам писал, персы замолкали, с почтением глядя на его работу. Письмо тоже было искусством дедов. Царь Тахмурас заставил их когда-то обучить этому людей...

А утром не пришлось уже пахать. Когда вывели быков за ворота, подлетел всадник на лошади без седла, крикнул что-то. Сотник Исфандиар и Фархад-гусан посмотрели друг на друга и побежали седлать войсковых коней. Авраам ничего не понимал, но тоже поскакал за ними. Дорогой их догоняли другие азаты...

Это был Адурбад — тот азат, что проехал дальше, самый молодой из них. По черенок сидел у него с левой стороны груди прямой арийский нож, а рука не разжимала пальцев на рукоятке. Он убил себя. И место для этого выбрал, чтобы не опоганить землю,— на камнях за дорогой...

Все знали, почему он сделал так. Дом его оказался на земле, переданной великим Каренам, и Фаршедвард, брат Зармихра, захотел изгнать его. Но отец Адурбада — старый дехкан воевавший против туранцев еще с Ездигердом Вторым, дедом нынешнего царя Кавада, отказался подчиниться. Тогда Фаршедвард запретил им ездить по своим дорогам, а другого пути к их земле не было. Воду он тоже не давал им, а пшеницу стаптывал. Старик прошлым летом умер, осталась молодая жена с двумя детьми. Накануне приезда азатов Фаршедвард увидел ее и приказал увезти в свой гарем как сакар — ненастоящую жену. Приехавший вчера азат поехал в дасткарт просить возврата ее, а на него выпустили собак...

Азаты стояли теперь, не подходя к мертвому. За белыми листьями джиды нарастали шум и гиканье. Между деревьями пронеслись всадники, осадили у самых камней, на которых лежал самоубийца. Первый из них, в голубом бархате с золотом, качнулся в седле, выпрямился, упираясь рукой в конскую гриву. Худое бескровное лицо его дергалось от непрерывной икоты,

светлые глаза смеялись. Свора громадных желтошерстных собак саксаганской породы с рыком и лаем догнала всадников. Но собаки вдруг замолкли, тихо отступили, легли, поджав хвосты.

— Вон он лежит, пес! — захохотал голубой.— А я хотел взамен ему толстую Фиранак послать...

Всадники повалились в седлах от смеха. Кулон с бычьей головой качался на шее у голубого. Авраам понял, что это и есть сам Фаршедвард — младший брат эранспахбеда Зармихра. И у всадников были нашиты бычьи рога...

Фаршедвард плюнул, отворотил коня. В теплом небе растворились смех и лай. Молча стояли азаты. Пришли два аншахрика-прислужника из дакмы — «Башни Молчания», расстелили широкое серое рядно, перекатили на него мертвое тело. Только тогда приблизились азаты, взяли рядно за края и побежали. Каждые двести-триста шагов сменяли они друг друга, но не останавливались, не замедляли бега...

Башня Молчания была не такая, какую видел он в Ктесифоне. Там она — большая, многоярусная, похожая на ромейский театр. Здесь было сложено простое возвышение из камней, а в середине, за невысоким барьером, располагалось по кругу несколько мощенных галькой углублений. Прислужники залезли наверх, подтащили туда рядно с телом. На каменном ограждении уже дрались громадные черные птицы с белыми шеями — отгоняли чужих. Злобные резкие крики и скрежет когтей о камни наполняли воздух...

«Спросил Заратуштр Аурамазду: «Аурамазда, дух святейший, творец миров телесных, праведный! Когда умирает праведник, где в ту ночь находится душа его?» И сказал Аурамазда: «Около головы она восседает...»

По истечении третьей ночи, на рассвете, душа праведника носится над растениями и благовониями. Ей навстречу является ветерок, веющий с южной стороны, из южных стран, душистый, душистее иных ветров... В сопровождении этого ветра является собственная его вера, с телом девицы прекрасной, блестящей, белокурой, плотной, статной, великорослой, с выдающимися грудями и славным станом, благородной, с сияющим лицом, пятнадцатилетней по возрасту и столь прекрасной телом, как прекраснейшие из созданных...

Да поднесут ему пищу из желтоватого масла! Вот пища для юноши благомыслящего, благоговорящего, благодействующего, благоверного — после смерти. Вот пища для женщины очень благомыслящей, очень благоговорящей, очень благодействующей,

очень благоверной, наученной добру, покорной супругу, праведной — после смерти...»

Опять стояли кругом азаты. Маг брызгал в огонь, поминая Адурбада...

«Спросил Заратуштр Аурамазду: «Аурамазда, дух святейший, творец миров телесных, праведный! Когда издыхает грешник, где в ту ночь находится душа его?» И сказал Аурамазда: «Там же, праведный Заратуштр, около головы она шатается...»

По истечении третьей ночи, праведный Заратуштр, на рассвете, душа грешника носится над ужасами и зловониями. Ей навстречу является ветер, веющий с северной стороны, из северных стран, зловонный, зловоннее всех ветров... И потом дева, на женщин вовсе не похожая, идет ей навстречу. Говорит душа грешника скверной деве: «Ты кто, сквернее и отвратительней которой я на свете не видел никогда скверной девы?» И ему в ответ говорит эта скверная дева: «Я не дева, а злые твои дела, о грешник зломыслящий, злоговорящий, злодействующий и зловерный. Ибо когда ты видел на свете, что служат Богу, ты сидел тогда, поклоняясь дайвам. И когда ты видел, что доброму мужу, пришедшему издалека или из близи, дают пристанище, оказывают гостеприимство и дают милостыню, тогда ты доброго мужа унижал, и обижал, и не давал милостыни, а запирал дверь. И когда ты видел, что творят правосудие, не берут взяток, дают верное свидетельство и говорят праведные речи, ты сидел тогда, творя несправедливость, лжесвидетельствуя и ведя дурные речи. На! Я — твои злые мысли, злые речи и злые дела...

Да поднесут ему пищу из яда, из вонючего яда! Вот пища для юноши зломыслящего, злоговорящего, злодействующего, зловерного — после издыхания. Вот пища для бабы очень зломыслящей, очень злоговорящей, очень зловерной, наученной злу, непокорной супругу, грешной — после издыхания...»

Азаты молчали. Красные угольки тлели и вспыхивали в их глазах...

XI

Ктесифон пылал. Бесчисленные башни, храмы и рощи, пальмовые острова — все было красно вокруг. А посредине, на черной наковальне площади, лежал гигантский брусок раскаленного железа...

Впервые подъезжал он к Ктесифону с этой стороны. Заря горела за их спиной, и серебряные плиты дворца царя царей впитывали ее огонь весь, без остатка...

Всю ночь скакали азаты. Сразу после арийского отпевания тронулись они в путь. И ни одного слова не сказали в дороге друг

другу. А ночь тоже была красной. Слева и справа горели невидимые пожары. Под самой луной двигались багровые огни: люди в горах тоже не спали. Звезды сходились, сливались за синими тучами и огненными реками текли оттуда на землю...

Авраам оглянулся. Столбы черного дыма вплетались в зарю. Тысячами дорог шли к городу люди в белых одеждах с обгорелыми факелами в руках. Все перевалы в горах, сами горы дымились по всему горизонту...

Не сговариваясь, остановились азаты. Они смотрели на Ктесифон, и все те же угольники сухо горели в зрачках. Потом они тронули дальше запаленных коней...

Такого еще не видел Авраам. И раньше у каналов, под мостами, в переулках лежали голодные, сотни и тысячи были их. Но сейчас ему показалось, что люди плотной массой покрывают всю землю и не хватает уже места на ней. Кони плыли в этом море, и сразу смыкались и застывали за ними человеческие волны. На азатов смотрели без всякого выражения. Только проехав город, стало возможно пустить коней в рысь...

Но и поесть не успели они. Вся сотня Исфандиара была вызвана для сопровождения. И Авраам не знал, откуда у него взялись в этот день силы и в следующие три дня, потому что не спал и не ел он. И не было спавших в эти дни...

Снова плыли кони в человеческом море, пока не вынесло их у храмовой площади. И сразу же отбросило назад, потому что из прохода главного храма вышел маг в красном. В ужасе закричал кто-то. Пиреум со священным огнем был на вытянутых руках мага, и свет небесный святотатственно соединялся со светом внутренним, данным Арамати — земле для вечного плодоношения.

Настала тишина. И в этой тишине маг поднял над головой священный огонь и швырнул его на белые камни перед храмом. Вспыхнуло, разбрызгиваясь, горящее масло. С бронзовым звоном запрыгала по земле чаша...

— В чем же правда, Маздак?

Голос спрашивающего был совсем юный, но его слышала вся площадь.

— Правда — это хлеб и женщина! — ответил Маздак, и площадь согласно вздохнула.

Их оттеснили, потому что маг Маздак взял факел у ближнего к нему человека и зажег, окунув в горящее масло. И сразу все двинулись вперед, окуная в масло и зажигая факелы...

Все, что было потом, запомнилось как один дымный, пламенный сон...

Пустая черная площадь перед дворцом. Гурганцы на черных лошадях стремя к стремени, и черные волчьи хвосты свисают с их башлыков. А все остальное вокруг белое...

И еще: багровое солнце дымится над морем, и тысячи таких же солнц стоят стеной вполнеба. Темной печью в этом серебре — арка дворца. Содрогающий землю гром труб, и львы, рычащие, рвущиеся с бронзовых цепей по краям завесы...

Все белое склонило головы. Только красный Маздак идет через пустую черную площадь, и тысяча красных магов с дымными факелами в руках идут ему навстречу из серебряной стены. И происходит то, чего никогда еще не было...

Ахает мир. Испуганные львы припадают к земле. Тяжелая царская завеса вздрагивает и вся, от одного края до другого, начинает медленно уплывать вверх. Открывается огромный жертвенник, и царский огонь соединяется с солнцем. Все выше завеса: стали видны уже широкие львиные лапы трона Сасанидов, золотой панцирь, недвижное бронзовое лицо — прямой подбородок и резкий изгиб бровей. И фарр — божественное сияние — ослепляет Эраншахр. Железные крылья орла парят в этом сиянии.

Закутанная тощая фигура мобедан мобеда в ужасе корчится, отползает в сторону. Маздак останавливается напротив трона, поднимает факел. И тогда бог и царь царей, сын бога и царя, встает, делает два быстрых шага вперед и вытягивает правую руку в древнем приветствии мира и жизни... Авраам узнает его, потому что это Светлолицый, с которым играл он в арийскую игру «Смерть царя»...

Гусары стояли стремя к стремени. Гургасары — «волкоголовые» — так персы называли гурганцев за волчьи хвосты на башлыках. Первой тысячей царских «бессмертных» были они, люди из Страны Волков. В Ктесифоне из звали просто гусарами...

С четырех сторон рухнули на дворцовую площадь белые толпы. Черные всадники отъезжали в сторону, и витые ременные плети без дела висели на их запястьях. Но, докатившись, до арки, миллионный человеческий вал вдруг отхлынул, закружился, попятился к Вольшому царскому каналу. Качнулась земля...

Тысячебашенная стальная стена перегородила площадь. Она медленно двигалась и, если бы не случайный взмах хоботом, казалась бы неживой. Кованые башни с узкими щелями для стрелков были словно спаяны друг с другом...

Один Маздак с факелом стоял перед слонами. И царь царей, лишивший себя святости и власти, был один наверху у своего трона. Великие жались к стенам, львы выжидающе рычали по краям. Толпа все пятилась, освобождая площадь. А перед боевой линией слонов сидел на широкогрудом мидийском коне эран-

спахбед Зармихр, и тысяча черных гусар выстраивалась впереди. Пронзительно и страшно завывали сигнальные трубы.

Тогда и почувствовал Авраам, что дернулся конь стоящего рядом Фархад-гусана. А когда посмотрел на площадь, то увидел скачущего по ней азата. Без щита и пики был он, только с голым арийским мечом в руке. Прямо на строй черных гусар несся азат. И еще раз случилось невероятное. Строй вдруг разломился, гусары отъезжали в стороны, освобождая ему дорогу. А он, подскакав к неподвижному эранспахбеду, махнул мечом...

Все было смешано потом в красной ночи: землепашцы в белых одеждах, азаты, гусары, дипераны, люди города. В эту же ночь появились среди них деристденаны — «верящие в правду», люди в красных одеждах с прямыми ножами у пояса. А на гигантском боевом слоне была площадка, к которой крепится башня; на ней стоял великий маг Маздак с факелом и говорил о победе света и правды.

Горячий ветер пронесся над площадью. Ударили невидимые барабаны, тысячи рожков, труб, сантуров нащупывали мелодию. И высокие пронзительные голоса десятков гусанов в разных концах площади нашли ее... «Красный слон мчится вперед, и только ветер свистит в ушах вожатого-копьеносца...»

Волны припева катились в факельном море. Площадка с Маздаком двинулась и поплыла над Ктесифоном, над Эраншахром, над видимым миром...

Часть II

ПРАВОВЕРНЫЕ

Да будет справедливым этот свет,
Наложим на богатство мы запрет.
Да будет уравнен с богатым нищий,—
Получит он жену, добро, жилище!..

Фирдоуси, «Шах-Наме».

I

Дергался человек, изрыгая кровавую кашу. Потом затих, неестественно выпрямившись под кустом. Это был уже третий, которого видел Авраам на дороге...

С ночи открылись засовы всех дасткартов. Голодные при-

падали к зерну, ели его сырым, и многие умирали тут же, под стенами хранилищ. К середине второго дня вызвали всех дипе-ранов. Розбех теперь командовал ими. Он объявил, что перед правдой все равны, поэтому не будет деления их с первого по пятый ряд, и честь каждому по его делам.

К ним вышел маг Маздак. Он коротко объяснил, что надлежит учесть имеющееся в дасткартах, но зерно раньше всего. Надо утолить первый голод людей, пришедших в Ктесифон, а по дехам затем произойдет широкая раздача из местных дасткартов.

Для порядка им выделяются азаты и деристденаны — «верящие в правду». Так называли себя те, кто в «Ночь Красного Слона» надели на себя красные рубашки — кабы и кровью поклялись, что переделают мир согласно великой правде Маздака...

Ночь, день и еще ночь сыпали потом они с Артаком желтое сухое зерно в подставляемые платки и ничего нигде не писали. Вастриошан, люди от земли, не знали лжи.

Наутро третьего дня сделали перерыв. Артак упал в зерно и уснул, но Авраам не мог. Он вышел на дорогу за дасткартом эранспахбеда Зармихра, куда их послали, и тут увидел умирающих от сытости...

Человек больше не дергался. Он лежал, разведя руки и положив лицо в рассыпавшуюся по утренней земле пшеницу. Аврааму почему-то захотелось заглянуть ему в лицо. И он увидел то, что ждал: покорную складку возле закрытых глаз. Это все, что помнилось из его облика.

Авраам оглянулся на умирающих, посмотрел на землю с пожухлой осенней травой, на высокие серые тучи, и сжалось его сердце. На спину он лег, а ветер гнал и гнал тучи над его головой...

Да, он перс — Авраам, и это его земля. И все они персы, невзирая на род и племя: Абба, Кашви, Вуник, ибо родились на этой земле, говорят одинаково, живут и плачут с народом ее...

Кричали сразу много женщин, истошно, захлебываясь плачем. Авраам вскочил, бросился туда, где к реке выходила стена гаремного сада. Азаты стояли перед калиткой, не решаясь войти. Прибежал Артак, сдвинул засов. По составленному вчера списку, шестьдесят две женщины находились здесь: четыре подлинные хозяйки, остальные — сакар, не имеющие родовых прав жены убитого Быка-Зармихра.

Гуркаганы — «Волчья кровь»! О них уже слышали.В «Красную Ночь», воспользовавшись человеческим смятением, разбили

они цепи, загрызли стражников и вырвались из-под земли, куда были навечно опущены за убийство...

Пятеро их стояли на ведущих к реке ступенях. Большой ковровый узел и две закутанных женских фигуры лежали у их ног. Еще один, с кривыми ногами и руками, отвязывал внизу большую плоскодонную лодку. Мостик от дасткарта к причалу был спущен.

— Эй, зачем вы здесь? — спросил Артак.

У них были белые, неживые от подземной тьмы лица. Маленький горбун крикнул мерзкую ругань, яростно погрозил дротиком. Черные волосы, как перья у поедающих мертвечину птиц, закрывали у него уши. Виден был лишь большой безгубый рот, извергающий похабные слова. Азаты вынули мечи.

— По закону справедливого Маздака!

Голос у сказавшего это был спокойный, уверенный. Рябое сильно выдающееся вперед лицо с едва различимой полоской лба показалось знакомым Аврааму. И вдруг край верхней губы сам собой обнажился, открыв крепкие желтые зубы... Да, это был он, который у дасткарта Спендиатов хотел убить из кустов Светлолицего Кавада, царя царей!..

Азаты переглядывались, некоторые вложили мечи в ножны. После смерти хозяина — эранспахбеда Зармихра — все здесь разбежались или забились в свои помещения. Азатов послали с диперанами на раздачу зерна и не дали никаких указаний...

Тот, который возился у лодки, что-то крикнул. Двое сразу подхватили закутанных женщин, бегом понесли к мостику. Остальные отступали спиной. Рябой главарь прижал к себе непонятный узел.

— Слово и дело! — закричал Артак.

Услыхав знакомый приказ, азаты уже без колебаний бросились, ломая розовые кусты. С ними были два мальчика-деристденана в красных кабах, и они опередили остальных, став на пути гуркаганов. Один из убегавших сразу оставил завернутую женщину, но горбун продолжал волочить свою добычу вниз по ступеням. Он злобно завизжал, увидев преграду, и начал быстро и часто колоть ножом свой сверток. Один из деристденанов ухватился рукой за лезвие. Тогда горбун извернулся, огромный безгубый рот впился в затылок мальчика. Хрустнули позвонки...

Азаты в это время были заняты. Они окружали с трех сторон рябого главаря. Тот загородился узлом, и острый меч сверху донизу разрубил вдруг ковровую ткань. Мягкий золотой звон заставил всех опустить руки. Словно сияющее солнце вывалилось из ковра, раскатилось по траве. В тот же миг рябой с горбуном оказались в лодке, и она поплыла вниз по реке.

Огромный рот горбуна был красным. Главарь встал на корме, повернулся лицом к берегу. Все та же желтая крысья улыбка кривила его губы. У азатов не было с собой луков...

Закутанные в белый и розовый шелк женщины показались из-за деревьев, принялись быстро собирать запястья, браслеты, жемчужные нити, узнавая свое. На азатов посматривали, поправляя «платки молчания» поверх ртов. Только одна, неперсианка, подсела к мертвой, отвела намокшее кровью покрывало с лица. Лет десяти была убитая девочка. Рядом лежал мальчик-деристденан с перекушенной шеей...

Это было уже не первый раз, когда гуркаганы именем правды Маздака отнимали золото и женщин, поджигали дасткарты и убивали людей. И рабы из некоторых дасткартов шли в гуркаганы...

В дасткарте Спендиата на большом хозяйственном дворе тоже были сдвинуты все засовы. Дипераны-финансисты от эранамаркера Иегуды производили учет и вывозку масла и пшеницы для раздачи голодным. Два больших каравана по сто мулов, груженных мешками и высокими белыми кувшинами, ушло в Ктесифон. Часть продуктов была оставлена для кормящихся здесь азатов и диперанов. Рабов, принадлежащих тем из великих, кто состоит на царской службе, тоже пока не делили между людьми. Да мало кто и принял бы к себе их в такой трудный год...

И лишних женщин не было у эрандиперпата Картира. Три его жены находились в горном Фарсе, а здесь жила лишь четвертая — Белая Фарангис. Временных жен — сакар старик не имел...

Эрандиперпат спокойно занимался своими делами, как будто не касалось его то, что происходило в дасткарте. Все дипераны знали, что старик сам одобрил действия царя царей в раздаче голодным добра из хранилищ великих. Другие великие злобились на него и говорили, что твердый арийский разум всегда оставляет читающих книги...

Зато Мардан, надзиратель над рабами, все время бегал на хозяйственный двор. Безмерное удивление было на его плоском лице. Каждый выносимый кувшин с маслом провожал он своими водянистыми глазами и всякий раз сглатывал слюну...

Один вид этого человека был противен Аврааму. И не только ему. Фархад-гусан однажды при молчаливом одобрении прочих азатов свалил надзирателя Мардана на землю и иссек ему всю задницу арийской ременной плетью. Кара эта была за цыганенка Рама, которого всячески травил Мардан, стремясь отвадить от

дасткарта. Надзиратель вопил, хватался за сапоги, трусливо молил о пощаде...

Зато к рабам он не ведал жалости. Однажды видел Авраам, как, величаво усевшись на специальный пень для наказания строптивых, надзиратель Мардан заставил за сто шагов ползти к себе на животе какого-то провинившегося старика. Потом два дюжих раба, прислуживающих Мардану, положили старика на этот пень и принялись терзать его тощую спину колючими прутьями. Рядом плакала и молила молодая женщина, а Мардан лишь самодовольно улыбался. А ведь сам он был сыном рабыни, надзиратель Мардан.

Никаких поручений не давал ему старый эрандиперпат, но Мардан по собственной воле подглядывал за всеми людьми в дасткарте. Как-то, стоя с Мушкданэ под платаном, заметил Авраам у каменного желоба для стока воды короткую тень. Потом вышла, как обычно, Белая Фарангис. Когда она удалилась, Авраам оставил дочку садовника и поспешил к водостоку. Но тень уже пропала. В полосе света на миг обозначился вдавленный в плоское лицо нос ноздрями наружу и вороватые испуганные глаза...

Белая Фарангис ждала Сиявуша и все ходила по саду. Редко приезжал воитель Сиявуш, потому что был с войсками. И без Мушкданэ теперь приходил к платану Авраам. В двух шагах застывала от него белая тень. Ярким лунным светом светились ее лицо и узкая рука, придерживающая покрывало. Все остальное в саду было темное: посыпанные белым камнем дорожки, серебряные листья деревьев, луна над головой...

Однажды Авраам не вышел в сад. В лунную тьму смотрел он из окна. Белая тень замерла, качнулась в недоумении и сделала вдруг два шага к платану. Он похолодел и отпрянул от окна. Неужели знает Белая Фарангис, что стоит там он всякий раз?! Когда, набравшись духу, Авраам снова выглянул, лишь луна светила в саду...

II

Почти все собрались в доме врача Бурзоя. Не было лишь Розбеха, занятого где-то с самим Маздаком. В красных кожаных куртках сидели дипераны. Раньше их носили только лучники из броневых башен на слонах. Этих курток много было на царских складах, и по приказу Розбеха они выдавались теперь едущим на хлебораспределение в сатрапии. Многие дипераны

сами заказывали для себя такие куртки, обязательно нашивая карманы для зажигательных наконечников к стрелам.

— Хватит диперанской болтовни! Пришло время действовать!..

Это сказал Абба, повторяя неумолимого Розбеха. Но врач Бурзой покачал седеющей головой:

— Что вы думаете делать с рабами, если захотят равенства, хлеба, женщин ваших? Из плоти и крови рабы...

Все сразу замолчали. Абба вспыхнул.

— Ну и что же! — закричал он, и отчаянность слышалась в его голосе.

Бурзой вдруг повернулся к Аврааму:

— А ведь даже в вашей святой книге, к рабам обращенной и к равенству призывающей, сказано: «раб лукавый»... И это правда: родившийся в рабстве лукав, труслив и злобен.

— И у рабов бывает смелость,— заметил кто-то из диперанов.— Известна притча о рабе, который бросился на льва и жизнью своей заплатил за спасение господина. Разве мало таких примеров? Не всякий свободный способен на такое!

— Да, свободный не способен на это, потому что собственная жизнь ему дорога. Не меньше чужой жизни ценит он ее, а жертвует лишь при желании. И смелость раба, про которого сейчас сказано, в безграничном его подобострастии. Смело заслоняет он в бою своего господина, смело бросается на льва вместо господина, смело ложится под палку, которой господин наказывает его. И терпит, смело терпит... Да, смелость раба — это высшее выражение подлой, собачьей трусости!

— Ну, и... всегда рабам быть такими? — спросил Авраам.

Бурзой пожал плечами:

— Семь поколений требуется прожить свободным, чтобы очистить кровь от этой мерзости... И в вашей книге тоже так сказано!..

Врач Бурзой уже успокоился и продолжал слушать других. Про рабов не хотели больше говорить и вернулись к указу царя царей и бога Кавада о раздачах из дасткартов.

— Увидите! — кричал Абба.— Наши иудеи и христиане откупятся. Они дадут золото, и серебро, и зерно, только бы не трогали их главные торговые склады и мастерские. И будут говорить о братстве во Сионе, как будто Хисда бен Арика или Иошуа бен Гуна братья тому стоящему по колено в воде земледельцу, который задолжал им уже на семь лет вперед! Или, может быть, Авель бар-Хенанишо, первый купец Ктесифона, брат гундишапурскому ткачу-христианину, ослепшему от шелковой пыли!..

Диперан Лев-Разумник подтвердил, что действительно эк-

зиларх мар Зутра и епископ мар Акакий обговаривали с вазиргом Шапуром положение иноверцев в новых условиях. Двадцать мулов с серебром от них было вчера разгружено на монетном дворе у эранамаркера Иегуды. Кроме того, от торгового товарищества выделяется пятьдесят тайяров и пятнадцать караванов по пятьсот мулов и верблюдов в каждом для царских перевозок хлеба. Они благодарили царя за освобождение от незаконных поборов со стороны великих.

— Они еще выиграют от этого! — воскликнул Абба задрожав.— Все... все надо отнять у них!..

Врач Бурзой уже улыбался, как обычно. Когда опять заговорили о великом дне, он вдруг спросил:

— Что, если бы не нашлось азата, который снес голову Быку-Зармихру?.. Ведь народ, о котором столько говорим, побежал перед слонами. Он один повернул все, этот азат...

— Если... Если!!.— снова вскипел Абба, считающий для себя необходимым занять место Розбеха в спорах.— И Маздак один, и царь царей один. Но миллион людей пришло в Ктесифон за правдой. И гусары разъехались перед этим азатом: они ведь тоже народ. А сам азат — разве не народ? Никто не знает до сих пор его имени!..

— Да, это так,— согласился Бурзой.— А вот сами мы кто? Кем себя считаем?.. Мы не пашем, не пасем скот, не куем железо, не сучим шелк. А вот ездим теперь в красных куртках, плохо ездим, не спим ночами. И нанятые великими люди убивают нас на дорогах. Зачем нам это: самому Маздаку, Розбеху, Аббе, Кабруй-хайяму? Что в нас это? Кто мы?!

— Благодарности хотите? — ядовито спросил Артак.

— Я не о благодарности,— спокойно ответил врач Бурзой.— Всегда были, есть и будут такие люди, и я хочу объяснить место их в мире. Сами они чем считают себя?..

Абба пожал плечами. Много говорили о великих, которые увозят свои гаремы в дальние дасткарты или в горы, скрывают ценности, всячески оттягивают раздачу хлеба. Вокруг города и в самом Ктесифоне опасно стало ездить из-за гуркаганов. Настоящую битву устроили они недавно с азатами-деристденанами.

Артак, Абба и Авраам ушли пораньше. Затра им предстояло ехать в Хузистан — самую голодную и близкую к Ктесифону сатрапию...

III

Тот же армянин, смотритель почтового поста, поил лошадей. Авраам задумчиво смотрел на него. Когда-то он натер седлом язву, и старик принес ему травяной мази. Два года

прошло с того времени. Неужели это он, Авраам, ехал здесь с израненной прутьями спиной?.. Почему поехал он сейчас в Нисибин, напросившись у эрандиперпата в помощь царскому посланнику для переговоров с ромеями?..

Всю предыдущую зиму занимался он хлебораспределением, побывал в Хузистане, Мидии, в старом Фарсе, где могилы и рельефы великих Кеев. Из гробниц и колонн мертвого города Персеполиса таскали камни для заборов. Запустение ширилось в Эраншахре. Дасткарты не отбирались у великих, но рабы разбегались от них, шли в гуркаганы. Оливы и виноградники стояли неухоженные.

Накануне в дехе Исфандиара выделял он пшеницу и женщин из дасткарта голубого Фаршедварда, младшего брата убитого Быка-Зармихра. Десять тысяч олив были срублены там под корень: лучше бы распределили их между собой. Люди — вастриошан, несмотря на указ царя царей, все равно смотрели на это как на чужое. В крови это у арийцев — послушание и запрет на принадлежащее другим добро...

Легче всего оказалось с женщинами. Кроме двух, все дали согласие, которого требовал Маздак при определении их в дехканские роды и роды вастриошан. Наверно, очень плохой человек был голубой Фаршедвард. Сам он, боясь соседей — азатов, сбежал после смерти брата на Север. Где-то там у него было еще одно владение с женами. Из его дасткарта отдали в селение восемьдесят одну женщину...

Авраам сам занимался этим. Ему помогали лишь младший диперан из округа — рустака, старый мобед и кедхода — староста селения. Одна из несогласных идти в другую семью женщин приходилась младшой сестрой Фаршедварду — своему мужу. Она захотела остаться в своем роде, и кедхода обещал отвезти ее в дасткарт одного из мелких Каренов неподалеку. Другую женщину Аврааму с азатами пришлось везти в Ктесифон. Согдийка была она и пожелала вернуться домой. Но по дороге мул ее все прижимался к коню красивого сотника-азата, и после ночевки у кузни этот сотник отправил ее к себе домой, куда-то в Гилян...

Грудь и лицо маленькой согдийки видел Авраам у кузни. И слышал ночью, как грубо возился с нею сотник. Она вскрикивала и смеялась, как когда-то Пула за дверью. После этого и потянуло его в Нисибин...

VII

Все уменьшилось в Нисибине: улицы, площади, дома. Даже водовоз Хильдемунд сделался ниже, и бочка его осела. Все так

же шили верблюжьи седла не имеющие достатка студенты, по заросшему крапивой двору бегал и ругался мар Бобовай. На старом месте стоял столб с правилами академии, те же козлы под ними и пустые скамейки были вокруг, но и это не взволновало...

Больше всего обрадовался его приезду Хильдемунд. Старый вандал ходил вокруг него, украдкой вытирая глаза. И Авраам почувствовал при виде старика, как веки его влажнеют. Что это было между ними: может быть, те слова, которые повторил когда-то Авраам на чудном северном языке...

Мар Бар-Саума был плох. Он лежал в затемненной комнате на восокой деревянной кровати, и волнистая белая борода покрывала, всю ее, ниспадая к полу. Епископ взял руку Авраама, подержал и отпустил...

Авраам ходил по Нисибину, переходил с царской стороны на торговую, подолгу останавливался на углах, в тени деревьев. И вдруг понял, зачем приехал. Она шла с оплетенным соломой кувшином под рукой, и крепкие маленькие плечи ее двигались в обратную шагу сторону...

Рабыня Пула остановилась, улыбнулась ему, отставила кувшин. И спокойно стояла, как будто знала все и ждала его приезда. Словно бы ниже ростом сделалась она, но хитон еще туже был натянут у нее на груди. И плечами слегка поводила она даже когда стояла...

— Ну... как ты живешь, Пула? — спросил он у нее.

Она приподняла локоть к густым каштановым волосам, с насмешливым недоумением посмотрела ему прямо в глаза. И он быстро, сбиваясь, попросил ее прийти к крепости, когда будет садиться солнце.

Она кивнула, выслушав, и еще раз улыбнулась ему...

В крепости она подошла, спокойно оперлась на его руку и повела по тропинке. Солнце еще висело в небе, но было уже не жарко. Он по дороге попытался обнять ее за плечи, но она освободилась, потому что неудобно было идти так вдвоем по чуть видной тропинке среди кустов. В сторону потом прошли они еще немного...

На небольшой полянке, когда к кустам вдруг прибавились высокие папоротники, она остановилась, потянулась слегка и удобно села на траву. Он сел рядом и сразу обнял, стал трогать руками ее грудь, плечи, шею, прижиматься к ней лицом. Руки его мелко дрожали. Она разрешала все, освобождая только лицо. Потом положила прохладные ладони ему на щеки; медленно, закрыв глаза, приблизила губы... Руки у него вдруг перестали дрожать. Они сразу почувствовали ее колени и выше...

— Подожди...

Она встала, распоясала хитон, сняла его через голову, аккуратно постелила и легла на спину. Он упал на колени, повалился на нее, и сквозь поиски пробилось удивление: какие у женщин тяжелые и твердые ноги... Она помогла ему...

Потом он не знал, что ему делать. Она говорила о чем-то, как будто ничего не было, смеялась. Когда ушло солнце, она сказала, чтобы он разделся, потому что испачкает травой одежду. Он разделся, стараясь, чтобы она не видела, лег к ней. Тогда Пула повернулась и обняла его...

Каждый вечер теперь пробирался он в крепость и ждал во тьме белый хитон. Она приходила позже, закончив свои дела, и они сразу ложились на траву. Она учила тому, чего он не знал, и сама загоралась до потери памяти. А он привык уже к ее груди, бедрам, телу. И только первое удивление не проходило: какие у женщин крупные округлые колени. Он почему-то представлял их иначе.

Хильдемунд ждал его на скамье у сторожки, потому что Авраам не ходил ночью в царские казармы, где им отвели место, а спал у него. Вандал покрякивал, стелил ему рядом на лежанке, сам ложился на широкую дубовую скамью. Кусок пирога с сыром и холодное молоко в чашке всегда были у него для Авраама.

Днями он сидел в царском зале сатрапии, составлял записи разговоров посланника эрандиперпата с ромейским сенатором Агафием Кратисфеном. По всему было видно, что ромеи тянут дело с выдачей положенного по договору золота. То они справлялись, будет ли царь царей строить защитную стену против гуннов в Каспийских воротах, у Дербента; то снова заводили вечный разговор о Нисибине. Сенатор ненароком осведомлялся о том или ином из воителей Эраншахра, чьи дасткарты были разгромлены. Чувствовалось, что он знает все про дела в Ктесифоне. Один раз сенатор даже спросил о Маздаке...

Хушнаваз, великий туранский владыка, разгромивший девять лет назад самого Пероза с лучшим персидским войском, ждал где-то в своих степях ежегодного приношения. Что, если, не получив требуемого, бросит он опять своих царских саков на Эраншахр и, пройдя его, обрушится на империю?! Об этом надо было неустанно напоминать ромеям, но так, чтобы не ронять достоинство Эраншахра. А посланник эрандиперпата, неумный старый шахрадар, все сводил на законный договор Византии с Эраншахром, по которому ромеи обязались платить за защиту кавказских перевалов. Это была извечная тупая вера в доблесть. Как будто значат что-либо в реальной жизни клятвы и договоры,

не подкрепленные корыстью. Лишь для детей годятся старые арийские сказки. Сами же арийцы первыми нарушают свои клятвы...

Авраам засыпал сидя, голова его кружилась. И оживал лишь к вечеру. В городе на него смотрели с интересом, перешептывались друг с другом. Здесь уже некоторые дипераны тоже надели красные куртки. Фаруд, которому помогал он когда-то переписывать христиан города, бурчал что-то себе под нос о «красных абрамах».

Уезжал он утром и еле взобрался в седло. Пула махнула ему рукой из крепости, засмеялась и ушла. Хильдемунд брел рядом с конем до самого выезда из Нисибина...

Видел он еще в городе Елену, дочку ритора Парцалиса. Она вытянулась, сделалась худой и долголицей. Пятнышко у левого глаза пропало...

IV

В третий раз пришли в Ктесифон деристденаны — «верящие в правду». Даже из туранского Согда и ромейской Армении были здесь люди в красных кабах, перепоясанные веревками. Ничего из оружия не имели они: ни меча, ни щита. Только прямой обоюдоострый нож висел у каждого на животе вместе с черным точильным камнем...

Датвар Розбех командовал ими. Задолго до «Красной ночи» объединялись по пять человек, приверженцы правды Маздака и давали клятву. «Четыре через Семь и Двенадцать» — было их учение, и эти знаки выбивали они на лезвиях ножей.

Несколько раз уже ездил с ними Авраам для раздачи хлеба из дасткартов. В последний раз был он в Хузистане, и кедхода, староста приданной ему пятерки из местных деристденанов, удивил его. Это был вольный перс — гончар из людей города Гундишапура, обликом похожий на эрандиперпата Картира.

— Каково значение великих цифр? — спросил у него Авраам.

А гончар объяснил... Четырьмя понятиями проявляется Высшая Сила: первое — Различение противоположностей; второе — Память, властвующая над временем; третье — Мудрость, способствующая равновесию, четвертое — Радость удовлетворения... Путем Семи сущностей определяются они в обыденной жизни, и эти сущности — Власть, Управление, Хранение, Исполнение, Разумение, Рассуждение, Служение... А Семь вращаются по извечному кругу Двенадцати действий — произносить, давать,

брать, нести, питаться, двигаться, пасти, сеять, бить, приходить, пребывать твердым. Свет и тьма борются в этом непрерывном вращении...

Авраам много раз слышал откровение Маздака. Но не умеющий читать деристденан понимал это не просто как заученную истину. Построенная великим магом система мирового движения проникла в плоть и кровь, целиком захватила разум. Никаких других возможностей не существовало для него в этом мире, бесконечность которого прежде всего признавалась Маздаком. Сомнения врача Бурзоя вспомнились тогда Аврааму. Сколько было уже четких, завершенных систем: вавилонских, египетских, ромейских, и они рушились, развеивались в прах...

Когда Авраам попытался осторожно заговорить об этом, гончар запрещающе поднял правую руку. В спокойных глазах его светилась разумная вера. И лишь подумав, ответил он:

— Ты просто никогда не работал руками, красный диперан... Родившись, начал мять я глину. Чистую глину, без примесей. И тридцать пять лет делаю одинаковые, в четыре локтя длины, трубы для воды и стока нечистот. У меня не может быть сомнений. Если я поверил,— значит, это правда!...

Ладонями к огню, у которого грелись они, лежали большие жесткие руки гончара. Такие же руки были у сотника Исфандиара и Фархад-гусана. Авраам вспомнил непрерывный, однообразный, отливающий солнцем след от сохи, размеренный обреченный шаг быков... И у рабов, окапывающих оливы, такие руки...

Осознанность веры была у этих людей, но не она поразила тогда Авраама. Другое было неожиданным. Гончар ощущал бесконечность, но не хотел ее. Он сознательно и непримиримо отметал все другие возможные системы. Значит, за высоким лбом мага родилась такая правда, которая именно сейчас нужна людям. Только она и никакая другая. Свет уже побеждает тьму, и для полного торжества правды необходимы лишь самоотречение, чистота мысли, слова и дела!

Наверно, каждая забытая правда прошлого нужна была людям. Они сами выбирают и прилаживают ее себе ко времени. Что же такое — правда?.. Авраам посмотрел в глаза гончару и не стал спрашивать.

Белую муку, досуха прожаренную в сладком масле, раздавали людям деристденаны. Вяленые бычьи туши они разрубали на двенадцать положенных частей каждую. Бруски истекающего желтым жиром арийского сыра резали широким тесаком без взвешивания. Сушеные абрикосы, инжир, финики отмеривали в шапки. Ароматом бесчисленных пиров пропитались их тела и

одежда. Один раз в день садились они у хауза, миску теплой воды ставили между собой. По горсти принесенной из дому сухой муки ссыпали туда деристденаны и ели, передавая по кругу большую деревянную ложку...

В третий раз после великой ночи пришли они, и словно кровь проступила сквозь черные каменные плиты. Пятерками, по сто в ряд, стояли «верящие в правду», бесконечно отражаясь в серебряной стене. Близкие друг другу люди это были — отцы с сыновьями, братья, родственники по праву ночи в доме единоверца. И дети стояли среди них, не достигавшие до плеча зрелым мужчинам...

Подъезжая к площади, Авраам смотрел по сторонам и вдруг увидел гончара. Те же трое братьев и двенадцатилетний внук были с ним.

— Мы пришли к Маздаку спросить, что нам делать дальше...

Это сказал гончар, и в знак безмолвного согласия наклонились головы у всех четверых. Одинаковые были они — ссутуленные, с длинными руками, приспособленными мять чистую глину. И мальчик был такой же, только без отвисающих к плечам усов.

Когда Авраам оглянулся от дворца, то снова увидел гончара среди тысяч людей...

Давно убрали желтый шелк, отделяющий нишу для диперанов. Не приходилось теперь сдвигать его всякий раз, чтобы увидеть говорившего. И внизу все было не так...

Не гремели трубы, и не призывались сословия. Пустой трон стоял где-то за тяжелой бордовой завесой, а царь царей и бог Кавад сидел со всеми на высокой подушке, и каждому было открыто его лицо. Звериные лампады больше не зажигались — горели простые трехъярусные светильники. Они источали ровное пламя, и не было от него дымного багрового отсвета.

Все здесь теперь было обычным: большой ковер на полу, колонны с рельефами, человеческие лица. Только круглая черная яма по-прежнему холодно зияла посреди зала. Прямо напротив нее сидел царь царей...

Вчера лицом к лицу увидел его Авраам. Как когда-то вошел вдруг в книгохранилище Светлолицый. Сделав разрешительный знак, он остановился в шаге от Авраама и вдруг коснулся его плеча:

— Ты пишешь мою хронику?

Авраам хотел склониться. Светлолицый еще раз досадливо поднял руку и стремительно прошел к окну. Он долго смотрел куда-то поверх стены дасткарта, а Авраам не знал, что ему делать. Эрандиперпат, наверно, рассказал царю царей о «Книге Владык», но не об этом спрашивал сейчас Светлолицый. Помнит ли он то первое утро, когда учил Авраама старой арийской игре «Смерть царя»?..

— Мы в один день родились с тобой, христианин...

Авраам сначала не понял. Тень Светлолицего падала к самым его ногам. В узком окне виднелся лишь край широкой брови и повторяющий ее угол подбородка. Действительно сказал это царь или послышалось ему?..

Уже во дворе вспомнил он арийское поверье о ровесниках. У каждого человека есть двойник, родившийся в один день с ним. Они связаны навечно... Да, он, Авраам,— сын Вахромея, родился в День Царя...

Светлолицый быстро поворачивал голову к каждому говорившему. В глазах его открыто вспыхивали огоньки одобрения или осуждения. Бледной тенью сидел за ним царевич Замасп, брат его по отцу Перозу. Во всем повторял он Кавада — резко изогнутые брови, хищность носа, твердая линия губ. Лишь подбородок вдруг терялся, заостряясь и пропадая где-то внизу. И еще глаза никак не могли остановиться на лицах людей и бесконечно метались по потолку...

Немного великих осталось в Царском Совете — половина подушек пустовала. Мобедан мобед сидел поникший, затаив маленькую голову в одеждах. Не было вазирга Шапура из Михранов, который умирал от болезни крови. Ни один из восьми больших Каренов не остался в Ктесифоне после смерти родового главы — Быка-Зармихра. В горной Мидии на путях к Турану засели они, не допуская в свои дасткарты царских диперанов. Так же сделали многие другие из великих...

Зато появилось здесь несколько новых из приверженцев правды Маздака, и среди них неистовый датвар Розбех — вождь деристденанов. Сразу за Маздаком сидел он в ряду. Оставшиеся великие настороженно посматривали на него...

Только старики в белых одеждах из сословия вастриошан были все те же. Они неподвижно сидели на своих желтых подушках, и громадный кузнец в прожженном кожаном переднике стоял за ними.

И на прежнем месте, пятом в ряду мобедов, сидел великий маг Маздак. Огромный лоб его высился над всеми, и все подушки

были повернуты к нему. Царь царей и бог — Светлолицый Кавад смотрел на него, ожидая решения...

Розбех кивнул в сторону царя царей, коснулся рукой глаз и быстро повернулся к Маздаку:

— Три года прошло с великой ночи... Не отворились до сих пор ворота дасткартов в Мидии, Атурпаткане, Гиляне, Хорасане. За их каменными стенами спрятано счастье Эраншахра. И разве все свои сокровища и женщин отдали сидящие здесь великие?!

Маздак молчал. Что-то новое, не свойственное ему, увидел Авраам в очертаниях тяжелой головы.

— Чего ты хочешь, датвар? — спросил Светлолицый.

— Они пришли к нам за правдой...— Розбех, задыхаясь, простер руку куда-то ввысь.— Нужно дать им право на убийство!

Мобедан мобед совсем вдруг исчез в своей хламиде. Великие пошатнулись и замерли. Тяжелый гуд послышался в наступившей тишине, словно огонь горел где-то в глубине земли. Это было как если бы заткнуть пальцами уши. «Верящие в правду» ждали на площади, и плоские точильные бруски висели на их поясах...

— Мы не пустим краснорубашечников в дехи!..

Дипераны вытянули шеи, стремясь увидеть заговорившего вдруг старика от людей-вастриошан. Из Артурпаткана был он. Деристденаны накануне поехали туда, чтобы раздать пшеницу одного из Каренов, но сами люди-вастриошан не позволили им этого сделать...

Они сидели тихо, земледельцы в белых одеждах. И тогда заговорил старый азат со шрамом через все лицо из сословия артештаран:

— Твои люди, великий датвар Розбех, захотели коснуться нашего Огня в Шизе. Почему они лишают людей свободы совести?.. Они убили невинного человека лишь за то, что он обладает богатством. Среди твоих людей видели нечистых, осквернивших себя воровством. Зачем приобщаешь ты к нашему делу неугодных Мазде?..

Датвар Розбех снова выбросил белую руку из-под фиолетового судейского плаща. Его сухощавое лицо было неподвижно. Только светлые холодные губы чуть двигались и неумолимы были глаза.

— Вы темны и не знаете собственной пользы, арийские дехканы и люди-вастриошан. Огнем ослепили вас мобеды. Но нужнее огня вам хлеб и женщина. Почему же противитесь вы?!

Страдание слышалось в голосе неподкупного датвара. Весь Эраншахр знал и любил его, ненавистника великих, первого сподвижника Маздака. Все молчали. Но вновь прокатился подземный гул, и страшно, неистово закричал Розбех:

— Нет, не правдой и молитвами опрокинут будет Ахриман в душах великих! Смерть им, и пусть рухнут все стены на земле!..

Качнулась голова Маздака, и Аврааму вдруг показалось, что трудно ее стало держать великому магу. Печальная складка обозначилась на лице его, у самых губ. Не было ее раньше...

Светлолицый повел рукой:

— Говори, датвар!

Ровно, убеждающе заговорил опять Розбех... Да, нужно убрать огонь от глаз людей, чтобы увидели они мир в естественном свете. Под страхом смерти следует запретить посещать огнища. И не надо страшиться лжи, когда она служит правде. Гуркаганы из черных каризов пусть будут признаны, потому что лишь волчий язык разумеют великие. Обратно под землю уйдут силы зла, когда исполнят свое...

Резко поднялся с подушки Маздак, и сразу встал вместе с ним Светлолицый. Открылись где-то невидимые завесы, и грозный гул ворвался в зал. Колыхнулось белое пламя светильников...

Авраам с диперанами поспешил по переходам верхних этажей к площади, где ждали деристденаны...

— О Маздак!..

Красным пахнуло в открытый зев дворца. Не из диперанской ниши под сводами, а вблизи увидел Авраам помост во всю ширину арки. Один Маздак стоял на нем, и Светлолицый сидел в вышине под короной на бронзовых цепях. Арийские железные крылья были на ней, означавшие орла-властелина и петуха, приносящего счастье Эраншахру...

Голова Маздака приподнялась, оглядывая площадь перед дворцом, улицы и переулки, полные людей в красных одеждах. Он даже привстал на носках, чтобы дальше увидеть, и печальная складка у рта не видна стала при свете солнца. Люди склонились, положив ладони на глаза...

Что-то звякнуло под ногой. Авраам увидел обрывок бронзовой цепи, на которой сидели когда-то желтые львы по бокам трона Сасанидов. Их убрали после «Красной Ночи»...

Он уже много раз видел заполненную людьми площадь. И деристденаны уже дважды приходили сюда в великую годовщину. Но другими были сегодня люди...

Авраам оглянулся на узкую нишу под самым потолком арки и понял. Оттуда, с нечеловеческой высоты, смотрел он на людей,

и муравьями казались они, чьи судьбы решает садовник. Здесь, у помоста, глаза и лица были у них...

Рука Маздака взметнулась над этими людьми:

— За правдой или ложью пришли вы сюда?..

Только губы шевельнулись у великого мага. Голос его весь без остатка ушел под своды и лишь потом низринулся на площадь, стократно усиленный. Красная волна покатилась по ней, достигла дальних деревьев и миллионноголосым воплем возвратилась назад.

— О-о Маздак!..

Первородный ужас был в глазах мужчин, стариков, детей. Они тянули руки к великому магу, страшась его недоверия, боясь остаться одинокими в этом мире.

А Маздак заговорил быстро и четко, с мягким северным пришептыванием... Свет отделить от тьмы — вот к чему должны от рождения стремиться люди. И не может быть послаблений в этой битве. Непобедима правда, пока ложь не проникнет в нее изнутри. Трудность в том, что ложь всегда может прикрыться правдой, но правда ложью — никогда. Малейшие ростки лжи должны быть отделены, иначе снова смешаются свет и тьма в мире. И наступит хаос, а при нем — беспредельна ложь и все несчастны...

— О-о-о!..— простонала площадь.

— Свет зари на ваших одеждах!..— Маздак шагнул к самому краю помоста.— Все больше людей побеждает тьму в своих душах. Бесконечен этот путь, и мы не увидим встающего солнца. Но слепы те, кто хочет приблизить его восход убийством, ибо убийство — всегда ложь. Разве пролилась кровь в великую ночь? Никто не знает имени азата, убившего эранспахбеда Зармихра, и не от Мазды ли был послан этот человек, чтобы люди не осквернили свои руки кровью? Нет, несовместимы кровь и правда, и не может быть у людей права на убийство!

— О-о...

Это вздохнули за спиной, и, обернувшись, увидел Авраам великих. Свет был у них в глазах, и руки тянулись к Маздаку. Из плоти и крови состояли они, открывшие свои дасткарты.

И только потом разрешающий знак тихо прочертила ладонь великого мага:

— Обороняясь от напавших на вас, убивайте без радости. Нет увлечения страшнее убийства.

— Маздак, о-о-о-о-о!...

Датвар Розбех в фиолетовом плаще стоял первым к помосту, бесконечно повторяясь с Маздаком в серебряных пластинах на стене дворца...

V

К войскам на границе с ромеями поехал воитель Сиявуш, потому что оставляли самовольно рубежи азаты и уезжали в свои голодные дехи. Давно уже не было его, но каждую ночь выходила Белая Фарангис и ждала, придерживая покрывало. В двух шагах стоял Авраам. Все больше становилась луна, пока не пропала, и ночи сделались черными...

Это было сразу после Нисибина и Пулы. Он позвал Мушкданэ — дочку садовника в темноту от платана и не стал больше трогать ее руки. Короткое покрывало развернул он на ней, снял все и положил ее на землю головой к забору. Ноги у нее тоже были совсем худые и холодные. Но он зажмурился и сделал то, от чего не мог удержаться. Она молчала и даже от боли только тихо вздрогнула... Ему было неприятно.

Никогда больше он не звал Мушкданэ...

Все на том же месте стояла Белая Фарангис. Безлунный воздух был горячим. Растворились звезды, в черной неслыханной духоте повисли умирающие листья платана...

К стволу прикоснулся Авраам и отдернул руку. Дерево было раскаленным, и сок уже не двигался в нем. Он потрогал себя и ощутил ту же горячую, не принадлежащую ему твердость. Неподвижен был вязкий остановившийся мир, лишь Белая Фарангис стояла все там же, и частыми толчками приподнималось на груди у нее покрывало...

Все уже делалось помимо него: не стало вдруг сердца, голова закружилась в безмерном ожидании. Лунное лезвие прожгло листву, помчалось по кромке крыши. И тогда она повернулась и пошла к нему, прятавшемуся у дерева...

Протянув руки, с закрытыми глазами коснулась она его волос, глаз, шеи; покрывало сползло с ее плеча. Он хотел остановить падение, но тяжелый шелк скользнул между пальцами, и осталась только холодная чистота тела. Потом ладонь его двигалась, никак не остывая...

Руками защищал он ей спину от шершавой коры платана и не чувствовал боли в ободранных пальцах. Колени его напряглись, приняв всю тяжесть. Она вдруг открыла глаза, задыхаясь:

— Вот какой... какой ты, христианин!..

Они вздохнули вместе, но она все не отпускала его. А он уже проснулся, не веря себе. Чуть присев, подняла она поте-

рянное покрывало, взяла его за руку и повела через калитку в стене.

Крест там упал ей на грудь. Она отбросила его, и ничего уже больше не было между ними. Он почувствовал сразу всю несдерживаемую силу ее бедер, кровь полилась из прокушенной губы...

Стиснув зубы, душила она его до утра. И всякий раз широко открывала глаза, удивленная, растерянная от счастья, уничтоженная. Имя его с медным арийским звоном выговаривали ее губы:

— Я люблю тебя, Абрам... Абрам!..

Нет, Белой Фарангис она была и утром отстранила его. Потрясенный, переполненный, он захотел благодарно прижаться к ней и вдруг увидел рядом с подушкой легкий саксаганский серпик без ножен. Она лежала, закрыв глаза, и он ушел. На руках осталось неслыханное ощущение ее тела...

Он шел к себе через сад. Гром гремел в предутреннем небе. Огненные зарницы вспыхивали, не прерываясь ни на мгновение. И не было нигде воды — в воздухе, на земле, в траве и листьях. Земля потрескалась, обнажив корни. Черными обугленными факелами торчали из нее гигантские розы.

Авраам откинул завесу главного коридора, и руки его сделались чужими. Ярко горели светильники в нишах. Эрандиперпат Картир смотрел куда-то поверх его головы...

Медленно отступил Авраам, приник спиной к каменной стене. Как будто не было его здесь, прошел эрандиперпат. Долго хрустели по песку размеренные шаги, пока не прервал их новый удар грома в сухом, искаженном молниями небе...

VI

Безразличны ко всему были руки, ноги, голова. Мысли сплетались и расплетались, уползали куда-то, и не хотелось их удерживать. А может быть, приснилось ему все земное: грубая шершавость платана, тяжелые удары широких бедер, серпик у подушки?..

Да, все по-прежнему. И Белая Фарангис под покрывалом. Воитель Сиявуш еще когда-то снился ему... Все тело его содрогнулось воспоминанием. Авраам приблизил руки к лицу, и невозможно уже было оторвать искусанных губ от их терпкого запаха...

И эрандиперпат Картир в предрассветном коридоре — тоже не сон!.. Холодная испарина выступила на лбу. Невидимый Мардан крикнул, что его зовут. Кто-то другой, а не он, встал с лежанки, прошел знакомый путь, отвел рукой завесу и коснулся

мокрого лба. И еще раз ощутил от ладоней счастье ночи...

Это был только сон... Эрандиперпат, как всегда, важно указал на подушку, где садились дипераны. Ему, Аврааму,— сыну Вахромея, предстояло завтра отправиться с поручением царя царей в Туран. Сорок мулов с чеканным серебром и в слитках должны без задержки дойти до золотой юрты Хушнаваза — владыки всего Востока. Это не простая уплата за разгром царя и бога Пероза десять лет назад, а дар приемного сына Кавада своему второму отцу, у которого он воспитывался с малолетства. И еще благодарность за помощь в предстоящей войне с ромеями, потому что упорно требует возвращения Нисибина новый кесарь Анастасий. На царской стороне уже собран караван и полк охраны. Они выйдут на рассвете через Восточные ворота, а в Хорасане возглавит посольство великий канаранг Гушнапсдад, военный правитель Мерва.

Медленно и со всеми подробностями объяснял эрандиперпат, как ему следует действовать в пути и по прибытии в Согдиану, где разбил сейчас свою юрту туранский царь. А в ушах Авраама все хрустели по песку удаляющиеся размеренные шаги, и не мог он поднять головы...

О главной его цели заговорил старик. В Туране вторая половина сказаний о древних владыках, так как мир был когда-то единым. И даже когда он раскололся на три части: Рим, Эран и Туран, они оставались связаны враждой. Там, в Туране, тысячу лет назад погиб Кир — великий из великих Киев. Двурогий Искандарий вернулся оттуда, не дойдя до последних его пределов. И там же, в безмерности пространства и времени, следы великого царевича Сиявуша...

Авраам напрягся, ибо знал это странное арийское предание... У одного из первых царей — грозного Кей-Кавуса была молодая и несдержанная в чувствах жена Судаба. Она пленилась сыном царя — благородным Сиявушем. Трижды искушала она его, но, воспитанный в чести самим Ростамом, отверг он измену. Похотливой женщине поверил царь, а не кровному сыну. И дальше происходит неслыханное искажение прямого, как меч, арийского мышления. Отправленный воевать Сиявуш соглашается вдруг на мир с Тураном, и железнотелый воитель Ростам почему-то одобряет его действия...

Нет, равнодушно выговорили губы старика имя неверной царицы и больше не повторяли его. И благородство отвергнувшего ее царевича осталось где-то в стороне. Записи о жизни и смерти Сиявуша в Туране предстояло разыскать Аврааму, а если нет их, то записать со слов разных людей. Все надо привезти, что можно будет найти о Сиявушкарте, потому что царь царей и сам великий Маздак интересуются этим...

Сиявушкарт, город вечного счастья, построил где-то на краю мира мягкосердный царевич, когда бежал от отцовского гнева к извечному врагу Кей-Афрасиабу. Есть много рассказов, как отправлялись искать этот город и даже находили его в разных местах. Каждого третьего в Эране нарекают именем Сиявуша...

Во весь свой рост поднялся вдруг эрандиперпат. И Авраам поспешно встал, не поднимая головы. Долго слышались, приближаясь, шаги. Громадные остроносые туфли — одна, потом другая — возникли и остановились перед Авраамом. Кровь медленно отливала у него от сердца, болели колени. Тяжелую безжизненную руку почувствовал он на своей голове. Как и в тот день была она, когда поручили ему «Книгу Владык»...

Авраам облизнул ссохшиеся истерзанные губы и поднял глаза. Эрандиперпат важно кивнул, отпуская его в путь...

В казармах при царском монетном хранилище готовились к дальней дороге. Дипераны эранамаркера Иегуды выдавали азатам из полка охраны деньги, сушеное мясо и жаренную в сладком масле муку. При каждом азате шел второй конь с провизией. Сотники проверяли оружие, подгоняли нерадивых. Только здесь Авраам узнал, что с ними пойдет большой караван от торгового товарищества. Он поспешил туда, на подворье...

И на торговом подворье была кутерьма. Три или четыре каравана из разных концов света скопились там. Мулы и верблюды не вмещались уже в конюшни и стояли на площади перед воротами. Прислужники на ослах подвозили им сено.

Последний караван пришел, по всей видимости, утром, и черные люди из дальней страны Аксум поспешно перегружали товары на главный двор, откуда готовился выйти в путь его родственник Авель бар-Хенанишо. Рычание послышалось рядом. Отпрянув от огромного ящика, Авраам разглядел за железными прутьями рыжую косматую голову. Эфиоп с совком приоткрыл клетку, протиснулся внутрь и начал убирать за львом. Зверей продавали вместе с людьми, умеющими ходить за ними...

Прохладный полумрак был в главном складе, и пахло свежими вениками. У низкого сирийского стола сидели люди. Дядя его оглянулся и ничего не сказал. Мар Зутра кивнул Аврааму, показал на табурет в стороне...

Кроме них Авраам знал из сидящих черноусого перса Зиндбада с бешеными глазами, который водил тяжелые двухэтажные тайяры товарищества через моря к неизведанным землям. Знал он и умного ромея Леонида Апиона с зеленой повязкой у рукояти меча. И старик индус, привозивший с собой своего маленького золотого бога, был знаком Аврааму. Осталь-

ных не видел он раньше. Здесь сидели еще два или три грека-ромея, какой-то благообразный светлобородый гот, красивый аксумец с плавными царственными движениями, арабы, иудеи, армяне...

Говорили по-арамейски, вежливо передавая друг другу папирусы с бесчисленными цифрами, и спокойное понимание было между ними. Где-то по ту сторону остались страсти, сотрясения духа, бронзовый звон. Словно призрачное сказание выглядел мир из этой реальной полутьмы. Лишь к концу разговора по отдельным фразам понял Авраам, что все то серебро, которое повезут в Туран, передало царю царей товарищество. Со всех концов земли собрали его, и чуть ли не половину дали ромейские сотоварищи помимо своего кесаря. Мир нужен был им, чтобы водить караваны, а если вконец ослабеет Эраншахр, то быть войне...

Артак, Абба и Кабруй-хайям приехали проводить его в далекий путь. За городскими воротами они слезли с коней. Все удалялся и удалялся медный звонок последнего, замыкающего, верблюда. Никто больше не мешал им, и они обнялись. Что-то горячее ощутил Авраам на своих руках. Это слезы закапали из глаз маленького Аббы. У всех покраснели лица...

Солнце уже взошло. Авраам отвернулся, утираясь ладонью, и увидел на белой потрескавшейся земле две знакомые тени. Он сначала не понял, зачем они здесь: сотник Исфандиар и Фархад-гусан. А потом бросился, прижался головой к одному и другому, ощутив запах пота, кожаных ремней, степной травы. Слезы уже свободно лились из глаз...

В ряд они стояли у высоких кованых ворот, все уменьшаясь: диперапы в красных куртках и сотник с азатом. Потом ворота начали быстро уходить под землю. Радужными разводами плыла дорога...

Откуда это тепло между людьми, отделяющее их от зверей? Может быть, правда, что внутри у каждого — огонь? Сильнее или слабее он горит, привлекая других... Есть люди, у которых он совсем погас или только чадит, отталкивая... Авраам отпустил поводья, крепко заткнул пальцами уши. Ровное мощное гудение не прерывалось.

Он нагонял уже караван. И вдруг остановил коня, приложил обе руки к лицу, и сразу вернулся запах ночи. Солнце пропало куда-то, и лунное лезвие помчалось по кромке крыши. В душной тьме повисли омертвелые листья. Он медленно потянул поводья и поехал назад, но конь остановился...

Нельзя уже было разглядеть отсюда дасткарт Спендиатов.

Белый горячий туман стлался от реки по всему горизонту. Недвижно стоял в волнах сверкающий куб дворца, и рубиновой каплей была вправленная в него арка...

VII

Бам... бам... бам... бам... Непрерывность времени утверждал этот звон. Он не кончался и ночью, когда караванщики подвязывали медные языки на шеях верблюдов. Лишь тише становился он при свете костра и снова возникал в полную силу, как только приходил сон.

Каждый десятый верблюд нес с собой колокол, потому что на полфарсанге растягивался в пути караван. Черным дымом давали знак остановки. Воспользовавшись охраной царского серебра, полторы тысячи вьючных верблюдов вел с собой Авель бар-Хенанишо...

А трещины в земле становились все шире, и кони ломали ноги. С начала лета дул гармсель — медленный и горячий ветер. Из слабых предгорных речек, из щелей в скалах, из самых глубоких колодцев впитывал он в себя воду. Листья оставались как живые: зеленые, с синими прожилками, но ни капли сока не было в них. Сухо трескались стволы деревьев, трескалась земля, камни и лица людей. На первом же привале услышал он про «Ветер Наказания»:

— Огонь вынесли из храмов, и стал он ветром...

— Те, кто в красном, сделали это...

Азаты молчали. Говорили люди, пришедшие из ближайшего селения, и казались безразличными их голоса...

Потом все меньше становилось городов и селений, ярче разделялись свет и тьма, кончалась жизнь. Из горячих каменных долин попадали они в узкие ледяные ущелья, и звезды среди дня загорались в небе. И сразу опять пылало солнце, а камни сверкали, как раскаленные звезды. Горы Мидии были все время слева, и вечно высилась на краю их белая глыба Демавенда. Царь Заххак, змей-отцеубийца, висел там, прикованный царевичем Фаридуном...

Да, здесь порожден он, железнотелый Ростам, которого не минует ни одно из сказаний!.. Нет больше людей, только голые скалы, оплавленная земля и пустое, беспощадное небо над головой...

Когда при помощи Кузнеца приковал к скале Заххака и сел на отцовский трон царевич Фаридун, то мощнотелый воитель Сам из рода саксаганских царей был его опорой. И родился от Сама

сын Заль с солнечным лицом и полный благодати. Не имело изъяна тело младенца, но голова его была седой. Устыдился старый Сам и велел отнести сына-урода в глухое ущелье. Птица Симург с железным сердцем вскормила Заля и вернула увидевшему вещий сон отцу, когда пришло время...

А Заль полюбил чистую Рудабу — дочь кабулского царя Михраба, ведущего свой род от змееподобного Заххака. И никого не хотел больше видеть из женщин седоголовый юноша. Тогда и предрекли мобеды, что родится от Заля и Рудабы неслыханный воитель...

Все происходило, как сказали мобеды, прочитавшие в небе судьбу Ростама. Тахамтаном — «Железнотелым» стал он, опорой Кеева трона и мстителем Турану. Высокое чувство верности было присуще ему, а честь была дороже жизни. Прямо смотрел он на мир и знал только арийские «да» или «нет».

Но рок тяготел над благородным Ростамом, потому что смешана была его кровь. В бою, не ведая о том, убивает он сына. Потомок Кеев — меднотелый воитель Исфандиар гибнет от его руки, хоть не желает Ростам его смерти. И сам он умирает от руки брата...

Ускакав от каравана, посреди слепящего безмолвия въехал на одинокую скалу Авраам. Соль проступала сквозь камни, и в алмазах была пустыня до горизонта. Где-то там, справа, угадывались горы Систана и Забул — вотчина великого воителя. А слева все стояла синяя стена Страны Дивов — Мазандерана, где совершил Ростам семь своих великих подвигов. Поганое летающее чудище, самого Акван-дива, сокрушил он и навечно изгнал силы зла из каменной твердыни. Страну Волков — гургасаров он покорил, что начинается сразу за Демавендом...

Кто же такой был этот вечный воитель, уже много тысяч лет не знающий смерти? Что олицетворял он?.. Минувшее?.. Будущее?.. Изначальное?.. Взметнулся и дико, на всю пустыню, заржал конь под Авраамом. Дрогнуло, забилось сердце, беспредельно расширилась грудь, красная пелена наползла на белые камни.

Мой трон — седло, моя на поле слава,
Венец мой — шлем, весь мир — моя держава!

Не дав опуститься передним копытам коня, бросил его Авраам со скалы в галоп. Буйно свистнуло в ушах, качнулся горизонт, бронзовые сполохи побежали по всему небу. И заревели карнаи, заметался в тоске Туран...

Впереди он был, Тахамтан, и земля неслась под копыта его коня. Затмевая день, опять плыли в небе знамена витязей Эрана Могучий слон на знамени — это Тус, от каждого удара которого

плачет целое туранское селение. Солнце и луна на знаменах, под которыми Фарибурз с Густахмом. Хищнопенного барса голову везет Шидуш, похожий на горный кряж. Полные грозной отваги, мчатся они: Гураз, чей знак — кабан, доблестный Фархад со знаком буйвола, Ривниз с зеленоглазым тигром, открывшим пасть. Как жемчужина светла ромейская рабыня на ратном знамени удалого Бижана. Волк матерый с капающей изо рта кровью венчает стяг его отца — старого Гива. И лев золотой — знак дома неистового Гударза — здесь...

Плачет Туран. Негде спрятаться его коварному царю Афрасиабу. Быками под лапой эранского льва валятся туранские витязи. И вот уже в который раз горячей кровью благороднейшего из них — Пирана наполняет чашу старый Гударз. И выпивает всю чашу в память павших сыновей и внуков...

Снова дымом и кровью пьяны всадники. Сам Кей-Хосрой ведет теперь их. Быстрее мысли настигают туранцев доблестные мечи, быкоголовые палицы вбивают их в землю...

Брызгал, искрясь, соленый прах из-под копыт. Конь нес его по пути древних воителей, и не надо было больше сдерживаться. Заново рождались, набегая, слова и ритмы, послушно укладывались в бронзовые формы — двустишия. Прямой арийский меч с расширяющимся книзу лезвием ощущал он на боку. Желобок для стока вражьей крови шел от самой рукояти. И черный точильный брусок висел на его поясе справа. Одной крови был Авраам с бессмертным воителем...

Теперь он знал, что напишет «Книгу Владык». Ничто земное, слабое, повседневное не отуманит больше его мозг, никакие путы не лягут на руку. Чадит и меркнет, отравляя первозданную чистоту природы, тусклая жалость. Она противоестественна этим скалам, песку, солнцу. Здесь, среди пустыни, понял он величие неукротимого духа. Все предопределено, даже страдание, и не надо уклоняться. Полет коня над землей, кровь, песня — и есть жизнь. Пусть кружится от стихов голова и взрываются страсти...

Авраам нашел под курткой шнур от креста, брезгливо дернул. Но был этот шнур из грубой шерсти, скрученной с конским волосом, и больно стало его пальцам. Темная комната в Нисибине представилась на миг. Маленький старец с ниспадающей бородой лежал в глубине на высокой кровати...

А конь все несся по завороженной земле. Изломанные столбы соли поднимали в небо горячие вихри, и двигались они вместе с ним, не отставая и не обгоняя. Ничего реального не осталось в мире. Смутным видением выплыл в оцепенелой, засыпающей памяти Ктесифон... Дасткарт... Остановившиеся но-

ги эрандиперпата... И склад товарищества, где все передавали друг другу папирусы с бесчисленными цифрами: дядя его Авель бар-Хенанишо, экзиларх мар Зутра, Зиндбад-мореход. Тени это были из другого мира...

Бам... бам... бам... бам... Конь остановил свой бег, осел на задние ноги, заржал негромко, обыкновенно. От толчка открыл глаза Авраам. Неглубокая долина была впереди, и совсем близко шли через нее верблюды с аккуратно уложенными тюками. Они выходили из-за неровного горизонта, проходили через всю долину и расплывались в прозрачной струящейся мгле. Люди на лошадях ехали по бокам каравана, и лошади встряхивали подвязанными хвостами. Высокую фигуру дяди явственно различил Авраам...

Никогда не испытанное им тепло шло от узких и сильных рук, и были это руки дяди его Авеля бар-Хенанишо. Они сами меняли влажную повязку у него на лбу, выжимали гранат на жесткие губы. Темно-голубая жилка билась под сухой коричневой кожей...

Много дней ехал он, подвязанный между двумя мулами, после того как солнце соленой пустыни ударило ему в голову. Конь тогда сам вынес его к каравану. Когда он снова взобрался в седло, они уже оставили в стороне Страну Волков. Красные осыпающиеся горы были впереди, и за ними Хорасан — страна, где восходит солнце над Эраншахром...

VIII

На краю видимого мира стоял Авраам — сын Вахромея. В пути остались вершины, где камни преображались в белый лед. Но здесь, на ровной земле, только дивы могли насыпать эту гору. Она так и называлась, древняя крепость на горе,— «Дворец Дивов». В старой парфянской рукописи рассказано о царице Вис, запертой здесь когда-то ревнивым мужем. Ее любовник, воитель Рамин, слал ей письма, привязанные к стрелам...

Совы живут сейчас в цитадели. Ее толстые стены пробили когда-то солдаты Искандария, но не стали их восстанавливать. Новый город Маргиана-Александрия был построен рядом, и только окаменевшие кирпичи брали для него из древнего Кеева городища. А потом царь Антиох огородил стеной зеленые поля и сады, и стали называть это место Маршана-Антиохия. Она ясно видна отсюда, волнистая стена, защищающая Мерв от

сыпучего песка и туранцев. А вокруг, во все стороны, лишь голые барханы до горизонта...

Три дня он уже в Мерве, и каждое утро задолго до солнечного восхода взбирается сюда, на искусственную гору. Не верится, что маленькие земные люди могли насыпать эти чудовищные валы. В предутренней чистоте особенно ясно видна граница жизни и смерти. Как меч Джамшида, на треть раздвинул пески желтый Мургаб. Где-то в горах Эраншахра твердая ледовая рукоять, а здесь, в утяжеленном расширении, Мерв. Он синий и зеленый отсюда. Ветви смыкаются над рекой, и только восьмиугольные бащенки дасткартов разрывают кое-где сцепившиеся кроны карагачей и платонов...

Великий канаранг Гушнапсдад, военный правитель Хорасана, стал во главе посольства и сразу возненавидел Авраама. Губы на большом отекшем лице по-арийски брезгливо поползли книзу, когда услышал он, что дано Аврааму право ходить где захочется и записывать какие-то сказки. Зато других диперанов посольства он приказал не выпускать из казармы. Все три дня они учились быстрой посадке в седла, чистили двор, сбрую, коней. Слова сказанного, а тем более написанного, не терпел канаранг и вымещал на них свои чувства.

Хоть одно было хорошо, что избавило это наконец Авраама от Льва-Разумника. При царском серебре послан был тот от эранамаркера Иегуды и всю дорогу до Мерва лез Аврааму в душу. На первом же привале подошел он вплотную, взялся за шнуровку куртки, заглянул в глаза.

— Нам предстоит длинная и ответственная дорога,— сказал он.— Очень хорошо, что с посольством едет такой высокообразованный человек, как вы, мар Авраам!..

Впервые назвали его так, и это было приятно. Серьезно, доверительно умел разговаривать Лев-Разумник, так, что человек невольно поднимался в собственных глазах. Самые большие глупости не казались уже такими очевидными. Хотелось слушать и соглашаться. Даже умный, благородный Абба терпел его возле себя и только временами грубо обрывал, когда тупость превосходила всякую меру. Ни единой искры божьей не было в выкаченных глазах Льва-Разумника, но зато считал он лучше всех в Эраншахре. Со сна мог он мгновенно разделить или умножить любые многозначные числа. Зато теперь канаранг Гушнапсдад заставил его пересчитывать серебро, что везли на сорока мулах!..

Молодой воитель Атургундад, племянник канаранга, стал почему-то покровителем Авраама в Мерве. Как и сам канаранг, был он большим и спесивым, а на одутловатом лице читалось такое же закоренелое омерзение ко всему живому и подвижному.

Но когда при взгляде на Авраама губы канаранга поползли вниз, у племянника они сразу выровнялись. Воитель Атургундад сам подошел к нему, а великий канаранг отвернулся...

Неустанно ходил Авраам по Мерву. Кружилась голова от звуков и красок. На всех дорогах земли лежит от сотворения мира этот городок, и все человеческие боги нашли здесь убежище. Жрецы и монахи населяли его древнюю часть: индийские предсказатели судьбы с их застывшим медным богом, христиане, манихеи, иудейские наставники праведности, даже гуннские шаманы с бубнами сидели на базаре. И жрицы огня Арамати-земли с голыми животами находились при каждом из сорока зороастрийских храмов. Танцы и удовлетворение мужского голода — их пропитание...

А на прямых, как в старых ромейских городах, улицах встречались под косматыми овечьими шапками правильные ромейские лица. И не только от солдат Искандария Великого и Антиоха происходили здешние жители. Много позже парфянский царь Ород расселил здесь, на границе с Тураном, плененные римские легионы консула Марка Красса...

Тяжелая серая пыль лежала на дорогах — та же, из которой высились барханы за Антиоховой стеной. Но, смоченная водой, она буйно рождала все доступные глазу цвета: зеленый, синий, желтый, голубой, багровый. Словно покрашенные были звонкие продолговатые дыни, гигантскими пирамидами уложенные на базаре, оранжевое пламя источали в темной листве персики, и обрызганными кровью казались абрикосовые деревья. А синим, голубым, фиолетовым был виноград. Высоко над головой висели причудливые гроздья величиной с хорошую овцу, и так густо теснились в них ягоды, что становились квадратными, прямоугольными, коническими. Большие зеленые листья прорастали между ними...

И все, все было неправдоподобно сладким. Даже снежно-белая редька и крупный матовый лук елись просто, как яблоки. Сладким были мясо и рыба в Мургабе.

А ночью одуряюще сладким был воздух. Плоские земляные крыши толщиной в локоть от палящего солнца покрывались грубым полотном и кошмами. Все, что произрастало здесь, резалось, разламывалось и сушилось, испуская невероятные запахи...

И животных эта земля порождала необыкновенных. О кентаврах, полулюдях-полулошадях, рассказывалось в предании у греков-ромеев. Высокие, с длинной сильной шеей кони пустыни представлялись им единым телом с парфянскими лучниками...

Еще одно ромейское сказание понял здесь Авраам. Черные, белые, серебряные были маргианские овцы, и шерсть их отливала

чудным лунным блеском. Но когда увидел он знаменитый мервский сур, то сразу вспомнил стихи о Язоне и супруге его — несчастной Медее. Раз в году на полтора миллиона ягнят рождается один урод с руном цвета чистого золота. Его везут отсюда на границу в Лазику для перепродажи, потому что издревле идет он на оторочку мантий для ромейских царей. Порождением Кавказа считали его аргонавты. Вчера дядя Авель бар-Хенанишо сам отобрал две бесценные шкурки, чтобы через сотоварища Леонида Апиона передать в подарок новому кесарю. На волосы младенца походили яркие солнечные завитки, и невозможно было оторвать взгляда от них...

Дасткарты в Мерве стояли нетронутыми. Может быть, обилие плодов было тому причиной или близость к Турану, откуда всякий раз можно ждать вмешательства в случае смуты. Пятую часть из хранилищ роздали здесь великие людям, и никто пока открыто не требовал большего...

Вниз посмотрел Авраам. Полутемно еще было в примыкающих к базару улицах; но двигались уже по ним арбы с громадными, выше лошадиного роста, колесами, на которых легко переезжать ямы с водой. И сам базар уже многоцветно пенился, выплескиваясь под старые крепостные стены. Там, где они обрушились, бесчисленные ковры и кошмы, свертки серебристого атласа, чаны жидкой халвы-мешалло и горы дынь-вахрман хлынули внутрь, захлестывая солдатские казармы...

По ту сторону базара виделось большое торговое подворье. Три дня уже люди туранского царя с серебряными пластинами в подтверждение их права учитывали товары и деловито прикрепляли к каждому тюку специальную дощечку с печатью. На всем дальнем пути до границ Китая никто не тронет их...

Все таким же суровым был дядя его Авель бар-Хенанишо. Ни единого родственного слова не слышал от него Авраам. Но помнил он сухие теплые руки и кисловатый сок, лившийся на воспаленные губы.

Ночами бодрствовал дядя. Помимо заботы о караване осуществлял он церковные дела. У епископа Мерва был с ним Авраам. Молодым оказался тот, со светлой волнистой бородкой и му́кой в глазах. Смертный кашель душил его всякий раз, но епископ сам обошел все сараи и конюшни, благословляя в трудную дорогу людей и скот.

С ними пойдут и десять монахов-проповедников. По ту сторону заброшенной цитадели жили они вместе с совами, уже год ожидая попутного каравана. Навсегда останутся они в Китае, разнося среди язычников свет и слово божье...

Как жена Лота, окаменел вдруг Авраам, когда узнал среди проповедников Тыкву, заблудшего студента академии из Нисибина. Но совсем другим уже стал Тыква. Жесткая складка служения появилась у него на лбу, а глаза смотрели на что-то бесплотное, видимое лишь ему одному. Мешок арамейских грамот и апостольских проповедей был его имуществом...

Три сына было у спасенного Кузнецом царя Фаридуна: Тур, Салм и Эрадж. Им во владение он дал Туран, Рим и Эраншахр. Но, сговорившись, Тур и Салм убили своего брата Эраджа. С тех пор нет мира между Востоком и Западом. И вечно повторяется это: Салим и Тур сговариваются против срединного брата...

Мерв — крайний город Эраншахра. Где-то там, откуда должно встать солнце, туранцы десять лет назад втоптали в песок сорок тысяч азатов и «бессмертных» царя Пероза. Потом началась буря и огромный бархан насыпала там, где остались они лежать. Каждую весну на том бархане выступает кровь и слышатся стоны. А Мерв стал открытым для всех городом. Хоть и сидел в нем канаранг с войском, туранцы по договору могли беспрепятственно въезжать и выезжать из него без уплаты пошлин на купленное и проданное...

Авраам не понял вначале, что же случилось в мире. Не было зари, и нисколько не изменилось небо. Огромный белый шар быстро выкатился из-за чистого горизонта, и сразу, насколько хватал глаз, черные треугольники и трапеции испещрили землю. Миллионы барханов озарились слепящим светом и дали черную тень в сторону. Ночь была еще там, куда не попало солнце. Сухой до предела воздух не знает здесь полутонов и обманчивых преломлений...

И он до конца вдруг осмыслил арийские легенды: пустые скалы, безлюдные горячие пустыни, ядом брызжущие дивы и волкоглавые враги. Воитель-отец сражается насмерть с сыном, и вечный трагический закон это, предопределенный светилами. Смысла не дано знать — и не надо. Голое яростное стремление, и нет полутонов, колебаний, относительности. Арийская надменность прямизны. Изменником с чужой кровью выглядит при этом буйном торжестве природы брат героя Ростама, кабулский царь Шагад, вырывший западню на его пути:

Шагад сказал: «Ты страх внушал народам,
Сражен ты справедливым небосводом.

Зачем ты столько крови проливал?
Всю жизнь ты грабил, вечно воевал.

Пора твоя настала, лев Систана...»

Природа и дух человеческий... Война и мир... Найдут ли люди себя?.. По легенде, Шагад пожалел умирающего воителя, дал ему в яму лук со стрелами для защиты от бродячих львов. Захохотал радостно Ростам и пронзил Шагада...

Но как же тогда царевич Сиявуш, пожелавший вечного мира и ущедший на чужбину, чтобы строить города счастья? Самый полный список этой легенды нашел он здесь, в одном из старых книгохранилищ. Совсем не тот Афрасиаб, извечный враг и родня Ахримана, появляется в ней:

Сказал Афрасиаб: «Мы видим оба,
Что погрузилась в сон людская злоба...
Покоя не было в душе людской,
Но ты пришел и дал земле покой.

Еще такого не было событья!
Мы отдохнем от войн, кровопролитья.
Туран — твой друг...»

Пиран — главный туранский воитель помогает Сиявушу в его мирных делах. Сам Ростам, живущий войной, неузнаваем, и потерявший разум Кей-Кавус обвиняет его в неправильном воспитании царевича:

Ему внушил ты: мир нужнее чести,
Из сердца сына вырвал корень мести.

Покоя жаждешь ты и тишины,
А не величья трона и страны...

А может быть, именно здесь, на острие джамшидова меча между Эраном и Тураном, родилось это предание, возвышающее дух перед природой, мир перед войной?..

Авраам уже записал его стихами, но одно имя изменил. Туранка Заринги́с — дочь царя Афрасиаба — была верной женой благородному Сиявушу. Он назвал ее Фарангис, что значит «Ослепительная», «Солнечная»...

Бам... бам... бам... бам... Еще половину лета слушал он этот звон... Никогда не видел настоящего моря Авраам, но знал уже его безбрежность. В зыбких песчаных волнах была дорога в Согдиану, и тошнило его от свирепой верблюжьей качки. На глазах вырастали черно-серебряные барханы, пересыпаясь под ветром один в другой. Бешеная река Окс раздваивала пустыню, деля мир на Эран и Туран. Как хотела текла она, и срамным именем от присевшей на песок женщины называли ее в просторечии.

IX

Это было поздней осенью, когда пузырились от дождей неисчислимые самаркандские хаузы. Он уже много раз проходил по невольничьему торжищу, косясь на продаваемых женщин. И не останавливался, потому что всегда боялся увидеть их глаза...

В Ктесифоне друг его Кабруй-хайям купил себе как-то девушку, и никакого сомнения не появилось у него при этом. Артак имел жену родственной крови и красивую рабыню-ромейку для постели. Оба они посмеивались над Авраамом за его стеснительность. Так же естественно это было для них, как пить, спать, облегчаться. Он злился на себя и каждую ночь твердо решал найти себе женщину...

Под крытыми навесами был женский базар. Постоянные торговцы, перекупающие девушек у приходящих караванов, имели там положенные места. В синий и розовый атлас были закутаны женщины, дорогие украшения надевались им на оголенные руки и ноги, подвешивались к ушам и в проколы ноздрей, густо-синяя полоса рисовалась по бровям. А это был случайный продавец, и у самого края сидели приведенные им девушка и старуха...

Сначала Авраам увидел заляпанную грязью маленькую ногу. Вода стекала с земляного навеса, и крупные глиняные брызги падали на нее. Тогда он невольно посмотрел и увидел широко раскрытые темные глаза под обычными бровями. Недоумение было в них...

Уже пройдя базар, Авраам вдруг остановился и потом вернулся. Быстро, не глядя, договорился он с бородатым узколицым дехканом-согдийцем. Тот все повторял, что она — девственница, и предлагал ему еще и старуху, которая умела красить кошмы. Они пошли к базарному главе. Специальный человек с серебряным знаком на цепочке принял положенную плату и установил, что девушка переходит в его полное владение...

Авраам привел ее в дом и все не смотрел на нее. Пройдя в комнату, он начал почему-то ходить от сундука к двери. Она стала к стене и молча поворачивала за ним голову. Взглянув на ее забрызганные ноги, он засуетился, взял большой кувшин и пошел к хаузу. Обернувшись, увидел Авраам, что она идет за ним...

Кувшин никак не хотел тонуть в синеватом хаузе. Она взяла у него кувшин и набрала воды. Теперь он шел следом, а она несла кувшин на плече. Быстро мелькали ее щиколотки...

Потом она мылась, долго что-то чистила, убирала уже при

горящей лампаде, а он бродил по айвану, заходил в виноградную беседку, и мелкий дождь шелестел в больших пожухлых листьях...

Все давно уже стихло в комнате, но он не заходил. А когда зашел, то увидел, что она спит, свернувшись на кошме под обитым цветной жестью сундуком. Неслышно подошел Авраам...

Совсем девчонкой была еще она. Пухлые губы раскрылись, и розово отсвечивало от огня лампады маленькое детское ухо. Завозившись во сне, она еще теснее прижалась спиной к сундуку. Платьице-кетене сдвинулось, и грубые полотняные шаровары виднелись под ним...

Авраам снял с сундука одеяла, пододвинул на них девочку, укрыл. Она не проснулась и только прижалась щекой к его ладони. Он долго не отнимал руку, боясь разбудить ее...

Потом Авраам взял еще одеяло и подушку, вынес в прихожую. Он постелил здесь себе на вдвое свернутой кошме, разделся и все не задувал лампады, задумчиво перебирая меж пальцев крест. Из обычного кипариса был он, и стерся, выцвел от пота грубый волосяной шнурок...

Древним стольным городом туранских владык был Самарканд. Ночами кричали совы в зубчатых руинах Кей-Афрасиаба, а рядом на целый фарсанг разбросался новый город...

Каган Хушнаваз поставил свои шатры за городом, на ровном месте, где не росли деревья. Из гуннской степи был он родом и не терпел глиняную путаность дувалов. В три года раз наезжал туран-шах получить причитаемое с Согдианы и потом снова уходил в свои степи.

А меж шатров и вокруг носились царские саки, и нельзя было представить их иначе чем в вечной скачке. Служилые люди это были, вроде азатов. Они пасли табуны лошадей и не платили подати, но по царскому зову род выделял всадников с запасными лошадьми и в полном боевом облачении. В месяц раз съезжались они со всей степи в место, указанное царем. Поэтому еще с незапамятных Кеевых войн их называли так — кейсаки. А в Ктесифоне их звали кайсаками и говорили, что из синего железа у них руки. В парфянском войске были они, и это их считали греки-ромеи кентаврами...

С молодым безусым кайсаком Шерйезданом — «Львом Небесным» подружился он по уходе из Мерва. В охране серебра был тот при караване от туран-шаха, и сразу чем-то полюбился ему Авраам. Всю бесконечную дорогу до Самарканда не отходил от него Шерйездан, учил оберегаться от ядовитых пауков, помогал по-новому седлать коня. Здесь, в Самарканде, он что ни

день наезжал в дом Авраама из царского стойбища. И всегда были с ним друзья — такие же молодые непоседливые кайсаки с черным пушком над губой. Они пили жгучее кобылье молоко из кожаных мешков-турсуков и смеялись так, что осыпалась пыль со старого, мазанного глиной потолка...

На большом слоне, в ковровом доме с бубенчиками, ехал великий канаранг Гушнапсдад, возглавлявший посольство. Четыре дня пришлось ему ждать, пока царь Турана возвратится с охоты. В двенадцатикрылой белой юрте сидел на возвышении прямой седоусый старик в лисьей шапке с бриллиантом. Он не смотрел на канаранга, принудившего склонить до полу свое громадное тело, и только отрывисто спросил:

— Здоров ли мой сын и брат Кей-Кавад?

Сестра Светлолицего Кавада, оставленная с ним когда-то в залог туран-шаху несчастливым отцом их Перозом, сделалась женой кагана. Потому и назвал он Кавада кроме всего и братом. Привезенное серебро было отдано на монетный двор для переплавки в драхмы с изображением царя Турана...

Вскоре ушел с караваном в дальнейший путь его дядя Авель бар-Хенанишо. И Тыква уехал навсегда, прижимая перед собой к животу старый мешок с арамейскими грамотами. Потом отбыло посольство, и один в Туране остался Авраам...

На развалины Кей-Афрасиаба часто ходил он, пока было тепло, и думал: вправду ли сказочный воитель Ростам разрушил их, мстя за убитого Сиявуша? В предании было сказано, что злоба и черная зависть погубили благородного царевича, и таз наполнили враги его кровью...

Все те же легенды нашел Авраам в Туране. Менялся лишь угол зрения. Ростам оставался героем, но совершал подвиги уже не от лица Эрана. Отвлеченными примерами стали они, и без всякого усилия сливался его образ с Пираном, вечным туранским ревнителем. Зато в недосягаемую высь уплывал царевич Сиявуш, и на коврах, стенах, рельефах изображались его деяния. Исчадием тьмы представлялся Кей-Кавус, владыка Эрана. Сам Ростам клеймил его точно теми же словами, какими в эранском варианте обличался Кей-Афрасиаб...

А эти стены, наверно, тоже пробивали солдаты Искандария, потому что следы тех же таранов сохраняли они, что в Персеполисе и Мерве. Совсем недалеко отсюда, на бурном Яксарте, была Александрия Дальняя, от которой повернули назад македонские фаланги, ибо прошли уже дальше Кира. Здесь, в туранской Согдиане, взял себе Искандарий жену Роксану, чтобы навечно свести вместе Запад и Восток...

Все полнилось здесь памятью о великом македонце. Больше десятка списков восторженного повествования о его делах нашел Авраам. В Александрии Дальней и других согдийских городах, куда выезжал он в эту зиму, показывали место встречи его с Роксаной. На стенах дасткартов рядом с многофигурными цветными композициями из жизни Сиявуша и сына его Фаруда обязательно присутствовал победоносный Искандарий. Ученые согдийцы, язычники и христиане наряду со своим отсчетом времени вели другое летосчисление от начала царствования его отца — Филиппа Македонского. И не мог постичь Авраам смысла этого исконно туранского поклонения силе, обезлюдившей некогда Согдиану...

Горькой колючей травой поросли руины, и с великим трудом можно было пробираться через них. Ноги проваливались в ямы, оседала веками слежавшаяся глина, справа и слева слышалось тихое змеиное шипение. И буйный виноград оплетал рухнувшие дома, увядшие гроздья сочились прозрачным медом. Искривленные, одичавшие деревья из века в век усеивали развалины миндалем, айвой, белыми согдийскими абрикосами. Не было земли плодороднее этой, смешанной с укрепляющим дувальную глину скотским пометом. И каждую весну неизменно прорывался в погребенный город переполненный ледяной водой Зеравшан...

Уже много таких мертвых городов видел Авраам и не встречал там человеческого следа. Не селятся и не ходят туда, где погибли насильственной смертью люди. Все равно, от чего это произошло: от меча, мора или встряхнувшего землю гнева божьего. Безраздельное царство Ахримана там, и может заразить живых его дуновение...

Не было двурогого арийского шлема на туранских изображениях Искандария. Страшная притча родилась здесь ему в оправдание. Росли как будто два рога у македонского царя, но кончиками внутрь. И как только останавливался он в завоеваниях, нестерпимую боль причиняли они...

Огромное торговое подворье имело здесь товарищество. Самостоятельную выкормку шелковичных червей развело оно и получало уже до трех тысяч тюков сырца в году. Вдвое ближе было отсюда к ромеям, чем если везти весь сырец из Китая. Шелкоткацкие мастерские с красильней строились у каменного старого моста через Зеравшан. Налоги здесь вдвое меньше, чем в Эраншахре, и туранский владыка не принуждает в вере...

Наверно, потому так много манихеев в Согдиане. Не такие нелюдимые они здесь, как под кесарем или в Эраншахре. Лучшие художники из них по росписи стен, тканей, посуды. Тайны

китайских и всяких иных красок известны им. Казненный когда-то объединитель всех земных вер — пророк Мани сам был великим живописцем и считал, что нет более достойного для человека занятия...

Манихеи ли были тому причиной, от которых выводил корень своего учения великий маг Маздак, но к концу зимы, когда не хватает хлеба, стали в Согдиане требовать раздачи из хранилищ. Где-то на пути к Пянджикенту разгромили большой дасткарт и разобрали женщин из гарема тамошнего владыки. Тогда собрались на совет согдийские великие и обратились за защитой к кагану. Люди туран-шаха привязали к конским хвостам виновных и проволокли в наказание кругами по большой базарной площади. В Пянджикенте местные великие прибили зачинщиков на три дня ушами к деревянным воротам шахристана. По всей Согдиане начали убивать манихеев, и делали это те же бедствующие люди, которых подкормили и одарили деньгами великие. Иудеи и христиане тоже стали реже показываться на улицах...

Много раз расспрашивали здесь Авраама о Маздаке. Согдийцем считали его все, и был он якобы из рода здешних царей. Среди людей ходили слухи, что не сегодня завтра объявится он в Самарканде, и плохо тогда придется великим и самому туран-шаху. Другие говорили, что Маздак уже в Согдиане, но скрывается в горах и ждет намеченного времени...

Роушан звали купленную им девочку, что было Роксаной по-эллински. Все девочки в Согдиане откликаются на это имя. Еще совсем маленькой девочкой купили ее в горах, и до последнего времени жила она в хозяйстве у мельника-дехкана, который хотел подарить ее в жены сыну. Но сын утонул при паводке, и дехкан повез ее на женский базар вместе с другой рабыней-старухой...

По-прежнему прибирала она в доме, чистила, ходила за водой. Крепкая грудь вырисовывалась у нее под кетене, но это не вызывало у него никаких чувств. Дядей звала она Авраама и бежала навстречу, когда он приходил...

К храму Арамати-земли за каменным мостом ходил Авраам. Там нашел он танцовщицу, одарившую его. Она сама подошла к нему, когда стоял он в смущении у жертвенного дерева...

X

Едва сошла зимняя вода с ровных, как стол, такыров за Зеравшаном, Авраама понесло по Турану.

— Я хочу найти город Сиявуша,— сказал он Шерйездану.

— Поедем! — согласился тот, нисколько не задумываясь.

И на следующее утро они поскакали: Авраам, Шерйездан и еще трое кайсаков, его друзей. Днем и ночью мчались они, засыпая в седлах и просыпаясь при первом луче солнца. Кони тоже спали, продолжая скакать. И Аврааму вправду стало казаться, что одно целое он с лошадью...

Лишь началом Турана была Согдиана. От Зеравшана через древнее нескончаемое ущелье ехали они, пока не вырвались вместе с дувшим в спину ветром в совсем уж бескрайнюю степь. Трава рвалась к солнцу, хлестала по ногам, и стекал с коней и людей живой зеленый сок. А дальше были еще большие горы и реки, и опять неделями мчались они в желтой, красной, синей степи...

Табуны диких коней, сайгаков, куланов неслись впереди и сзади их, справа и слева. И люди скакали меж ними, не отставая от двигающейся весны. Легкие юрты были погружены на лошадей и гигантских косматых верблюдов. Каждый туранский род имел свою тысячелетнюю дорогу к Северу и по ней же возвращался назад с табунами, когда снег начинал заметать траву. И птицы летели вместе с ними в ту и другую сторону...

Поэтому и строились туранские города лишь у гор и по рекам. Дома и сады, вставшие среди степи, прервали бы это постоянное движение, как нож прерывает ток крови в живом теле. Дикие табуны остановились бы тогда в недоумении и заметались в стороны, ломая ноги и погибая на не изведанных предками дорогах. И птицы бы падали замертво, не желая опускаться на тронутой человеком земле...

Ничего не взяли с собой Шерйездан и умчавшиеся с ним кайсаки, даже не предупредили своих. Как в гости на соседнюю улицу поехали они, в любом кайсацком шатре располагались как хотели, ели и спали. А раза два или три Шерйездан простодушно сказал ему, что люди, у которых они ночевали, его враги. И очень удивился, когда Авраам спросил, зачем же он останавливался у них...

Наверно, это вечное движение сближало людей, делало их невосприимчивыми ко всяким границам. Сколько ни ехали они, везде говорили на одном языке. В нем было много арийских корней и построений, употреблялись гуннские сочетания, а весь он был проникнут единым словесным влиянием беспрерывно накатывающихся откуда-то с Северо-Востока народов. Даже на окраинах степи понимали этот язык. В Мерве и Самарканде все говорили на нем наряду с языком пехлеви и согдийским...

Они побывали в нескольких городах на берегу все того же

Яксарта, текущего из гор Согдианы. Всякий раз сопровождающие его кайсаки останавливались и с надеждой смотрели на Авраама. Им очень хотелось, чтобы он нашел город Сиявуша.

В светлое утро они разбудили его:

— Смотри, Ибрагим, смотри... Кровь Сиявуша!

Он вздрогнул, потому что вся земля до горизонта сделалась вдруг красной. Кайсаки знали поверье о царевиче Сиявуше. Когда подлый интриган Гарсиваз оклеветал его перед Кей-Афрасиабом, то опрокинул в злобе таз, наполненный его благородной кровью. И каждую весну вырастают на том месте маки и тюльпаны...

Они теперь скакали по пояс в этой крови. Трава окрепла, и мечами из туранского синего железа приходилось пробиваться через нее к берегам степных голубых озер. Не боялось дождя и крови это железо. Когда Авраам спросил, где плавят его, кайсаки вдруг замолчали. Шерйездан неопределенно махнул рукой туда, где обычно вставало солнце. Чужестранцу нельзя было знать об этом...

•

Шесть недель неслись уже они так, и однажды к середине дня Авраам сполз с коня. Все та же степь была впереди.

— Что же там? — спросил он, показывая на Север.

— Туран,— ответил Шерйездан.

И они повернули коней...

На третий день стала желтеть трава. Солнце опускалось к земле, выжигая все живое. А на пятый день обратного пути черная мгла от края до края заволокла степь. Высохшая до звона трава горела, подгоняя отставшие табуны, уничтожая все больное и слабое.

Въехав по горло в большое озеро, переждали они огненную облаву. Еще полдня носились по горизонту черные смерчи. А потом начала трескаться окаменевшая земля, и ни одной травинки уже не оставалось на ней. В известных только им глубоких ложбинах и у редких колодцев находили кайсаки корм для лошадей. Пустая была степь, и орлы неподвижно стояли в белом горячем небе...

•

Когда, трижды облупившийся от огнедышащей пустыни, вернулся он в Самарканд, была уже середина лета. Дядя его Авель бар-Хенанишо пришел с шелком из Китая. На торговом подворье ковали лошадей и лечили верблюдов для дальнейшего пути...

Еще через неделю Роушан укладывала на купленного им

верблюда цветной сундук, одеяла, какие-то горшки и всячески ругала пытавшегося помогать Шерйездана. Тот послушно отходил в сторону и только вздыхал. С самого начала невзлюбила она его. Кровь согдийки говорила в ней...

Клинок из синего железа с тяжелой костяной ручкой подарил ему Шерйездан. Самый высокий дар это был среди них, означавший родство. Кейпчаки — «царские ножи» называли себя служилые кайсаки.

До самого Окса носились вокруг каравана Шерйездан и его друзья. С поддерживаемого надутыми козьими шкурами парома еще видны были их силуэты на прибрежных барханах. Потом вдруг сразу, как сон, растаяли они в туранской белой мгле...

XI

Лошади захрапели, косясь налитыми кровью глазами в сторону неровной гряды холмов. Верблюды заволновались и стали все сразу. А потом, сорвавшись с места, обрывая веревки и роняя поклажу, понеслись в пустыню. В ужасе кричали что-то люди...

На какое-то мгновение Авраам силой прижал коня. Непонятно, откуда хлынула серая вода. Она стремительно приближалась, взбегая почему-то на поросшие саксаулом бугры. Тусклым серебром отсвечивали волны, и шум был тихий, грозный, как у прорвавшей плотину реки...

И вдруг он понял, что вода — живая. В смертной тоске закричал поломавший ногу верблюд. Волна докатилась до него, и отвратительные пушистые комья, попискивая, полезли вверх, вырывая прямо из косматого брюха куски живого мяса. Голые красные хвосты тянулись за ними от самой земли. Под копытом своего коня увидел Авраам подбирающуюся крысу и встретился с ней взглядом...

Холодная дрожь пошла по спине. Вялыми, бессильными сделались руки. Конь сам рванул поводья. Большие, неестественно белые кости верблюда пронеслись где-то в стороне...

Только к полудню на голом каменном нагромождении удалось собрать разбежавшийся караван. Крысы уже шли мимо, обтекая раскаленные утесы, и ни клочка свободной земли не было видно вокруг...

Раз в сто лет это бывает. Словно из земли родятся они, собираются со всех долин и ущелий в одно место, кружатся, роятся и вдруг двинутся прямо в пустыню. Может быть, передалось им от предков это стремление. Там, где многие тысячи лет назад тек к другому морю непостоянный Окс, стояли богатые

города, и сады плодоносили дважды в году. Черные Пески замели там все...

Еще три дня двигались крысы. Тихо, сбившись, стояли лошади и верблюды, лишь поводили ушами. И люди говорили шепотом, как будто боялись навлечь несчастье. Плохой это был знак, когда исходят из Эраншахра крысы...

Так же неожиданно прошли они, как и появились. Быстро, на глазах, стали обнажаться испещренные миллионами лапок барханы. Где-то на горизонте уже падали и снова взвивались в небо сарычи, по вкусу выбирая издыхающих на горячем песке острозубых зверьков...

Через Страну Волков — Гурган, по-ромейски Гирканию, пошли они, потому что непонятное творилось на старом караванном пути по южной стороне Мазандерана. Великие Карены, засевшие в горах, останавливали все проходящие караваны, а царской охраны теперь не было с ними. Гургасаров с волчьими хвостами на башлыках нанял Авель бар-Хенанишо для сопровождения через их страну, а затем по Атурпаткану и дальше, до самого Ктесифона...

Еще одни развалины остались позади, но были уже от гнева божьего. Дважды рушился от землетрясения Михродасткарт — стольный город царей Парфии, но ничего живого не росло на чудовищных обвалах. Называемые Нисой, оба городища стояли на высокой насыпи, а Золотой ключ, поставлявший неслыханно сладкую воду, был слишком мал, чтобы впустую проливаться на руины. Говорили, что кувшины в рост человека, полные золотом, погребены под рухнувшими сводами, но во власти Ахримана сокровище. Вновь затрясется земля, если начать копаться в ней. Окрестные жители убивали всякого, кого встречали там с лопатой...

Все сохраняется нетронутым в лишенных воды Черных Песках: железо, руины, людские души. Тень неприкаянного Искандария обрела здесь вещественную плотность. На голом безжизненном перевале из Хорасана в Страну Волков стояла сторожевая башня и селение под ней. Струйка воды сочилась сквозь красные камни, и пустыня была вокруг...

Увидев когда-то Черные Пески перед собой, отказалась идти дальше передовая фаланга Искандария. Как принято было в македонском войске, казнили каждого третьего. Оставшихся поселили здесь, и каждому солдату дана была женщина. Вот уже восемь веков охраняют эти люди военную дорогу Искандария, и никогда ни один не спустился еще в зеленые долины. Крепкие, высокорослые, с тяжелыми пехотными копьями у ноги, стояли

они у квадратной каменной башни и молча смотрели на проходящих верблюдов...

Настоящее море увидел он, и зеленые барханы переливались один в другой под нестихающим ветром. Каспийским или Гирканским называли его по имени живущих по берегам народов. А слева, по ходу каравана, опять был Мазандеран, и корчился в горячем небе на льду Демавенда змееликий Заххак...

Неисчислимые ручьи стекали с гор к морю. Разливаясь, питали они гигантский тростник и ползучий кустарник. У лошадиных копыт слышалось вдруг утробное похрюкивание, и долго еще трещали сучья от убегающих кабанов. Кричали птицы, трубили олени, а потом вдруг тигриное фырканье приглушало все вокруг. Ночами страшно, томительно выли волки, и нельзя было отличить их голос от человеческого...

Волчьими позывами переговаривались через горы и долины гургасары. Порой те, кто охранял караван, отвечали на них, и тогда из леса выезжали люди и получали подарки от Авеля бар-Хенанишо: железные ножи и раскрашенное самаркандское полотно.

Неукротимый воитель Ростам приезжал сюда охотиться, потому что нет для этого на земле лучшего места. Дикий кабан здесь до самого сердца пропорол утробу престарелого мервского владыки, сделав счастливыми Вис и Рамина. Арийские притчи это, но что было за ними? И века не прошло с тех пор, как погиб в этом краю прадед Светлолицего Кавада — Ездигерд Первый, царь-грешник, уравнявший с арийцами инородцев Эраншахра. Он тоже поехал сюда охотиться в окружении великих. В царской хронике так и записано, что белый конь с крыльями выскочил из источника и ткнул его в грудь золотым копытом...

XII

Авраам думал, что людские россказни это, подобие притч. И когда увидел слипшиеся красные комья на ветвях, небо покачнулось в его глазах. Ствол у дуба обрызгался до корней, и весь мир показался ему в младенческой крови...

В Атурпаткан уже пришли они, когда полились горячие дожди. Синим пламенем пылали небеса и с грохотом рушились вниз, уравновешивая прошлогоднюю сухость. Впервые на памяти людей почернели горы Мидии. Ревущие потоки низвергались на Эраншахр, но земля уже не принимала их. Плыли через селения

корнями вверх деревья. Пшеница чернела от воды, и тот, кто пил эту воду с полей, становился безумным. Говорили, что скверна вошла в нее от христианских бань, в которых моются теперь в городах...

Вот тогда и увидел Авраам сухих величественных стариков в светлых одеждах, которые несли младенца к одинокому дубу посреди луга. Из бесчисленного рода Испахпатов, здешних царей от сотворения мира, были они. Старейший в роду нес родившегося последним. Младенец таращил глаза на дуплистое дерево и бил по воздуху ладошками...

Застучал барабан, и все они стали прямыми арийскими ножами сечь младенца на части и бросать их в небо. Сам глава рода метнул на дуб кровавый сгусток: печень и почки. Все облегченно вздохнули, потому что остались они висеть среди ветвей и не упали обратно. Потом все сели за трапезу и ели одни лишь плоды и коренья...

Светлолицый Кавад запретил младенческие жертвоприношения, но далеко было сюда от Ктесифона. Еще доавестийским законам верны оставались в этих местах. Слово передавалось им из века в век...

К мешкам с собранными легендами подъехал Авраам. И подумалось ему, что это вовсе не притча, когда лезвие прикасается к живой плоти. Как с ножа, стекает кровь с древних красивых слов. Передают в наследство эти слова. Снова и снова убивают они...

Схлынула вода, но не взошло солнце. Зеленой мглой заволокло небо над Эраншахром. Саранча заваливала реки, и останавливались они в своем течении. Опять сбился в плотную массу караван. Только так могли противостоять люди и животные навалившейся на них липкой тяжести. А когда перевалила саранча через них, ни единой травинки не осталось на земле. Без коры стояли деревья, сухие и белые, как обглоданные кости. В селениях говорили, что это опоганенная покойниками земля выплюнула из себя зеленый яд...

И еще говорили, что «красные абрамы» командуют везде, выполняя волю своего хитрого бога...

XIII

Тахамтан!.. Кем мог быть этот человек, взявший себе кличку железнотелого воителя из преданий? Вполголоса называли его дехканы и люди-вастриошан во всех селениях на пути к Шизе. Там был главный храм Огня сословия артештаран...

Крысы исходили из Эраншахра, разверзались хляби небесные, безликая саранча наполняла землю, старцы терзали младенца. Пахло в мире дымом и кровью. И снова шли крысы... В тягостном предчувствии открыл он глаза и как завороженный смотрел в розовое от зари небо...

Из тесаного гранита с дубовыми перекрытиями был древний арийский храм. Красным кубом уходило его отражение в фиолетовые глубины озера, а с другой стороны простиралась каменная равнина. С весны не пускали сюда молиться людей прибывшие из Ктесифона деристденаны. Тахамтан, который привел их, отметил поклонение Огню. Вчера, накануне главного осеннего праздника зороастрийцев, он приказал своим людям уйти от храма. А когда село солнце, пришли в свой храм мобеды и старейшины сословия. Многие тысячи людей ждали на истертых подошвами камнях, когда наступит Утро Очищения...

Нет, не снилось ему: пахло дымом и кровью. А заря была необъяснимой: на розовом небе светились звезды. Авраам повернул голову и увидел горящий в ночи храм...

Тишина была в мире, только огромные столбы пламени беззвучно стояли в черном озере. Вода неслышно струилась сквозь огонь, где-то на дне шевелились дымные хвосты, и немы были недвижные фигурки людей...

Вчера на уходящей в озеро песчаной косе остановился караван, и все хорошо было видно сейчас через тихую воду. Звездами от кузнечного горна взлетели в небо искры. Огненный человек отделился от храма и долго бежал среди людей, пока не потух. В сторону Мидийских гор посмотрел потом Авраам и увидел настоящую зарю...

Светлее делался дым над храмом, и красная линия обозначилась между лесом и теми, кто ждал очищения. Локоть к локтю стояли деристденаны. Внизу, у нисходящих от храма ступеней, покачивался на воде большой тайяр. Люди в красном были на нем.

Потом отделились от них четверо и пошли к молящимся перед храмом. Взяв первых десять, они повели их на тайяр. Ограждено было досками место на нем, обращенное к озеру. Маленький горбун стоял там с плоским широким топором... Медленно поплыли в воде длинные черные руки. Утреннее солнце отразилось на миг в озере и потухло...

Отсеченная голова человека тихо падала с тайяра, за ней уже валилось туловище. Их подхватывало и волокло по дну к окончанию косы, где стоял Авраам. Только там показывалась над водой чья-нибудь рука или нога. С тихим шорохом рушился водопад на далекие скалы внизу, и ни звука не доносилось оттуда...

Аврааму показалось, что он видел уже все это: качающуюся на воде лодку и маленького горбуна. Красный от крови рот был у него...

Спокойно переливалось озеро, и лишь солнечный зайчик пробегал всякий раз по нему, когда горбун поднимал свои руки. Да еще длинные розовые ленты плыли по фиолетовой воде. Их прибивало к берегу одну за другой, и красная пена оставалась на песке. Волновались лошади и верблюды, пятясь от воды...

С отрядом деристденанов, идущих из Шизы, поравнялись они на большой царской дороге в Ктесифон. Никогда не пользовались лошадьми эти люди в красных кабах. Пятерками шли они, взметая едкую пыль большими кожаными лаптями — чарыками. Узкими ремнями было обвязано намотанное на икры домотканое полотно.

Снова встретил он среди них знакомого гончара из Гундишапура. На расспросы Авраама о том, что произошло у храма, гончар поднял вверх правую руку, заранее отметая возражения:

— Они сами подожгли храм... Так сказал Тахамтан!

И четверо идущих с ним подтверждающе кивнули головами.

XIV

Только теперь, после побоища в Шизе, он словно проснулся вдруг в Эраншахре. Сразу отдалился Туран, свернулась в клубок долгая дорога, замерли пестрые шумы. И тут же вплотную приблизились железные ворота. В ряд стояли зримые Артак, Кабруй-хайям, маленький Абба, сотник Исфандиар с Фархад-гусаном. За воротами были бесчисленные улицы и переулки, торговое подворье, выложенная черным камнем площадь и дворец в серебре. А в стороне, на другой дороге, белели башни дасткарта, и калитка была в стене, откуда выходила в душную ночь женщина под покрывалами из тяжелого шелка...

Не будет уже другого города у него. И другой страны никогда больше не будет. Даже пыль казалась ему необычной, а жгучее солнце над головой прибавляло сил. И вода в Тигре была настоящая, с оседающей на дне черпака красноватой глиной...

Все было по-прежнему, только совсем пустыми сделались селения, осели дувалы, крепкая желтая колючка осыпалась на прошлогодних участках-картах. И, словно знак смерти, стояли через каждый фарсанг пути угасшие кузни. Черный холодный пепел выдувало из них на дорогу, а на пороге сидели кузнецы в прожженных передниках и смотрели вдаль. Истошно ухали по ночам совы...

Вдовый и бездетный был его дядя Авель бар-Хенанишо. Слепой старик отец жил с ним и горбатая прислужница. В дом к нему под крестом на воротах отвел он Роушан. Она тут же принялась распоясывать верблюда, складывать котлы и кувшины в указанном прислужницей месте. Авраам пришпорил коня и помчался к дасткарту...

Гулко и часто застучало в ушах, когда прошел Авраам в шаге от платана. Краем глаза увидел он калитку в стене. Полным белым пламенем горели лампады в коридорных нишах.

— Тахамтан!..

Это было первое слово, которое услышал он в дасткарте. Датвар Розбех произнес его, выйдя из книгохранилища и глядя мимо Авраама. Тихие, неслышные шаги почувствовались за спиной. Едва не прикоснувшись к нему, прошел невысокий плотный человек. Желтоватые глаза спокойно задержались на лице Авраама. Всего мгновение это было, но что-то многоногое поползло по спине...

Подождав, он все же приоткрыл завесу, за которую ушли Розбех с Тахамтаном. Светлолицый Кавад от окна смотрел на него. И знак рукой сделал царь царей, как будто ждал Авраама...

Все те же люди были здесь: эрандиперпат Картир, великий маг Маздак, датвар Розбех, некоторые мобеды и вожди дери-стденанов. И кольнуло в груди у Авраама, когда увидел он воителя Сиявуша. Прямой и безразличный сидел тот за столиком в стороне.

В последний раз видел Авраам великого мага Маздака. Еще более тяжелой стала его голова, резко обозначилась печальная складка у рта, но так же неумолимо ясны были серые глаза.

— Черной лжи послужил в своем нечеловеческом усердии Тахамтан! — Рука Маздака отдернулась, словно не желая испачкаться в чем-то незримом.— В храме, где главный огонь сословия артештаран, учинил он погром. Мы можем не считаться с суевериями, когда люди готовы к этому. Так было в «Красную Ночь». Но мы-то знаем, что большинство дехканов и простых земледельцев продолжает верить в огонь. Что лучше гонений укрепляет веру?!

Да, в дороге уже слышал Авраам, что две тысячи дехканов зарезано при пожаре храма. Потом их стало уже десять тысяч. А старая прислужница из дома Авеля бар-Хенанишо спросила, правда ли, что красные рогатые дивы — пожиратели людей явились из сгоревшего храма. И везде в Эраншахре называли имя Тахамтана...

Авраам сидел в углу и не мог отвести глаз от этого человека. Крупный нос и скулы выдавались вперед на полнеющем, тронутом оспой лице. Прямо от бровей терялась в густых волосах

полоска лба. И еще чуть подрагивала верхняя губа, скрытая персидскими усами. Казалось, только заговорит он, и Авраам вспомнит, узнает...

Но Тахамтан молчал, глядя своими светлыми песчаными глазами в лицо Маздаку. Они не мигали, не сдвигались в сторону. Какая-то спокойная, загадочная уверенность была в них...

Заговорил Розбех, искренний, непримиримый:

— Пусть сгорит один храм, и поостерегутся тогда заходить в остальные. Пусть рухнут дома в десяти дехах, и в ста дехах не поднимут больше руки на красных диперанов. Пусть тысяча голов будет срезана с плеч, и сто тысяч испугаются лжи. Не терпеливая и прощающая, а с острым мечом в руке должна быть правда. И светлым станет мир!..

Бог и царь царей Кавад смотрел на Маздака. И воитель Сиявуш повернул к нему голову. Розбех умолк, и до белизны были сжаты его сухие тонкие руки.

Правой ладонью от левого плеча разрезал воздух Маздак:

— Не мечом утверждается правда. В подполье зажгутся огни, если разрушим храмы. Укрепится суеверие, ибо как раз насилием питается ложь. И убийство никогда еще не приводило людей к счастью...

— Когда-то люди ходили голыми и ели сырое мясо...— Розбех теперь говорил, задумчиво потирая пальцами жезл датвара — костяной, с бронзовыми крыльями у основания.— Царь Хушанг принес им огонь и научил одеваться в звериные шкуры. Но я знаю, что силой принуждал он людей к этому доброму делу. Тридцать лет разбираю я тяжбы их между собой, и мне известна человеческая глупость...

— Не было никакого Хушанга!..

Это тихо сказал Маздак. Он совсем по-человечески улыбнулся, обвел всех своим удивительным взглядом, и горестная морщина вдруг пропала у рта. Радостный, чистый звон первозданного языка послышался сразу со всех сторон:

Потом явился человек: могуч,
Замкнул он эти звенья, словно ключ.

Он выпрямился, кипарис высокий,
Творя добро, познав любви истоки.

Сознанье принял он, и мысль, и речь,
К своим ногам зверей принудил лечь.

Весь разум свой ты приведи в движенье.
И слова «человек» пойми значенье.

Ужели ты в безумие впадешь,
Безумным человечество сочтешь?

Ты — двух миров дитя: слагались звенья,
Творился ты, чтоб стать венцом творенья.

Так не шути: последним сотворен,
Ты — первый на земле, таков закон!

Великий маг замолчал, но долго еще прислушивался к затихающим под потолком словам. Потом в подтверждение еще раз отрицательно мотнул головой:

— Если правда настоящая, люди примут ее. И не надо спешить лишь для того, чтобы насытить собственную гордость. Пусть даже это будет, когда наши сухие кости развеет ветер...

— Как же спасти правду? — воскликнул Розбех.

— В чистоте ее сила! — Маздак резко повернулся, указал на Тахамтана.— Он кровью забрызгал правду, и умирает теперь она... Помни, Розбех, что насилие всегда притягивает к себе лживых, с какими бы добрыми намерениями ни совершалось оно...

Они говорили, глядя друг другу в глаза, Маздак и Розбех. Свет заходящего солнца проник из сада, и обычный фарр загорелся над головой сидящего у окна Светлолицего Кавада. Он встал, неслышно прошел вдоль стены с книгами.

— Ты нашел Город Счастья, ровесник Авраам?

Живое нетерпеливое ожидание было в быстрых глазах царя царей, но смотрели они по-арийски прямо. Нельзя было уклониться, говорить об обманчивых преломлениях, относительности всего сущего, призрачности сказаний.

— Нет,— ответил Авраам.

И царь Кавад возвратился к окну.

По настоянию великого мага решили они на рассвете уехать в Шизу. И отправятся туда сам Маздак, датвар Розбех и Тахамтан, чтобы объяснить людям неприкосновенность храмов. Вожди деристденанов разъедутся для этого по сатрапиям...

Еще раз прошел мимо своей неслышной походкой Тахамтан. Опять задержались на нем желтоватые глаза. И тогда наконец вспомнилось Аврааму. Так смотрела крыса от лошадиного копыта — холодно, ожидающе, неумолимо...

В книгохранилище остались лишь великий маг и Розбех. Возвращаясь, Авраам задержался перед завесой. Он услышал последние слова Маздака, и бесконечная усталость была в них...

«Рано или поздно становится ложью самая высокая правда... И ничего нет хуже правды, ставшей ложью. Мы должны понимать это, Розбех!..»

Покачивались в лунном свете деревья. Он прислонил лоб к остывшей осенней коре платана, и начал возвращаться к нему рассудок. Зачем он пришел сюда?..

Белая тень возникла в проеме калитки, подошла и стала в двух шагах. Все так же необыкновенно светилось лицо, приподнималась и опадала на груди тяжелая, прозрачная при луне ткань. Рука, как всегда, придерживала покрывало, и чистый холод тела был под ним...

Четкие уверенные шаги приближались, и казалось Аврааму, что на грудь ему наступают ногами в колеблемой листьями тьме. Покрывало начало сползать у нее с плеча, тень воителя Сиявуша закрыла луну...

Прочь пошел он, как слепой, раздвигая невидимые кусты. Проплыли, мигая, светильники в нишах, упал и погас на пол каморки длинный безликий луч. В знакомую койку уткнулся Авраам, содрав с себя одежды...

И женщины другой не будет у него. Каждую минуту с той ночи был он с ней, но только не знал об этом. Черная пустота расползалась впереди. Тело болело от горя, и он прижимал ко рту холодные ладони. Кто-то посторонний сейчас там, и полны чужие бессмысленные руки...

Показался ли ему снова на полу угасающий луч или возвратилось безумие соленой пустыни? Запах платана ворвался из мокрого сада. Он протянул руки во тьму и ощутил твердую белизну ее тела. Шелк неслышно заскользил поверх пальцев...

— Абрам...

Дыхание коснулось его. Еще не веря, приблизил он руки к лицу: они пахли, как в то далекое утро. И тяжелые солнечные волосы, от которых ее имя, упали ему на глаза и губы. Привкус меди был у них от гретой на огне воды. А за мягкой завесой ниспавших волос услышал он властную, горячую, всеутоляющую щедрость ее груди и приник к ней, содрогаясь от плача.

А она все гладила и гладила его голову, и ему казалось, что все это было уже много лет назад — еще тогда, в Эдессе, когда была у него мать. Потом все медленнее становились ее движения, и он тоже затих, чувствуя, как помимо него напрягается тело. Руки легко находили ее, и сама она искала их. И ничего больше уже не нужно было искать.

— Абрам... О Абрам!..

Они вздохнули вместе, как в первый раз. Он стал потом неумело подкладывать под нее скатившееся одеяло, потому что на досках лежали они. Она поднялась, сделала с собой что нужно, ровно выстелила большое одеяло во тьме. Но он видел все, и высокая волна близости прилила от нее.

— Фарангис!..

Впервые он назвал ее бронзовое имя. Обычным, земным сразу стало оно. И они легли, обнявшись, прижимаясь в извечной чистоте тела, согревая друг друга от проникающего через камни осеннего холода.

— Я услышала тебя у платана, Абрам...

Про то, что ждала его, говорила она, и как много снился он ей. Не отпуская его ни на миг, шептала в ночи Белая Фарангис о своей безмерной тоске по нему. И плакала, как всякая женщина, боясь, что уйдет он когда-нибудь от нее.

Он целовал ее лицо и влажные, вдруг умолкающие губы. Каждый раз затихала она так в ожидании счастья. И когда приходило оно, просыпалась сразу вся и не знала усталости. Покорная, ослепшая, искала она потом его руки.

— Я люблю тебя, Абрам!..

Он забыл спросить о воителе Сиявуше, потому что не имело это значения...

Было мгновение, когда споткнулся Авраам о невидимое... Нет, не ведала она лжи. Одна лишь высокая правда любви жила в ней. Вся без остатка растворилась она в нем, сердце и плоть их были едины.

— Уедем куда-нибудь! — сказал он.

На миг отстранилась она, но не был виной этому кто-то другой. Сразу вспомнил Авраам тот день, когда шла Белая Фарангис при свете солнца. Ночное было у нее все: необычный профиль, лунная белизна, на фарфоре нарисованные губы. Закутана в шелк была она, и узкая рука с зелеными и золотыми камнями на пальцах придерживала покрывало у плеча...

Но лишь потом засветились зелено-золотые глаза. А вначале безразлично, как камни в перстнях, отразили они Авраама, длинную каменную стену, рабов у оливок, притихших азатов. Видела ли она людей?..

И не было уже грозного тумана из старых сказаний. По краям ее маленького рта проступили тогда арийские бугры. Как у тупого Быка-Зармихра, оттянули они книзу углы ее губ. И у канаранга Гушнапсдада так же высокомерно кривились губы

при людях. Даже у надсмотрщика Мардана вздувался рот по краям, когда говорил он с рабами...

Авраам протянул руки к ее рту, потрогал около. Не было там ничего, только великая человеческая нежность кожи. Ласково, больно прикусила она ему пальцы...

От шума в коридоре пробудился Авраам, открыл глаза. Один лежал он, до головы укрытый одеялом, и не осталось ничего от ночи. Но полно было радости тело, и болели покусанные губы. Что-то стягивало ему шею. Потянув, увидел он сплетенный втрое золотой волос. Так царица Вис привязывала к себе Рамина. А в Самарканде сделала это жрица при храме, когда расстались они. И даже волос Мушкданэ, дочки садовника, когда-то остался на нем...

За окном глянцево сияли осенние красно-желтые листья. Закачалась дверная завеса, и уставились на Авраама бесцветные глаза. Поганый Мардан это был, надзирающий над рабами и по своей воле заглядывающий во все щели. Самим Богом в наказание был вдавлен нос посреди плоского лица. Чуть дрогнул этот круглый нос, повертелся, задышал важно в обе ноздри:

— Там диперанов зовут... Всех!

XV

Сдвинулись за спиной железные ворота, и тревога проникла в сердце. С ночи разошлись деристденаны по сатрапиям, а великий маг Маздак со своими людьми уехал на Север, в Шизу.

Авраам не успел поздороваться с друзьями. Диперанов торопили, и они один за другим взбирались наверх по крученным вокруг одной оси ступеням. В темном колодце лестницы слышались удивленные восклицания. Никто не ждал в этот день Царского Совета...

ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ МАЗДЕ ЗАМАСП, БОГ,
ЦАРЬ ЦАРЕЙ АРИЙЦЕВ И НЕАРИЙЦЕВ ИЗ РОДА
БОГОВ, СЫН БОГА ПЕРОЗА, ЦАРЯ, СЛУШАЕТ ВАС,
АРИЙСКИЕ СОСЛОВИЯ!

Авраам не понял сразу, какое смещение произошло в царской формуле. Диперапы переглядывались. Старый Саул был угрюм, а в глазах Артака обозначился страх...

Он посмотрел вниз. Тремя рядами сидели сословия, и множество великих появилось справа на синих подушках. Перевернуты зачем-то были красные подушки слева, откуда говорили всегда Маздак и Розбех...

Замасп!.. Почему назван он — жалкая тень Светолицего Кавада? И не видно нигде безликого царевича с бегающими глазами. Самого царя царей тоже нет на обычном месте...

Красный ковер откинулся в боковом проходе. Шестеро великих ввели человека под черным покрывалом. Пригнув, посадили они его в круглую яму посредине зала. Яростно взвыли карнаи.

— Обнажите лицо отступника!

Это радостно крикнул мобедан мобед, вытянув шею. Первый сопровождающий рывком сбросил покрывало. Кавад, царь царей и бог, был под ним...

Огонь поставили перед царем, чтобы он смотрел на него. На уровне пола были его глаза. Гушнапсдад, канаранг — правитель Хорасана, большой, налитый могучей древней кровью, был ближе всего к нему. Крохотный изогнутый ножичек вынул он и принялся подрезать ногти. Все смотрели на этот ножичек...

Авраам содрогнулся: так сделали с Валаршем, предыдущим царем. Далеко в Истахре есть дасткарт для слепых царей...

— Сегодня нам может помочь этот маленький ножичек...— Канаранг поиграл узеньким лезвием, проверил пальцем остроту.— Двадцать тысяч латников не будут в силах сделать этого завтра!

Большая рука с ножиком медленно опустилась на уровне глаз царя. Светлолицый смотрел на огонь...

Авраама оторвали от перил, толкнули в темноту. Вместе с Артаком бежали они узкими проходами. Пустая черная площадь была оцеплена с четырех сторон гусарами. Их пропустили как диперанов...

Ктесифон был пуст. Ни одного человека не было на улицах и площадях. И на полях не было людей. Далеко у горизонта стояли светлые горы.

Когда они поднялись на холмы, трубный гром докатился до них из пустого города...

ЗАМАСП, БОГ, ЦАРЬ ЦАРЕЙ... ПОВЕЛЕЛ...

XVI

Женщина под радужным покрывалом шла над пропастью, и было это как в нескончаемой сказке, которую тысячу и одну ночь рассказывает царю мудрая дочь вазирга, чтобы продлить жизнь...

В дехе у сотника Исфандиара укрылся Авраам после бегства из Ктесифона, потому что многие из великих разыскивали красных диперанов и прокалывали им зрачки. Там было тихо: Фаршедвард — младший брат Быка-Зармихра, владевший дасткартом у гор, почему-то не приезжал, а дехканы и люди-вастриошан по-доброму относились к Аврааму. В землянке с Исфандиаровым рабом Ламбаком жил он и все слушал его неимоверные истории про горных, лесных и водяных дивов.

Всякое рассказывали шепотом про царя царей Кавада и вдруг перестали. Когда выговорил Авраам как-то имя его при старом мобеде — служителе местного Огня,— тот затрясся и пошел не оглядываясь. Раб Ламбак крепко закрывал свои глаза и прятал лицо в руках, чтобы не видеть и не слышать...

Ночью, в дождь, едва слышный стук раздался в стену. Ламбак зажег факел от тлеющего очага, и, как черное курчавое видение, стоял на пороге молодой цыган. Мокрые волосы и глаза его искрились от огня, тень изламывалась на стене. Авраам не сразу узнал того мальчика Рама, что лазил к азатам под стеной...

Воителя Сиявуша искал цыган Рам: торопил, клялся, тряс за руки, а почему — не открывался. Только когда ехали уже вдвоем в ночи, сказал он про «Замок Забвения»...

Не убили Светлолицего Кавада, царя царей и бога. Ослепить они тоже не посмели его, опасаясь азатов. С ним сделали, как уже делали в древности с отступившими от закона Кеями: имя их не должно быть произносимо в Эраншахре при свете дня, и язык отрезается тому, кто вспомнит его. На земле остается только тело того, кто некогда был царем, а самого его больше не существует. И не знает никто, где находится этот замок...

— Ты знаешь? — спросил Авраам.

Рам остановил коня, испуганно оглянулся во все стороны, кивнул головой. И подумалось Аврааму о человеческом естестве, которое одинаково у всех. Безродный цыган не забыл, как запретил Светлолицый рубить руку мальчику, укравшему курицу. Крепче ли арийская память? А разве он, ученый христианин Авраам — сын Вахромея, не подивился только что людским чувствам у другого человека?..

Четыре ночи подряд скакали они по цыганским дорогам в объезд Ктесифона, ибо знал Авраам, где следует искать воителя Сиявуша.

Дождь не переставал, и мокрые листья мягко оседали под ногами. Голые ветки стыли во тьме, подрагивая под ветром, дующим от реки. Ни единой души не было в саду дасткарта, куда

впустил его охранявший въезд Фархад-гусан. И другой азат не спросил по арийской сдержанности, что понадобилось там беглому диперану...

Авраам обошел намокшую стену, постоял у калитки, и ноги привели его к платану. Была середина ночи, и не знал он, что делать. Так и стоял он, пряча всякий раз голову в плечи, когда ветки стряхивали с себя темную воду...

И пришла к платану Белая Фарангис. На черные, раздираемые ветром тучи смотрела она, подняв к небу лицо. Авраам знал, что это его она ждет. Он вышел из-за платана, взял ее стынущие руки. Она покачнулась и вдруг заплакала громко и несчастно, как и всякая женщина:

— О-о, тебя не убили... Ты жив, жив!..

Покрывало съехало набок у нее с головы. Она не отпускала Авраама и локтем размазывала слезы по лицу. Краска от сведенных бровей расплылась по щеке и у рта, дергался подбородок, нос сморщился от плача. И совсем некрасивой стала Фарангис...

— Ты жив, Абрам!..

Он сказал, что должен увидеть Сиявуша, и она сначала не поняла. Потом кивнула головой и стала обтирать лицо краем покрывала. Не спросив ни о чем, повела она Авраама к калитке...

В комнатах ее прятался Сиявуш. Она привела Авраама к нему и села в стороне, закрывшись тяжелым шелком. Фонтан неслышно извивался по синим каменным ступеням, и воитель Сиявуш сидел безразличный, в ремнях, с волчьим кулоном на груди. Про то, что знал от цыгана Рама, сказал ему Авраам...

Когда вышли в сад, в другой одежде уже была Белая Фарангис. Медные носки шнурованных дорожных туфель выглядывали из-под плотного коричневого плаща, кожаная накидка закрывала голову. И не смотрела она уже на Авраама. Он видел, как тонкий серпик достала она из-под подушки...

Вздыхал от тихого дождя сад при дасткарте. На стене у водостока недвижен был черный человек, и только длинные староперсидские усы колыхались от ветра. А может быть, показалось Аврааму, и была это просто тень от мокрого, утерявшего листья дерева...

С ними ехала Белая Фарангис, отставая на полконя. Сзади скакали два азата-горца в башлыках и с волчьим знаком Испахпатов на груди. Рам ехал впереди всех, выбирая дорогу.

Цыгане-домы, обжигающие в безлюдных горах деревья для варки железа, рассказали ему, что провезли мимо них светлолицего человека с кожаным щитом на глазах. И живущий в

Чертовом Провале старик подтвердил, что это и есть царь царей. А в замке на скале заточили его за то, что разрешил цыганам жить на одном месте. Не позволялось им раньше строить стены от ветра и оставаться на ночь под крышей в селениях Эраншахра...

В каменной стене между туч выбили узкие бойницы, а те, кто сделал это в неведомые времена, превратились в белых сычей и кричат во тьме, чтобы не уснула стража. Заххака, змея-людоеда, держали здесь, перед тем как приковать к Демавенду. Шепотом сказанное слово нескончаемо гремело и билось о камни, поднимаясь со дна ущелья. Вечная ночь была внизу, и звезды не уходили с неба. Имени не имело это место...

Лишь старый цыган жил у начала ущелья, потому что объезжали люди нечистую скалу и даже воду не пили из текущей оттуда речки. До земли были волосы у старика, и страшно было смотреть в его черные уснувшие глаза. От века не стриженные ногти на руках и ногах стучали о камни, когда передвигался он от своей пещеры вверх, к замку.

— Называющий себя Маздаком — наш цыган!..

Это было первое, что сказал он Аврааму.

Не такой уж безумный был старик, который убирал в замке и возил туда воду. Каждое утро шел он наверх по узкой, высеченной в скале дороге, ведя над пропастью слепого мула с мехами по бокам. А днем, когда слабый свет появлялся в небе, уходила туда цыганка, завернутая в цветное — красное, желтое и синее покрывало. Кувшин с козьим молоком несла она на плече...

В заброшенном становище среди леса стали жить они, и Рам свел его и воителя Сиявуша с этим стариком. Словно падающий град сыпалась речь Рама, а старик слушал и качал головой. Временами он засыпал...

Старый дом придумает! заверял их Рам.

Так, дóмами и луриями, называли себя цыгане. Рам рассказал ему, что вовсе не призывал их царь Бахрам Гур для развлечения людей в Эраншахр. Когда-то, много веков назад, имели землю домы. Богатые города и селения стояли на берегу великой реки в их стране. Но пришли арийцы и все разрушили Мужчин убивали они, а женщин забирали для себя. В лес убежали уцелевшие домы, и только обжигом деревьев разрешили им заниматься. А те, кто остался, просили подаяние, пели и играли, потому что нет на земле добрее и веселее людей.

Но раз в сто лет выходили домы из леса. Они шли в селения и брали себе все, что хотели, ибо на их земле это выросло Правители посылали войско, которое избивало и топтало слонами

не знавших оружия домов. И луриев-музыкантов ловили и убивали в селениях. Куда придется бежали цыгане тогда от родины своей — Индии...

Во времена доброго царя Ездигерда пришли они в последний раз в Эраншахр, нагрузив детьми и женщинами свои большие деревянные повозки. Но пока ехали они, Бахрам Гур сделался царем. Он любил слушать песни цыган и брал у них девушек на ночь. Зато главный царский вазирг — вселенский гонитель Михр-Нарсе — запретил им строить жилища. И живут с тех пор цыгане в повозках, сплетая из тростника стены и крышу от непогоды. При царе Каваде разрешили им оставаться на одном месте, но многие уже не хотят этого, потому что родились в повозке...

Старый дом придумал... Железной сетью была отгорожена комната на скале, где жил человек, не имеющий имени. Зубчатый нож из туранского железа передал ему старик, убиравший объедки. А потом пошла над пропастью женщина под цыганским покрывалом...

В повозке без колес спал Авраам, зарываясь в сухую жесткую траву. Напротив был шатер из веток. Воитель Сиявуш заползал туда каждую ночь, и азаты ложились рядом в корнях дуба. А Белая Фарангис ушла к внучке старого цыгана и не приходила к ним...

От Сиявуша услышал он, что наутро пойдет она в крепость вместо цыганки. В пещере сидели все они, и открыто было ее лицо. Тихо спросил тогда Авраам, нельзя ли сделать иначе. И снова проступили арийские бугры у маленького рта:

— Я из рода царей!..

Чужим, визгливым голосом сказала она это, и попятился Авраам. Торгующая рыбой женщина кричала так на нисибинском базаре, ухватив соседку за волосы. Вот откуда вставшее между ними молчание, когда захотел он уехать с ней. В гордыне утверждала она себя...

Авраам ушел в лес. Он с головой зарылся в пересохшую траву, но стояло перед ним ее лицо. Углы рта высокомерно опускались книзу, и не было внутреннего света в продолговатых, словно нарисованных глазах. Пусто, как после пыльной бури, стало у него в сердце...

От первобытной бедности духа эта гордыня. Шкура тигра закономерна для воителя Ростама. Великая красота и ясность человеческого младенчества в ее ярких, мощных полосах. Но уже рядом с колоннами Персеполиса неестественна она, начинает торопиться, мешать ходьбе, пластике, пониманию мира...

В пример вошло арийское напыщенное величие. Тошнота подступает к горлу, когда канаранг Гушнапсдад тужится изоб-

ражать богов и воителей из сказаний. Негде утвердиться ему, как в младенчестве. В прошлое, к почве и крови тянет скудоумие. И не безобидно его устремление. По-волчьи кривит губы человек, желая остаться в звериной шкуре. Разве не в этом смысл разрушения Персеполиса, всех других развалин — бывших и грядущих?..

— Мой трон — седло, моя на поле слава,
Венец мой — шлем, весь мир — моя держава!..

Отрывисто, визгливо прозвучали вдруг в памяти знакомые строки. И даже не женский был это голос, а чей-то сатанинский, многоротый, бесполый. Воитель Ростам в первозданной пустыне поднимал обе руки к лицу, защищаясь от него...

И, наперекор всему, загремело, запело на разные голоса сказание о человеке, который самой природой сотворен выше зверей. Авраам лежал, слушал, и все было безразлично ему. Цыгане-домы спасали царя из благодарности. Не из человеческого долга, любви или высокой женской слабости — из арийского высокомерия шла на екалу Белая Фарангис. И что ей был какой-то диперан-иноверец...

А она пришла к нему в повозку. И снова некрасиво морщила нос от плача, и краска текла по щеке, как в ту ночь, когда Авраам понял, что любит ее. Никаких бугров не было у Фарангис... И здесь, в старой повозке, была она дочерью царей, а не когда прозябала в первобытной гордыне...

Опять были едины они в холодном осеннем лесу. Только однажды осторожно, чтобы не услышала она, убрал он из-под ее локтя свой нательный крест...

Сиявуш видел, как уходила она, и не обозначилось ничего в серых спокойных глазах. Не от равнодушия это было. Просто не считал он Авраама среди людей. Молодых рабов часто держали для своих многочисленных жен великие...

Красно-желто-синее покрывало набросила она утром поверх белого шелка, взяла кувшин на плечо и пошла не оглядываясь. Они ждали внизу, затаившись в корнях тысячелетней арчи. Вода глухо шумела в ночи ущелья...

Уродливые, не знавшие солнца ветки тянулись вверх за ней. Безжизненно зеленела трава, цепкие кусты выползали из расщелин ей под ноги. Потом они отпустили ее, и осталась голая каменная стена, уходящая в небо...

Бесконечно долго она шла. Отчетливей становилась изломанная полоса света над головой. Белые хлопья недвижно висели у стены, и терялось всякий раз среди них радужное пятно. Потом снова, уже чуть выше, появлялось оно...

Все было хорошо видно им из полутьмы. Медленно, как завороженные дивами, двигались в небе люди. Узкий мостик на канатах опустили ей из замка, и она прошла по нему над бездной в черную пустоту. Оба стражника остались на скале...

Почти сразу вышла она. А может быть, время побежало быстрее. И не она уже это была. В обратную сторону проплыло многоцветное пятно, поползло все быстрее по стене, вниз. Но Авраам неотрывно смотрел туда, где плавно поднимался на канатах узкий деревянный мостик...

Светлолицый Кавад отшвырнул от себя цыганское покрывало и положил руку на плечо Сиявуша. И в это время забегали на скале люди. Солнечный луч прорвался сквозь каменные нагромождения, упал в черный проем бойницы. Белая Фарангис стояла там, и прозрачно светился шелк, сползающий с плеча. Руки потянулись к ней из тьмы, но не достали ее. Завернутое в покрывало тело начало долго и медленно падать вниз...

Ночь по-прежнему была в ущелье, когда метнулся туда Авраам. Белый поток перегородил дорогу. Воитель Сиявуш подскакал к нему со свободным конем в поводу, схватил за пояс, потащил кверху из кипящей, перемешанной с камнями воды. Люди бежали по мостику в небе. Черный дым погасил солнце, и невидимые ветки рвали лицо...

XVII

Столбы дыма стояли по всему Эраншахру, предупреждая стражу на перевалах о немыслимом побеге из «Замка Забвения». Но цыганскими дорогами ехали они, пока не встала перед ними стена Мазандерана. Владения бесчисленных Испахпатов — кровных родственников Сиявуша — начались здесь. Лицом вниз на осенние листья упал Рам перед Светлолицым, полежал немного, спрыгнул на крытого мешком коня и поехал назад, к своим домам...

Каждую ночь падала в пропасть Фарангис. А потом приходила к нему с заплаканным лицом и вязала на шею золотой волос. Он всякий раз хотел сказать, что любит ее, но радужное покрывало набрасывала она и все шла и шла от него по каменной стене...

Впрямь на гнездо птицы Симург похож был выбитый в скалах дасткарт Испахпатов, где остановились они. Холмами казались горы вокруг, и вечный снег лежал за порогом. Стронутого с места камня было довольно, чтобы погубить целое войско внизу...

Царь царей и бог Кавад полон был гнева, радости и нетерпения. Он ходил по каменной галерее дасткарта, и быстрые глаза его смотрели то на Туран, то в сторону Эраншахра. В день приезда привели ему трех девушек — дочерей хозяина дома. В одинаковых накидках из синего атласа были они, одна и та же синяя полоса проходила по бровям. Всех троих он взял себе в жены...

Уже намерзал новый снег, когда пришли вести из Турана. В тот же день стали спускаться они вниз, к Стране Волков. За вековые обиды и притеснения не любили здесь великих Каренов — главных врагов царя, и не нужно было опасаться засады. А на стыке с Хорасаном конная цепь кайсаков показалась на ближайших барханах. Светлолицый махнул рукой сопровождавшим его людям и поскакал к туранцам. В мгновение ока пропали они с ним, словно сгинули в Черных Песках...

Часть III

ЛЖЕМАЗДАКИ

Появились люди, не украшенные достоинством таланта и дела, без наследственного занятия, без заботы о благородстве и происхождении, без профессии и искусства, свободные от всяких мыслей и не занятые никакой профессией, готовые к клевете и ложному свидетельствованию и измышлению; и от этого добывали средства к жизни, достигали совершенства положения и находили богатство...

«Намэ-и Тансар»

I

Опять на краю Эраншахра стоял Авраам — сын Вахромея. Зеленым Джамшидовым мечом рассекала пески Маргиана, и была как ножны для него стена Антиоха. Черные треугольники и трапеции испещряли мир во все стороны... Не один он стоял

так сейчас на вершине «Дворца Дивов». Многие люди поднялись с ночи на заброшенные стены и смотрели туда, где был Туран. Вчера еще тайно ускакал по гератской дороге слоноподобный канаранг Гушнапсдад. Три года назад приблизил он крохотный ножик для срезывания ногтей к быстрым глазам царя царей и бога...

Пероз первым из царей Эраншахра пришел когда-то к туранцам за помощью против брата своего Ормизда, и они помогли ему сесть под тяжелую корону Сасанидов. Сейчас дети Пероза повторяют все сначала. Один из них, больше всех похожий на отца, ведет из этих песков туранских кайсаков, чтобы наказать другого...

Хронику царя Кавада пишет Авраам, и станет она когда-нибудь завершением «Книги Владык» — истории арийцев от сотворения мира, их преданий и помыслов. Все тверже его убеждение, что притчи и немыслимые сказания неотделимы от жизни, как дух неотделим от плоти. Реальные деяния переплетаются с мифами и сами становятся похожи на сказки. Как запишет он, что случилось в Эраншахре за эти три года?..

Лишь то, что было в Мерве, знает он. Сразу от Испахпатов приехал сюда Авраам и нанялся в ученые писцы к воителю Атургундаду, благо тот вспомнил его. Вопреки своему дяде Гушнапсдаду, давал воитель Атургундад приют всем беглым приверженцам царя Кавада. И ничего не мог сделать с племянником великий канаранг, потому что в шатре у туранского владыки Хушнаваза жил бежавший царь, а кайсаки что ни день появлялись в виду Мерва...

Все старые Авраамовы записи привез с очередным караваном Авель бар-Хенанишо. И сотни верблюдов не пришло теперь с ним в Мерв. Великие, которых слушался жалкий царь Замасп, снова стали двойными и тройными сборами облагать каждый тюк шелка. Они брали из складов и мастерских что хотели, и не оставалось ничего для ромеев. О новых путях через море пошли разговоры в товариществе. И не налаживают эти пути лишь потому, что ждут перемены...

Надо ли писать об этом?.. А что сейчас в дехе сотника Исфандиара? Бегущие из Эраншахра люди говорят, что насильно возвращают великие свои земли, занятые дехканами и пахарями-вастриошан. Погромы инородцев прошли в Ктесифоне и Гундишапуре. Немало мастеров — христиан и иудеев пришло с семьями в Мерв за это время. И дальше ушли они — в Туран...

Что может написать он о Маздаке?.. Все говорят, что укрылся в Атурпаткане великий маг вместе с верными сподвижниками. От царя Кавада уже ездили к нему люди. И все чаще слухи, что болеет он: слишком много мудрости было дано ему

от бога, и не выдержала голова. О смерти Маздака тихо говорили в Хорасане...

Как притчи и сказания всевозможные слухи на неустойчивой земле Эраншахра. И всегда что-то истинное в основе. Откуда узнал он о тайном бегстве канаранга Гушнапсдада? Что поведала пустыня всем этим людям, которые пришли сюда и ждут еще с ночи, глядя в Черные Пески?..

Где-то там, в песках, Роушан... Авель бар-Хенанишо привез ее весной к нему в Мерв вместе с рукописями, и сразу принялась она чистить и убирать в его глиняном жилище при дасткарте воителя Атургундада. Другой совсем стала она за короткую зиму. Розовый свет появился на лице, темным сиянием наполнились глаза. Ничуть не стесняясь, раздевалась и укладывалась при нем Роушан, и Авраам увидел ее красивые ноги и маленькую крепкую грудь. Она засыпала сразу, а он продолжал писать при светильнике... Иногда он подходил, задумчиво смотрел на нее, гладил по голове...

Подолгу потом сидел Авраам и смотрел в белое мерцающее пламя. Каким чутьем понимала его спящая девочка? Не так много лет ему, но в разных сферах они. Любимое заплаканное лицо вставало во времени, отделяя его от того, совсем другого Авраама, который водил в кусты дочку садовника, метался на жесткой койке, ездил к Пуле...

Ровно горело пламя, тих был мир,падала и падала в ночь Фарангис...

Неуемная, закоренелая вражда была у Роушан к кайсаку Шерйездану. Узнав непонятно от кого, что в Мерве Авраам, стал наезжать к нему в гости Шерйездан со всеми друзьями. Пустыня, бешеный Окс и еще три пустыни лежали на пути, но конная скачка и была их жизнь. Словно с прогулки являлись они: свежие, крепкие, белозубые. С необычайным почтением смотрели кайсаки на разложенные по деревянному помосту у стены свитки, на столик с бронзовой чернильницей. Они обращались к нему, прибавляя туранское слово — приставку, означающую достоинство и старость. А почти все были одних лет с Авраамом...

Роушан кричала на них, что мусорят в доме и на дворе со своими бесхвостыми потными конями. Шерйездана не раз пинала она, проходя мимо. И тот боязливо втягивал голову и сгибал плечи, когда слышал ее голос...

А в один из дней степенно слезли с лошадей три белобородых кайсака в огромных узорных шубах.

— Это к вам, агай! — шепнул Шерйездан, отступая назад.

Старики сидели на ковре, пили кобылье молоко, подносимое молодыми кайсаками, и важно качали головами. Потом заговорил

старейший из них. Он долго и подробно объяснял, какого рода Шерйездан, какие храбрые и достойные воители его предки до седьмого колена. Благословляемые мертвыми и живыми из этого рода, приехали они, чтобы увидеть невесту и познакомиться с ее родителями...

Как во сне позвал он Роушан. Она пришла и села, потупив глаза перед стариками. Когда объяснил ей все Авраам, она вдруг заплакала и, к великому его изумлению, согласно кивнула головой. Потом вышла на айван и походя так треснула ожидавшего там Шерйездана, что тот отлетел к дувалу...

Голова шла кругом у Авраама в ту осень. Пришлось ехать за Окс, на шумную свадьбу, получать немыслимые подарки от родственников. Было их половина Турана, и все это время носились они по степи вокруг, выхватывая друг у друга из седел живых козлов, зубами доставая с земли завернутое в шелк серебро. Сливались в буйной игре люди и лошади, и во плоти представала перед ним древняя ромейская притча о кентаврах...

Целый табун лошадей был теперь у него в собственности. Нельзя было отказываться от уплаты за Роушан, ибо это роняло ее достоинство. Родовитости и красоте соответствовала цена. Еле уговорил Авраам своих родственников оставить его скот и лошадей на выпас в их табунах. Каждому коню выжигали железом тавро, а у овец надрезали уши. Простейший знак птицы придумал себе Авраам. В бесконечной степи должен иметь свой символ каждый человек...

Не проходило недели с тех пор, чтобы какие-то люди не передавали ему гостинцы из Турана. Все что угодно это было: расшитый хурджун, гуннские кожаные чулки, живая овца. И еще привозили всякий раз круто прокопченную жирную конину с обязательным присловием, что «сама Роушан-апай делала...».

Мир изменился. Он не понял сначала, что произошло. И стоящие на стенах люди затаили дыхание. Весь горизонт потемнел вдруг по кругу и начал стремительно приближаться, ломаясь на барханах. Словно чья-то рука стирала с лица земли солнечные рисунки. Все выше в небо летела черная мгла. День потух...

Чудовищная петля пыли захлестнула Маргиану. Было видно, как несутся в ужасе от нее, разбиваясь о древние стены, бесчисленные волки, барсы, онагры. По валу царя Антиоха затянула она Мерв, ворвалась сразу во все ворота. Пыльные смерчи понеслись над зеленой крышей города, соединились и закрутились над притихшим базаром...

Воитель Атургундад первый преклонил колено, коснулся ладонью глаз, рта и земли перед царем царей и богом Кавадом.

И тот повелел ему стать канарангом Хорасана, хоть и был он племянником Гушнапсдада, пожелавшего когда-то глаз царя. Азаты стояли в крепости четкой линией, и прямоугольный красный плат на пике колыхался от горячего ветра.

Как будто и не было похода через пески, носились по городу и вокруг него кайсаки. А к вечеру устроили все ту же туранскую игру: метались на воле конными скопищами, вырывая друг у друга вопящих козлов. Среди улицы нашел его Шерйездан, потащил к родственникам. Они ели у костра опаленное огнем мясо, отрезая прямо от туши...

Не успели доесть всего, какой-то молодой кайсак, исполосованный и счастливый, бросил к костру нового козла и спрыгнул с коня. Он подкатал рукава и принялся есть с клинка полусырое мясо, обсуждая со всеми действия какого-то туранского батыра, сумевшего в полдня перехватить восемь козлов и теленка. Аврааму передал потом кайсак дымный кусок на ноже, и чуть не поперхнулся тот. Светлолицый Кавад это был в кайсацкой одежде...

Померкли костры, и не успело солнце исчертить пустыню, опять разлился по земле стремительный конный поток. Не нужно было мясо в поход кайсакам. Облавой скакали они, гоня перед собой все живое. Волки, зайцы, онагры, легкие джейраны мчались от них день и ночь, попадая под разящие стрелы. С ходу втаскивали их в седла кайсаки...

Великий туранский владыка Хушнаваз ничем не выделял Светлолицего Кавада среди своих сыновей. Любимую дочь от сестры Кавада — заложницы — дал он ему в жены. А сейчас дал пятьдесят тысяч кайсаков с мечами из синего железа...

По центру, не сходя с древней царской дороги на Ктесифон, двигался полк хорасанских азатов. «Звезда Маздака» — прямоугольный красный плат на пике — трепетал над пыльным слепым облаком...

II

ПОКЛОНЯЮЩИЙСЯ МАЗДЕ КАВАД, БОГ, ЦАРЬ ЦАРЕЙ АРИЙЦЕВ И НЕАРИЙЦЕВ, ИЗ РОДА БОГОВ, СЫН БОГА ПЕРОЗА, ЦАРЯ, СЛУШАЕТ ВАС, АРИЙСКИЕ СОСЛОВИЯ!

Медленно поползла вверх завеса, и багровый свет стерся с лиц сидящих. Дыхание царя смешалось с дыханием мира. Обозначились бронзовые цепи, несущие золотую корону в воздухе. Неподвижно сидел под ней Светлолицый, и глаза его смотрели в черную яму посредине зала...

Откинулся ковер в боковом проходе. Шестеро воителей ввели человека под черным покрывалом, толкнули вниз. Завыли карнаи...

— Обнажите лицо вора!..

Глаза худенького царевича Замаспа не могли смотреть на поставленный перед ним огонь. Все время ускользали они. Когда серпик красного железа приблизился к его зрачкам, Замасп тонко закричал и пополз из ямы. Авраам закрылся ладонями...

Не бывало еще такого малодушия среди причисленных к богам. Ненужные цари в молчании и не поднимая рук принимали здесь это и уходили в Истахр, где далеко в горах был дасткарт с прекрасным садом и вечно шумящей водой. Специально для них его построил и завещал на все будущие века мудрый Сасан — основатель династии. Они обязательно должны были при этом смотреть в огонь, чтобы видеть его в своих снах остальную жизнь...

Замасп, жалкий царевич, поддерживал когда-то канаранга Гушнапсдада, пожелавшего глаз Светлолицего Кавада. Не потому воспротивились тогда великие, что кровь бога и царя священна. «Красную Ночь» помнили они и огненные реки из-за туч...

Жалобный вскрик затерялся в трубном реве. Неверно тыкающуюся черную фигурку уводили шестеро воителей. Прямо смотрел бог и царь царей Кавад, и резкий изгиб бровей повторял линию подбородка. Ближе всех теперь к царскому возвышению сидел датвар Розбех, вернувшийся из Систана вазирг Шапур и воитель Сиявуш. Мобедан мобед недавно упал в пропасть на горной дороге. И многих великих опять не было. Они убежали в дальние дасткарты, к ромеям или в пустыню — к бродячим всадникам. Тех, кого застали из поддержавших Гушнапсдада, отвели в царскую «Башню Молчания» на холмах. Прямые ножи дали им в руки, чтобы сами убили себя. Только канаранга Гушнапсдада удавили, в позор ему, шерстяной веревкой...

И еще не было в зале великого мага Маздака. Где-то на Севере находился он, и ждали его в Эраншахре...

Слоны сокрушали дасткарты. Огромные таврские бревна-кругляки крепились по обе стороны громадной туши, и вожатый направлял их на стены. Делалось по пять проломов с каждой стороны, выбивались калитки, и рушились башенки для стражи. Солнечные столбы стояли над Ктесифоном...

Авраам не знал даже, чей это дасткарт на краю города. Он просто смотрел. Отставляя бронзовые ноги, слон долго пятился от стены — на добрый выстрел из лука. Потом стоял, покачи-

ваясь от собственного дыхания. По вскрику вожатого он поднимал хобот, вынюхивал воздух и начинал бег: медленный, все убыстряющийся. Слепой глыбой проносился он последние шаги, и удар встряхивал землю. Так повторялось двадцать, тридцать раз, пока стена не обрушивалась сразу вся, обсыпая осколками желтоватые бивни... Солнце золотило пыль, летящую в небо.

Маленький загорелый вожатый в выцветшей куртке сидел на гладкой спине, ловко упершись ногами в бревно. В такт бегу выщелкивал он пальцами припев знаменитой песни Кабруй-хайяма. Кружком в стороне сидели азаты. Они провожали глазами бегущего слона, и невозможно было узнать, что они думают...

Авраам недавно вернулся из деха Исфандиара, где с приданными ему четырьмя слонами занимался тем же. Азаты тоже были там в осеннем отпуске. Вместе с людьми-вастриошан возвратили они себе заречную землю, восстановили раздел воды, но древних земель Каренов почему-то не занимали. Даже пастух, гоняющий коров от мира, старался не пускать их на пустующие луга дасткарта, и траву никогда не косили там. Ночью с белых башен ухали совы...

Он спрашивал азатов и людей-вастриошан, почему не пашут там. Они молчали или начинали говорить о другом. Только старик мобед искоса посмотрел на него и спросил:

— Слышишь?

Они стояли на холме у храма и смотрели в сторону дасткарта, неясно белеющего в ночи у гор. Как раз гулко и сиротливо заухала сова.

— Это у Каренов от чужого,— сказал жрец.— С чужой земли всегда прилетают совы в собственный дом...

Аббы и Артака не было в Ктесифоне. Сам датвар Розбех послал их на ликвидацию дасткартов: Артака — в Хузистан, а Аббу — в Междуречье, где с Вавилонского пленения жили евреи. Сразу после возвращения царя царей ушел Абба из семьи экзиларха и обитал то у Авраама, то у диперана Махоя, Льва-Разумника по прозвищу.

Медленно, опустив поводья, подъезжал теперь всякий раз Авраам к дасткарту Спендиатов. Стены были проломаны и здесь, потому что Розбех сказал, что начинать надо с тех, кто ближе к царю. Пусть видят: одна на свете правда Маздака. «Неподкупный Розбех» называли его в Ктесифоне и приветствовали по-древнему — прикрыв ладонью глаза...

Не было уже эрандиперпата Картира, долгоусого и важного. После гибели Фарангис оставил он все и еще при Замаспе уехал в дальний Истахр, к своему родовому дереву. Старик ее любил...

Когда приехал сюда Авраам, еще целы были стены. Зато мостки, калитки, бронзовые решетки — все было сорвано. Желтой колючкой заросли оливы, и рабы волокли из сада большое дерево на топливо. Они сказали, что им разрешил сам управляющий — Мардан. Но не это вдруг остро отдалось в груди. Стонущий звук надолго повис в осеннем воздухе, за ним послышался другой, еще безысходней...

Так оно и было. Восемь громадных механических чангов сделал когда-то для эрандиперпата специально привезенный мастер из Пальмиры. По девяносто струн натягивалось на гигантскую горизонтальную деку, и играть можно было, нажимая на разноцветные костяные клавиши. Сам Кабруй-хайям играл и пел здесь...

Чанги лежали разломанные, с отбитыми подставками, и крепкозадый мальчик лет десяти из пагана — рабского селения за дасткартом — бегал по ним, перепрыгивая с одного на другой. На самый тонкий, голубой клавиш старался попасть он толстой потрескавшейся пяткой и, когда это удавалось, замирал на одной ноге, прислушиваясь...

Гроздья черной сажи висели под потолком книгохранилища. Кто-то грелся там зимой, и обгорелые папирусы валялись по всему полу. Кожаные переплеты и цветной пергамент были выдраны, а книги брошены в кучу у окна. Даже не годные ни для чего глиняные пластины были поколоты на части.

Две недели отбирал Авраам то, что осталось, чистил, подклеивал, укладывал на свои места. Там он и спал теперь, потому что не мог лечь на знакомую жесткую койку в своей каморке. Платан при луне был виден оттуда. Белый поток начинал шуметь в ночи ущелья, и рука воителя Сиявуша выдергивала его из холодной, перемешанной с камнями воды...

Заглядывал Мардан и словно обнюхивал его вывернутыми ноздрями. К великому удивлению Авраама, красную куртку с карманами надел бывший надзиратель над рабами.

— Все храмы целы в нашем рустаке,— пожаловался он.— Ну ничего, завтра мы и туда приведем слонов!

Каким-то начальником стал он в пригородном округе — рустаке, и местные деристденаны слушались его указаний. Раб, помогавший Аврааму, шепнул, что Мардан продает деревья из сада. И еще про бронзу и серебро, закопанные где-то...

Вечером Авраам увидел розовое покрывало, скрывшееся в спальной комнате эрандиперпата. Там жил теперь Мардан...

В доме врача Бурзоя рассказал он о Мардане. Все стали говорить про воровство, которое плодится на земле Эраншахра. У Кабруй-хайяма утащили со двора большой хорасанский ковер — царский подарок за песни. Прикрываясь великой правдой Маздака, заходят в дом и, не спросясь хозяина, удовлетворяют свою потребность в женщинах. Есть люди в городе, которые ставят от этого деревянные двери и прилаживают к ним ромейские железные замки...

— Уже в пути Маздак! — сказал кто-то из диперанов.

III

— О-о-о...

Белым и красным был Ктесифон. Дехканы, земледельцы-вастриошан, люди города, старики и дети преклонили головы в великой человеческой радости. И пятерки верящих в правду прикрыли глаза ладонями. Царь царей и бог Кавад сидел, открытый миру, под сверкающей короной с крыльями, и только львы, оставшиеся по бокам трона от презренного Замаспа, щурились на людей...

— О-о-о-о Маздак!

Все склонились перед ним. Мерно ступая, двигался в человеческом океане невиданный белый слон. Гигантский красный ковер без единого узора покрывал его от бивней до маленького вертящегося хвоста. А на площадке для боевой башни, тоже весь в красном, неподвижно стоял человек с горящим факелом в руке. Гремели трубы. Правую руку вытянул ему навстречу царь царей...

Что-то холодное коснулось сердца Авраама. Оттуда, где был когда-то помост, стоял он и смотрел на человека в красном. Тот шел уже через зал, все так же держа факел на весу. Лев вдруг забеспокоился, хлестнул хвостом...

Все тревожнее становилось в груди Авраама. Факел опустился перед царем, колыхнулись красные волны, и покрывало спало с лица человека. Большой нос со скулами выдавался у него вперед, и едва различима была полоска лба над сросшимися бровями...

— Маздак, о-о-о-о-о!..

Тахамтан это был, а не Маздак! Рука Авраама протестующе метнулась от плеча и вдруг замерла, скованная ужасом. Край верхней губы приподнялся у Тахамтана, показались неровные желтые зубы...

Он вспомнил наконец убийцу, стрелявшего в царя из кустов. Главарь гуркаганов это был, вырвавшийся из кариза и грабивший дасткарты. Сейчас... сейчас увидят это люди!..

— О-о-о-о-о-о...

Они склонились и не смотрят, поэтому продолжают кричать... Авраам повернул голову. Миллионы открытых глаз устремлены были на стоящего возле царя человека, руки их тянулись к нему за правдой. В первом ряду стоял гончар из Гундишапура со своими братьями, и рты были открыты у них в беспредельном спасительном крике...

Так вот почему печальная складка была возле рта у великого мага... Поклонение оставил он среди людей, и жило оно уже само по себе, не нуждаясь в содержании. Тихий глуховатый голос вспомнился Аврааму: «Родившись, начал мять я глину... У меня не может быть сомнений!..» Это они кричали внизу, всю жизнь делающие одинаковые трубы для воды и стока нечистот, ткущие одинаковые ковры с птицей Симург, от рождения и до смерти идущие за сохой. Они сами отказывались от права выбора. Только вера нужна была им, без отклонений, полутонов, враждебной бесконечности. Они смотрели и были слепы, потому что хотели этого...

Но что же Светлолицый? Фарр холодно светился над головой царя царей, куда-то поверх людей смотрели его глаза. Невозмутимый стоял внизу датвар Розбех, и ровно сжаты были мраморные губы. Ремень на плече поправлял воитель Сиявуш. Они все знали...

Далеко к холмам укатилась волна человеческого крика, накопилась там и вернулась удесятеренная. Новую порцию рыка выбросили навстречу трубы. И сферы дрогнули...

Авраам вдруг почувствовал, как сами собой шевельнулись у него губы, рот открылся в самозабвенном вопле. Маздак, о-о-о-о!

С усилием опустил он поднятые к небу руки, зажал себе рот ладонью. Рядом рабы дергали цепь, пытаясь успокоить льва. Желтая грива у зверя стояла дыбом, а хвост настойчиво, предупреждающе стучал о пол...

Словно клинком рассекал тишину голос Розбеха:

— Мы победим тьму, если не будем бояться отбрасываемой от нее тени. Свой дух и руки щадят некоторые из нас, желая оставить их чистыми. Но грязь не пристанет к тем, кто сражается во имя правды!..

В Царском Совете великий маг всегда отвечал ему. Человек, взявший себе кличку железнотелого Ростама из сказаний, сидел сейчас на подушке Маздака...

Вазирг Шапур приехал вчера из Систана. Высохло и стало маленьким его тело от болезни крови. И теперь заговорил он:

— Ты хочешь, датвар Розбех, дать право на убийство этим людям?..

Едва слышен был его голос. Вазирг не смотрел в сторону Тахамтана и тех, кто явился с ним из Шизы.

Розбех кивнул головой:

— Да, потому что от недостойной слабости дрожат у нас руки!..

— Зачем тебе столько крови? — спросил вазирг.

— Во имя правды убийство!..

Это громко сказал уже не Розбех, а тот, кто приехал с Тахамтаном. И головы сразу повернулись к нему, ибо был это Фаршедвард — младший Карен. Все знали в Эраншахре, что содрал он с груди свой родовой знак — бычью голову — и давно уже исповедует правду Маздака. В Атурпаткане был он все время, где при сгоревшем храме в Шизе обосновались вожди. Говорили, что родственников своих — Каренов предал непоколебимый Фаршедвард в руки деристденанов.

Авраам смотрел и вспоминал. У азата Адурбада отнял жену когда-то младший брат Быка-Зармихра, а тот ушел за дех, на обнаженные камни, и воткнул себе прямой нож в сердце. «Вот он лежит, пес... А я хотел ему взамен толстую Фиранак послать...» Так сказал тогда голубой Фаршедвард. Потом смех и лай растворились в теплом небе..

— Ты пятую часть предлагал когда-то из дасткартов, вазирг? — Маленькими и круглыми, как у Быка-Зармихра, стали глаза Фаршедварда.— Нет, пять частей возьмем мы из пяти, а вековое зло погасим кровью. И все шкуры сдерем, серые и пятнистые!

Леопард, присевший перед прыжком, был на кулоне главного вазирга Шапура, и серая волчья голова скалилась рядом у воителя Сиявуша.

— Давно ты ищешь правды, младший Карен? — спросил у него вазирг Шапур.

На миг исказилось лицо Фаршедварда, но ласковым, понимающим был голос:

— Твои дасткарты целы в Систане, последний Михран...

Прячущих хлеб и женщин от людей начал обличать голубой Фаршедвард, а еще больше тем, кто благоволит к ним. От непонимания смысла учения Маздака происходит раздвоение души. Тому, кто твердо усвоил великие «Четыре, Семь и Двенадцать», не страшна никакая ложь...

Под короной на возвышении снова сидел царь царей, а не в зале, со всеми. Быстрые глаза его перебегали по лицам говоривших. Розбех убеждающе протянул к нему руку:

— Из-за нашей жалости к великим прокрался на трон Замасп!..

Датвар Розбех долго говорил о специально подобранных людях, которых никто не должен знать. Черные куртки-кабы будут их отличием, и в ночи станут вырывать они скверну в Эраншахре. Пусть боятся правды, и тогда воссияет она...

— Скажи нам, датвар, имя человека, которого призвал ты под личиной мобеда Маздака!

Опять лишь на Розбеха смотрел в ожидании ответа вазирг Шапур. Желтоватые глаза Тахамтана скользнули по нему...

И у врача Бурзоя услышал Авраам голос датвара Розбеха. Они сидели друг против друга, врач и датвар, у мерцающих углей и не увидели его. Он остановился у порога.

— Этот, который в красном... говорят, зло в его прошлом...

С арийским безразличием в голосе сказал это врач Бурзой. Нанизанные на нить косточки были у него в руках, и он передвигал их по кругу, размеренно, одну за другой. Тогда заговорил Розбех:

— Тот, ушедший, Маздак был так велик, что не видел земли. Диперанская мягкость мешала ему прямо смотреть на мир...

Неподкупный датвар продолжал спор с мертвым, и раздражение было в его голосе.

— А этот... который в красном?

— Для сокрушения лживых нужен он нам. Мы уберем его, когда исполнит свое!

— Он уже начал!

Розбех резко вскинул голову, посмотрел пристально на врача Бурзоя. Но тот перебирал косточки...

Вчера, после Царского Совета, въехав на мостик перед своим дворцом, свалился с коня вазирг Шапур. Говорили, что о камень разбил он голову.

IV

Розовое покрывало задевало его всякий раз в коридоре. Как солнце из-за туч, настойчиво выплывало ему навстречу круглое розовое лицо. Что-то забытое померещилось ему. Она пришла, когда уехал управляющий Мардан, но только по бусинкам в розовых глазах узнал он Мушкданэ — дочку садовника...

Дешевым вавилонским мускусом безмерно пахла она в подтверждение своего имени. Мягкое и круглое было все теперь

у нее, и знала она то, о чем он даже не слышал. Руки ее тоже стали пухлые и теплые. Но потом наступило отвращение...

Деловито лаская его, она рассказывала, как Мардан ее любит, что у него в округе есть враги среди деристденанов, но он всем им устроит ловушку и скоро станет главным в красном рустаке. Сам великий Маздак, не тот, мертвый, а другой, приехавший из Шизы, его знает... Она отрывалась, чтобы сделать убедительный жест, снова припадала к нему и опять потом с того же слова продолжала прерванный разговор. О первой ночи у стены она и не вспомнила. Он принимал ее в удобные дни по необходимости...

Красная кожаная куртка маленького Аббы порвалась на боку, и остановившиеся глаза были у него. Из Междуречья возвратился он, где со специально отобранными людьми нового пайгансалара — «Охраняющего Правду в Эраншахре» — громил имения упрямых. Рассказывали, что иудейки там сами топились в каналах...

— Да!.. Да!.. И ложь! И кровь, если необходима для сияния правды...

Абба кричал. Руки и губы у него тряслись, и зрачки были расширены...

Вчера на торговом подворье мар Зутра отозвал вдруг Авраама на пустой айван перед складами. Суровые черные глаза экзиларха вдруг увлажнились, в горестной растерянности обратились к нему:

— О, где Абба — благословенный сын мой?..

Авраам молчал. Беспомощно упали большие руки мар Зутры, и густая, вкруг всего лица, борода поникла, торчала нестриженым клочьями...

Тревожная тишина стояла в пахнущем свежими вениками складе товарищества. Розбех наложил неслыханный налог на все караваны — речные, морские и сухопутные,— на выделку кожи, полотна, красок и бронзы. Говорили там вчера о близившейся войне...

А сегодня утром стало известно, что бежал из Ктесифона со своими людьми высокий иудейский экзиларх мар Зутра...

Абба все кричал. Врач Бурзой размешал что-то в чаше, поднес к его рту. Тот пил, вздрагивая всем телом, и зеленоватая лекарственная вода стекала на грудь. Потом он обхватил голову руками и затих...

Рыжий диперан Махой, которого все называли Лев-Разумник, явился вдруг в новой одежде. Черная кожаная куртка-каба была на нем, и все примолкли. Они уже действовали, люди в черном, специально отобранные для борьбы со скверной, и возглавлял их невидимый пайгансалар.

Лев-Разумник испытующе посмотрел на уснувшего Аббу, значительно помолчал. Львом прозвали его когда-то за любовь к военной форме. Расширяющиеся у бедер штаны были так подтянуты на нем, что тонкие ноги, казалось, растут прямо из груди. Он все разводил кругленькие плечи и прохаживался взад и вперед, резко выбрасывая с ногой половину задницы...

Кто-то спросил его о пайгансаларе —«Охраняющем Правду в Эраншахре». Лев-Разумник нахмурился, еще раз прошел из конца в конец комнату, вернулся, остановился как раз посредине:

— Вы, конечно, понимаете, что даже с близкими людьми я не могу делиться чем-нибудь относящимся к службе. Лишь одно скажу: это большой человек. «Меч Правды» называют его у нас! — Взявшись за шнуровку куртки Авраама, он приблизил к самому его лицу свои выкаченные глаза и принялся объяснять смысл правды Маздака. В основе всего — «Четыре»: Различение противоположностей, Память, Мудрость равновесия, Радость удовлетворения. Затем следует «Семь» и «Двенадцать.— Тут не может быть середины.— Лев-Разумник отпустил шнуровку и два раза ударил ребром ладони о другую ладонь.— Мы их или они нас!..

Ночью, проезжая у царского канала, услышал Авраам сдавленный человеческий крик. Он подъехал ближе, слез с коня. Тайяр темнел на стылой воде у самого берега. Луна расползалась по небу, и в желтом тумане увидел он, как волокут длинными крючьями для утаскивания мертвых плачущего человека. К черной дыре на тайяре подтащили его и столкнули вниз. Глухие стенания, мужские и женские, доносились откуда-то из-под воды...

— Эй, ты!..

Черный человек приблизил руку, и потайной факел ослепил Авраама. Кто-то вывернул его куртку на груди, обнажил царский знак.

— Ладно... Иди, диперан!..

Его толкнули в спину. Самоуверенное снисхождение было в невидимом голосе. Уводя в поводу коня, Авраам споткнулся в слепящей тьме. Хрипло рассмеялись сзади:

— Смотри не попадись... диперан!..

И при свете дня видел он их, людей без имени, вырывающих

скверну в Эраншахре. На черных лошадях молча ехали они посреди улицы, одетые в черные кабы, и железные крючья висели у седел. Сам пайгансалар был среди них — маленький горбун с громадным безгубым ртом...

V

Солнце прорвало белый туман, обнажив долину. И сразу вспыхнуло оно тысячекратно в глаза ромеям, хоть и встало за их спиной. Белым евфратским песком для сияния были начищены персидские шлемы, щиты, наплечья, даже колокольчики на сбруе. Только посредине — там, где «Сердце Войны»,— темнел неподвижный прямоугольник. Пятьдесят кованых башен стояли впритык друг к другу, и холодные капли тумана скатывались с брони на гладкие серые туши. Щитками были сейчас прикрыты глаза боевых слонов. Прислужники обходили их, скармливая намоченный в воде хлеб...

По «Аин-намаку» — «Книге Уставов» — построил войска Эраншахра воитель Сиявуш. Конные азаты в бронзе составили ряды первой боевой линии. Развернутыми колоннами стояли пешие латники. И слева все они были левши, натягивающие лук левой рукой.

В «Сердце Войны» черной лавой застыли «бессмертные». Волчьи хвосты свисали с башлыков, а у сотников на круглых шапках скалились мертвые волчьи головы. Справа, за линией азатов и латников, скручивалась пружиной, удерживая коней, единая масса кайсаков, съезжались отряды легкой армянской конницы.

В золотом шлеме с тусклыми железными крыльями сидел на белом коне светлолицый Кавад. Стремя к стремени с царем царей находился Сиявуш, потому что эранспахбедом — главой войска и артештарансаларом — главой сословия был он одновременно, чего еще не случалось в Эраншахре. И был еще воитель Сиявуш адеристденансаларом — военным предводителем всех истинно верящих в правду. Красная «Звезда Маздака» трепетала на пике рядом с кожаным фартуком — «Звездой Ковы», и львы на бронзовых цепях били хвостами о землю по обе стороны...

Стеной перегораживала долину боевая линия ромеев. Там не было слонов, но стояли круглые передвижные башни, и тяжелая македонская конница закрывала проходы между ними. Еще лучше мог поставить свое войско Сиявуш, если бы занял холм на левом крыле. Но там текла вода, и нельзя было, по «Аин-намаку», лишить врага воды в жаркий день, потому что придаст это ему безумия и рваться будет к ней, опрокидывая все на пути...

Но совсем не по «Аин-намаку» начали бой персы. И не ждали они второй половины дня, как указывала книга. Едва солнце оторвалось от кромки гор, раздвинулись ряды азатов, и люди в красных одеждах — кабах — вышли вперед.

— О Маздак... Маздак, о-о!

По плечи были обнажены у них руки, и только голые ножи держали они. С тихим пением потекли красные струйки в сторону ромеев. Те не стреляли, пораженные. И там, где достиг красный цвет ромейской стены, она вдруг стала содрогаться, пробоины появились в ней.

Сиявуш сделал знак. Мерно и гулко забил главный барабан эранспахбеда, установленный на белом слоне. Сотни барабанов прогремели в такт, низко и страшно завыли карнаи. Медленно двинулось «Сердце Войны». Все больше обгоняя его, заворачивая наискось к линии ромеев, устремилось вперед правое крыло. Мелкая желтая пыль со стрелами неслась в глаза ромеям, потому что в их сторону был ветер, как рекомендовалось по «Аин-намаку».

Ромеи отступали сплоченно, выставив пешие заслоны и оставляя капканы для лошадей. Правое крыло их само двинулось на персов, изрыгая жидкий огонь. И вдруг дрогнули ромеи...

Как из воска вылепленный стоял позади их армянский город Феодосиополь. Все шестеро ворот его вдруг отворились, и такие же красные струйки потекли от них в спину ромеям. Среди армян тоже были истинно верящие в правду. А кроме того, царь царей Кавад, подтверждая учение Маздака, дал указ армянам о свободе совести.

Главное это было для них. Такова судьба всех народов между двумя вселенскими империями. Христом противились армяне персам. Но, чтобы вконец не раствориться в ромеях, верили лишь в божью сущность Христа, отрицая человеческую. Ромеи силой принуждали их к признанию сразу обеих сущностей...

Потом были стены Амиды, и опять деристденаны лезли на них, срываясь вниз. Два месяца били в кованые ворота персидские тараны, и все же город взяли ночью со стены. Все золото и пять тысяч мужчин — мастеров по коже и тканям — забрал здесь Сиявуш в счет положенной оплаты от ромеев за охрану перевалов.

Пока осаждали Амиду, хирский царь Нуман со своей конницей, посланный Сиявушем, дошел до Эдессы. Восемнадцать с половиной тысяч мужчин привел он. А молодой воитель Махбод Сурен, племянник бывшего вазирга Шапура, пошел с

войском на Теллу, которую ромеи называют Константиной. В четырнадцатом году правления Кавада это было, в восемьсот тринадцатом году греков, в пятьсот втором году христианской эры...

Каждый день войны записывал Авраам, ибо был диперан ом — хранителем истории царства Эраншахр, где главным законом стала правда Маздака.

Бежали ромеи от персов, но, несмотря на желание многих, не пошел в погоню воитель Сиявуш. Тоже по «Аин-намаку» это было, где сказано, что нельзя доводить врага до отчаяния, ибо умножит оно его силы. И исконную землю нельзя забирать у побежденных, потому что в потомках удесятерится воля к возвращению ее и не будет никогда мира...

Отпущено было по домам пешее ополчение, и по всем дорогам от границы шли люди с мешками за спинами, вели ослов и быков в поводу. Проходя через Нисибин, развязывали они эти мешки, за полцены отдавая на базаре ковры, сапоги, сандалии, женские хитоны, ромейские арфы. Большой пьяный перс обменял крылатую богиню из родосской меди и большой бронзовый котел на кувшин с вином. Авраам пригляделся к хозяйке лавки и узнал Пулу...

Они долго говорили, но, когда он по старой памяти взял ее за руку выше локтя, она мягко высвободилась. Женой киликийского раба-отпущенника стала Пула, и трое детей у них. Уже к следующему году расплатится она за себя с ритором Парцалисом, которому принадлежала от рождения. Когда он уходил, теплые слезы появились у Пулы на глазах...

Снова ходил Авраам по Нисибину. Еще жестче стали порядки в академии, и тишина стояла в кельях, мастерских и аудиториях. Сердце щемило у него. Даже козлы и столб позора посреди двора, где сыпал он себе пепел на голову, были связаны с его жизнью и казались близкими. Совсем молодые тихие студенты снимали шапки, с удивлением глядя на красную куртку Авраама.

На треть осел в землю старый дом во дворе епископа, и новый — попросторнее — стоял рядом. Нынешний епископ Нисибина, тоже Бар-Саума, жил там. Крепкий, просто одетый старик с проницательными глазами покосился на его куртку и спросил, многие ли христиане в Ктесифоне совместили веру с лукавым учением. Авраам поспешил уйти...

На царской стороне Нисибина, где жил Авраам неделю, разыскал его Шерйездан. По дороге домой от Амиды сделал он со своими кайсаками пятидневный пробег в сторону, чтобы

повидаться с родственником. Ничего из вещей, по своему обычаю, не брали кайсаки в завоеванных городах. Одну лишь серую кобылу вел пристегнутой к подсменному коню Шерйездан, и две стриженых головки торчали по обе стороны из вьючного хурджуна.

— Э, Роушан-апай сказала... Будет довольна!

Так объяснил ему это Шерйездан, заметив недоуменный взгляд Авраама. Два сына родились уже у Роушан, и она поручила мужу привезти с войны девочек, чтобы стали потом им женами...

Пожар и вопли Амиды слышались Аврааму, пока он смотрел, как снимал с лошади Шерйездан переметную суму с детьми. В младенческих хитонах были девочки и вовсю таращили черные глазки, крепко уцепившись за Шерйездана. Одна из них захныкала, когда опустил он их на землю. И опять взял ее на руки Шерйездан, засмеялся, поцеловал. Девочка успокоилась. Авраам вздохнул...

С царской почтой ехал он от границы.

— Не положено!..

Это было любимым словом у азатов. Когда они говорили так, задавать вопросы, взывать к разуму или чувствам, доискиваться причины было бесполезно. Высшая форма мирового порядка, смысл всего сущего содержались для них в этом кратком отрицании. Сейчас они стояли непрерывной линией, как требовалось по «Аин-намаку», когда за спиной река. Сияющий куб дворца парил в небе на том берегу. Азаты не пропускали красных деристденанов к переправе на Ктесифон...

Недоумевающая толпа молча теснилась перед заставой. Они ничего не несли с собой с этой войны, деристденаны, и опавшими были холщовые мешки за их спинами.

— Не положено!..

Время от времени это говорил им вполголоса плотный, похожий на Исфандиара сотник с мокрой от пота шеей. Они и не спрашивали ни о чем. Видимо, им тоже был понятен тайный смысл этого слова.

И вдруг все сразу двинулись вперед. Даже не вынимая своих ножей, слитными пятерками шли красные деристденаны, и азаты принялись привычно, деловито рубить их прямыми, расширяющимися к концу мечами...

В полной тишине делалось это. Только тупой деревянный стук и шорох рассекаемой человечьей плоти отдавались где-то далеко в небе. И еще выдохи азатов колыхали влажный горячий воздух. Красная вода позади поглощала, прятала звук...

Сердце задрожало у Авраама. Он ясно увидел знакомого гончара и его братьев из Гундишапура. Прижавшись телами друг к другу, шли они навстречу сверкающему железу. Привыкшие изо дня в день мять чистую глину были у них руки. Но потом он перевел взгляд и увидел, что и у другой пятерки такие же длинные руки с бронзовыми, жесткими от тысячелетнего труда мозолями. И лицо у них было одно. Третья пятерка тоже показалась ему знакомой, и четвертая, и пятая. Они шли: гончары, ткачи, кузнецы, ковроделы, арийцы и неарийцы...

На прибрежнем холме у переправы увидел он Сиявуша. Спокойные, как у волка, были его глаза, и вспышки мечей холодно отражались в них. А рядом стоял Фаршедвард — младший Карен, который сам когда-то был великим, но отказался от всех почестей и богатств во имя правды Маздака. И опять увидел Авраам тот день, когда на камнях за дехом зарезался неимущий азат, у которого этот человек отнял жену. И лай собак, и хохот услышал Авраам. «А я хотел ему взамен толстую Фиранак прислать!..»

Точным повторением Быка-Зармихра казалось сейчас лицо голубого Фаршедварда. И все же другим было оно. У покойного эранспахбеда прямые солдатские морщины вспарывали щеки и подбородок, в глазах стояла откровенная скотская забава. А у Фаршедварда под кожей светился благородный белый жир, маленькие Кареновы глаза горели доброжелательством. Мягко, волнисто двигались пухлые губы, как бы присасываясь к чему-то незримому...

Уже с того берега посмотрел Авраам. Синяя линия азатов по-прежнему была недвижима. Как только подкатывалась к ней красная волна, опять возникало железное сверкание. Неровные красные пятерки покрывали прибрежные зеленые холмы, расползались в стороны...

VI

Арийские бугры вздулись на плоском безбровом лице управляющего Мардана. Совсем как у великих, оттянулись книзу губы, а круглые розовые ноздри смотрели в небо. Большое твердое брюхо появилось у него, и Аврааму пришлось потесниться в коридоре дасткарта...

Ночью была у него Мушкданэ. Главным человеком в рустаке стал Мардан. Те, кто не хотел его, изгнаны. Многим скоро придется плохо.

— Все это Розбех мешает людям.— Приподнявшись, она оглянулась на темный угол, зашептала: — Окружил себя христи-

анами с их жугутским богом, армянами всякими. Честному арийцу тут не пробиться. Но ничего...

Он лежал на спине. Приняв за обиду его молчание, она стала настойчиво ласкать его полной короткой рукой. В голосе ее было оправдание:

— Я не говорю, конечно, обо всех. И среди христиан есть хорошие... Да и какой ты христианин? Разве что обрезанный... Ничего. Какое это имеет значение?..

Она говорила искренне. Тогда он спросил, в чем же вина Розбеха.

— Понимаешь: правда — она и есть Бог. И у нее, значит, четыре этих... силы: Память, Радость, Различение...— Не освобождая занятой руки, она принялась объяснять: — Нет, сначала Различение, потом Память... И все они действуют через «Семь, а те уже — через «Двенадцать». Как у царя царей: вазирги есть, спахбеды, шахрадары... А Розбех не признает этих «Семи». И «Четыре» не так признает, как нужно: вместо Различения у него что-то другое, я уже забыла... В общем, уклоняется от правильного пути...

Подогнув тяжелые деревья-ноги, лежали на круглых животах слоны. Цепи от них были замотаны на железных столбах. Мерно качали они гранитными головами, и бивни их скрежетали по медным тазам. Прислужники все подбрасывали влажную джугару.

Авраам принюхался: зачем здесь, среди города, пьяные слоны? На высоком черном коне сидел маленький горбун, и глаза у него горели, как и там, на ступенях к реке, когда протыкал он ножом завернутую в ковер девочку. Громадный красный рот был у него...

Слонов стали покалывать в пах. Яростно раскачивая хоботами, начали подниматься они. Сухой каменный хауз увидел Авраам. Гладкий скат был к нему, и слоны побежали, теснясь, опережая друг друга. Там лежали люди...

Двумя ногами сразу, передней и задней, становился слон на человека, и сухой хруст слышал Авраам. Ладонями захотел он заслониться, но кровь была везде...

Слоны топтали людей!.. Остались двое связанных мужчин, женщина со свертком, старик. Красная грязь разбрызгивалась кругом. И куски ткани...

Вопль убийства докатился наконец до его ушей. Нет, не мог он услышать хруста, потому что ревели карнаи... Белой тканью

закрывала младенца женщина от огромной ноги. Похрюкивали слоны, маленькие глазки горели веселыми рубинами...

Авраама тошнило под деревом на краю майдана. Трубы кричали...

ИЗМЕНЯЮЩИХ ПРАВДЕ... ПОСТИГНЕТ...

Никогда еще не говорил так Розбех. Тонкое благородное лицо его светилось, и радость удовлетворения была в чистых арийских глазах. Когда он победно вскидывал руку к царскому трону, красная рубашка простого деристденана всякий раз открывалась под фиолетовым плащом.

— Плачут великие, но не верит слезам красный Ктесифон!.. Да, хлеб и женщин забрали у них, и равны люди сейчас на земле Эраншахра. Но далеки великие от того, чтобы примириться с потерей богатства и власти. Только смерть очистит их души от зла. И всех из рода постигнет кара: старых и юных, имущих, ибо такова скверна богатства, что заражает через родственную кровь. Вот почему мы дали нашему доблестному пайгансалару право на убийство!..

И вдруг увидел из диперанской ниши Авраам, что только датвар Розбех в красной одежде под судейским плащом. Все, кроме него, сняли уже красные куртки и покрывала. В черном были теперь они: Тахамтан, Фаршедвард, оставшиеся здесь вожди деристденанов. Вторым от Тахамтана сидел «Меч Маздака» — грозный пайгансалар. Голова с огромным безгубым ртом утонула в глубине маленького черного комочка. Его называли еще Гушбастар — «Слушающий ночные сны».

Тахамтан молчал, но на него устремлены были взгляды, а не на Розбеха. Какое-то ожидание было на лицах сидящих. Только царь царей на своем троне и воитель Сиявуш смотрели прямо перед собой.

— Слава тем, кто железными крючьями выкорчевывает зло в Эраншахре! — вскричал Розбех.— Они не испугались крови, и в веках останутся их деяния. Потомки станут гордиться их великим подвигом...

Заговорил один из людей-вастриошан. Долго рассказывал он, как какой-то человек из их рустака не пустил соседа к своей жене. Крючьями, как мертвую плоть, потащили его ночью вместе с женой...

Датвар Розбех, не дослушав, повел рукой от плеча:

— Когда кузнец бьет молотом по горячему железу, искры летят во все стороны. Они могут упасть на случайного человека. Значит ли это, что нужно потушить горн?!.

Спокойные желтоватые глаза Тахамтана посмотрели на Розбеха.

Ночь была, когда закончился Царский Совет. Диперапы спустились по крученой лестнице и остановились. Черные люди ждали у стены с задней стороны дворца. Было видно, как откинулась завеса и великий датвар Розбех пошел в полосе света. Железные крючья протянулись к нему с четырех сторон, захватили под ребра, в промежность, за подбородок. Свет пропал. Человеческий вопль раздался во тьме...

VII

В доме у Артака спал он в эту ночь. И едва приклонил голову, слон побежал на него. Уклонился Авраам от чудовищной ноги, но дико закричал кто-то, и с разных сторон потянулись крючья...

Они и вправду тянулись из тьмы, острые железные крючья, которыми волокут мертвых в «Башню Молчания». Но не за ним. Артак в белом ночном балахоне стоял посреди комнаты. Под подбородком проткнуло его отточенное железо, рванило к земле. Другой крюк держал в промежности, и еще два тащили за ребра...

Голых женщин гнали мимо, тыкая во все места острыми наконечниками. Потом проволокли истерзанного старика диперана, детей. И потайной факел едва не опалил бровей Аврааму.

— Этого пока не надо!..

Они ушли, и никак не мог вытолкнуть комок из горла Авраам. Свою куртку нащупал он и надел. Снова попытался крикнуть, позвать кого-нибудь, но ничего не получалось. Так и вышел он на улицу...

Конь убежал, и пешком шел Авраам, поворачивая в какие-то улицы, переулки. В серой предутренней мгле изламывались черные тени, скрежетало железо о камни, плакали люди. И шуршание слышалось отовсюду — тихое, неумолимое, как будто двигались крысы...

На третий день увидел Авраам у моста через царский канал толпу людей. Кресты из неструганых бревен в руку толщиной висели у них на груди. Цепями и грубыми веревками подвязывались они к шее. И только так должны были ходить отныне в Эраншахре христиане.

Все они пришли сюда с этими тяжкими крестами: старики, женщины, дети. А по другую сторону стояли иудеи, и литые медные шары объемом с голову младенца висели у них под черными бородами. Так определен был их размер по новому закону нового вазирга Фаршедварда...

Они отодвигались от Авраама — христиане и иудеи, и он понял, что это из-за его куртки. Всех, кто в красном, ловили в эти дни на улицах и волокли на тайяры к Тигру. С холодным ожиданием смотрели на него служители пайгансалара, охраняющие мост...

Деревянные столбы в два ряда стояли на мосту, и люди качались на них головой к земле. Он сразу узнал епископа мар Акакия. Такое же скучное лицо было у него, как всегда, только перевернутое, и надвое был разодран подбородок. А напротив покачивался от ветра мар Зутра, экзиларх иудейский, и веером свисала большая борода на голый блестящий лоб. В вавилонском Междуречье отсиживался он до сих пор, отбиваясь от войска, но был наконец схвачен...

Кто-то вежливо тронул его за плечо, и Авраам оглянулся. Сзади стоял старый еврей, с которым говорил он как-то в доме экзиларха.

— Ну, как вам это нравится? — спросил тот, как будто продолжая прерванный разговор.— А знаете, что сделали с нашим Аббой? Его бросили в кариз, чтобы рыл там канал. Это под землей, вместе с гуркаганами...

Он вдруг уцепился за рукав Авраама и потащил из толпы. Глаза его восторженно сияли.

— Знаете, что я вам скажу...— зашептал он в самое ухо.— Все равно остался столб огненный... Будет он... Будет!..

Авраам вырвался из рук сумасшедшего старика и побежал пыльными переулками...

Знакомое подворье, обсаженное шах-тутом, было перед ним и большие ворота. Голодная собака бросилась ему под ноги. Чернели склады сорванными дверями, песок выше колена намело к ним. Авраам уже слышал, что Авель бар-Хенанишо, его родственник, водит теперь караваны где-то через хазарские владения...

— Меня не тронут,— сказал врач Бурзой.— Они уже звали к этому... Маздаку... и я смог принести облегчение его почкам. Это болезнь всех, кто долго был в сырости, под землей... Они очень дорожат своим здоровьем, такие люди...

Авраам не знал, почему пришел к Бурзою. Пустота и холод наполняли там стены. В дом, где бывал Розбех, боялись заходить. Врач обрадовался: ему необходимо было говорить.

— Вы заметили, что этот... Маздак... всегда молчит. Видели на базаре старого индуса с коброй? Если бы он заговорил, кобра

укусила бы его. Таинство молчания!.. Есть «Уста Маздака». Так они называют отказавшегося от своего рода Фаршедварда. И тот говорит, что правда необъяснима для каждого человека в отдельности. Только толпе можно овладеть ею. Помните: «О Маздак, о-о!..» Все очень просто, но пройдет время, и мы с вами сами будем выискивать в этом мистическое, вечное, так или иначе великое. Простота объяснения страшит наши диперанские умы. Мы ведь тоже хотим быть великими...

Врач Бурзой помолчал, отрицательно покачал головой:

— Никому еще это не проходило даром!..

Неожиданно явился Лев-Разумник. Близким человеком к вазиргу Фаршедварду, главному ненавистнику иудеев, стал он. Говорили, что никому не доверяет тот больше, чем ему.

— Каждый шахрадар имеет своего жугута!

Бурзой шепнул это арийское присловье, пока Лев-Разумник вышагивал по комнате.

— Он дурак был, этот Абба! — с важностью сказал Лев-Разумник.— Не понять такой простой вещи, что «Четыре» это «Четыре», «Семь» это «Семь», а «Двенадцать» это «Двенадцать». Вот и докатился до измены великой правде...

Врач Бурзой и Авраам молчали.

— Тебя тоже хотели там пощупать, но я поручился им.— Он покровительственно кивнул Аврааму.— Между прочим, сам великий Маздак откуда-то помнит тебя. У него замечательная память.

Лишь через неделю пришел он в дасткарт. Вещи его были выброшены наружу. У самой двери на земле валялся его мешок, кожаная сумка, свитки. Рабы перешагивали через них. Они заделывали проломы в стенах, мыли и чистили помещения, красили все сверху донизу густой, сильно пахнущей бронзой.

— Тут уже нет места,— сказала ему Мушкданэ.— Сам понимаешь: Мардан-шах близок великому Маздаку и не может жить, как сова, в таких развалинах. Для начала хоть кое-что необходимо сделать...

Она принялась по-дружески рассказывать ему, какой умный и красивый сам великий Маздак. И очень простой: долго говорил с ней, когда все они собрались в царском дворце, обещал на днях сам прийти к ней. Ему, наверно, понравится розовый шелк, который остался от Фарангис — жены этого старика эрандиперпата, который жил здесь когда-то, еще до великой ночи. Очень идет такой шелк к цвету ее кожи...

Какая-то девочка из прислуживающих споткнулась от испуга, увидев ее. Желтые сливы просыпались из таза, что несла

она на голове. Мушкданэ сорвала серебряную туфлю с ноги и принялась яростно колотить ее каблуком по лицу. Девочка только всхлипывала, не смея поднять руки. Кровь закапала у нее из носа, из разбитого глаза.

— Прямо не знаю, что делать с ними! — пожаловалась Мушкданэ.— Недоглядишь где-нибудь, и сразу убыток...

Она побежала в коридор, переваливаясь на серебряных туфлях. В ширину Мушкданэ уже была такая же, как и в высоту...

Книги из библиотеки горой лежали на заднем дворе дасткарта. Лошади, привозящие из окрестных селений масло и пшеницу в хранилище, шли по ним, оставляя навозные следы. Он выбрал все, что мог унести...

Когда прошел он ворота, черные всадники пайгансалара проволокли на рысях окровавленного человека. Бритая голова колотилась вдоль дороги о камни и стволы деревьев. Слипшийся клок черных волос, оставленных на счастье, попадал всякий раз под копыта лошадей. Фархад-гусан это был, певший когда-то о жнецах на горе...

Азаты молча стояли у сторожевой башни, и сотник Исфандиар находился среди них. Арийское послушание было в их глазах... А на площадке для наблюдения стоял Мардан. Нос отвердел теперь у него, и ноздри смотрели прямо. Бугры уже не прятались всякий раз.

Домашний раб при Мардане рассказал сегодня Аврааму, как все получилось. Ремнем избил когда-то Мардана Фархад-гусан. И слухи ходили, что был он тем азатом, который в «Красную Ночь» снес на площади голову Быку-Зармихру. Вот Мардан и донес об этом младшему из Каренов — вазиргу Фаршедварду. Да и сам Мардан уже в силе...

VIII

Первым к царю царей и богу Каваду сидел Тахамтан. Для него уложили специальный помост из подушек, и возвышался он над остальными в Царском Совете.

Фаршедвард садился сразу за Тахамтаном. Черный комочек вдруг вынырнул из-под руки и оказался на подушке раньше него. Большой безгубый рот страшно открылся навстречу вазиргу Фаршедварду. Но Тахамтан повернул голову, и послушно отполз на третье место горбун пайгансалар...

И по всему залу слышалось шуршание. Никак не могли успокоиться люди, одетые в черные кожаные куртки-кабы. Они

неслышно передвигались, сталкивая друг друга с подушек и устремляясь ближе к Тахамтану. Он обвел их желтым взглядом...

С другой стороны, где сидели воители, тоже появились люди в черном. Через подушку от эранспахбеда Сиявуша сидел уже один из них. Лишь в сословии вастриошан все было по-прежнему белое...

В глубь диперанской ниши посмотрел Авраам. Не было рядом уже Артака, Аббы и самого главы царских писцов — старого безобидного Саула. Вместо него пришел диперан второго ряда Фаруд из Нисибина — тот самый, которому помогал в юности Авраам переписывать христианские колена города. Фаруд сказал, что опаскудились ктесифонские диперапы-иноверцы, и призвали его навести порядок. Служители пайгансалара — по два с каждой стороны — сидели теперь в нише, не спуская с диперанов глаз...

Фаршедвард сделал положенный знак и склонился перед царским троном. Потом он повернулся к Тахамтану, опять закрыл ладонями глаза и губы. И сразу вдруг обе руки вскинул кверху:

— О великий Маздак!..

— Маздак, о-о-о-о-о!..

Застонали изукрашенные стены, рельефы, курильницы, притухли и снова загорелись трехъярусные светильники. С поднятыми к Тахамтану руками сидели все, и рты были округлены в самозабвенном молении. Проснувшийся старец в ряду сословия вастриошан в недоумении вертел головой. И царь царей пробежал быстрым удивленным взглядом по нишам...

Фаршедвард не опускал воздетых рук:

— Слава тебе, светоносный Маздак!.. Все, сказанное до тебя, лживо. Во тьме блуждали люди, пока не пришел ты и не возвестил «Четыре, Семь и Двенадцать». На все времена и всем народам указал ты путь к счастью. Как красное солнце встаешь над миром, и рассеивается тьма!..

— О-о-о-о-о!..

На этот раз увидел их Авраам. В нишах по всем стенам были спрятаны люди. Короткий знак делал пайгансалар, и завывали они высокими голосами. Вслед за ними начинал стонать зал. Старец в белом все вертел головой. Светлолицый Кавад уже никуда не смотрел...

— Напрасны надежды приспешников тьмы на хаос и безвластие! — гремел Фаршедвард.— «Четыре, Семь и Двенадцать это величайший порядок в мире. Нет при нем места лживым разногласиям и сословному противоборству. Все люди — братья на земле Эраншахра!..

Веселыми, злыми брызгами сверкали глаза Фаршедварда.

Как у пьяных слонов, отсвечивали они красным. И не было на гладком породистом лице прямых и честных солдатских морщин, как у Быка-Зармихра...

К возрождению чистого арийского духа призвал Фаршедвард. Этот дух древних воителей Ростама и меднотелого Исфандиара, дух великих Киев, дух Арташира и Шапура — победоносных внуков Сасана, гармонически сочетается с правдой Маздака. Он, этот воедино слившийся дух, помог опрокинуть ромеев, посягнувших на само существование Эраншахра.

Именно под эту основу основ подкапывались розбехиды. Твердая арийская верность правде страшила их. Они знали, куда следует направить удар. Безродные христиане с их противной арийскому духу иудейской книгой были у них главными советниками. На деньги, идущие от кесаря, готовилось неслыханное злодейство...

Следующим говорил бывший вождь истинно верящих в правду из Истахра:

— О великий Маздак!..

— Маздак, о-о-о-о-о...

Он повторил все сказанное Фаршедвардом и к концу заметил, что не все еще розбехиды выловлены в Эраншахре. Коварны они и, как червь в спелое яблоко, пролезают порой в самое сердце правды. Ничье имя не назвал он, а только посмотрел на сидящего перед ним другого вождя — из Хузистана...

Тахамтан кивнул головой, и сразу выкрикнули это имя. Негодующе простирались к хузистанскому вождю руки. Тот закричал, что был всегда врагом подлому Розбеху, но не дали ему говорить...

— О великий Маздак!..

— О-о-о-о-о!..

Притухали и вспыхивали светильники...

Дипераны уже знали, что это будет, и, спустившись по крученой лестнице, затаились в простенке. Черные люди стояли во дворе с поднятыми крючьями, и шли в полосе света сословия...

Что-то захотел крикнуть опять вождь из Хузистана, но острое железо уже разорвало горло. Клокотание послышалось в наступившей тишине...

Другой хотел убежать, но крючья неумолимо подцепили его за ребра, в промежность и под подбородок. Их специально учили этому, людей в черном. Лишь старый азат с порубанным лицом из сословия воителей рванул к себе железный крюк и со свистом размахнулся. Стрелы впились в него со всех сторон...

Еще девятерых, которые опаздывали округлить рот при

знаке пайгансалара, уволокли во тьму. С царем царей ушел Сиявуш другой дорогой...

Все прошли уже из Царского Совета, но продолжали стоять черные люди. Холодную тяжесть ощутил Авраам в груди и животе. Она разливалась по телу, сползала в ноги...

Глава царских писцов Фаруд медленно прошел под крючьями, остановился, повернулся. Мертвый свет падал на его улыбающееся лицо. Была очередь идти Аврааму.

С тихой реальностью приближались висящие в ночи крючья. Тускло поблескивали острые загнутые наконечия. Над головой уже покачивались они. Что-то ледяное коснулось уха...

Все ближе было лицо Фаруда. Только когда завопили за спиной, оглянулся Авраам. Черные тени плясали там, и слышалось тихое шуршание. Армянина Вуника утаскивали во тьму...

На другой день сказали Аврааму, что едет он с посольством к ромеям, в Константинополь. Все та же ночная улыбка была у известившего об этом Фаруда. С нескрываемой враждебностью прикладывал он казенный перстень с печатью к ходатайству о выдаче подорожных денег. И о «красных «абрамах» упомянул что-то...

Авраам шел и думал, почему его посылают сейчас к ромеям. О царе царей не убоялся пробормотать Фаруд, что не по-арийски падок тот к жугутским прихвостням, даже имена их помнит...

И врач Бурзой, у которого жил он теперь, удивлялся. Крючьями волокут сейчас всех, кто был в красных диперанах. Лишь вчера бросили под слонов великого арийского певца Кабруй-хайяма. А его отпускают...

«В один день родились мы с тобой, христианин Авраам...» Так сказал ему когда-то Светлолицый. Арийское древнее поверье есть, что судьбы ровесников связаны. Может быть, потому и не потащили его крючьями по указке Фаруда, а сейчас отправляют из Эраншахра...

Врач Бурзой при прощанье сдвинул густые брови, посмотрел в глаза.

— Тебе лучше подольше оставаться у ромеев, мой Авраам...— сказал он.

IX

Квадриги мчались, веером вздымая тяжелый мокрый песок на поворотах. Одномастные кони были впряжены в колесницы, голубые и зеленые ленты вились в хвостах и гривах. Такие

же — голубые и зеленые — рубашки были у возничих, а на громадном ипподроме по тем же цветам разделялись трибуны. Даже в кесаревой ложе наряду с голубыми были зеленые платья. Когда какая-нибудь квадрига вырывалась вперед, неслыханный рев возникал на трибуне, в чей цвет была она...

Нет, не останется он у ромеев... Авраам это понял, как только переехал границу и медленно затих за спиной теплый бронзовый звон языка пехлеви. Шумели такие же пестрые, как в Нисибине, приграничные базары, много дней вертелись по кругу над ущельями каменнокрасные армянские селения с крестами на скалах. А потом раздвинулась земля, засияло голубое море, и белые колоннады с уходящими в волны лестницами утверждали бесконечную красоту мира...

Ухожены были сады и виноградники в ромейской Кесарии, крепкие сытые рабы трудились в полях и имениях. Бесчисленные виллы стояли по холмам, и легкие невысокие стены окружали их подножья. Давно уже не знала нашествий эта часть империи. Сюда не доходили ни готы, ни прорывавшиеся всякий раз через Кавказ многоликие гунны. Лишь изредка беспокоили с моря вандалы, но в последнее время не решались заплывать дальше Родоса. Люди улыбались друг другу в селениях. А сердце Авраама кровоточило от тоски по черным камням Ктесифона, и не спалось ему ночами...

Вороная квадрига со светло-зелеными лентами вырывалась к финишу, и закричал в победном восторге Авраам, ибо прасины — «зеленые» — были все его друзья в Новом Риме...

К Леониду Апиону, патрицию, ходил он здесь всякий вечер. Торговыми делами в товариществе управлял тот, потому что сюда, в Константинополь, переместилось все. Те же люди, что и на ктесифонском подворье, собирались в двухэтажном складе на берегу спокойного синего залива. Лишь торговые пути стали длиннее и товары вздорожали. Зиндбад-мореход плавал на своих майярах где-то вкруг Кульзума, огибая Эраншахр. В Палестину и коптскую Александрию везли потом посуху шелк, золото, индийские камни, пряности, а там снова все перегружалось на корабли. Авель бар-Хенанишо уже в третий раз ушел с караваном через Тавриду, гуннские и хазарские земли. Дорого обходилась охрана, потому что гипербореи в шкурах выходили из своих лесов далеко в степь и нападали на путников. Кесарь поощрял прасинов, вершивших денежные и торговые дела в империи. В два с половиной раза выросли поступления в его казну после разгрома товарищества в Эраншахре.

На этот раз взвыли венеты — «голубые». Две их колесницы сразу обошли «зеленых», и первые четыре лошади несли на мощных грудях белую ленточку финиша к кесаревой ложе. На краю трибуны прасинов сидел Авраам и в который раз изумился людскому буйству. Двадцать тысяч «голубых» скакали, били в радости друг друга по спинам, плакали. Через несколько рядов от него в патрицианской ложе старый достойный сенатор Агафий Кратисфен в неистовстве колотил палкой по барьеру. А ведь в предыдущем заезде сам Авраам прыгал, как пьяный козел в ромейских празднествах — брумалиях...

Тот же старый неумный шахрадар, ведший с ромеями переговоры в Нисибине, послан был в Константинополь. Не ему было тягаться с этим Агафием Кратисфеном и холодными кесаревыми евнухами. По-персидски хитрил он и, пожалуй, смог бы обмануть добрую сотню других шахрадаров. Так сказочный воитель Ростам обманывал некогда туранцев, забираясь в их крепости под видом купца. Но совсем в иной плоскости вершилась ромейская политика, и неуклюже мерзкими казались первобытные шахрадаровы ухищрения..

А вдобавок приставлен был к посольству человек в черной куртке-кабе, имевший, по обычаю лишь прозвище. Барсуком звали его среди своих, и Авраам помнил, как на ступенях чужого дасткарта отвязывал тот лодку, куда попрыгали потом убегающие гуркаганы...

Видать, по внешнему подобию брали они себе клички в каризах. Переваливаясь на кривых коротких ногах, ходил Барсук, и тяжелые крючковатые руки цеплялись за все по пути. Грамоты не знал он и не смыслил ничего по-ромейски, но сидел на всех диспутах и внимательно смотрел в животы говорившим. Глухое недоброе ворчание издавал он всякий раз, когда уходил Авраам по своим делам от посольства. Прислужники Барсука ходили по пятам...

Персы еще до подхода ромейских армий ушли от Феодосиополя, Амиды и Эдессы, так что быстро договорились о том, что все остается при старых границах. Но требовали возмещения ромеи и не хотели давать золото на охрану кавказских проходов. А персы решили навечно замкнуть эти проходы стенами, уходящими от гор прямо в море. Все больше денег требовалось им..

И еще самим царем было поручено шахрадару просить кесаря усыновить до совершеннолетия царевича Хосроя. Так уже было между Эраншахром и ромейской империей. Царь-грешник Ездигерд Первый воспитал при себе малолетнего кесаря Феодосия, и долго не воевали тогда ромеи с персами.

От младшей из трех царских жен рода Испахпатов родился Хосрой. Еще два сына от других законных жен было у Свет-

лолицего Кавада. Средний сын Зам потерял глаз при соколиной охоте, так что не годился в цари. Зато старший, царевич Кавус, надевал уже черную куртку и ездил ночами с людьми пайган-салара. Поэтому как только имя третьего сына Хосроя услышал Барсук в речи шахрадара, то рявкнул на него, не стесняясь ромеев...

Все свелось к тому, что другое, более высокое, посольство прибудет со временем ко двору кесаря, и тогда решатся все дела между империей и Эраншахром. Кесарь не допустил к себе шахрадара с его людьми. Лишь императорским магистром оффиций были они приняты, да еще евнух-препозит кесаревой опочивальни поговорил с ними. И это было уже неплохо, потому что прямое отношение к императрице Ариадне имел он, которая после смерти Зенона с согласия сената и цирковых партий — демов избрала себе мужем нынешнего кесаря Анастасия. Пока что от персов были только взяты подарки. В гостином дворе, где жили они, составлялся караван с ответными дарами кесаря царствующему брату и богу Каваду...

Квадриги медленно уплывали в ворота, провожаемые неистовствующими трибунами. Вдруг словно ветер прошел по ним, и все стихло. Лишь где-то внизу явственно слышалось рычание. Диких зверей выпускали в ров, разделявший трибуны, чтобы не случилось побоища...

Прямо напротив кесаря стояли приподнятые над остальными голубые и зеленые ложи возглавлявших обе партии народных вождей — демархов. Были еще белые и розовые демы на ипподроме, но немногочисленные ряды их примыкали к главным цветам: «белые» — левки к венетам, а «розовые» — русии к прасинам. Они редко выставляли собственные колесницы...

— Приветствую тебя, великий народ!

Это глашатай кесаря провозгласил в гигантский рупор, и человек в пурпурной мантии с диадемой на голове по-римски вскинул руку. В такие же рупоры отозвались ложи демархов:

— Привет тебе, Анастасий, вечный август и автократор!

На имперской латыни сказали они установленные слова. Во всех префектурах, диоцезах и провинциях империи писали на этом языке. Но обиходная речь была эллинской — чем дальше к востоку, тем больше...

«Голубые» победили в скачках, и их демархи обратились через рупоры первыми к кесарю:

— Скажи, Анастасий, будет ли твой квестор судить Патрокла-Крысомора?

Еще Константин Великий, чьим именем зовется Новый

Рим — Византий, установил народное право одобрения или осуждения на ипподромах всех действий властей. Патрокл Мантитей, судовладелец и откупщик из прасинов, подрядился на доставку пшеницы из Ливии. Часть ее оказалась проросшей, и люди болели от плохого хлеба. Крысомором прозвали за это Патрокла. Кроме того, казна заплатила ему отступного за четыре утонувших галеры с пшеницей, а одну из них видели после этого на Крите...

— Мой консисторий не нашел вины Патрокла Мантитея, патриция...

Услышав ответ, закричали, застучали ногами голубые трибуны. Потом по знаку своих демархов прекратили они шум, и тогда вдруг по-эллински обратились к кесарю прасины:

— Чем наградишь, вечный август и автократор, славный девятый легион магистра Вителия?!

Громовым хохотом ответили трибуны. Даже среди «голубых» приветственно замахали руками. Один из пяти военных магистров империи, престарелый дукс Вителий, командовал пограничными легионами на Евфрате, в провинциях диоцеза «Восток». Когда комиссия префекта приехала проверять как идет переформирование армии после неудачной войны с персами то не обнаружила целого легиона Между тем на несуществующий девятый легион аккуратно выписывались питание обмундирование и даже ртуть для чистки ромейских орлов Влиятельные венеты из древних римских родов всячески прикрывали Вителия, и кесарь не спешил с отстранением его от дел «Зеленые» сильны были в диоцезе «Восток», и ему надо было иметь там «голубого» стратига...

Словно не слыша подоплеки в каждом вопросе, серьезно отвечал кесарь. Кучка тихих евнухов сидела за ним Авраам вспомнил известное высказывание одного из них — государственного старца Урвикия. Когда патриарх обратил его внимание на то, что сатана просыпается в людях на ипподроме, великий евнух сказал: «Вот и хорошо крепче спать будут потом!» Как на земную реальность, без варварской претенциозности и мистики, смотрели они на людские страсти Выход давали им здесь, и не копились эти страсти в душах до безумной грани..

Их мало интересовали уже древние герои. Ловкий Язон с хитроумным Одиссем явно брали верх над первобытным Гераклом. Равновесие правило империей Теплое синее море плескалось у здешних берегов, солнце не жгло так немилосердно. И не было столько голодных...

— Может быть, погреться захотел твой эпарх Ксантий?!

Трибуны примолкли. Это была откровенная угроза, хоть и относилась к управителю города. На главной улице Месе,

идущей от Золотых Ворот, видел Авраам почерневшие остовы домов. Даже многочисленные монументы и стены императорского дворца на Августеоне опалены были пожаром. Не так давно возмущенные демы после представления на ипподроме начали подряд поджигать дома сенаторов, а кесаря забросали камнями...

— Полисионерам претория, магистрам и милиции указано на возможность новых выступлений демагогов...

Опять долго шумели трибуны, угрожающе вскидывались кулаки и выкрикивались проклятия кесарю, пока разноцветные трубачи не затрубили в сверкающие трубы-фанфары. Ромейские актеры-мимы нестройной толпой шли из ворот, и овацией встретил их ипподром.

А мимы уже перестроились на ходу, трое отделились от остальных, запрыгали вперед. Один из них приставил к лицу огромную, больше себя самого, маску и степенно, размеренно зашагал взад и вперед по театральным подмосткам. Ахнули трибуны: это он ходил по арене — Анастасий Дикор, уравновешенный, дебелый, выбранный императрицей в мужья из простых чиновников-силенциариев. Со дня воцарения не оставляли его в покое мимы, и неоднократно изгонял он их за наглость из стен города...

А двое других пока что вывернули плащи. Один из них оказался голубым, другой зеленым. Маски нацепили они и стали с двух сторон по-собачьи хватать Анастасия за полы. Но тот продолжал спокойно выхаживать, ловко и незаметно лягая голубого и зеленого демархов. Авраам качался от хохота вместе со всем ипподромом. Размеренно аплодировал кесарь в своей ложе, гулко били в ладоши подлинные демархи...

Потом набежала целая толпа мимов. Маски и одежды изображали все диоцезы империи, и каждый оттеснял другого, чего-то требуя от кесаря. Копт из Египта вкупе с армянским нахараром совали ему свои кресты в утверждение божьей природы Спасителя; их отталкивал несторианин из Эдессы; грубый иллириец тащил императора в сторону старого Рима, показывая при этом пальцем на скалившего зубы готского конунга; тощий самаритянин, взявшись за руки с иудеем, выбирали камень покрупнее, чтобы толкнуть его на Новый Рим. И еще громадный, нелепый, красноротый зверь все рычал из-за Евфрата: зубы у него торчали из головы, хвост был покрыт шипами, длинные крючья заменяли руки и ноги, а на туловище была натянута черная персидская куртка-каба...

Закончилось представление мимов, и служители стали составлять из железных звеньев большую круглую клетку. Рыканье усилилось во рву. Убийц, пиратов и рабов-поджигателей должны

были скармливать здесь зверям. Лишь желающие из плебеев оставались смотреть это зрелище...

И вдруг встали в одном порыве трибуны: голубые и зеленые. Тысячерукий гром покатился к кесаревой ложе:

— Привет тебе, Анастасий, наш вечный август и автократор!

Кесарь, большой, дородный, с невыразительным лицом, плыл на носилках сквозь толпу, направо и налево вздевая руку. Каждый из пятидесяти тысяч обращался к нему.

— Вечно живи, мой кесарь, великий, несравненный!..

Это выкрикнул сосед — черноволосый крепкий эллин в полотняной тоге, и Авраам в изумлении открыл рот. Лишь накануне тот, когда демархи спрашивали о магистре Вителии, при общем смехе пожелал кесарю Анастасию подавиться костью в сегодняшний ужин. Может быть, и впрямь изнемог сатана на переполненном страстями зрелище. А те, в коих не успокоился враг рода человеческого, терпеливо ждали, пока служители обнесут решеткой арену...

Патриций Леонид Апион нахмурился, когда Авраам рассказал обо всем, что было на ипподроме.

— Безмерные нападки демагогов принуждают кесаря утяжелять десницу,— сказал он.— Пока еще терпимо, но, если наденет порфиру другой, властный и менее рассудительный, произойдет недоброе.

— Возможно такое? — спросил Авраам.

Патриций пожал плечами:

— Политическое здравомыслие неминуемо потребует положить более тяжелую гирю на другую чашу весов. Как бы, перетянув, не придавила она разум!..

Ничего больше не сказал Леонид Апион, потому что не было у него времени заниматься разговорами. Внизу, у пристани, стояли пятнадцать плоскодонных кораблей, которые должны были через день уплыть с товарами через Черное море и дальше по Борисфену до древнего Киева-города. Испокон веков вели там ромеи обмен с северными язычниками...

Весы и гири!... Все они здесь, особенно прасины, приводили примеры из торгового обихода. Даже кесарь в своих указах пользовался экономическими терминами. И лишь опухшие люмпен-пролетарии, отирающиеся у бесчисленных винных лавок, по-римски выпячивали груди и клялись Гераклом...

Последний вечер в доме Леонида Апиона испортили ему здешние знакомые Агафон и Евстроний Руфин, поэт...

В префектуре претория служил гладкий, кругленький, с золотыми кудряшками вкруг лысой головы Агафон Татий. Хитроумнейший инженером был он и ведал всеми императорскими стройками города. Уже долгое время носился он с идеей возведения в Новом Риме небывалого храма господня, в котором воплотилась бы древняя, угодная богу мысль о единстве Востока и Запада. Наставнице мудрости — святой Софии — будет посвящен этот храм и толпы молящихся со всех концов земли вместит в свои стены. Лучшие мастера в мире распишут его святыми сюжетами. И, взглянув на храм, осмыслят дикие князья и конунги величие церкви Христовой...

Выше ростом становился Агафон, когда рассказывал о своем замысле, и глаза у него горели. В префектуре ценили его, и Консисторий в скором времени должен был рассмотреть проект храма. Сам кесарь дважды выслушивал Агафона Татия...

В первое же свидание в доме Леонида Апиона, после увлекательного рассказа о храме и других задуманных им строениях, маленький Агафон таинственно поманил пальцем Авраама в другую комнату.

— У нас уже все готово! — прошептал он.

Оказывается, Агафон и его друг Евстропий возглавляли здешних истинно верующих в правду Маздака. Всеобщее владение имуществом и женщинами проповедовали они. Больше полусотни людей уже было у них, и Агафон подумывал о том, чтобы откупить для начала секцию на ипподроме. Красные ленты будут у их квадриги...

На следующее утро он заехал за Авраамом в парных носилках. Быстро, весело бежали рабы по самой кромке берега, и вскоре оказались они в маленькой светлой вилле с мраморными беседками. Увлекшись, Агафон показал ему множество тонких изящных вещиц, собранных им по разным провинциям. Со вкусом были расставлены они на специальных подставках...

В последней комнате глухими щитами были забраны окна. Повозившись во тьме, Агафон сам, без помощи раба, высек огонь, зажег факел. В черную кожаную куртку-кабу успел он одеться, и персидский крюк для утаскивания мертвых был в его руке. Такие же перекрещенные крючья висели по всем четырем стенам...

— Всех мы перетаскаем, начиная с кесаря! — сказал он глухим, страшным голосом, и почудилось, что зазвенели золотые колечки волос вкруг его лысой головы.

Авраам молча смотрел на него...

Поэт Евстропий Руфин в последний вечер читал поэму о несравненной Феодоре, уподобляя ее, по признанному порядку, всем эллинским богиням, начиная с Афродиты. Их было так

много, что можно было понять его маленькую содержанку, дочь конюха прасинов при ипподроме. Десятилетняя красавица Феодора убегала в солдатские казармы, когда заставлял ее Евстропий слушать свои стихи...

Снова они делали друг другу тайные знаки, подмигивали, отводили Авраама в сторону. С Барсуком уже про что-то говорили они на гостином дворе. Агафон Татий сказал, что это настоящий борец за правду, не боящийся крови, и такими людьми надо гордиться...

В последний раз прошел Авраам от кесаревой площади — Августеона по Месе, постоял там, где раздваивается она. Тысячи людей во всевозможных одеждах двигались в разные стороны, заходили в бесчисленные лавки, сидели прямо вдоль тротуаров, спорили, громко смеялись.

Четырех-, пяти- и даже девятиэтажные каменные дома стояли по обе стороны улицы. Тяжелые медные кольца свешивались из львиных пастей в высоких дубовых парадных. Солнце без помех светило в забранные сверкающим александрийским стеклом окна...

А он уже был не здесь. Глухие настороженные стены с узкими щелями, покинутые людьми селения, кровь на площадях ждали его. Совы ухали по ночам. Историю Эраншахра писал Авраам — сын перса Вахромея...

X

Как только переплыли на пароме Босфор, в ромейской провинции Вифинии встретились с Эраншахром. Цыганские телеги-фуры с плетеными крышами стояли у самого берега. Изгоняли домов из Эраншахра, и брели они по всем ромейским дорогам, вызывая неприязнь своим жалким видом. Не допускали их в Константинополь и другие города империи. Они составляли здесь плоты, привязывали к ним телеги и плыли через Мраморное море в провинцию Европу, растекаясь оттуда по Фракии, Македонии, Иллирийскому побережью. Разговоры шли среди них, что куда больше повезло тем, кто пошел через пустыню в Египет или ушел в Туран...

А через две недели стали попадаться беженцы-инородцы: ромеи, арамеи, сирийцы, иудеи. Да и персов было немало, побросавших свои дома в страхе перед людьми пайгансалара с крючьями. Прилетевшая из лесу стрела воткнулась как-то в акацию рядом с Барсуком, и он на время снял свою черную куртку...

Кучка конных иудеев, не отставая, ехала на хвосте посольского каравана. Еще в Константинополе через Леонида Апиона вели они какие-то переговоры с самим Барсуком. Лишь случайно узнал Авраам, что о «ростке древа Давидова» шла между ними речь. Оказалось, выкупить хотят они Аббу, если жив он до сих пор в каризе, куда бросили его в ночь смерти Розбеха. Деньги, собранные с разных сторон мира, сулили за него.

Четыре длиннобородых старика в черных ермолках ехали среди них. На каждом привале молодые иудеи садились вокруг, не снимая кольчуг, с длинными кинжалами в руках, а старцы раскрывали большую книгу с медными застежками и начинали дико спорить, плюясь и проклиная друг друга до двенадцатого колена. Авраам понимал все: об одном лишь слове шли пререкания. В ушах у него стоял грустный голос маленького Аббы: «Ты не знаешь, что такое наши евреи... О, эта тупая вера в книгу!» В Даре, на самой границе, остались иудеи в ожидании ответа...

Тысячи повозок с камнем двигались по древней Кеевой дороге со стороны Эдессы. Новую большую крепость сооружали ромеи напротив Нисибина...

В Нисибине уже тоже ночами слышалось шуршание и раздавались вопли людей. По Тигру плыли черные тайяры. Стоны и плач доносились из красноватой воды...

От заброшенной кузни при дороге завернул Авраам на полдня в знакомый дех. Старший сын заменил на царской службе сотника Исфандиара, и жил он дома. Дети возились у хауза, и мальчик лет двенадцати с черным клоком волос «на счастье» совсем похож был на Фархад-гусана...

Сотник Исфандиар увидел, как смотрит Авраам на мальчика, и вздохнул. В обычном бою не задумываясь положил бы он жизнь за друга и родственника. Но именем предержащей власти уволокли тогда Фархад-гусана, и не положено было за него вступаться. Бессильна перед властью арийская казарменная отвага...

Все же заняли в конце концов местные дехканы пустующую землю за рекой, ничего не выделив односельчанам из людей-вастриошан. Новый раб появился в семье сотника помимо Ламбака. И еще пара приземистых мидийских быков с громадными желтыми рогами.

Вдвое больше стало поле Исфандиара. Черные, сверкающие под солнцем комья выворачивала двуручная соха, за которой шел теперь раб из соседей-земледельцев, продавшийся на пять лет в семью сотника. А перед глазами Авраама все вспыхивали равномерно поднимавшиеся и опускавшиеся мечи азатов, когда не пускали они к переправе красных деристденанов. С голой,

пугающей ясностью понял вдруг он, какая страшная сила истории таится в этом увеличенном поле, новом рабе и паре быков...

Добрые арийские глаза сотника Исфандиара прямо смотрели на него. Только теперь Авраам увидел, что тот постарел. К груди Исфандиара прижался головой Авраам, и далекое отцовское тепло вспомнилось ему.

В виду Ктесифона догнал Авраам посольский караван, и Барсук недобро скосил глаза в его сторону. Черные птицы с грязными клювами реяли прямо над городом...

В день возвращения поволокли крючьями возглавлявшего посольство шахрадара, а Барсука сделали великим эрандиперпатом. Возле самого эранспахбеда и артештарансалара Сиявуша сел он в Царском Совете. И сзади Сиявуша сидел уже безымянный черный человек...

Прямо из Царского Совета утащили шахрадара. Раздвинулась завеса в нише за спиной, и крючья подхватили его под горло. В один миг это произошло, как в арийской притче. Пустая синяя подушка еще хранила вмятину от его тела...

Не до Авраама было главе царских писцов Фаруду. Какого-то черного диперана прислали от пайгансалара, и тот не спускал с Фаруда ожидающих глаз. Уходя, посмотрел в зал Авраам. Все головы были повернуты к Тахамтану. Не глядя, делали говорившие знак в сторону царя царей. Прямо сидел Светлолицый Кавад, и руки его симметрично лежали на поручнях трона...

Врач Бурзой не оглядывался. Он повел Авраама далеко в сад, где журчала вода, и начал читать... «Появились люди, не украшенные достоинством таланта и дела, без наследственного занятия, без заботы о благородстве и происхождении, без профессии и искусства, свободные от всяких мыслей и не занятые никакой профессией, готовые к клевете и ложному свидетельствованию и измышлению; и от этого добывали средства к жизни, достигали совершенства положения и находили богатство...»

Древнюю арийскую хитрость применил врач Бурзой. От лица некоего мобеда Тансара было написано поучительное письмо к владыке Табаристана. Три века назад якобы жил праведный мобед, но слишком хорошо был осведомлен о сегодняшних делах в Эраншахре...

В тот же день, выйдя пешком за городские ворота, направился Авраам к дасткарту. На полпути остановил его подросток с козой:

— Ты зачем туда идешь, ученый диперан?!

Авраам вспомнил рассказы про дасткарт Спендиатов. Сам Тахамтан со своими людьми наезжает туда. Все дороги охраняются служителями пайгансалара. И убивают сразу того, кого находят на полфарсанга в окружности. Без следа пропадают случайно оказавшиеся там люди...

— Железные когти у них, и красный огонь изо рта!..— объяснил подросток, прижимая козу к ногам.

Авраам поднялся на холмик, пытаясь разглядеть что-нибудь за далекими деревьями. Кусты шевельнулись впереди. А может быть, показалось это ему...

А ночью, в доме врача Бурзоя, от тихого шуршания проснулся он, и сразу стук раздался во тьме. Всадники ждали его во дворе. Оглянувшись на белое лицо Бурзоя, влез в седло Авраам...

Нет, не от пангайсалара это были люди. Он впервые перешагнул порог царского дасткарта. Долгими коридорами вели его, потом приподняли завесу и слегка толкнули в спину. Светлолицый сидел на высоких подушках, и у ног его был лишь царевич Хосрой...

— Ты вернулся, христианин Авраам...

Тихо, почти неслышно сказал это царь царей и в задумчивости опустил голову. Таким чеканили его на драхмах: с серебряными локонами у висков. И глаза у него стали медленные, монетные.

Как маленькая птица Симург сидел, вцепившись руками в скамеечку, пятилетний Хосрой. Знали все, то отец отправляет его в дикий Мазандеран, к Испахпатам. Царевич Кавус в черной куртке сидел в зале Царского Совета при Тахамтане. Не от царя царей зависел уже выбор наследника...

Светлолицый сделал знак рукой:

— Ты уедешь в Мерв, ровесник Авраам... Навсегда!

XI

Он ехал в последний раз через Ктесифон. Знакомые звуки заставили дрогнуть сердце. Авраам придержал коня...

Распаренные усталые слоны жевали кровавую джугару. Прямо в тазы уже лили вино, и маленькие глазки их слезливо и бессмысленно смотрели в землю. Тюремные рабы деловито

оттирали вениками каменное дно хауза. Очередные пять деристденанов в выгоревших красных одеждах-кабах, связанные одной веревкой, ждали своей очереди.

— О Маздак, о-о!..

Время от времени кто-то из них поднимал к солнцу голову, и призывный стон исходил из сухих потрескавшихся губ. Прислужники закончили очистку хауза, а люди пайгансалара в черных куртках принялись хлопать бичами, поднимая с земли деристденанов. Дрожащей красной струйкой потекли они вниз по скату... Они не смотрели в его сторону, но по длинным рукам, привыкшим мять чистую глину, узнал их Авраам. И тут же вспомнился ему теплый голубой залив и сытенькие, лысенькие ромейские маздакиты...

Покорно улеглись на дно хауза гончар и его братья. Но когда, оттирая друг друга громадными тушами, ринулись слоны в хауз, одинокий слабый голос послышался оттуда. К нему присоединился другой, потом третий, и вдруг песня взметнулась в небо над Ктесифоном...

Это были звуки, которые услышал Авраам сквозь трубный рык. Тупые животные, сопя и хрюкая, возились в каменной яме, и «Песня Красного Слона» рвалась оттуда в будущий мир...

XII

Не мог оставить он Эраншахра, не заехав сюда. Грохотали камни в ночи ущелья, и неслышные скорбные тени стояли в проломе скалы. Там, где жил когда-то старый цыган, поселились женщины-христианки. Раз в неделю приезжал человек из общины и оставлял им хлеб перед входом в пещеру. Из диких камней и деревьев построили молельню, и ночью виден был там желтый колеблющийся свет. Персы в округе молча покачивали головами, но сами привозили к большому камню у пещеры хворост для топлива и крученые хузанские тыквы...

Авраам дрогнул, увидев неясное очертание в дверях часовни. Оно тут же растворилось в желтом свете, но сердце его не могло успокоиться. И каждый день начал приходить он сюда. Белые дивы кричали во тьме, и каменная стена поднималась к небу. Там, за недвижными хлопьями облаков, висел мостик...

Долго сидел в тот день он на камне. Из низеньких дверей молельни вышла большая старая женщина, посмотрела на него грустным недобрым взглядом. Взяв с камня железный пестик, она принялась мерно бить в подвешенный к дереву старый бронзовый щит. Звуки получались глухие и слабые, от них хотелось закрыть лицо руками.

Немые темные фигуры показывались в дверях, шли назад к пещере. Одна задержалась, сдвинула покрывало...

На горячем солнце все сидел он, и кружилась голова, как в соленой пустыне. Авраам встал, нетвердым шагом подошел ко входу в молельню. Глаза его привыкли постепенно к желтому мерцанию лампады. Земляной пол был подметен и присыпан травой, выпирали из стен обмазанные глиной дикие камни. Но лишь потом разглядел он все это...

Напротив входа жесткими однотонными красками был нарисован человек на кресте. Тело его не имело мышц и реальных выпуклостей, из пробитых гвоздями ладоней потоками лилась грубая охра. Но сухой хруст вдруг послышался Аврааму, слоновье хрюканье и стоны из-под воды...

Он понял, зачем стояли здесь на коленях женщины. Нет не жаловаться ушли они сюда от мира. Им, распятым жизнью, необходимо было плакать над чьими-то ранами. Выше всех других сил оказалась сила сострадания. Это был гимн духу человеческому. И нужна была именно грубая охра...

Этого не могло быть, но день за днем приходил он и садился на камень. И однажды подошла к нему Белая Фарангис...

Лицо ее было открыто, и прекрасные зелено-золотые глаза смотрели спокойно и отрешенно. Холодный саксаганский серпик под подушкой был в чьей-то другой жизни. Авраам уже слышал, что какой-то христианин подобрал в ущелье застрявшую в ветках женщину...

Они долго стояли, и солнце красило камни вокруг. Лилась где-то вода, с шуршанием перелетали над травой кузнечики...

Это было каждый день: теплые камни, звук воды и летящие к ногам кузнечики. Однажды она тихо сказала:

— Я слишком долго падала, Авраам...

Он не знал, что произошло с ним: слезы брызнули из глаз, бурно сотрясалось все тело. Почему он плакал?.. И о чем?.. Он никогда еще так не плакал...

И тогда сквозь теплую радугу Авраам увидел ее широко раскрытые материнские глаза. И понял, что к тому, на кресте, обращены они...

И дальше поехал Авраам.

ЭПИЛОГ

I

Да, снова он увидел пламенеющий Ктесифон... Белые башни, пальмовые острова и брусок красного железа на приподнятой наковальне. Чего-то не хватало. Мар Авраам оглянулся: призрачной стеной по горизонту стояли холодные горы. Тогда он закрыл глаза. И вдруг горький забытый запах почувствовали его ноздри. Факельные реки потекли со всех сторон света, дымное солнце летело над Ктесифоном...

Он открыл глаза, и сразу пропал запах дыма и крови. Чистое утро было в мире. Обычная заря красила зелень деревьев, многократно отражаясь в зеркальной стене дворца. Это было красиво...

Сопровождающие его молодые азаты, почти мальчики, почтительно остановились сзади. Авраам дышал воздухом юности. Двадцать лет его не было здесь...

Как прошла жизнь?.. Люди воевали, строили, разрушали, пахали землю и ковали железо. А что сделал он? Собрал книгу царей и воителей Эраншахра, которая умещается на одного осла...

Почему через двадцать лет бог и царь царей Кавад прислал в Мерв конный отряд за ним, мар Авраамом — сыном Вахромея?.. Какую главу предстоит ему дописать в бесконечной истории Эраншахра?..

II

Теми же коридорами провели мар Авраама. На тех же подушках сидел царь царей, и совсем как на монетах стало его лицо.

— Ты приехал, ровесник Авраам...

И он понял, зачем позвал его Светлолицый... Да, царь царей и бог Кавад сам решил дописать главу, которую начал в юности. И всех оставшихся в живых звал в свидетельство...

Помост сколачивали на уложенной черным гранитом площади перед дворцом. В годовщину «Красной Ночи» великий диспут произойдет здесь на виду у мира. Уже ждали за воротами города истинно верящие в правду Пять лет назад, после того как потащили крючьями эранспахбеда и артештарансалара Сиявуша, уехали они с наследником Кавусом в Шизу. На месте сгоревшего храма Огня возвели они там великий «Дворец Правды». Расска-

зывали, что несколько раз менялся уже среди них Маздак. А теперь они возвращались в Ктесифон, где возгорелось когда-то великое пламя...

Время было у мар Авраама, и дотемна ездил он на своей спокойной кобыле, подаренной туранскими внуками. Обычная жизнь шла в Ктесифоне. Врач Бурзой массировал больного, как будто не было этих двадцати лет. На торговом подворье еще громоздились развалины, но главный склад был уже свободен от мусора. Ровный и молчаливый Авель бар-Хенанишо с деревянным крестом на груди проверял сбрую, зубы и копыта мулов из уходящего завтра каравана. Лишь волосы его посерели и еще больше выгорели глаза от ветра и солнца пустыни. Большой иудей со знакомой бородой вкруг лица занимался какими-то подсчетами. Он, новый высокий иудейский экзиларх Вениамин Мар-Зутра, повел мар Авраама в свой дом...

В трапезной экзиларха увидел мар Авраам старичка с белой бородой до самого пола. Это был знаменитый мудрец со Святой горы, навестивший здешнюю общину. В углу комнаты он сидел и держал дрожащими руками большую книгу с медными застежками. Безмерно печальны были черные остановившиеся глаза маленького Аббы...

И старую расплывшуюся, не могущую ходить женщину слушал Авраам. Насекомые ползали по грязным волосам, а она размазывала слезы по круглому лицу и все жаловалась на неблагодарность мужчин. В доме у старого раба при дасткарте Спендиатов жила Мушкданэ...

А на базаре стоял вечный человеческий шум: кричали продавцы воды, цыгане звякали бубнами, просили подаяние голодные, и тяжелыми молотами били железо кузнецы в черных прожженных фартуках.

III

В извечную солдатскую игру играли молодые азаты. Один отворачивался, пригнувшись и закрыв ладонью лицо. Его хлопали по другой ладони, а он угадывал — кто. Если неправильно, все дружно приподнимали его и ударяли с размаху задницей о дувал. Совсем дети это были...

Но когда сотник коротко свистнул, они вмиг выровнялись в линию. Одного роста и стати подобрали их, и расширяющиеся к концу армейские мечи казались маленькими у них в руках. Ноги их были длинные и крепкие, а у локтей вздувались четкие тугие бугры. Остроту оружия проверял у них сотник, прикасаясь всякий раз большим пальцем к синему железу...

И во всех садах, рощах и переулках вокруг дворцовой

площади проверяли сотники остроту мечей. Звон и шевеление слышались в предрассветной холодной мгле. Мар Авраам пустил рысью лошадь к ведущим из Атурпаткана воротам...

Их было сотни полторы. Начинало лишь светать, а они уже хлопотали, готовясь к въезду в Ктесифон. Мар Авраам остановился в стороне, и они поглядывали на него, не прекращая суеты...

Потертого худого слона накрывали красным ковром, и он покорно стоял, отгоняя хоботом слепней от язвы за ухом. Потом установили на нем крашенную бронзой площадку и подтолкнули вверх человека, закутанного в красное полотно. К нему еще лазили несколько раз, поправляли факел в его руке и одергивали складки покрывала.

— Ничего... Миллионы людей с факелами спустятся с гор, когда войдем в Ктесифон!..

Это ободряюще крикнул Фаршедвард, выстраивающий их по пятеро в ряд. Бугристое постаревшее лицо младшего Карена было густо белено пудрой. Седой карлик Гушбастар — «Слушающий ночные сны» ни на шаг не отходил от него, и вздрагивал всякий раз огромный безгубый рот. Все они были здесь: приземистый, загребающий ногами-крючьями Барсук, простоватый вождь из Истахра, важный и значительный Лев-Разумник. Наследник царя царей Кавус с теряющимся подбородком все тыкался, как слепой, выбирая себе место, пока не поставил его Фаршедвард сразу за слоном...

И ни на ком, даже на бывшем пайгансаларе Гушбастаре, не было черных курток. Давно забытые красные кабы с карманами для зажигательных стрел надели все. Эти куртки не налезали на раздавшиеся за двадцать лет тела и шеи, и пришлось вшивать куски новой кожи. Красные вставки выделялись при ярком солнце на старых выцветших одеждах...

Все почему-то не двигались они и, чтобы подбодрить себя, разговаривали громкими голосами, по-молодому подталкивали друг друга под локти, смеялись, перебегали из ряда в ряд. А потом громко запели «Песню Красного Слона», и невыносимо было слушать их...

С этой песней Кабруй-хайяма пошли они к воротам Ктесифона. На Авраама продолжали все смотреть, словно приглашая запеть вместе с ними. Но в воротах сразу тише стали они. Фаршедвард подхватил своим сильным, звучным голосом припев о юном вожатом-копьеносце, но совсем умолкли они на улицах города. Лишь время от времени дул кто-то в большой карнай, который несли на плечах...

Так и двигались они через город неровными рядами. Потоки едущих на базар людей перегораживали им дорогу, и приходилось задерживаться, поджидать отставших. Жители стояли на перекрестках, глазея на слона и человека с факелом наверху. Дети по бокам весело взбивали пыль босыми ногами, собаки лаяли из-за дувалов...

Авраам закрыл глаза и увидел белые скалы Мазандерана. Там, еще выше горных гнезд Испахпатов, пробиты в граните жилища, и узкая тропа в мир завалена чудовищными глыбами. По дороге в Ктесифон из Мерва рассказали ему, что туда, за вечные тучи, ушли оставшиеся в живых красные деристденаны. Местные жители говорили, что землю из долин принесли они с собой и выращивают на ней хлеб для себя. И еще говорили, что живут эти люди по высокой правде и равенство между ними. К ним уже убегают из долин от притеснений великих, а когда пробьет час, они зажгут факелы и спустятся из-за туч...

К самому завалу в горах подъехал там Авраам и долго смотрел вверх, пока не показалось ему, что он видит этих людей за тучами — с длинными руками, привыкшими мять тяжелую глину, ковать сошники, ткать ковры, сучить шелк. В солнечных красных кабах были они, и он узнал среди них гончара и его братьев...

Он открыл глаза и снова увидел Фаршедварда, карлика Гушбастара, плосконогого Барсука, Льва-Разумника. Нет, к этим не спустятся уже из-за туч люди с факелами...

Мар Авраам поскакал к площади. Там уже ждали их. Помост был накрыт коврами, и три человека стояли на нем: в середине новый мобедан мобед с бритым сухощавым лицом, по правую руку от него — епископ христиан Востока, а по левую руку — главный раввин Ктесифона и Междуречья. Сзади помоста толпились люди, и были среди них врач Бурзой и маленький иудейский старец со Святой горы. В полутьме арки багровела царская завеса, желтые львы сидели по краям, и недвижные бронзовые тени застыли вдоль ковровой дороги...

Они медленно вошли на площадь: слон с человеком под красным покрывалом и неровные ряды истинно охраняющих правду. Кони были отобраны у них на подходе, но шли они по старшинству, каждый в своем ряду. И остановились, тоже не смешиваясь, перед царской завесой.

Долго стояли они так, пока Фаршедвард не подсказал что-то тому, который был на слоне. Человек под покрывалом зашевелился, переступил ногами и потянул факел к завесе.

— О-о!...— тихонько запели в рядах.— О-о!..

И тогда заревели царские трубы — страшно, утверждающе. К холмам укатился их беспощадный рык, и тысячу раз усиленный голос спросил:

— ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ?..

Поддерживая одной рукой факел, человек на слоне поспешно отвел покрывало со своего лица. Круглый нос с двумя дырочками задвигался, закрутился на плоском безбровом лице. Мардан это был, бывший надсмотрщик над рабами в дасткарте у Спендиатов...

— «Четыре»,— выкрикнул он,— «Семь» и «Двенадцать»!..

— О-о-о-о-о-о-о!..— тонко выделился, закатился кто-то из задних рядов. Двое или трое начали бить себя кулаками по голове.

Светлолицый воитель в куртке и мягких гуннских сапогах вышел под арку. Резкий изгиб бровей повторял линию подбородка, и что-то еще от птицы Симург было в его лице. Быстрые глаза обежали площадь, правую руку поднял Хосрой, сын царя Кавада...

Шевельнулись кусты и деревья вокруг, синие молнии забегали между ними. Жалобно затрубил вдруг слон, по-собачьи затряс спиной. Сбросив Мардана, он тяжело вздыбился и побежал, волоча за собой красный ковер. Его выпустили из синего прямоугольника.

Тихо было на площади. Ровные безмолвные линии сходились с четырех сторон. С любопытством смотрели азаты на теснящихся посредине площади людей. Мечи азаты держали перед собой в боевой позиции, на уровне глаз, по «Аин-намаку»...

IV

Мар Авраам поднял глаза к синему небу над Ктесифоном. Дым истории увидел он там. И плыл над миром человек на красном слоне с факелом в руках. Ясные серые глаза и непомерно высокий лоб были у него...

— О Маздак, о-о!..

1967—1970

ИСКУПЛЕНИЕ ДАБИРА

Я же, взявшись за сей труд, хочу воспроизвести историю полностью и вымести прах из всех углов и закоулков, дабы ничто из происходившего не осталось сокрыто.

Абу-л-фазл Байхаки

ПРОЛОГ

I. ВАЗИР

Да, он сделал правильно, что надел этот халат — строгий халат простого писца-дабира с прямыми рукавами и прямыми, без всяких закруглений, полами. Лишь тяжелая золотая чернильница на ремешке, висящем через шею, определяла его место в государстве. И как только надел он этот халат, сердце опять забилось ровно, правильными, размеренными ударами.

Уже пять недель, начиная с седьмого дня месяца Тир по эре Величайшего Султана, сердце у него билось неправильно. Не потому, что он, Великий Вазир, уходил от дел государства. Сановники, как и правящие дома, приходят на смену друг другу по воле Бога, ибо все в его руках. Но если это происходит без серьезной провинности с их стороны, то делается в установленном порядке. Низам ал-Мульк его титул, и Величайший Султан в таких случаях сам высказывает своему первому рабу согласие с его желанием оставить поводья правления. Но без страха глядящий в глаза дикому тюрку-карлуку с кривым клычем[1] в руке султан Малик-шах струсил, как обычно, передать собственными устами такое решение ему — своему вазиру. Туграи — Хранителю Печати поручил он это сделать. Тот, безусловно, один из немногих, тоже имеющих право на нисбу ал-Мульк, но даже равным не положено объявлять друг другу султанскую волю. Туграи же в здании государства не равен вазиру. Он лишь одна из колонн, в то время как вазир — купол законности и порядка.

Это был зримый перебой в размеренном круговращении, по воле Бога вот уже тридцать лет установленном в доме Сельджуков[2] им,Абу Али аль Хасаном ибн Исхаком из Туса, кому определено имя Низам ал-Мульк — «Устроение Государства» А разве «государство» не от слова «государь», как бы ни пытались затуманить это ясное понятие некие многоумные имамы... Вот тогда и застучало у него сердце...

---

[1] К л ы ч — тюркская сабля.

[2] С е л ь д ж у к и — тюркская (туркменская) династия, установившая в XI веке свою власть над Передним и Средним Востоком.

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Так оно и должно было происходить. Два месяца уже находился он здесь, в Мерве, а там, при доме султана в Исфагане, великий мустауфи Абу-л-Ганаим, чей титул Тадж ал-Мульк, не терял зря времени. Сам Малик-шах обычно не придавал значения речам мустауфи. Но была Тюрчанка...

Это, конечно, Абу-л-Ганаим предложил направить на должность шихне-коменданта — Мерва бывшего гулама[1] Кудана. Мерв-аш-Шахиджан, город царей от сотворения мира, отдавался во власть безродного раба, чья сила лишь в извечной гаремной слабости. Со стороны мустауфи это было продвижение слоном на чужое поле. Он ведь знал, что раисом Мерва, пасущим стадо подданных-райятов от лица государства, здесь Осман ибн Джамал — внук Великого Вазира. Но настолько ли тонок мустауфи, чтобы предугадать еще там, в Исфагане, то, что потом случилось!..

Новоиспеченный эмир Кудан, опять получивший вне очереди высший знак «Опора Султана» и третий золотой пояс, прибыл в Мерв с полутысячей гуламов и только на следующий день явился к нему, Великому Вазиру, для целования руки. В красивых выкаченных глазах его была наглость. К Осман-рансу, приходившемуся ровесником, бывший гулам вовсе не зашел. Это было явное нарушение порядка, ибо власть шихне относится к одному лишь войску, а во всем другом он обязан принимать слово раиса, тем более если раис из семейства вазира государства. Нельзя давать войску власти над райятами, ибо с этого начинается падение державы...

Уже через день стало известно, что Кудан всю ночь накануне пил вино со своими гуламами. Осман-раис тотчас же пришел за советом. И тут он, Великий Вазир, прислушался к своему чувству неприязни по отношению к удачливому гуламу. Он согласно кивнул головой Осман-раису. Неужто мустауфи был способен предвидеть этот неосторожный кивок?..

К полудню новый шихне Кудан-эмир ехал с десятком гуламов в пригород — рабат, где стояло войско. У Ворот Знаменосца его остановил мухтасиб — Надзиратель Веры, с которым было полсотни стражников. Именем Величайшего Султана он предложил находившемуся там же судье — казию — принюхаться к выдыхаемому эмиром воздуху, и старый казий пошатнулся от богопротивного запаха. У Кудан-эмира отобрали оружие и заперли в подполье при цитадели — кухандизе. На другой день

---

[1] Г у л а м — привилегированный раб — воин или слуга.

его выпустили, но весь Хорасан уже знал об унижении мервского шихне.

Предстояло по этому поводу долгое и трудное объяснение. Кудан-эмиром, как стало известно, сразу же была послана пространная жалоба в Исфаган. Однако приезд султанского дома в Мерв на поклонение могилам отцов ожидался лишь к концу лета, когда хотя бы ночи станут прохладными в Хорасане. И он, Великий Вазир, продолжал заниматься тем важным делом, из-за которого оставил столицу и приехал сюда в самое жаркое время года. Ядовитая паутина опутала мир, и нити ее прощупывались здесь, в Мерве...

Но Величайший Султан неожиданно прибыл в Мерв в середине лета со всем своим домом, и это показало, что ничто уже не может противостоять неукротимым стремлениям Тюрчанки. Прискакавшие на два дня раньше хаджиб Дома и главный евнух Шахар-хадим со своими людьми привели в порядок подземную дворцовую сардобу с водой, наладили выделку льда, промыли листья в загородном саду, спустили в хаузы лодки для гуляния. Султан, как в юные годы, посветлел лицом, увидев его, своего учителя и вазира. Явная радость встречи читались в его зеленых глазах. Но в ту же минуту Малик-шах беспокойно посмотрел по сторонам...

Все происходило потом, как много раз до этого. Передать слова неудовольствия Величайшего Султана своему вазиру явились два носящих однозначный титул: великий туграи Маджд ал-Мульк и воинский казначей-ариз Шараф ал-Мульк. С ними были доверенные люди Дома — надимы и личный хаджиб[1] султана — эмир Йильберды. Туграи поцеловал львиную печать, которую сам и накладывал, надломил ее с двух сторон и развернул султанское послание. Как и положено, в нем не назывались имена и конкретное деяние. Но уже не в одном Хорасане, а во многих местах державы, от Дамаска до Хорезма, говорили о ссоре любимого султанского гулама и мервского раиса, приходившегося внуком самому вазиру. Все ждали, чем это закончится...

Великий туграи умел читать. Голос его не повышался и не понижался, глаза смотрели в текст, но зрачки не бегали от одного края листа до другого. Настоящий сановник должен дословно помнить послание султана, какой бы длины оно ни было. Впрочем, и сам он, кому было адресовано это послание, еще с вечера знал его наизусть.

«Если ты являешься соучастником со мной в царстве и если

[1] Хаджиб — ответственный за определенную сторону придворной жизни.

твоя рука наравне с моей участвует в правлении, то у этого есть основание...»

Соучастником в царстве... Неистовый Алп-Арслан, предчувствуя раннюю смерть, самолично просил его не оставлять без поддержки и наставления своего порывистого наследника. Одиннадцать лет было тогда этому укоряющему его сейчас султану. Алп-Арслан надел на голову мальчика зубчатую корону, посадил его в свое седло и прошел перед войском, ведя в поводу коня. Клятву верности сыну взял он с эмиров и хутбу — упоминание его имени рядом с именем Бога — потребовал читать в пятничной молитве в Багдаде. А после этого подвел нынешнего султана к нему. «Когда я уйду из этого мира, он будет тебе отцом!» — сказал Алп-Арслан сыну своему Малик-шаху.

И когда по воле бога произошла смерть Алп-Арслана, разве не ухватился беспомощно за полу его халата тогда уже восемнадцатилетний султан! Войско, лишенное узды, сразу же протянуло руки к деньгам и имуществу райятов. «Кроме Низам ал-Мулька, никто не препятствует новому султану, чтобы давал нам деньги!» — говорили все — от военачальника-сюбаши до гулама-первогодка. Пришлось добавить войску семьсот тысяч динаров жалованья, но из султанской казны. Он разъяснил наследнику всю опасность прямого кормления войска с райятов, минуя государство. «Все дела — большие и малые — я предоставил тебе. Ты отец!» — вскричал тогда Малик-шах. А он, как от века принято в государстве, потребовал у нового султана письменного подтверждения своих особых прав Великого Вазира. И Малик-шах, помня слова отца, написал все необходимое и в дополнение ко многим милостям дал ему в пожизненное владение родной его город Тус с округом — рустаком — и всеми причитающимися доходами. Двадцать лет назад это было...

«Если же ты — заместитель и находишься под моей властью, то тебе следует придерживаться границ подчинения и заместительства...»

Нет, он знает эти границы, ибо древнее слово «султан» означает «единство власти», и не может никто в государстве подменять султана. И когда поднимало голову непослушание среди братьев нового султана, то разве преступал он границу заместительства в своих советах? Первый его спор с султаном произошел из-за семи тысяч конных гуламов, которых решил тот уволить из войска в Рее, чтобы сэкономить деньги. С утра до ночи разъяснял он молодому султану невыгодность этого дела. «Среди этих, кого увольняешь, нет ни писца, ни торговца, ни портного,— говорил он.— Нет ни одного из них, у которого кроме воинского умения было бы ремесло. Куда им деваться? Если они будут уволены, то кто гарантирует, что не выставят из себя кого-нибудь и не скажут: вот наш султан! И будут нам

от них хлопоты, а пока справимся с ними, выйдет у нас денег во много раз больше, чем идет теперь на их содержание!»

Малик-шах не послушал тогда его первого вразумления, и семь тысяч вольных гуламов в конном строю прибыли из Рея к брату султана — мятежнику Текешу. Они забрали Мерв; и Нишапур бы они забрали, если бы молодой султан, испугавшись, не стал беспрекословно следовать его указаниям.

Другое дело, что его авторитет вазира непоколебим в государстве. Когда через три года прощенный Текеш снова выступил из завещанного ему отцом Термеза и осадил Серахс, то одной лишь подписи «Низам ал-Мульк» стало достаточно, чтобы мятежники бежали в беспорядке. Котлы с теплой кашей были в страхе брошены ими тогда у стены Серахса...

«... И вот твои сыновья и внуки, каждый из них владеет большим округом и правит большой областью, но, не удовлетворяясь этим, они вмешиваются в дела расправы и в жажде власти дошли до того...»

Не стал бы писать такое великий Алп-Арслан. Когда-то был тоже подан донос на него покойному султану. Тот повертел в руках тайное письмо, остро посмотрел и вдруг рассмеялся. «Я не стану читать это,— сказал он.— Возьми и сам прочитай. Если то, что пишут эти люди о тебе, правда, то исправь свое поведение. Если же там неправда, то подумай, чем обижены писавшие, и удовлетвори по возможности их желания в службе или имуществе». Этот отважный туранец быстро понял смысл государства, хоть царствовал только во втором поколении.

Все происходило тогда в его загородном имении — кушке. Туграи закончил чтение, поцеловал подпись, свернул и подал ему послание. Все были на своих местах: оба сановника, надимы и чуть в стороне — эмир Йильберды. Золотой куб чернильницы стоял на низком прямоугольном столике. Прямая линия подстриженных деревьев виднелась в окне. Листва не шевелилась, скованная горячим хорасанским солнцем.

Он принял обеими руками письмо Величайшего Султана, поцеловал и опустил перед собой на стол. Потом, подведя ладони под бороду, начал говорить. Тверд и резок был его голос:

— Скажите этому султану: «Если ты не знал, что я соучастник твой в царстве, так знай, ибо достиг ты своего положения только благодаря моим действиям и мерам!»

Находившиеся здесь были опытные люди, и стояли они, как бы не слыша этих слов. А он уже широко развел руки, обращаясь прямо к их свидетельству:

— Разве не знал этот султан, что когда убит был его отец, то я устроил все дела и уничтожил смутьянов из его рода? И многих других я устранил, направив дело к завоеванию стран близких и дальних. А после этого он стал слушать доносы на

меня, приписывать мне грехи... Передайте ему от меня, что устойчивость золотой зубчатой шапки на его голове связана с этой моей чернильницей и что в их единении тайна упрочения державы. И когда я закрою эту чернильницу, то недолго удержится на его голове и шапка Кеев!..[1] — Потом в его голосе появилась озабоченность.— Если он решился на перемену ко мне, то пусть сделает в целях предосторожности заготовку продуктов и фуража, прежде чем это случится. Пусть соблюдает предусмотрительность в отношении событий до того, как они произойдут...— Указания его были точны и касались существа дела. Перечислив все, что необходимо исполнить в связи с его уходом от дел и могущей произойти от этого неурядицы, он закрыл глаза.— Передайте от меня султану то, что хотите, из услышанного, а для меня его упреки оказались столь тяжкой ношей, что руки мои обессилели!..

До сих пор все шло в должном порядке. Никем в государстве не могут быть произнесены слова в осуждение Величайшего Султана. И вместе с тем он должен знать мысли и обиды своего первого раба. Для того и посылаются в таком случае мудрые, знающие тайны правления сановники. Они как бы не слышат порочащих султана слов. В подобающих выражениях расскажут они султану, как проливал слезы раскаяния тот, кто вызвал его неудовольствие. Целовать пыль в том месте, куда падает высочайшая тень,— вот лишь о чем думает виновный. Но вместе с сановниками посылается и личный хаджиб государя. «Сообщишь мне все, а то эти скроют!» — говорится ему в напутствие. И он тайно передает султану все сказанное в действительности: горькое и сладкое. Таким образом, этих слов как бы не говорилось, а султан тем не менее их услышит. Все это имеет свой глубочайший смысл...

Был Абу-л-Ганаим, и была Тюрчанка. И султан на этот раз пожелал вдруг не наедине, как принято, а в присутствии всего дома услышать тайный доклад своего личного хаджиба. Эмир Йильберды вслух произнес все те речи, что говорились накануне. «Видите, не так говорил вазир, как вы рассказываете, а другим образом!» — вскричал султан и тут же послал к нему домой великого туграи с устным уведомлением об отставке.

В этом случае государю надлежит все проделать быстро и тайно, чтобы уходящий от дел сановник не успел припрятать ценности и скрыться в пределы соседствующей державы. Но не просто вазиром был он, а атабеком, «отцом по завещанию» султану Малик-шаху, что равноценно среди тюрок отцу по крови.

---

[1] К е и — полулегендарные иранские цари.

Хоть и перс он по рождению, но имя покойного Алп-Арслана служит ему щитом. Что бы ни случилось, слово его остается первым в государстве после слова султана.

И хоть сердце с того дня, как тугpаи объявил ему султанскую волю, билось неправильно, он продолжал распутывать узел, затянутый врагами веры и государства. Султан не препятствовал в этом ему. Пять недель длились переговоры. Тугpаи и прочие сановники в сопровождении эмира Йильберды каждодневно приезжали в его кушк за южными воротами Мерва, и все было подробно оговорено. Он, Великий Вазир, как бы уйдет от государственных забот, но на самом деле сохранит все права, входящие в его нисбу[1] Низам ал-Мульк. И совершится это правильно и достойно, как испокон веку определено в государстве.

III. ВАЗИР

(Продолжение)

И вот сегодня владыка обоих миров и Отец Победы ас-Султан Му-изз ад-дуниа ва-д-дин Малик-шах ибн Мухамед-Алп-Арслан, доверенный Повелителя Правоверных, да озарит Бог его царствование, в установленном порядке, самолично, а не через других людей, принимал отставку своего Великого Вазира. И даже что происходило это в старой мервской резиденции Сельджуков, а не в новой шумной столице Исфагане, только подтверждало несокрушимую силу правопорядка, ответственность за который он нес уже тридцать лет. Сердце билось ровно.

Знакомая тень мервского кухандиза была на своем месте. Согласно с его нисбой на весь размах открылись окованные медью ворота, закричал положенные слова вестник, трижды прогремели султанские трубы — наи. И в Зале Приемов было все так, как это он установил по примеру великих царствований прошлого: все люди Дома находились здесь и каждый знал положенное ему место. Когда султан принимает отставку лица, имеющего нисбу ал-Мульк, все разнозначные должны находиться при этом, дабы не уронить достоинства уходящего со службы, а вместе с тем и достоинства государства.

Они были здесь: великий мустауфи — Определяющий доходы и расходы царства, великий ариз — казначей и глава войскового совета, тугpаи — Хранитель Султанской печати и великий амид — наместник солнцеприсутственного Хорасана. Кроме

[1] Н и с б а — определенная часть титула.

этих четырех нисбу ал-Мульк имел еще амид Богом покровительствуемого Багдада, но его отсутствие было обосновано.

Глаза султана лишь на миг остановились на нем и тут же метнулись в сторону. Этого нельзя было допускать. Когда предстоит такое государственной важности деяние, Величайшему Султану надлежит быть точным в жестах. Пришлось задержаться у подножья тронного тахта, и глаза Малик-шаха послушно вернулись к нему. Знакомое скрытое раздражение и покорность силе установленного затаились в них. Так было, когда еще в детстве Величайший Султан не желал слезать с коня и садиться за калам[1].

Поцеловав ладонь и коснувшись ею ковра перед троном султана, он прошел на тахт, к своей большой красной подушке. Причастные к дивану, чуть отставая, прошептали Божью формулу вслед за Повелителем Миров. По едва заметному знаку хаджиба Дома возник рядом с троном синий человек — «Голос Величайшего Султана».

...Мы, укрепляющий порядок и веру... Длань Державы... Повелевающий двумя мирами... соизволяем разрешить первому рабу своему отодвинуть от себя повседневные заботы по устройству нашего царства!..

У третьего в ряду дабиров — писцов, сидящих в правильном порядке у стены,— был не по чину цветистый пояс. Если проглядел это дабир дабиров, то не проявил должной внимательности и хаджиб Дома. Впрочем, нарушение невелико, а проступок не предумышленный. Писец тут же осторожным движением прикрыл яркий шелк краем халата. Настоящий дабир вовремя улавливает мысли тех, кто у вершин власти.

Да, это по закону; и после того, что объявил «Голос Величайшего Султана», первым должен говорить сановник, заменяющий уходящего. Абу-л-Ганаим, чья нисба Тадж-ал-Мульк, мустауфи, поет длинными периодами.

...Тот, который уходит от нас, он не уходит... Купол и опора царства, десница порядка... Мы все от тени его, рабы, и слово его для нас остается словом...

Именно этот размер приличествует при отставке, ибо что лучше чередующихся повышений и понижений голоса соответствует принятой в таком случае подлинности чувств! Сейчас необходима неровность речи. Глаза при этом должны быть прикрыты ресницами, чтобы не угадывались в них понятные радость и вожделение.

Теперь говорит Шараф ал-Мульк, кого не желали бы видеть на месте мустауфи, но который займет это место — рядом с подушкой вазира. Каждому в государстве положено стальное кольцо на ногу, и этим кольцом для хосройца Тадж ал-Мулька

[1] К а л а м — перо, само письмо.

будет хорезмиец Шараф ал-Мульк. Точно так же, как последние десять лет кольцом для него самого был этот бледный хосроец с волнистой улыбкой. Оно с помощью Тюрчанки и перетерло ему ногу.

...Тот, чья мудрость ослепляет... Намордник на погрязших в неверии и строптивости, в Багдаде расстеливший ковер правоверной мысли... Угодное богу покровительство нищим, вдовам и сиротам, путешествующим... Скала веры...

Это говорит Маджд ал-Мульк, туграи, и напоминание об этом к месту. Туграи займет подушку хорезмийца в диване, но выше кумийцу Маджд ал-Мульку уже не подняться. У него чрезмерный голос. Этот недостаток еще терпим у ариза или мустауфи, но вазир не может говорить громче султана. И рост его должен соответствовать повелителю...

Каждый из людей дивана в должной очередности говорит свою часть об уходящем от дел. Они свидетельствуют перед Богом и султаном, что неуклонно будут следовать установленному порядку. Да, он, Низам ал-Мульк, уходит от зримого присутствия в делах правления, но он остается, ибо этот порядок — дух и порождение его.

Все они — люди, и греховная сущность их подталкивает впиться сообща в плоть уходящего от власти, но ошейник государства не позволяет уже этого сделать даже Величайшему Султану. Так ли это совершалось тридцать лет назад, когда тонкая шелковая бечевка в подполье этого самого кухандиза разрешила спор аль-Кундури, предыдущего вазира, с буйным Алп-Арсланом? А ведь первым получившим нисбу ал-Мульк был при доме Сельджуков его желчный предшественник. Тогда еще не было установлено правильного порядка вещей...

Они закончили говорить, и сладкоголосый Магриби, поэт Дома, читает в честь уходящего. Далекий кордовский акцент угадывается в его бейтах, но все искупает мавританская восторженность фразы. Вблизи трона вредно постоянное глубокомыслие, и именно за способность самозабвенно укладывать принятые слова в четко обозначенные формы приближен он к вместилищу власти.

С полноводным Мургабом, питающим почву живительной влагой, сравнивает Магриби его деяния. От реки отходят каналы, от них уже текут арыки, и так же мудрость и благочестие достигают каждого дома, каждой пещеры в горах и кибитки в степях. Но где берет начало сам Мургаб? Откуда текут питающие его воды счастья? Они с тех величавых заоблачных вершин, где самим Богом поставлены двенадцатикрылые шатры царствующего дома. Скажет Величайший Султан, и зацветет пустыня...

Слезы выступили на глазах Магриби. Султан собственноручно почерпнул от горы золота на блюде и наполнил им

подставленный поэтом рот. Тощему Магриби не повезло с этим царственным обычаем: его впавшие от желудочной болезни щеки не смогли вместить всю милость султана. Он закашлялся, захрипел. Монеты со звоном просыпались на ковер, а расположение Малик-шаха к поэзии проявляется не часто. Когда-то, еще при великом Тогрул-беке, поэт Амули вместил в свой рот за один раз два полных блюда золотых монет. Но кто знает предопределенное? В другой раз сочиненная им касыда не понравилась султану, и Тогрул-бек в той же мере набил рот одопевца навозом. Обычай этот древний, идущий от первых царей земли Кеев, и государю не зазорно придерживаться его...

Величайший Султан встал и шагнул с подножья трона на тахт. Сразу с двух сторон растворились решетчатые двери. С левой стороны выплыл шитый золотом, отороченный индийскими камнями халат. Четверо крепких гуламов-прислужников несли его, и было видно, что им тяжело. С правой стороны еще четверо несли каждый на вытянутых руках высокий белый тюрбан с голубым бриллиантом посредине, золотой пояс, сшитые в книгу листы румийского пергамента и личный султанский дават для чернил с золотым стержнем-каламом. Еще по четыре гулама с каждой стороны вынесли, расставляя ноги, восемь кожаных мешков с печатями.

Султан принял халат на свои плечи. На голову его надели тюрбан, застегнули на нем пояс. В собственные руки взял султан книгу и дават с каламом. Медленно, вместе с тяжелым халатом на плечах, повернулся султан Малик-шах к нему, своему уходящему от дел вазиру. Качнувшись, выплыл из-за его спины «Голос Величайшего Султана».

...Бог, преславный и всемогущий, удостоил нас владеть этим миром, обратив на нас полноту благодеяний, покорив врагов. Дал он нам радость и успокоение в первом нашем рабе... Уходящий не уходит, ибо наше высочайшее повеление ему поразмыслить о нашем государстве, посмотреть, что есть в наш век такого, что нехорошо и что тем не менее выполняется. Надлежит ему написать и то, что от нас скрыто, какие обязанности и как выполняли государи до нас, а мы не совершаем. Дабы мы поразмыслили и приказали, чтобы все впредь было хорошо...

Да, он давно задумал написать подобную книгу о государстве, и Малик-шах запомнил это, высказав сейчас свое благоволение к его замыслу. Времени ему теперь отпущено столько, сколько отмерено Богом. Если позволит Всевышний, то все будет благо. «Голос Высочайшего Султана» поднялся ввысь, зазвучал под самым куполом.

...За верную непорочную службу нашему отцу Алп-Арслану и нам...

Золотой халат, поддерживаемый гуламами, медленно перед-

винулся с плеч султана на его плечи, и от чрезмерной тяжести заломило в пояснице. Он подумал о том, что так всегда было: Малик-шах, как и грозный Алп-Арслан, каждодневно перекладывал на него тяжкий хомут правления. И теперь он, бывший вазир, выдержит эту сладкую тяжесть, потому что самое важное и поучительное событие в государстве — «Одевание в халат».

Прямо перед собой увидел он широко раскрытые глаза Малик-шаха. Великая радость освобождения читалась в них. Что же, Величайший Султан и в отрочестве всякий раз думал, что навсегда избавляется от учебы...

Только один раз снова неровно забилось сердце. Когда выходил он из Зала Приемов, розовая тень обозначилась в боковом переходе. Нет, не ошибся он: за переплетением айвана ему ясно увиделся напряженный стан похотливой тюрчанки, пожелавшей взглянуть на свое торжество. И маленькая красная туфля открыто выглядывала из-под решетки...

IV. ВАЗИР

(Продолжение)

Он ехал вдоль канала Маджан, потому что «Одевание в халат» завершается проездом через город с трубами. Тень кухандиза безмолвно уплыла за спину, солнце заполнило все небо. Раскаленное золото халата сковывало плоть, и невозможно было пошевелиться в седле, каркас тюрбана давил на уши. Но все делалось как положено.

Сзади на белых лошадях особо везли пергаментную книгу, дават с каламом и восемь одинаковых мешков с золотом, на которых нетронуты были львиные печати султанского казнохранилища — бейт ал-мал. Следом двигался на рысях «Золотой хайль» — первая сотня муфридов личной султанской тысячи во главе с хайль-баши. По команде хаджиба Оповещений через определенные промежутки времени гремели трубы — наи, и народ Мерва склонялся на ближних и дальних улицах, как требовал того государственный порядок.

У главной пятничной мечети затрубили трубы, у родовой усыпальницы Сельджуков возле дома шихне, где находились люди дворцовой стражи, потом у крепости Тахир-кала. Люди мухтасиба на базаре расталкивали торгующих, освобождая дорогу. От главного базарного купола — чорсу — вдоль всего проезда расстилали ковры. Здесь тоже трубили трубы. И еще трубили на базаре менял, где во всякое время был народ. Там, рядом с тюрьмой — зинданом, стояли столбы...

Для исмаилитов[1] были поставлены эти столбы. Всего их было двенадцать, но больше половины пока стояли пустые. По семь лет висели на них совращающие людей проповедники — даи. Один был надет на столб совсем недавно, и одежда на нем еще не прорвалась. У двоих, старца и подростка, несших весной денежный сбор с Хорасана в захваченную врагами веры горную крепость Алухамут, уже оголились кое-где кости. Клочья их истлевших рубах шевелились от ветра. А четвертый, переписывавший трактаты отвернувшегося от Бога факиха Насира Хисроу, был подвешен на столб еще шесть лет назад. Одежды на нем уже не было видно, а одна рука в прошлом году отвалилась. Скоро минет срок, и оставшиеся кости собьют со столба палками...

Тот, которого подвесили на прошлой неделе, был пойман с прямым дейлемским ножом под одеждой в самом доме эмира Бурибарса, не знающего пощады к вероотступникам. Уже не было на лице фидаи глаз, выклеванных птицами, и черный язык вывешивался из разъятого рта. Меж столбами бегали дети, обсыпая друг друга пылью...

Базар был полон. Рябило в глазах от уложенных в конусы дынь, многоцветное сияние источали земные плоды. Сладко пенились чаны с мешалдой, тяжелыми жерновами лежала кунжутная халва, в мясных рядах висели свежеободранные туши. Мухи гудели вокруг сыто, являя довольство. И собаки были ленивы: нехотя поднимáлись они из теплой пыли, отходили в сторону перед людьми с трубами и ложились неподалеку.

Опытный глаз сразу видит это. Когда голод среди людей, собаки убегают из города и возвращаются лишь после того, как все там вымерли. Так было в Тусе некогда, где собаки ели ослабевших от голода людей прямо в домах. На целый квартал — махалля — остался жить один мальчик. Он протянул мальчику хлеб, и тот подавился, силясь затолкать в себя сразу весь кусок...

До самых ворот по каналу лежат теперь товары в чорсу и открытых лавках. И за стенами города, в рабадах, продолжается базар. А тогда, когда он сделался вазиром, десяток голодных людей теснился у столбов, выменивая что-то из полы в полу...

Затрубили навстречу трубы стражи Северных Ворот. Сразу за ними был рабад людей Писания — иудеев и христиан. Тут, среди них, и кончался канал Маджан, потому что не должны неверные жить по воде выше правоверных.

Масерджесан — Дом имама Сергия, куда ходят молиться христиане всех земель Величайшего Султана,— стоял, до крыши увитый плющом. Из Сада митрополитов вывели под руки слепого

---

[1] Исмаилиты — одна из сект ислама. Наиболее радикальная ветвь ее в средние века — батиниты.

старца католикоса. С рук его передали хаджибу Оповещений плоский христианский хлеб без соли, почитающийся среди них наивысшим даром. Четыре века назад здешний митрополит выловил в канале тело бежавшего от правоверного войска Ездигерда Третьего — последнего из персидских царей — Кеев от корня Сасана. Его предали земле по обычаю христиан и с положенными почестями...

По другую сторону канала, что растекается отсюда на многие арыки, такой же плоский и сухой хлеб вынес ему экзиларх иудеев. К хлебу была приложена здравица на узкой кожаной ленте. Во взгляде иудея был, как всегда, подвох. Что бы это могло быть? Он скосил глаза и нахмурился: здравица была написана по древней формуле — в честь старых царей Эраншахра. Нынешние тюркские султаны из дома Сельджука тоже, правда, числятся Кеями, но по туранскому дому Афрасиаба. Вечно какая-нибудь хитрая двусмысленность у иудеев...

Однако одеты все были, как установлено для них: христиане подпоясаны веревочными поясами, а на груди у иудеев нашиты желтые заплаты. Так всегда можно отличить правоверного от не приявших свет учения Пророка, а тех, в свою очередь, от огнепоклонников-гябров и шаманствующих, коих надлежит вовсе изгонять из селений. В государстве все должны быть благополучны и на своих местах. Экзиларху же следует сделать внушение по поводу царской формулы...

Вдоль внешней стены Султан-Калы — нового Мерва — ехал он в обратную сторону, не снимая тяжкого халата. Сквозь плотный атлас подкладки золото обжигало тело, особенно выставленные колени. Тут, прямо от стены, начинались сады. Белый, хорасанский урюк давно уже созрел, и плоские глиняные крыши домов и пристроек сплошь были устланы сочащимися на солнце плодами. Сладкий удушливый запах источали они, от которого кружилась голова. А был здесь когда-то пустырь, и промоины солончаков слепили глаза...

Слева потянулись, закрывая весь восток, громадные валы Гяур-Калы, брошенного города древних Кеев. Там сейчас обитают огнепоклонники, да еще жители рабада при Шахристанских воротах высевают на ближних склонах дыни. Дальше они боятся ходить, потому что там, на насыпанном холме, была, как говорят, «Крепость Дивов»...

С обеих башен при Шахристанских воротах затрубили наи. Полдороги еще оставалось до Ворот Знаменосца, у которых был его загородный кушк. Муфриды рысили сзади, и горячая пыль из-под копыт их лошадей подбивалась снизу, достигая бороды...

Когда ехал он так, на виду у мира, или сидел на высочайшем тахте несколько ниже султана, то всегда вспоминал полные мудрости касыды мастеров прошлого. Уйдя в игру слов, разбирая тончайшие переплетения мысли, можно забыть о неудобном

постоянстве позы. Нельзя сановнику вертеться на торжественном сиденье на людях подобно оборванцу каландару, заедаемому вшами. И теперь, чтобы не пошевелиться в седле, он тоже углубился в стих несравненного по пониманию вещей Бу Ханифы из Газны. В будущей книге о государстве надо будет привести его; и там эти слова более всего к месту:

«Государство есть нечто дикое,
и знаю посему,
Что от человека оно не зависит.
Только кнутом справедливости
можно укротить этого зверя...»[1]

V. ВАЗИР

(Продолжение)

Небо заключалось в прямоугольник хауза. Маленькая белая тучка плыла к красной бороде. Дед сидел прямо, в потертом халате дабира времен еще Саманова дома[2]. Все в мире было вверх ногами. Внук поднял глаза от воды и увидел подлинного деда в таком же халате и тяжелых, обшитых бычьей кожей галошах. В руке у деда была длинная палка из сухой айвы. Его сажали на тахт под дерево посредине хауза, чтобы присматривал за рабами в саду. И рабы, кого оставляли здесь для домашних дел, тоже были старые, больные или увечные. Сточенными кетменями подравнивали они насыпь вокруг хауза и окапывали ближние деревья. Время от времени дед выбрасывал над водой руку, и палка со стуком ударялась о нерадивого.

Перед этим дед незаметно примеривался своим зорким взглядом. Если палки не хватало, чтобы достать провинившегося, он снимал с ноги галошу...

— Мана́!

Галоша попадала точно. Раб пугался от неожиданности, вопил и охал, жаловался Богу, но дед ничего не слышал и по-прежнему смотрел перед собой. По доске, переброшенной с берега, виновный приносил галошу обратно, и дед надевал ее на желтую худую ногу. Он был настоящий дабир, его дед...

Внук посмотрел вниз и изумленно открыл рот. Мальчик с круглой бритой головой в хаузе тоже открыл рот. Оставленный на счастье клок волос был у него такой же. И одного зуба посредине не хватало у мальчика, как у него самого. Он захотел пощупать провал у себя во рту, и тот, в хаузе, повторил его движение.

---

[1] А б у - л - Ф а з л Б а й х а к и. История Масуда. М., 1969, с. 771

[2] С а м а н и д ы — средневековая династия.

Начиная понимать, в чем дело, он протянул руку к воде и встретился с рукой мальчика. Потом он захотел пошевелить ушами. Сначала это не получалось, и тот в воде лишь морщил лоб и топырил глаза. Но вот он уловил необходимую напряженность головы, и уши шевельнулись. Он попробовал еще и еще раз, убеждаясь в своей победе над невозможным.

Огромное счастье переполнило его душу. Радостно засмеявшись, он поднял глаза к теплому небу и зажмурился. Потом наклонился, весь уходя в яркую солнечную воду, и уже уверенно двинул ушами...

Мана!

Перекувыркнувшись через спину, он упал с насыпи, сбитый галошей, громко плача и зажимая ссадину на щеке...

Медленно отвел он руку от щеки, где был неясный рубец. В день ухода от дел правления произошло удивительное. Возвратившись после «Одевания в халат», он заснул в кушке за своим рабочим столом. Такого еще никогда не случалось...

Прямоугольник румийского пергамента был перед ним, золотой куб чернильницы — давата — стоял на своем месте, посредине, пальцы сжимали калам. Обе руки — деловая и свободная от пера — лежали на кромке стола. Это была давняя привычка дабира, «поза готовности». Когда пятьдесят лет назад, завершив переписку годового отчета по земельному налогу — хараджу — с райятов округа Тус, он положил калам, чтобы размять руку, раис канцелярии, человек спокойный и выдержанный, больно ударил его линейкой по праздным пальцам. Озабоченность должна быть во всем виде дабира, даже если нет работы, ибо иначе у приходящих в канцелярию людей потеряется уважение к серьезности государственного дела. К тому же так, правильно сидя, находит человек ровную колею, не собьется с нее на обочину колесо мысли...

Сон ли это был?.. Он снова потрогал шрам на щеке. Подобное происходило некогда в его жизни. Но почему вдруг повторилось сейчас, когда ушел он от власти и взялся писать книгу о государстве?..

Он сам добавил из стеклянного сосуда в давat коричневые исфаганские чернила, ни капли не пролив на одноцветную кошму, которой был устлан пол. Все так же не двигалась листва в прямоугольнике окна, и не было в саду цветов, чтобы не рассеивались мысли.

Завтра начнет он книгу и будет писать по главе в день — пятьдесят дней. И завершит ее к сроку, когда начинается пост, чтобы передать Величайшему Султану в день отъезда на поклонение в Багдад. Сегодня же прикажет он собрать к нему сюда все книги о правлении прошлого, чтобы черпать из них.

А время он разделит так: от молитвы солнечного восхода — салят ас-субх до полуденной молитвы будет размышлять, выделяя основу. Затем славящийся своим почерком Магриби станет каждодневно записывать диктуемое и украшать примерами. Властители лучше воспринимают мудрость в цветистых ножнах. Он же никогда не владел искусством словесного узора, и пусть Магриби совершит за него это легкомысленное дело.

От полудня до молитвы заката — салят аль-магриб будет, как обычно, время докладов от амидов[1] и войска. Но донесения агентов-мушерифов следует выслушивать только в ночное время. Вчера в канале Хурмузфар нашли утонувшего человека, который вышел накануне из ворот его кушка.

Кроме всего, нужно ускорить сооружение особой машины — диваркана — для разрушения крепостей. Алухамут, захваченный врагами веры, находится на высокой горе и неприступен для простых таранов. Но не только в этом дело. Пусть построена будет еще небывалая во все времена машина как знак величия сей державы. Один вид ее станет вселять трепет в людей, когда повезут ее через площадь Йездан, и рассказывать будут о ней в других странах. Мушерифы, которые у войска, будут тайно смотреть и докладывать обо всем.

И еще одно важное дело надлежит завершить до отъезда в Багдад. Много лет составляются единые таблицы неба, но до сих пор в Кермане отсчет и названия месяцев другие, чем в Исфагане, а в Киликии — третьи. Правоверные в большей части считают время от хиджры — исхода из Мекки, ныне 485 год по этому исчислению. Часть правоверных, а также иудеи и христиане ведут счет от сотворения мира. Есть и такие, которые считают годы подобно румийцам, от рождения пророка Исы, и 1092 год у них. Это вредит порядку дел в мире. От самого Бога неразрывность времени и государства, и потому следует учредить единое время, считая эры сообразно с династиями, а отсчет ведя от начала царствования каждого из султанов.

Он приподнял старый костяной калам с золотыми нитями и трижды постучал им по столу. Это был знак гуламу-прислужнику, разрешающий впустить составителя звездных таблиц имама Омара. Уже неделю этот беспутный имам не являлся к нему, и пришлось посылать за ним людей мухтасиба. Опять в Гяуркале, среди пьяных гябров, отыскали его. Двадцать лет служит при нем этот имам, но всякий раз при его появлении ощущается непонятная тревога...

---

[1] Амиды — далее амили, аризы, казии, мухтасибы — чиновники различных служб и ведомств средневекового государства.

VI. СУД ИМАМА ОМАРА

Трижды простучала кость о дерево стола. Каждому человеку соответствует определенный звук в мире. Двадцать лет назад услышал он этот отчетливый стук, и агай занял свое место во вселенском хоре...

Агай — так туркмены зовут между собой великого вазира. Он переступает порог и видит все того же старика с серыми выпуклыми глазами. Калам в сухой руке и золотой куб чернильницы на столе. Время не имеет здесь власти. Рано или поздно умрет этот старик, но останется в мире стук его калама о стол. А может быть, стук этот вечен и был до рождения вазира?.

Вина его очевидна, ибо неделю назад обязался он принести вазиру очередную часть звездных таблиц. Среди вернувшихся наконец из Исфагана гябров нашли его утром стражники мухтасиба. Агай никогда не выговаривает за провинности, ибо убежден в Божьем предопределении каждого человека. Впрочем, коль посчитал бы старик, что место надзирающего за звездами имама на базарном столбе, то отвел бы и это на Божий счет

Главное — удержать дыхание рядом с агаем. Сухая винная горечь во рту не соответствует государственной важности выравнивания времен. Агай готов терпеть неудобства общения с ним, пока не почует запаха. Это уже доказательство, выходящее за прямой угол мышления. Внутри разрешается все, но грани священны.

Выдохнув по возможности из себя все греховное в сторону, расстилает он на столе таблицы Божьего неба. В клетку месяца урдбихишт смотрит агай. «Месяц назвали урдбихишт, а слово означает, что в этом месяце мир своим весельем похож на рай; «урд» же на древнем языке пехлеви означает «подобный». Солнце в этом месяце, согласно истинному обороту, находится в созвездии Теленка. Этот месяц и являет собой середину весны». Губы шевелятся у великого вазира, но слов не слышно.

И явственно раздается стук кости о дерево. Каждый раз три коротких удара с перерывами. Не только особые звуки присущи людям. Всякий живущий имеет также свой геометрический знак. Это не квадрат и не треугольник. Лишь неживые кристаллы в природе образуют углы. Божье искусство не знает резкости. Взгляни на самое естественное в природе: на лошадь, на женщину...

Кто-то смотрит из сада в окно. Это ученик садовника — шагирд[1], окапывающий кусты по ту сторону арыка. В руке у него кетмень, и отсвет сточенного железа пробегает в полутемной

---

[1] Шагирд — ученик

комнате. Ребенком когда-то подобрал его агай среди умерших от голода людей в Тусе. Вечная благодарность за это в глазах шагирда...

VII. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

— Что дороже неба?..

— Тайна!

Тихий голос падал на каменный пол, четыре стены ограничивали его, и невидимый потолок не давал укатиться в бездну ночи. Слышалось, как вся каменная скала, вершину которой составлял «Дом Тайны», повторяла ответ. В глубины земли уходил он, отдаваясь в зияющих пропастях, и молчали вокруг, свидетельствуя, ледяные горы...

Ничего не значилось в его жизни. Был хлеб в начале ее, протянутый неким человеком, и сразу потом скала, на которую пришел он в преддверии истины. Меж ними громоздились клумбы с цветами, которые учился он растить в султанском саду. Их дурманящий запах из года в год становился все резче, и невозможно вдруг стало переносить его. Тело и мозг горели в непрерывном напряжении, и руки искали железо. Хотелось биться головой о землю, раздвинуть, вспороть ее, излиться в теплую мягкую сущность. И умереть потом в ослепительном радостном свете познанной тайны...

— Что дороже хлеба, который ешь?..

— Тайна!

Семь шагов первой ступени к богу, путь фидаи — «Отдающего только жизнь», прошел он до того, как случилось непостижимое... Грудь женщины холодила плечо. Руки у нее были запрокинуты, и постыдно золотились волосы в набухших ямках...

— Что дороже воды, которую пьешь?..

— Тайна!

Было ли это с ним на самом деле?.. Когда очнулся он после ночного видения на тех же плитах, то долго не понимал окружающего. Только есть он безмерно хотел. И ел день и ночь не переставая. А потом прошел еще семь шагов второй ступени к богу, путь ласика — «Причастного к Тайне»...

Все содрогалось в нем ночами от жажды повторения, и он прижимался к войлочной подстилке, ощущая под ней камень. Налившиеся белым гноем бугры проступали на лбу, подбородке, у обоих глаз. Он давил, срывал их ногтями, раздирая лицо до крови...

Захир — «учение для всех» — пришло сегодня к концу... Ни одно преступление на земле не проходит бесследно. Когда был убит хезрет Али — десница Пророка и умерщвлены его сыновья, ложью проникся мир. Халифы-самозванцы в Багдаде травили семя хезрета одного за другим, пока седьмому из них не пришлось уйти в эти подоблачные горы. Скрыты стали в мире его прямые потомки — великие имамы, и лишь избранные среди людей посвящены в тайну Сокровенного — «батин». Они только знают имя того, кто скоро объявится. Со дня на день ждут его появления измученные несправедливостью люди...

Главное зло — в принуждении. Убив Али и сына его Хусейна, развязали мешок с неправдой люди. Не по Божьему счету, а силой стали принуждать они друг друга. С самого верху идет это зло. Войско для расправы держат султан с вазиром, специальные мухтасибы со стражей разъезжают по улицам. И не может человек жить, как он хочет.

Но сокрушена будет твердыня насилия. Не станет богатый отбирать у бедного. По всей земле будет так, как в некоем царстве воинов-карматов в далекой пустыне. Там все поделено между людьми, и все общее. Было некогда так и в стране персов. Но дьявол обуял персидских царей, и не захотели они правды на земле. Ногами вверх закопали они правдивых. А потом явились тюрки и довершили строительство царства лжи...

— Что дороже огня, от которого свет?..

— Тайна!

Подобный трупу в руках обмывальщика был он в руках наставника даи, готовясь в рафики — «Единомыслящие». Это третья ступень к познанию, и приподнимается перед ним завеса Сокровенного. Дважды уже клялся он: как фидаи и как ласик. И по семь раз испытывался: горячим, холодным, острым, тупым, горьким, соленым, громким. Знаков не должно оставаться на теле после этого. По следам от посвящения узнают братьев веры — батинитов, а на базарах для них стоят столбы. Брызжущий ядом див наставил их, а имя его якобы «Устроение царства». Но если заменить каждую букву этой нисбы сокровенной цифрой, получится число 666, означающее дьявола.

Хлеб и дьявол смешались в этом мире, потому что дьявол протянул ему некогда спасительный кусок. Много раз, окапывая клумбы в саду, видел он его, прямого и строгого...

Лоб к холодному камню прикладывал он, но женщина не уходила. Руки все не опускались у нее, а у него потекли слезы. И капали ей на грудь, пока она лежала под ним...

— Что дороже воздуха, который вдыхаешь?..

— Тайна!

Откуда взялась женщина?.. Семеро их, посвященных в фидаи, сидели в тени айвана. Пропасти были вокруг, и лишь белые зубья Дамевенда, куда в древние времена приковали дьявола, находились выше. Прямоугольные башни «Дома Тайны» не имели окон. Одни остались они, потому что наставник-даи ушел за водой.

Онять заговорил большегубый фидаи. Он задышал сильнее и сказал, что слышал этой ночью ее смеющуюся. Прыщи кровоточили на лице у него...

Никто из них не знал женщин, поскольку непригодны такие для посвящения в фидаи. Только девственники могут начать познавать учение. Позволяется это с женщиной лишь в третьей ступени — рафикам, да и то с соблюдением такийи — скрытого проклятия тому, что говоришь или делаешь...

С гладкими стенами была скала, и венчал ее «Дом Тайны». Ниоткуда не было туда входа. Кто-то сказал, что приснилась большегубому фидаи женщина, как снится каждому из них.

Даи принес бронзовый таз с водой, разлил им в глиняные чашки. Желтый шарик выпал из пальцев наставника. Чтобы сосредоточиться, все они закрывали глаза. Вода показалась необычной. Он вдруг увидел круглое солнце в чашке. Оно росло, выплескиваясь наружу. И сразу загорелись камни под ногами. Другие фидаи смотрели на него с удивлением.

Он все слышал и понимал. Но собственные ладони уже слепили его. Загорелось, засияло, запело в мире. Грудь ширилась, тело стало легким, подобным дыму. Он развел руки, чтобы лететь.

— Уйдите... Тайна другой, высшей жизни открывается ему!

Это был голос наставника — последнее, что услышал он в этом мире. В то же мгновение очнулся он в другом месте. Одежды не было на нем, а рядом лежала женщина...

— Что дороже отца и рода твоего?..

— Тайна!

Он уже различает их. Семь высших даи — «владык учения» — стоят в полутьме со скрытыми лицами. Каждый по очереди спрашивает его. На белой ткани — только прорези для глаз. Нет нигде прохода, через который могли бы они войти. Но зачем им дверь...

В их власти тайна иного мира. Там лежит женщина, послушно запрокинув голову... Она спокойно смотрела на него, ожидая. Он боялся увидеть ее наготу, неудобно было локтям. Все открывалось само, и в тот же миг некий дух вселился в его тело. Еще и еще раз сотрясалось оно само. Слезы облегчения потекли из глаз...

И тогда стал ощутим от женщины запах плоти. Но он уже приник головой к ее груди и почувствовал вдруг ее теплую, успокаивающую ладонь. Что-то давнее, забытое явилось ему... Всякий раз вставала она после этого и снова ложилась. Стыдясь запаха, переставал он дышать...

Лилась вода из фонтана, и танцевали в меняющемся свете девушки, по очереди протягивая к нему обнаженные руки-тени. Босыми ногами наступали они на цветы, которыми был осыпан пол. Среди них была и та, что лежала рядом. Он быстро повернул к ней голову, проверяя. Да, она лежала с ним и одновременно танцевала среди тех, у фонтана. Даже пятнышко у левого глаза было здесь и там. Увидев удивление в его взгляде, она протянула ему чашку. Он послушно пил, не отводя от нее глаз...

Когда вернулся он в этот мир, там опять было солнце и молча сидели фидаи. Наставник дал ему напиться воды. Она была обычной: холодной и не имеющей вкуса.

Об этом не говорили. Только Большегубый шепнул, что вчера его оставили здесь спящим, а сегодня нашли в том же положении и на том же месте.

— Что дороже матери и рода твоего?

— Тайна!

Кто же из этих семи великий сайид-на[1], бросивший в пропасть собственного сына за измену учению? Белые конусы на головах одинаковы у всех, и только голоса разные. Каждый голос следует запомнить.

Семь пар рук ложатся на его голову. Он — рафик, и нет теперь у него имени. Любое из имен может он принять на себя в мире. Малое кольцо надевают ему на палец. Оно такое же, какие носят обычно люди из дабиров, купцов или караванщиков. Лишь чуть заметный знак выбит на внутренней стороне, и если повернуть его особым образом, то где бы ни был рафик, ему беспрекословно подчиняются все фидаи и ласики, находящиеся в том месте. Убежище и пищу найдет он по этому знаку в городах и селениях, в горах и пустынях, на дорогах земли...

— Вот твой даи!

Из стены появляется еще одна тень. Сползает белая ткань с лица. Где-то встречал он уже этот спокойный внимательный взгляд. И высокий лоб с морщиной поперек знаком ему. Да это же устад, мастер цветов, приезжавший в Исфаган прошлой осенью. Он долго жил при базаре и ходил всякий раз за рассадой к хаджибу султанских садов...

Но устад уже набросил на лицо мешок и отступил в стену.

[1] Сайид-на — наш сайид, высшая форма уважения

Для рафика этого времени должно быть достаточно, чтобы запомнить человека. Отныне он совершит все, что передаст ему от семи владык учения этот даи — распорядитель его души. И не будет для него невозможного.

— Пусть увидит Предопределенное!

Чашу с водой ставят перед ним. Снова он различает желтый шарик, упавший из пальцев даи-прислужника. Вода, как и в тот раз, имеет вкус. Он закрывает глаза и жадно пьет эту сладковатую воду. В мучительном ожидании напрягается тело...

Ничего не происходит, и только телесное оставляет его. Все понимает и видит он остро, как никогда. Раздвигаются каменные стены, куда-то деваются пол и потолок. Невероятная легкость во всем, и холодно закипает мозг. Один он на вершине и видит сразу весь мир, все города и селения, улицы и базары, всех встреченных в жизни людей. Но кого-то из них он обязательно должен найти, и тогда придет облегчение. Прямой дейлемский нож дают ему в руку.

— «Устроение царства»...

Это тихо произносит уже знакомый голос, и он сразу видит того, которого искал. В прямоугольной комнате за невысоким столиком сидит узколицый старик в строгой одежде дабира. Перед ним лист пергамента, золотая чернильница-дават и витой калам у него в руке. Лицо сосредоточено, и нет в нем сомнения. Он знает этого старика...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ВАЗИР

Во имя Бога милостивого и милосердного!.. О делах людей и времен. Всевышний в каждую эпоху избирает одного из людей, прославляет и украшает его достоинствами правителя. Он связывает с ним благо вселенной и спокойную жизнь людей; от него же зависят разруха, смуты, восстания, страх и трепет распространяет он пред сердцами и очами для блага же людей — дабы были они спокойны... Если же среди них проявится мятежность, небрежение к закону или инакомыслие в отношении повиновения Всевышнему, и тот захочет дать им вкусить возмездие за эти их деяния — да не даст Бог, преславный и всемогущий, нам такого удела, да удалит от нас этакое несчастье! — то таким людям Всевышний и пошлет злосчастные последствия мятежа: друг на друга обнажатся мечи, прольется кровь; тот, у кого сильнее длань, будет делать что захочет, так что все люди погибнут в

этих несчастьях и кровопролитиях, подобно тому как огонь, падая в заросли тростника, сжигает начисто не только то, что сухо, но и то из сырого, что соседствует с сухим...

Ныне, слава богу, в это благословенное время нет никого в мире, кто замышлял бы смуту или чья бы голова высовывалась из ошейника послушания. Да хранит постоянно Всевышний эту державу до дня восстания из мертвых! Да удалится от этого государства дурной глаз!..[1]

Тот, кто лишен государственного разумения, записал бы иное: что беспокойно время, и всякий эмир норовит оборвать свою цепь. А в Рее и под самым Исфаганом бесчинствуют исмаилиты. Еще две крепости в Дейлеме присвоили они, запугав владетелей, а какой-то ничтожный дабир, которого пригрел он некогда на султанской службе, отрекся от веры, назвал себя «сайид-на» — великим святым и задумал разрушить то, что созидалось веками.

И еще о Тюрчанке было бы написано...

Из дома царствующих Сельджуков другая, старшая жена Величайшего Султана, и законный султан в будущем — ее сын-первенец Баркиярук. Но не о том думает новый вазир Абу-л-Ганаим в сговоре с младшей женой султана. Эмиры войска хотят того же... Многое можно было бы написать.

Однако недопустимо, тем более в письменной форме, говорить о чем-либо плохом в государстве. Подобна обвалу в горах людская молва, стоит лишь стронуть один камень. А коль твердить каждодневно, что все хорошо, то и будет хорошо. Такова человеческая природа, и люди сами не любят тех, кто многоумствует. Тех же, кто назойливо замечает упущения власти и упорствует, следует наказывать как самых первых врагов веры и государства. Так поступали все великие властители прошлого.

На их примере и следует изложить предопределенный Богом закон об избранности правителя в каждую эпоху. Избранность же означает ответственность перед Божьим промыслом. Коль слабеет воля и рвение правителя, начинает давать он потачку мудрствующим и рассуждающим, то слабеет держава и открывается путь к произволу и мятежу. Но нет предела милосердию Всевышнего, и всемогущий Бог, чтобы спасти род людской от искоренения, намечает, выделяет из безвестности

---

[1] Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька. (Перевод Б. Н. Заходера.) М.— Л., 1949, с. 11—13. Сокращенный текст литературного памятника будет и в последующих главах выделяться курсивом.

и приводит к власти новую династию, которая опять обуздывает многоумных и укрепляет государство. А оно дано людям на все времена, вечно и неизменно, потому что от Бога.

Достойным примером мудрости в устройстве государства является страна фангфуров — Сыновей Неба, которые правят в Китае. У них перенимали способы управления людьми многие правители древности — цари и фараоны. «Ден-намак» — книга арийских царей о принуждении народа к порядку — вершина этой мудрости.

Нельзя начинать также книгу с примера, который близок по времени. Поначалу следует привести краткие свидетельства из древних книг. Арийский дом Ахеменидов благословил Бог способностью устроить первое государство. Победоносный грек Искандер пришел в свое время и сокрушил его. И разве не взвился огонь его владычества до того, что язык пламени лизнул тучи? Но горел он недолго, а затем сделался пеплом. И пишут знающие люди, что, захватывая царства и бродя по благоустроенным областям мира, он вел себя, словно пришел полюбоваться ими. Когда пожелал Искандер, побежденные цари склонились и дали клятву в верности, на чем и завершилось дело. Основа же всякой подлинной верности — государство. Какая польза без закрепления завоеванного кружить по свету? Словом, как всякий западный человек, он полагался на силу воображаемого. И был потому Искандер Двурогий наподобие громыхающей тучи в теплую погоду года, ибо пронесся над многими царствами, излил дождь, а лужи тут же высохли...

После учиненного им разгрома и последующего дробления мира цари парфянского дома Арсака стали поднимать из пепла державу. Но оставленное греками легкомыслие подкосило тростник благих помыслов, а тогда был избран Богом и поднялся во всей своей славе безвестный дотоле дом Сасана. Царствовавшие мужи из этого дома были с крепкой дланью, и четыре века словно солнце сиял Эраншахр[1], испуская во все стороны лучи законности и порядка. Книги о правлении, оставшиеся от них,— чистый и животворный колодец государственной мудрости...

Все в руках Бога и среди арабов наметил он своего Посланника. Не ведали до тех пор арабы должного устройства державы, но правы оказались в вере. С помощью справедливого Бога повергли они дом Сасанидов, ослабленный злокозненными маздакитами[2], которые и есть теперь исмаилиты или батиниты, как зовут их в народе. Но государство это благо, и богостав-

[1] Эраншахр — Арийское государство.

[2] Маздакиты — последователи руководителя народного движения в Иране мага Маздака (

ленные халифы в Багдаде все исполняли до мелочей, как принято было при сасанидских царях и вазирах.

Потом пришло время, и с благословения халифа правители из персидского дома Самана приняли на себя ответственность за державу. Когда же по желанию бога зашатался и рухнул дом Самана, то уж прямо из простых тюркских рабов-гуламов назначена была Всевышним династия. И хоть таков в действительности был род Махмуда из Газны, крепче иных высокородных натянул он поводья и не жалел лошадей в погоне за порядком и праведностью. Величайшим Султаном обоих миров впервые был назван Махмуд Газневи. Будучи тюрком по рождению, он тем не менее во всем следовал наставлениям древних мужей Эраншахра, так что государство засияло при нем, как в лучшие времена. Сельджуки, которые правят ныне, тоже тюрки, и не имеет это значения, коль утвердил их Бог. Важен порядок в мире, и безразлично при этом происхождение властителя. Для государства даже лучше, если правит пришлая династия. Тут-то, при приближении к нашему времени, и следует расколоть орех поучения.

Книги, что принесли ему из разных хранилищ Мерва, помогут в работе. Свернутые плотными свитками и в переплетах с бронзовыми застежками, стоят они на особой подставке у стены, радуя глаз. Нет здесь пустых сказок о битвах с дивами или о птице Симург, а одни лишь творения ума мужей древности, содержащие тайны управления государством. Ничего не предстоит ему выдумать, ибо все они здесь.

Одной главной книги лишь не могут пока найти — той, что увидел он как-то возле Тюрчанки. Вся мудрость Эраншахра в той книге с черным переплетом и бронзовыми львами на захватах. «Ден-намак» ей название...

Он быстро повернул голову. Ему показалось, что кто-то пристально смотрит на него. Деревья за окном стояли прямо, и листва оставалась неподвижной. Откуда в нем опять эта встревоженность?

Вчера, когда сел он за книгу, привиделся ему вдруг старый хауз в Тусе. Может быть, правы суфии, и ушедшее остается в человеке? Что еще может тогда увидеться ему в колодце времени?

Началось это, когда ушел он от дел. Неправильно забилось сердце, и всякая вещь стала казаться потерявшей одну присущую ей форму. В нереальный мир хочет увести его дьявол, туда, где

все неясно и призрачно. Но пока перед ним эта чернильница, он твердо знает свое предназначение. Все остальное — мираж, и не утолить путнику жажды из воображаемого моря!..

Так в чем же поучение? Когда Всевышний видит, что правитель ослабил бдительность, а народ приходит в неповиновение, он всегда наказывает эту державу недородом, войной и мятежом, посылая предварительно знамение в солнце, луне или погоде. Разве не служит примером этому царствование Масуда — беспутного сына знаменосца веры Махмуда Газневи?

При попустительстве вазира этот наследник с детства был пристрастен к вину, а вместо корана не выпускал из рук книгу «Алфийу-Шалфийу», где в голом виде представлены разнообразные встречи мужчин с женщинами. Велел Масуд разрисовать этим блудом все стены дома для летнего отдыха и уходил туда почивать, призывая к себе музыкантов и актеров — мутрибов, мужчин и женщин. И хоть докладывали тайно отцу-султану об этом деле, но укрывательство вазира оказалось сильней.

И став султаном, продолжал Масуд такую жизнь. Но даже не в этом его вина, а в том, что ослабил он державные вожжи. Подстегнутые безнаказанностью сановники набросились на правоверных и стали дважды и трижды стричь к зиме уже стриженных овец. Райяты отчаялись в державе, и их легко начали сбивать с пути злоумышленные даи из исмаилитов, которые всегда там, где горячо. Бог послал в тот год знамение в виде пересохшей земли, которая сама горела, а затем объявились Сельджуки. Но не собственной волей, а Всевышний их призвал в нужное место и к нужному времени.

Он хорошо помнит, как совершилось это, потому что заканчивал тогда учение в Нишапуре. Люди страшились неведомого, но схватились за колени от смеха, когда увидели посла от дома Сельджуков. Дыры в целую пядь светились в ватном халате у Мухамеда Йинала, и руки его были черны и неухоженны. Не знали еще они этого ужасного эмира, но когда переводили взгляд на висящий у его пояса клыч без ножен, смех сбегал у них с губ. За три перехода сзади двигался со своими сюбаши будущий государь Тогрул-бек, а Чагры-бек, дед ныне царствующего султана, был уже в Мерве.

Коврами устилали в Нишапуре сад Шадьях, и всех павлинов собирали туда для услаждения взора этих невиданных воителей. Говорили, что вместе со шкурой обдирают они райятов в селениях, а женщин волокут на арканах. Сутулый, громадный То-

грул-бек въехал в сад верхом вместе со своими коноводами, разнуздал и пустил пастись лошадей на вековые газоны. Когда же лучшие люди города пришли поздравить его с благополучным прибытием, он говорил и смеялся со всеми, как безродный гулам. И хоть сидел уже на захваченном у Масуда султанском троне слоновой кости и хутбу прочитали на его имя рядом с именем Бога, три простых стрелы заткнуты были за его пояс, а почерневший от пота лук переброшен через руку.

Однако не случайно указал Бог пальцем на Сельджуков. И как только верховный кази Сайид пришел со своими близкими и учениками отдать должное, Тогрул-бек сошел с резного трона и самолично положил шелковую подушку для святого человека. И кази Сайид не потерял достоинства, ибо говорил от лица непреходящего государства. «Да будет долгой жизнь победоносного вождя! — сказал он.— Этот престол султана Масуда, на котором ты восседаешь; в божественном промысле подобное бывает, и нельзя знать, что еще станется. Будь благоразумен и бойся Бога,— да славится поминание его,— твори положенное правосудие, ибо беззаконие предрекает беду. Я этим приходом своим воздал тебе должное и больше не приду, потому что предаюсь изучению богословия и ничем другим не занимаюсь. У жителей этой местности оружие — молитва на рассвете. Ежели ты обратишься к разуму, то наставление, кое я дал, достаточно». А Тогрул-бек ответил: «Я согласен поступать так, как ты сказал. Мы люди новые и чужие, пусть кази не откажется подавать нам советы».

А что бы произошло, если бы удачливый туранец отринул дикарским способом наставления мудрого кази и вместо обживания предназначенного ему места во главе державы пустил пастись коней по всему Хорасану? Трава быстро оказалась бы съеденной, деревья срублены, а райяты разбежались бы по окрестным горам, так что не с кого стало бы собирать харадж. Ушли бы внуки Сельджука, в небытие, как уходили другие такие до них.

Но Тогрул-бек был намечен Богом и потому не сделал этого. В первый же день взял он себе вазира из Хорасана. И с тех пор только отсюда брали вазиров султаны из дома Сельджуков, ибо от века полны государственной мудростью недра Эраншахра.

Один Мухамед Йинал не сдержался в Нишапуре. Испробовав вина из масудовых запасов, кочевник заиграл в пятничной мечети на своей дикой дудке, коей управляют овцами. Павлиний крик мешал ему, и он самолично отрубил всем птицам головы. Безглавые павлины, разбрызгивая кровь, летели из сада Шадъях во все стороны. Полвека назад было это...

Он закрыл глаза, и как наяву увиделась ему большая нишапурская дорога. Слепое солнце в крови летело, ударяясь о деревья и шумно хлопая крыльями. Разные цвета имела в оперении редкая птица, и от света в небе перья вспыхивали все сразу, являя непереносимое сияние...

Нет, такие вещи мешают трезвому взгляду на происходящее в мире. В них лишь правда чувства увидевшего их человека. От невоздержанности воображения зависит она. Может ли такая малая, ничтожная правда сравниться с правдой божьей, приведшей эмира Мухамеда Йинала в Нишапур!..

Яркость и многочисленность красок уводит в сторону от подлинного существа мира. Плоть человека греховна и породить может лишь вздорные волнения. От Бога, который един, государство, и устроение его не терпит многообразия. Только внешнюю форму допустимо менять, как изменяется у людей одежда в каждую эпоху. Это и следует поставить во главе угла.

Он постучал трижды каламом о стол. Неслышно возникший Магриби изготовился в стороне со своими принадлежностями на коленях. Четок был прямоугольник стола, и правильно все было на столе. Золотой куб чернильницы незыблемо стоял, утверждая порядок в мыслях. «Во имя Бога милостивого и милосердного!»

Он уже поднял палец правой руки, давая знак к началу, как вдруг загремело в мире. Сотряслось все до основания, закачались в разные стороны деревья в саду, бешено закружилась листва...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Рванулся неистово пергамент из-под руки, исказились углы, поломались стороны прямоугольника. Явственно проявился овал. Она это была, Тюрчанка!..

Оба крыпных колена ее упирались в стол, но одно было приподнято, потому что для удобства под ним лежала книга в черном переплете. От этого колено казалось больше другого, уходящего в тень. Руки ее с побелевшими пальцами тоже приникли к столу: ладонями и локтями. Все тело ее было мучительно напряжено, и крупная грудь, сосками касавшаяся холодной глади стола, казалась из теплого живого камня. И на лице Кудана было деловитое, тупое напряжение. Гулам так и не снял с нее больших рук: они тяжело лежали сверху на маленькой спине ее и выпяченных бедрах.

Знали или не знали они, что у вазира есть ход в султанское книгохранилище? Она смотрела прямо на него, не отстраняясь

от гулама. Невиданной красоты всегда было у нее лицо, но теперь глаза ее расширились и так же, как и тело, полны были яростной, голой жадности. И от этого красота ее стала беспредельной.

А еще в ее глазах меняющегося цвета был гнев: властный и неукротимый. Только во взгляде Кудана, десятника-онбаши первого султанского хайля, проявился мужской страх. Но она смотрела на него, неожиданно вошедшего, требовательно, нетерпеливо, и красивые губы ее кривились от брезгливой ненависти к нему. Это было неправильней всего...

Она так и не сошла со стола, даже ногу не подвинула с книги. Маленькие красные туфли были разбросаны на полу в разные стороны. Лежали бесформенно упавшие шальвары. Розовый шелк вспыхнул, заалел, засветился вдруг, задетый солнцем из ниши. Он сделал шаг назад, осторожно прикрыл дверь...

Туркан-хатун, младшая жена Величайшего Султана, взятая от самаркандских илек-ханов, спокойно прошла потом мимо него по садовой аллее, направляясь из книгохранилища к своему дворцу. Легкое покрывало было на ней, маленькие красные туфли твердо ступали по влажному чистому песку. Следом Шахар-хадим, старый евнух — ходжиб, нес тяжелую черную книгу. Когда евнух склонился перед ним, он увидел заглавие. То была книга поучений древних мужей Эраншахра...

Куда-то укатился калам, стучало сердце, а он стоял, ухватившись обеими руками за край своего малого столика. Нечто затихало на земле. Деревья за окном, качнувшись в последний раз, выровнялись в прямую линию. Он осторожно расправил задравшийся было лист пергамента, отыскал глазами калам...

Кто-то еще находился в комнате. Подняв глаза, он увидел вошедшего имама Омара. Да, была какая-то непонятная связь между бесстыдной тюрчанкой, которую застал он пять лет назад с гуламом в книгохранилище, и этим многогрешным имамом, который вдруг молится Богу истово, как суфий, а потом напивается в приюте греха у гябров — огнепоклонников — и сочиняет стихи, не имеющие ясного Божьего смысла.

Даже губы порой складываются у имама Омара презрительно, как у младшей жены султана. Она же благосклонна к имаму, хоть и не ищет тот явно вблизи нее. Но почему столь пристально смотрит сейчас этот имам к нему на стол? А может быть, он тоже увидел Тюрчанку?!.

III. СУД ИМАМА ОМАРА

Оборвалась единая звуковая нить. Кость беспорядочно соприкоснулась с деревом, и дробный, растерянный стук завершился аккордом бессилия. Агай выпал из Божьего хора. Затре-

щали сучья садовых маклюр, горячим ветром распахнуло узкую резную дверь. Он переступил порог...

Так оно и было. Пергамент на столе у агая завернулся от попавшего в комнату ветра, а калам из его руки укатился на край стола. Даже золотой куб с чернилами сдвинулся и стал боком.

Что-то зашуршало в углу. Это Магриби, который призван помогать агаю в написании книги о правильном устройстве государства. Лицо у поэта испуганно, а протянутые вперед худые руки на треть вылезли из рукавов цветистого халата. Звук его в мире слабый, но настойчивый и неравномерный, подобный крику голодной цапли...

Впервые за двадцать лет растерян агай. От хлопнувшей двери все произошло. В это время года обычны горячие вихри в Хорасане. Говорится у знающих, что невидимый джинн закручивает воздух в высокий столб, сам начиная вращаться вокруг своей оси. По природе вещей это правильно, но джинны вроде бы бестелесны...

В окно виден молодой шагирд, который трудится в саду по ту сторону арыка. Рядом с ним тайный стражник — мушериф, как принято. Всякий человек имеет здесь свою тень...

Великий вазир собственноручно поправляет все на столе, выравнивает углы. Опять смотрят прямо на мир его выпуклые серые глаза, отражая предметы. Как и вчера, в месяц урдбихишт уставился он на таблицу неба, но губы неподвижны. Пальцы все подрагивают, и никак не придет в соответствие с Божьим предопределением тройной стук кости о дерево — знак агая в этом мире...

IV. СУЖДЕНИЕ УСТАДА — МАСТЕРА ЦВЕТОВ

Садовник Наср Али, выращивающий тюльпаны, встал на предзакатную молитву. От только что политой земли пахло дувальной глиной. На такырах и барханах в три дня отцвели маленькие цепкие цветы с солнечными головками, а в его саду их жизнь удлинена до поздней осени. На одной карте они уже вышли в бутоны и вот-вот начнут цвести, до половины поднялись на другой карте темные ростки, на третьей лишь проклюнулись светло-зеленые стрелки, а четвертая и пятая карты отдыхают в ожидании высадки крупных гладких луковиц. Устад — мастер цветов — ладил с окружным мирабом, и воду ему давали для полива своевременно. Для кустов и больших деревьев безразлично, в какую пору дня их поливать, а сочные стебли тюльпанов сразу же потеют на полуденном солнце, и капельки воды ста-

новятся подобны китайским увеличивающим стеклам. На месте каждой капли тут же появляется черный ожог. Только к вечеру можно поливать эти тюркские цветы...

До сих пор еще не все садовники-персы занимаются тюльпанами. С незапамятных времен роза — царь цветов Хорасана. Но тюркские беки принесли из пустыни жгучую страсть к этим простоватым весенним растениям-трехдневкам, которые потом начисто высушивает солнце. И уже три поколения мастеров отбирают и ублажают тюльпаны. Огромные, как кувшины, сделались они, приобрели благородство и тонкость оттенка, а шелковая ткань их лепестков соперничает с гигантскими ночными розами, привезенными древними царями из рухнувшего Ктесифона. Но зато теперь тюльпаны стали бояться солнечных ожогов, растут только на сдобренной жирной саманной пылью грядке, не терпят и слабого ветерка. Не так же и сами тюрки, попавшие волей Бога в ухоженные города и селения, вырастают на сочных и хрупких стеблях...

Два раката молитвы уже проделал он, когда между старыми виноградными деревьями появился Реза-шагирд, ученик и первый подручный хаджиба всех султанских садов. Но устад продолжал молиться. Лишь когда последний солнечный луч потух за дувалами, он аккуратно свернул коврик и пошел к дому. Шагирд шел рядом, приотстав.

Они прошли маленький двор, в котором женщина готовила ужин, взошли на айван, но не остались там, как бывает в это время года. Только оказавшись в дальней комнате без окон, устад указал гостю на плетеный ковер и сел сам.

— Что дороже жизни?..

— Тайна!

Устад посидел молча и кивнул головой:

— Говори!

— Передают те, о которых известно.— Шагирд закрыл глаза, чтобы не пропустить ничего из заученного.— Вчера Гонитель Правды ушел от дел. Но прощальное одевание в халат было таково, словно сейчас он только и приступает к правлению. С отроческих лет тяготится тюрок его наставлениями, но не мыслит обойтись без него.

— Как поступал новый вазир?

— Абу-л-Ганаим был позван к младшей жене султана. Хайль-баши войска и сарханги[1] дейлемитов говорят между собой, что это ее пятилетний сын должен занять Высочайшее Стремя. А еще тюркские эмиры считают, что персы прибрали всю власть к рукам.

---

[1] Сарханги, сипахсалары — военачальники.

— Почему горцы — дейлемиты за Тюрчанку?

— Те, о которых известно, говорят...— Шагирд запнулся на мгновение, но потом опять закрыл глаза и взялся для опоры одной рукой за кисть другой.— Она — женщина, и безразличны ей род и племя того, кого предпочтет ее плоть. Эмир Кудан находит ее, когда пожелает, а из других чаще бывает в книгохранилище Мануджихр, сарханг дейлемитов. Султан две недели назад надел на него золотой пояс, и быть ему сюбаши...

Устад подождал, пока шагирд откроет глаза, и тихо спросил:

— Вправду ли она так красива, что не видели еще в мире подобного?

Вся кровь ушла вдруг из лица шагирда. Куда-то смотрел он растерянным взглядом, потом медленно повернул голову.

— Она как солнце, учитель!..

Бесконечное удивление слышалось в его голосе, глаза были широко открыты. Устад понимающе кивнул:

— Преходящи формы этого мира, рафик, и красота его как сор, попавший в глаза.

— Я промою глаза, даи!..

Устад теперь тоже смотрел в некую пустоту мимо гостя, словно забыв про него. Пламя светильника стало вдруг разгораться, перебросилось на протекшее сбоку масло. Прогорев, оно успокоилось и вернулось на место.

— Как поступал в этот день сам Гонитель Правды?..

— Он писал, а потом калам из его руки упал на стол.

— Калам упал?.. — Впервые у устада поднялись вверх брови.— Так ли ты сказал, рафик?..

— Я это видел, но начался ветер, и пришлось уйти из сада.

Устад озабоченно покачал головой:

— Все те же люди в кушке?

— За всеми деревьями они, и ощупывается сверху донизу каждый приходящий.

— Скажи тем, о которых известно, что я все услышал.— Устад поднял руку ладонью к гостю.— Тебе в поучение... На закате пришел ты, когда обычным людям пристойно молиться. И в моем огороде нельзя было тебе идти сзади. Это мне, простому садовнику, надлежит искать перед помощником хаджиба султанских садов. За каждым дувалом здесь мушериф — это ты сам знаешь. И столбы на базаре — для нас...

— Я лишь сухой песок, а слова твои — вода, даихуджжат!..

Они вышли на айван, омыли руки. Соседи видели, как устад Наср Али поливал из кумгана молодому подручному султанского хаджиба. Потом они поужинали, и гость ушел, провожаемый

устадом до конца улицы. Потом рукой у Реза-шагирда была накрытая платком корзина с землей, в которой покоились начавшие прорастать луковицы тюльпана...

Когда передвинулась и встала меж минаретами пятничной мечети — Джумы — розовая звезда Мерва, устад Наср Али прошел в конец своего сада, неслышно отворил вмазанную в дувал дверцу.

— Что ярче света?..

Это прошептывали по ту сторону дувала. На протянутой из тьмы руке тускло обозначилось кольцо.

— Тайна!

Оттуда, со стороны арыка, в руки устада была подана сухая выдолбленная тыква, которую носят на боку странствующие суфии. Ими всегда полна дорога от Мерва до Рея и Исфагана. Наср Али принял тыкву и отдал во тьму другую, точно такую же.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ВАЗИР

О благодарности государей за благодеяния, ниспосланные им Богом... Когда молитвы народа — во благо государя, он приобретает в сем мире доброе имя, а в том — спасение. И спрос с него, ведь сказано: государство существует и при неверии, но не существует при беззаконии... В предании от посланника — мир над ним! — приведено: на страшном суде у тех, кто имел власть над народом, руки будут связаны на шее; если был справедлив, правосудие развяжет его руки и он отправится в рай; если же законы ему были нипочем — со связанными руками бросят в ад...[1]

Тут пусть и приведет Магриби касыду Бу Ханифы о государстве. Кнут справедливости в руке властителя укрощает страсти сильных и многоумных, ибо не на них держится государственный порядок. Сила державной власти покоится на тех многочисленных, кто прост умом и желаниями, потому безропотен. Справедливость же заключается в том, чтобы все были таковы, а кто высовывается из ошейника, проявляет чрезмерную алчность или умствует, того надлежит искоренять.

В книге о правлении не следует писать об этом прямо. Действия государей прошлого в таких случаях нужно объяснять заложенной в них Богом мудростью и добротой. В такой форме

[1] Сиасет-намэ, с. 14.

поучение понятно будет для нынешних правителей и полезно для народа, который уразумеет, какая высокая и трудная обязанность лежит на государе.

К месту тут придется хотя бы предание об Иосифе, завещавшем похоронить его рядом с дедом Абрагамом. Архангел Гавриил не позволил ему этого до страшного суда, на котором царям предстоит отвечать за свое правление. Коль так было поступлено с самим Иосифом, то каково будет с другими!..

Не только за людей, но за растения и скотов придется ответить имеющим власть. Здесь надо сообщить о праведном халифе Омаре, который обещал сыну явиться во сне в первые три дня после своей смерти. Только через двенадцать лет увидел его ночью сын. И когда спросил о причине столь длительной задержки, сподвижник Пророка ответил: «В мое правление обветшал мост в окрестностях Багдада; одна овечка провалилась и сломала ногу. Двенадцать лет держал я за это ответ!»

Все здесь верно, но не нашли пока нигде книги в черном переплете со львами, которую увидел некогда он под коленом у младшей жены султана. «Ден-намак» ей название. Правила и примеры оттуда нужны для каждой главы, и неполно без них поучение...

Что же было вчера?.. От распахнувшего двери ветра завернулся на столе пергамент, и калам выбило из руки. В тот же миг появилась Тюрчанка!..

Впервые не мог он заснуть в эту ночь. Прямо над головой розово светилась звезда, шелк блудницы пламенел в безднах вселенной, а имам Омар стоял напротив и усмехался в неухоженную бороду. Дерзким отрицанием полны были его глаза. И не его глаза уже были это, а глаза бесстыжей Тюрчанки гневно и нетерпеливо смотрели с лица звездного имама.

Как он раньше не видел, что у нее и у имама Омара одинаковые глаза? Могло ли такое быть? Но каков же цвет глаз у Тюрчанки? Он попытался представить ее лицо, и ничего не получилось...

Почему в день, когда застал ее, не довел он до сведения Величайшего Султана о прелюбодействе в самом его доме? Не вазиру, конечно, надлежит выполнять подобное: на это есть специальные мушерифы Дома, обязанные следить за нравственностью, есть также евнухи гарема. Через них это делается. Впрочем, посылается, коль необходимо, и тайная бумага без подписи. Не обязательно в ней писать все прямо; можно привести лишь соответствующие случаю стихи или поучение. Однако и на другой день, и на третий он ни о чем не распорядился...

Откуда знала она, что не сделает он этого?! С самого начала не терпела его Тюрчанка. По примеру своих диких туранских сестер она от ушей до подбородка оголяла лицо. Выпуклый чистый лоб ее хмурился и нижняя губа оттопыривалась всякий раз, когда случалось ей увидеть его. А после случившегося она фыркала по-тюркски при одном его приближении, так что даже в глазах Величайшего султана читалось удивление по этому поводу...

Бесстыдство ее не знало предела. Вскоре он нашел заложенным свой тайный ход в книгохранилище, а ее что ни день встречал на ведущей туда аллее. Тюрчанка шла, как будто никого не существовало для нее в этом мире. От маленьких красных туфель оставались на песке глубокие и четкие следы. Шахархадим нес за ней толстую книгу...

Потом он всегда обходил стол в дальнем углу книгохранилища, когда приходил туда по делам. Только однажды повлекло его нечто. Опасливо протянув руку, дотронулся он до того места, где упиралось ее колено. Холодное дерево было там.

Стол в углу продолжал стоять свободный от книг, и что ни день шла по аллее Тюрчанка. Кудан уже командовал первым султанским хайлем. При встрече с ним удачливый хайль-баши склонял в поклоне шею, и крепкие плечи его топорщились от сознания своей безнаказанности...

А Тюрчанка всегда ненавидела его. Это неприятие в волчьих скошенных глазах он увидел сразу, когда открыли перед ним лицо девочки. И толстая губа у нее оттопырилась, словно при виде нечистой жабы — кульбаки. Лишь родичи илек-хана да самаркандский кази Абу-Тахир присутствовали тогда в Самарканде при порученном ему сватовстве. А может быть, поняла она его мысли, как понимает дикая камышовая кошка, если в виду ее начать тянуть тетиву лука...

Он отдыхал в «позе готовности». Сегодня все было спокойно, и Тюрчанка уже не мешала работе. В должном порядке изложил он вторую главу — о взаимозависимости государя и закона. Калам покоился меж большим и указательным пальцами, чернила равномерно обволакивали вставленное в стержень перо из евфратского тростника и полностью стекали к концу каждого периода.

Это — великое умение, и лишь потомственные дабиры владеют подлинным таинством письма. От одной нечетко выписанной буквы может смутиться сердце властителя, и решение его будет неправильно. Мир между царствами зависит порой от искусства дабира, чему бывали примеры...

В одобрение его замысла написать книгу о государстве приснился ему в первый день работы над ней дед, бросивший некогда в него тяжелую галошу. Старый дабир сделал правильно,

так как указано Пророком не смотреть человеку на свое отражение. Никогда уже больше не гляделся он попусту в воду.

Да, проходя мимо хауза, он всегда потом смотрел только поверх воды. Какие-то листья плавали там, и мутная вода не вызывала беспокойства. Так и не научился никогда он двигать ушами...

Но ведь получалось тогда у него, он это точно помнит!.. Сами собой напряглись вдруг скулы, отвердели мышцы по обе стороны головы. Синяя вода хауза заплескалась в бездне времен, и все остальное в мире уплыло неведомо куда. Остро, до боли в глазах, ощутилось давнее желание. Уже не думая ни о чем, попытался он исполнить невозможное.

Ухватившись за край стола, он даже привстал от напряжения. Теплая волна прошла вдруг от ног к затылку, повлажнел лоб. Вот-вот должно было это получиться. И тут послышался сухой стук...

Словно завороженный смотрел он на выпавший из руки калам. Все медленнее вились тонкие золотые нити, и он знал уже, что сейчас произойдет. Все это было связано непонятным образом. Когда калам остановился, явилась Тюрчанка...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Но не в то время и не в том месте явилась она. Он ужаснулся тогда в Самарканде при виде ее. Уродливой была похожая на гуся девочка с большим ртом и неровными зубами. Сидела она сгорбившись, локти никак не могли прижаться к телу и торчали в стороны из-под просторного, не по росту, покрывала. И глаза были не такие, как во все времена установлено поэтами. Не ширазские звезды с копьями ресниц воплощали они, а какую-то дикую траву, ежемгновенно меняющую цвет. Он недоуменно повернулся к кази Абу-Тахиру, и тогда-то оттопырила она вдруг свою губу...

Илек-хан Наср Шамс ал-Мульк, «Солнце Державы», после того как подвезли камнеметы, выбрался из Самарканда по сухому руслу канала и ускакал неизвестно куда. Два года перед этим выразил он неповиновение, а пришедший наказать его Алп-Арслан был зарезан на холме у Бухары в виду всего войска. Воспользовавшись тем, что наследнику Малик-шаху пришлось улаживать свои дела с родичами в других краях державы, илек-хан захватил Балх и Термез. Теперь пришла пора расплачиваться. Прямо к Самарканду пришел Величайший султан, а отряды его поскакали в Шаш и к Узгенду — до края владений

вероломных Караханидов. Вот тогда и призвал илекхан к себе в некое место святого кази Абу-Тахира. «Тебя знает Низам ал-Мульк — вазир и атабек нового султана,— сказал он кази.— Чего не совершается в умопомрачении, и такое уже бывало в мире. Вот и с нами случилось. Пусть будет вазир нашим предстателем перед Величайшим Султаном и напомнит ему про родство, ибо двоюродные братья мы с Малик-шахом. И мы тоже не останемся невеждами и отблагодарим названого вазира теми-то и теми-то милостями...»

В шатре у Самарканда обговаривались потом эти дела с мудрым Абу-Тахиром, и тот допущен был лобызать Высочайшее Стремя. Решено было, вернув себе Балх и Термез, оставить все же Шамс ал-Мулька правителем в Самарканде с ежегодным приношением даров. А чтобы не был это «волчий мир», следовало царствующим домам обменяться женщинами. Сводная сестра Величайшего Султана давалась в жены илек-хану. В то же время тринадцатилетняя племянница Шамс ал-Мулька становилась токал — младшей женой Малик-шаха. Она и была Тюрчанка...

Кази Абу-Тахир не понял тогда его недоуменного взгляда. Может быть, знал этот кази нечто свое о женщинах, считая невесту красивой. И многоопытная Айша-ханум, главная хаджиба султанского гарема, взятая им на смотрины, тоже никак не выказывала отвращения. Только он один испытывал беспокойство, так как со слов кази заранее сказал Малик-шаху о невиданной красоте будущей жены.

Но все уже шло своим путем. Ханум осмотрела кости и мышцы девочки, проверила чистоту тела, глаза и уши, не искривлены ли пальцы на руках и ногах, нет ли изо рта дурного запаха и не имеется ли других уродств. Потом, по принятому обычаю, невесту повели на песок, где она присела. Он, как атабек жениха, самолично проверил оставшийся след. Все предвещало, что девочка сможет рожать легко и правильно. Ямка от струи имела гладкие края, уходила в песок глубоко и под прямым углом...

Однако беспокойство его не проходило. На слоне везли невесту, как принято. По четыре мешка денег было разбросано на пути в больших городах и по два — в малых. А в новой столице — Исфагане, как условлено было между ним и кази Абу-Тахиром, их встретили у городских ворот люди Дома, а также султанские родичи и эмиры. Накануне уже примкнули к каравану жены сановников и все вместе проследовали в новый дворец, построенный специально для токал. Там горели во множестве цветные огни и состоялось обсыпание деньгами.

Люди потом удалились оттуда, а Величайший Султан прибыл к ночи с тремя хайлями конных гуламов. Он вошел во

дворец, и солнце сочеталось с луной. Никто не спал, все ждали в нетерпении, и вскоре уже через Айшу-ханум стало известно, что все совершилось превосходно.

Наутро Малик-шах осматривал дары, и не замечалось в его лице неудовольствия. Особенно понравился султану изготовленный мастерами Самарканда престол его туранской жены, представлявший из себя плодовый сад. Маленький трон слоновой кости стоял посредине, а земля вокруг была из тонких серебряных пластин, переплетенных и должным образом отделанных. Тридцать деревьев из чистого золота находились там. Листья на них были бирюзовые и яхонтовые, а плоды — из драгоценных камней соответствующего цвета...

А через два года опять увидел он вблизи Туркан-хатун и поднял руку к глазам, ничего не понимая. Та же была она, но все в ней почему-то светилось. В известное лишь творцу миров соответствие пришли ее формы. Даже когда оттопырила она губу при виде его, то непонятный свет этот сделался еще ярче.

Только свет и помнился ему с тех пор от частых встреч с нею. Зримо явилась она уже раздетая, со стоящим при ней гуламом. Все стало в ней ощутимо, даже запах ее распаленного тела. Но ярким светом была наполнена вся комната. И черная книга светилась, куда упиралось ее колено. Шальвары на полу источали солнечное пламя.

Значит, увидели некогда в ней этот свет и мудрый кази Абу-Тахир, и хаджиба Айша-ханум, и сам султан в первую ночь, ибо не стало с тех пор для Малик-шаха других жен. Почему же не увидел тогда этого он?

Все там же, на краю стола, лежал укатившийся калам. Большеротая девочка не уходила. Она смотрела прямо, оттопырив губу, и он все пытался разглядеть сейчас в ней будущее сияние...

III. ВАЗИР

(Продолжение)

Потянувшись через весь стол, взял он калам и долго сидел, не выпуская его из руки. Потом совершил положенное омовение, ограничил себя на полу ковриком — саджаддом. Не в пути он находился, а поэтому не стал сокращать время полуденной молитвы. Аккуратно и серьезно, как всегда, исполнил он все ее ракаты.

Явившемуся Магриби дал он указания. Следовало заняться теперь таблицами неба, но снова не приходил имам Омар. Тогда, положив калам на свое место — к кубу чернильницы,— прошел он к двери и надел кожаные галоши...

Солнечная стена встала перед ним, но каждый следующий шаг был ему досконально известен. Медленно шел он вдоль жестких, одинаково подстриженных маклюр, и глаза привыкли к полуденной мгле. Горячее безмолвие утвердилось в мире, и не ощущалось нигде раздражающего ум движения. Только молодой садовник шагирд высаживал нечто в землю по другую сторону арыка. Спокойны и продуманны были его действия.

Шагирд с детства работал при султанских садах и знал положенное обращение. Не смеет отвлекать идущего сановника приветствием или поклоном кто-то прислуживающий в доме. В разных сферах они, и нет между ними связи. Но, подобно благостному илу в полях, осела в глазах у шагирда вечная благодарность, и достойное это чувство у человека.

Тот, кого нашел он среди мертвых в Тусе, этот шагирд. Все умерли там от голода, и только один живой мальчик остался в их старом квартале — махалля. Объезжая со стражей пустой город, велел он разогнать собак, накормить мальчика и взять с собой. С тех пор такие глаза у шагирда.

Рядом с садовником другой человек, который не работает. Это мушериф, потому что не должен находиться здесь в одиночестве никто из людей. При входе и выходе проверяются все, так как великим гонителем объявлен он среди засевших в Алухамуте батинитов. По имени скрытого учения называют так себя сейчас дейлемские убийцы-исмаилиты.

Не сходя с четко обозначенной линии, дошел он до задней стены кушка и пошел обратно, считая по привычке деревья. Имама Омара все не было. Он постучал каламом по столу и велел разыскать его.

IV. СУД ИМАМА ОМАРА

Снова слышится оно, грозное ворчание. Не только люди, но и города имеют каждый свой звуковой знак. У этого города глубок он и неясен. Кажется, сама почва подрагивает здесь от растолченных в прах страстей. Она тонкая и светлая, пыль Мерва...

В джар для сброса помоев из рабада превратился древний канал, но если идти к мосту, то не успеет он вернуться до полудня и опоздает к агаю. Утром хаджиб султанских хранилищ выдавал месячное довольствие, и, перебираясь через пахучий ручей, он поднимает к голове муку и кувшин с маслом. Квартал кожевников в восточном рабаде, и жидкость, где мокнут шкуры, стекают сюда из всех дворов. Приходится и бороду подставить солнцу, чтобы не задохнуться.

Затем надо подниматься на оползшие валы, опять съезжать вниз и долго идти по ямам и рытвинам, оставшимся от города гябров. Огню поклонялись некогда персы и их цари. Так и зовут это заброшенное царское городище — Гяур-кала.

Только тут, у подножья древней цитадели, видна ее непостижимая величина. Коль правда, что гуляка Рамин[1] стрелял некогда отсюда в окно шахине Вис, чтобы сообщить о свидании, то лук у него был явно с заклятием. Впрочем, праздным гулякой сделал царского брата Рамина в своей поэме гурганский дабир Азат, чья нисба Фахр ад-дин и которого он видел проездом лет десять назад. У старика были глаза как у джинна, а большие персидские усы сами изгибались, как он хотел. В древних пехлевийских книгах Рамин никогда не смеется, а в чайхану не зайдет, даже если по пути. У старого же хитреца Гургани он почти не уходит с базара.

А еще зовут эту крепость Ишкафти-дивон — «Замок дьявола». И в ней тоже, как говорят, держал царь Мубад свою неверную жену Вис вместе с лукавой мамкой, но уже в подземелье. Эрк-кала стали звать ее на самом деле после греков. При них весь этот город назывался Маргиана-Александрия, и свадьбу с согдийкой Роушан справлял здесь сам Искандер Двурогий...

«К-х, к-х!..» Это погоняет своего черного ишака лишенный речи огородник Махмуд. Один живет он тут, у подножья насыпанной людьми горы, и высевает на склоне дыни, которые хорошо растут на старых городищах. Приходится только воду возить из колодца на краю развалин, потому что отравленная скотскими шкурами вода из канала не годится для полива. А в рабад за хорошей водой не пустили бы его стражники из-за цвета Махмудова ишака. Черных коней отрицают тюрки, а ишаков тем более. Гадливость вызывает у них это славное животное.

Дыни у Махмуда растут поясами: желтые джейхунские гуляби и сарык, пахучий доньер, абдулляхон с редким красным чревом и, выше всех, великий плод Хорасана — царственный бахрман. Потом уже начинаются колючие переплетения, и рых

[1] Рамин — герой эпоса «Вис и Рамин».

лая глина с черепками осыпается из-под ног. Идти же в обход, где протоптана дорога, не ко времени...

В провале под башней молодой гябр давит виноградные гроздья. Яму они сначала обмазывают глиной, потом жгут в ней верблюжью колючку, пока края не становятся блестящими и твердыми, как у кувшина. Сюда ссыпают купленный в рустаке виноград и топчут его по очереди. Со сладким чавканьем тянутся ноги из красной пузырящейся лужи...

По-кошачьи засветились глаза у нее. Она взяла все сразу из его рук, быстро заглянула в горлышко кувшина. Стало легко и просто. Молодого вина побежал и принес мальчик. Он выпил мутный беспокойный сок, ничего не оставив в черпаке.

Вслед за султанским домом прикочевали они сюда, так как возле служивых дабиров и гуламов кормятся гябры. Не бывает поэтому у них припасов, и вот уже неделю едят они тут выброшенное людьми из рабада. Упавшие в дорожную пыль плоды собирают по утрам их женщины, потому что гябры не знают воровства.

Там, в Исфагане, они тоже живут на развалинах и давят виноград. Из всех народов ходят к ним в приюты греха пить вино и удовлетворять плоть с их женщинами. Некогда особые храмы были у зороастрийцев, и содержались там для этого жрицы. Сколько ни гонят их сейчас мухтасибы по всем городам, обратить их к Богу невозможно. На то, как видно, есть для гябров особый промысел у творца миров...

За долгое время опять покойно на душе и в мыслях. С весны он не видел ее. Великий Вазир призвал его сюда из Исфагана, и пришлось все лето приводить здесь в должный вид старую площадку для наблюдения светил. Двадцать лет собирает он сведения о божьем порядке в небе, дабы можно было обосновать агаю порядок в государстве. В плоскость простейших звездных построений пытается заточить вазир великое сомнение бога, и не известна ему Рей..

В год прихода своего на службу к агаю он увидел ее. О сухой терновник были разодраны лицо и руки, тяжкие глыбы оседали в тьме. Все вверх он шел, но огонь не приближался, колеблющийся, бесконечно уходящий. А потом вдруг ярко вспыхнуло пламя, и в нем танцевала Рей...

Он знал, что это игра зрения. Она была по ту сторону огня, в наряде жрицы на одних только бедрах, но какое это имело значение. Властно и медленно, повторяя пламя, колебался у нее

живот, изгибались руки. Неравномерно все было, и долго клонились ее бедра в одну сторону; потом не в такт рванулись в другую, и музыка лишь следовала за ней. Языки огня подбивались под обнаженную грудь, тени рождались и умирали. Каждое мгновение менялись очертания тела, никогда больше не повторяясь. Божья мудрость утверждалась во всей своей правоте.

Не мог он остаться в обычном соитии с ней и отступил в таящуюся тьму. Там с тихим шорохом распадались и отплывали древние стены, не в силах справиться с собственной тяжестью. Великий зороастрийский храм был некогда на том месте, но Рей пережила камни...

Наутро, когда вернулся он наверх, то сразу увидел ее непричесанную. Крикливо выпроваживала она от себя белобородого старика. Ардебильский платок оставил ей тот в уплату, и Рей деловито примеряла его, переговариваясь с соседкой. Безобразные красные цветы расползались по дешевой ткани, и глаза у нее светились.

А еще она дралась с соседкой, и лица царапали они друг другу. Рот был широко открыт у нее, хриплые вопли исторгались наружу. С гуламами, старцами, несведущими мальчиками видел он ее, но ничего уже это не значило.

С первого мгновения все сделалось понятно ей. Она торопилась куда-то, и неприкрытая поспешность проявилась в женском умении. Плоть ее привычно притворялась, а руки в это время искали что-то необходимое ей рядом с вытертой кошмой. Неровное пламя осталось где-то в ночи, грудь ее отбрасывала точные тени. Зато, почувствовав необычное, она быстро стащила кольцо с его пальца...

И опять возрождалась Рей. Не было уже огня, и ровное солнце стояло в небе. Ребенок прильнул к ее молоку, вспыхивали и пропадали радостные блики. Грудь, глаза, руки Рей излучали переполнившего ее Бога.

Он ходил к ней, принимая ниспосланное. Больного его поила она исцеляющим соком — хайямом, который по завету делают огнепоклонники из некоего тайного корня. И слезы видел он у нее, когда почернело от болезни его тело. Венчающую имя нисбу взял он себе по целебному питью гябров...

В тени навеса сидели они. Древние царские строения числят в своем наследстве гябры, но камышом и колючкой приходится крыть рухнувшие своды. Потайные клети цитадели приспособлены для приходящих гуламов, и площадка расчищена для пьющих вино. В недрах горы скрыто капище, и горит там их

святой огонь, сохраненный от царей Эраншахра. В пятнах от нефти обычно ветхая хламида старца мобеда...

Они ели хлеб с мятым урюком, и сладкая струйка сбегала на подбородок у девочки. Нельзя отличить при свете дня мать от дочери, и только ночью, когда танцуют они среди огня, очевидна разница. С заученной бессмысленностью повторяются движения у девочки, и нет в них высокого Божьего промысла. Солнце с молоком еще не пробудилось в ней, и лишь оболочка предвещает продолжение Рей...

Свистнул мальчик-страж с башни, и послышалось конское ржание. На виду у всего рабада ехал кто-то к гябрам. Женщины засуетились, забегали из одной клети в другую, мужчины поспешно принялись готовить «костер греха».

Эмир Кудан, бывший раб-гулам, а ныне новый мервский шихне, уже пошатывался; тройной золотой пояс на нем ослаб, а руки производили ненужные движения. Трое гуламов в красных сапогах пьяно молчали, оглядывая площадку для костра.

— О... наш факих!

У Туркан-хатун увидел его недавно этот эмир, когда объяснял он младшей жене султана происхождение разных народов. Не дано большего ума счастливцу гуламу, но и спесив он в меру. Громко призвав Божье свидетельство, согнул плечи в поклоне рослый эмир. Принято так делать при встрече с учеными людьми, хранящими в памяти всю книгу Посланника, мир над ним. Если бы мог еще мервский шихне осознать, в каком месте это происходит, то вдвое поднялась бы цена столь очевидной набожности.

В серебряном кувшине на старом гябрском блюде вынесли вино. Эмир Кудан долго пил из узкого горлышка. Жрица танцевала на кувшине, и поворот бедер был там у нее такой же, как у Рей...

Невидимо было пламя костра при солнечном свете, но когда удлинилась тень от башни, то сразу обрело очертания. Лирой горело вначале оно, согласно уложенному заранее так саксаулу. Но вот заворочались раскаленные корни, метнулись искры в темнеющее небо, и независима стала форма огня от людей.

Девочка старательно танцевала в огненной лире, и смотрел на нее эмир. Гуламы всякий раз уходили по клетям с женщинами. Ему передавали вино с эмирова дастархана, и сам эмир говорил, что слаще сахара мудрость его стихов. Рей убирала деньги, падающие на блюдо...

Тлели угли в синеющей тьме. С девочкой попел эмир Кудан, упираясь ногами в целый мир. А сам он оказался где-то на

склоне, и огни вечного города покачивались внизу, как в мутной воде.

Пустой кувшин был в его руке. Мысль гончара придала образ глине, и давно сгоревший огонь закрепил его на этот миг. Из скольких же распавшихся образов состояла сама глина? Черепки ведь образуют эту чудовищную рукотворную гору. И век за веком берут из нее глину мастера, совершая вечный круговорот.

Он засмеялся, поднял высоко над головой кувшин и бросил его с размаху туда, в воду с тусклыми огнями. Глухой удар и звон покатившихся осколков услышал он. Отличат ли люди через тысячу лет черепки его кувшина от других черепков? Что останется от него самого, которому Великий Гончар придал столь смешную и уязвимую форму?..

Подобно летучей мыши ощущал во тьме он глиняные заборы. Ослиный вопль наполнял землю. Царственный Мерв со всеми четырьмя рабадами исходил стенанием, подняв бессмысленный лик к звездам. Стража с заходом солнца свела ворота, и в путанице дувалов остался он по эту сторону.

Дом его старого собеседника-устада имеет в мире особенный знак. Все благоухание земли заточено в круг. Запах преобладает тут, вытесняя звук и форму.

Мастер цветов — устад — укладывает его на тахту. Звезды укрываются за черные причудливые листья, и лишь гроздья винограда светятся изнутри, переполненные солнцем. Холод воды хочется ощутить пылающими ладонями. Он встает и идет во тьме к сардобе, что в углу двора.

— Каждодневно этот человек бывает в доме Гонителя...

Он распознает тень на айване. Это тихий садовник-шагирд с вечной тоской в глазах, бывающий у устада. Они сейчас думают, что он спит в саду, и устад успокоительно поднимает руку.

— Мысли его заняты звездами, и нет ему дела до нас...

Слова шелестят в жарком ночном безветрии, и круг замыкается. Ему становится смешно, ибо всегда предполагал он о причастности мастера цветов к гонимому учению. Достаточно было увидеть глаза устада, когда читалась касыда растворившегося среди людей мятежного факиха.

> Не стыдно ли тебе фальшивое слагать,
> И фимиам курить, и в каждом слове лгать?..[1]

Мудрый, одержимый факих Насир, чьи писания взбудора-

[1] Насир Хисроу. Касыда (перевод И. Сельвинского).

жили мир, был как ребенок. Он любил справедливость до такой степени, что закрывал глаза на все, что не соответствовало его идее. Заяц так делает, когда некуда бежать от стрелка.

И вот теперь этот сумрачный шагирд. Мастер цветов провожает султанского садовника, и в двух шагах от сардобы проходят они. А он поднимает охлажденные водой руки над головой. Так, на локтях, вползает он обратно на тахт и засыпает, усмехаясь в мокрую бороду.

Благоухающий круг надламывается, а где-то сбоку проступает кровь. Неужто у этого тихого шагирда, как у прочих битинитов, нож в рукаве?..

V. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Нечто мешает держать под рукой корзину с рассадой, и он сдвигает к локтю горячее железо. Дейлемский нож всегда с ним. Тьма полна сомнений, и не остывает лицо. Здесь он встретил женщину из другого мира. Она шла по улице, нагибаясь всякий раз за урюком.

В ледяных горах, где уснул он, лежала она рядом. Земной запах ее был ощутим, и плакал он, освобожденный, уткнувшись ей в грудь. Когда случилось такое потом с большегубым фидаи, тот шепнул, что давно уже знает ее. О гябрском «костре греха» говорилось между ними...

Отпавшее от дерева в уличную пыль считается Божьим достоянием. Подув на плод, женщина опускала его в подвязанную к поясу суму. Лишь у ворот рабада приоткрылось покрывало, и страх исказил ее рот. Он бросился следом, но ее нигде уже не было...

Полнится ладонь, и дейлемское железо чувствует он всем своим телом. Сразу пропадает сомнение, и устойчивым опять становится мир. Нет ничего, кроме Тайны. И, поправив корзину с рассадой, идет он дальше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. ВАЗИР

О разборе государем обид, правосудии и упражнении в добром житии... Неизбежно государю раза два в неделю разбирать жалобы на несправедливости, наказывать обидчиков, лелеять беспристрастие и, творя правосудие, выслушивать народ самолично, без посредника; заявления, которые поважнее, пусть

доложат, а он на каждое даст приказ. Когда распространится по государству этакий слух, все обидчики устрашатся, прекратят насилия, и никто не осмелится из-за страха наказания совершать своеволие...[1]

Неисполнимо такое. Огромно государство, и нет в нем правоверного, который не считал бы себя обиженным, а если имеет что-либо, то желает вдвойне и втройне. Коль допускать к государю каждого, то все люди превратятся в жалобщиков, не говоря уж о батинитах, которые вместе с притворной жалобой могут спрятать в рукаве нож.

Тем не менее для пользы государя и подданных написано здесь это, потому что не так важна правосудность, как слух о ней. Пусть сделает государь одному кому-либо справедливость, и все остальное недоброе в государстве свалят на ослушников его воли. Когда султан Масуд Газневид пошел походом на подвластный Гурган, то при входе туда всенародно повесил погонщика из своего войска. Тот, встав на слона, рвал тутовые ягоды с дерева тамошнего райята. Зато с одного только Амуля была потом потребована тысяча тысяч золотых динаров, не считая ковров и одежды. Жители, у коих не было и двадцатой части требуемого, сами собой пошли в море и утонули. Но, зная уже твердость султана в отправлении правосудия, никто не назвал его несправедливым, и все славили султана. Когда же принялись топтать эту страну слонами, то к султану Масуду привели старика со старухой и их дочь-вдову с жалобой. Он самолично обласкал их, дал денег и припасов, повелев выстроить для них новый дом. На собственных руках при народе подержал он малого ребенка вдовы. Все неукоснительно исполнили, и один лишь этот дом вдовы остался стоять во всем Гургане. Не по закону содеялось в том краю, но в поступке Масуда видна державная мудрость...

На самом же деле поступающие с мест жалобы следует удовлетворять только в том случае, если это приносит видимую пользу государству. Остальные же складывать, заведя ящики по всем областям. Когда придет пора наказывать того или иного эмира или амида области, то все сразу и достать из ящика. Очевидно станет тогда всем, что правосудность рано или поздно достигнет цели, и люди будут довольны.

На жалобы же следует отвечать лишь, что-де получили такого-то дня и месяца, смотрим. А коль многоумная жалоба, то совсем не отвечать. Жалобщик напишет во второй, в третий раз и оставит это дело. Если же станет упорствовать, отослать жалобу тому, на кого пишет...

---

[1] Сиасет-намэ, с. 16.

Каковые же приметы следует вписать в эту главу, ибо ждет в углу указаний Магриби?.. Отец Масуда — грозный Махмуд Газневи — при жизни своей уже сподобился людского поклонения. Народ же сей державы велик в терпении и подобен псу при хозяине. И все же должны умереть последние, видевшие хорасанский голод и побоища за веру, чтобы можно было привести в пример доброту деяний султана Махмуда. А посему разумнее обратиться к Саманидам, чей век миновал.

Так, говорят, что во всем следовал примеру древних царей Эраншахра всеблагий Исмаил ибн Ахмед из этого дома. Когда непогода и мороз были особенно сильны, он в одиночестве садился на коня и выезжал на площадь в Бухаре. До полуденной молитвы стоял он там, говоря: «Может быть, идет ко мне человек, имея нужду, а у него нет ни пропитания, ни места, где остановиться. По причине снега и ветра он не сможет нас заметить в других местах. Сюда же сразу придет!»

И еще о нем. Когда плененный разбойник Амр — сын Лейса — пожелал отдать ему все свое золото, закопанное в разных местах, тот не взял. «Хитро ты задумал,— сказал он Амру — сыну Лейса,— от цены пряжи старух, от бездомных путников, от имущества слабых и сирот то золото. Хочешь на мои плечи переложить ответственность за него на Божьем суде... Пусть останется закопано!»

Весьма к месту пришлось бы здесь поучение от мужей Эраншахра, но не могут найти нужную книгу. Все вокруг султанского книгохранилища проверено, и в домах Мерва спрошено о ней, но знают только, что была некая книга со знаком царей и «Ден-намак» ее название.

Магриби быстро понял свое назначение, и не приходится с ним растолковывать смысл всякой притчи. Словесная ткань как бы окунается в чан с необходимой краской. Суть не меняется, а узоры лишь подтверждают незыблемость основы.

Для государей и сановников его книга, так что поймут они и то, что сверху, и скрытое в ножнах. Не только что делать к пользе государства, но и как говорить при этом научит она И все же некое сомнение не оставляет его. Есть вещи в государстве, о которых не принято писать и вазиру. Как быть с мушерифами, чья тайная служба определяет все видимое и невидимое?

Ночью производятся их доклады, чтобы не узнаны были лица. И не в канцелярии, а в некоторых домах выслушивают их донесения. Нельзя одному человеку доверять власть над ними, и четверо отобраны быть мушериф-эмирами. Друг о друге не знают они, а каждый в свое время докладывает только ему, Великому Вазиру.

Все передал он Абу-л-Ганаиму, кроме этой службы. Сегодня ночью был у него мушериф-эмир, чье звание «Всеведущий Державы». Особой важности его сообщение. Должен прибыть сюда некий великий даи от исмаилитов, так что следует ожидать в ближайшие дни новых убийств. И еще о великой машине — диваркане, который стр6ится для разрушения крепостей, было доложено ему...

Проверяя себя, он оглянулся на окно, посмотрел на бумагу. Нет, ничего не произнес и не написал он о мушерифах. Даже думать об этом не следует, удостоверившись, не смотрят ли откуда-нибудь со стороны.

На молитву он встал, и сами собой отстранились все заботы мира. Одноцветная плоскость простерлась во все стороны. Сосредоточенный, он постоял, отвлекаясь от земного, колени коснулись саджжада[1]. Покойная благость была в движениях.

Выполняя ракат, выбросил он перед собой руки, лицом и локтями приник к земле. И вдруг замер, потрясенный. Некая мысль пронзила все его существо. Так ведь — на коленях и локтями к столу — стояла тогда Тюрчанка при гуламе!

Нет, не сама пришла она сейчас, а только воспоминание явилось ему. Но он отпрянул от саджжада, встал на ноги, растерянный. Необыкновенное снова происходило с ним.

Все тихо было в саду и в комнате, сердце постепенно успокаивалось. В общение его с Богом вмешалась блудящая женщина. Усилие совершил он над собой и снова начал ракат. Но едва только согнул колени, как понял, что не уходит это из памяти. Еще раз начинал он молитву, но ничего не получалось...

Полный раздумий, долго стоял он посредине комнаты, и только когда надел на ноги тяжелые кожаные галоши, прошла наконец взбудораженность в мыслях.

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Солнце ударило в глаза и отступило на свое место в небе. Шагирд работал в саду по ту сторону арыка. Началось неизбежное, и по личному указанию Абу-л-Ганаима тюльпаны перед дворцом Тюрчанки послан был вчера высаживать шагирд. Не дело это вазира — расставлять садовников на работе, но коль не может Абу-л-Ганаим в другом досадить ему, то хоть в этом.

[1] Саджжад — молитвенный коврик.

Пришлось принимать меры. Сам Величайший Султан распорядился оставить этого шагирда в его кушке. Передали видевшие, что только побелели губы у нового вазира...

Шагирд уложил уже ряд дерна, и цвет у травы был такой, какой он любил: серый. Размерен в движениях молодой садовник. Некая спокойная сила во всем его облике, и не забывают такие люди благодеяний. Данный в детстве хлеб сильнее всех прочих уз на земле.

С давних пор в нем эта привычка: считать деревья в саду. Четкая красота содержится в линии подстриженных маклюр, и ровно двести раз повторяются они. Идя обратно, он проверяет счет. Ум отдыхает от хитросплетений мира, которые изо дня в день распутывает он уже тридцать лет. Но вновь и вновь возвращаются заботы, ибо таково предопределение его в мире...

Незримая связь с державой ощущается всякий раз, когда садится он за свой стол. Приблизилось время работы с таблицами неба, и сегодня уже не задержится имам Омар. Известно, что в приюте греха у гябров пил тот вино с мервским шихне. Ночевать же имам пошел к мастеру цветов в рабад. Оттуда и доставят его в кушк.

Назавтра же следует вызвать экзиларха[1] иудеев Ниссона. Считают те, что некогда при царях Эраншахра им жилось вольготней. Жен от них брали цари, и особо числят себя иудеи по извечной своей нескромности. Потому и не хотят заменить в субботней здравице поминание древних царей Кеев на знак нынешней династии. Тюрки же благоволят к ним и по простоте своей думают, что коль иудеи — люди Писания, из коего черпал Пророк, то и первородство их в вере.

Надлежит также дать указание, чтобы огородили базарные столбы, на которых подвешивают пойманных батинитов. Все, что от государства, имеет высший смысл, и не должны дети бегать внизу меж столбов. Если же отпадет у казненного рука или нога, то пусть лежит там до конца срока...

Он закончил писать. Калам в руке остановился на последнем завитке, но кружение нитей продолжалось. Это была только видимость. Искусный мастер так расположил золотые линии на стержне, куда втыкается тростник, что бесконечно вились они, никуда не уходя. Мудрость порядка в таком извечном кружении. Все рушится, коль оно останавливается.

[1] Экзиларх — глава общины.

В первый раз это случилось, когда хлопнула от ветра дверь. Тогда же явилась ему Тюрчанка. А потом захотел он подвигать ушами, как некогда в детстве, и опять выпал калам из пальцев. Он катился по столу все медленнее. И когда остановился, снова явилась она, но уже девочкой.

А что, если некая тайная сила в этом каламе, и есть у него возможность вызывать кого захочешь? Рассказывают ведь о чаше, в которой виден весь мир, а также о жезле, при посредстве которого раздвигаются горы. Стоит лишь сказать при том особое слово...

Рука его сама опустилась, и калам неслышно коснулся поверхности стола. Сердце билось гулко, как при быстрой ходьбе. Но ничего не произошло, и он перевел дыхание.

Тюрчанка затерялась где-то во времени, и даже контуров не осталось в памяти. С недоумением смотрел он на свои освободившиеся пальцы. Они слегка дрожали. Калам лежал на столе в том же положении.

Нет, чтобы вызвать кого-то, нужно сделать все, как в прошлый раз. Не просто следует опустить калам, а бросить его на середину, и тогда покатится тот в должном направлении. Быстро ухватив стержень, он поднял руку высоко над столом, и пальцы его разжались.

Вились и вились золотые нити. Но так и не остановилось их движение. Едва закачался стержень в последнем содрогании, как рука опять метнулась к нему, прижала к столу. В испуге отер он лоб другой, свободной рукой. А подняв глаза, увидел имама Омара...

III. СУД ИМАМА ОМАРА

Неудовольствие в глазах агая. Но не колотить же правоверному рукой в дверь, коль запрещено это Пророком. Знак агая в мире только что рассыпался на мелкие беспорядочные осколки...

Чем-то взволнован великий вазир. И не его вчерашнее поведение тому причиной. Знает агай даже, какого цвета вино, выпитое им с мервским шихне у гябров. С каждым здесь бродит рядом некая тень...

Троекратно постукивает уже агай каламом по столу, собирая мысли. Однозначен становится его голос. Полностью, не глотая слогов, произносит он Божье свидетельство. Слышится тусская ясность произношения без примеси шелестящих звуков, как в Нишапуре. Рядом два этих города, но в отличие от Туса

всегда прибавляют нечто лишнее в свою речь и одежду упрямые нишапурцы. Такова вечная их тяга к выделению из правил. В Мерве же красоте царственного языка фарси мешают бесполезные удлинения к концу слов. Все от обилия дувалов в этом городе.

Снова в клетку месяца урдбихишт уставился агай. Что далась ему эта лучистая звезда? Осень уже близится, за нею зима, а в месяце урдбихишт напряжены бутоны на розовых кустах, кричат от радости соловьи, и капельки пота выступают у женщин в завитках волос, у самого уха...

С прежней отчетливостью раздается стук кости о дерево. Агай выверяет звездные таблицы, и шевелятся у него губы. Этого не было раньше. Полоса стриженых деревьев в окне продолжает линию стола. Какой-то человек возится в саду у дальней стены.

Он вздрагивает, потому что это опять шагирд, который был вчера у устада — мастера цветов. Они во тьме не увидели тогда его, опустившего бороду и руки в сардобу. Про то, что бывает он у Гонителя, говорил шагирд. Так называют батиниты этого старика, который проверяет сейчас счет звездам. Прямо на него смотрит шагирд...

IV СУЖДЕНИЕ УСТАДА — МАСТЕРА ЦВЕТОВ

Что дороже вечности?

— Тайна!..

Устад Наср Али коснулся во тьме кольца, отдал в невидимые руки тыкву. Точно такая же тыква была передана ему взамен. В дальней комнате без окон зажег он светильник, вытащил пробку, отклеил узкую полоску шелка. Цифры были на ней: 1+30+5+1+40+6+400. Абджад это — числовые знаки букв, и составляют они слово «Алухамут». На языке древней правды — пехлеви — означает оно место, где орлов приучают к охоте. Сложенные вместе цифры дают сумму 483, а именно в этом году хиджры Бог передал в их руки крепость в заоблачных горах, чем и подтверждалось право на нее. Ее владетель — дикхан, склонявшийся к правде, все не решался открыто объявить о своей вере. Тогда семеро учителей-имамов явились туда к нему, а когда он стал кормить их хлебом, пригнули вдруг его голову к животу и заковали в цепи. Сам сайид-на вышел с повелением к страже и впустил по мостику над пропастью семьдесят фидаи. Аламут — стали называть это гнездо правды в фарсидском просторечии...

Некая тайная цифра — личный знак самого сайида-на был оттиснут в начале письма. Устад Наср Али почему-то вздохнул,

и качнулось от этого пламя светильника. Страшный шум послышался у него в ушах...

Весь день тогда клекотали внизу грифы. Маленькие пузырьки вздувались и лопались на черных губах того, чья нисба теперь сайид-на. Совсем недавно объявился он среди семи владык учения, и хоть только «великий даи» его ступень, сам верховный даи аддуат признал его волю. Ибо вывести учение из чистоты подполья и стать видимым в мире — его призыв и исполнение. И в Алухамут он вошел обманом, не колеблясь.

Сына ждал к себе в этот памятный день сайид-на. К истинной вере приобщался тот в Куме и с детских лет не видел отца, отдавшего все помыслы учению. Один только этот сын и оставался в мире у святого имама.

Одетые в грубую ткань, безмолвно стояли семеро юношей, и сзади зияла пропасть. Сайид-на вышел к ним, как обычно, и лицо его было закрыто. Вдруг желто-белую ромашку, сорванную по дороге, увидел он меж пальцев у крайнего фидаи, который и был его сын. Имам приблизился своим быстрым, неслышным шагом и посмотрел ему в глаза. «Нет, не уверуешь ты!» – прошептал он, и все это услышали.

Сайид-на левой рукой отвел покрывало со своего лица, чтобы проститься с сыном. А правой рукой он отстранил его от себя, и тот с открытыми глазами полетел в бездну ударяясь о скалы. И кричали потом внизу грифы...

Устад читал цифры, и на череп была похожа пустая тыква в пламени светильника. Точно такую же тыкву держал в руке сайид-на в последний раз, когда он видел в горах святого имама. А потом тыква покатилась по темному ковру к желтой когтистой лапе птицы Симург.

— О, сколь нищи вы духом! — закричал сайид-на, и белая полоска ровно окружала его рот.

Он кричал, что Бог отвлечен и недоступен, так что бесцельны молитвы. Лишь Мировой Разум — производное от Бога, и к нему следует обращать мысли. От разума и бесконечно ниже его душа, а атрибут ее — жизнь со всеми ее несовершенствами. Кто же не видит, как несовершенно все, что вокруг нас: земля, планеты, созвездия, одинаково дурно пахнущие скоты и люди, тот воистину слеп и лишен обоняния...

Белые пузырьки все лопались и засыхали у кромки его черного рта. И только даи Кийа — его верный сподвижник — соглашался с ним из семи владык учения. Остальные говорили,

что нельзя отделять учение от Бога и его законов, переданных людям через Посланника. Они не хотели преступать некую линию добра и зла, начертанную в слабой человеческой душе. Хоть разделено учение на сокровенное, доступное лишь избранным, и видимое — для остальных людей, но и высшим даи надлежит придерживаться правил, принятых между этими людьми. И еще говорили они, что нельзя давать ученикам-фидаи шарики из сока конопли, от которого безумеют люди. А женщин, что приводит для их обольщения даи Кийа, следует изгнать из крепостей...

Снова кричал сайид-на. И он спрашивал их, чего добились праведностью и почитанием добра. Помогли ли они, старики, учению своими стихами и молитвами? Нет, сгустилась тьма над миром, торжествует ложь, а черные упыри беспрепятственно летают во все стороны, избирая себе жертвы. Верные слуги Ахримана[1] сельджуки — царствуют над людьми, а некий мерзостный старик построил пирамиду, где верхние камни давят на нижние и словно в могиле цепенеет разум. «Устроение Государства» дана ему нисба, и вселенским гонителем правды состоит он вот уже тридцать лет.

Разве молитвы открыли им ворота крепости на скале? А он пришел и открыл, потому что выше лживых Божьих заповедей надлежит быть вождем учения. И в другие горные крепости так же вошли они. Не словесными узорами, а крепкими, грубыми крыльями обрастают здесь избранные. В седьмой и двенадцатый день месяца взлетают они отсюда, чтобы где-то на другом конце земли камнем пасть на очередного прислужника лжи.

Не проповедями сокрушена станет дьявольская пирамида, а строгой организацией. Для того и разделены приверженцы учения на имамов-даи, чье дело — постижение тайны и руководство, и прочих членов братства, чья обязанность — содержать имамов. Послушание — смысл и доблесть учения, и достаточно прочим лишь верить в правду. И пусть в городах и селениях выводят люди белого коня в ожидании потомка хезрета Али, который возвестит миру царство справедливости. Мы-то знаем, что не имеет значения кровь при пророчестве. В каждую эпоху озаряет свет высшей истины одного из людей. Были уже великие пророки и имамы от иудеев, от арабов, и разве не может прийти имам-наставник человечества от арийцев?..

Так пусть же творят свои молитвы несовершенные люди. И когда смотрят в нашу сторону, то видят, что и мы как будто молимся с ними. Но не будет для нас недозволенного, ибо от нас, а не от некоего Бога дается позволение. На действие и на

[1] Ахриман — дух зла.

убийство оно. Нечего бояться слов, придуманных людьми. Ложными друзьями будем мы становиться и станем сходиться с врагами, коль надо для величия учения. И что при этом, если обезумеют рядовые фидаи от конопли или обретают в поощрение жалкую плоть женщины...

Темная фигура шагирда возникла в проеме двери. Тонкое, красивое лицо с матовыми глазами было у него. Устад смотрел на него некоторое время, потом указал на место рядом с собой.

Глава четвертая

I. ВАЗИР

Об амилях, о постоянном и непременном разузнавании дел служащих... Амилям — людям, что возле денег, при вручении должности следует внушать, чтобы они хорошо обращались с правоверным народом, не брали бы сверх законного налога, предъявляли бы свои требования учтиво, в хорошем виде, и пока рука райята не ощутит урожай, пусть ничего не требуют с него, чтобы он остался на месте, не ушел бы из своего дома в скитания... К каждому, кому вручается большая должность, следует также приставить мушерифа, чтобы тот об этом не знал, а мушериф будет постоянно осведомлять об его делах и обстоятельствах...[1]

Здесь все верно. О людях, что возле денег, писать много не надо. Их следует всякий раз проверять и, если взял лишнее, отбирать вместе с тем, что у него было раньше. А коль несоразмерно жаден амиль — смещать, заменяя лицом достойным, уравновешенным в еде и одежде. О них можно привести свидетельство с царем Кубадом, который в семилетний голод, благодаря строгости спроса с амилей, сумел кормить людей своего царства, и ни один из них не умер от отсутствия пищи. Таковы оказались в государстве скрытые возможности службы амилей.

Более важны тут примеры с вазирами, чтобы уразумел Величайший султан и все прочие, что такова эта должность, состоя при которой легко пустить по ветру все царство. А для этого ничего нет лучше сказания о великом царе Бахраме Гуре и его вазире Раст Равише. Некоего преступника приблизил к себе коварный вазир. Тот незаконно сажал в тюрьму всякого, у кого

[1] Сиасет-намэ, с. 24, 33.

были имущество, лощадь, гулам, красивая рабыня или поместье. Вазир же за деньги освобождал пострадавшего, забирая из его имущества все, что понравилось. Так долго это длилось, что обнищали и разбрелись кто куда люди, и не от кого стало наполнять казну. Объявился в то время у царства старый враг — китайский фангфур, но не было в казне денег, а у воинов не было крепости в руках. Тогда Бахрам Гур, по своему обычаю, переоделся и поехал по земле, чтобы понять, откуда это разорение.

Семь фарсангов проехал царь по пустыне, пока не увидел стадо овец и пастуха. А когда пастух помог ему сойти с коня, он с удивлением заметил повешенную на стойке шатра собаку. Пастух принял путника, как положено, угостил чаем и рассказал о собаке. Вначале хороший и честный был этот пес, сам гонял к водопою стадо и в сохранности пригонял обратно. Но потом вдруг стали одна за другой пропадать овцы. Когда их сделалось совсем мало, пастух решил проследить, в чем дело. Он залег неподалеку от водопоя и увидел вдруг идущую к стаду волчицу. Пес побежал ей навстречу, виляя хвостом. Потом он забежал сзади, они слюбились с волчицей, и пес лег спать брюхом кверху. Волчица же захватила овцу и поволокла в пустыню. Потому и повешен был пес, а овцы с тех пор стали пастись в безопасности.

Всю дорогу назад думал Бахрам Гур над этим делом и по собственной ему силе ума сравнил дела пастуха и дела государства. Поняв, кто лукавый пес между ним и подданными, он приказал схватить Раст Равиша и объявить о том в царстве. Сразу пришли со всех сторон люди, потому что не было там человека, которого не ограбил бы недостойный вазир. А когда потребовал царь царей тюремные списки, то из более чем семисот узников оказалось менее двадцати убийц-кровников, воров и преступников, остальные же были честные воины, хлебопашцы и люди пера, пострадавшие потому, что противились произволу или громко говорили о том.

Произведен был затем обыск в делах Раст Равиша, нашли письмо его к китайскому фангфуру, в котором приглашает он Сына Неба прийти и покорить расшатанное им арийское царство, чтобы поставить в нем другого правителя. Вот тогда понял царь царей, каково быть небрежным к делам своих вазиров, когда лукавы и вероломны они... А причина победы Искандера над Дарием не та ли, что вазир Дария тайно объединился с македонским царем!..

И здесь-то надо будет сказать Магриби, чтобы словно невзначай назвал батинитом того преступника, с которым соединился изменник вазир для действий против государя. Коль не

совсем затмило ум Малик-шаху, то поймет, в чем смысл поучения.

Такова мудрость действий мужей Эраншахра, что ко всем временам подходят их правила. Простота и ясность является в них без вредного в делах правления умствования. В ряд у стены стоят книги на языке древних царей — пехлеви, и словно жемчуг собран тут со всех отмелей мира. Но не отыскали еще главную жемчужину — книгу установлений «Ден-намак». Бесценны собранные там вразумления для правителей, и только выписки из нее читал он некогда у арабов. Можно также сослаться на мудрость китайских фангфуров в обращении с народом. Но главное — «Ден-намак».

Эта ли книга была под коленом у младшей жены султана, когда стояла при гуламе, или привиделось тогда ему? Главный евнух Шахр-хадим нес ее всякий раз следом. Но не знают о такой книге, и затерялась она в безвременье...

С решимостью встал он на молитву. И когда дошел до коленопреклонения, отогнал от себя мысль о блуднице. Но некое напряжение было во всех членах, и не пришло полной радости очищения. Глаза его сами остановились на том месте стола, куда в первый раз укатился калам. Он поспешно отступил от стола к двери.

А в саду было пусто. К клумбе с тюльпанами перед домом Тюрчанки отозван был сегодня поутру садовник-шагирд, и недаром кривились губы у Абу-л-Ганаима. Не в шагире дело, а в необходимости утверждения себя новым вазиром. Полдня не прошло, как отменил султан свое повеление оставить садовника в его кушке, и вот снова настоял на своем Абу-л-Ганаим. Люди в Мерве уже знают обо всем.

Даже первый ряд травы от арыка не закончил укладывать шагирд, и лежали там в беспорядке пересохшие квадраты дерна. Такого нельзя оставлять без последствий, хоть как будто ничтожное дело. И в малом должно уразуметь всем, в том числе и султану, кто на самом деле остается устроителем государства. Извечен порядок, и не поколеблет его сила прихоти блудящей женщины...

Каждые два шага уходило назад просчитанное дерево. Дойдя до конца аллеи, он почему-то задержался. За рубчатой стеной кушка, где-то далеко в селении Ар-Разик, кричали играющие дети. Особо выделялся один голос, пронзительный и несмолкающий. Наверно, у хауза, полного водой, идет их игра. А посредине воды сидит их дед, но почему-то медлит бросить в них галошей...

Он пошел обратно, проверяя счет деревьев. Все сошлось, но успокоение не приходило. Гуламу у двери сказал он, чтобы

послали к старосте — кедходе — селения Ар-Разик с приказанием не кричать детям.

Имама Омара сегодня не было, так как позван в дом Тюрчанки. Величайший Султан будет находиться там, и присутствие надимов обязательно. А экзиларх Ниссон, вызванный прийти, отговорился, что некий иудейский праздник сегодня, при котором запрет на занятия мирские. Как всегда, что-нибудь наперекор у иудея. Но так или иначе, а завтра с него спросится по субботней здравице...

За столом он сидел и смотрел только в написанное. Магриби тоже у Тюрчанки, так что в другой раз изложит историю с царем и лукавым вазиром. К месту там будет и волчица, совратившая честного пса.

Все там сейчас, в розовом доме Тюрчанки. Посланы люди от него сказать, что выполняет поручение Величайшего Султана — пишет книгу о правлении и не сможет быть потому. А назавтра всенародно, с трубами и гуламами, навестит дом старшей жены султана, чей сын Баркиярук — законный наследник. И пусть видят все в этом укор его как атабека.

Пока же получилось так, что нечего было ему делать. Некое предчувствие томило его. И опять на то место стола посмотрел он, куда некогда укатился калам. Чтобы отвести искушение, он встал и походил, не выпуская из руки золотого стержня. Но когда вернулся, то уже знал, что снова пришло необъяснимое...

Помимо ума все это делалось. Сама по себе поднялась рука над столом, и покатился из нее калам. Все медленнее вились золотые нити. Ухватившись руками за край стола, он ждал. Тихо было в мире, и недоумение охватило его. Калам остановился, но Тюрчанка не явилась...

Осторожно обойдя стол, он поправил калам. Теперь стержень лежал точно так, как в первый раз, когда случился ветер. Он оглянулся на дверь, посмотрел в окно, но ничего не происходило в мире.

И тогда он заторопился. Даже не сев на свое место, простучал каламом по столу, еще и еще раз. И сказал вбежавшему гуламу, чтобы готовили срочный выезд.

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Прятались за дувалами люди мушериф-эмира. У Ворот Знаменосца толпились райяты, погонщики, каландары, люди рабада, и все они были тоже от мушериф-эмира. Впереди скакал

особый доверенный гулам, тайно объявляющий об улице, по которой сейчас поедут. Сразу же на той улице возле каждого человека становился мушериф. В чорсу и лавках на базаре стояли наготове скрытые мушерифы, а вдоль проезда — локоть к локтю — выстраивалась явная стража. Двенадцать новых столбов были вкопаны в землю на базаре для батинитов, и огорожено теперь стало место от играющих детей.

В ворота некоего мервского дома въехали с ним лишь десять гуламов личной стражи и остались при конях во дворе. Он же сам прошел в дом, спустился по ступеням, и ход открылся в стене. Сто двадцать шагов просчитал он и взялся за медное кольцо. Из сторожки при книгохранилище вышел он на аллею султанского сада. Был виден между деревьями дом Тюрчанки, и один только шагирд возился у клумбы с тюльпанами.

Вплотную подошел он, и прянул вдруг шагирд от земли, ухватившись за кетмень. Как у мальчика в Тусе были у него глаза, и все сглатывал он что-то, будто не мог никак проглотить. Не забывается хлеб, ибо нет меры благодарности за него.

Да, на этом, а не на неких миражах, зиждется его учение о государстве. Ежедневным хлебом должен быть привязан к нему человек. И всю жизнь помнится этот хлеб, ибо такова природа вещей. Тридцать лет уже незыблемо стоит возведенное им здание...

Все уже решил он о шагирде. Возле себя необходим ему человек, чья верность от хлеба. Днем и ночью пусть будет рядом и не отрывает глаз от рукава у каждого, кто приблизится к нему.

Шагирд отвел кетмень. Солнце отразилось в сточенном железе. А он пошел к розовому дому, вглядываясь в нечто под ногами. На влажном песке четко были обозначены знакомые маленькие следы...

III. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Рука бессильно упала. Кетмень ударился о землю, до половины войдя острием в унавоженную мякоть клумбы. Подрагивали травинки с красными каплями воды...

Это голос когда-то давшего хлеб человека послышался ему. Горло сразу перехватило сытым удушьем. Поднявшись от земли, увидел он все те же знакомые круглые глаза. Сострадание было в них, и, не думая, отвел он кетмень для удара.

Но удалялась прямая спина в золотых блестках. Ровно плыла голова с высоким белым тюрбаном. Меж ними желтел беззащитный затылок.

Ножа не было с ним, потому что осматривают всех при

входе. В каждой нише и за деревьями сидят наготове стрелки с луками, и не разрешил пока даи-худжжат выполнять предопределенное. Почему же сейчас едва не случилось это?..

В Тусе впервые это произошло, когда ощутил он себя. Рычание и хруст слышались в полутьме. Очень маленький лежал он в углу некоего дома и все боялся собак, забегающих с улицы. Они доедали брата, умершего последним. И появился тогда человек, который дал ему хлеб. Тяжелый, теплый запах его ударил в лицо, и закружилась, закачалась земля, холодной яростью стиснуло горло...

И вдруг он все понял. Не дьявола в мире только что увидел он, а этого человека. От протянутого им хлеба брызнули кровью тюльпаны. Всю жизнь день за днем видел он, как отточенная яркость кетменя входит в податливое тело. Растерянный, ослепленный прозрением, слышал он, как хрустит песок от шагов уходящего...

Зловонием исходила земля. Перед старым каналом стоял он теперь, куда стекает все мерзкое и гнойное, извергнутое людьми. Зачем он пришел сюда?..

О гябрских женщинах говорил там, в горах, что-то большегубый фидаи. Здесь, в развалинах, их капище, а в рабаде он встретил вчера ту, что была с ним в заоблачном сне. Уткнувшись ей в грудь, плакал он когда-то, и пахло от нее по-земному.

С ней, как и с человеком, давшим ему хлеб, которого он хочет убить. Все наоборот в этом мире, где днем сияет солнце, а ночью загораются звезды. Насилие в основе всего. Зло за добро тут плата, а от хлеба ненависть. Правда — в другом мире...

Ворота к гябрам были перед ним. Играла музыка, и костер горел в сгустившейся тьме...

IV. СУД ИМАМА ОМАРА

Все тут под знаком хатун, но цвет или форма неуловимы. Нарастающий гул подавляет прочие звуки мира. Он и сейчас слышится, этот гул, словно миллионы копыт бьют в черствую корку земли, разбивая ее, сотрясая до основания. Только свет, исходящий от хатун, осязаем.

Из века в век стихи о луне, и без смысла употребляется сравнение с ней женщины. Но все видевшие говорят про некий свет, излучаемый тюркской женой султана. На базарах шепчут батиниты, что от дьявола такое свечение в доме Сельджуков.

Приемный зал у хатун здесь проще, чем в Исфагане. Зато подальше от багдадских законников-факихов и ближе к туранским шаманам-баксы. Тахт ее в Мерве на одной высоте с тахтом Величайшего Султана, что положено не ей, а только старшей жене.

На разные голоса призывают Божье благословение надимы у стены, и его возглас на своем месте среди них. Каждого слышно в отдельности, а все сообща являют необходимую гармонию. Хаджиб Дома, проверяющий всякий раз их умение, имеет тончайший слух.

В последний раз смотрят подручные хаджиба, все ли на местах, по форме ли одеты. Он быстро подбирает ноги в грубошерстных чулках — джурабах, которые не сменил, идя от гябров. Не для султанского приема эти чулки. Зато халат на нем, как установлено: ярко-синий, с вышитыми серебром луной и звездами.

На свой особый тахт всходит Величайший Султан, и будто в сломанный карнай пытается кто-то выдуть мелодию. Сверкание клыча над миром осталось ему от отца Алп-Арслана. Но нет более хрупкого металла, чем сталь. Знак султана рассыпается на крупные бесформенные осколки...

Ясно выговаривает султан формулу бога и Посланника. Три зубчатых рога на золотой короне Кеев покачиваются в такт свидетельству. Могучи тело и руки, но некая печаль тления в зеленых глазах Малик-шаха. Будто на невидимой цепи он среди людей и давно уже перестал дергать ее. Агай — великий воспитатель, и с семи лет султан на его попечении.

Шепчутся все по стенам и нишам. Двурогие и однорогие эмиры расправляют одежды, оставляя правые руки на перевязях.

Локти у них торчат углами, словно волчьи клыки. Новый вазир Абу-л-Ганаим далеко вперед вытягивает шею. Султан слушает и смотрит в узкую прорезь окна под потолком. Там видно небо.

Красные, фиолетовые, голубые тени возникают на айване. Лишь младшие жены эмиров здесь по древнему правилу. Глухо закрыты лица персиянок, у остальных же, по туркменскому обычаю, высится золотой борик на голове, и только рот с подбородком ограждены «платком молчания». В единый ряд сливаются они: широкая золотая полоса сверху, красная — снизу, и полоска неживой китайской пудры между ними. Ровная исфаганская линия бровей прочерчена через весь ряд. И только глаза искрятся будто специально для Магриби, чтобы сравнил их с ширазскими звездами.

Шахар-хадим появляется из вырезанных сердцем ворот, и люди гарема простилают особый ковер к тахту. Кивает от

золотой решетки строгая хаджиба Айша-ханум. Прислужники сдвигают «занавес скромности», чтобы оградить хатун от мужских взглядов. Но лишь чуть подвинув его, они подвязывают шнуры. В Исфагане занавес закрывался до половины...

Знак хатун проявляется сразу. Будто громом раскалывает тишину ожидания. Миллионами искр рассыпаются звезды на айване. С вытянутой шеей так и остается новый вазир. Эмиры забывают о локтях, и руки их сами собой прижимаются к телу. В вечном изумлении открыт рот у султана. А грозный гул из неведомых глубин то нарастает, то укатывается в бесконечность.

И только когда возникает хатун, замечает он, что сам тоже делается другим. Все уже не такое, как было до ее прихода: тело, руки, дыхание. Невольно опускает он глаза, не в силах смотреть на нее, стыдясь Божьего совершенства. Именно в такую минуту закрыл Пророк им лица.

Чуть поведя плечом в сторону султана, садится она рядом и смотрит сверху на эмиров. От четких маленьких ушей до подбородка открыто лицо у нее, а вместо борика — узкий обруч. Нечто необычное ощущается вокруг. И вправду свет струится от рук и лица у младшей жены султана. Все потускнело, и одна она сияет сейчас в мире. Первый сказавший о луне и женщине был воистину поэт.

Грех или не грех такая великая красота? Она не вызывает, подобно Рей, плотских порывов, и как абсолютное творение Бога — маленькая Тюрчанка на троне. Потому, быть может, и опускаются глаза, что нельзя подсматривать в доме у Творца...

Один за другим под ее взглядом отставляют локти эмиры. Потом она смотрит в сторону надимов, и немеют те перед неведомым светом. Но из прочих выделяет его хатун. Лишь черточка бровей надламывается у нее, и чувствует он, как в постыдной радостй пламенеет лицо. С подозрением глядит на него Абу-л-Ганаим, вазир...

Разносят мороженое на серебряных подставках мальчики-гуламы. Белыми и розовыми шарами уложено оно, и свой вкус у каждого. Знаменитый мастер-иудей привезен для этого из Исфагана. От предков, кормивших мороженым еще царей Эраншахра, его секреты. Особые гуламы несут вино в кувшинах.

Надим с плоским лицом шепчет, что сам видел, как пригнали на черный двор четыре сотни баранов для сегодняшнего угощения. Все хайльбаши и сарханги войска позваны к хатун, и в саду над Мургабом расстелили для них дастархан. Каждодневно теперь будет так. Великий пост скоро, и следует окрепнуть к его началу. Предстоит дальняя дорога войску к дому халифа в Багдад, и, как всегда, об этом уже знают на базаре.

Крик голодной цапли прозвучал в мире. Пришел черед Магриби, и, закатив глаза под веки, тонко поет стихотворец свою касыду. Да, ширазские звезды блекнут при виде луны. Но даже луна устыдилась появиться нынче в Хорасане, так как затмила ее некая другая луна. Рядом с солнцем утвердилась она, ибо от него изливаются на землю животворные лучи, наполняя счастьем сердца...

От горки срезанных тюльпанов на блюде берет хатун и бросает стебелек поэту. С другой стороны султан подталкивает к нему ногой мешочек с серебром. Подметившие это движение надимы сразу цокают языками, дивясь силе поэтического слова. О щедрости султана говорят они между собой на разные голоса, и снова возникает гармония.

Потом поют и танцуют мутрибы[1] — люди из цыганского племени. Велика сила их искусства, и уже не на свой индийский ласковый манер, а совсем по-тюркски приседают они в танце, выбрасывая ноги в стороны. Только тюрки пляшут так из народов земли, и куда еще понесут этот лихой обычай цыгане...

Некое синее пламя полыхнуло в зале. Нет, не почудилось ему. Он быстро поворачивает голову и видит, как изменилось лицо у хатун. Из глаз ее этот испепеляющий свет, и неотрывно смотрит она на пустые золотые ворота.

Совсем другая теперь у нее красота. Сразу раздулись и стали круглыми ноздри маленького носа. Угол неприятия начертан в сломанной линии бровей, и Божье право в этом. Она ждет, выпятив губу.

Медленно расходятся створки ворот, и прямая высокая фигура обозначается между ними. Опускает свою чашу султан, перестают качаться рога у эмиров, умолкают надимы. Поцеловав руку и приложив ее к ковру, агай проходит на свою пустующую подушку. Звякает в последний раз запоздавший бубен. А в наступившей тишине громко, совсем по-кошачьи, фыркает хатун...

Глава пятая

I. ВАЗИР

Об иктадарах, о разузнавании, как они обращаются с народом... Получившие в кормление ту или иную область — иктадары пусть знают, что по отношению к народу им не приказано ничего, кроме как собирать добрым образом законную подать,

[1] Мутрибы — актеры и музыканты.

что им перепоручена; когда они это собрали, пусть будут у людей безопасны тело, имущество, жены и дети, пусть будут безопасны их вещи. Кто сделает иначе, пусть укоротят руки... следует каждые два-три года сменять их, чтобы не могли укрепиться, создать себе прочность и доставить беспокойство...[1]

Для тех, кто имеет что-нибудь свое в государстве, сказано здесь о народе. Должны знать они, что в каждый из дней возможно все у них отобрать, а другие люди будут радоваться и славить правителя.

Лучше всего, когда ничего своего не имеет человек, а тем только живет, что получает по милости султана. Тогда не приходит ему в голову мысль о мятеже, ибо боится потерять ежемесячное жалованье и остаться вовсе без хлеба. От имущества у людей самостоятельность, и имеющий две коровы не в меру строптивей того, кто имеет одну. Но так как пока еще недостижимо, чтобы ничего своего не имели люди, а есть у каждого дом, жены и дети, то пусть знают, что во всякий день могут быть посланы к ним мушерифы, которые обвинят их в мятеже и отберут все. Ибо каждый из людей только раб султана, а значит, и имущество это не его, а султана.

Об амирах тут говорится особо. Посылая их править на места, ни в коем случае нельзя позволить им забывать, что только на время — в икта — дается ему тот край на пользование. Ни брату, ни сыну не может иктадар передать свои права, ибо не его личное это имущество и люди, а тоже султана. А чтобы не утверждались они на местах и не заводили себе сторонников, нужно как можно чаще менять их, переводя из области в область. Тогда не будет опоры у эмиров, и станут во всем полагаться лишь на благоволение султана.

Много есть примеров, как подрезали государи постромки своим эмирам, но лучше всего поведать здесь о Хосрое Ануширване. Когда увидел этот царь, что правитель Азербайджана окреп, завел там себе сторонников и неохотно уже лобызает пол перед высочайшим троном, то тайно отправил доверенного гулама в его владения. Известна стала к тому времени жалоба оттуда от некой старушки. Достали ее из ящика, прочли. И как только подтвердилось, что незаконно отобрали там у нее огород, царь сказал: «Итак, приказываю о сем самоуправном правителе: отделите кожу от тела, бросьте мясо собакам, набейте оболочку соломой и повесьте над воротами дворца. При этом объявляйте

[1] Сиасет-намэ, с. 34, 43.

всенародно в течение семи дней: если кто впредь станет проявлять у нас в государстве жестокость или отнимет незаконно хотя бы торбу соломы, курицу или пучок травы, то поступят с ними так же!»

Эмирам и сановникам впрок пойдет этот рассказ. Справедливость Ануширвана несомненна. И всякий эмир поймет, что всегда можно отыскать старушку к случаю.

На место среди других книг бережно положил он поучения царя Ануширвана, откуда рассказ о старушке. Все здесь собрано у него, но нет венчающей мудрость вершины. Не нашли еще «Ден-намаю» — великую книгу о тайнах правления...

Сегодня Тюрчанка не мешала молитве, а он был внимателен, доходя до преклонения колен. Вчера только увидел он ее воочию в четырех шагах, так как рядом сидела она с Величайшим Султаном. Не позволено такое, потому что не наследуют по закону Высочайшее Стремя дети Тюрчанки. И занавес тоже был сдвинут, чтобы прикрыть наготу ее лица. Не ждали они там его, а потому и цыган призвали прямо в гарем. Всякое, конечно, допустимо для султана, но не на виду у всего города. Тень Бога он на земле, и что будет, если с легкомыслием начнут относиться к этому?..

Абу-л-Ганаим, вазир, обязан был воспрепятствовать такому сборищу. Но криводушен сей муж, и как бы не подтвердилось нечто с ним, как с лукавым Раст Равишем в давние времена. Следует сказать мушериф-эмирам, чтобы усилили наблюдение...

Про то, что явился экзиларх Ниссон и ждет при воротах, было доложено ему. Он кивнул головой и пошел в сад. Иудею положено ждать...

Шагирда еще не было в саду, и присохшие квадраты дерна валялись у арыка. Однако окончательно договорено вчера с султаном, что насовсем отпускается к нему шагирд. Опять покривились при этом губы Абу-л-Ганаима, но свое давнее право у него на этого юношу.

Досчитав деревья, он остановился, прислушиваясь. Дети не кричали больше в селении Ар-Разик, и порядок был в мире. Про некий хауз посреди селения снова подумалось ему. Сидит или нет там какой-нибудь старик с палкой в руке? Постояв еще немного, пошел он назад. Зайдя к себе, он взял калам, простучал трижды по столу и сказал, чтобы впустили иудея.

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Еще не вошел экзиларх Ниссон, а некое прозрение посетило его. Как же не видел он этого раньше? Одни глаза у иудея с Тюрчанкой, а у той глаза точно такие же, как у беспутного имама. Незримая связь между ними, и когда катится калам от блудницы, то является имам Омар. И иудей, конечно, тут же!

От разных народов они: имам, блудница и иудей, но некий тайный свет у них в глазах. Будто известно им нечто, чего не знают прочие люди, и раздражает это всякого правоверного. Нет правил для таких, и наперекор Божьему порядку норовят утвердить себя...

А иудей уже вошел и смотрит на него своими ласковыми глазами. Пятьдесят лет знает он этого экзиларха, всякую неделю встречается с ним в книгохранилище Бен-Натаниила из Нишапура, но каждый раз возникает беспокойство при таком его взгляде. Снова чего-то хочет добиться тот, но не получится сегодня у иудея.

Нет опаснее народа для государства, и не бывает смуты без них. Даже с Богом своим не сумели поладить они. Многое от иудеев, и когда предвидится недовольство в державе, им первым следует напоминать о страхе Божьем. Для этого нужно ежечасно указывать людям в их сторону. Тем самым достигается спасительный страх иудеев перед беспорядком, а правоверные удовлетворяют свою душевную нужду.

Именно теперь нельзя уклоняться от положенного в обращении с иудеями. О шатрах и овцах говорится в их завете, и близко это кочующим тюркам. Зовущиеся хазарами из народа тюрков уже царей привезли к себе на Итиль из дома Давидова, другие же в Мавераннахре следуют учению распятого пророка Исо, который от того же иудейского корня. А здесь на еврейку Эсфирь и самого Бахрама Гура, чья мать была от них, ссылаются иудеи в подтверждение своего родства с царями.

Понимание и согласие в глазах экзиларха Ниссона. Да, он нисколько не обижается на старого друга, на великого вазира, можно сказать. Кому не ясно, что́ за времена сейчас пошли и чего еще можно ждать впереди. Конечно же, такому человеку, вазиру, можно сказать, после ухода от дел приходится быть особенно строгим в соблюдении закона. Тем более закона с евреями. Все понимают это в Хорасане, и никто не имеет никаких претензий, боже упаси!..

Нет, не сказал этого вслух экзиларх, а только обежал комнату взглядом, понимающе приподнял брови и по-своему

качнул головой. Для себя он как будто это проделал, но понятней все было, чем на словах. И только потом послышался певучий голос:

— Вы призвали меня с этой здравицей, я знаю!..

Не останавливаясь заговорил экзиларх Ниссон, чтобы не попросить разрешения сесть, как требуется от них в присутствии правоверного. Вечная гордыня в глубине блеснувших глаз у иудея, из-за которой сразу неспокойны становятся другие люди. Джахуддан — «любимые Богом» — называют издавна их среди персов, но когда идут из квартала мясников громить их дома, то кричат по-базарному «джугит» — «собачьи любимцы».

Экзиларх между тем говорит об иудеях, всегда ценивших устройство и порядок в государстве, установленный их старым покровителем, великим вазиром, можно сказать. Всегда оберегал и предупреждал он их, если что-нибудь делали не так. Кому, как не им, необходимы мир и спокойствие, ибо кто же они: врачи, красильщики, музыканты, мастера чеканки, шапочники, гранильщики камней, люди пера и люди базара! Никому не нужны станут их руки и умение, если случится разруха в государстве. Зачем же лишать их своих правил жизни, если даже от великого Пророка, можно сказать, которому поклоняются люди в этой державе, дано им на то разрешение...

Все правильно говорит экзиларх, и нельзя относиться к людям Писания, как к гябрам, шаманствующим, идолопоклонникам и прочим. Книги их не отрицал Пророк, и к ним первым обратился со своим словом. Когда же правоверный государь свидетельствует перед халифом, то клянется также торой и евангелием. Но речь-то не о божьей клятве, а о здравице с формулой правящего дома, и ни к чему здесь иудейское упорство.

А тот уже и сам понял, что неубедительны его доводы. Как видно, заготовил он к такому случаю нечто необычное. Но не проведет его на этот раз иудей!..

Экзиларх Ниссон больше ничего не говорит. Он разворачивает сложенное вчетверо шелковое покрывало с желто-синими птицами. Маленькие сухие руки его двигаются осторожно, словно что-то живое в них. Видится уже из-под покрывала кожа с тиснением, тускло поблескивает бронза. А длинная белая борода экзиларха вскидывается к потолку, и совсем по-детски открываются большие черные иудейские глаза. Радостное сияние в них, и доверчиво протягивает он обеими руками книгу. Это «Ден-намак», начало начал, утерянная некогда людьми книга установлений Эраншахра...

Все прочее в мире забыто. Они уже сидят рядом, смотрят, восклицают всякий раз, подталкивая друг друга локтями, цокают языками...

Знак огня на всем здесь у гябров. Царями были они, и разве не это их сущность: развалины рукотворной горы, промышляющая людскими страстями Рей, скрытый в недрах храм? Сколько жара ушло на черепки, из которых состоит гора! С царства на царство перебрасывается огонь, и тщетны усилия затушить его.

«Передняя из двух звезд на заднем весле, то есть звезда Сухейль...» Он записывает ее долготу и широту в двадцатый год эры Малик-шаха. Румийцы называли этот звездный челн «Кораблем Арго», а звезду именовали Канопус. Соответствующий ей темперамент по вавилонской гадальной схеме это Сатурн с Юпитером. Агай будет удовлетворен. Все на месте в мире, если даже темпераменты не оставлены без присмотра.

Хорошо работается здесь, на высоте, и не мешает ему обычная суета пьющих. В синюю пыль уплывает солнце. Ровный ветер пустыни сушит лицо, и не достигает сюда даже запах отхожих мест, невыносимый в мервскую жару.

Все ярче «костер греха». Начинают уже корежиться в бесцветном пламени ожившие ветви саксаула. Лучники из свободного туркменского войска пьют молча. Огонь им ни к чему, а когда понадобится женщина, они уходят на айван и вскоре возвращаются. Один из них, десятник-онбаши с рассеченным лбом, достает из тряпок дутар.

Долго, однообразно бьют пальцы по струнам, но не слышно звона. Из высушенных жил струны, и в ровную скупую линию укладываются звуки. Особенная дробь костяшек устанавливает неистовый такт. Лишь изредка меняется нота, словно язык пламени вырывается вдруг в сторону.

Все обнажено, и нет в этой музыке манящей персидской симметрии. Знакомый далекий гул слышится время от времени. Мерно качаются головы у туркмен, и глаза их закрыты. Рядом с ним Рей качает головой. И себя он ловит на том же...

Тоскующий крик вырывается вдруг из сдавленного горла музыканта-бахши. Бесконечно исходит он откуда-то из неопознанных глубин, потом начинает прерываться, словно не может слабая плоть удержать в себе сразу все страдание мира. Искры костра взметаются в угасшее небо, мучительно изламываются раскаленные корни, жаждая освобождения. Бурными толчками, сама себя обгоняя, несется мелодия, и опять долгий, непрерывный вопль...

Бессмысленны для этой музыки обычные исчисления, которые в старом трактате его «Китаб ал-мусик». Здесь тоже относительны величины и сходятся параллельные линии. Так

люди пели некогда и так они когда-нибудь будут петь. Давно ускакали туркмены к своим шатрам у реки, а крик утерянной человеческой воли продолжает наполнять землю...

Из руки у Рей выпадает выцветшая хламида старца мобеда, которую штопает она кривой медной иглой. Испуг у нее в глазах. Никого нет там, куда она смотрит, кроме молодого садовника-шагирда из Исфагана. Тот стоит у входа и ищет кого-то взглядом.

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

С горы побежал он во тьму, и сыплются камни из-под ног. Пламя все еще пляшет в глазах, а в углу двора рядом со считающим звезды имамом сидит женщина, которую видел он в другом мире. Она шьет при огне большой медной иглой, и волосы золотятся у ней под рукой...

Вокруг он ходил эти дни, и сегодня пришел к гябрам. Значит, все правильно говорил большегубый фидаи, а женщин в горы привозили для них из обычных «приютов греха» в Исфагане. К чему же это, если несомненна правда?

Некоего разносчика кувшинов встретил вчера он на базаре. Их заказывают люди у устада-горшечника, а ученик несет по городу. Знакомо выдавалась губа у встреченного, и незаметно мигнул тот ему. Нельзя узнавать им друг друга в мире, так что дальше пошел по базару Большегубый. Раскачивались на длинной жерди подвязанные соломой горшки и кувшины, мягко стукаясь при каждом его шаге...

— Что дороже вечности?..

— Тайна!

Даи-худжжат смотрит в глаза, и нельзя ему скрывать свои мысли от учителя. О спасительном хлебе говорит он, протянутом ему некогда. А сейчас этот человек означает дьявола в мире. Но не это смущает его. Дурное чувство овладело им в саду, потому что именно из-за этого хлеба хотел он убить...

Пламя светильника чуть колеблется от их дыхания. Устад разъясняет, что не нужно спешить. Благое дело — приблизиться к Гонителю, и ничто так не к месту здесь, как кусок хлеба, полученный некогда из его руки. Благодарности ждет одаривший, а потому сердце его всегда расположено к тому, кому оказано благодеяние.

И вовсе не от полученного когда-то хлеба посетило его

желание убийства, ибо неестественно такое для человека. Душа людская так устроена, что помнит родство, не забывает обиду и открывается навстречу добру и ласке. Однако разум всегда выше души с ее страстями, и этим отличается человек от скота и зверя. Не чувство толкнуло его руку с кетменем, а высокий разум, осудивший врага правды. Но подождать следует с этим, пока не будет дан ему знак...

Дословно пересказывает затем он устаду заученное. Поход готовится против горных крепостей, где утвердилась правда. Не только отсюда, но из Нишапура, Серахса, Абиверда, Нисы и Гургана в один и тот же день выступит войско. Говорят, что все это для сопровождения султана в Багдад, но зачем тогда придается ему полный боевой обоз? Из Мерва уже отправлены слонами двадцать орудий-манджаников для метания нефти, а в Рее строят перевозные тараны и диварканы — разрушители стен. Все вокруг, на Востоке и Западе, покорилось сельджукам, и мир у них сейчас с румийским кайсаром. Зато бессильны они противостоять учению, а каждый день все новые люди примыкают к нему. Чтобы запугать людей, новую невиданную машину для разрушения городов строят по указанию гонителя. Знаменитый мастер из иудеев рав Евсей занят этим, и никого не допускают туда...

Устад кивает головой, когда заканчивает он говорить, и сообщает ответ для некоего тайного человека из султанского дома. Известно уже все в горах. В самом скором времени прибывает оттуда высокий даи, надежда учения и правая рука сайида-на. И тогда решено будет, как поступить с этим дальше.

Он уже хочет идти, но даи-худжжат спокойным жестом останавливает его:

— Чего не рассказал ты мне, рафик?

Вздрагивает он, как пойманный на нечистом, и опускает глаза. Потом переводит дыхание и говорит все о той женщине, что была с ним в другом мире. Здесь он увидел ее сегодня, среди гябров, и не знает, что подумать об этом. Устад молчит, глядя куда-то мимо него. Тогда сам он заглядывает в глаза учителя и видит в них печаль.

Глава шестая

I. ВАЗИР

О казиях, хатибах, мухтасибе и успешности их дел... О разузнавании о делах амиля, казия, шихне, раиса и условиях управления...

О разузнавании и осведомлении о делах веры и тому подобном... государю следует изучать дела веры, исполнять обычаи веры, чтить сунну учения пророка, а также чтить вероучителей, давая им хорошее жалованье из государственной казны — бейт-ал-мал... Благодаря этому пороки, прихоти и ересь исчезнут из его государства, пресечется сама основа зла и беспокойства, укрепится положение правильных людей и искоренены будут смутьяны...[1]

Торопиться надо с написанием книги, так как определено уже число для выступления войска. Дело всей его жизни здесь, и с весны готовил он поход на дейлемских батинитов. Как только может, противится этому Абу-л-Ганаим, понимающий свою ущербность. Коль состоится поход, то быть новому вазиру лишь свидетелем при том.

На все пойдет Абу-л-Ганаим, чтобы отговорить султана от похода, и есть уже сообщение, что от батинитов приезжали к нему люди. Эмирам и военачальникам-сюбаши гулянием в горы видится предстоящее. Но укрепились дейлемские батиниты, множатся их приверженцы, и семнадцать крепостей уже у них. Жители там в горах родом от тех, кто бежал при арийских царях после разгрома злокозненного Маздака. Был сей Маздак тоже из умствующих мобедов-огнепоклонников и пожелал всех уравнять в Эраншахре: благородных и низких, умных и глупых, праведных и неправедных. Тридцать лет длилось противозаконное правление маздакитов, так что развалилось от них государство. А когда наконец ногами вверх закопал их в землю справедливый Ануширван, то с женой Маздака, по имени Хурраме, убежали в горы уцелевшие маздакиты. Что ни век — беспокойство из Дейлема для государства, и до сих пор носят там хурремиты красные одежды. Ныне исповедующие учение-батин исмаилиты из них, и один это мерзкий корень...

Так что дорого время, и о казиях, хатибах, мухтасибе или о делах амиля и шихне с раисом много писать ни к чему. Понятна их служба, а также необходимость контроля за их действиями. Важны лишь примеры, и тут достаточно рассказать о правосудии царей Эраншахра. В «Ден-намаке» говорится, что надлежит государю слезать с трона на то время, когда разбирается в суде на него жалоба. Судья без пристрастия определит, как положено по закону, и, коль оплошал государь, взыщет с него, как со всякого. Если же выяснится, что сам жалобщик

[1] Сиасет-намэ, с. 44, 49, 61.

имеет ложные притязания к властям, то положить его под слона, чтобы неповадно было прочим выискивать пороки в своем царе и государстве.

И все другие разъяснения, коих пять тысяч в этой книге, проникнуты такой же мудростью и пониманием отношений меж государством и рабами его. Впрочем, у любого из людей и мысли не должно явиться, что можно судиться с государством. Но обязана быть особая книга установлений, и там пусть будет золотыми буквами записано, что возможно такое.

О самом суде, коль он происходит, не следует оповещать многих людей, особенно когда дело идет о мятеже или измене. Если каждый день станут люди свободно слушать про это, то возникнет сомнение и неуверенность. К тому же и судья почувствует себя стесненным...

Однако важнее всего этого вера в государстве. От первых земных царств свидетельствует история мира, что невозможна власть без веры. Коль просто принуждать людей ко всякому, не указывая им на некую высшую цель, то вправе будет каждый избегать ярма. Но если говорить ежечасно, что их вера правая и лишь для ее утверждения делается все, то нет границ для правителя.

Вероучителем был одновременно государь при всех великих царствованиях прошлого. А крепче еще стояло государство, когда назывался он богом, ибо никто из людей не мог тогда усомниться в его непогрешимости. Так поступали цари Вавилона, фараоны в стране Миср, китайские фангфуры и цари Эраншахра.

Конечно, в новые времена, когда в мире 485 год хиджры[1], просветились люди и государи, развились науки, и в каждом городе есть книгохранилище, нельзя больше говорить о божественном происхождении правителя. Но о таланте его и мудрости, которые от Бога, говорить можно и должно. Никак недопустимо, чтобы некий один в державе управлял людьми и имуществом, а кто-то другой олицетворял веру. Поэтому и дано определение Величайший Султан, а первая нисба его — «Тень Бога на Земле».

От веры все начинается, и потому не так опасен в государстве вор, кровосмеситель или разбойник, как уклоняющийся в вере. Хуже иноверца он, ибо на виду тот, и всегда можно отыскать его среди прочих. Но как выявишь такого, кто и сам будто бы почитает Пророка, а лишь излишне умствует и каждому его слову дает свое толкование. И получается, что все не так делается в государстве, как было завещано Пророком, а от этого мор, голод и градобитие.

[1] 1092 год.

Ведь и с батинитами дело вовсе не в потомках хезрета Али. Тот был первый сподвижник Пророка, и можно бы оказать всем им почет, в том числе и от корня Исмаила. Только не в этом их цель, а в разрушении державы. Потому и начинают со святынь, что в них опора земной власти. Разве не с того начали их братья-карматы в Ал-Ахсе, что утащили в свою пустыню из Мекки священный камень. Надвое раскололи они его, чтобы было проклятому вождю их Абу-Тахиру удобно ставить ноги, когда испражняется. А потом они принялись разрушать и государство, что строилось столетиями. К месту бы спросить их сейчас: избавились ли от искуса власти, и все ли сыты там среди них?

Опять тихо было за стеной в селении Ар-Разик. Послушны там дети, и все же сидит, как видно, там некий старик посредине воды. Воистину благо — послушание. Все почему-то стоял он и ждал хоть слабого вскрика, но ни звука не доносилось оттуда.

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Сегодня у него «День гарема». Помолившись и отогнав образ блудницы, в синий с белыми цветами халат переодевается он, накладывает на голову бархатную тюбе, а на ноги надевает мягкие, с разводами туфли. Малая стена отделяет в кушке приехавших сюда жен. Идти же к ним по особой, спрятанной меж кустов дорожке...

Кланяется при калитке безбородый хадим — слуга гарема. Все готово к его приходу, и в дом своей младшей жены Фатияб сворачивает он. Сладко пахнущие розы растут здесь в изобилии. От горячего хорасанского солнца бутоны тяжелеют и испускают прозрачный сок.

На каждой ветке тут соловьи, и останавливается он, чтобы послушать. Нужно и полезно красивое человеку в определенное для того время. Великие поэты Эраншахра в незапамятные времена установили, что венец всего прекрасного — роза и эта маленькая птичка, издающая многообразные звуки. Только от ложного мудромыслия может представиться красивым что-нибудь иное...

Потом он заходит в дом, оставляет у входа галоши, снимает халат, и Фатияб ожидает его на своем месте. Он ложится к ней и совершает необходимое между мужчиной и женщиной. Ему приятна младшая жена, так как все у нее ко времени. Глаза ее закрыты, но ухо освобождено от волос. Она прислушивается,

не закричит ли в саду маленький Ханапия, и одновременно старается так улечься, чтобы ему было удобней...

Удовлетворив нужду плоти, он делает положенное омовение, ложится и отдыхает. Фатияб лежит рядом и каждый раз тихо приподнимает голову. Это хорошо в женщине, когда она беспокоится о своем ребенке...

Во всяком человеке живут помимо него свинья и лев. Сам человек — это разум, от свиньи — желание, от льва — гордыня. Кто из трех сильней, тот и хозяин в доме. Но от Бога все это, ибо для продолжения рода необходимо желание и для войны — буйство. Человек накладывает путы на них и держит про запас, крепко прикрутив к коновязи разума. А коль отпускает по необходимости, то на короткой цепи.

И в государстве об этом приходится думать. Каждые пять лет учиняется им перепись по рустакам с точным числом родившихся мальчиков и девочек. Для того и гябров с их притонами вынужден он терпеть возле войска, чтобы гуламы не портили друг друга...

В дом старшей жены Рудабы теперь он идет, и все правильно у него в семье. Здесь, как и положено, собирается его дастархан. Приехавшему сыну Али уже скоро пятьдесят лет, но все справляется ханум, не давит ли срез халата ему шею и какой хлеб он ест в Нишапуре. Пришел и любимый внук Осман, мервский раис, у которого была стычка с шихне Куданом. Он не такой высокий, как другие его дети и внуки, но зато видна в нем полезная дородность. Движения его, несмотря на молодость, плавны и спокойны, как приличествует облеченному властью человеку.

Мужчины и старшая жена — ханум — сидят вместе, а младшая жена Фатияб с мальчиком немного в стороне. Ханапия прыгает на коленях у нее и тянется к ханум, которую любит еще больше матери. Старшая жена отламывает кусок кунжутной халвы и дает ребенку. Тот хочет запихнуть весь сразу его в рот, но видит отцовский взгляд и не делает этого.

В Исфагане осталась смотреть за домом одна лишь Дуньяхон — его третья жена, и женщины скучают по ней, так как большое уменье у нее рассказывать сказки. Была у него некогда еще одна жена, но несчастье случилось с ней. Почему-то все время плакала и смеялась она невпопад, а потом нашли ее утонувшей в хаузе...

Старший сын Али рассказывает о делах в Нишапуре, где он уже двадцать лет раисом. Снова ссорятся там из-за толкования слов Пророка, и с копьями стоят всякую ночь люди у ворот

своего квартала. Не так дело в толке — мазхабе, как в обилии бездельных бродяг айяров в этом сумасбродном городе. В былые времена при Газневидах их звали на войну за веру, и город освобождался от них.

Это напоминает ему, что назавтра предстоит обговорить с султаном все о выходе войска. Месяц поста впереди, и к окончанию его будет находиться войско как раз напротив Дейлемских гор. Не жарко и не холодно в то время. Если же допустят опоздание, то снег выпадет в горах, и непроходимы сделаются они для людей и обоза...

Сама Рудаба-ханум помогает ему надеть галоши и вместе с Фатияб, сыном и внуками провожает до калитки в стене. Безмолвно кланяется вслед ему хадим, лишенный мужского естества.

III. ВАЗИР

(Продолжение)

Шагирда он видит сразу. Вмешалась сама Тюрчанка, и половину времени будет тот возиться с ее тюльпанами. Таков уговор его с султаном, так и не сумевшим противостоять женской вздорности. В остальное же время шагирд будет находиться в кушке, есть и спать возле него. И в дороге будет рядом с ним.

А теперь следует сказать об этом шагирду. Он сходит с аллеи, переступает арык. Снова, как у куста с тюльпанами, смотрит на него шагирд. Вечная благодарность в его взгляде, и чуть дрожит рука, отводящая кетмень...

И словно вдруг переворачивается мир. В прозрачную бездну хауза смотрит он и видит там некоего мальчика с клоком волос на счастье. Белая тучка плывет в небе.

Рябь проходит по воде, и совсем один остается он в мире. Нет и не было у него детей и внуков, и чужие они все для него. Видится лишь кто-то маленький в углу холодного дома, где доедают мертвых собаки. Рука его протягивается и мягко касается жестких волос шагирда...

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Всю жизнь ждал он этого прикосновения и заплакал беззвучно, оставляя в себе слезы. Кроме хлеба, происходит нечто между ним и этим человеком. Влажными и совсем круглыми были глаза у старика, и не стало ничего дороже для него этих беспомощных глаз...

Не думая больше ни о чем, через вонючий канал, валы и ямы шел он прямо к горе. Идущий сзади человек остановился, чтобы купить дыню у глухого огородника. Все люди делают так, идя к гябрам. Осыпались черепки под ногами, но не стал он выбирать дороги.

В ворота рухнувшей крепости вошел он и, шагнув через остывающие угли костра, остановился там, где вчера сидела эта женщина. Гябры сновали вокруг, перетаскивали виноград, но не было ее среди них. Тогда он прошел в полутьму клети...

В двух шагах всего стояла она, испуганно придерживая в руках шитье. Потом женщина все поняла, и спокойная уверенность появилась в ее глазах. Все еще стояла она, и он подошел и резко взял ее за руку. Тогда, ничего не говоря, сняла она с себя рубаху и легла тут же у ног на кошму. Руки за голову положила она, и видны стали волосы в ямках.

Даже не сбросив одежду, лег он на нее. Грубо хватали руки за грудь ее и бедра, острый запах человеческой плоти доносился снизу. И когда задрожало в последний раз тело, не мог он лежать больше с ней. Так и не спросив ни о чем, пошел он назад к воротам. Ожидавший своего времени человек с дыней удивленно посмотрел ему вслед.

Выйдя из ворот, увидел он девочку, которая несла перевязанную веревкой верблюжью колючку на топливо. Все такое же было у нее: руки, шея, пятнышко у глаза. И даже локоть повернут был так, как в горах, где танцевали они, ступая ногами по цветам...

Переходя обратно канал с человечьими нечистотами, вяло текущими из рабада, он оступился. Запах распаленной женской плоти заполнил все вокруг. Качнулась земля, дрожь омерзения прошла от ног к голове, и все съеденное изверглось из него мучительными толчками.

Кто-то поддержал его за руку. Отведя глаза от зловонной струи, увидел он приходящего к гябрам имама. Синий халат с серебряной луной и звездами был на нем, и мягко кривились губы. Обтерев ему рот и усадив в стороне, дальше в гору пошел ученый имам...

Но день не кончался. Сам высокий хаджиб султанских садов стоял у клумбы с тюльпанами. В розовый дом потребованы отсюда цветы, и новый вазир самолично спрашивал о шагирде.

У самого основания срезаются тюльпаны. Похрустывают стебли, и сок течет на пальцы. Но не перебивается запах женщины на руках и не проходит отвращение. Наполненную корзину берет он и идет с ней в дом...

Все розовое здесь: стены, своды, и только двери синие, с золотой паутиной. Осторожно ступают ноги в неслышных коврах. Однажды увидел он тюркскую жену султана. Она стояла на айване, и казалось ему, что лицо у нее светится. Рано утром было это, и солнце еще не вставало за деревьями сада...

Вот оно, ее лицо,— посредине большой комнаты. Тюльпаны в корзине протягивает он к ней, и ярче делается свет. Такого еще не видел он в своей жизни. Какие-то люди здесь, но только тени их обозначаются где-то по сторонам.

А она знаком призывает его к себе, и он видит, что это просто женщина. Чуть оттопыривается у нее губа, сияние исходит от зубов, из глаз, от всего, что неприкрыто у нее. И руки уже тоже непонятно светятся, когда берет она из корзины цветы. Ему становится страшно, и он закрывает глаза.

Ослепителен ее смех, и теплые пальцы ощущает он у своего запястья. Она отводит ладонь, которой прикрылся он от нее, и удивление в ее глазах. С плотью эта женщина, как и те, у гябров. Но даже рука его светится там, где прикасалась она. С робостью дотрагивается он до этого места...

Все потускнело в мире. Летают маленькие мохнатые пчелы, садятся на цветы. Стоят деревья, и плоды желтеют среди листьев. Солнце недвижно в небе...

Так много происходило с ним разного сегодня, что забыл он предопределенный ему путь. Лишь уйдя из сада, вспоминает он об устаде — мастере цветов. Некий великий даи из семи имамов учения прибывает к ним, и сказано ему быть в рабаде огородников...

V. СУЖДЕНИЕ УСТАДА — МАСТЕРА ЦВЕТОВ

Устад Наср Али сидел на месте ученика, положив большие руки к светильнику. На рассвете явился великий даи Кийя, и все здесь перешло к нему.

Но нет между ними скрытого, ибо уже много лет сам он — тоже великий даи-худжжат, «Доказательство Правды» в Хорасане, а эта ступень — вровень с семью имамами учения. Однако не открыл даи Кийя перед ним лица и все утро говорил наставления.

Подобно текущей в одну сторону реке было это. Там, в горных пещерах, готовятся к битве за правду, и все знает о здешних делах великий сайид-на, вождь и доказательство учения. Именно сайид-на — светоч и надежда мира, опора справедливо-

сти. Воля его несокрушима, а проницательность, как дейлемский меч, разрубает замыслы врагов.

А когда спрошено было о самом даи аддуате, первом среди семи имамов, то, не изменяя голоса, сказал даи Кийя о тяжелой болезни главы учения, который полностью передал великое кормило сайиду-на Хасану ибн Саббаху, пусть вечно продлятся его годы. От маловеров и нерешительных успешно очищается сейчас учение. Новый призыв сайида-на побеждает всюду, и близко торжество правды. Великий учитель послал его сюда, чтобы ускорить предопределенное.

О том, что думают прочие вожди учения, спросил он тогда приехавшего. Даи Кийя наклонился к самому огню и в первый раз внимательно посмотрел ему в глаза. Если так думает сайид-на, сказал он, то больше ничего не имеет значения...

Все, что говорилось дальше, напоминало выговор простому фидаи. Разве не ведом ему первый завет учения, что все от имама? — строго спрашивал у него даи Кийя. Народ лишь чистый лист бумаги. Не сам по себе что-нибудь может человек, а только с наставником-имамом. Волос не может упасть самостоятельно и капля воды пролиться без объяснения имама. Плавится медь, созревает зерно, плодится скот — и тут должен быть разъясняющий имам. Только так войдет учение в человеческую плоть и кровь. Должны быть твердо убеждены люди, что жизнь их невозможна без учения, а кто не причастен, сгинет во мраке небытия.

Но если каждому необходим имам, то разве не должен быть главный имам у всего учения? Те старики, с которых оно начиналось, наивны и недальновидны. Из землепашцев-райятов и устадов базара они, и нет в них смелости и широты мысли. Между тем учение возникло не на пустом месте, а в веках зрели питающие его источники мудрости. Кому, как не ученому сайиду-на, разобраться в них и стать пророком в свою эпоху... Мировой Разум олицетворился в нем, и каждое слово его — золотой слиток правды...

О предстоящем походе на Дейлем говорили далее они. Вселенский Гонитель давно уже задумал это, и хоть якобы ушел он от дел правления, послушен ему султан. Но как заноза в теле этот поход новому вазиру Абу-л-Ганаиму. К нему и надо находить пути.

Приходит решающий час. В жалкую куклу для тюрков давно уже превратился самозваный багдадский халиф, а сами узурпаторы-тюрки тайно и явно рвут друг друга на части. Эмиры крепко засели в своих владениях, полученных от султана лишь

на время — в икта, и не отдают больше их назад. Многие из них вовсе не являются к порогу Сельджуков, а те, что в Анатолии, Сирии и Кермане, сами уже называют себя султанами. В доме самого Малик-шаха распадается все, потому что от четырех жен его сыновья, и всякая из них имеет приверженцев в войске. Райяты же и люди рабада по всей земле противятся тюркам, и это тоже надо всячески использовать для торжества учения. Все пусть будет от тюрков: голод, наводнения и болезни. А спасение — от имама-учителя.

И нельзя поэтому, чтобы пришло сейчас в Дейлем султанское войско. Не готовы еще к защите недавно обретенные крепости в горах, и не завершена великая чистка учения. Зато в будущем году станет несокрушима дейлемская твердыня...

Незамедлительно совершить предопределенное с Гонителем Правды потребовал даи Кийя, а также с тремя или четырьмя сановниками и надимами, чтобы ужас охватил всех при доме Сельджуков. Отныне отменяется обычай, что лишь в ответ на казнь фидаи положено убийство. К широким действиям переходит учение.

Когда же сказано ему было, что не ко времени это и нужно, чтобы подлинно виновных постигло возмездие, а не кто подвернется под нож, даи Кийя второй раз наклонился и посмотрел ему в лицо...

И тут пришел юноша-шагирд, чья ступень — рафик. Смятение было в его красивых глазах. Женщину встретил он здесь среди гябров, которую привозил некогда в горы для них этот самый даи Кийя. Сомнение посетило его, и нет тяжелее греха.

Но великий даи Кийя ни о чем не спросил у него. Он лишь повернул в левую сторону перстень на своей руке, и это значило, что рафик переходит в его власть.

Глава седьмая

I. ВАЗИР

О мушерифах и достатке их... Пусть дают полномочия на тайную слежку — шираф — тому, на кого можно вполне положиться. Это некое лицо пусть знает все о происходящем при дворе и сообщает, когда необходимо. От него должны быть направлены в каждый город, в каждую округу заместители, благоразумные и добросовестные, дабы тайно докладывать о том, что происходит из значительного и незначительного... Пусть то, что следует им за такие труды, щедро выдают из государственной

казны — Бейтл-ал-мал, чтобы не чувствовали они необходимости в вероломстве. Польза, которая произойдет от их верности, в десять, в сто раз окупит то, что дадут им...[1]

Как и следует, приступая к мушерифам, он еще раз оглядывает комнату, смотрит в окно. Таково место их в государстве, что никому не видны они, но каждого должны увидеть. И коль задумал кто-либо недоброе, то и мысли его чтобы сделались известны.

Государство — это контроль. На всякое дело есть в нем люди, которые проверяют, так ли оно исполняется. Как ни отбирай достойного из достойных амиля, казия — судью, воинского начальника — шихне, управляющего — раиса, следящего за порядком мухтасиба и прочих, все они при деньгах или власти. А сила этих вещей такова, что ломается хрупкий тростник целомудрия. Каждый из названных здесь имеет ежедневную возможность к лихоимству, а жалованье всегда недостаточно. Сколько ни меняй их, они быстро находят путь друг к другу и совместно получают прибыль. Посему мудрые правители издавна негласно допустили для них эту возможность получать свою часть. Но положены также и границы для их алчности. Для того и содержатся особые люди, проверяющие ежегодно отчетность и ведущие тайное и явное дознание от лица султана.

Но если столь досконально проверяют деньги и имущество, то можно ли оставить без присмотра людские мысли и устремления? Уздечкой тут служит вера. Поскольку Величайший Султан одновременно тень Бога на земле, то все замысленное против него — безбожие, уклонение с правильного пути и плоховерие. Смысл особого сыска — ишраф — в том и состоит, чтобы обезопасить тело государя и его сановников. Вслух же следует объявлять о защите правоверия...

Итак, для постоянного оповещения обо всем, что случается в державе, должны быть в каждом месте сахиб-хабары — «начальники новостей». В их ведении находятся сахиб-бериды — «начальники почтовой службы». И если что-нибудь произойдет или ожидается, то сразу отправляется гонец. Открыто смотрят они за всем, слушают людские речи, прочитывают, что пишут люди из города в город, и составляют о том отчеты.

Но речь тут о другом. Наряду с явным ишрафом обязателен тайный. Пусть в каждом городе и округе, в диване, канцелярии и войске, в чорсу и странноприимном доме, в мечети и теккие — пристанище для странствующих суфиев, кругом, где собираются люди, всегда будет незаметно среди них мушериф. Не только пусть выявляет, готовится ли некое злодейство в отношении

[1] Сиасет-намэ, с 64

особы государя или ведутся разговоры, подрывающие его авторитет, но и сам говорит с ними о том же. А потом сообщает о виновных, коих следует хватать и беспощадно подвешивать к столбам как врагов веры.

Особо необходим ишраф при собственном доме государя и в домах сановников, где больше всего имеется возможностей покуситься на власть. Здесь каждое слово должно быть услышано. Само собой разумеется, следует усиливать бдительность при отсутствии государя на войне или охоте. Опасных людей на это время лучше всего рассылать в разные отдаленные концы державы якобы для проверки тамошних дел и раздачи наград.

Если ишраф поставлен хорошо, то каждый человек, живущий в этом государстве, будет опасаться сделать непотребное или сказать что-нибудь против особы правителя. Станет казаться ему, что люди вокруг него — все мушерифы, и даже наедине с самим собой он будет громко славить государя. Польза от этого несомненна, ибо что дороже добрых чувств у подданных...

Если же перестараются мушерифы, так что вместе с виновными и невиновные станут подвешиваться к столбам, то этого не надо бояться. В сей берущей начало от Ахеменидов державе люди таковы, что только тверже сделается их любовь к государю. Невиновные же страдали во все времена, однако ярче становился оттого блеск царствующего дома. Пусть лишь государь после всего подвесит всенародно к столбу одного наиболее усердного мушерифа, и тогда слава о его справедливости останется в веках. Денег же на ишраф никогда жалеть не следует.

Наука тут невелика, и ни к чему писать все про мушерифов. Кому случится от Бога власть над людьми, сами промыслят как надо. Всезнающи обязаны быть мушерифы, и нет у них лишь возможности видеть и слышать всего, что за стенами домов у людей. Если бы это стало достижимо, то вечный покой и благоденствие снизошло бы на ту державу.

А умствующие пусть кривят губы. Они же первые негодуют, если нерадив становится мухтасиб и разные бездельники и бродяги айяры начинают грабить и бесчинствовать в городе. Тогда к вазиру прибегают они и от государства ждут для себя защиты. Но только переловят айяров, и над тем же мухтасибом опять смеются они. Всякое говорится у них против ишрафа.

А между тем в государстве находят эти люди почет и пропитание. Особая площадка для наблюдения неба построена для имама Омара, хлеб и постель имеет он, но всякий раз у него некая усмешка в бороду. Блудница же в бессмысленности натуры своей рвется с коновязи и разрушает дом, в котором живет. И слеп иудей, с упорством подтачивающий кровлю, что ему же рухнет на голову.

В отношении иудеев особенно необходим ишраф, так как скрытны и лукавы они. Книгу подсунул в нужде ему экзиларх Ниссон, но продолжают они возглашать субботнюю здравицу по-своему — с именем древних царей. Специального дабира надо направить к ним, чтобы проследил за исполнением указания в отношении этого. Позванный же опять к нему экзиларх Ниссон сослался на какой-то иудейский праздник, при котором надо сидеть дома...

Вовсе не мешала уже ему Тюрчанка. Забыв про нее, прочитал он намеченную суру, совершил все коленопреклонения, и чист оставался дух. Только на миг вспомнилась нелепая поза ее при гуламе, но он легко отогнал от себя вздорное видение.

В саду внимательно посчитал он деревья, однако не спешил идти назад. В конце аллеи так и продолжал он стоять, ожидая какого-нибудь шума из селения Ар-Разик. Но все было тихо. Три дня прошло уже с тех пор, как указано кедходе, чтобы не кричали дети.

Была утоптана земля под стеной, и с удивлением увидел он теперь свои вчерашние и позавчерашние следы. Значит, не на одно и то же место становился он всякий раз, приходя сюда и слушая. Что-то помешало вдруг ему, он насторожился. Но не от внешнего мира исходил звук. Синяя хорасанская стрекоза-иголка тонко дрожала возле самого уха.

Уже зная, что нечто решилось, заспешил он обратно. И когда пришел к началу аллеи, сделал знак гуламу. Люди стражи произвели необходимые действия. Надев кожаные галоши, он вышел в задние ворота кушка и направился туда, где тесной кучкой стояли деревья. Селение Ар-Разик было там...

Снова появилось необъяснимое. Стоя под стеной, не думал он ни о чем, и рука сама распорядилась с гуламом. Помимо разума что-то сделалось опять, а он согласился.

III. ВАЗИР

(Продолжение)

В мутной струе канала купались ветки джиды, и скрыты были дувалы за пыльной листвой. Склонившись, ждал его здесь кедхода селения. Ответив на приветствие этого человека, пошел

он с ним к площади. Никого, кроме них, не находилось на улице, и не доносилось ничего из домов.

И на площади тоже не было детей. Остались только пустые ямки, куда закатывают во время игры крашеные бараньи косточки — альчики. А в стороне он сразу же увидел хауз — такой же, как в Тусе. Большое дерево росло посредине воды, и доска была переброшена туда. Но никто не сидел там.

К воде вдруг захотелось ему подойти, и он быстро отвернулся. Пыль лежала вокруг неровными волнами, и тысячи маленьких следов вели во все стороны. Старый кедхода подслеповато щурился, прислушиваясь вместе с ним к тишине селения. И тогда он шагнул вдруг через арык к крайнему дому, открыл калитку...

Сначала только удивился он. Круглые коричневые глаза смотрели на него со всех сторон, и совсем одинаковые были они. Стриженые головы с клоком волос на счастье у них не давали определить, кто мальчик и кто девочка. По углам выложенного кирпичом двора сидели дети, и рот у каждого был плотно завязан суровой тканью...

Уже все поняв, обернулся он к кедходе. У старика были такие же коричневые испуганные глаза. Перевернутый мир отражался в них.

Ничего не сказав, пошел он назад, в свой кушк. Золотилось, по веткам джиды безмолвное солнце, мягко увязали в пыли галоши. Лишь зайдя в дом и взяв калам в руку, послал он сказать, чтобы детям в селении Ар-Разик развязали рты.

III. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Показалось ли ему вчера сияние от тюркской жены султана? Необычен был свет, словно от луны, хоть и солнце светило в мире. Она засмеялась, когда заслонился он от непонятного света. Такое бывает в этом доме, потому что от дьявола сами тюрки..

Глаза слипаются, так как всю ночь сторожил он в саду устада. Прибывший с гор человек находился в доме, и по голосу определил он, что это сам даи Кийя, третий из семи великих имамов. Его названное имя Бузург-Умид. «Надежда учения». Говорят, что тайной жизни и смерти владеет он, а когда надо ему, может обратиться в птицу или зверя.

Было закрыто лицо у великого даи, когда сидел он в дальней комнате у устада, и лишь узкая полоса света обозначала его при разговоре. Положенный призыв он произнес и повернул при этом кольцо. В его власти отныне здесь все...

Среди ям и холмов, где собирают колючку на топливо, ждет его Большегубый. Они садятся на откосе и впервые открыто приглядываются друг к другу.

Торопится все рассказать и всхлипывает от возбуждения Большегубый. От этих самых гябров и привозили к ним в горы женщин, он это точно знает. И сюда он уже сам ходил к ним. Один раз отдал в уплату новый кувшин, а в другой раз — хлеб и две дыни. И прыщи с лица совсем прошли у него.

— Тебе ведь не надо будет платить им за это...

Так говорит ему Большегубый, а он не понимает. И тот рассказывает, что у гябрских женщин, которые занимаются этим, есть давний закон, по которому не берутся деньги с красивых.

Большегубый разматывает портянку при чарыках и сплевывает в пыль, давая понять, что никому не провести его. Еще там, в горах, знал он, что не с того света женщины, которых подкладывали к ним. О другом у него забота. Раз приехал великий Бузург-Умид, то придется им тут кого-нибудь убить. Только простой фидаи он, и потому его очередь будет первой.

Покорно вздыхает Большегубый, и на его широком лице райята проступает уныние. А ему становится жаль товарища, потому что не остается у него близких людей в мире, кроме этого Большегубого. Тот человек, который некогда протянул ему хлеб, служит лжи, и свершится с ним предопределенное. Не фидаи, а ему, рафику, дано сокрушить дьявола...

Лицом вверх лежит он среди холмов и думает о том, что сказал ему Большегубый. Как же определяют женщины красивых среди людей? На свои руки он смотрит в том месте, где касалась их тюркская жена султана, потом трогает лицо с шершавостью начинающейся бороды. Скоро уже все кончится с ним в этом мире, где так неопределенно и мерзостно. Откроется до конца вечная тайна, будет другой, подлинный мир, и гнетущая тяжесть отпустит наконец усталое тело. Высоко на столбе останется здесь оно, и чем выше будет висеть его гниющее мясо, тем полнее очищение...

Плывут куда-то склоны с обломками и черепками, все растворяется в горячем небе. И сразу просыпается он, а с верхушки холма, приоткрыв покрывало, смотрит на него женщина. Не от гябров она, но все равно будто лоснится клоака при рабаде, и тошнота сразу подступает к горлу. Земное и грязное все у них. Женщина подхватывает утоптанную колючку на веревку, и стан прогибается у нее в одну сторону...

Заснул он тут в яме после ухода Большегубого, и ждет его даи Бузург-Умид. К определенному дню предстоит подготовиться

ему. Сам великий даи теперь его наставник. С ним, по правилу, должен провести он последнюю ночь перед подвигом. Тело и мысли его должны быть чисты. Каково же сомнение, от которого нужно избавиться? Устад ничего не ответил ему тогда, и печальны были его глаза...

Далеко стороной обходит он брошенную крепость с гябрами и только потом оглядывается. Сизый дым плывет в остывающее небо, а с горы спускается кто-то в синем халате с кувшином в руке. Это идет от гябров считающий звезды имам.

IV. СУД ИМАМА ОМАРА

Тяжел и радостен в руке кувшин. Вино наконец созрело у гябров и не пенится больше подобно вздорной юности. Мужскую крепость и прозрачность мысли обрело оно, так что ничего нет более к месту мудрецу факиху. Так ведь его называют в Мерве за знание таинства книги пророка. Не только с начала, но и с конца читает он ее наизусть, а есть ли большее доказательство ума...

Знак этого города — победный ослиный рев. Только в ночи проявляется глубокое и грозное сотрясение костей, из которых здесь почва. Впрочем, это знак всех городов, что долго стоят на земле. Пыль — суть жизни. Отсюда, с горы, видны взрывающиеся клубы ее меж плоскими оранжевыми кровлями. Люди разъезжаются с базара, не думая, что сами за этот день некой частью своей превратились в пыль. А где-то уже родился гончар, который будет мять из нее глину на кувшины. Хорошо бы попасть в такой, где держат вино, а не что-нибудь пакостное.

Пыль не осела еще в улицах рабада. Один осел может поднять ее столько, что факихам всего мира не прокашляться. Смочить полагается небо, и в дувальный проем прячется он. На улице пить ныне строго запрещено. По указанию агая сразу бьют за это палками люди мухтасиба. Спасительный кустик находит он в чьем-то саду, зажмуривает глаза, и прохладная благостная струя проливается в горло прямо с неба. Чья-то плоть вздыхает и позванивает в кувшине. Мир обновляется...

Но куда же пойти ему в такое время? Рей боится чего-то и не выходит из своего подземного храма. Тревожно вдруг сделалось у гябров, и готовятся они к тайному отъезду. Быть неким потрясениям, так как верная примета — гябры. Уж не от бандитов ли ждать чего-то нового? Как раз к месту идти тогда к другу его — устаду цветов. Есть от их учения некий даи-художник в Хорасане...

Кругом здесь утверждается знак устада. Теплый сырой запах первородства остро чувствуется среди дувалов рабада

огородников. Ибо сотворенная земля и есть этот знак, не имеющий конца и начала. Гончарный круг в основе всего у бога. Без рук устада земля только бесформенный камень, лишенный смысла...

И тут же оказывается роковой знак Тельца по вавилонским гаданиям. Это красивый юноша шагирд из султанских садов, который приходит сюда за рассадой. Остановившиеся глаза у него, и все почему-то кружит он около гябров. Впрочем, не за одной рассадой ходит он к устаду. В один из вечеров услышал он их разговор...

Что же обозначает в мире третий сидящий на тахте у устада? Ширванская воинственная накидка скрывает лицо, но нечто знакомое, заученное в неподвижности позы. И правая рука из длинного горского рукава как бы держит что-то на установленном отдалении.

Пе-е-е... Да это же просто дабир! И сколько бы ни надевал он вольных одежд, все равно будет слышаться костяной стук калама о дерево. Говорят, они сейчас взяли все в свои руки у бандитов, оттеснив от руководства учением старых правдолюбцев. С чернилами имеют они дело, и отсюда их решительность. Что человеческая кровь таким людям, коль решили осчастливить сразу все человечество...

Вино будоражит мысли. Присев на тахт к гостям, он закрывает глаза и, подобно суфиям, громко обращается сам к себе: «Ты человеком рожден — будь же человеком. Как это можно быть дьяволом?.. Человеком будь!..»

Насир Хосроу[1], отвергнувший бога факих, установил в их учении этот символ веры, и нет ничего святее для честного устада. Одно имя правдолюбца источает слезы у старика, а в здешних селениях клянутся, держа двумя руками над головой его книгу. Утверждают, что был тот «Доказательством Правды» в Хорасане, и в ледяные пустыни Шугнана пришлось скрыться ему от ревностных мушерифов.

Устад не вступает в обычный диспут, а лишь говорит, что и шагу нельзя ступить по земле без людей, в коих вложен светоч. Зловонные ямы повсюду, и как обойтись без наставника? Ни мира не знает человек, ни себя и по греховной сути своей станет ошибаться.

А он уже открыл глаза, но обеими руками закрывается вдруг от ширванского гостя. Устад замолкает и спрашивает с удивлением, зачем он это делает.

---

[1] Насир Хосроу (1004—1088) — великий поэт и мыслитель средневековья, связанный с движением ранних исмаилитов.

— Вижу светоч! — громко шепчет он устаду.

Да, помимо высоких стихов в утверждение человека про светоч и наставника также говорил гонимый факих. Но был некто, не согласившийся с этим. Снова закрывает он глаза и выкрикивает яростные слова великого ниспровергателя Рази[1] «Злостные люди, негодяи по природе своей, говорят простодушным: пойди, мол, и объяви всем, что явился ко мне ангел или осиял некий дух, заявивший, что бог избрал меня пророком, чтобы указывать людям путь. Те идут, говорят, не ведая о жульничестве, и сразу разгорается взаимная вражда в человечестве, льется кровь!»

Уже не таясь, поворачивается он в сторону человека со скрытым лицом. Нет, не ошибся он, и от новоявленного пророка гость в доме устада. Теперь сайид-на прозывается тот в горах, а был когда-то самым маленьким дабиром в канцелярии у агая. Детским прозвищем Хасанак дразнили его.

Когда делили между собой дабиры брошенное им с султанского блюда золото, Хасанак закрывал глаза и пронзительно кричал, не слыша других. Пена выступала и сохла у него на краях губ. Не оттого ли, что обделяли его всякий раз на полтора-два дирхема, возгорелся дух его и стал он борцом за правду? Обновление затасканных миром пророчеств объявил он теперь из Дейлема, и горе простодушным устадам...

Ширванский гость сидит в стороне, не меняя дабирскую «позу готовности». Чернильница и нож у колыбели правды. Что может иное выстроить пророчествующий дабир, сокрушив пирамиду агая? Персидская идея государства в них плоска, как канцелярский стол. Ни хлеба, ни кувшинов, ни книг не производят они, и не даны им другие измерения. Новую пирамиду только возведет бунтующий дабир, и лишь камни сумеет связать в ней покрепче. На это они мастера.

В стране китайских фангфуров их учителя. Само понятие дабира оттуда, и каждодневно агай повторяет их мудрости. Девочкам набивают там колодки, чтобы не росли ноги, и разум укладывают в формы. Эти же хотят все сделать как у фангфуров. Поднебесное царство дабиров — их недосягаемая мечта.

У агая хотя бы не вверх ногами стоит пирамида, и можно при случае спрятаться в расщелину меж камнями. Он — великий дабир. У них же мыслится полное окаменение, и ни единой щели не останется для разума и духа!..

А устад опять не возражает ему по поводу Рази. Про некое

---

[1] Рази (в Европе известен как Разес) — современник Насира Хосроу, вступивший с ним в полемику и утверждавший материалистические взгляды на историю человеческого общества.

царство правды начинает он говорить, где люди равны во всем. Не называя их имени, пересказывает он, что увидел некогда правдолюбивый факих, посетивший своих духовных братьев карматов...[1]

Посредине большой пустыни их страна. В некий день собрались там люди на площади и низринули ложь. Даже черный камень из Мекки посчитали они идолом и раскололи надвое, а на шкуре единорога написали новые законы. Двенадцать избранных людей учения правят там, и лишь тогда решается у них дело, когда придут все к одному мнению.

Прекрасны в этой стране пашни и обильна земля. Никто не платит никаких налогов, и все принадлежит людям: сады, мельницы, лавки на базаре. А если нужно кому-нибудь произвести работы, то выделяются ему в должном количестве эфиопы с лопатами и кетменями. Никто из них не берет друг у друга в долг, а все общее. На улицах там кругом дворцы, брызжут повсюду прохладные фонтаны.

Не усмехается больше он, глядя на старика. Такова истовость этой веры, что сама вера уже делается целью. Нет тогда места для доказательства, и повязкой на глазах становится правда. Раз и навсегда утверждается некий мираж, а реальности — выдумка дьявола...

Таков и был он, с глухой повязкой правды на глазах, гениальный простец Насир Хосроу, когда приняли его у себя карматские сайиды. Рабы в кандалах, коих застенчиво определяет он эфиопами, как бы не существовали для него. Кто сейчас не знает, что давно распяты среди карматов подлинные правдолюбцы, и нет на земле большей лжи, чем у них. Но остается мираж, и навязывают его миру бесстыжие сайиды...

Говорить об этом бессмысленно с устадом, и он хватается за свой кувшин. В саду на тахте, как обычно, оставляет его добрый хозяин и уходит с юным шагирдом за рассадой. Гость из Ширвана все сидит в стороне, не открывая лица. Враждебность исходит от него, и не сказано им было ни одного слова. Коль пришли дабиры в тайное учение со своей канцелярской решительностью, то ждать беды для всех. И куда приложится теперь чистая вера устада?

---

[1] Карматы — приверженцы одной из ветвей исмаилитов. В X — XI вв. существовало их государство в Аль-Ахсе (Восточная Аравия). Как и прочие исмаилиты, выродилось затем в жестокую, темную секту.

Будто и нет здесь никакого дабира в ширванской одежде, задирает он кувшин к небу и пьем из горлышка. Синие тени испещряют землю, и отчетливо слышится некий гул...

Глава восьмая

I. ВАЗИР

О сахиб-хабарах и о совершении мероприятий по делу царства...

О почтении к высочайшим приказам (да возвеличит бог государя!) и указам, что пишутся...

О посылке гуламов со двора по важным делам...

О посылке лазутчиков и о мероприятиях ко благу государства и народа... надо отправлять лазутчиков постоянно и во все страны под видном купцов, путешественников, суфиев, продавцов целительных средств, нищих-каландаров, пусть они сообщают обо всем, что там услышат, дабы ничто из дел тамошних правителей не осталось скрытым, а если затевается нечто, то чтобы успеть принять со своей стороны соответствующие меры...[1] Сколько могли противились тюрки государственности. Никак не хотел назначать сахиб-хабаров в города и области покойный Алп-Арслан, коего место в раю. Сумрачен он был при разговорах об этом, а потом сказал ему: «Ты хочешь пустить мое царство на ветер!» И объяснил: «Если я назначу сахиб-хабара, доносящего мне обо всех, то для искреннего друга это не будет иметь значения, он не даст ему взятки. А тот, кто мне противник и враг, будет дружить с ним, делать подарки. Волей-неволей сахиб-хабар станет сообщать мне плохие сведения о моих друзьях и хорошие — о врагах. То и другое, как пущенные в цель стрелы — хоть одна да попадет. С каждым днем мое сердце будет озлобляться на друзей и становиться лучше к врагам. Через короткое время друзья удалятся, а враги приблизятся, пока не займут места друзей... Помысли, что от этого получится...»

Хоть объяснял он султану, что есть средства и на сахиб-хабаров, не соглашался Алп-Арслан. По степной дикости своей думал он обо всем прямо и не хотел порой понимать сложности государственного управления. Не так важно, что сообщит сахиб-хабар, как его присутствие в том краю. Всякий живущий должен знать, что денно и нощно надзирает государь за порядком в своей державе. И не ослабеет тогда спасительный страх в душах людей. Чем он сильнее, тем крепче государство. Сюда же относится и должное почтение к государственным указам. Нельзя, чтобы

[1] Сиасет-намэ

они были многочисленны, ибо все многочисленное теряет свое значение. А кто посмотрит пренебрежительно или отвернется в сторону при сообщении указа, должен быть наказан. К каждому указу следует доставить какое-то несчастье людям: отрубить двум или трем головы, отрезать руки и ноги, сделать евнухом или еще что-нибудь подобное этому. Тогда укрепится в народе уважение к слову государя, и запомнится оно...

О командировании гуламов нужно сказать, чтобы ездили в дальние области только по важным делам, а то порой поездка обходится дороже, чем само дело. Для собственной пользы становятся служилым гуламам такие поездки, а на местах они всячески обирают людей, устраивают дастарханы с вином и мутрибами, охоту, катания и прочие развлечения. Посему всякая поездка на долгий срок должна производиться лишь по высочайшему приказу...

С лазутчиками дело ясно, так как во все времена посылались они. Не только каковы в соседних державах войско, припасы и замыслы, должны сообщать такие люди, но и что говорят там в народе. Не у места государь, который даст себя застать врасплох врагу...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Не беспокоила по-прежнему Тюрчанка. Спокойно помолившись, вышел он в сад и прислушался. Тихо было в селении Ар-Разик. Хауз есть там, а посредине дерево. Но не подошел он почему-то вчера к воде, и опять захотелось ему туда.

Все же, перед тем как выйти из кушка, прошел он из конца в конец аллею, просчитал дважды деревья. Однако у стены не задержался и только мельком посмотрел на окаменевшие квадраты дерна, оставленные шагирдом.

Заранее еще был сделан знак гуламу, и без промедления направился он сейчас по дороге в селение. Вчерашние его следы вели туда и оттуда, а значило это, что никто не ездил больше здесь. Тускло серебрилась джида над каналом, и кедхода ожидал его на том же самом месте. Пустые были улицы и площадь.

И снова остановился он, не решаясь идти к хаузу. Пыль уже стала заполнять ямки для игры, и не было видно нигде детей. Вчера же еще он послал сказать, чтобы развязали им рты.

К дому на краю площади опять шагнул он и открыл калитку. Все так же смотрели на него со всех сторон, и рты были

у них развязаны. Но почему-то молчали дети. Лишь мальчик у самого входа тихонько икнул и поспешно стал затыкать себе рот ладонями. Тогда он повернулся и строго сказал кедходе, что детям можно кричать.

Теперь уже он прямо прошел к хаузу. Но не видно пока еще было воды. Сначала показался другой берег с выложенными камнем краями. Переплетались там какие-то корни, птица выклевывала червяка из откоса. И лишь потом он увидел воду. Мутная была она, и плавали поверху гнилые листья...

Все ближе подходил он, и уже открылось место среди воды откуда росло дерево. Мостик был переброшен туда с берега. А вода вдруг начала синеть, становиться чище. И когда вплотную подошел он, то голубое небо сияло там и зеленое дерево росло в глубину, все озаренное солнцем. Белую тучку поискал он глазами.

Теперь прямо вниз необходимо было посмотреть ему. Дыхание у него остановилось, громко стучало сердце. Медленно-медленно начал клониться он над солнечной бездной, и потеплело вдруг по обе стороны головы. Давнее желание ощутилось внятно, словно это было вчера. А когда уже он должен был увидеть там нечто, произошло невероятное...

Боком, в ужасе метнулась птица через все небо. Синева померкла и замутилась. Что-то огромное, противоестественное обрушилось на голову его и плечи, опрокинуло от воды.

— Мана!

Голос дéда-дабира послышался ему, и за шрам у глаза схватился он рукой. Но непонятное продолжалось. Весь дрожа, повернулся он и увидел великое множество детей. Широко раскрыты были рты у них, и не отводили все они от него глаз.

Только теперь донесся до него истошный крик. С ближних и дальних дворов пришли они сюда и стояли вместе, держась руками друг за друга. Бессмысленно и непрерывно кричали они. Старый кедходе стоял с детьми на площади, вытянув морщинистую шею...

А он уже быстро шел от них, согнув плечи и пыля галошами. Вдоль улицы тоже стояли и кричали дети. Не кончался их крик в дороге, за стенами кушка, в доме. Тяжело дыша, сел он за стол, взял калам, постучал троекратно. И послал гулама сказать кетходе, что вовсе он уехал отсюда, из кушка.

III. СУД ИМАМА ОМАРА

Снова искажается знак агая в мире. Стук калама неточен. Слышится слабое дребезжание, и не совпадают промежутки между ударами. Непонятный, противоестественный крик за стенами кушка служит фоном.

За окно смотрит агай, и необычное в его взгляде. В саду нет никого. Он раскладывает перед старым вазиром таблицы. Но продолжают где-то кричать дети.

Будто не узнавая, водит сухая белая рука с каламом по расчерченному небу и никак не может остановиться. Созвездия и планеты ускользают из-под золотого стержня. Неужто сомнение посетило великого дабира? Но обрывается наконец многоголосый неистовый вопль, и рука агая утверждается на краю Вселенной.

«Мир в целом — это тело круглой формы, края которого доходят до чего-то неподвижного в пустоте...» Опасение рождает полуистину. Хоть в пустоте, но хочется ощутить людям камень, на который можно усесться плотным местом. Страшно им все время пребывать в движении. Впрочем, написавший это имам Абу-р-Райхан знал, что нет конца миру. Но славный бируниец жил в Газне при доме знаменосца веры — султана Махмуда. В своем трактате — зидже — он лишь тонко предположил, что земля может вечно падать.

«Земля необходимо должна достигнуть неба в направлении своего падения, если только небо само не обладает движением в ту же сторону, равным движению Земли, как говорил о небесных сферах Мухамед ибн Закария Рази...» Рука агая находит и выделяет эти слова. Не случайно восхищает великого вазира стиль бирунийца.

Только после смерти султана Махмуда высказал эту мысль имам Абу-р-Райхан, да и то сославшись на другого. Такая форма научного письма вырабатывается, коль ждешь каждую минуту удара палкой по голове. Когда еще раньше прямо сказал об этом великий бируниец, то всех развеселил в Газне. Не очень умел читать знаменосец веры, но от рождения имел особое чутье на грех. Рассказывают, что трижды в тот день сбрасывали ученого имама с крыши дворца на землю, давая убедиться, что она неподвижна. Если бы падала земля куда-то, то имам Абу-р-Райхан Бируни[1] должен был бы падать вместе, а не ударяться об нее всякий раз...

[1] Бируни (973—1048) — великий ученый средневековья.

Что-то приключилось с агаем. Взгляд его опять устремлен в сад. Но нет там никого, и только квадраты сухой земли разбросаны у арыка. Рука вазира бессильно опущена, а калам клонится вниз, готовый выпасть из сведенных пальцев. Однажды случилось это, и дрожали тогда руки у агая.

Так и есть. Калам падает со стуком и катится на край стола. Завороженным взглядом смотрит агай. И когда останавливается золотое вращение, глаза старика вдруг обращаются к нему.

Словно впервые видит его сейчас у своего стола великий вазир. Потом быстро хватается за калам и чертит направления планет. Сухие длинные пальцы крепко придерживают записи опасливого бирунийца...

Велик агай в пристрастии к наукам. Интересно бы в связи с его идеей государства написать трактат, как опасение влияет на истину при мышлении. Когда плоть вздрагивает ежеминутно в ожидании палки, то дрожь передается мысли. И можно тогда измерить ее от одного дрожания до другого. Измеримая же мысль полезна только при продаже халвы. Кажется, не тебя подвешивают к столбу, но ни за что не сходятся в бесконечности параллельные.

Не было еще на земле самого плохого царя и вазира, который желал бы несчастья подданных. Но от обратного — на опорах однозначного идеала строится здание. Присущая живой природе греховность устраняется из формулы бытия. Ее как бы не существует, и в этом извечное трусливое убеждение дабира в государственной пользе умолчания.

И как объяснить агаю, сколь убыточно для его дела всеобщее опасение. Начало конца олицетворяется в людском страхе. Каменеет вера, и крошатся безжизненные камни в самом основании пирамиды.

Но семьдесят поколений дабиров вздрагивали каждодневно, пока не явился в мир агай, чья нисба «Устройство Государства». И вдруг предлагается выбор: свободная бесконечность диспута или палка. Результат очевиден. Плоский ум самого великого дабира в состоянии постичь лишь три измерения. А что нового придумал яростный, всеотрицающий Хасанак в своих горах, кроме дейлемского ножа?

Калам агая повисает над клеткой месяца урдбихишт. Звездный Теленок задирает хвост и скачет сразу всеми четырьмя ногами. Наваст — так называют на родине его, в Нишапуре, брыкливого весеннего бычка.

А великий вазир, забыв про неустроенную Вселенную, по-

вернулся к окну. Ровная тоска в его круглых, как у птицы, глазах. И смотрит опять он туда, где в прошлый раз копался с кетменем молодой садовник-шагирд.

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

— Что дороже радости?..

Садовым серпом нарезает он борозду в дерне, укладывает среди влажных корней отточенное лезвие. Остается при себе лишь ремешок, которым крепится нож в рукаве. Землей прикрывает он тусклую сталь, и красный стебелек шакальей травы служит меткой. Тугими сросшимися колокольчиками растет эта трава...

Всех без различия осматривают при входе в кушк, где обиталище дьявола. Предназначенный ему нож будет провезен туда среди садового дерна. Тайно пристегнет он там этот нож к запястью и станет ждать. Теперь закончится сомнение, и исполнит он назначенное имамами в ледяных горах Дейлема...

Не открывая лица, в первый раз заговорил с ним сегодня великий даи, и названо было это странное слово. В полутьме комнаты в доме устада прозвучало оно глухо и настораживающе. Косая полоса света проникла в прорезь ткани, обозначая голую покатость лба и оспинки на носу у того, кто наставлял его.

Надо помнить всякий раз одно лишь слово, по которому узнается имам. Изменяется потом оно, лишь отзыв всегда тот же. Особый смысл имеет тут всё. Если сложить пять букв, составляющих «радость», получится число 82. Однократно делится оно и потому ближе всего к дьяволу.

— Тайна!..

Руки опускаются у него, и он смотрит вокруг непонимающим взглядом. Здесь, в питомнике при султанском саде, его нынешнее жилье. Голубая сорока скачет по оголенной земле, откуда взят свежий дерн. Высоко в небе сходятся ветви старых деревьев. Меж ними просветы, и в золотом полумраке стоят столбы горячего солнца. Пчелы облетают свет, выискивая гниющие плоды. От сладкого запаха кружится голова. И сияние на всем...

Сегодня утром опять это произошло. Он поднял глаза от клумбы и увидел жену султана. Она шла, ступая по песку маленькими красными туфлями, а крошечный человек с безбородым лицом важно нес за ней большую книгу. И не светилось ничего, хоть совсем открыты были у нее лицо и руки.

Она остановилась, глядя на него, и снова нижняя губа удивленно оттопырилась. Все было у нее, как у всякой женщины в пристанище гябров. Нос был такой же маленький, рот с ямочками по краям, сведенные краской брови. И только глаза не имели цвета.

Руки подняла она к голове, поправляя нечто. Выше локтя обнажилась белая плоть. Солнце проникло под покрывало, и ясно увидел он золотящиеся волосы. Тошнота подступила у него к горлу.

И вдруг засмеялась она, посмотрев на тюльпаны. Сразу померкло все в саду. Солнце угасло в небе, и тайный, нездешний свет отразили ее глаза. Страшно, как в прошлый раз, сделалось ему. Вся уже источала она сияние, и опять захотелось ему заслониться.

— Ты почему так смотришь на меня, садовник?..

Он задержал свою руку. На тысячу разных цветов распадался ее голос в саду. И не стало никакого света. Снова такие же, как у других женщин, были у нее лицо и руки. Даже царапинку возле локтя увидел он и вдруг ощутил, как непонятно размыкается у него самого рот. Что-то хрустнуло внутри, сдвинулись с места скулы, ослабел подбородок. И сами уже разжались зубы. Он понял, что смеется вместе с ней,— такого еще не было в его жизни...

В свой дом ушла она. Светились в саду цветы и деревья. Золотое пламя испускали пчелы. Непонятно легким сделалось тело, и сияние исходило от всего, на что бы он теперь ни смотрел...

От радости этот свет, и рядом с дьяволом то, что не делится многократно. Проклятье убийства хезрета Али и его сыновей на людях. Нет счастья с тех пор в мире, и кто размыкает рот для смеха — сам подобен их убийце.

Однако не вечен этот гнет. От его руки рухнет вселенский гонитель, и распадется дьявольская цепь насилия. По правильным законам начнут тогда жить люди, и свет учения открыто изольется на них. Но счастье придет лишь в омытый кровью мир...

Приезжает арба от хаджиба султанских садов, и вместе с погонщиками укладывает он дерн. Пар идет от встревоженной земли, сочатся срезанные корни. Тяжелее других кажется ему заветный квадрат. Лошадь в дороге все оглядывается, будто не доверяя людям.

Долго ощупывают их в кушке, и два мушерифа стоят рядом, пока снимается с арбы привезенный дерн. На вытянутых

руках опускает он последний пласт земли. Подрагивают красные колокольчики шакальей травы, и звенит в ушах.

Но все обходится хорошо. Садовой кошмой накрывает он уложенный возле арыка дерн, поливает сверху водой из лейки, чтобы не увяла трава. Потом поворачивает голову и видит того, чье имя означает дьявола. У себя в доме сидит этот человек и все смотрит на него своими добрыми круглыми глазами. Запах хлеба ударяет ему в лицо, и смертной тоской перехватывает горло.

Глава девятая

I. ВАЗИР

О постоянном рассылании скороходов и птиц...

О проявлении внимания к приказам в опьянении и в трезвом состоянии.

О вакиле — управляющем домом государя — и успешности отправления его дела...

О приближенных надимах и о порядке их дел... Надим должен быть всегда согласным с государем. На все, что произойдет или скажет государь, он должен отвечать: «Отлично, прекрасно!» Он не должен поучать государя: «Сделай это, не делай того; почему поступил так?» Он не должен возражать, а то государю станет тягостно...[1]

Так и не являлась все это время Тюрчанка. Присевшей на песок девочкой пришла она в последний раз, когда покатился калам. Но не увидел он ее уже опять с гуламом. Если должный порядок в мыслях, не повторяется срамное видение.

Но как все же происходило это у нее с гуламом? К столу она сверху приникла локтями и грудью, и не успел он всего разглядеть. Поднятое колено ее опиралось на книгу. Гулам старательно придерживал ее распяленные бедра, и розово светился где-то внизу сброшенный шелк. Что-то еще нужно было ему увидеть. Почувствовав слабение в пальцах, он крепко стиснул калам...

Скороходы и птицы всегда применялись в правильно устроенном государстве, ибо раньше всех должен быть извещен правитель о том или ином событии. Следует лишь установить постоянное жалованье гонцам и содержателям голубей, чтобы были ревностны и ответственны к службе.

---

[1] Сиасет-намэ, с. 91—95.

В отдельную главу надо выделить и замечания об исполнении приказов, отданных государем в опьянении. Много есть примеров, когда отрубят кому-нибудь голову, а государь, пробудившись, забыл обо всем и зовет этого человека к себе. Так же с дарами и имениями в икта, коими награждаются во время пира. Это — тонкое дело, и надо при нем проявлять осторожность. Всякий приказ на пиру не имеет силы, пока его вторично не доведут до высочайшего сведения. Пока же будет он писаться, государь имеет возможность переменить свое решение.

О приближенном вакиле, который ведает едой и питьем государя, надлежит решать особо. Ключ к царству в его руках, и даже спать он должен в присутствии мушерифов.

Что касается надимов, то эта должность осталась от первых царей земли в персидской державе. Известно, что частые сидения со служащими эмирами, сановниками и сипахсаларами войска не к пользе государя, ибо наносят ущерб его величию. Для того и существуют надимы.

Из красноречивых и обходительных мужей избираются они. Их обязанность — денно и нощно присутствовать при государе, громко подхватывать каждое его слово, неустанно втолковывать ему самому, сколь он велик и как облагодетельствован им мир. Тогда и государь легко уверится в этом. Решительней и тверже сделаются его действия, не станет он ни в чем сомневаться, а в державе утвердится порядок.

Не только государю, но каждому сановнику полезно иметь при себе таких надимов. Необходимы они также тем поэтам, певцам и музыкантам, что находятся при правящем доме. Хваля и возвеличивая их талант, надимы тем самым способствуют вящей славе государя.

Всякому знакомому с устроением Эраншахра понятно, что славословие надимов — не прихоть, а важное государственное дело. Люди сей державы, слыша ежечасно о мудрости и величии своего государя, укрепляются духом, не ропщут в бедствиях и готовы двинуться в любую сторону на врага. В свою очередь враги, до которых доходит подобное мнение, задумываются и становятся уступчивы.

Находятся такие из государей, которые делают своими надимами также врачей, мужей науки, определяющих пути планет астрологов и прочих искушенных в знаниях людей. Это — при сильном уме государя — может быть к пользе. Но нельзя, чтобы число ученых людей среди надимов превышало число надимов славословящих. Лучше всего, когда их как раз поровну. При таком соотношении всегда слышнее те, кто говорит о величии государя, а не другие, склонные к умствованию...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Опять он сидел, глядя на стол, и все не давала ему покоя эта мысль. Чего же не понял он из происходившего с Тюрчанкой в книгохранилище? Взгляд это был или движение плоти? Не выпуская из пальцев калама, силился он все вспомнить, но отчетливо виделись лишь руки гулама. В некоем тумане скрыты были лицо ее и тело. Плывущие пятна света остались в памяти от ее наготы.

И уже без страха бросил он калам на стол. Золотой стержень упал торчком, перевернулся и остался лежать на середине стола. Свет потускнел и вовсе затух где-то во времени.

Он старательно примерился и снова бросил калам. На этот раз стержень катился правильно, и все реже мелькали золотые нити. На краю стола остановилось вращение. Серой мглой покрылось все там, где была Тюрчанка. Даже рук гулама не стало видно теперь.

На дверь он посмотрел в ожидании. Многоумный имам Омар явился сюда в прошлый раз вместо Тюрчанки. Но хранило покой утерявшее цвет дерево. Плавные узоры его стерлись от времени, и трещины прорезали их сверху донизу.

Через стол потянулся он за каламом, но не удержал его. Золотой стержень, качнувшись, упал по ту сторону. На этот раз за дверью послышалось шевеление.

Не найдя укатившегося куда-то калама, он нетерпеливо постучал косточками пальцев. Сама собой отворилась старая дверь, и в проеме возникла знакомая фигура. Высокий наетойчивый голос провозгласил положенный мир, и он не удивился. Кто-то из этих трех должен был прийти: звездочет, блудница или иудей...

Не успев войти, понимающе приподнял брови иудейский экзиларх Ниссон... Да, конечно, что-то случилось, если нет калама в руке у дабира. Тем более что это не простой дабир, а вазир. Великий вазир, можно сказать... Вон лежит себе под столом этот калам, у самой ножки. Но зачем ему все замечать? Кому это надо? Еврею, будь он тысячу раз экзиларх, нечего вмешиваться в дела такого большого человека. Не станет он этого делать, Боже упаси... Однако, что там ни говори, они старые друзья, можно сказать, с вазиром. Пятьдесят лет такого знакомства — не шутка. Совсем молодой дабир с круглыми глазами пришел когда-то в Нишапуре к ученому Бен-Натаниилу, в его библиотеку. И был там у Бен-Натаниила некий ученик, которого звали Ниссон. В тот день говорили они о книгах. И вот уже столько лет, когда в Мерв приезжает великий вазир, встре-

чаются они где-нибудь на стороне и беседуют между собой... Так что же все-таки произошло с нашим вазиром?!

Ни слова еще не сказав, забросил иудей свой крючок. Даже шею вытянул по направлению к нему, и знакомый свет сразу разлился по комнате. Приподнявшую колено блудницу увидел он в черных иудейских глазах и невольно посмотрел в сторону.

Да, не ошибся он, и тот же вызывающий свет, что от голой Тюрчанки, во взгляде беспокойного имама и нахального иудея. Самая суть греха в этом откровенном сиянии. Нет, не напрасно тревожатся, когда видят его, все причастные Божьему порядку люди!..

Про другое, как обычно, заговорил экзиларх Ниссон. Но дело было в субботней здравице. До сих пор не изменили ее иудеи, хоть дважды посылался к ним особый дабир с уведомлением.

Нужно было приказать иудею выбросить знак царей Эраншахра из субботней здравицы, но он медлил почему-то. Соблазн струился из сияющих иудейских глаз. Они притягивали к себе, звали наклониться и заглянуть в греховную бездну. Но к двери отходил уже экзиларх Ниссон, и опять неслышно открылась она. Зачем же звал он иудея, если так ничего ему и не сказал?..

Под столом, куда смотрел иудей, отыскал он калам. Тростинка для письма обломилась при падении, и другую — такой же длины — вставил он в стержень. Золотые нити не оставляли своего призрачного кружения. Почему же не стала приходить больше Тюрчанка?!

Он все думал об этом, и к саджжаду для молитвы потянулась рука. Торопливо расстелил он истертый коврик; постоял, определяя поучение. Потом быстро пал на колени, выбросил руки, напряженно приник к полу локтями. Серая плотность кошмы была у самых его глаз.

Все чего-то ожидая, не заканчивал он раката. Но не мешало ничто мерному чередованию слов. Заученно шептали их губы, и где-то в стороне светилось пятно. Нарушая запрет, посмотрел он туда и увидел косой луч солнца. Четкий треугольник обозначал он на кошме, но бесцветной была ровно укатанная шерсть. Во второй и в третий раз становился он на колени, пытаясь вызвать Тюрчанку, и встал с молитвы растерянный.

В пустой сад он пошел и остановился в начале аллеи. Малая стена отделяла гарем, и не был сегодня его день. За арыком высилась гора свежего дерна. Садовой кошмой накрыл ее вчера от солнца шагирд, но опять почему-то не прищел.

И вдруг знакомый шум донесся до него. Словно пробудив-

шись, заторопился он к дальней стене. Пройдя часть пути, вспомнил он про деревья. Нужно было считать их, но не пошел уже он назад...

III. ВАЗИР

(Продолжение)

Дети громко кричали в селении Ар-Разик, а он стоял и слушал, задрав голову, и глядел поверх стены в белое небо. Где-то у самой кромки начал зарождаться горячий вихрь. Готовая надломиться вершина его неясно покачивалась, приближаясь к солнцу...

Втянув вдруг голову в плечи, он огляделся по сторонам и, скрытый деревьями, торопливо пошел вдоль стены. Поросшие травой ступени вели вниз, и там спал мушериф, приложившись щекой к железной скобе. Тайный ход это был из кушка.

Снаружи сидел под стеной еще один мушериф, и не заметна была среди кустов тропа, ведущая к большой дороге. Два или три раза задевал он халатом за ветки шиповника. Приходилось задерживаться и отдирать пальцами клейкие тугие бутоны. Полосатые ящерицы с шорохом ускользали из-под самых его ног. Потом раздвинулись кусты, и явственней сделался детский крик. Совсем близко увидел он старое дерево посредине селения Ар-Разик...

Какой-то старик с двумя мешками травы проезжал на ишаке, но даже не посмотрел в его сторону. Едкой дорожной пылью обдало его, и тонким слоем осела она на халат и бороду Что-то забытое возвращалось к нему.

И опять проплыл мимо ишак, проехала высокая арба с мальчиком и закутанной до глаз женщиной. Даже не объезжали они его, и к краю дороги становился он всякий раз. А когда свернул к площади, то стал в неуверенности. Старый кетхода селения шел прямо на него. Надо было с ним поздороваться. Важно ответил ему старик, и ничего не отразилось в его коричневых глазах.

В недоумении осмотрел он тогда себя сверху донизу. Все было такое же надето на нем, как и в прошлый раз: чарыки, халат, малая чалма на голове. Но почему-то не узнавали его эти люди...

Все ту же птицу увидел он опять на другом берегу хауза. Мутная вода колыхалась там вместе с гнилой соломой и какими-то палками. Но он знал, что все это не так. Нужно лишь наклониться и посмотреть.

А дети кричали и бегали на площади, обсыпая друг друга

пылью. Чей-то пронзительный голос выделялся из прочих. Мальчик с клоком волос, на счастье, это был. Он раскладывал в ямках альчики и кричал что было сил.

С любопытством посматривали они на него, не оставляя игры. И вдруг он увидел, что вовсе не одинаковые у них глаза. Лишь у одного, который кричал громче всех, были они коричневые. У других — мальчиков и девочек — глаза были черные, зеленые, голубые, синие. А когда вокруг он посмотрел, то и там все преобразилось. Птица на другом берегу стала голубой, и розовые перья торчали у нее в хвосте. Ветки деревьев за дувалами оттягивали фиолетовые сливы, оранжевая джида гроздьями висела среди серебряных листьев. И только ломающийся столб пыли у самого солнца оставался бесцветным.

Теперь он уже не удивился тому, что вода в хаузе сделалась прозрачной, когда пришел он к ней. Все опрокинулось в мире, и дерево росло в глубину, озаренное солнцем. Кричали за спиной дети. Их неровные голоса означали какой-то порядок. Для чего-то Бог все же допускает это...

Сияние источала бездна. Пыльный столб продвинулся там к солнцу и распался сразу на несколько частей. Ветки дерева ожили, яркие блики побежали по воде. Крепко зажмурил он глаза, предчувствуя некий ответ. Горячий ветер коснулся лица его, растрепал бороду. И понял он, что это Тюрчанка.

Так и не подняв глаз, пошел он от хауза. Где-то в стороне остались дети. Налетевший вихрь крутил и бросал вырванную с корнем траву. А он шел уже через кусты, отрывая полы халата от колючих прутьев.

Встревоженные лица мушерифов промелькнули сквозь оседающую пыль. Беспомощно подрагивали под ударами ветра в саду остриженные деревья. Прямо по траве шел он к маленькой калитке в гарем.

Охраняющий вход хадим захотел побежать вперед и предупредить о его неожиданном приходе, но он сделал ему знак остаться. Лежали на земле поваленные ветром розы, и растерянно открыла рот Фатияб, державшая в руках расшитые красные штаны маленького Ханапии. Мальчика не было с ней...

Он взял шитье из рук младшей жены, повел ее к окну. Поставив Фатияб возле себя, придвинул к стене столик для посуды и принялся снимать с нее одежду. Потом, подтолкнув ее на столик, правильно расставил ей локти, на должном уровне расположил грудь. Свернутое одеяло вместо книги подложил он

ей под одно колено. Все так он делал, как видел у Тюрчанки с гуламом.

Не понимая, зачем это, старалась стать, как ему хочется, Фатияб. Колено ее сползло с одеяла, и она поспешно приподняла его снова. Локти разъезжались у нее, и тыкалась она всякий раз подбородком.

Руки на Фатияб положил он, не снимая халата. Испуганно притихла она, боясь сдвинуться с места. Все такое же, как у Тюрчанки, было у нее, и ждал он, когда же появится некий свет.

Шорох опадающего песка явственно слышался на айване. Бедра Фатияб возвышались, и неудобно приходилось ему. Долго возился он при ней и отошел в расстройстве. Дрожали от усталости ноги, и нехороший вкус был во рту...

IV. ВАЗИР

(Продолжение)

Неясными волнами лежал на аллее в саду песок, оставленный вихрем. Сорванные листья валялись на земле. Не зная почему, остановился он у кучи сломанного дерна. Некий мальчик, которому он дал хлеб, оставался еще в мире.

Рука неуверенно потянулась, отвернула угол кошмы. Зеленая трава уложена была там четко нарезанными квадратами. На одном — том, что лежал сверху,— чуть подрагивали красные колокольчики.

V. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Про все он стал теперь забывать, останавливаясь посредине дороги. Голубая сорока кричала на дереве при султанском питомнике, и пчелы летали в столбах света. Где-то громко кудахтала курица, призывая цыплят. Он стоял и слушал, не зная, что делать с собой. Значит, это и есть радость?

Утром, когда промывал он песок для аллеи султанского сада, представилось вдруг, как идет по нему тюркская жена султана. И сразу засветилась струя воды, в которую окунал он ведро. Неужто и на расстоянии действуют дьявольские ухищрения?

Ночь перед подвигом надлежит провести ему вместе с даи Кийя — его наставником. Ни одной грязной мысли не должно у него остаться, так как чище льда в заоблачных горах обязана предстать душа в ином, светлом мире. Но ни о чем не спросил еще великий даи, и как сказать ему про радость, опоганившую душу перед уходом туда? Мерзкое это нечестие, и знают все, что

сайид-на бросил со скалы своего сына за один лишь придорожный цветок...

— Что дороже радости?

Вот это слово. Не поворачивая головы, спрашивает великий даи, а он молчит. Что-то следует сказать в ответ. Но не умолкает в ушах сорочий крик. Тень устада в комнате без окон склоняется в его сторону.

— Тайна...

Будто не его голос произнес это. Великий даи Бузург-Умид и старый устад, чье назначение — даи-худжжат Хорасана, сидят неподвижно, положив руки к свету. На кошму он опускается в стороне от них. По-прежнему кричит сорока. Зажать себе уши хочет он, чтобы уйти от разнообразия мира. Устад замечает это, и печальны его глаза.

Луч света пересекает лицо великого даи от глаза к подбородку, и в тени все остальное. Ровный голос утверждает предопределенное семью имамами в горах Дейлема. Всем причастным нужно быть готовыми к завтрашнему дню. Число его делится на три, и трижды в этот день будут повергнуты гонители учения...

Сразу умолкает сорока. Три имени называются в тишине. Первое — чья нисба «Устройство Государства». Некоему рафику представляется право свершения приговора над ним. Если не выйдет на свою обычную прогулку в сад вселенский гонитель, то в дом к нему принесет этот рафик нож в рукаве...

Второе имя — мухтасиба, который ездит со стражей по городу. По приказу его казнят на столбах людей учения, и страх охватит всех при виде постигшей его кары. Но старый тюрк всегда настороже. Некоему фидаи следует применить хитрость...

Третье имя называет даи, и отклоняется вдруг от устада пламя светильника. Ученый имам это с луной и звездами на халате, который ходит к гябрам. От них у него прозвище...

— Нет!

Тихий голос устада — мастера цветов прерывает речь великого даи. Тот умолкает лишь на мгновение и потом продолжает говорить, словно не услышал возражения. Приближенный к гонителям этот имам и надим самого султана. Не трогая близких султану людей, нужно тем не менее показать, что все во власти великого сайида-на.

— Нет!

Опять не замечает возражения устада великий даи. Он говорит, что противен учению считающий звезды имам, и строптивость в его взгляде. На дороге к гябрам следует встретить названного имама. Известно, что каждый день навещает тот гнездо разврата.

— Нет!

Теперь скрытый даи вдруг быстро наклоняется к самому лицу устада.

— Хорошо, праведный даи-худжат,— соглашается он.— Мы заменим звездочета кем-то другим!

Устад остается сидеть, глядя в огонь светильника, а они уходят.

Стража кричит в городе на башне Абу-Тахира, и откликается ей стража при Шахристанских воротах. В лунной тьме идет он с великим даи, чувствуя исходящую от него силу. Громадные листья нарисованы на светлой земле. Через чей-то виноградник пробираются они, минуя дорогу.

Ночь очищения предстоит ему, и в последний раз видит он этот несовершенный мир. На деревьях, на земле и на руках у него свет. Он отстает на мгновенье, и томительной радостью наполняется тело. Холодную гроздь отрывает он от лозы, и серебряной делается она. Светлые капли стекают с ладони...

Руку вытирает он о халат и поспешно догоняет имама-наставника. Сомнение покидает его, мерзостный дух ударяет в лицо. К текущей от рабада клоаке вышли они. Осторожно, по камням, переходит великий даи на другую сторону. Жирный блеск источают нечистоты.

Следует до конца убить в себе радость, и прямо в клоаку ступает он ногой. Постыдный звук разносится далеко вокруг. Невыносимым становится тяжелое зловоние. Голову приходится поднять ему к небу, и рукавом халата закрывается он от сияющей луны...

Куда-то в сторону гябров идут они. Ни разу не оглянулся и не спросил дороги великий даи. Рядом будут они всю ночь, и особое место есть для этого у сподвижников учения в каждом городе.

Полнеба закрывает тень цитадели на горе. Виден становится им тайный огонь у гябров. Великий даи вдруг останавливается и делает ему знак рукой. Кто-то спускается с горы. Слышен уже голос идущего, и черепки сыплются от его шагов.

— Человеком будь... Будь человеком!

Это кричит им возникший в лунном сиянии ученый имам. Звездный халат распахнут, и большой кувшин в его руке. Стороной обходят они пьяного имама, а он смеется им вслед.

VI. СУД ИМАМА ОМАРА

Еще на горе почуял он приход дабира. Испуганные гябры суетились по-особому. Ничего нет для них страшнее калама, ибо от письма, по их разумению, все несчастья. Только устное слово

почитают огнепоклонники. Впрочем, и правоверные вздрагивают, слыша троекратный костяной стук.

Все собрано в дорогу у гябров, но кувшин в руку все же сунула ему встревоженная Рей. Ждут кого-то важного они сегодняшней ночью. Уж не этого ли писаря под ширванской накидкой, что встретился ему у подножия горы?

Кто-то еще был там, кажется, шагирд из султанских садов. Слова правдолюбивого пророка прокричал он им обоим в напутствие. Слишком много скрытых дабиров появилось в благословенном Мерве, и не к добру это...

Глава десятая

I. ВАЗИР

О совещаниях государя о делах с учеными и мудрецами...

О муфридах личного сопровождения, об их содержании, снаряжении, порядке дел и обстоятельствах...

О распорядке в отношении формы и оружия, украшенного драгоценными камнями, во время государственного приема...

Относительно послов и их дела...

О заготовлении фуража на остановках...

О ясности в имущественном состоянии войска...

О содержании войска всякого рода... Надо, чтобы войско было составлено из разных народов. Так, при доме государя должны пребывать две тысячи хорасанцев и дейлемцев, которые опасаются друг друга...[1]

Он постучал каламом по столу и сказал гуламу, чтобы послали за шагирдом. Косые лучи солнца упали на гору дерна в саду. Каждый день он ждет его прихода, но держат шагирда вдалеке от него.

Где-то за стенами кушка кричали дети. Скоро придет сюда Магриби, чтобы взять написанное им с утра. Он отвел наконец глаза от окна, приблизил калам к бумаге.

Повторялись от правого края листа к левому завитки букв. Можно расположить такие строки треугольником или звездой, как делал он некогда молодым дабиром. Имеет ли все это отношение к хаузу, в котором опрокинут мир?

Золотой стержень не ускользал больше из пальцев. Чего же не знал он в жизни из того, что знают блудящая женщина, иудей или имам-звездочет? Нет, не в них, беспутных и умствующих, а в шагирде правильность мира. И должен увидеть опять он его, чтобы окончательно убедиться в этом...

---

[1] Сиасет-намэ, с. 97, 99, 101, 105—108.

О совещаниях государя о делах с учеными и мудрецами... Что же, устройство совещаний доказывает рассудительность, полноту разума. Государь может сравнивать свое тайное мнение с мнением других, а потом уже выскажется окончательно. Того, кто не делает так, называют своевольным.

О муфридах, коих двести человек должно быть при государе... Не так для охраны содержатся они, ибо это дело мушерифов, тайных и явных. Муфриды же обязаны быть высоки ростом, приятной внешности, с большими и ухоженными усами. И оружие при них пусть будет хорошо прилаженным и красивым. Из этого оружия двадцать перевязей и щитов — серебряные, пики же хаттийские, из особого тростника, что там растет. Когда приедет иностранный посол или гость государя, пусть проходят муфриды под музыку, являя мужественность и красоту шага. Всем станет видно тогда, что порядок в этом государстве.

Ныне во всем свете нет государя более величественного, чем наш, ни у кого нет большего царства. И хоть достиг он такого положения, что может пренебречь условностями, однако посольские приемы следует проводить с подобающей торжественностью. От послов разносится по всему свету слава о державном величии, мудрости, правосудии и прочих качествах государя. Все, что нужно из речей и разговоров на таких приемах, напишут ему особые дабиры с хорошим слогом и пониманием дела. Государю надлежит лишь прочесть это внятно и с глубокомыслием на лице.

Относительно послов это еще не все. Не только для мнения чужеземных правителей, но и для своего народа важна пышность посольских приемов. Люди каждодневно видят их и говорят: «Вот как велик и славен наш государь, со всех концов земли едут к нему!»

В свою очередь государь тоже отправляет своих послов в ближние и дальние страны. Для этого избираются рассудительные люди, умеющие скрывать свои мысли и выведывать все про ту державу, куда они прибыли: каково положение дорог, проходов, рек, рвов, питьевых вод, может или нет пройти войско, в каком количестве имеется фураж, каково войско того царя, а также его численность, снаряжение и местопребывание. А еще должны они знать, какие там водятся угощения и собрания, распорядок чина, сидения и вставания при государстве, игры, охоты, какой у него нрав, повадки, поступки, пожалования, правосудность и неправосудность, стар он или молод, учен или невежествен, склоняется ли более к серьезному или веселому, предпочитает женщин или красивых мальчиков-гуламов, бдителен он в делах или беспечен, разрушаются или процветают его владения, каков достаток народа, довольно ли войско, достойный ли у него вазир, опытны ли в делах войны сипахсалары, сколь

учены и даровиты его надимы, каков делается государь при питии вина, соблюдается ли порядок в его гареме и про все остальное, что относится к жизни государя, вазира, сановников и народа той страны. Если же предстоит война, то посол должен всячески скрывать это, представлять себя мягким и уступчивым, заискивать, делать дорогие подарки. Тогда покажется тому государю, что от слабости такое поведение, и не будет он серьезно готовиться к отпору...

О фураже следует только указать, чтобы загодя припасали его на всех путях, куда захочет вдруг двинуться государь с войском, и чтобы не растаскивали, а сохраняли там в неприкосновенности...

О ясности и имущественном состоянии всего войска подробно говорится в «Ден-намаке». Предпочтительнее, чтобы не от держателей икта, а прямо от государя получали они жалованье четыре раза в год. И награды пусть самолично раздают им. Когда государь своей рукой сыплет в руки и полы их, в сердцах войска устанавливаются истинные любовь и преданность.

В древних книгах Эраншахра многое сказано и о содержании войска всякого рода. Если состоит в нем тысяча дейлемцев, то должна быть рядом тысяча хорасанцев, а также тюрков, индусов, арабов, армян, эфиопов и прочих. Коль затеют мятеж одни, то сразу можно направить на них других. Войско тем вернее, чем дальше страна, откуда оно набрано. Посему дейлемцев лучше всего направлять служить в Хорасан, а хорасанцев — в Дейлем. Самого же государя и его дом пусть охраняют купленные еще в детском возрасте гуламы, не ведающие своего происхождения.

Что же относится к сипахсаларам войска, то тут необходимо особо тонкое разумение. Не так важно назначить хорошего сипахсалара, как величественного, с высоким ростом и громким голосом. Такой обычно послушен государю и не мыслит ни о чем больше, как только угодить ему. В случае же войны надо пока отстранить его, а во главе войска поставить дельного, храброго военачальника. Тот быстро сделает что нужно и победит врага. Когда же война закончится, опасен становится такой сипахсалар. Все войско любит и доверяет ему, так что многое может произойти. Надо сразу же вызвать его к себе, наградить и отправить в какое-нибудь дальнее место.

Лучше всего, когда сам государь находится при войске. Если отступает оно, то обвинить следует сипахсаларов. Трех или четырех можно предать смерти. Когда же войско побеждает, то это благодаря мудрости государя. Сипахсалары в таком случае как бы только выполняют его предначертания.

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Уже записать приготовился он все про сипахсаларов, но сидел неподвижно, глядя в ровную плоскость листа. Казалось, ток крови прекратился в руке, и не ощущает она больше калама. Он вдруг понял, что со вчерашнего дня продолжает лишь по обязанности писать книгу.

Некое прозрение пришло к нему. Простой костяной палочкой с позолотой сделался калам. Навсегда ушло необъяснимое, и не явятся уже более Тюрчанка, имам Омар, лукавый иудей. Кому же противопоставлять теперь эти ясные положения о необходимости государства?..

Так и не записав про сипахсаларов, взялся рукой он за коврик-саджжад, до половины развернул его и опять стоял в раздумье. Следовало выбрать для молитвы главу из поучения Пророка, но ничего к месту не приходило в голову. Выпустив из руки коврик, пошел он в сад.

Вчерашний песок, что нанесло ветром, уже убрали с аллеи. Как всегда, начал считать он деревья, но остановился на полпути. Незачем было идти ему сегодня к дальней стене. Где-то за ней колючий шиповник, пыль на дороге. А еще есть там хауз с грязной водой, и громко кричат бегающие вокруг дети...

Откуда-то прилетела птица и села на дерево. Он узнал сороку, которая копалась при хаузе в селении, и начал разглядывать ее. Серая была она, как все другие птицы, которых видел он в жизни.

Совсем рядом находился покрытый кошмой дерн. Осторожно ступил он через арык, приподнял угол. Зеленая трава была там, и серебрились капли воды у примятых стеблей. Он тихо провел ладонью, ощущая, как расправляются они от его руки. Розовые колокольчики скользнули между пальцами, затрепетали от солнечного света. Тогда он поднял голову и увидел идущего к нему шагирда.

Чьи-то крики донеслись от ворот со стороны города, но ничего уже больше не слышал он. Иссиня-белое было лицо у подходившего юноши, и прямо на него смотрели растерянные, умоляющие глаза...

III. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

— Будь человеком!..

В последний раз доносится из сияющей тьмы крик ученого имама, и каменная тень поглощает их. Старый гябр возникает

из стены, склоняется перед великим даи. Не в ворота к разгорающемуся костру идут они, а куда-то в сторону. На ощупь приходится ставить ноги. Потом где-то далеко, в самом чреве горы, проявляется свет. Начинается ночь очищения.

На возвышении сидит он рядом со скрытым даи, и бронзовый светильник не в силах озарить весь огромный каменный зал. Во тьме теряются проходы между колоннами, непонятные звериные морды таятся в нишах. Когда же наступит время говорить о своем сомнении?..

Не разглядеть лица у великого даи. Грозное безмолвие исходит от его неподвижной фигуры. Сквозь стену прошли они внутрь горы, потому что нет невозможного для дейлемских имамов.

Возвращается все тот же гябр, кланяется им издали. Великий даи резко поднимается и идет к нему. Видно, как говорят они о чем-то в боковом проходе. Все время кланяется гябр и протягивает руку. Черные морщинки на его лице собираются все вместе. На базаре уже видел он этого гябра.

Великий даи отворачивает полу плаща, отсчитывает гябру в ладонь круглые динары. Но тот не убирает руки. Еще и еще раз прибавляет по динару великий даи, потом сердито вскидывает руки к небу. Гябр исчезает, а имам-наставник идет назад, аккуратно подвязывая кошелек к поясу. По-прежнему невидимым остается его лицо.

Два прислужника расстилают дастархан, зажигают светильники в нишах. Каменные звери выдвигаются вперед, на стенах проступают голубые слоны, красные лошади, люди в богатых одеждах с мечами и копьями. Потом приносят белую волокнистую халву, виноград, печеную тыкву, ставят посредине большой серебряный кувшин с танцующими на боках женщинами. Он вспоминает, что все позволено в последнюю ночь идущему на подвиг.

И великий даи Бузург-Умид наливает себе и ему в большие чаши питье из кувшина, делает знак. Он смотрит за рукой учителя, но не видно в ней шарика. Тогда вслед за великим даи приставляет он чашу к губам. Что-то сладкое, обжигающее льется в горло. Прерывается дыхание, кашель раздирает грудь...

Пальцы сделались липкими от пролившегося питья. Но опять наполняется чаша. Сам великий даи уже трижды пил. Всякий раз после этого он звучно ест круто запеченную тыкву. Прислуживающие гябры заносят на блюде сваренный по их обычаю рис с мясом.

Все надо делать, как имам-наставник. С усилием доносит до рта он свою чашу, и сразу извергается из него все выпитое.

В сторону наклоняется он для этого. В нишах качают головами звери.

А имам-наставник как будто забыл про него. Рука его протянута к гябрской еде. Пальцы захватывают мясо, уверенно скатывают в плотный ком. Жир стекает обратно на блюдо. Мягкие золотые волосы на пальцах у великого даи. В недоумении поднимает он глаза. Глухая накидка сползает с головы наставника. Виден уже двигающийся рот и черные усики с налипшими зернами риса.

— Эй, гябр... Все давай!

Великий даи тычет в спину прислужника, подтирающего пролитое питье. Где-то в нишах застучал барабан, играет музыка. Гябры несут корзину с цветами, рассыпают на полу. Огонь загорается на подставке посредине зала.

— Что дороже радости?

Словно камнем ударяет его по голове. Глаза великого даи смотрят в упор. Запах вареного мяса исходит из его рта.

Нет, не для отзыва сказано это слово. Великий даи громко смеется, потом отталкивает его, пьет из чаши. Не глядя машет он рукой старому гябру в проходе. Появляются женщины...

Они все танцуют, выгибаясь, протягивая к нему руки. И та, с которой был он в горах, среди них. Других женщин он тоже узнает. Дыни и хлеб приносят им из города в уплату.

— Кого хочешь выбирай, да!..

Вовсе открыто теперь лицо имама-наставника. Пот струится по нему, и морщится маленький нос в оспинках. Обычная чернильница висит у него на шее и калам заткнут за ухо...

Женщины танцуют, одинаково выгибая колени. И на кувшине продолжается их бесконечный танец. Босыми ногами наступают они на цветы, и грязные пятна остаются на полу. Может быть, опять снится это ему?

Но где же великий даи? Надо обязательно найти его. Он встает, обходит растоптанные цветы, у выхода оглядывается. Женщины не танцуют больше. Сбившись в кучу, они смотрят ему вслед.

Во тьме он идет теперь совсем один, упираясь в глухие стены, сворачивая куда придется. В каменные углы на стыках попадают руки, паутина застилает глаза. Но в пустоту проваливается ладонь, и свет на ней.

На самую середину двора гябров выходит он. Луна стоит прямо над головой. Костер потух, и лишь слабый огонек видится на айване по ту сторону двора. Он подходит и заглядывает в дверь. Кто-то лежит там, развалившись с женщиной...

Широкая светлая полоса обозначилась по горизонту, но луна по-прежнему сияет среди меркнущих звезд. Все быстрее

уходит он от пристанища гяуров. Ноги спотыкаются о чье-то тело, и едва не падает он вниз головой. Звездный имам поднимается с земли, отряхивает свой халат. Кувшин у него в руке.

О чем-то предупредить нужно этого имама, но лишь беззвучно шевелятся губы. Так и не сказав ничего, переходит он сточную канаву, и не тошнит его уже от нечистот. Куда же ему идти теперь?

Первый луч солнца в городе попадает на башню Абу-Тахира, и голубой огонь загорается в небе. С лязгом открываются Шахристанские ворота. Он оборачивается и видит ученого имама, идущего следом.

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

(Продолжение)

Показалось ли ему... или это разносчик горшков идет впереди... Он ускоряет шаг, но нет там уже никого. На другую улицу переходит он, возвращается обратно и в десяти шагах от себя вдруг видит Большегубого.

Так и не успевает он крикнуть что-нибудь. Старый тюрок-мухтасиб в сопровождении десяти стражников проезжает к мечети на пятничную молитву. Большегубый с размаху ударяет шестом о землю. Гремят, рассыпаясь, горшки.

— О, остались ли в этом городе мусульмане?.. Где вы, люди, э-эй!

По земле катается Большегубый и кричит тонким голосом, требуя защиты. Мухтасиб строго поднимает палец вверх, потом слезает с коня и подходит к нему. А когда наклоняется, фидаи сует ему нож в живот.

Все застывает на мгновение. Старик мухтасиб в согнутом состоянии тычется головой в пыль. А Большегубый лезет на дувал. Подскочивший стражник сбивает его копьем на землю, и тот бежит вдоль улицы, стремясь найти выход. Навстречу ему уже бегут люди. Большегубый мечется между ними, а его бьют с разных сторон палками.

Громко, болезненно вскрикивает каждый раз Большегубый. Он пытается увернуться, но палки достают до него. Ногу перебивают ему, потом руку, и он ползет в пыли, крутясь на одном месте. И вдруг затихает, увидев его среди толпы.

Безмерное страдание во взгляде умирающего фидаи. Что-то шепчут вымазанные грязью губы. Все палки сразу поднимаются в небо. Отчаянный вопль раздается в наступившей тишине...

За ноги волокут по базарной пыли то, что осталось от Большегубого. Надвое расколота голова у него, и что-то белое

вываливается кусками. Вверх его подтягивают арканами, надевают задом на остроганный столб.

Все пятится он среди толпы, не в силах отвернуться. На чью-то ногу наступает он и опять видит ученого имама в халате со звездами. Зачем ходит за ним этот человек?..

И вдруг некая мысль заставляет его содрогнуться. Жив до сих пор ученый имам, потому что не захотел устад его смерти А приехавший с гор даи, который лежит сейчас с женщиной, посмотрел тогда в лицо устаду.

V. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

(Продолжение)

Какие-то люди стоят у знакомой калитки в рабаде огородников. Они расступаются, и он заходит во двор. На тахтѐ среди винограда сидит старый мастер, прислонившись спиной к дереву.

Ближе подходит он. Покойно, как обычно, лицо устада, ровно опущены веки. Приветствие дому произносит он, потому что люди вокруг. И потом только видит нож в груди устада..

О корни спотыкается он в незнакомом саду, падает лицом в траву. Следует прикрыть голову руками, чтобы ничего больше не видеть и не слышать. Но как только делает он это, то возвращается вдруг на подворье гябров. Женщина из другого мира лежит там. Дейлемский имам развалился с ней, и мерзко движется его жирное тело...

И тут же крутится в пыли Большегубый. Со стуком ударяют по нему палки, и мольба в его глазах. Устад сидит в своем саду, покойно положив руки.

Он вскакивает, оглядывается по сторонам. Луна и звезды движутся среди дувалов. Всепонимающий имам идет следом, не отставая. Ничего больше не остается в этом мире. А ему куда-то нужно пойти и что-то сделать...

VI. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

(Продолжение)

Вот они уже, ворота, куда он шел всю жизнь. Холодные руки ищут под одеждой, у нояса, в руках. Но не здесь у него нож. Куча дерна сложена в саду и накрыта кошмой.

Там ждет его высокий прямой старик с круглыми глазами. Явственней делается запах хлеба, и с каждым шагом все больше сжимается горло. Лицом к лицу теперь они стоят. Кружится

голова от сытости, и переворачивается мир. Рука старика опускается на его горячую голову...

Страшно рычат убегающие собаки. Тот же самый старик склоняется к нему, маленькому и беззащитному. Все загораживает протянутый кусок. Он силится затолкать его в себя весь без остатка, и камнем останавливается хлеб в горле...

В недоумении смотрит он на свою руку, зарывшуюся среди травы. Красные колокольчики подрагивают совсем рядом. А старик все гладит его голову, не ведая ни о чем.

На место становится мир. Медленно убирает он пальцы с холодного дерна, поправляет кошму. Смертная тоска отступает от горла, слабые, глухие звуки пробиваются наружу. Потом склоняется он и целует добрую, спасительную руку, опять возвратившую ему жизнь.

VII. СУД ИМАМА ОМАРА

Теряется знак агая в сумятице звуков. С протяжным криком об убийстве подлетает к воротам кушка стражник мухтасиба. Но старый вазир не слышит. Опустив руки, смотрит он на идущего к нему шагирда...

В утреннем сне набежал на него этот шагирд, уходящий от гябров. Сомнение появилось наконец у него в глазах. Что-то шептали губы, и острый запах крови ощутился вдруг в полную силу. Отбросив кувшин, пошел он следом за шагирдом...

Человеческий вопль не умолкал в розовом небе. Окровавленная плоть падала в базарный прах, и шагирд отступал, наталкиваясь на людей. Кого-то другого вздевали на столб...

И опять увидел он шагирда в рабаде огородников. Бедный устад нашел свой конец от взращенного им же семени. Это дабиры снова выхватили факел из рук правдолюбцев, и ни к чему стали им свидетели...

В сады метнулся шагирд. Словно у слепого были выставлены вперед его руки. И вдруг понял он, куда тот побежал.

Поздно было уже что-нибудь делать. Неверными шагами шел шагирд к агаю. Старый вазир ждал, ничего не подозревая...

В траве, подойдя, начал искать шагирд и вдруг пошатнулся. Агай протянул руку. Что-то неясное произошло между ними. А шагирд вдруг наклонился, припал к руке агая, затрясся от плача.

Он приблизился, стараясь рассмотреть, что же случилось с агаем. Прямой и строгий, стоял великий вазир, прижимая к себе голову юноши. В круглых глазах его было торжество.

Глава одиннадцатая

I. ВАЗИР

О пребывании заложников и содержании войска разных народов при дворе...

О необходимости иметь на службе туркмен на положении гуламов...

О неутруждении служащих во время службы и распорядке их дел...

Относительно государственных приемов...

О распорядке собрания для питья вина и правилах при этом...

О порядке стояния служащих во время службы...

О нуждах и требованиях войска, о службе свиты...

Об устройстве внешнего вида, оружия и снаряжения, боевого и походного...

О выговорах сановникам в случае ошибок и проступков... Тем, кого удостаивают высоких мест в государстве, кого возвеличивают, приходится переносить много невзгод в наше время. Если выговаривать им открыто — получится нечестие и подрыв власти. Предпочтительнее действовать другим образом...[1]

Не меняя положения, повернул он голову к окну и посмотрел, что делает шагирд. Тот укладывал назад на арбу привезенный накануне дерн.

Да, не для себя пишет он книгу, но в пользу таких, как этот шагирд. Им, простым и богобоязненным, в первую очередь нужен порядок в государстве. Когда все на своем месте, то сановник растит цветы, райят идет за плугом, кузнец выковывает орудия труда, купец усердствует в торговле, воин побеждает в сражениях, а дабиры смотрят, чтобы все делалось по закону. Разве плохо, когда все это так?

В труде суть человека, и хлеб в основе всего. Какие еще чувства могут обуревать людьми, коль сыты они? Это естественное поведение простого человека. Им дают хлеб, и они благодарны за него. Лишь всяким умствующим имамам и лукавым иудеям присуще беспокойство. И женщинам с их нетвердым естеством все хочется чего-то необыкновенного, призрачного...

На глазах у некоего имама вчера произошло это. К нему пришел шагирд и поцеловал руку за хлеб, протянутый некогда. Значит, все в мире делается правильно. Тверда его рука — рука дабира, и в дым обратились пустые видения...

О пребывании заложников при дворе сказано во всех старых

[1] Сиасет-намэ, с. 108—110, 124, 128—131.

книгах Эраншахра. Не так важны они в качестве прямых заложников, ибо и сына своего не пожалеет задумавший измену правитель. Но если в столице при дворе постоянно находятся три-четыре высокородных сановника от какой-то страны, да и к тому же смещенных там со своих постов, то обязательно станут они докладывать о происходящих там непорядках. А тамошний правитель будет знать, что есть кем заменить его.

О туркменах... С ними нужно поступать как некогда с персами. Они — главный народ этой державы, храбры в сражениях и неприхотливы. Но хоть числятся ныне туркмены первыми в государстве, а беднее всех прочих, коих сами завоевали. Даже коня имеет не всякий, и пусто в их шатрах. Посему следует громко хвалить их, почаще называть великим народом. Им по простоте большего не надо.

О неутруждении служащих во время службы... Следует запретить вызывать всякий раз ко двору всех, кто служит, ибо мешает это повседневному делу. Каждый чин должен знать свое место и час прихода, и не будет тогда пустого времяпрепровождения.

Тем не менее нет лучшего средства для укрепления власти, чем частые приемы. Когда не происходит их долгое время, начинают говорить о слабости или болезни государя. Сановники становятся подозрительны, начинают злоумышлять, смутьяны наглеют, и все государство впадает в тревогу.

О правилах при винопитии... Отнюдь не противопоказаны государю непринужденные удовольствия. Следует лишь делать такие вещи не на глазах народа, а в должном кругу приближенных и надимов. Лучше всего пить вино в загородных кушках, кои строятся для этого в разных красивых местностях державы. Там пусть будут сардобы, цветники, фонтаны и все необходимое для увеселения.

По времени полезно устраивать более широкий прием с питьем вина, на который приглашаются разные служащие люди государства, в том числе из областей. Так они не будут завидовать более высоким сановникам и станут чувствовать себя тоже причастными к правлению. Всего от богатств государства должно хватать на таких приемах, и не нужно задерживать, если уносят с них что-нибудь в полах халатов.

Каждому при подобных мероприятиях раз и навсегда определено свое место. Коль восходит на помост государь для наблюдения за парадом войска, то сначала идет он один. Потом только всходят сановники, а если забежит кто не по чину впереди другого, должен быть наказан.

Так же и в войске — не смеет младший обращаться с просьбой через голову старшего, ибо подорвано станет тогда уважение к службе. Соответственно положению должно выделять

каждого убранство, красивое оружие и прочее. Всякому положено свое.

Что необходимо, написано и о выговорах высокопоставленным сановникам. Никто не должен слышать этого, пока не будут они смещены со своих постов. Тогда уже можно в достойной форме рассказать о некоторых их проступках, но так, чтобы не поколебать основы. Ибо скажут: что это за государство, где возможны подобные беззакония...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Магриби приподнялся в своем углу, лишь только поставил он точку. Был незыблем на середине стола золотой куб. Все делалось в установленном порядке, и уверенность обрел калам. Разъяснив, какие следут внести дополнения к написанному, стал на молитву.

Ничто не мешало сегодня. Выбрав сунну о пчелах созидающих, шептал он установленные слова. Сами собой подгибались колени, соединялись руки, лоб касался саджжада. Встав с молитвы, он подумал: а не те же ли пчелы — кружащиеся по земле люди? Бог послал в пример порядок в улье, и изгоняются оттуда беспокойные.

Да, в подлинном государстве, что строится по образцу Эраншахра, противопоказаны те, кои одержимы талантом. Во всем друг на друга должны походить люди, ибо — как и у пчел — одно у них предназначение. Кто же выделится в чем-нибудь — не найдет тут себе ни дома, ни корма...

Прямая линия деревьев уходила к дальней стене, и он принялся считать их, четко отделяя одно от другого. Шагирд ехал к воротам со старым дерном, но, как и положено, не стал привлекать внимание поклоном. Великая преданность была в его чистых глазах.

Где-то за стеной кричали дети. Все же некому присмотреть за ними в этом селении. Следует сказать, чтобы выделили там для наблюдения за детьми ушедшего на покой старого дабира, и пусть сидит каждодневно у хауза...

В обратную сторону просчитал он деревья и тотчас же сел за работу. Указание для мушериф-эмиров на ближайшие дни принялся он писать. Теперь, после убийства мухтасиба, султан увидит, насколько правомерны были его действия.

Прежде всего надлежит переловить убежавших гябров, так как у них обычно находят приют те, кто скрывается от закона. В ночь накануне убийства выехали они все из города, и посланы

люди вслед за ними. Тем же утром в рабаде был зарезан дейлемским ножом со знаками батинитов старый устад-садовник сам был он из них.

По всем городам и селениям на пути войска следует произвести облавы. О дне его выхода из Мерва стало известно нечто дейлемским имамам, и забеспокоились они. Поэтому не через месяц, как намечалось, а к концу нынешней недели выступит войско, чтобы не успели приготовиться враги веры. Сегодня уже нужно будет объявить о большом смотре. И в утверждение крепости и мощи державы провезут на этом смотре через площадь Йездан великий диваркан — Разрушитель городов.

Все будет делать Абу-л-Ганаим, чтобы отговорить султана. С Тюрчанкой объединится он снова, и, конечно же, заболеет она в день похода. Султан не расстается с ней, так что будет упорствовать. Но к спасению царства делается это, и настоит он на назначенном им сроке.

Пока же надо неукоснительно соблюдать порядок во всем. В ответственную для государства минуту должны быть натянуты поводья. А чтобы дать понять это народу, можно использовать иудеев. Сами же они не пожелали включить знак Величайшего Султана в субботнюю здравицу, а следовательно, замышляют измену. Пусть же придет к ним в синагогу с розыском специальный дабир со стражниками. Иудеи, как всегда, начнут громко кричать о нарушении закона, и люди поймут, что следует в эти дни проявлять осторожность.

И всевозможным умствующим тоже придется укоротить языки. Когда предстоит война за веру, то не к месту шататься с кувшином по базарам и восславлять порок. С двух сторон затачивает стрелы своих стихов некий имам, взявший себе гябрское имя, но сам думает не пораниться при этом. Сейчас он придет сюда, и надо дать ему почувствовать, что недовольны его поведением...

III. СУД ИМАМА ОМАРА

Непререкаем троекратный стук кости о дерево. Знак агая первенствует в мире. Видно по всему, что дейлемские убийства пришлись к пользе делу порядка. Так оно и бывает всегда. Он переступает порог, но великий вазир не смотрит в его сторону.

Сухой ладонью накрывает агай буйный месяц урдбихишт. Круглые глаза останавливаются сегодня на многозвездном Теленке. Брыкливый наваст делается смирным, будто чует, что его ждет.

Потом агай оглядывается на окно и ровным голосом говорит, что божье стадо включает в себя разных по уму людей. В этом, по его мнению, нет чего-либо ошибочного, как и в том,

что мир расположен меж двумя Тельцами. Сочиняющий стихи вправе допускать такие вольности...

Ага, значит, до старого вазира уже дошло рубои, что составил он вчера в чорсу у красильщиков. Имам Джаффар из их мечети принялся громко утверждать свои обычные глупости о Божьем смысле в жизни. Тогда он постучал ладонью по донышку кувшина и сказал что-то в рифму о великом множестве ослов, которых пасет Господь в сем преходящем мире между двумя Тельцами. Видимо, поручается уже мушерифам смотреть не только в рукава, где может таиться нож. Но что здесь обидного для агаевой идеи государства?..

Великий вазир между тем указывает ему, что Бог един и непознаваем. Увидеть, представить или осознать его невозможно. Но некоторые безответственные люди дерзают изображать Бога реальным пастухом, да еще пасущим неких длинноухих животных, возящих поклажу. И есть сведения, что, пересказывая уже эти легкомысленные стихи, враги порядка называют среди Божьего стада богопротивных свиней, что прямо ведет к посрамлению веры...

Тут агай наконец поднимает голову и смотрит ему в глаза. А он, не в силах скрыть свою проклятую усмешку, быстро прячет ее в бороду. Так всегда бывает с ним. Сначала кривится рот, и только потом вспоминает он о пользе осторожности...

С навастом же в Нишапуре делали так. Когда бычок подрастал и рожки во лбу вылезали больше, чем на полпальца, приглашали особого человека. Беспокойного наваста излавливали, валили на землю и каленым железом лишали того, что рождает буйство в крови...

У клоаки, что течет по дороге к гябрам, видит он вдруг шагирда. Арбу, груженную дерном, останавливает тот на берегу. Нарезанная квадратами трава еще достаточно свежая, да и к чему было везти ее сюда?..

Перейдя канал с нечистотами, идет он вверх, думая об этом шагирде. Некая просветленность сегодня в красивом лице юноши. Когда-то в Тусе найден он агаем среди умерших от голода людей. Но может ли понять великий вазир, сколь обидно благодеяние...

Придя к подножью горы, он спохватывается. Нет уже там гябров, так как уехали все в утро убийства. Нужно идти назад. Но что это происходит там, у перехода? Во весь рост становится на арбе шагирд и с размаху бросает пласт дерна на середину клоаки...

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Всхлипывает, расступаясь, густая омерзительная жижа. Медленно погружается пласт дерна, и лишь стебелек шакальей травы краснеет еще некоторое время на поверхности. А он уже раз за разом швыряет в жирную текущую грязь остальной дерн, и где-то на самом дне остается прямой нож со знаками дейлемских имамов.

Даже крошки выметает он с освободившейся арбы. Обычное солнце стоит в небе. Конь тянется к нему из постромков, доверчиво жует руку теплыми губами...

Халат ученого имама синеет среди развалин. Не видно дыма на горе у гябров, и в сторону города поворачивает он голову. Там, рядом с башней Абу-Тахира, высоко в небе стоят столбы. На одном из них — Большегубый.

А звездный имам уже тут и смотрит — будто все знает о нем. Куда бы ни шел, встречается ему этот имам. Странный у него взгляд, и невозможно долго смотреть ему в глаза...

Теплый запах хлеба ощущается все яснее, и в ворота кушка заводит он арбу чистого, нового дерна. В углу двора большой тамдыр, а гуламы там месят тесто. Обернутую влажной тряпкой руку опускает один из них в темнеющий зев печи и достает огромную — больше его самого — лепешку. К горе хлеба кладет он ее на тахт, и чуть дымится она на солнце.

В саду он слышит ровные размеренные шаги. Это идет прямой строгий старик с добрыми глазами, которому обязан он жизнью. Лишь на мгновение нестерпимым становится запах хлеба. Потом удушье проходит, и пот проступает на лбу. Со страхом думает он, что лишь вчера прятал здесь нож, чтобы убить этого человека.

Глава двенадцатая

I. ВАЗИР

Относительно дела стражников, часовых и привратников...

О добром устройстве стола и распорядке питания у государя...

О вознаграждении достойных слуг и рабов...

О мерах предосторожности по отношению к тем, кому даны владения в икта, и делах народа...

О неторопливости государя в делах государства... Не следует спешить...[1]

Про тех, кто охраняет особу и дом государя, а также хранилища и тюрьмы для преступников, есть соответствующее разъяснение в «Ден-намаке». Как всякие люди, кто идет в охрану, ленивы, жадны и подлы характером они. Пусть больше всего боятся потерять службу. Так как ничего другого делать они не умеют и привыкли к хорошему положению, то будут с рвением относиться к своим обязанностям...

В доме государя, как принято, с утра должна быть готова добрая еда для своих и чужих, Тот, кто отведает что-либо там, никогда этого не забудет. Даже если целый век потом станет ходить он голодным и не иметь по причине бедности и медного обола на покупку хлеба, то все равно будет говорить: «Велик и щедр наш государь, слава ему». Все, кто известен в мире любовью народа, по большей части приобрели ее, раздавая хлеб из собственной руки. А плохими всегда считали амилей, собиравших налоги...

По поводу вознаграждения достойных слуг и рабов нужно сказать Магриби, чтобы нашел примеры из жизни царей Эраншахра, прежде всего Ануширвана Справедливого, а также у китайских фангфуров.

То же относится и к чиновным людям от государства, которые сидят в областях. Их следует награждать или наказывать, в зависимости от состояния тамошних дел. Обычно, когда жалуются на них, приводят они всякие отговорки: у нас, мол, враги! Слушать это надо вполуха, не то обнаглеют. Все лучшее будут забирать они себе, и не с кого станет брать государю...

О пользе неторопливости в делах государства лучше всего свидетельствует случай с Алп-Арсланом, отцом нынешнего султана. Как-то в Герате тот не стал спешить с казнью одного ученого старца, пока не выяснил всех обстоятельств дела. Пусть написано здесь будет и об этом, хоть в расправе как раз необходима скорость. Зато все прочие дела лучше решать медленно. Когда человек походит первый, и второй, и третий раз в одно и другое место, то почувствует свое ничтожество перед лицом государства. А это всякий должен ощущать каждодневно.

Все было на месте в мире. Новый дерн привез шагирд и укладывал его в ряд, аккуратно подбирая траву по единому цвету. Каждый пласт ложился в назначенное место и становился неразличим среди прочей травы.

---

[1] Сиасет-намэ, с. 134, 135, 138, 140, 141.

Не время еще было подходить к шагирду. Деревья он тоже не стал считать. Сделав все распоряжения на вечер, пошел он в сторону по малой дорожке. Ибо был сегодня день гарема...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Фатияб ждала его, но не легла сразу на свое место. Стоя посреди комнаты, смотрела она в угол. Стол для посуды стоял там, плотно прислоненный к стене. Значит, сама она передвинула его туда.

К ее постели пошел он и начал снимать халат. Еще раз оглянувшись на стол, она приняла все из его одежды и легла, как обычно. Но что-то новое показалось ему в ней, когда совершал он необходимое. Не устраивалась она удобней для него и о ребенке на этот раз не беспокоилась Фатияб, словно ждала еще чего-то. И снова он заметил, как скосила глаза она туда, на стол.

В доме старшей жены Рудабы сидели они потом. Все было по-прежнему. Ханапия прыгал на коленях у матери и тянулся к ханум, которая кормила его халвой. Старший сын Али, приехавший из Нишапура, рассказывал, что все в Хорасане готовятся к смотру войска. Обозы с фуражом уже вышли на дорогу к Серахсу, и говорят, что прямо с площади Йездан двинется войско в поход. Внук Осман-раис опять жаловался на эмира Кудана. Пользуясь присутствием султана, вовсе перестал считаться с городской властью этот шихне. Вчера его гуламы до смерти избили двух стражников мухтасиба, пожелавших отобрать у них вино...

Обе жены пошли провожать его к калитке, и Фатияб, строго по закону, шла немного позади ханум.

III. ВАЗИР

(Продолжение)

Теперь предстояло ехать к султану. Вчера тот уже согласился, что прямо со смотра пойдет войско в поход, и завтра с утра должны быть собраны шатры. Кругом говорят об этом, так что нетерпимо промедление. Но рядом с султаном Абу-л-Ганаим, и передумано может быть все за ночь. Тем более что здесь Тюрчанка.

Нет, нельзя стало полагаться на слово Малик-шаха, и непонятное истощение духа произошло в доме Сельджуков. Видом и статью схож с отцом нынешний султан, но никогда

не менял своих решений грозный Алп-Арслан. Даже если предстояло умереть, как в теснине у Мелазгерда...

Пятнадцать тысяч конного войска было тогда с Алп-Арсланом, и донесли, что румийский кайсар привел туда войско в двести тысяч. Но дал уже себе слово султан, что начнет битву, и не стал уклоняться. Как атабека, его вместе с наследником отправил Алп-Арслан в Хамадан, сам же вышел к войску и заплакал. Увидев это, заплакали пятнадцать тысяч тюрков. «Кто хочет уйти — пусть уйдет, ибо нет здесь сейчас султана, который приказывает и запрещает!» — вскричал Алп-Арслан и бросил на землю лук и стрелы. Взял он меч с булавой и собственной рукой завязал в знак траура по себе хвост своего коня. То же вслед за ним сделали тюрки. Потом султан надел на себя белую одежду и надушился, как поступают с покойником. А подъехав к бесчисленным рядам румийцев, слез с коня, посыпал себе лицо землей, плакал и молился.

Знал Алп-Арслан время и место. Сокрушены в тот день были румийцы, а кайсар Роман Диоген приведен на аркане. Трижды кнутом ударил его султан и отпустил на волю. Вот так делалось им в подобных случаях. Откуда же неуверенность у его сына?..

Но надо было подойти к шагирду. Тот заканчивал укладывать привезенный дерн, и серость травы радовала глаз. Все становилось на свое место. Как нетронутая бумага чисты были глаза юноши...

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

Где-то затерялся бесчувственный сон, в котором к небу вздымаются ледяные горы и железо таится в рукаве. Добрый старик ежедневно подходит к нему, а он все больше привыкает к запаху хлеба. Лица людей начали отличаться одно от другого, и радостное предчувствие охватывало его.

К дому в султанском саду позвали его опять, и сразу легкими делаются руки и ноги. Он идет, не замечая дороги. Солнечные столбы теснятся в садах, выстраиваются вдоль улиц. И вдруг ударяется он о невидимую стену. Высоко в небе повис Большегубый...

Медленно проходит он через площадь, глядя лишь вниз на присохшие черные комья. Но потом убыстряет шаг. Караван преграждает ему путь, и солнечный звон разносится от мерно ступающих верблюдов. Снова с разбега скачет он через арык и забывает про все...

У клумбы с тюльпанами стоит тюркская жена султана. Все обыкновенное у нее: глаза, нос, губы. И царапина еще не прошла у локтя. Он срезает для нее сочные стебли, складывает в корзину, которую держит старый, маленький человек с пухлыми щеками.

И голос такой же у нее, как и в прошлый раз. Она смеется и, выбирая тюльпаны, трогает его за руку. Потом говорит ему, чтобы завтра был здесь, в саду...

V. СУД ИМАМА ОМАРА

Гул бесчисленных нашествий назревает и прорывается вдруг совсем рядом. Туркан-хатун, младшая жена султана, идет из сада. Знак ее в мире подтверждается огромной корзиной с тюльпанами, что несет за ней мудрый Шахар-хадим. На ступенях розового дома она оглядывается, и победно оттопыривается у нее нижняя губа. Там, куда она смотрит, стоит красивый шагирд, и руки опущены у него...

Заметив потом и его, стоящего среди колоннады айвана, она доверительно улыбается. Некая тайна всегда была между звездным небом и этой женщиной. Не случайно выделяет она его из всех прочих надимов. И он запахивает свой синий халат, улыбается в ответ.

А шагирд продолжает стоять неподвижно среди поредевших тюльпанов, еще не понимая всей глубины счастья, отпущенного ему Богом. Свет от великой женщины разлит в саду, и на шагирде отблеск его...

Снова видит он маленькую Туркан-хатун у площадки для наблюдения неба. Большой и послушный султан рядом с ней, а сбоку, будто на шелковой нитке, новый вазир Абу-л-Ганаим. Но появляется агай в утверждение порядка. Она фыркает и уходит, не спросившись султана...

Вселенский календарь собрались они обсудить по желанию великого вазира, и он дает обяснения всем троим о связи движения планет и светил с человеческим временем. Отныне по всей земле оно будет едино, а распорядок по поясам для царств и народов установят «Таблицы Малик-шаха». Сонно внимает султан его речи, ибо все предложенное агаем правильно. Только крупные зеленые глаза подлинного сельджука ищут что-то в закатном небе.

Но не для этого собрались султан и оба вазира. В созданной агаем системе ничто не делается прямо. Только повод — звездные таблицы, а речь идет о другом.

Подобен сказке их разговор, и таковы правила. О некоем решении султана говорит великий вазир, которое должно быть исполнено. Не называет он ничего по имени, хоть все знают, что

прямо с площади Йездан пойдет завтра войско в поход. И новый вазир Абу-л-Ганаим тоже ничего не говорит про это. Он касается бронзовой чернильницы, висящей через шею, и соглашается с агаем: «Да, это так... Ударим завтра камнем по кувшину, посмотрим, что произойдет!»

Неумолим стук калама о дерево. Султан сидит посредине, не поворачивая головы. Такова пирамида агая, что и ему некуда деться. Войско выступит, как намечалось, и будет война с дейлемскими исмаилитами. Великий вазир касается в подтверждение своей золотой чернильницы — давата.

Но в прочем вынужден уступить агай, чтобы сохранилось равновесие. Каждый должен получить свое согласно правилам, и новый вазир говорит об иудеях, которые взбудоражены чьим-то требованием к их субботней здравице. Уже проникли они к новому вазиру...

Султан кивает головой с явно довольным видом. Хоть в этом принудил он своего учителя. Агаю нечего делать, и он молчит. А султан быстро прибавляет, что и завтра садовник-шагирд, в чьем ведении тюльпаны, обязан прийти в этот сад...

Величайший султан и его вазиры, как приличествует, говорят еще о вечности, о таинствах души, о быстролетности земной славы, которую перерастает простое дерево в саду. Соблюдая свое место, не участвует он в разговорах великих мира сего. Лишь некий маленький звездочет здесь он, чье гябрское прозвище — Хайям.

Глава тринадцатая

I. ВАЗИР

Об эмирах тюрьмы, людях расправы и орудиях наказания...

О том, чтобы не приказывать двух должностей одному человеку, о представлении их людям с чистой верой, достойным, а маловерам и плоховерам должностей не давать, от себя удалять...

Относительно женщин... И в прошлые времена, когда жена государя верховодила над ним, ничего не бывало, кроме мятежей, смут, восстаний и зла. Мы вспоминаем относительно этого лишь немногое, чтобы взгляд упал на многое. Первым мужем, подпавшим под власть женщины, отчего и впал в невзгоды и трудности, был Адам — мир ему! Подчиняясь приказу Евы, поел он пшеницы, за что изгнали его из рая. Двести лет он плакал, пока Всевышний не сжалился над ним и не принял его раскаяния.[1]

---

[1] Сиасет-намэ, стр. 143, 161, 179.

Он зовет к себе шагирда, так как в ночь выезжают оба они за войском. Всегда при нем будет находиться тот отныне. Руку опять кладет он на голову шагирду и говорит, чтобы шел еще сегодня в султанский сад, к тюльпанам. Бледнеет по-обычному юноша и припадает к руке.

Ему же предстоит написать до полудня три главы, потому что не будет в дороге времени на это. Останется тогда на дорогу лишь поучение в отношении батинитов и прочих нынешних врагов веры. Из Эраншахра — от древних маздакитов выведет он их корни. И будет показано в книге, как век за веком прорастало тут и там это отравленное растение. Ибо хоть закопал их в землю ногами вверх Хосрой Ануширван, но дал разлететься семени по свету. И когда потом злокозненный Муканна восставал на государство в Мерве, и вернувшийся к поклонению огню Бабек[1] неистовствовал в Дейлеме, и карматы в своей пустыне делали все наоборот Божьему порядку, то прямо от маздакитов было это. Теперь же одним ударом уничтожено будет гнездо порока, и нельзя дать выбраться оттуда ни одному вероотступнику. Там, когда войско придет на место, и закончит писать он свою книгу...

Особое значение необходимо уделить у ней сейчас людям тюрьмы и расправы. В великом эраншахре, у праведных халифов, при знаменосце веры Махмуде эмиры расправы и палачи-исполнители считались первыми людьми в государстве. Свое знамя, барабан и караул у дверей были у таких эмиров, а боялись их больше, чем самого государя. На чем же еще, как не на человеческом страхе, покоится государственный порядок...

В нынешние же времена эта должность понизилась, и отменили блеск этой службы. Упадок чувствуется во всем. Нужно чтобы восстановлено было уважение к ним. Пусть постоянно находятся при эмире расправы не менее пятидесяти исполнителей, которых бы отличала голубая чалма на голове: двадцать из них с золотыми палицами, двадцать — с серебряными, а десять — с большими железными палицами для дела. И все для проживания пусть имеют они из еды, питья и одежды.

Способы же наказания должны быть перечислены в особых книгах: отсечение головы, отсечение рук и ног, повешение, ослепление, ломание костей, заточение в темницу, опускание под землю для рытья водоводных каризов и другие. Для врагов веры наказания особые: надевание на столб, варка в котле, сдирание кожи, завязывание в мешок с пчелами, топтание слонами. Болтающим и умствующим следует урезывать языки, вливать кипя-

[1] Муканна, Бабек — руководители народных движений в средние века.

ток, лишать кормящего их калама, изгонять. Точно всегда известно в государстве — за что какое наказание.

О назначении на должности... Самое важное это в делах правления. При бдительном государе и осмотрительном вазире всегда должен быть особый список всех служащих людей — как при доме, так и в областях. О каждом там пусть будет сказано, тверд ли в вере и предан государю. Затем: где служил, когда, как справлялся с делом. В этом случае не будет трудностей с назначением на должность. Посмотрел в список, приказал одному приступить к делу, другого же послал в соседнюю область или взял ко двору. В таком случае закрыт будет путь к власти людям неизвестным, умствующим, маловерам и плоховерам, а должности станут исполнять способные, преданные, обладающие хорошим почерком, имеющие заслуги перед сей державой.

Пополнять же такой список тоже надлежит не случайными людьми, а из тех же семейств сановников и усердных дабиров. Всегда это было в персидском государстве: если отец служил вазиром, то сын или брат его становился раисом, амилем или хаджибом при каком-нибудь деле, так как понятно, что такой семье Богом даны особые способности к управлению.

Ни в коем случае нельзя включать в список плоховеров: иудеев и христиан. Ибо сказано у Пророка: «Верующие! В друзья себе не берите ни иудеев, ни христиан: они друзья друг другу». А когда говорят, что почему-либо нет замены иудею, как утверждал вчера Абу-л-Ганаим, то следует отвечать: «Иудей умер!»

Пусть подробно будет записано здесь это. Когда праведному халифу Омару донесли из Басры, что управляет там ими амил-иудей, он тотчас же приказал написать сподвижнику Пророка — Сааду, сыну Ваккаса: «Отреши от должности того иудея и назначь правоверного!» Но сколько ни выбирал из правоверных Саад, сын Ваккаса, не смог найти такого, кто бы по уму и деловитости сравнился с тем иудеем. Так и написал он праведному халифу. Возмутился подобным непониманием халиф Омар, взял калам и самолично приписал на послании эти два слова: «Иудей умер!»

Прочел их Саад — сын Ваккаса и тотчас же отрешил иудея от должности, так как означали они: «Вообрази, что иудей умер!» Такова была сила ума у праведного халифа. С тех пор в мире, когда хотят сказать, что нет незаменимых людей, то говорят: «Иудей умер!»

Относительно женщин он тоже подробно запишет в книге. Все свидетельства прошлого о том, что нет у них совершенства разума, и только сохранение рода — цель их существования. Если жены государя станут вмешиваться в дела державы, давать приказы, то разве от себя они станут делать такое? Ум ли будет участвовать в этом? Нет, только то совершают они, что подсказывает их греховная природа.

Изгнание Адама из рая — первый пример, и известно, кто был там учителем. А разве не похоть женщины разрушила некогда мир между Ираном и Тураном? Судаба — жена шаха Кей-Кауса — прельстилась сыном его Сиявушем. Когда тот отверг ее притязания, она оклеветала царевича перед мужем. Изгнанный Сиявуш бежал в Туран, породнившись там с царем Афрасиабом, но был убит коварным завистником. Тогда воспитатель его — воитель Ростам — за косы выволок Судабу из царского дворца и разрубил на части. Так поступали подлинные мужи с блудливыми женщинами еще в незапамятные времена.

Сильные духом государи всегда сторонились женщин. Когда пришел Искандер из Рума и победил Дария, то захватил его гарем. Невиданной красоты дочь имел Дарий, прекрасную, совершенную во всех отношениях. Сподвижники сказали об этом македонскому царю и предложили пойти и посмотреть на женщин, в том числе и на нее. Но Искандер ответил: «Я победил их мужей; не подобает, чтобы жены их победили нас!»

А разве не к месту рассказ про царя Хосроя, жену его Ширин и Фархада. Так полюбил этот царь свою жену, что отдал ей поводья правления. Конечно же, сделалась дерзкой Ширин и при таком слабовольном государе влюбилась в постороннего.

Спросили однажды у мудреца Бузурджмихра: «Какова причина разрушения дома Сасанидов?» Был долгое время государственным мужем у них Бузурджмихр и ответил со знанием дела: «Одна причина — что доверяли в этом доме больше мелким и невежественным мужам, чем старым, опытным вазирам. Другая же — что давали волю женщинам».

И не сам ли Пророк сказал о женщинах: «Советуйся с ними, но поступай вопреки!» Если бы жены были оделены разумом, Посланник — мир над ним! — не сказал бы такого. Известно, как сам он однажды сделал наоборот тому, что советовала его молодая жена Айша, чья набожность, знание, сподвижничество и добронравие вне подозрений. Каково же поступать тогда с обычными женами!..

В предании рассказывается, как во времена сыновей Израиля было установление, что Всевышний исполнял по три желания всякого, кто сорок лет соблюдал его правила жизни. Нашелся такой муж из сыновей Израиля, который не совершал никаких проступков, молился каждодневно, постился, как установлено, и звали его Юсиф. Жена была под стать ему: скромная, молчаливая, работящая, богобоязненная, по имени Кирсиф. Имея за спиной как раз сорок лет праведности, задумался Юсиф: «О чем же попросить мне у Бога?» А так как не было у него близких друзей, решил посоветоваться с женой.

«Тебе известно, что во всем мире для меня ты один,— сказала жена.— Ты — свет моих очей, как и я для тебя, и есть ли большая радость для нас, чем лицезрение друг друга. Попроси же

у Господа, чтобы даровал мне такую красоту, какой не было еще среди женщин. Ты будешь смотреть на меня и радоваться, так что дни свои мы проведем в счастье».

Так и сделал Юсиф. Всевышний внял его первой просьбе, и, проснувшись на другой день, увидел тот, что стала жена его Кирсиф не виданной еще среди людей красоты. А женщина посмотрела на себя в зеркало и в ту же минуту сделалась надменной, стала капризничать и пренебрегать мужем. «Кто равен теперь мне на свете? — говорила она.— А живу я с каким-то бедняком, который ест ячменный хлеб. Стар он уже для меня и не наделен благами мира. Другой бы одел меня в парчу и золото, навесил драгоценные камни, дорожил бы мной!» С утра до вечера продолжалось это, пока не выдержал Юсиф и не обратился к Господу со второй просьбой: «Преврати, Боже, эту женщину в медведя!»

Стала жена его медведем и принялась бродить вокруг дома, жалобно воя, а из глаз у нее текли слезы. Юсиф же один совсем замучился с детьми и хозяйством, так что не имел даже времени молиться. Тогда он обратился к Богу с третьей просьбой: «Сделай так, чтобы этот оборотень-медведь стал той самой женщиной, какой была она до твоих милостей!» Тотчас же явилась перед ним Кирсиф, ласковая, заботящаяся о муже и детях, участливая. Стали они жить по-прежнему, однако сорок лет праведного житья пропали понапрасну. Могли бы лучше устроиться, но три милости Божьи уже были пущены на ветер по вине женщины.

Халиф Мамун сказал однажды: «Не дай Бог никогда ни одному государю, чтобы женщины говорили с ним о государственных делах, покровительствовали бы кому-нибудь, отстраняли и назначали на должности. Приметив угодливость мужей, а во дворце разглядев столько народа и войска, допустят они себе в голову разные нелепые желания. Немного времени пройдет, как уйдет неизвестно куда величие такого государя, ослабеет блеск его двора, не останется достоинства. Государство же придет в расстройство, вазир откажется от дел, и, кто знает, чем такое закончится».

И Кей-Хосрой так сказал: «Всякий государь, желающий, чтобы дом его был крепок, государство не разрушалось, чтобы не терпели ущерба его сан и величие, пусть не позволяет женщинам говорить о чем-либо другом, кроме как о лакомствах и друг о друге, дабы сохранены были древние обычаи и не наступало беспокойство». Омар — сын ал-Хаттаба тоже сказал: «Слова женщин запретны для мужского слуха точно так же, как лицезрение их».

Достаточно и того, что уже приведено здесь относительно сего предмета. Но зачем так смотрела вчера на стол в углу

Фатияб? Он сидел еще некоторое время, размышляя об этом, но так ни к чему и не пришел. Потом свернул написанное и отдал Магриби. Все, кроме последней главы о батинитах, успел он сделать к отъезду...

II. ВАЗИР

(Продолжение)

Широко открылись железные ворота кушка, затрубили трубы. Золото халата стало нагреваться на солнце, и пыль взметалась от конских копыт. Сотня муфридов с хайльбаши во главе рысила сзади, сопровождая его к месту смотра уходящего в поход войска.

Солнце заполнило уже все небо. Пот потек струйкой из-под каркаса, на который натянут был вазирский тюрбан. Плечи ощущали безмерную тяжесть парадной одежды, и ждал он с нетерпением, когда же онемеют они. Но покойно и хорошо ему было.

Далекий гром донесся от Серахских ворот. С утра уже выстраивалось там войско, стучали барабаны и перекликались сигнальные трубы. Прямо с площади начнется поход, а к вечеру вслед войску двинется султанский дом с гаремом, дома и гаремы сановников. В каждом рабаде на большом царском пути уже приготовлены фураж и припасы. Объявлено, что якобы в Багдад к халифу направляются все они — совершить осеннее богослужение...

Прогремели трубы стражи Ворот Знаменосца. Остались позади опустевшие улицы, столбы с батинитами, мосты. Потом затрубили у Серахских ворот, и площадь Йездан сразу открылась перед ним вплоть до дальнего канала Хурмузфарр. Еще во времена царей Эраншахра делались здесь смотры. Земля была плотно утоптана, полита водой и размечена флажками, а по краям передвигалось войско, готовясь к прохождению перед высочайшим помостом.

III. ВАЗИР

(Продолжение)

На своем месте — у башен Султан-калы — был устроен помост, и все совершалось правильно. Первым — отдельно от всех — взошел на него Величайший Султан. Затем свое место Великого Вазира и атабека занял он. И тогда только быстро, исподтишка толкая друг друга, поднялись сюда вазир Абу-л-Ганаим, чья нисба Тадж ал-Мульк, великий мустауфи Шараф

ал-Мульк, великий туграи Маджд ал-Мульск, хаджибы Дома и Совета. Вместе с ними взошли также сипахсалары войска в расшитой одежде, с двойными и тройными золотыми поясами, и стали по другую сторону султана. В то же время внизу и по краям помоста устраивались на специальных скамьях малые эмиры, хаджибы различных служб, надимы и гости. Сзади, насколько хватало глаз, теснились люди Мерва, окрестных рабадов и селений.

Он посмотрел направо от себя и вблизи от помоста увидел некоего человека. Не соблюдая порядка, вышел тот из толпы и остановился впереди мушерифов стражи. Кто-то из них ухватил его за полу, оттащил назад. Мелькнули звезды на синем халате, и был это беспутный имам. Редкая борода его все продолжала дергаться кверху, пока спорил он с мушерифом. Но тот поднял плеть, и многоумный имам быстро отступил к положенной ему скамье для надимов...

И еще дальше, на самом краю, все смотрел кто-то в его сторону. Он сощурил глаза от солнца и увидел, что это иудейский экзиларх Ниссон.

Хорошо еще, что в нарушение правила не пришла на смотр войска Тюрчанка. Такое уже случалось, но сегодня соблюдала женщина закон...

Даже рукой как будто помахал ему назойливый иудей, и он отвернулся. Все вдруг замолчали, вытягивая шеи и вглядываясь вдаль. Двадцать слонов с барабанами от сипахсаларов и эмиров войска выступили из Серахских ворот. Впереди мерно шагал большой белый слон, на котором были барабан и знамя сипахсалара державы. Слоны стали у башен, и Величайший Султан сделал знак рукой.

Гром больших барабанов нарушил тишину дня. В ту же минуту им ответили все барабаны войска, и небо словно бы потемнело от столь великого грохота. Взыграли одновременно большие и малые трубы, музыканты ударили в бронзовые литавры, а в начале поля возник сверкающий ряд лошадей и людей. Это шел на рысях развернутым строем первый — Золотой хайль султанских муфридов...

Хайль за хайлем шли мимо, сверкали золото и сталь, вздрагивала земля от единого удара тысяч копыт. В одинаковые латы закованы были кони и люди, и одноцветные попоны с серебряными пластинами покрывали плечи всадников и лошадиные крупы. Красный султанский флажок трепетал на шлеме у каждого, а четкий ряд копий был словно врезан в небо. Порядок и мощь державы являло войско. И это было лишь начало...

Все происходило как записано им в главе о парадах войска. Необходимы они, чтобы всякий человек ощутил себя лишь пылинкой в прахе перед государством. А одновременно пусть

радуются и машут руками, потому что когда люди видят грозное войско, то подспудно просыпаются в них благие, полезные чувства. Очевидной становится несокрушимость этого правопорядка.

Он повернул голову, нашел глазами хитроумного имама. И даже сразу не понял, что происходит. Тот стоял посреди надимов и смеялся в свою неухоженную бороду...

IV. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

У клумбы с тюльпанами он стоит, а тюркская жена султана подходит и берет его за руку. Царапинка у локтя сошла у нее, и только розовый след остался на белой коже. Маленький человек с пухлым лицом, который ходит всегда за ней, остается ждать в саду. Совсем рядом, за стеной, слышатся трубы...

Не выпуская руки, ведет она его к дому, где хранятся книги. Чисто промытым песком посыпана дорожка. А навстречу вдруг выходит ученый имам в халате со звездами, и она улыбается ему...

Высоко под потолком лишь узкое окно, и темно кажется ему здесь после яркого солнца. Большие и малые книги с бронзовыми застежками стоят в нишах. Она вдруг берется за другую его руку и тянется к нему губой. Горячую влажность языка и зубы ее чувствует он.

Радостное тепло возникает в ногах, поднимается кверху. Грудь ее мешает стоять им так. Она переступает с ноги на ногу, толкая его коленом. Все безмерно напрягается, и тяжело становится ему дышать.

Тогда она отпускает его, быстро выбрасывает на пол что-то из ниши. Это кошма с круглыми солнечными разводами. И уже совсем раздетой подходит она к нему.

А он тоже уже без одежды и ложится на нее, сразу ощущает все, что знает у женщины. Но не дает она ему подумать об этом, покоряясь и требуя его снова и снова. Совсем уже вместе они, но опять и опять без перерыва происходит это, и оттопырена у нее губа...

Где-то стучат барабаны. Они лежат, откинувшись, и он смотрит без стеснения. Все такое же у нее, как у всякой женщины. Нет для него нового в этом...

Некий свет появляется от ее груди и колен, перебрасывается выше, и вся она уже светится. Он вдруг склоняется и начинает целовать у нее грудь, колени, бедра, золотые волосы. И нет ничего для него радостнее.

Чтобы лучше увидеть, пробирается он вперед. Невидимые руки хватают его. Он громко призывает Бога в свидетельство, и мушериф поднимает плеть. Агай наверху отворачивается.

Боль от удара проникает в мозг, и вся сразу проявляется тяжесть агаевой пирамиды. Ревут карнаи, установленные на огромных стриженых верблюдах. С несокрушимой размеренностью движется войско. Форма обретает душу, и дрожь проходит по телу при виде ее торжества. Где-то в недрах теряется очищающий гул времени...

На дело рук и таланта своего смотрит с помоста великий дабир круглыми глазами. Неистовствуют барабаны. Железные кони и люди, покорные ритму, утверждают идею. Сияние завораживает, и все явственней слышится равномерный стук калама о дерево.

Только лошади в рядах изменяют цвета. Выдвинутые вперед сарханги и хайльбаши поочередно соскакивают перед помостом. Однообразно склоняются они, производя знак целования земли. Шлемы сдвигаются при этом, и словно в ошейник государства продеваются их крепкие бритые головы.

А он все ищет среди них того туркмена, что пел на горе у гябров песню исконной человеческой воли. Но одинаковы у всех лица. О пирамиду агая разбился юный тюркский порыв. Последний Великий Султан сидит, выхолощенный дабирами, и некому раздвинуть тысячелетние камни...

Уже не люди, а машины движутся в ряд, сверкая мертвым железом. По две пары лошадей впряжено в мечущие огонь аррады и по восемь — в большие манджаники. Слоны везут на себе поджигающие дома кашкаджиры, дивы, раваны с огромными ковшами. Таранящие стены караки волочатся по земле.

И вот ударяют сразу все барабаны, ревут большие и малые трубы. Единый восторженный крик вырывается у тысяч людей. Двенадцать бихарских слонов втягивают на площадь великий диваркан — Разрушитель городов. Выше деревьев угрожающе покачивается его многоугольная башня, и нет стены в мире, за которой можно укрыться от него.

Вся содрогается от непомерной тяжести старая площадь Йездан. Маленькими и одинаковыми становятся люди. Бога не существует. Все отчетливее стучит калам дабира, отмеряя жизнь. Ужас бытия без смысла и причины открывается ему. Агай смотрит с высоты помоста.

И вдруг видится некий свет. Опять, когда шел он сюда, встретилась ему в саду маленькая Туркан-хатун. Красивого шагирда вела она за руку, и понимающе улыбнулись они друг другу.

Веселый знак замены проступает на всем окружающем: на

железных машинах, на войске, на лбу у тех, что сидят на помосте. Природа не терпит химеры. От собственной тяжести рухнет пирамида агая. Узкая полоска праха останется на площади Йездан.

Нарастающий гул времени снова слышится ему. Будто гигантский крот роется в недрах, обрывая прогнившие корни. И не в силах сдержать свою радость, смеется он в лицо агаю.

Эпилог

I. СООБЩЕНИЕ ИБН АЛ-АСИРА[1]

Это произошло 10 рамадана 485 года по старому отсчету хиджры, или 14 октября 1092 года по счету христиан. «Таблицы Малик-шаха» так и не сделались вселенским календарем.

Великий Вазир и атабек Величайшего Султана Низам ал-Мульк направился в шатер к своим женам, которые были с ним при войске. Оно стояло уже в двух переходах от Исфагана, напротив Дейлемских гор. Вместе с вазиром находился молодой шагирд, которому он полностью доверял, так как спас его когда-то от голодной смерти. Они ели на дастархане, постеленном у шатра. Шагирд нарезал дыню простым дорожным ножом. Вазир протянул ему кусок хлеба, и тогда шагирд ударил его этим ножом в сердце.

О том, что был батинитом этот шагирд, объявили всем. Специально будто бы послали его из Дейлема, чтобы совершить это и не дать состояться походу войска. И еще говорят, что сделал он так, потому что не мог простить протянутый ему некогда хлеб...

II. ОТКРОВЕНИЕ ШАГИРДА

О своем он думает и улыбается, надрезая для старого вазира золотую хузанскую дыню. С легким звоном распадается она, а он начинает освобождать от семени розовую середину. Зайчик с ножа весело пробегает по дастархану.

Покойно и хорошо ему теперь. Краски, звуки, запахи переполняют мир, и нет в нем тоскливых видений. В небытие ушел некий фидаи на столбе вместе с тайными имамами, у которых руки обмазаны жиром и кровью.

На солнце всякий раз поглядывает он. Когда скроется оно, придет за ним снова маленький человек с пухлым лицом. Неведомой дорогой будет идти он, потому что отдельно от других

---

[1] Ибн ал-Асир — средневековый историк.

стоит знакомый шелковый шатер с лентами. Он войдет туда и ощутит жаркую, радостную плоть женщины. И будут светиться потом у него руки...

Будто просыпается он и смотрит, еще не понимая. Все та же рука протягивает ему хлеб. Обжигающий запах уже проник в голову, отравил мозг и душу. Жестокой сытостью перехватывает горло, и содрогается он от ненависти. Рычат во тьме собаки...

И сразу приходит освобождение. Добрые круглые глаза с участием смотрят на него. Но бессильно опадает сухая старческая рука. Тогда только видит он свой нож в груди человека, опять протянувшего ему хлеб...

III. ВАЗИР

Ифтар — первый день после установленного Пророком поста сегодня, и когда сделается темно, войско свернет неожиданно в Дейлемские горы. Тяжелый диваркан пронесут туда на спинах слоны. И пока будут разбивать стены батинитов, допишет он книгу о государстве...

Старательный шагирд уже надрезал дыню, отделил семя и кожуру, аккуратно уложил все на дастархан. Можно начинать есть после столь долгого воздержания. Положенные к месту слова произносит он, разламывает хлеб, протягивает шагирду.

Но не берет почему-то у него хлеб шагирд. Как некогда у мальчика в Тусе, делаются у него глаза. Великая преданность в них, и руки у шагирда мечутся, совсем как у слепого.

Легкий, радостный толчок в сердце ощущает он. Неотрывно смотрят на него любящие глаза юноши. Никто и никогда еще не смотрел так на него...

Все ниже клонится он над хаузом, пытаясь разглядеть там что-то. Рука его протягивается к воде, и некий мальчик с клоком волос, на счастье, тянется навстречу. Морщится лоб у него, и смешно топырятся глаза. Очень важно то, что хочется ему сделать.

Но вот уловил он наконец необходимую напряженность головы. Огромное счастье переполняет его душу. Он поднимает глаза к небу и смеется. Потом снова наклоняется, весь уходя в яркую солнечную воду, и уже свободно, легко двигает ушами. Еще и еще раз делает он это, убеждаясь в своей победе над невозможным...

1972—1975

ПОВЕСТИ ЧЕРНЫХ И КРАСНЫХ ПЕСКОВ

ЕМШАН

Олжасу

Степной травы пучок сухой...

А. Майков

Султан Бейбарс остановился и сжал кулаки. Слово опять шевельнулось в горле. Он чуть не крикнул его, и горький вкус остался на губах.

Оно всегда было с ним, это слово. Не слово, а чей-то неясный плач. Словом оно стало сегодня утром, когда он открыл глаза, и у него вот так же сдавило горло. Откуда оно?..

Бейбарс впервые чего-то не понимал. Он тронул рукой грудь там, где сердце, оглянулся по сторонам. Осторожно, не до конца, разжал он пальцы и неслышным шагом пошел по садовой дорожке. Дверь в Розовый Дом была открыта. Девочку помыли, но ничем не натерли. Бейбарс не любил никаких запахов.

Она лежала на широкой красной тахте, там, где ей приказали. В открытых глазах был обычный испуг. Свет падал из высоких окон в потолке, и узкие ромбы его пламенели на бархате тахты. Один из этих ромбов выхватывал половинку ее недоспелой груди и наискось ударял туда, где только начиналась белая, уже не детская нога. Из-за этой ноги ромб света был шире других. Девочка спрятала бы свое тело в темноту тахты, но ей сказали, чтобы она лежала так...

Он увидел ее вчера, когда пришел в дом бея Турфана. Пройдя к фонтану, где купались дочери бея, он показал на одну пальцем. У Турфана тряслись руки. Этими тяжелыми, в буграх, руками поломал он когда-то саблю, схватил большой камень и рвался на политую скользким маслом стену Мансуры, разбивая головы беловолосых франков!.. Таких надо все время больно бить. По носу, по глазам, как львов. Львы быстрее всех становятся собаками и лижут палку, ноги, жрут навоз под ногами повелителя. Турфана он давно не трогал. Тем больнее нужно было ударить...

Бейбарс почему-то долго смотрел в ее лицо. Неужели из-за этого странного слова, что пришло утром?.. Он разделся, положил на нее руку. Как у всех девочек, грудь ее была маленькой и твердой. И холодной. Наверное, от ожидания. Они всегда долго ждали так, готовые к его приходу...

Девочка дрожала под рукой. Ноги у нее были хорошие: крупные и гладкие. И тоже холодные. Потом она громко вскрикнула от боли. Все было как всегда...

Одеваясь, Бейбарс задержался, посмотрел вдруг на свое тело. Оно было сильным и нежирным, хоть ему больше пятидесяти. На сколько больше, он не знал...

Девочка теперь ждала, не зная, что ей надо делать дальше. Они встретились глазами. Такого еще не было у Бейбарса. Он вышел в сад... Кукеl... Что значит это слово?

Долго смотрел он на посыпанную речным камнем дорожку в саду. Дорожка была такой, как всегда, иначе бы он сразу обратил на нее внимание. Но сейчас он увидел, что среди круглых серых камушков есть красные, а один — синий. Они здесь лежали всегда.

Дорожка упиралась в стену. Серые гладкие камни были одинаковыми. Было тихо, потому что он запретил подходить к стене с той стороны. Когда-то там был базар...

Бейбарс обвел взглядом сырую стену. Круглые башни молчали. Ему потребовалась другая тишина, и он уже знал, что это из-за слова. Бейбарс приказал дежурному Эмиру Сорока седлать лошадей. Глухо ухнув, сигнальные трубы придавили к земле искусственную тишину Цитадели...

Выехав, он придержал зачем-то коня, посмотрел на стену с этой стороны. Здесь она была сухой. В пыли валялась стрела. Из бойниц в стене предупреждали тех, кто нарушал запрет... Старый султан Салих сам выезжал когда-то на базар и толкался в толпе. Люди поэтому радовались, когда ему перерезали горло Собаки боятся орла, пока видят только его тень...

Бейбарс отпустил коня. Сорок Эмиров Пяти давно умчались вперед, перекрывая улицы и проходы. Еще сорок скакали с ним, держа слева — на левых и справа — на правых локтях напряженные луки. Сорок двигались сзади, снимая посты. Отрывисто, предупреждающе ухали сигнальные трубы.

Пустые улицы Эль-Кахиры никогда не вызывали его внимания. Бейбарс не привык смотреть по сторонам. Но сегодня посмотрел. Сырые от нависших крытых балконов переулки уходили в темноту. В глубине их, казалось, стояла черная вода..

Перед мечетью Ибн-Тулуна лежали аккуратные горки жел-

того кирпича. Им обновляли подход, стершийся от ног верующих. От старых кирпичей остались острые гладкие осколки...

Ветер обжег лицо. Эль-Кахира кончилась. Мощно заревели навстречу большие военные трубы Оплота Веры — старого Фустата. Конь весело заплясал с задних на передние ноги. Но Бейбарс рванул его в сторону, туда, где ломался горячий воздух.

Он осадил коня у самой воды. На подсохшем берегу зеленели влажные следы потревоженных трубами крокодилов. Шамил, Эмир Сорока Эмиров личной охраны, дал знак отстать...

Бейбарс смотрел в грязную речную даль. Отсюда, с низкого берега, Остров был похож на спину медленно плывущей черепахи. Дважды в году Река становилась коричневой и быстро поднималась там до корней семиствольного дерева, не выше. Барат, которого он сделал Начальником Острова, хотел недавно срубить это дерево. Оно мешало постройке учебной стены, такой, как у франков. Мамелюки должны уметь прыгать на нее с лестниц.

Бейбарс запретил рубить дерево. Без дерева это был бы только кусок твердой земли. Мамелюки — люди, им их потребность в гордости. Просто кусок земли не может быть родиной. Для этого нужно зеленое дерево, чтобы оно им снилось. Бахр — Речные воины, они так и называют себя. И гордятся, что все Эмиры Тысячи — с этого Острова. Бурджи — Башенные воины, те, что в Фустате или Дамиетте,— тоже гордятся. Напротив каждой башни есть свое дерево. Пока оно снится им, он может посылать их на какие захочет стены. Они не сомневаются.

Он знал это твердо. На Остров его тоже привезли Ниоткуда. От семиствольного дерева начинается его жизнь. Под этим деревом наковали ему когда-то на левую руку широкий серебряный браслет со знаком султана Мелик-эс-Салиха Эйюба. Это было правильно. Султанский браслет на руке должен всегда быть связан с деревом, которое снится. Тогда распилить его будет трудно, как это дерево...

Бейбарс приподнял к лицу свою левую руку. Сразу за запястьем был твердый коричневый бугор. Выше его не росли волосы. Много лет назад распилил он свой браслет. Речные и Башенные мамелюки носят теперь браслет со знаком Абуль-Футуха — Отца Победы, султана Бейбарса Эль-Мелик-эд-Дагера. Но он носил браслет и знает его силу. Этот браслет был вчера у Турфана, когда он отнял у него дочь.

И те, что лишены права носить браслет, пусть чувствуют себя недостойными... Бейбарс вспомнил черную болотную воду в переулках Эль-Кахиры. Их много миллионов, одинаковых людей в этой стране Миср[1], куда привезли его Ниоткуда. А

[1] Миср — средневековый Египет.

Речных было две тысячи, и они надели стране Миср его браслет. Это можно было сделать здесь, где столько пирамид и старых каменных львов с человеческими лицами. Когда он увидел первую пирамиду, то сразу понял того, кто ее строил...

Конь дернул головой, попятился. В мутной воде показалось серое костяное бревно с глазами. Оно медленно приближалось к отмели. До половины приоткрылась бледная страшная пасть... Люди страны Миср чтят этих зубастых. Те, что строили пирамиды, были мудры. Мертвые, они не позволяют живым распилить браслеты. В таких странах нужно только менять клеймо. Он сразу приказал мамелюкам не трогать священных крокодилов...

Отсюда казалось, что дерево растет из воды. Но он знал, что это не так. К дереву спускалась широкая утоптанная дорога с мягкой травой по обе стороны. Раз в четырнадцать дней им привозили в лодках женщин: по одной на пятерых. Каждый раз других, чтобы они не привыкали. Это было правильно — удовлетворять потребность в женщинах. Иначе мужчины будут портить друг друга, а это позволительно сборщикам налога или правителям канцелярий. Воины от этого слабеют. Им нужны женщины.

Он оставил все, как было тогда, при султане Салихе. Раз в четырнадцать дней мамелюкам привозят на Остров женщин: по одной на пятерых. И разных, чтобы они не научились жалеть. Старый султан понимал жизнь. Но к старости он размяк и начал выезжать на базар, к людям. Людям страны Миср...

Что делает сейчас Барат там, на Острове?.. В это время мамелюков выстраивают ровными рядами, по сорок в ряд. Они замирают по команде с вытянутыми из ножен клинками и поставленными перед собой луками. Греет солнце, и пахнет кожаными ремнями. Начальник Острова обходит ряды, проверяя оружие. Потом Барат идет в конюшни. У каждых сорока — своя конюшня, и Эмиры Сорока в синих сапогах боятся, что лошади испачкают пол как раз к приходу начальства. Барат идет медленно, не поворачивая головы, но острые глаза его все видят: ослабевший пояс на животе мамелюка, плохо отточенный клинок, пыльную лошадь. А вечером Барат сядет в большую лодку с черными гребцами и приплывет к нему, в Эль-Кахиру. И они будут пить вино, которое делают в Александрии из красного винограда спокойные, рассудительные греки...

Их, первых Речных, сначала было немного. Они собирались на берегу и жадно рассматривали приближающиеся лодки. Это было хорошее время!.. Куке.. Нет, там, на Острове, он не слышал этого жалобного слова.

Бейбарс дал коню свободу. Конь отошел от воды боком, вздрагивая и храпя... Твердая желтая пыль лежала на клейких листьях хлопковых кустов. Мягкие сапоги тянули за собой тяжелые жирные ветки. Конь вышел из нескончаемого поля, стал лизать свои ноги. Потом двинулся к желто-серым оливам у поднимающего воду колеса. Бейбарс тихо отвернул его навстречу сухой мгле, красящей страну Миср в один цвет. Лицо сразу высохло от пота, глаза пришлось сощурить.

Желтая неровная полоса долго отодвигалась. К полям ее не пускала колючая трава без листьев. Жесткие хитрые прутья не боялись пустыни. Листья только мешали бы этой траве.

Конь остановился, потянул горячий воздух и уже прямо пошел по скованному острыми камнями твердому песку. Ничего здесь не отвлекало его.

Бейбарс оглянулся. Охрана разъехалась в обе стороны, прячась за дальними холмами. Шамил понимал, какая ему требуется тишина. Ничего не двигалось в застывшем каменном море. Ветер был ровный, пустой, без запахов.

Ку-у-ке... Слово было связано с человеком в кожаных штанах. Но он никогда не мог вспомнить лица этого человека. Если бы он вспомнил, то знал бы, откуда в нем это слово...

Человек в кожаных штанах пришел из безвременья. Он был всегда. Штаны его пахли теплой дорожной пылью и морем. Это он помнил.

Потом его били, и он хотел есть. Человека в кожаных штанах уже не было в его жизни. Были другие люди с длинными, рвущими спину бичами и одинаковыми глазами. Справедливые люди, раздающие еду. Те, что рядом, были враги, вырывающие еду. Ноги, руки, тело становились больше. Нужно было отбирать еду у других. Он убивал, потому что не отдавали.

В первый раз он задушил того, который был рядом, и съел его хлеб. Его привязали к кольцу в земле на ровном солнечном месте. Каждый вечер его били, а других заставляли смотреть. Потом отвязали, и было плохо. У него не хватало сил защищать еду. Справедливость человека с бичом спасла его. Тот оттонял других от его еды, пока он не смог это делать сам...

Тогда пришло в первый раз это слово. Он лежал ночью, привязанный к кольцу, и липкая обугленная спина уже не принимала холода земли. В середине было легко и пусто. Черное спокойное небо опускалось все ниже, к самому лицу. Во рту

стало вдруг горько, и криком сдавило ему горло. Так, как сегодня... Утром его развязали и дали хлеб.

Но тело росло. Другого он ударил серпом в живот. Его привязали и били. Он был уже больше и скорее окреп.

После этого он бил слабых ночью, а днем они отдавали ему половину своей еды. Он быстро стал сильнее всех. Когда привезли еще одного, который отбирал хлеб, им пришлось драться всю ночь. К утру он перегрыз другому руку у локтя и не отпускал, пока не вытекла кровь. Сам он тоже не мог встать. Его вынесли из сарая и били. Потом дали окрепнуть, надели цепь и повели к морю...

Там, откуда повели его, они копали землю и срезали колосья короткими острыми серпами. Зимой они сидели в сарае и рвали руками пахучую мягкую шерсть. Чтобы не задерживалась в горле шершавая пробка, они плевали на серый холодный пол... Хорошо было перед тем, как их запирали на зиму в сарай. Они подрезали тяжелые виноградные гроздья, складывали в высокие корзины и носили к дому с трубой. Люди с бичами понимали жизнь и не трогали их, когда они отрывали зубами пыльные сладкие ягоды. Они отрывали бы все равно, даже если бы их били. Животы становились хорошими: круглыми и теплыми.

Плохо было, когда после долгой зимы их выгоняли из сарая копать землю. Жирная земля качалась перед глазами. Она пахла вкусным паром, а еду им давали одинаковую. Тогда, весной, он и задушил того, кто был рядом. Тот был маленький и плакал, крепко прижимая к животу свой хлеб... Где это было — по ту или эту сторону моря?

Конь шел медленно, объезжая плоские острые камни. Слово не приходило. Бейбарс нетерпеливо дернул повод и расправил плечи...

Это было время его славы. Абуль-Футух его назвали потом, когда в Айн-Джалуте он разгадал мысли Безбородого Хана. А Бейбарсом он сам себя назвал, чтобы боялись твердости его имени. В море была его настоящая победа. Другие пришли сами.

Моря он не увидел, но слышал всегда. Оно шуршало за широкой плотной доской возле его скамьи. Свет и соленый воздух приходили через отверстие для весла. Когда шорох кончался и начинало гулко бить в доску, оттуда брызгала соленая вода. Все качалось вокруг, и люди затихали.

Их было по четыре на весле — по двенадцать рядом с обеих сторон. Там, где сходились широкие доски, был помост, на котором сидели пристегнутые к длинной цепи запасные гребцы. Это он увидел утром, когда его разбудил человек с бичом. Ночью он ничего не видел, кроме пятен, пахнущих человеческим потом.

В то утро услышал он море. Сначала, когда их разбудили, двое с ведрами воды обошли скамьи, смывая утренние нечистоты. Грязная вода стекала в узкие щели у пола. Потом им отстегнули от весел руки, и многие начали молиться. Одни прижимали лицо к полу, другие трогали сложенными пальцами лоб, живот и плечи или только шептали что-то, накрывшись черными платками. Таких, которые молились, он знал в сарае, откуда его привели. У них легче было забирать хлеб.

Те, что молились, говорили всегда о каких-то людях, которые где-то гладили им головы, чмокали их губами и даром давали хлеб. Они называли по-разному этих людей, странными влажными именами. И непонятно почему плакали. Он был доволен, что не было в его жизни отца и матери. Это были плохие люди, делавшие человека слабым...

Им разнесли хлеб. По большому куску, какого никогда не давали в сарае. Хлеб был светлее и пахнул черной весенней землей... К его хлебу протянулась рука. Он ударил сведенными цепью кулаками по руке и по упавшей на весло чужой голове. Весло стало скользким и теплым.

Потом он посмотрел туда, где сходились широкие доски. Он сразу увидел на помосте Маленького с неподвижными глазами, возле которого сидели самые сильные. Они не молились...

Маленький не посмотрел в его сторону, а только сделал знак. Двое с цепями на ногах быстро оттащили мертвого на середину, а весло обмыли водой. Собранный хлеб отнесли Маленькому, и он роздал его тем, которые сидели вокруг. Когда вернулся человек с бичом, все ели и молчали.

Человек с бичом ничего не сказал. Оттягивая руку, он коснулся сразу всех спин по обе стороны прохода и показал на пол. Мертвого понесли и вытолкнули наверх через круглую дыру в потолке.

Один из тех, кто мог ходить, взял палки и подошел к круглому барабану на помосте. По знаку человека с бичом он ударил палками в гулкую кожу. Гребцы, медленно валясь на спину, потянули тяжелые гладкие весла. И тогда зашуршало море...

Барабан бил все быстрее. Сквозной соленый ветер постепенно уносил запах утренних нечистот и свежей крови. Человек с бичом два раза ожег ему мокрую спину. Он еще не научился

попадать в такт и мешал другим. Люди с бичами всегда были справедливы...

Он не смотрел на Маленького и ждал. Вечером, когда руки стали тугими и тяжелыми, его отстегнули от весла и повели на помост. Там его пристегнули к общей цепи. Он уперся спиной в широкую доску и приготовился. Но Маленький не поворачивался к нему.

Человек с бичом принес и роздал по большому куску соленого рыбьего мяса. Двое отстегнутых обошли всех, забирая лучшие куски. Все мясо принесли Маленькому. Самый большой кусок выбрал Маленький и протянул ему. Он взял и съел.

Он слышал, как злобно крикнул что-то Длиннолицый, и все понял: Длиннолицый хотел занять место Маленького...

Поэтому и не пошевелился Маленький, когда через три дня он, навалившись на Длиннолицего, задушил его цепью. Так он занял свое место возле Маленького и стал Бейбарсом.

Их было девять с Маленьким. Они много ели и не садились к веслам. Их отстегивали, и они могли ходить между скамьями.

Тех, которые служили им, называли шакалами. Они приносили собранный на скамьях хлеб и били непослушных. За это им оставляли еду. Остальные были те, которые у весел. Это было справедливо, и люди с бичами не вмешивались в их жизнь.

Каждый из девяти имел другое имя. Маленький был Гюрзой — змеей, которая убивает молча. Длиннолицего, которого он задушил, называли Молот — за тяжелые твердые кулаки. Он слышал, что есть пятнистые звери, одной лапой ломающие спину человеку, и назвал себя Беем этих зверей. Когда он сказал это, Маленький остро посмотрел на него — так, как три дня назад на Длиннолицего Молота.

Но им еще было рано. Сначала он помог Маленькому убрать через дыру в потолке Кривого, Льва — Аслана — и остальных. Каждый хотел занять место Маленького.

Его стали бояться больше Гюрзы, и пришло его время. Он сразу это почувствовал по тому, как хвалил его силу Маленький. Ему теперь давали куски лучше, чем новым девяти, и они злобно молчали.

Они хотели убить его ночью. Но вечером, когда Маленький подвинул ему самый большой кусок, он неожиданно прыгнул и поломал Маленькому спину... Новых девять он тоже менял по очереди. Тому, кого не хотел видеть возле себя, он давал лучшие куски...

Потом все было правильно. Он забирал хлеб и справедливо делил его, отдавая сильным больше. Он убивал кого хотел. Им,

слабым, нужна была опора в качающейся темноте. Они были рабы и не могли жить сами. И он стал их опорой, потому что забирал у них хлеб и убивал их.

Все быстрее гремел барабан. Те, что у весел, пели песню о нем, Бейбарсе. Они пели о его силе и справедливости...

Конь остановился над обрывом. Рыхлыми каменными уступами все дальше спускалась пустыня. На другой ее стороне были другие города и страны...

Это было по ту сторону пустыни. Раздав утром хлеб, люди с бичами размотали длинную цепь и первым приковали к ней его, Бейбарса. Остальных пристегнули сзади по двое. Потом ему показали на дыру в потолке. Люди с бичами знали, что только он сможет шагнуть туда, куда выносили мертвых.

Он увидел Солнце. Круглое и белое, оно висело совсем близко над головой. Там, где он копал когда-то землю, не было круглого Солнца. Или он забыл...

Все, кто вышел с ним наверх, сразу перестали видеть. Уцепившись руками за железные кольца, шли они за ним по длинной качающейся доске на землю...

Они не могли сразу пойти по земле. Люди с бичами заставили сгибаться их ноги. Земля была большая. На ней было много людей, домов и деревьев. Он не верил в это раньше.

На площади, куда привели их, он впервые увидел женщин. Их держали отдельно. Сзади заволновался кто-то, начал дергать цепь. Он удивленно оглянулся...

Их приковали на ночь к железному столбу. Они не могли уснуть без доски, за которой шуршит море. Рядами стояли столбы на широкой базарной площади, и всю ночь звякало железо. В эту ночь он услышал слово...

Он не знает, снал он или нет, кто-то на площади тихо позвал:«Ку-уке!» Воздух сразу стал горьким. Он вскочил, начал рвать цепь. Но люди с бичами не спали. Они знали, что в такую ночь люди становятся глупыми и часто убивают себя.

Он лежал неподвижно, прижимая горячее тело к земле. Медленно наливалась красным огнем светлая полоса неба. И тогда он услышал трубы.

Люди на больших лошадях с блестящими кривыми ножами у пояса въехали на базар. Они стали у железных столбов, ожидая молитвы. К тем, кто молился, они потом не подошли.

Человек с кривым ножом, в синих, обшитых золотом сапогах остановился, посмотрел ему в глаза и сделал знак. Люди с бичами, суетливо кланяясь, бросились распиливать цепь. Он удивленно смотрел. Они были шакалами, люди с бичами!.. Руки у него вдруг стали совсем легкими, и было неприятно.

Двадцать было тех, кому распилили цепь. Человек в синих сапогах сделал им знак идти, но они стояли. Тогда другой, молодой, засмеялся и толкнул их одного за другим грудью лошади. И они пошли. Люди с кривыми ножами ехали впереди и сзади. Они пахли кожаными ремнями, и на левой руке у каждого был браслет.

Снова качалась длинная доска, и он с облегчением увидел черную дыру в палубе. Оттуда пахло утренними нечистотами и человеческим потом. Но их не пустили туда...

Прямо на палубе очистили им от волос голову и тело. Потом помыли их и показали человеку в красных сапогах. Двое не понравились ему: у одного слезились глаза, а другой дернул головой, когда подняли перед его лицом руку. Этих двоих сразу отделили и толкнули в дыру под палубой. Тем, которые остались, дали одинаковые синие штаны, широкие кожаные ремни и серые сапоги.

Потом им дали мясо. Он заволновался от свежего запаха. Мясо отрезали теплыми большими кусками и жарили прямо на палубе на железных палках. Они ели, пока глаза не завесил туман и головы не упали на доски. Человек в красных сапогах внимательно смотрел, как они ели...

Проснулся он успокоенный. За доской опять шуршало море. Глухо бил барабан, и плавно качался черный мир. Но когда он открыл глаза, то увидел гору недоеденного мяса. Горел факел. Люди с кривыми ножами на поясах играли маленькими твердыми костями. Они бросали их с размаху, и кости со стуком рассыпались.

Он приблизил к лицу руки и с силой развел их. Они разошлись, но тут же сошлись снова. Цепи не было, но рукам так было лучше...

Бейбарс посмотрел на свои руки. Они были сведены на лошадиной холке. Он не стал разводить их. Конь осторожно сошел с уступа и пошел по осыпающемуся гребню к старой дороге.

Найдя ее, конь пошел быстрее. Гладкие треснувшие камни лежали по обе стороны. Их когда-то возили для храма. А потом обратно к Реке. Возить готовые камни было легче, чем обтесывать...

Человека в синих сапогах, который купил его на базаре по ту сторону пустыни, звали Икдын. Он был Эмир Сорока. А в красных сапогах с блестящими коричневыми глазами был Котуз. Начальник Острова сам покупал мамелюков, и это было правильно.

Барат лежал рядом с ним на палубе. Он был таким, как и сейчас,— жилистым и молчаливым. Они с Баратом сразу нашли друг друга среди восемнадцати. Другие поняли и подчинились. Мяса было много, но первыми брали он с Баратом.

Икдын увидел это и тоже понял. Когда нужно было сказать что-нибудь всем, Икдын говорил ему. Так было и потом, на Острове. Барат не завидовал. Он всю жизнь был хорошим помощником...

Барабан бил внизу ровно, не переставая. На второе утро из дыры в палубе вытащили голое тело с разорванным горлом. Это был тот, у которого слезились глаза. Не сняв цепи с рук, его бросили в море. Мертвые коричневые глаза Котуза не ошибались в людях...

Море долго было синее. Прошло шесть дней, и они увидели желтую воду страны Миср. Потом они увидели желтый берег. Опять там были люди, дома и деревья. Вода делалась гуще, пока не стала Рекой...

Еще три дня плыли они, пока не прорезались в небе синие столбы мечетей Эль-Кахиры. Мимо провезли их на Остров. Это было правильно. Нельзя мамелюкам близко видеть жителей страны Миср...

Их было триста на Острове, купленных в то лето. В лодке с голубым и красным бархатом приплыл на Остров султан Салих. Эмиры Пяти личной охраны были с ним, и Эмиры Тысячи в красных сапогах... Он уже знал, что самые сильные носят красные сапоги. И когда купивший его Котуз переглянулся с громадным Айбеком, он все понял. Внимательно посмотрел он на султана...

У старого султана было белое мягкое лицо и глаза человека, который молится. Он не осматривал каждого, как Котуз. Вяло махнул голубым платком султан Салих, и всем им наковали браслеты на левую руку. Но кривых ножей им не дали. По пять, по десять и по сорок сначала разделили их. И учили ездить на лошадях и стрелять из луков. Через четырнадцать дней им привезли в лодках женщин. Он сделал так, как другие, и почувствовал облегчение. После этого он сильно захотел есть...

Лучше этих дней у него не было. Даже когда стал он Абуль-Футух и исчезли границы исполнения его желаний. Он

быстро привык к равенству с теми, кто давно носил ножи на поясах, и занял свое место у своих сорока. Когда один не послушался, они с Баратом задушили его и бросили на песок, где грелись крокодилы. Эмир Сорока, Икдын, знал, но сказал Начальнику Острова, что один убежал. Потому что боялся уже его Икдын.

Котуз внимательно посмотрел тогда на Икдына и кивнул головой... Ночью они встретили Котуза, когда несли мертвого к Реке. Начальник Острова стоял в тени дерева, а они шли в белом свете луны. Котуз видел их с мертвым, но кивнул головой.

Да, Котуз видел. Поэтому Котуз сделал его Эмиром Пяти, потом Десяти, а в Разлив Реки, когда все они носили уже кривые тяжелые ножи,— Эмиром Сорока вместо Икдына... Среди Сорока у него было уже своих девять, и они слушали его, а не Икдына. Девять потом всегда держал он возле себя, как в море. Это было правильное число. Им было трудно сговориться, девяти. И видеть он мог сразу всех...

Икдына послали куда-то далеко охранять с другими сорока башню у дороги. Через много лет он, Абуль-Футух, нашел и убил Икдына. Он нашел и убил всех, кто вместе с Икдыном покупал его на базаре у моря. Он всегда помнил лица людей, даже если видел один раз...

Он долго носил синие сапоги, и Котуз брал его с собой, когда плыл через море покупать мамелюков. Тех, кого он приводил с базара, не нужно было отсылать в палубную дыру. Котуз покупал все больше, и они оставались на Острове, учились ездить на лошади и стрелять из луков. Потом им давали кривые ножи...

Они радовались, когда на далеких башнях Фустата ревели трубы. Это значило, что снова где-то люди страны Миср нарушали порядок и справедливость. Тогда они садились вместе с лошадьми в большие лодки, плыли к берегу и мчались потом через бесконечный хлопок, пачкая сапоги и лошадей жирной зеленью.

Люди страны Миср были худые и несильные. Они всегда кричали что-то, показывая на небо, и в глазах их была молитва. Наказывать их было нетрудно. Тех, у кого глаза были без молитвы, убивали. И если приходилось на четырнадцатый день, забирали у них женщин.

Были еще братья султана Салиха Эйюба. Они правили городами и странами по ту сторону пустыни и не могли справедливо разделить их. Эйюбы воевали друг с другом и с франками. Они просили мамелюков у старого султана.

Там впервые увидел он франков. Они были белые, как мамелюки-сакалабы[1]. И хоть громко пели песни своему Богу, прозрачные глаза их смотрели прямо, не отвлекаясь...

Старая каменная дорога была прямая и гладкая. Сухой ветер ровно жег лицо. Бейбарс забыл слово, за которым ехал...

Котуз был умный и знал все. Среди каждых сорока на его Острове были девять, которых боялись остальные. И Эмиром Сорока Котуз делал главного из девяти. Это было правильно. Глупый не становился раисом.[2]

Так делал Котуз — Раис Острова. И так делал большой Айбек — Раис Охраны Султана. Другие Эмиры Тысячи не делали так. Они были людьми страны Миср и назначали у себя эмирами тех, кто быстрее стелил коврики, когда их снимали с лошади. И их самих назначил старый султан потому, что они умели рассказывать ему о его славе. Шакалы правили страной Миср, и это было несправедливо.

Когда франки приплыли в страну Миср, у Котуза на Острове было уже сорок эмиров, носивших синие сапоги. Среди них у Котуза были свои девять. И первым был у девяти он, Бейбарс...

Франки были дикие барбарои[3], и Бог не путал их мысли. Они носили одинаковую одежду, и раисом у них мог стать лишь достойный. А в Дамиетте, там, где желтая вода страны Миср смешивается с синей водой моря, мамелюков тогда не было. Там были солдаты страны Миср со старыми эмирами, подстилающими коврики. И они бежали от франков из Дамиетты в Мансуру, а потом из Мансуры. И старый султан страны Миср кашлял, и не мог он сидеть на настоящем коне.

С франками было трудно воевать. Когда они поднимали руку, чтобы ударить, их не отвлекали сомнения. Но у них было слишком много достойных, и каждый делал свое. А мамелюки знали только своего Эмира Тысячи. И они вошли в Мансуру, отрезая головы у франков.

Тогда он мог погибнуть, когда франки начали лить масло под ноги. Он упал на жирной каменной стене, и большой

---

[1] Мамелюки — сакалабы — славянский корпус мамелюкской гвардии.

[2] Раис — начальник; буквально — «пасущий стадо» (арабск).

[3] Барбарои — иноземцы, варвары (арабск.).

светлобородый франк с красным крестом на грязном плаще уже колол его копьем. Но Турфан бросил тяжелый камень в голову франка, а Барат отсек ему голову. И шрам у глаза остался у него от копья франка...

А потом они с Баратом, Турфаном и Шамуратом догнали и сбили с лошадей франкского султана и двух его братьев. За них франки заплатили султану Салиху четыре корзины золота: две — за святого султана Лудовика и по одной — за его братьев. Франки сами ушли из Дамиетты и больше никогда не приходили в страну Миср... Быстрый и ловкий, как маленькая кошка, был Шамурат. Он убил сразу Шамурата, когда стал Абуль-Футух.

После Мансуры он не поехал на Остров. В Эль-Кахиру взяли его Айбек с Котузом. Старый султан долго смотрел на него и потом закрыл глаза. Айбек с Котузом переглянулись, и он стал Эмиром Сорока личной охраны султана...

Они всегда были непонятными, люди страны Миср. У них были пирамиды и Бог, который раздваивал мысли. Человек с раздвоенными мыслями бьет вполсилы, и стрела его не попадает в цель. Этот Бог всегда придерживал их руку, когда они поднимали клинок, и дергал их лук, когда они отпускали тетиву. Поэтому они всегда проигрывали и были плохими солдатами. Почему они благодарили Бога?

Люди страны Миср тоже делали это по-разному: одни пять раз в день прижимались лицом к земле, другие крестились и громко пели, как франки. Были и такие, кто привязывал ко лбу коробочки и накрывался с головой, чтобы отделить себя от жизни, которая вокруг. Они напрасно ссорились. Это всегда был один и тот же Бог, который делал их слабыми. Им, как женщинам, была неприятна кровь и знакомы слезы.

Были в стране Миср люди, которые умели писать и читали написанное другими людьми. Эти были совсем глупые. Султан Салих давал им деньги, и они молились Богу, считали звезды и рисовали на желтых дощечках круги и треугольники. В Аль-Азхаре[1] жили они с учениками, и он сопровождал к ним султана. Непонятное говорили они и всегда просили деньги...

Султан Салих умел читать. Он неподвижно сидел на подушках и смотрел в развернутые свитки. И когда отставлял их, глаза его были как у беззащитной собаки.

А на обеих руках эмира Айбека были у запястья твердые коричневые бугры. Такие бугры были у всех, когда-то прикованных к веслам. И у Котуза на руках были бугры.

[1] Университет в Каире (образован в 972 г.).

Султан Салих смотрел на них странными глазами, на Айбека и Котуза, на него. В глазах его не было страха, просьбы, гнева. Так смотрели львы с человеческими лицами, которые стояли у начала страны Миср.

Все чаще выезжал старый султан на базар. Он становился в стороне и подолгу смотрел, как торгуются покупатели, кричат друг на друга женщины, играют в пыли голые дети. Люди страны Миср замолкали и уходили в сторону...

Пришел вечер, и Котуз сделал знак войти туда, где был султан. Когда они подошли к тахте: Айбек, Котуз и он,— султан Салих посмотрел на них и закрыл глаза. И они ударили его в сердце и перерезали горло маленькими острыми ножами, которыми бреются и режут дыни. И когда уходили они, круглоголовый Айбек остался в Розовом Доме с Шадияр, светлоглазой женой султана...

Утром Айбек сказал, что султан Салих умер от кашля. И Эмиры Тысячи страны Миср молча кивнули головами и коснулись ладонями лица и бороды. И Эмиры Канцелярии Султана коснулись ладонями лица и бороды. И Эмиры всех городов: Дамиетты, Мансуры, Александрии, Бени-Хасана, Эль-Амарны, Асуана — коснулись ладонями лица и бороды. И ученые люди Аль-Азхара, умеющие писать и читать написанное, испуганно коснулись ладонями лица и бороды...

Это было правильно — сказать, что султан умер от кашля. Люди страны Миср не любят слышать плохое, и в этом их радость... Они знали, как умер султан, люди страны Миср. И шепотом говорили об этом друг другу. Но слову из Цитадели верили они, потому что так им было спокойней. Они радовались и ругали султана. Пирамиды были у них, и не могли они простить, что он выезжал к ним на базар...

И браслет поэтому надели большой стране Миср. Для этого нужно было, чтобы объединились девять эмиров, у которых на запястьях были твердые бугры. И чтобы были на Острове всего сорок раз по сорок мамелюков, у которых не было хватающего за руки Бога, не было делающих человека слабым отца и матери, которые были барбарои — чужие люди в стране Миср. И нужно было, чтобы мамелюки беспрекословно слушались Эмиров Пяти, а Эмиры Пяти слушались Эмиров Сорока, а Эмиры Сорока слушались Эмиров Тысячи. И тогда это нетрудно сделать. Богатая и бессильная страна Миср всегда носила браслет...

И когда сказали, что Тураншах, беспокойный сын старого султана, утонул в Реке, тоже радовались люди страны Миср. Он и Барат пустили по стреле в голую спину буйного Тураншаха. И не мог уже уплыть Тураншах от их ножей...

У большого Айбека была круглая бритая голова, круглые глаза и широкий рот с крепкими зубами. И твердые коричневые бугры от галерных цепей были на его руках. Он правильно шел к власти и стал первым. Но он остался с Шадияр, светлоглазой женой султана, когда убил его...

И сразу перестал все понимать эмир Айбек, потому что остался надолго со светлоглазой женщиной. Не султаном назвал он себя, а атабеком — воспитателем Халила, сына Шадияр аль-Дурро. Последним Эйюбом был маленький Халил, сын старого султана, и не живут долго последние...

И не султаном стал Айбек, а только мужем аль-Дурро — Золотой Шадияр,— когда эмиры признали его право. Неправильно это было. Каждому эмиру позволил он думать, что дорого их согласие. И не были никогда спокойными эмиры. А все это случилось потому, что не в четырнадцать дней один раз приходил Айбек к женщине. И не менял он женщину каждые четырнадцать дней. И не по мужской необходимости шел к ней...

Каждый день был Айбек у Шадияр. И круглый рот его раздвигался до ушей, и круглые глаза сияли, как начищенные пряжки на поясах мамелюков. И перестал он видеть прямо, и захотел, чтобы у всех в стране Миср был раздвинут рот и сияли глаза. И не бывает так, чтобы все были счастливыми...

Все начал разрешать Айбек людям страны Миср. И сразу перестали они работать, и в глазах их уже не было молитвы. Стрелы метали они в мамелюков, приезжавших за хлебом и женщинами. И Река перестала подниматься до корней семиствольного дерева. И начались голод и болезни. И франки из Акры и Антиохии стали все ближе подходить к границам страны Миср.

Браслеты распилил Айбек у мамелюков. И разрешил он всем носить синие и красные сапоги. Нельзя было узнать больше, кто раис, а кто стрелок. Крикливые становились впереди молчаливых. И бежали мамелюки с Острова в пустыню и становились там дикими разбойниками. По Реке к морю бежали мамелюки, забирали корабли с гребцами и на море становились разбойниками. И купцы перестали плыть в страну Миср...

И так затемнены были мысли Айбека от женщины, что не убил он Котуза. И никого из Девяти не убил он, кто убивал с ним старого султана. Справедливость и порядок нарушил эмир Айбек. И они убили его...

Твердые бугры были на руках Айбека. И больше Котуза был Айбек, но обессилел от женщины. А блестящие коричневые глаза Котуза были как у ожидающей гиены.

Раисом Острова был Котуз и сам покупал мамелюков. Его

и Барата сделал он Эмирами Тысячи. И не сразу Котуз убил, Айбека, потому что умел ждать.

Маленький Халил, последний Эйюб, утонул в Реке раньше, чем убили Айбека. Совсем мало крови было у прыщавого Халила. И, как отец, смотрел он на нож, и в глазах его ничего не было. Мертвый ушел он в Реку и не выплывал больше, потому что был последний. Люди страны Миср рассказывали, что священный крокодил унес маленького Эйюба, и показывали место, где это произошло. И стали они с Баратом Эмирами Тысячи...

Охрану оттеснили они, и на части изрубили Айбека, когда приехал он на Остров делать смотр. Даже круглой головы не осталось, чтобы посадить на пику и показать жителям Эль-Кахиры для утверждения порядка. И светлоглазая Шадияр знала, что ждут они Айбека на Острове. Потому что женщины — как люди страны Миср, и не любят они тех, кто ходит к ним каждый день...

Конь вдруг остановился, замотал головой и начал сходить с ровной дороги. Бейбарс потянул повод...

Он сам убил светлоглазую женщину, когда приказал Котуз. Закрытую привез он ее на середину Реки. Белая, как солнце, была луна. И снял он покрывало, и долго смотрел в лицо Шадияр.

И она в первый раз смотрела ему в лицо. И глаза ее становились все больше. Совсем светлыми стали они. И засмеялась она. И руки его перестали вдруг быть тяжелыми. Луна вдруг упала в воду, и остановилась вода...

И он сощурил тогда глаза и ударил кривым мамелюкским ножом, где раздваивалась у нее грудь. И смеялась она, и закрыла глаза, счастливая...

В пустой лодке сидел он. И не брал весла. Светлая вода была кругом... И не пошел он на четырнадцатый день к женщине...

Котуз хорошо умел ждать. И знал он, что такое большая власть. Раньше, чем стать султаном, захотел он остаться без девяти, которые были возле него. И сделал правителем он человека, который не сам выбрал себе имя. Байгушем — Птицей, жрущей падаль,— называли этого человека Бахр — Речные мамелюки. Бурджи был он — Башенный мамелюк из Фустата. И выбрал его Котуз, потому что чужой он был, среди Речных.

И делал Байгуш то, что хотел Котуз. Все эмиры были убиты

при нем, которые мешали Котузу. И в Реке утонул Байгуш, когда пришло его время. Остался только он, Бейбарс, из девяти, которые были с Котузом...

Новых девять выбрал себе Котуз, когда стал султаном. И громко хвалил Котуз его силу, и дарил ему самых красивых лошадей и самых толстоногих женщин из своего гарема. И знал он поэтому, что пришло его время...

Но был уже он Раисом Острова и имел своих девять. Барат, Турфан и Шамурат были всегда с ним. Трудно было Котузу, но он умел ждать. Все чаще посылал его Котуз через пустыню тревожить франков. Там и увидел он монголов...

Они обогнали слух о себе. Потные, безбородые, с ночным птичьим уханьем бросились они, не спрашивая, кто впереди. Тело к телу и конь к коню, не давая подняться пыли из-под копыт, ехали монголы, и остановить их было нельзя.

И мамелюки повернули коней и разбежались по пустыне, спасаясь от звонких монгольских стрел. И не всех он собрал потом у сторожевых башен на дороге в страну Миср...

И легкая горячая стрела вошла ему в левое плечо, когда отворачивал он коня от монголов. С черными жесткими перьями была стрела. Тихо свистнул тонкий волосяной канат, сорвал его с коня и бросил спиной на землю. И тогда прыгнул со своего коня длиннорукий Барат, и перерезал канат, и взял его на своего коня...

Он долго стоял у сторожевых башен на дороге в страну Миср, рассылая во все стороны мамелюков. И ему привозили живых монголов. И он долго смотрел каждому в глаза. У них были узкие равнодушные глаза, в которых совсем не было Бога. Послушно садились они на корточки и ждали удара клинка, не отворачивая головы. Страха они не понимали... Это были дикие барбароi, как франки. И знали они своего Эмира Тысячи, как мамелюки. И эмиры их никогда не знали, кроме Безбородого Хана.

И пахло от них, как от франков, грязным потом и шкурами. Кобыльим молоком пахли монголы. И чем-то горьким еще пахли они, как не пахли франки и мамелюки. Это был непонятный запах, который мешал ему правильно думать...

А потом побежали в страну Миср люди, которых обогнали на своих оскаленных лошадях монголы. Люди из Басры, из Багдада, из Урфы и Мосула. Они бежали днем и ночью мимо сторожевых башен, и один только Бог был в их глазах.

И говорили они, что Безбородый Хан монголов — сын хри-

стианки, и не трогает он тех, кто крестится. И еще говорили они, что монголы привязали всех сыновей халифа правоверных к хвостам своих диких лошадей. Всех братьев халифа и всех везиров халифа привязали они к хвостам лошадей и погнали всех лошадей в пустыню. Самого халифа правоверных привязали они к четырем лошадям, и гнали их в четыре стороны, пока не разбежались лошади...

И он дал отдохнуть мамелюкам и вернулся в страну Миср. И опять ждал Котуз, потому что побежали уже в страну Миср люди из Халеба и Дамаска, а Речные мамелюки знали теперь только его, Бейбарса. И стало известно, что франкские Эмиры из Акры и Антиохии принимают у себя везиров Безбородого Хана, и вместе говорят они, что пришло время страны Миср...

И о том, что пришло время страны Миср, кричал в Эль-Кахире перед мечетью Ибн-Тулуна оборванный человек из Багдада. Братом халифа правоверных называл он себя, оторвавшимся от хвоста монгольской лошади. И кричал он это перед мечетью Аль-Акмары, и в Аль-Азхаре, и перед мечетью халифа Хакима. И Котуз сказал, чтобы схватили его и бросили в яму под Фустатом, где сидели нарушившие справедливость и порядок...

Он шел к Айн-Джалуте, а монголы шли ему навстречу. Они были барбарои и шли всегда прямо, не сворачивая. А на длинной монгольской дороге были города и страны, где эмиры умели писать и читать написанное. И люди в этих городах и странах знали Бога, который мешал им смотреть прямо. И они всегда искали непрямой путь к спасению. А монголы шли прямо, и их путь был всегда самый короткий.

В море стал он Бейбарсом и знал прямой путь. Не было другого пути в качающейся темноте, когда прыгнул он Маленькому на спину. Твердые бугры с тех пор на его руках... Девять тысяч мамелюков взял он с собой, Бахр и Бурджи — Речных и Башенных. Быстро шел он к Айн-Джалуте, чтобы не успели франки соединиться с монголами. Знак Бога рисовали франки на своих плащах и на своих щитах, но не успел еще Бог ухватить их за руки...

Монголы не знали других путей, кроме прямого, и это был самый правильный путь. Когда они увидели мамелюков, то начали съезжаться плечо к плечу и конь к коню, поворачиваясь в их сторону. И он дал знак, и ухнули боевые трубы, и мамелюки тоже начали съезжаться плечо к плечу и конь к коню, поворачиваясь к монголам. И, как монголы, прижались они друг к другу, и пыль из-под копыт не могла пробиться между их телами.

И монголы удивились, потому что в первый раз увидели идущих к ним прямым путем. И когда столкнулись мамелюки и монголы возле Айн-Джалуты, то монголы рассыпались.

И кончились монголы, когда рассыпались, потому что не знали они пути, кроме прямого. Никого не знали они, кроме своего эмира, и были как слепые щенки каждый в отдельности. В разные стороны побежали монголы, бросив луки и круглые кожаные щиты. В грязи и навозе было их хвостатое знамя цвета теплой крови.

До конца он пошел прямым путем. Плотными отрядами по сорок разъехались мамелюки по пустыне, догоняя монголов и отрезая им головы. И собрал он все отрезанные головы и построил из них красную пирамиду на высоком берегу Евфрата. Никогда больше не шли монголы в страну Миср. И дальше не шли они через страну Миср в страны франков, потому что он остановил их в Айн-Джалуте. Так стал он Абуль-Футух — Отец Победы.

И когда он вернулся в Эль-Кахиру, Котуз приготовил ему белый дом с двенадцатью фонтанами. И ждали его там черные мамелюки с отравленными ножами. Но он прыгнул первым и на площади перед мечетью Ибн-Тулуна, где встречал его Котуз, убил его. И сам он отрезал голову Котуза с блестящими коричневыми глазами и бросил ее на стертые кирпичи перед мечетью Ибн-Тулуна...

Конь шел ровно... Из-за холмов поднимался храм. Люди построили его, которые строили пирамиды. На стенах нарисовали они своих богов, об их мудрости и силе написали они. Но победили их барбарои — люди пустыни, чей Бог был простой. Прямую дорогу знал тогда этот Бог, и Пророк его не умел писать.

И стали люди пустыни брать гладкие камни из этого храма. И построили мечети в Эль-Кахире, мечети в Мансуре, в Тель-эль-Яхудие и в Эль-Лахуне мечети с красивыми высокими минаретами. У людей страны Миср научились они растить хлопок, рисовать треугольники и считать звезды. И научились писать их пророки, и Бог из пустыни перестал видеть прямую дорогу. И сами стали они людьми страны Миср, которым неприятна кровь и знакомы слезы...

Мечети и башни построили из гладких каменных плит. И только один угол храма пошел на это, такой он был большой. С той стороны, где брали камни, въехал Бейбарс на крышу храма. И конь остановился, опустив голову...

Он сразу назвал себя султаном, когда убил Котуза. И всегда он был Абуль-Футух, потому что отнял у франков Цезарею и Арсуф. Яффу и Антиохию он тоже отнял у франков, потому что франки были уже другие. Они научились мыться горячей водой и перестали носить бычьи шкуры. И стали они одеваться в муслин и атлас, как люди Дамаска и Багдада, и под верхней одеждой стали носить нижнюю, и часто меняли эту одежду. И бороды уже красиво подстригали франки, как люди Дамаска и Багдада. Сахар они ели, которого не знали раньше.

И многие из франков умели писать и читать написанное, и учились они у людей из Аль-Азхара и Низамийи[1] рисовать треугольники и считать звезды. И не умели уже идти прямым путем навстречу мамелюкам. Только в каменной Акре остались франки, рисовавшие крест на своих плащах. Он, Абуль-Футух, положил предел им по эту сторону моря, куда пришли они на могилу своего Бога.

И монгольские ильханы за Евфратом быстро научились мыться горячей водой, носить мягкую одежду и есть сахар. Бога нашли они себе, и писать научились и перестали быть опасными.

Никто не мешал ему теперь идти с мамелюками на Восток, в богатую армянскую Киликию; и на Запад никто не мешал ему идти, в Барку и Ливию. И на Юг, в святые города Хиджаза. И в Эфиопию, за черными рабами...

Бесплодны люди, не умеющие смотреть прямо... На стене храма из белых каменных плит стоит его конь. В черном кожаном седле сидит он, Бейбарс, и смотрит на Восток, и на Север, и на Юг. И видит только желтый песок, скованный острыми камнями, которые ранят копыта лошадей. На небо смотрит он. И видит круглое белое солнце. Вниз смотрит — и каждую травинку видит внизу. Суслика видит он, который побежал от круглой норки. И камнем метнулась тень орла по земле. И твердые когти вошли в мягкое тело, и красные брызги остались на белом камне. Брызги почернели сразу, потому что камень горячий... Все это так, как он видит. И у того, кто видит не так, косые глаза.

Они смотрят на желтый песок и говорят, что это не простой песок, потому что ехал по нему Пророк. И на человека смотрят они и говорят, что это не просто человек. И на женщину смотрят они и говорят, что это не просто женщина. И второе и третье имя дают они всему, что видят.

---

[1] Знаменитый университет в Багдаде, названный по имени организовавшего его Низам-аль-Мулька, великого везиря Сельджукидов (1018—1092).

Он прямо видит все, и поэтому он Абуль-Футух. И он понял, что такое гуманус и культура, о которых говорил ему генуэзец Джакомо в кожаных штанах. Это писк суслика, который не услышал он отсюда. Никогда его лицо не было мокрым... Белый и зеленый мрамор привозит в Эль-Кахиру генуэзец на своих кораблях. И ездит в Аль-Азхар, чтобы срисовывать треугольники. И руки у купца гладкие, без бугров...

Он Бейбарс и смотрит прямо. И он все вернул стране Миср, что отнял у нее Айбек. Султаном назвал он себя. И надел мамелюкам браслет на левую руку. Только клеймо изменил он на браслете. И вернул Эмирам Тысячи красные сапоги, а Эмирам Сорока — синие сапоги.

И дал он мамелюкам власть в стране Миср. Землю у Реки и людей страны Миср для ее обработки дал он каждому эмиру. В Эль-Кахиру отправляют все, что собирают с этой земли. И только мамелюки могут быть эмирами городов и областей, потому что носят его браслет.

Под зеленым деревом на Острове наковывают мамелюкам этот браслет, чтобы была у них родина. И детские дома сделал он на Острове и в Фустате. Крепких мальчиков от мамелюков забирают в эти дома, чтобы не знали они отца и матери, которые делают человека слабым.

И выпустил он из ямы под Фустатом человека, назвавшегося братом халифа правоверных, и назвал его братом халифа. И сажает он его на ковер,чтобы знали это люди страны Миср, и люди Дамаска, и люди Кордовы, и все другие люди, которые пять раз в день прижимают лицо к земле, когда молятся. Пусть в Эль-Кахире будет их Бог.

И раз в году разбрасывают перед мечетями хлеб от него людям страны Миср, чтобы знали они, что он о них заботится. И не видят его никогда люди страны Миср, потому что только тени орла боятся собаки.

Это было правильно — все делать по-старому в стране Миср, где мертвых хранят в пирамидах. И отдать их с землей мамелюкам было правильно. Руку, которая бьет, лижут собаки. Опора нужна им в качающемся мире, потому что рабы они, и хуже смерти для них ответственность за себя. Отцом страны Миср назвали они его. И песни поют о нем, когда собирают в фартуки хлопок, и раньше имени Бога кричат с минаретов его имя, и именем его называют детей. И когда умрет он, святым будет в стране Миср все, чего он касался...

Как собаки доверчивы люди страны Миср. Айбеку с Котузом нетрудно было обмануть их, умеющих писать. Оправдание всему, что делают, ищут они, и нерешительны поэтому. И думали

люди страны Миср, что Айбеку с Котузом тоже необходимо оправдание, и не видели бугров на руках у Айбека с Котузом.

Опасны, у которых бугры. Их нужно всегда менять, которым отдал он страну Миср. И раньше всего — девять первых эмиров, которые рядом. Айбек не сделал этого, и круглой головы его не осталось, чтобы показать на базаре. И Котуз пропустил время, и голова его долго катилась по стертым кирпичам перед мечетью Ибн-Тулуна. Нельзя пропускать время...

Длиннорукий Барат по его знаку убил одного за другим всех эмиров, которые были с ним в Мансуре, когда франк направил на него копье. И тех убил он, которые рубили с ним Айбека. И тех, кто в Айн-Джалуте был, когда взял его к себе на коня Барат. И многих других убил он, время которых пришло. Нельзя оставлять жизнь тем, кто был рядом...

И первым пришло время быстрого, как кошка, Шамурата, который морщил лоб, когда не ему дарил он коня или женщину. И Турфан был последним, которого задушили вчера по его знаку, после того как он забрал у него дочь. Давно отстранил от себя он Турфана. Но львы, ставшие собаками, видят неправильные сны...

И один Барат остался возле него из тех, которые были рядом. И глаза Барата сегодня утром смотрели в сторону...

Бейбарс поднял правую руку, и всадники показались на ближних и дальних холмах. Ухнули сигнальные трубы, и помчались к Эль-Кахире первые сорок Эмиров Охраны, оставляя посты. И ждали уже внизу еще сорок с напряженными луками на локтях. И еще сорок съехались плечо к плечу и конь к коню, чтобы охранять его спину...

Конь, осторожно переступая, сошел вниз. На стене, откуда брали камни, рядами шли одинаковые люди страны Миср с одинаковыми длинными глазами. Одинаково вытянув вперед правую руку, несли они Богу положенное. Это было правильно — то, что делали люди, строившие пирамиды. Султан у них был Богом. И ему были пирамиды.

Бейбарс посмотрел вокруг. Гладкие каменные колонны уходили в небо. Он вспомнил, зачем поехал сюда, и удивился. Какое-то слово мешало ему утром...

Он Бейбарс и презирает слова. Прямо смотрит он и все видит. Ничего не было утром, только глаза Барата смотрели в сторону!

Ожидание знака было в черных глазах Шамила — Эмира Охраны. И браслет его был начищен песком с серой. Шамил будет Раисом Острова, пока не придет его время. Молодой он,

и руки его крепко держат кривой мамелюкский нож. И хорошо, что он Бурджи. Чужим будет он среди Речных и не скоро найдет своих девять. И не будет он смотреть прямо, когда найдет. И придет тогда его время...

Бейбарс дал знак, и с горячей желтой мглой, красящей страну Миср в один цвет, понеслись они к Эль-Кахире...

Красное солнце легло в Реку. И красной стала желтая мгла. Желтый песок и серые камни стали красными. И красной была Река, и синие минареты Эль-Кахиры были красными от солнца. И он видел это прямо, а не так, как люди страны Миср. Кровью пророка Хусейна называли они простую вечернюю зарю.

На новых кирпичах перед мечетью Ибн-Тулуна молились они, расстелив мягкие коврики. Во дворах и на улицах молились. И на крышах домов молились, повернувшись лицом к Мекке. Он трогал рукой камень в Мекке, которому молились они, и испачкал руку...

Тяжело ухнули трубы Цитадели, заглушив муэдзинов на минаретах. Через железные ворота въехали они на стертый каменный двор. И, бросив повод коня черному рабу, пошел он с Шамилом и Эмирами Пяти в Зал Приемов.

И ждали уже там двадцать четыре бея и эмира, которым отдал он страну Миср. И Эмиры Тысячи в красных сапогах ждали. Знатные люди страны Миср ждали, которым позволил он видеть себя. И ждал тот, кого назвал он братом халифа. И склонились они, прижав руки к животам.

Прямо смотрел длиннорукий Барат, который был Раисом Острова, но утром он смотрел в сторону. И Бейбарс сделал знак черному рабу. И принес черный раб высокую золотую чашку с красным александрийским вином. Взял он у раба чашку, и передал Барату, и сощурил глаза. И Барат выпил красное вино, потому что пришло его время.

На ковер сел Бейбарс и ждал со всеми, пока у Барата побелели губы. И побелели губы Барата, и бритая голова его ударилась о край фонтана. Тогда Бейбарс встал и вышел в сад. Все розы были красные в саду. И листья были красные. Камни на дорожке были красные. И Розовый Дом был красный,и дверь в него была открыта...

Девочка была там, где утром. Она спала, и маленькая рука ее лежала под пухлой щекой. И ног ее не увидел он, потому что скорчилась девочка от вечернего холода. И грудь ее была детская. Оттопыренные губы и мокрое обиженное лицо были у нее.

Красное солнце горело в высоких окнах. Стены и потолок были красные. Зеленый ковер на полу был красный. И только красная тахта была черной от вечернего солнца. И всхлипнула во сне девочка...

Куке-е!.. Словом вдруг разорвало ему горло. Горькими сразу сделались губы. И он все вспомнил...

Это высокая горькая трава пахнет так, красная от вечернего солнца. И красный песок становится чернее. А на песке лежит человек, и это его куке. И плачет мальчик, и тянет своего куке за большую руку. Только стрелу он боится трогать с черными жесткими перьями...

Чернеет песок. И все вокруг чернеет. А запах становится гуще, и такой уже горький он, что нельзя облизать сухие губы. И зеленые точки совсем близко в горькой темноте. Их все больше вокруг, и все ближе они. И он прижимается к большому холодному куке, и тепло ему, и не страшно так...

А потом опять белое солнце в белом небе. И трава белая. И только песок, на котором растет она, красный. Весь мир — этот твердый красный песок, потрескавшийся от белого солнца. И ничего больше нет. И куке лежит, примяв горькую траву. И не хочет вставать куке, потому что стрела с черными перьями прошла через его горло. А там, где вышла она, черные капли на красном песке... А когда снова краснеет трава и начинает пахнуть, появляются откуда-то большие мохнатые ноги. Медленно ступая, идут они мимо, все идут и идут. И мерный звон стоит над черным песком. Кто-то трогает острым копьем открытые глаза куке.

— Тут мертвый кипчак! — ясно говорит чей-то голос. И похож он на голос купца Джакомо...

И отрывают его руки от холодного куке, и передают его человеку, сидящему на верблюде. И человек этот похож на Джакомо, а кожаные штаны его пахнут дорожной пылью и морем...

И дальше идут верблюды. А слезы легко текут из его глаз. И тянет он руки назад, и плачет, задыхаясь горьким воздухом.

— Ку-у-ке-е!...

Бейбарс тронул рукой лицо. Оно было мокрое. Тихо ступая, подошел он к тахте и прикрыл девочку накидкой от холода.

Потом Бейбарс пошел обратно в Зал Приемов. Беи и эмиры,

которым отдал он страну Миср, пили красное александрийское вино. Из высоких золотых чашек пили они, которые берут в пирамидах, и твердые коричневые бугры были у них на руках.

Чашка Барата стояла пустая. Бейбарс сам налил ее, выпил и вышел в сад. Эмиры молчали, скованные непониманием...

Так умер Бейбарс Эль-Мелик-эд-Дагер, четвертый бахритский султан, по прозвищу Абуль-Фурух, победитель монголов и крестоносцев. С 1260 по 1277 годы от р. Хр. правил он страной Миср. И плакали люди страны Миср, и с минаретов кричали его имя раньше имени Бога, и святым стало в стране Миср все, чего он касался.

И как жил он, так и умер — чтобы не знали, где его могила. В Дамаске показывают ее, и в Эль-Кахире, и в других местах...

Эпилог

Это случилось в год смерти Бейбарса...

Твердый красный песок был вокруг, потрескавшийся от белого солнца. И горькая белая трава. Ничего больше не было в мире...

С четырех сторон налетели монголы на маленький род Берш. Падали кипчаки, потому что с четырех сторон летели к ним легкие стрелы с жесткими черными перьями. Быстро связали монголы живых мужчин. Молодых женщин они тоже связали и положили в толстые шерстяные мешки на седлах. Длинногривых кипчакских лошадей монголы согнали в один табун. Только больных и стариков не взяли они. И маленьких детей не взяли, которых нужно долго кормить, чтобы продать. Это были дикие монголы, которые не знали Великого Хана в Каракоруме.

И высокого старика со шрамом у левого глаза не взяли монголы, который пришел утром. Старик пришел откуда-то и сел у огня крайней семьи. Ему дали поесть и не спрашивали ничего, потому что он молчал. И старик не поднял руки, чтобы закрыть лицо, когда ударил его камчой молодой красноглазый монгол, потный от крови.

Он стоял и смотрел, как убивали монголы, как вязали они мужчин и валили на песок женщин. И молчал старик.

И когда умчались монголы, ничего не осталось у кипчаков. Совсем мало их было, старых и больных. Они засыпали красным песком мертвых и зажгли собранную в кучу сухую горькую траву

емшан. И заплакали они все, и подняли руки к белому солнцу. Высокий старик поднял со всеми руки, и лицо его было мокрое.

А когда стала краснеть от вечернего солнца белая трава и почернел красный песок, высокий старик собрал оставшихся. И они пошли за ним, ничего не спрашивая...

Он вел их к Северу, где были холодные леса, которых не любят монголы. Зеленые точки были совсем близко в горькой темноте, и они прижимались друг к другу. Тихо шли они, и только мальчик на руках у одной старухи все плакал и тянул назад руки:

— Ку-у-ке-е!

Так слово победило человека... По-разному рассказывают об этом в Красных Песках: путают имена и страны. И русский летописец услыщал только один рассказ о белой горькой траве, запаха которой не в силах забыть человек [1]. А красные Пески большие...

[1] Речь идет о Волынскои летописи.

ИСКУШЕНИЕ ФРАГИ

Нет, он был совсем не такой... Голова — вполоборота, сжатые губы... Да, он был горд, но никогда не держал так голову. Ведь он был очень умен.

А каменная властность в очертании губ... Он знал свою власть над людьми. Но это была не та власть, от которой так презрительно и брезгливо складываются губы.

И непреклонность — полная, не признающая возражений... Разве мог быть таким поэт, который всегда мучается, сомневается? А он был настоящим поэтом. Иначе не пели бы уже двести лет его песни.

В парке играют дети. Вокруг шумит яркий Ашхабад. А юноша в вышитой рубашке, по-видимому студент, уже добрых десять минут разглядывает памятник. В глазах — раздумье. Едва заметно пожав плечами, он отходит...

Таким был совсем другой человек. Это он держал так голову, слегка повернув ее на короткой шее. Самодовольно и пренебрежительно кривились его губы. Весь подобравшись, готовый вылезть не только из халата, а из своей шкуры, слушал его собеседник. А поэт сидел в стороне и в который уже раз приглядывался к знакомому лицу.

Как хорошо он знал и как ненавидел это гладкое лицо с сероватыми нетуркменскими глазами. Сколько раз он слышал властный голос, гулкий и сильный, как из нутра хивинского карная. Сейчас он думал над тем, откуда берутся такие люди.

Поэт заметил, что губы его кривятся, как у хозяина дома. Он невольно повторял жесты, движения людей, когда хотел понять их. Думая за другого, он порой забывал о себе.

Но с Сеид-ханом это не получалось. Он мог в точности повторить каждое его движение, но что думал этот человек, не представлял себе. И не потому, что очень уж сложным был Сеид-хан. Его желания просты и ясны для каждого, как желания любого зверя, который хочет рвать зубами живое мясо. Просто они совсем разные люди — поэт и правитель этого края.

Вот хозяин встал с подушки и выпрямился во весь свой маленький рост. У этого человека, одного имени которого боялись люди, были узкие плечи, непомерно большая голова и короткие ноги. Но держаться он старался прямо, и от этого зад его оттопыривался, как у маленькой обезьяны. У поэта мелькнула мысль, что во всем виноват низкий рост. Он не раз в жизни замечал, что люди маленького роста хотели казаться большими,

страшными. От этого росли в них самолюбие, подозрительность, жестокость. В каждом встречном они видели врага, готового смеяться над их ничтожеством. Поэтому они зло мстили большим людям, старались унизить их... Но нет, все это не так просто. Сколько встречал поэт маленьких людей с большим сердцем!

Сеид-хан, прихрамывая, прошелся по ковру, потрогал дорогую афганскую саблю, которая, по перенятому у арабов обычаю, висела на стене. Как каждый трусливый в душе человек, он очень любил оружие. Вот и халат на нем всегда военный. А ведь этот человек никогда не сидел в боевом седле. Когда-то, лет двадцать назад, при осаде Исфагана, он доставлял лошадей для разбойничьих отрядов Каджаров[1]. С тех пор он считает себя военачальником — сердаром. И хромает он не от боевой раны. Кто знает, где прошла его юность, где подобрали его Каджары, когда еще только мечтали о шахском троне...

Сеид-хан вернулся и сел на подушку. Он старался не хромать и поэтому дергался при ходьбе, как парализованный. А в народе его так и называли — Хромым. Правда, здесь, в городе, при разговорах друг с другом его еще звали Яшули — глубокоуважаемый. Но какая нехорошая улыбка появилась у людей, когда они применяли по отношению к этому человеку такое хорошее слово.

Кем стал бы Сеид-хан, если бы не нашли его Каджары? Поэт мог представить его мирабом, торговцем или просто погонщиком верблюдов. И был бы он таким, как все мирабы, купцы или погонщики с их обычными человеческими слабостями. Может быть, труд поднял бы со дна его души и доброту, и жалость к людям. Страшная власть над людьми, над их жизнью и смертью, детьми и имуществом сделала этого человека таким, каким стал Сеид-хан. И как быстро начинают верить ничтожные, злые люди, что они родились повелевать.

Гость Сеид-хана снова заговорил о своих делах, заглядывая, как большая голодная собака, в самые его глаза. Это был здоровый, сильный человек с красивым мужественным лицом. Когда на таких лицах видишь угодливость и раболепие, противно становится жить.

Там, в приморских аулах, которыми правил Мамедсердар, много людей, отравленных дьяволом власти. В глаза они льстили ему, но что ни день посылали доносчиков к Сеид-хану и самому шаху. Они съедали его заживо, как жадные гиены. Съедали точно так, как он сам съел своего предшественника. От Сеид-хана зависело, сколько еще времени ему быть правителем. Гнядя

---

[1] К а д ж а р ы — шахская династия (XVIII — XX вв.).

по-собачьи в глаза Сеид-хана, Мамед-сердар старался угадать его решение.

Подходили новые люди. Одним Сеид-хан собственноручно бросал бархатные подушки, других приглашал сесть простым кивком головы.

Поэт хорошо знал всех их. Вот по правую руку Сеид-хана тяжело опустился на подушку Какабай-ага — гора разбухшего мяса. Это давнишний друг и, кажется, родственник Сеид-хана. За спиной его неслышно присел тощий Мухамед Порсы, его верный помощник. Время от времени он что-то шептал хозяину, и тот жмурился. Этого хитрого шакала ненавидели и боялись больше самого Какабая — правителя города и окрестных аулов. Все знали, что Мухамед как хочет вертит своим заплывшим от обжорства ленивым хозяином.

Слева от Сеид-хана сидел Дурды-хан, свирепый властитель горного края. Маленький, злой, он чем-то был похож на Сеид-хана.

Уверенный в себе, прямо и важно сидел на подушках чернобородый, узкоскулый Ходжамурад-ага. Сам Сеид-хан почтительно передавал ему пиалу с чаем. Небольшой род Ходжамурад не платил никаких налогов, не выставлял даже всадников для шахских набегов. Сам пророк Мухамед считался его основателем. И люди Ходжамурад во время кровавых войн ездили в Хиву, Бухару и Иран. Никто не смел поднять на них руку. Это был род святых ишанов и купцов.

Но поэт знал, что святой Ходжамурад-ага еще в молодости утопил в Атреке двоюродного брата, стоявшего на его пути к власти. А совсем недавно его поймали с чужой женой, и он откупился от мести жизнью невинного человека. Шепотом говорили об этом друг другу в городе.

В ряд сидели по степени своей власти над живыми людьми другие сердары и правители: Ходжагельды-хан, Коушут-ага, Сапарли-хан... Каждый из них готов был разорвать Сеид-хана, чтобы занять его место на бархатной подушке. Но все они сидели тихо, глядя ему в рот.

Тугие толстые животы, блестящие от терьяка глаза, дрожащие руки. В одно страшное оскаленное лицо сливались они в глазах поэта. О, как бы он рассказал о них в своих песнях! Как с разных сторон показал бы их людям! У поэта сжались кулаки и загорелись глаза...

Но вот плечи его снова согнулись, кулаки постепенно разжались. Пришедшие на ум слова сразу как-то потускнели и потеряли свое значение. Глаза его стали обычными, как у всех, сидящих на огромном гокленском ковре в доме Сеид-хана. Сейчас поэт уже не был тем глупцом, которому так много

доставалось в молодости. Долгие годы гонений и скитаний сделали его мудрым. Что ж, таков мир, где сильный гнетет слабого. Человек рождается для страданий. Так было и будет. Как он не мог понять такой простой мудрости жизни! Ведь многие его друзья поняли это уже в двадцать лет, другие к тридцати, а ему...

Ему скоро пятьдесят. И песни поэта давно полны тем, за что через много лет умные осторожные люди назовут его творчество «противоречивым».

Поэт снова обвел взглядом сидящих. Сейчас они уже не казались ему такими плохими. Видно, они лучше него понимают смысл жизни. Где-то в глубине души поэту было приятно, что его пригласили на совет правителей. Он быстро отогнал от себя эту мысль и с достоинством выпрямился. Тонкие губы наблюдавшего за ним Мухамеда скривились в нехорошей усмешке...

Хивинский хан обрушил свой гнев на йомудов. Так было всегда, когда они за воду не платили кровью. Йомуды снова не дали всадников для большой ханской войны на Севере. Тогда хан закрыл каналы. Йомуды открыли воду силой, и хан наказал их. Все хивинское войско прошло по их землям, и сейчас живые бегут сюда. По дороге хивинцы напали и на балханских теке. Хан сказал, чтобы между Бешеной рекой — Джейхуном — и землями шаха не осталось ничего живого.

Это рассказывал Дурды-хан, и голос его был спокойным. Он понимал хана Хивы.

Как принять беглецов? Голодные и жадные, они ничего не принесут с собой. И, пройдя Черные Пески, остановятся ли хивинские всадники на виду у Хорасана?

Каждый говорил, наклонив голову к Сеид-хану... Пусть идут на Мангышлак. Пропустить, пусть идут в земли курдов. А хан Хивы не посмеет тронуть людей, которые служат льву Ирана. Молчал лишь Дурды-хан. Поэт слышал, что в горах уже тайно перехвачены две сотни йомудских кибиток. Снова на невольничьих рынках Измира и Дамаска появятся бритые туркменские головы.

Жизнь темная, жуткая, и не видно в ней просвета. Аллах проклял эту землю. И поэту можно петь лишь о воле рока. Нечего волновать людей несбыточными мечтами. Все на свете преходяще. Рабом или шахом родится человек — его ждет могила. Она ждет и поэта. Все чаще думал он теперь о смерти, и губы его шептали красивые и безнадежные слова.

Такие слова из века в век повторяли здешние поэты. А когда им становилось невыносимо тяжело, они начинали петь о радости минуты, о счастье быть с любимой, пить запретное вино и погружаться в мрак пьяного небытия...

Сеид-хан по установившемуся обычаю выслушал всех. Потом принял решение. Да, пусть идут куда хотят. Не пускать йомудов в гокленские селения под страхом смерти и не давать им ни воды, ни лошадей. Объявить об этом во всех аулах. Пусть видит хан Хивы, что нет у нас с ними ничего общего.

Сеид-хан не успел закончить, как его перебили.

— О мудрый повелитель! — вскричал Караджа-шахир.

Поэт, уйдя в свои думы, не заметил его прихода. Круглый, гладкий, с жирным холеным лицом и черными глазами, Караджа-шахир был похож на бойкого преуспевающего купца из Тавриза. Он занимался самой постыдной торговлей — торговлей словом. Поэт помнил его еще красивым мальчиком, который умел петь хорошие песни. Но Караджа-шахир еще в пятнадцать лет понял мудрость жизни, которую до седых волос в бороде не мог понять он. Сейчас у Караджа-шахира три дома в городе и добрых пять или шесть тысяч овец в горах. Правда, он совсем разучился владеть словом. Но зачем это ему: за кусок хлеба и крышу над головой сочиняют для него хорошие песни другие люди. И на советы правителей и вождей родов его зовут уже много лет. А поэта, чье слово знают в Хиве и в Багдаде, позвали только сейчас.

Почему же они наконец позвали его? Нет, неправда, он ведь, как и раньше, пишет прекрасные стихи. Но писать почему-то стало труднее, он долго не может найти слово, злится на себя, на всех. Все чаще он уже не ищет этого слова, а пишет обычное.

Может быть, это старость. Но не такой уж он старый. Или... мешает, что он понял наконец простую мудрость жизни? Рано или поздно ее начинают понимать все, даже поэты... Почему же его стал звать Сеид-хан на свои советы?!

Ели плов из розового ханского риса. Потом слушали песни Караджа-шахира. В них было много одинаковых женщин с тугими толстыми ногами, розовым телом и длинными змеями-косами. Пел он, смачно причмокивая, как будто расхваливал этих женщин для продажи. У старого Хошгельды-хана изо рта капали слюни.

Сеид-хан на прощание милостиво пошутил с поэтом. И поэту снова стало приятно...

Он шел к своему дому и думал об этом. Да, ему стало приятно. Как все же слаб человек!

На улицах было людно. Город готовился к завтрашнему базару: ехали груженые арбы, гнали скот. У городского водоема дорогу поэту пересекла красивая армянка с кувшином на голове. Он посмотрел ей вслед и вздохнул. Раньше, видя красивую

женщину, он расправлял плечи и ловил ее взгляд. Ему нравилась жизнь. Он считал, что Аллах поступил мудро, создав ее такой. Теперь при виде женщины он как-то сразу ощущал грузность своего тела, седину бороды и стыдился самого себя. В молодости он привык к быстрым женским взглядам, внезапно вспыхивающему румянцу на их лицах, ответным улыбкам...

Пройдя вверх по улице, поэт остановился передохнуть. Тяжело поднималась и опускалась грудь, сжималось и ныло сердце. Уже два или три года чувствовал он эту тупую боль в груди.

Жил он на окраине, в ауле, где всегда селились туркмены. Узкие пыльные улицы города не нравились им. Там жили тюркские, иранские, армянские купцы, сборщики пошлин, писцы, менялы. Лишь совсем обедневшие или изгнанные из своих родов туркмены шли в город. Сдавленные высокими дувалами, оглушенные непривычным шумом и суетой, они быстро чахли, начинали кашлять кровью и умирали, тоскуя по тишине песков.

Зато здесь, на окраине, им было легче. Отсюда видны были голые красные горы, а через ущелья ветер приносил родные запахи емшана, горькой колючки и раскаленного песка. Да и дома здесь строились дальше друг от друга. Они были сделаны из вязкой каменной глины, с узкими щелями для света. Но возле каждого дома стояла крытая шерстью легкая кибитка. Огромные желтые собаки с квадратными мордами стерегли покой семьи.

Каждую осень кибитки разбирали, грузили на верблюдов и уходили на север, в Черные пески. Оставались лишь самые бедные в роду, кому не нужно было заботиться об овцах и верблюдах. Они уже навеки связали себя с землей и копались в ней, как черные жуки.

Таким был сосед поэта — Сахатдурды. Он и сейчас работал возле своего дома. Поэт остановился и долго смотрел на земледельца. Стоя по колено в воде, тот выбрасывал лопатой мокрую серую землю, перекрывая в нужных местах арык... Это был совсем другой мир, ничем не похожий на мир Сеид-хана. Сахатдурды нисколько не интересовало, кто будет правителем города: Какабай-ага или Сапарли-хан, который хочет занять его место. Он знал только, что, когда едет правитель, лучше убираться с дороги.

Но при этом он родственно связан с Ходжамурад-ага. Ведь Сахатдурды тоже принадлежит к этому святому роду. Но он не купец и не ишан. У него нет даже лошади. Когда надо защищать интересы рода, ему дают коня богатые родственники. Но скоро сосед выбьется из беды. Сам Ходжамурад-ага берет его дочь в жены.

А вот и девочка. Ловкими движениями выгребает она

горячую золу из тамдыра. Как красивы и быстры ее движения! Поэт и не заметил, как выросла дочь соседа. Она повернулась и глянула в его сторону такими глубокими черными глазами, что страшно смотреть в них. И какая-то неженская смелость в ее взгляде. Нет, не у газели такие глаза. У газели они красивые, но пугливые и бездумные.

Уже много лет самых красивых женщин забирает себе род Ходжамурад. И никогда еще ни одна женщина не ушла из этого святого рода.

Девушка прошла к дому, и он заметил на шее у нее кольцо из серебряной проволоки. Значит, она уже обручена. Никто, кроме Ходжамурад-ага, не станет теперь ее мужем...

Дома он сел за работу. Тонким подпилком резал он тем новатый серебряный диск. Гульяка — нагрудное украшение жен щины — была почти готова. Причудливые разводы и узоры рас ходились от середины круга. Оставалось вытравить отверстие и вставить прозрачные багряные камушки, которые привозят купцы с берегов Кульзума — Красного моря.

Он был хорошим мастером по серебру, но не любил свою работу. Она требовала усидчивости и терпения, а он с детских лет был нетерпеливым. Но за песни и стихи, которые знали все, не платил никто. Один убыток приносили они поэту. Он был ученым муллой, познавшим свет духовной науки в знаменитом медресе Ширгази. Только молитвы о браке люди почему-то старались заказать муллам, не сочинявшим стихов. Их молитвы казались вернее.

Немного поработав, поэт отложил гульяку в сторону и взялся за ножны от боевой сабли. Сверху донизу были они изрезаны чудесными узорами, перевитыми тонкими замысловатыми линиями. Они чем-то напоминали его стихи: такие же плавные, выразительные, полные глубокой внутренней силы. На стыках узоров сверкали дорогие камни, но не красные, а черные и синие. Это были ножны от его сабли, которая переходила из рода в род, пока не пришла к нему. Зачем ему сабля и ножны? Он вспомнил родовую заповедь. В бою эта священная сабля может стать на локоть длиннее, чтобы нанести последний удар врагу истинной веры. Кому он передаст ее, если в доме его не слышно детского крика?

Но это была работа для души. Очень уж не любил поэт работать на заказ. Поэтому он отложил в сторону гульяку и принялся вырезать узор на ножнах.

Равномерно и тихо двигался по послушному металлу подпилок. Мысли постепенно отвлекались от всего, что его мучило.

Наступил час вечерней молитвы. Он долго бездумно стоял

и не мог сосредоточиться. Губы его шептали принятое обращение к Аллаху, а мыслей не было. Снова тяжело ныло сердце...

Ночью он лежал с открытыми глазами и смотрел в откинутую дверь кибитки на небо. Как сложен мир, который казался ему раньше таким простым! И что такое мир? Он изменчив, как бегущая вода. Каждый видит его по-разному. У его соседа Сахатдурды один мир, у него самого — другой, у Сеид-хана — третий. Какой же из них настоящий, созданный Аллахом? Он знал, что богохульствует, гнал от себя грешные мысли, но они приходили снова и не давали ему спать.

Никогда еще не чувствовал он себя таким слабым, жалким и беспомощным. Не было просвета в этой жизни. Волей Аллаха послана она как испытание людям, и ей нужно покоряться.

На следующий день к нему в гости пришел Мухамед Порсы, помощник правителя города. Он ел мясо, аккуратно поддерживая его куском лепешки, и умно расхваливал поэта...

Они не любили друг друга. Мухамед сам когда-то пробовал стать шахиром. И как всякий неудачник, он жестоко ненавидел людей, которым дал Аллах высокое искусство владеть словом. Ничего нет страшнее и мучительнее этой ненависти. Как змея, сосет она и гложет сердце завистника, и нет ей утоления. А поэт просто не любил бездарных людей.

Сколько подлостей делал ему этот тощий желтолицый человек! Но вот сейчас он хвалил поэта, и тому это нравилось. Не таким уж ничтожным начинал казаться ему Мухамед. Поэт снова подумал о слабости человека.

Зачем все же пришел к нему этот хитрый Порсы? Прошло то счастливое время, когда поэт без разбора верил людям.

Мухамед издалека подошел к делу. Он долго говорил о мудрости Сеид-хана, о его благородстве. Имея дар, он обязательно прославил бы его в стихах. Сеид-хан, конечно, оценил бы это. Он простил бы даже песни, приписываемые поэту. У кого не бывает заблуждений в молодости! Кстати, скоро Сеид-хан устраивает большой той. Если бы спели там хорошую песню, хозяин остался бы доволен.

Поэт вежливо поблагодарил гостя за совет. О, он понимал этого человека! Как хотелось ему, чтобы поэт при всех показал, что он ничем не лучше его самого!

И опять после ухода гостя тяжелой волной навалилась грусть. Не та прозрачная грусть, от которой сладко поет сердце, а мутная, безысходная... Что же, Мухамед умнее его. Так же, как Караджа-шахир, он раньше и глубже понял смысл жизни. Не имеющий никаких достоинств, этот человек лучше устроил свою судьбу, чем он, владеющий высоким даром аллаха. И что такое ум? Самым умным человеком в этих краях считался когда-то его

отец. Но поэт хорошо помнит шемахинского торговца Мустафу, который каждый раз обманывал отца в цене и локтях при покупке тканей. Кто же из них был умнее — невежественный Мустафа или его отец, постигший глубины науки ислама и обучавший других? Мустафа лишь усмехался про себя. Отца поэта, конечно, он твердо считал самым большим дураком в городе.

Но что же делать? Как он сможет написать что-нибудь доброе в честь Сеид-хана? Поэту сразу ярко представилось: он идет по улице, и люди смотрят ему в глаза. Горячей волной прилила кровь к лицу. И тут же увидел другие глаза: Какабай-ага, Сапарли-хана, Мухамеда. Какое в них тайное самодовольное торжество! А какие разговоры пойдут по аулам — ведь той будет большим.

Нет, не напишет он! Пусть не думают, что у благородного волка выпали зубы! У него сжались кулаки. Он вскочил на ноги и заходил по мягкой кошме. В голове лихорадочно рождались гневные, едкие слова. Но поэт обманывал себя. В глубине души он уже знал, что напишет стихи к празднику Сеид-хана. Он знал это, как только заговорил Мухамед. Он стал ходить медленнее, остановился, постоял и сел.

Ночью он опять лежал с открытыми глазами и уже прямо думал о том, как писать. Не будет он, конечно, славить хана, валяясь в прахе у ног его, как Караджа-шахир. Просто он опишет охоту, умение хана терпеливо ждать в засаде хищного зверя, твердость его руки. Это не будет ложью. Говорят, Сеид-хан — хороший охотник...

Утром он выпил чаю, съел лепешку с виноградом и сел писать. Два раза откладывал он жесткий свиток и снова возвращался к нему Потом дело пошло лучше. Он увлекся, как увлекался иногда обычной резьбой по серебру. Ровные красивые слова текли из-под белого пера и сами вели его. Так раньше не было. Он писал и одновременно как бы со стороны наблюдал за собой, за своими мыслями, ощущениями...

Все это было не так трудно, как казалось. Он перечитывал, и ему даже нравилось написанное. Промелькнула мысль: пускай Караджа-шахир попробует так написать.

Писал он весь следующий день. И увлекался все больше, не переставая холодно наблюдать за собой. Из всего написанного могла родиться мысль, что человек, умело и храбро убивающий зверя, такой же уверенной и мудрой рукой правит людьми. Он заколебался — развивать ли дальше эту мысль? Но скоро утешился; услышав его стихи, Сеид-хан сам захочет быть хорошим и добрым. Но все же поэт решил, что не прочитает хану последние стихи.

Это случилось внезапно, как удар грома в горах. Был праздничный солнечный день. Спокойным, размеренным шагом шел поэт к дому Сеид-хана. В руках его был тугой свиток со стихами. А другой, поменьше, в котором славился хан — правитель людей, он спрятал под халатом. Но достать его можно было сразу.

И вдруг наступила тишина. Такая тишина, что перестало биться сердце. Поэт медленно повернулся и увидел их... Они ехали посередине улицы, ряд за рядом. Осторожно опускались в мягкую дорожную пыль конские копыта. И на каждой лошади, по одному и по двое, сидели мальчики без рук.

Это было до того противоестественно, что крик замер в горле. А они все ехали, безмолвные йомудские мальчики. Там, где у всех кончаются запястья, у них краснели клочья ваты. Всадники хана Хивы обрубили им руки, чтобы никогда не смогли они держать кривые сабли.

Сколько их было: десять или сто?.. Кто мог пересчитать их! Ему казалось, что всем детям на земле отрубили руки, и они едут сейчас перед ним по этой пыльной улице нескончаемыми рядами... Как всегда, высоко несли свои головы измученные до смерти благородные кони. А дети сидели на них тихо, с сухими, широко открытыми глазами...

Вел их высокий, совсем юный текинец. Он тихо ехал впереди на черном ахалском коне. Красный полосатый халат его сверху донизу вспороли страшные сабельные удары. Он весь был залит кровью, своей и чужой. В крови было лицо, и даже белый высокий тельпек был в красных пятнах. Но ехал он ровно и спокойно. Только горели черные глаза.

Один из всего рода отбился он от хивинских всадников. На старом заброшенном колодце нашел умирающих детей, перевязал их раны и повел за собой. По дороге к ним пристало несколько уцелевших от хивинцев човдурских и текинских семей. Днем они лежали в горячей пыли барханов. Когда становилось темно, текинец по очереди усаживал мальчиков на коней. Ночь за ночью в призрачном свете луны двигались через Черные Пески скорбные молчаливые тени. И сейчас они пришли к людям...

Молча стояли люди вдоль дороги. И ни одна рука не притронулась к сердцу, чтобы произнести слова приглашения. Они знали, что значит нарушить приказ наместника Каджаров.

Вот дрогнул и зашатался конь, на котором сидел безрукий мальчик. Другие лошади остановились. Они беспокойно поводили ушами, не понимая, что происходит. Лошади не помнили случая, чтобы после тяжелой дороги в песках их не поили и не кормили в зеленых селениях. Лишь безрукие дети ничему не удивлялись и напряженно смотрели куда-то вдаль.

Как будто легкий ветер прошел по толпе. Сотни твердых мужских рук, не спросясь разума, потянулись к падающему калеке ребенку. Но тут же рванулись обратно: каждый вспомнил, что рядом, за спиной, стоят свои дети. Прямо перед людьми горячили свежих, сытых коней Сеид-хан и его гости. С праздничного тоя прискакали они сюда, прослышав об этих мальчиках. В высоких бархатных седлах сидели маленький Дурды-хан, налитый тяжелой кровью огромный Какабай, синегубый старый Хошгельды-хан...

Лошади постояли и медленно тронулись с места. В душной тишине едва слышно захлопали мягкие удары копыт по теплой пыли. Падающая лошадь последними отчаянными усилиями пыталась оторвать колени от земли. Она билась на пыльной дороге, и в кротких безумных глазах ее стояли слезы.

И вдруг прямо через дорогу прошел человек. Он подошел к лошади и снял с нее больного ребенка. Потом, не обращая внимания на Сеид-хана, повернулся и посмотрел на людей. И люди сразу бросились к детям. По двое, по трое они уводили их в разные стороны. Живое, яркое солнце светило над землей!..

Сеид-хан молчал и только сощурившись смотрел на поэта. А поэт просто забыл про него. На руках у поэта, запрокинув голову, лежал больной ребенок. И что по сравнению с этим безруким мальчиком все остальное в мире!

Сеид-хан и его гости, не зная, что делать, не трогались с места. Лишь Дурды-хан не спускал с поэта глаз. Но он не смел ничего сделать. Когда последнего безрукого ребенка увели с дороги. Дурды-хан начал яростно хлестать камчой собственного коня. Он рвал страшными ударами гладкую лошадиную спину и не отпускал поводья. Обезумевший конь храпел и крутился на одном месте. Клочья кожи и кровь падали в мягкую пыль. Белая пена закипала на лошадиной морде.

Мальчик тихо плакал и метался в тяжелом сне. Но какой сон мог присниться ему страшнее жизни? Поэт не помнил, сколько времени сидел он так и молча смотрел на спящего ребенка. Неслышной тенью входила и выходила его жена. Женщина с помутившимся разумом, она досталась ему после смерти старшего брата. Когда его любимую, его Менгли, отдали другому, он не представлял себе, что может быть на земле большее горе. Сколько жгучих стихов написал он об этом страшном горе! Но разве мог он себе представить тогда настоящее человеческое горе? То, что явилось сейчас к нему в дом с безруким йомудским мальчиком?

После многих лет скитаний он снова встретил Менгли. В груди шевельнулось что-то, заныло сладкой болью. Но не эта самая обычная женщина с узким лбом и широкими скулами была тому причиной. Просто он вспомнил молодость. А потом он каждый день встречал Менгли, и в груди его было пусто. Где-то в юности затерялась стройная темноглазая гокленка, единственная на свете...

А вот это горе не пройдет даже с его жизнью. Мальчик плакал и водил во сне руками. Ему казалось, что он хватает ими что-то.

Комок подкатил к самому горлу поэта. Он поднес руку к глазам и увидел, что они влажные. Но на этот раз поэт не вскочил с места и не сжал кулаки. Он медленно придвинул светильник и взял перо. Глухая ночь была вокруг. Прямо перед ним горел и метался на одеяле больной ребенок. А он писал, и казалось, само его сердце исходило словами. И он понял, что никогда еще не был откровеннее с Аллахом.

Слезы и кровь текут по земле. И Фраги плачет с вами, люди. Это слезы Фраги и кровь Фраги. Потому что он — человек...

Он сам не заметил, откуда пришло это слово: Фраги — Разлученный со счастьем. Но никаким другим не назовет он себя отныне. Ведь рядом был безрукий мальчик.

И Фраги не только плакал. В раскаленных словах обнажал он ужас жизни... Поэт не мог с ним мириться...

Повеял утренний ветер. Ребенок успокоился и дышал ровнее. Откинув руку с пером, Фраги смотрел на пробуждающийся мир.

Что-то твердое давно уже давило ему в бок. Он сунул руку под халат и вытащил свиток со стихами в честь Сеид-хана. Какими маленькими и ничтожными показались ему сейчас мысли и сомнения, мучившие его в последние дни! Да, высокий дар Аллаха для человека одновременно и наказание. Как бы низко ни хотел он согнуть голову, талант выдаст его. Дар Аллаха сильнее слабого человека. В этом проклятие таланта... И в чистое утро, сидя на простой белой кошме возле безрукого ребенка, Фраги всей душой возблагодарил Аллаха за это его наказание.

Дрожа и давясь, ел мальчик теплую лепешку из его рук. Он далеко вытягивал тонкую шею и старался откусить побольше. За дверью послышался стук копыт. Зарычала собака. Мальчик сжался. Фраги вышел и увидел молодого текинца. Он почему-то был уверен, что текинец придет к нему, и не удивился.

Сейчас, когда джигит обмыл свои раны, он казался совсем юным, почти мальчиком. Но он был громадного роста, могучий и статный. В спокойных глазах его чувствовались сила и реши-

мость. Это был мужчина, настоящий юный батыр. Фраги протянул ему руку и пригласил в дом.

Они почти не говорили друг с другом в эту первую их встречу. Текинец сказал, что будет пока жить у одного знакомого их семьи. Молча пили чай. Потом Фраги взял свиток и начал читать то, что написал этой ночью. Только ему, юному батыру, и мог бы он сейчас читать свои стихи. Гость никак не выражал своего отношения к ним. Но Фраги верил его спокойным глазам. Люди с такими глазами понимают поэзию...

Когда гость уходил, мальчик вдруг всхлипнул и прижался к его халату. И то, что сейчас увидел Фраги в глазах молодого текинца, огромной радостью отозвалось в сердце. Значит, есть на земле большие, сильные люди, которые могут любить и жалеть!.. А ведь он уже перестал верить в людей.

А когда они вышли во двор, случилось то, что каждый миг случается на земле. Молодой джигит и дочь его соседа Сахат-дурды увидели друг друга. Фраги почувствовал это сразу. Лишь на одно мгновение встретились они глазами: юный батыр и девушка. Но могучая таинственная сила сразу связала их. Разве не самим Аллахом была предуготована их встреча!

Девушка только на мгновение взглянула на джигита и сразу же быстро отвернулась. Она продолжала ломать сухие ветки саксаула, но движения, поворот плеч, вся она стали совсем другими. В спокойных до сих пор глазах текинца застыло удивление. Даже рот был по-мальчишески приоткрыт. Как всякая женщина, она была мудрее его и поняла все сразу. А он еще ничего не понял...

Текинец сел на коня и еще растерянно оглянулся. А она посмотрела на него лишь тогда, когда он поскакал по пыльной дороге...

Ему вдруг до боли в сердце захотелось увидеть Менгли. Она вспомнилась ему такой, какой была в их первую встречу. Неужели этот больной ребенок разбудил дремавшую в нем жизнь?! Все сегодня было не так, как в последние годы.

Мальчик снова заснул. Фраги погладил его по голове и вышел. Он не знал точно, куда и зачем идет. Но мысль рисовала глухой темный дувал, узкую калитку, дом, где живет она много лет.

Люди и раньше почтительно здоровались с поэтом. Но сегодня Фраги, оторвавшись от своих дум, увидел в глазах людей что-то необычное, давно забытое. Какое-то особенное уважение было в их приветствиях. Что же случилось? Или все просто кажется ему не таким, как всегда? И вдруг он все вспомнил: падающего ребенка, сощуренные глаза Сеид-хана, пену на губах Дурды-хана... До сих пор он не думал о том, что сделал.

Несколько раз проходил он мимо калитки в дувале. Никто оттуда не выходил. Обругав самого себя, Фраги решительно повернулся и пошел домой.

Идя через город, он встретил Мухамеда Порсы. Тот сделал вид, что не заметил поэта. Лишь по тонким губам его скользнула улыбка. Так, наверное, улыбались бы змеи, если бы могли.

Святой Ходжамурад-ага стоял возле лавки, где продавались женские украшения. Он ответил на слова привета, но тут же холодно отвернулся. Это был совсем плохой знак. Ходжамурад-ага считал для себя обязательным вежливо улыбнуться каждому человеку.

Да, теперь его не оставят в покое. Они не посмотрят на то, что он мулла. Но Фраги почему-то совсем не боялся сейчас их гонений.

Когда он переходил мост над мутной речкой, сзади послышался лошадиный храп. Конь прижал его к перилам. Он должен был ухватиться за них, чтобы не упасть в воду. Прямо над собой увидел бешеные глаза Дурды-хана. Маленький хан выругался и, чуть не задев его гибкой камчой, ускакал.

И тут Фраги испугался. Холодным потом залило спину. Но испугался не за себя. Ему вспомнились молодой текинец и девушка. Он вдруг ясно увидел ужас их положения. Гокленка и текинец, да еще из презренного рода бывших рабов. А она из самого рода Ходжамурад. И обручена! Ни на миг не появилась мысль у Фраги, что они могут забыть друг друга. Ведь он был поэт...

Текинец пришел на следующий день. Так же молча слушал он поэта.

И поэт забыл в эти дни обо всем на свете. Мальчик и стихи, которые он писал ночами, сидя возле него, были жизнью Фраги. Ребенок кричал по ночам.

Каждый вечер читал Фраги свои стихи юному батыру...

Вот лежат они, Черные Пески. Открытые всем ветрам, перемешанные с горькой солью, опаленные неистовым солнцем, как проклятие Аллаха посланы они людям.

Самый несчастный народ на свете живет в этих песках. Рвут друг друга на части коварная Хива, хитрая Бухара и свирепый Иран. А самые страшные раны остаются на теле этого народа. За право пить воду его всадники идут впереди хивинских, бухарских и шахских отрядов. Чтобы не умереть от жажды, брат убивает брата. Текийцы, йомуды, гоклены, салоры на одном родном языке проклинают друг друга. И на том же языке плачут по мертвым сыновьям туркменские матери.

Не от ханов ждать спасения. Потерявшие облик человече-

ский, жадные и похотливые, они продадут отца за один милостивый кивок шаха или эмира. Слава тому батыру, который поднимет меч объединения!

Втянув голову в худенькие плечи, слушал стихи безрукий мальчик. Фраги увидел, что губы его повторяют слова. И в один из вечеров, когда они сидели так втроем, Фраги взял дутар, и мальчик тихо запел его песню.

Горло сжалось у обоих мужчин. Чистый, слабый голос ребенка пел горькие слова поэта. Казалось, сама эта бедная, изумленная земля, такая неприветливая и родная, плачет в песне безрукого мальчика.

Но вот голос его стал крепнуть. В нем слышались железо и яркость мужественных стихов Фраги. И сабли сами вырывались из ножен, от грозного топота коней сотрясались Черные Пески, мщение и смерть настигали врагов!

А жизнь шла путями, намеченными Аллахом. Ночью, выйдя к арыку, Фраги увидел две тени.

Маленькая яркая луна лила свой чистый свет. В белой таинственной мгле лежала спокойная земля. Бесшумно переливалась вода в арыке. Для чего-то прекрасного создал аллах эту лунную тревожную тишину.

Не таясь, в тени дерева стояли и смотрели друг на друга текинец и девушка. Поэт знал, что они пришли сюда не долго вариваясь. Ни одного слова в жизни не сказали еще они. Просто им нельзя было не встретиться.

Так и стояли они молча, боясь Бога и всем своим существом благодаря его за дарованную жизнь. Какая молитва Аллаха сильнее той, которую излучали их глаза?.. Было так тихо на земле, что он ясно слышал, как бьются их сердца. А может быть, это билось собственное сердце Фраги...

Кто имеет право мешать им? Поэт повернулся и медленно пошел к дому...

А днем он снова ходил у глухого дувала, и тревожной болью отдавался в сердце каждый стук калитки.

Фраги совсем забросил свое узорное серебро и только писал. И мальчик повторял во сне певучие слова.

В городе знакомые прятали глаза. А если останавливались для разговора, испуганно озирались по сторонам. Лишь простые люди окраины заходили сейчас в его дом.

Он снова пошел к арыку. Сидя на покатом берегу, текинец

держал руки девушки в своих и говорил прекрасные, волнующие слова. Сердце поэта дрогнуло. Эти слова шептал он своей Менгли. Юноша не знал, чьи это стихи. Все влюбленные уже много лет считали их своими.

Сейчас луну закрывали синие тучи. Когда она на миг показалась, девушка подняла кверху глаза. В лунном свете блеснула вокруг ее смуглой шеи тонкая белая полоса. Это было кольцо обручения...

Спать он не мог. Со своей вечной Менгли, с самой юностью виделся Фраги в эту ночь там, у арыка. Он снова переживал горечь разлуки, безумно ревновал ее к другому, сильному и богатому. Рыданья душили ему горло, как и тогда, перед вынужденной поездкой в Хиву. Лихорадочно вспоминая, повторял он забытые строки.

Нет, что-то не так сделали люди. Не рукою Аллаха были написаны слова корана о женщине. Любовь, мир, жалость — все это олицетворено в ней Богом. И пока будет она молчать в присутствии мужчины, не будет в мире добра и справедливости.

В этот раз он встретил Менгли. Она спокойно смотрела на него: обыкновенная, измученная заботами сорокалетняя женщина. Нос, рот с закушенным «платком молчания», тяжелый борык на голове — все такое же, как у тысяч других.

Но что это? Увидев его глаза, юные глаза Фраги, она вздрогнула. Рука ее прижалась к сердцу. Знакомые припухлые губы выпустили платок. Широко открылись и чудесно заблестели большие глаза. Перед ним стояла его Менгли! Ничего, что возле дорогих глаз морщины, что щеки не горят молодым румянцем, что волосы стали седыми. Это была она. Они стояли и смотрели друг на друга, как двадцать пять лет назад. Потом, не сказав ничего, разошлись. Слова им были ни к чему.

Время бежало незаметно, как в юности. Фраги знал, что черные тучи сходятся над его головой, но не хотел думать об этом. Что для мира его маленькая судьба!

Он писал, читал написанное, слушал, как наливается оно живой болью и слезами в голосе маленького безрукого певца. Ему казалось, что они вечно знали друг друга: поэт, мальчик и батыр. Мальчик как-то вытянулся за эти дни, печаль глубокого страдания сделала его старше. А батыр, большой и сильный, был спокоен. Но кто лучше Фраги знал, что скрывается под этим спокойствием!

Выходя к арыку, он не видел их в лунном сиянии. Они уходили в тень дерева. Так и должно было быть...

В последний раз Фраги показалось, что не один он наблюдает за влюбленными. Когда он шел обратно, от кустов с этой стороны арыка метнулась чья-то тень. Люди снова вмешивались в дела Бога...

Впервые юный батыр опустил глаза. Уши его горели, и он не знал, куда деть свои руки: большие, железные руки воина. Но вот он посмотрел прямо в глаза поэта и попросил выслушать его просьбу. Фраги знаком остановил его и молча кивнул головой.

Долго сидел он так, глядя в огонь светильника, а текинец, сдерживая дыхание, ждал. Наконец Фраги спросил, есть ли у него поручитель. Юноша открыл рот. Откуда этот человек знал, о чем он будет просить его? Наверное, он святой. Но Фраги был только поэтом...

У текинца был поручитель, лихой човдур, приставший к нему в пустыне после хивинского разгрома. Но где найти поручительницу краденой невесты? Какая женщина решится на это?! Фраги молчал и смотрел в огонь светильника. Он знал такую женщину.

Они сидели перед ним на праздничном ковре, смущенно отвернувшись друг от друга. Рядом с юным текинцем присел човдур, рослый мужчина со смелыми глазами. А со стороны девушки сидела Менгли. Не колеблясь пришла она по зову поэта.

Фраги надел свой самый лучший зеленый халат. На голове его была ровно закручена снежно-белая чалма. С серьезной торжественностью задавал он положенные вопросы. Кто этот юный джигит? Кто его отец? Кто был дед? Из какого он рода, и не было ли в этом роду недостойных? Не совершал ли сам он чего-либо не достойного мужчины?

Отвечал свидетель-поручитель. Он не скрыл ничего. Дед текинца был рабом. И до седьмого колена в его роду не было свободных. Сам же он достоин называться мужчиной. Фраги поднял руку и сказал, что труд раба так же угоден Богу, как и труд свободного.

Потом отвечала Менгли. Да, отец, и дед, и прадед этой девушки из святого рода Ходжамурад. К самому пророку уходят его корни. Но девушка сорвала со своей шеи кольцо обручения... Фраги увидел, что тонкая серебряная проволока оставила на шее девушки розоватую полоску. Он сказал, что так было угодно Аллаху.

Три раза обращался он по очереди к ней и к нему. Хотят

ли они жить вместе по всем законам, установленным Богом. И все три раза, как и следовало по закону, за них отвечали поручители. Тогда Фраги соединил их мизинцы и обратился к Аллаху

Никогда еще не делал он этого с таким самозабвением. Немало в жизни соединял он супружеской нитью стариков с молодыми, красивых с уродами, да и молодых с молодыми. Но делал это без вдохновения. Даже ника, молитву о браке, читал поэт скороговоркой, пропуская целые строфы...

Но сейчас он почему-то волновался. Пропустить одно слово в молитве казалось ему кощунством. Каждое слово Бога, соединяющего этих двух влюбленных, хранило свой глубокий смысл.

Ровно горел светильник. Затаив дыхание сидели люди. Лишь Фраги вполголоса говорил с небом. Именем своего доброго, мудрого человеческого Бога утверждал он вечную связь этих двух жизней. Как никогда был Фраги чист перед ним.

Люди перевели дыхание. Протянув вперед руки, он разъединил пальцы и объявил их мужем и женой. Теперь и безрукий мальчик был допущен в комнату. Човдур внес плоский казан жареного мяса. Из середины его достал он полусырое сердце барана. Оно было разрезано на две равные половины. Одну из них дали текинцу, другую — девушке. И, скрепляя свой союз по древнему обычаю Черных Песков, они съели это сердце, которое только что было живым.

Они вышли из дома. Дул осенний порывистый ветер. Тревожное небо было закрыто тучами. Два оседланных коня с курджумами у высоких степных седел стояли возле кибитки. Текинец и девушка поблагодарили всех, сели на коней и, стараясь не шуметь, уехали в ночь.

Човдур попрощался с поэтом, сел на коня и поскакал в другую сторону. Фраги повернулся и прижал руки к груди. Так же молча ответила ему Менгли. Потом она погладила по голове мальчика и, закрыв рот «платком молчания», пошла к своему дому

Долго еще стоял Фраги, прислушиваясь. Где-то в предгорьях плакали шакалы. Он привлек к себе мальчика и вошел в опустевшую кибитку.

Утром на улице послышался глухой шум. Фраги вышел и увидел всадников. Человек сорок горячили коней возле дома Сахатдурды. Это был весь род Ходжамурад.

Степным растянутым строем помчались они к горам мимо его дома. Ни один не повернул головы в сторону поэта. Фраги стоял и молча смотрел им вслед. Он знал, на что идет Ни с ним, ни с его детьми и внуками не заговорит теперь человек из святого

рода. Никому не прощал этот род своих обид. И никто никогда еще не наносил такого страшного оскорбления роду Ходжамурад!

Но что же они хотят делать? Ведь все уже знают, что слово Бога связало текинца с девушкой...

Не легла еще пыль на дорогу, как новый отряд пронесся в сторону гор. У Фраги сжалось сердце. Он узнал гуламов собственных стражников Сеид-хана, настоящих зверей в человеческом облике.

В городе встревоженно перешептывались. Когда он приближался, замолкали. На него смотрели с тайным ужасом. Люди не представляли себе, как можно совершить то, что он сделал. Теперь уже никто не подходил к нему. Молча проходил Фраги через город, не глядя на людей. Он понимал их и прощал.

На третий день весь город вышел к мосту. Люди смотрели вдаль и ждали. Мутная, пыльная мгла стояла в холодном осеннем воздухе. Плотной колючей стеной несло ее из Черных Песков. Туркменским дождем называли в городе этот слепой песчаный ветер.

Всадники появились из темной пыли, как будто их несло вместе с нею. Сейчас они ехали сплошной массой, конь к коню. У людей были злые, оскаленные лица. Они везли шесть трупов.

Мертвых положили возле чайханы, прямо на дощатый настил. Широкими красными полосами были иссечены их халаты. У старшего брата Сахатдурды чернело разорванное горло...

Они догнали беглецов к вечеру, на выходе из ущелья. Текинец повернул к ним коня. В страшном клубке сбились на горной тропе всадники. Когда они разъехались, двое остались на камнях. Снова бросились они к текинцу, и опять один остался лежать, разрубленный пополам.

Лишь в третий раз сумели они избежать его руки. Старший брат Сахатдурды набросил на текинца тонкий ременный аркан. Все, кто был там, навалились на него. А он, опутанный, бился на земле, подминая их своим могучим телом.

И вдруг ослабел тонкий ремень. Поднялись на дыбы испуганные кони. Та, о которой совсем забыли, молча бросилась к державшему аркан. Это был брат ее отца. Он свалился уже на землю, она все била его маленьким широким ножом.

Но в этот миг с звериным гиканьем налетели на них гуламы Сеид-хана...

Черный соленый песок мчался над землей. Их привезли к месту, где сходились дороги. Его отвязали от спины лошади, и он упал в пыль. Толстыми шерстяными канатами было опутано сильное тело текинца. Он молчал и смотрел наверх.

Потом раскатали плотную серую кошму и выбросили оттуда

ее. Девушка сразу забилась, пытаясь разорвать, перегрызть веревку. Она каталась в пыли, и кровь текла из растертых веревками ран. Но когда их привязали спина к спине, она сразу успокоилась.

Сангсар-даш, Камень Проклятия, древний закон пустыни, осуждал их на это. Раз ею, обрученной, овладел другой, земля и небо отвернутся от них обоих. А людям остается одно: связать виновных и бросить на большую дорогу. И каждый, кто пройдет по ней, обязан во имя справедливости Черных Песков поднять самый большой камень и швырнуть в них. Так и умрут они, засыпанные камнями. И проклята будет самая память о них.

Но ведь эти двое были связаны словом Бога. Не сильнее ли оно старых людских законов? Кому, как не роду Ходжамурад, знать это!

Сотни людей стояли в напряженном ожидании. Подъезжали и слезали с коней все новые люди из окрестных аулов. Толпа молчала. Только оборванный сумасшедший Мамед проклинал текинца. Он кричал, что всех этих теке и йомудов надо вырезать до одного, и нечеловеческие глаза его не могли на чем-нибудь остановиться. Люди слышали хриплый вой терьякеша[1] и ждали.

Но вот толпа заволновалась. Через мост от города рысью шли всадники. Это был Сеид-хан со своими людьми. Рядом с ним ехал сам святой Ходжамурад-ага. Они подъехали и остановились. Ходжамурад-ага неторопливо слез с лошади и сделал знак Сахатдурды.

Медленно вышел из толпы отец девушки, поднял круглый гладкий камень, размахнулся и бросил. Дочь смотрела прямо на него. Камень ударился в маленькую девичью грудь. Сахатдурды, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад и опустил руки... Ходжамурад-ага сдвинул брови, и уже несколько камней с разных сторон полетело в связанных. Сумасшедший Мамед подскакивал и радостно смеялся при каждом удачном ударе. Большинство камней не попадало в лежащих.

Вдруг те, что уже размахнулись, застыли с камнями в отведенных руках. Толпа раздвинулась. Прямо напротив связанных стоял Фраги. На нем был все тот же зеленый халат и белая чалма на голове.

Люди пятились от него... Как он посмел прийти сюда?! Или этот неудачный мулла надеется, что белая чалма защитит его голову?

Но Фраги не надеялся ни на что. Он должен был прийти сюда с безруким мальчиком и видеть все от начала до конца.

---

[1] Терьякеш — человек, употребляющий терьяк,— грубый наркотик, примешиваемый в табак.

Что для них слово Бога! И что это за слово, которое так послушно воле этих людей!.. Все они смотрели на него: надменный Сеид-хан, тупой Какабай, слюнявый Хошгельды-хан, огромный Ходжамурад-ага. И со всех сторон глядели на него люди. Разные были у них глаза: злые и добрые, тупые и умные, мутные и честные. Прямо перед ним, как две черные звезды, блестели огромные девичьи глаза.

Только ровный гул холодного ветра стоял в воздухе. Чего они ждали от него? Чтобы он начал кричать, просить их, заклинать именем Бога? Он знал, что все это бесполезно. Что им любые законы! Они не признали связанного им брака. Так они захотели. И мысли не должно появиться у людей, что можно безнаказанно нарушить их закон. И Бог, их Бог, всегда будет на их стороне. Ну, а его Бог, добрый, человеческий?

Сам святой Ходжамурад-ага наклонился и поднял большой камень. Тяжело ступая, подошел он почти вплотную к ним и с силой ударил камнем в лицо текинца. Тот даже не посмотрел на святого. А Ходжамурад-ага зашел с другой стороны, снова взял большой камень и бросил его в лицо девушки. Дикий вопль пронесся над толпой. Десятки, сотни камней полетели в связанных. Текинец бешено заметался, головой и ногами загребая глубокую дорожную пыль. Своим огромным телом он стремился прикрыть, защитить девушку от этих ударов. Но камни сыпались со всех сторон. Люди сразу озверели при виде крови. Пьяный от терьяка Мамед плясал и кривлялся. Он, кого не пускали на порог самого последнего дома, вдруг получил власть над жизнью и смертью двух людей. И он убивал их, как убивала бы связанного льва грязная, вонючая гиена. Рыча, вырывали друг у друга камни гуламы Сеид-хана.

Спокоен, как всегда, был лишь святой Ходжамурад-ага. Он поднимал камень за камнем и бил теперь одну лишь девушку. Громадный, злой, подлый старик убивал ее за то, что она не захотела его объятий.

Ветер усиливался. Все больше мутной соленой пыли нес он с собой. Фраги стоял и поверх этих беснующихся людей смотрел в грязное небо. Дрожа, прижимался к нему безрукий мальчик.

Связанные уже не двигались. А их все били и били камнями. Глухо ударялись они в неподвижные тела. Серая дорожная пыль слипалась от теплой человеческой крови. Только открытые глаза юноши были еще живыми.

Опрокидывая встречных, влетел в толпу маленький всадник. Это был опоздавший Дурды-хан. Человеческая кровь притягивала его. Раздавая удары камчой, он пробился к связанным и начал дико хлестать неподвижные тела. Тяжелый ременный конец

камчи попал в открытый глаз текинца. Фраги опустил глаза и посмотрел на людей. И вдруг увидел, что все они смотрят на него. Прищурившись, смотрел на него Сеид-хан, гаденько улыбались глаза Хошгельды-хана, непримиримым был взгляд Ходжамурад-ага. Даже Дурды-хан, избивая мертвых, глядел на него. Но самой лютой, открытой, всепоглощающей ненавистью горели глаза Мухамеда Порсы! Да, ведь он был неглупым человеком, этот Мухамед. И никто лучше его не мог чувствовать сейчас свое ничтожество...

Но вот ускакал Сеид-хан со своими людьми. Толпа быстро начала расходиться. Те, что бросали камни, как будто очнулись от пьяного сна. Теперь они не смотрели друг на друга и не знали, куда деть руки. Люди искали своих коней, спеша поскорее покинуть место убийства.

Скоро лишь четверо гуламов, присланных Сеид-ханом, остались на дороге. Они развели огонь и поставили на него чугунный кумган для чая. Один из них пнул ногой сумасшедшего Мамеда, который мешал им своими криками, и тот, жалобно воя, побежал к городу.

Заслонившись от ветра черными бурками, грелись у огня бородатые гуламы. Время от времени они поглядывали на поэта. А Фраги по-прежнему стоял, прижав к себе мальчика. Оба они не спускали глаз с высокой груды камней на дороге... Он так верил в спокойные молодые глаза юного батыра, что не мог поверить в смерть. Мысли гудели в голове, как этот холодный, свирепый ветер. Но ни разу не обратились они к небу.

Время от времени на дороге показывалась одинокая арба или всадник. Проезжий останавливал лошадей, искал камень и бросал его в кучу. С твердым стуком ударялся камень о камень.

Три раза еще в течение этого дня гуламы расстилали в пыли молитвенные коврики. Повернувшись лицом к Мекке, они стояли неподвижно, потом падали на колени и, выбросив вперед руки, прижимались лицом к земле. Фраги молча смотрел на них.

Холодная ночь накрыла землю. Ветер стал еще сильнее. Мальчик дрожал от холода, прикрывшись полой халата. Фраги еле стоял на ногах. Но они не уходили.

Когда потухли последние далекие костры в городе, старший из гуламов плюнул на груду камней. Все четверо сели на коней и уехали.

Затих грохот копыт по деревянному мосту, и они подошли к каменной груде. Камень за камнем начал Фраги сбрасывать с огромной кучи. Сначала медленно, потом все быстрее и бы-

стрее. Мальчик, как мог, помогал ему обрубками рук. Неверный, мятущийся свет догоравшего костра заставлял прыгать их тени: большую и маленькую...

Руки их стали липкими. Но вот рука Фраги почувствовала тепло! Большое, мощное плечо текинца было еще теплым. С невероятной силой дернул его к себе Фраги, и последние камни посыпались на дорогу. Он перерезал веревки, но холодное тело девушки нельзя было оторвать от живого. Рукояткой ножа пришлось разжимать ему пальцы текинца...

Немного прошло времени, пока догорели последние угли. Ночь стала еще глуше. Смазанные колеса не скрипели. Холодная луна то показывалась желтым пятном сквозь несущийся песок, то совсем исчезала, Когда Фраги поднимал на арбу текинца, он увидел в трех шагах человека. Лунное пятно посветлело, и он узнал своего соседа Сахатдурды. Но Фраги поднял на арбу и тело девушки.

Фраги взял лошадь под уздцы и повел прочь от города. Сидящий на арбе мальчик все время оглядывался. Не догоняя и не отставая, шел за ними человек.

Долго ехали они так. Потом Фраги остановил лошадь и лопатой начал рыть землю. Он посадил в яму мертвую девушку, засыпал и воткнул в холм палку с белой тряпкой. Они поехали дальше, но человек уже не шел за ними. Он остался у холма.

Когда они поднимались в гору, мальчик тронул за плечо Фраги и показал назад. Там рвался и качался на ветру яркий огонь. И хотя было очень далеко, Фраги узнал свой дом...

Долго стоял и смотрел он на дальний пожар. Потом снова тронул коня и, не оглядываясь, пошел вперед.

Эпилог

Кончилась холодная зима. Старики не помнили столько ветра и снега. Бешено крутил мокрым песком новруз, день, когда тепло приходит на смену холоду. Зато никогда еще не было в Черных Песках такой зеленой травы, таких красных маков, такого синего неба...

И этой буйной весной по кровавому морю маков ехали от аула к аулу три всадника. Быстрая молва летела по пустыне. Когда они приезжали, люди уже ждали их. Один из них играл на дутаре, а безрукий мальчик пел. И столько боли, гнева и человеческой ярости было в его песнях, что сердца людей уже не могли биться спокойно. А пока они пели, третий — молчаливый одноглазый батыр со шрамами — только переглядывался с молодыми джигитами. И такой был у него взгляд, что после их отъезда мужчины, не сговариваясь, проверяли оружие.

Да, это были они: самый великий поэт, самый лучший певец и самый большой воин, которые когда-нибудь рождались в Черных Песках. Меч объединения везли они с собой. И ножны этого меча были украшены чудесными, как стихи, узорами.

Фраги всей грудью вдыхал чистый, свежий ветер пустыни и уже не чувствовал боли. Он расправлял плечи и открыто улыбался женщинам. А они отвечали ему быстрыми взглядами, ответными улыбками, и яркий румянец вспыхивал на их лицах. Он был мудр безумной мудростью юности, Фраги, самой высокой мудростью на земле!

В груди и в голове его каждый миг рождались новые образы. И слова текли свободно и просто, как эти белые тучи над головой. Именно в эти годы и написал он свои самые прекрасные стихи.

ПАРФЯНСКАЯ БАЛЛАДА

Муж Азад-Сарв ученый в Мерве жил...
О предках славных записи хранил.

Я их прочел и здесь перескажу,
Но зданье слов по-своему сложу.
Фирдоуси.

От женщины, которая прочтет предание о Вис и Рамине, целомудрия не ждите!
Убайд Закони.

Базар смеется над дворцом.
Орбели

НАЧАЛО РАССКАЗА О ВИС И РАМИНЕ

Луне подобен шах был, а вельможи
Казались на созвездия похожи...
Гургани, «Вис и Рамин»

Да,шаханшах Мубад был авторитетный государь. Мужи и витязи, которые съехались к нему с четырех сторон света, были бронзовотелые и слоноподобные, а женщины — скромные и луноликие.

Дело было летом, и Мубад приказал расстелить ковры и кошмы прямо на берегу арыка, текущего через большой царский сад. За день перед этим слуги расчистили широкую площадку и обмазали ее хорошей мервской глиной с саманом, чтоб гостям было гладко сидеть.

Пир начался вечером, когда громадное мервское солнце растворилось в песках, а тонкая мервская пыль начала медленно опускаться на плоские крыши благословенного города. В это время воздух в Мерве пахнет сушеными дынями — бахрман и пушистой шапталой — сдавленными с двух сторон медовыми персиками.

Гости расселись в определенном порядке: мужи и витязи на левой стороне площадки, женщины — на правой, хоть и происходило это задолго до рождения Пророка, определившего женщине ее место. Просто так было удобней и мужчинам, и женщинам. Главное для человека — не чувствовать себя стесненным.

Слуги расстелили на коврах чистое синее полотно, расставили высокие узкогорлые кувшины с пахучим маргианским вином, разрезали на удобные куски тяжелые и звонкие золотые

дыни — бахрман, набросали целые горы хорошо промытого в арыке винограда, персиков, сочного инжира. Кунжутная халва с орехами была заранее расколота, а густая белая мешалда, которую делают из свежих куриных яиц с козьим молоком и пчелиным медом, слегка подогрета и взбита. Жаркими, как солнце, кругами лежали на полотне только что из тамдыра белые лепешки из бронзовой хорасанской пшеницы.

А в стороне уже с утра ждали громадные глиняные миски с молодым мясом, перемешанным с зернами красного гурганского граната и сдобренным пахучей армянской травкой, сладким фарабским луком и жгучим, как уголь, чачским перцем. Тяжелыми камнями было придавлено мясо, и прозрачный багряный сок поднимался до краев, заливая камни. И жаровни уже готовы, и плоские медные котлы уже стояли на камнях, и сухой саксаул был аккуратно сложен под ними.

Было как бывает на таких пирах: мужи с достоинством разговаривали друг с другом о государственных делах, витязи помоложе пересмеивались с луноликими на правой стороне. Все затихли, когда Мубад по присвоенному праву зажег священный огонь. Он недаром собрал больших и малых царей и всех их союзников. Раз в десять лет надо напоминать людям, у кого в руках ключи от рая. Ведь он был Мубад, а это значит на великом и древнем языке пехлеви не просто шаханшах, а уста самого Ормузда.

Кроме того, нужно было решать обычные дела. Систанцы снова угнали у забулистанцев две отары овец и убили пастуха. Большая драка случилась на базаре в Герате, где арийцы подрались с гурцами и дело дошло до ножей. Неспокойно в последний год и на горной дороге Махабада, что ведет в Арташат и страну Шаш[1]. Весной мидяне ограбили там исфаганского купца: забрали восемь верблюдов с черным китайским шелком и самую молодую жену. Пришлось посылать туда вазира Зарда с войском. Шелк мидяне вернули, а жена купца до сих пор у них. Зард говорит, что она сама не хочет вернуться...

Черное каменное масло, которое привозят амульские купцы из-за Каспиды, было подлито в жертвенник, и священный огонь вспыхнул, чуть не опалив крашенную хной бороду Мубада. Он слегка отстранился, обвел твердым взглядом царей и начал свою речь. Раньше всего он сказал о великом Ормузде, вселяющем в душу человека при рождении правду, доброту и рассудительность. Но не дремлет злой Ахриман и его дэвы: с ранних лет стремятся они отравить чистую человеческую натуру ядом об-

[1] Систан, Забулистан, Арейя, Махабад (Мидия), Кухистан и др.— древние или средневековые иранские провинции. Некоторые сохранили свои названия до наших дней. Страна Шаш — Сирия.

мана, ненависти, слепого упрямства. Дело самого человека — отстаивать Ормузда в собственной душе от проникшего туда Ахримана. Благословен и воистину счастлив тот, кто победил себя...

Потом Мубад напомнил о бессмертном Зардуште[1] — человеке из города Рей, который разъяснил людям смысл добра и зла. Как дикие волки и онагры шатались по земле люди от него. Это он запретил кровь и насилие, научил приручать зверей и сеять пшеницу. Скоро, очень скоро наступит время, когда клыкастый полосатый тигр сядет рядом с маленьким беззащитным козленком, и будут мирно есть они из одной миски...

Мубад говорил, закрыв глаза, но все видел из-за полуопущенных ресниц. Мужи слушали привычные слова, глядя перед собой, а какой-то старый царь из Кухистана явно спал. Он сидел ближе всех к шаханшаху, и осторожный храп его врывался в святые слова в самом неподходящем месте. Среди молодых витязей стоял легкий шум. Длинноногий и долговолосый по киммерийской моде Виру из Махабада, укрывшись за спинами, играл с Рамином, младшим братом шаханшаха. Рамин кошачьими движениями выбрасывал кости, невинно посматривая по сторонам. Маленький паршивец здорово играл, обставляя зрелых мужей...

Женщины слушали со скучными лицами, и только махабадская царица Шахру не сводила больших зеленых глаз с Мубада. Мидянка была в том возрасте, когда глаза женщины уже не искрятся и не лукавят. Мудрая, спокойная откровенность в них, и это волнует настоящего мужчину больше, чем исчезающая пена быстрых взглядов и аромат красных глупых щек.

Мубад покосился на князя Карана, которого неизвестно за что выбрала себе в мужья оставшаяся десять лет назад вдовой красавица Шахру. Простоватый великан мидиец сидел, тупо уставившись перед собой. Все знали, что Шахру сохраняет ему верность...

Витязи давно уже ерзали, нетерпеливо поглядывая по сторонам, и даже испытанные мужи начали поворачиваться на своих подушках. Мубад понял, что наступила пора, когда святые слова начинают раздражать людей, и поднял руку...

— Великий учитель дал верное средство против происков Ахримана,— сказал он.— Когда начинает туманиться чистое сознание человека? Когда сгущаются черные силы зла в его душе? Когда кровь приливает к голове и руки тянутся к железу? Тогда это происходит, когда желудок человека пуст, когда кожа его

[1] Зардушт (Зороастр) — по преданию, создатель религии древних народов Средней Азии, Азербайджана и Персии.

шершава от холода, когда слепо жаждет он женщину. Лучший союзник зла — воздержание. Мысли голодного всегда неправильны. Вот почему, прежде чем решать государственные дела, мы должны подавить в себе подлого Ахримана!..

В торжественной тишине взял шаханшах Мубад факел от священного огня и поднес его к сухому дереву под самым большим котлом. Вспыхнуло оно, и сразу зашумели, заговорили гости, придвигая к себе кушины с вином.

Все котлы и жаровни обошел Мубад, зажигая под ними огонь. Веселые костры загорелись со всех сторон, разгоняя наступившую темноту. Мясо доставали из гранатового сока и жарили надетым на железные иглы. Пьянящий запах его быстро пропитал воздух, и все собаки Мерва сразу подобрели. Даже в рабадах[1] замолчали они.

Когда Мубад садился на большой царский ковер, он снова увидел глаза мидянки: влажные, восхищенные, близорукие от откровенной покорности. Мубад выпрямился, развел плечи. Безудержное, как в молодости, веселье подкатилось откуда-то снизу, заполнило грудь, ударило в голову. Он вылил в себя царский рог крепкого и сладкого вина. А когда гости уже целовались друг с другом, Мубад встал, сделал ей знак глазами и пошел в сад. Мидянка опустила ресницы, а через минуту, скользнув спокойным взглядом по Карану, пошла между темнеющими деревьями. Каран, сведя густые брови, беседовал со старым кухистанским царем...

Они ничего не сказали друг другу, просто Мубад взял ее прохладную руку в свою, и они вместе пошли в темноту сада. У самой стены, где срослись карагачи, а из-за кустов инжира нельзя было ничего разглядеть даже пригнувшись, они остановились. Мубад потянул ее за плечи, сразу опустил руку ниже. И она не сопротивлялась. Наоборот, она помогла ему. Со спокойной предусмотрительностью постелила она на траву свою легкую накидку. Она действительно была царицей, Шахру!..

А потом... Потом они сразу вдруг услышали, что поют соловьи. Весь сад был наполнен соловьями. Пахло в саду тяжелыми осенними розами. И не могли перебить этот чудный запах сушеные дыни — бахрман, медовая шаптала и даже прозрачный терпкий дым от мяса, пропитанного гранатовым соком. Розами пахло в ту ночь...

Не одни они были в саду. Трепетные тени жались уже ко всем деревьям, и волнующим шепотом полна была темнота. Ахриману здесь нечего было делать...

---

[1] Рабад — средневековый пригород.

Сначала вернулась она, а потом он... Лишь негодяй Рамин смотрел на них, и веселое понимание было в его быстрых глазах. Мубад хлопнул его слегка по шее и жадно выпил еще один рог холодного вина. Кровь кипела, как много лет назад. Уверенность молодости вернула ему женщина. Радостная щедрость переполняла его. Мубад вдруг вскочил и, легко подтянувшись, гибкими, сильными движениями полез на дерево. Он снова был молодым и безрассудным. Мощно встряхнул он старое дерево, и море тяжелых золотых персиков обвалилось вниз, освобождая усталые ветви. Крупные спелые плоды разбивались о плечи, спины, лица, и благородным душистым соком брызгало вокруг. А Шахру сидела, высоко подняв голову, удовлетворенная обманом и гордая...

Это потом уже, через много лет, она говорила, что ничего такого не было. Просто шаханшах Мубад, восхищенный ее необыкновенной красотой, умом и рассудительностью, предложил ей стать его женой. Он посадил ее на золотой трон и положил к ногам весь мир. Любое ее желание было для него законом. Он плакал и умолял ее, Мубад!

Но она, конечно, отказалась, объяснив, что ей уже не тринадцать. У нее созревшие сыновья, среди которых самый знаменитый — витязь Виру, мощью своей посрамивший слонов. Вот когда ей было тринадцать, тогда она действительно была красивой. Солнце тускнело при ее появлении, а луна стыдливо убегала за тучи. Прямее сребростволього тополя была она. Целый год потом пахло жасмином там, где утром проходила она. Все властелины мира были у ее ног, а лучшие витязи не знали сна. Войны начинались из-за одного ее взгляда. А теперь... теперь прошла весна, и красота ее померкла...

Тогда шаханшах принялся уверять ее, что она и теперь заткнет за пояс любую молодую. И он представить даже не может, какой она была в молодости, если сейчас от ее красоты у него меркнет разум. Счастлива мать, родившая такую дочь и пусть будет счастлив род, имеющий такую пери!

И тут шаханшах взял с нее слово, что если родится когда-нибудь дочь у Шахру, то она отдаст эту дочь замуж за Мубада, чтобы он всегда видел в ее облике черты Шахру. Без этого он жить не может. И Шахру пришлось обещать ему, так как был он безутешен. К тому же не думала она, что в ее возрасте у нее еще родится дочь...

Мы знаем, как все было на самом деле, но так рассказывала потом Шахру. Ведь она была не только царицей, но и женщиной. Во всяком случае, ее слова, пересказанные многими доверчивыми людьми, дошли до наших дней. Все остальное — только подозрения...

Когда были удовлетворены все потребности гостей, быстро решились государственные дела. Еще в самом начале пира арийцы перецеловались с гурцами и поклялись в вечной братской дружбе до конца своих дней. Систанцы твердо обещали взамен угнанных овец отдать забулистанцам табун лучших парфянских лошадей и возместить серебром за случайно подвернувшегося под нож глупого пастуха. Много и других важных вопросов было решено. И только жену не удалось вернуть ограбленному купцу. Шахру, махабадская царица, стала на ее сторону. Плачущего купца решили обеспечить другой молодой и красивой женой за счет шаханшаха, и он тоже успокоился.

Были потом различные игры, скачки, царская охота, после чего гости, умиротворенные и усталые, разъехались на все четыре стороны света. Стоя на самой высокой башне, махал им рукой Мубад, пока не растаяли они в горячих песках. Но чаще махал он в сторону спокойного заката, куда уезжала великая мидянка Шахру. Не молодым глупцом и не старым дураком — счастливым и мудрым был он тогда, шаханшах Мубад!..

РАССКАЗ О РОЖДЕНИИ ВИС

Судьба, плутуя, шла путем превратным,
Нежданное смешав с невероятным.
Гургани, «Вис и Рамин»

Никто не предполагал этого, и прежде всего сама Шахру. Тем не менее через несколько лет после знаменитого шахского пира, когда можно было уже смело сказать, что ей далеко не тринадцать, Шахру родила дочь...

Упоминая об этом, никто из написавших предание о Вис и Рамине не останавливается на подробностях. А писали многие. Достаточно назвать поучительного Тмогвели или не по чину любящего поэзию царя Арчила[1]. Солнечный Руставели не раз вспоминает о Вис и Рамине. И разве не повторяют их на далеких сырых берегах белокурые Тристан и Изольда![2]

[1] Тмогвели — автор грузинского романа в прозе «Висрамиани» (конец XII в.). Царь Арчил II — автор стихотворного перевода на грузинский «Вис и Рамин» (1647—1713).

[2] «Тристан и Изольда» — бретонский рыцарский роман XII в.

Но мы останемся верными доброму, лукавому персу Гургани[1]. Он первый записал эту древнюю историю, которую пересказывали за тысячу лет до него. Простим ему, когда он путает названия стран и городов, обозначая их современными ему именами. Никто ведь не знает, когда жили Вис и Рамин, и правда ли все, что о них рассказывают. Не был он благородным дихканом[2], как великий Фирдоуси. А с базарной площади всегда виднее, что делается там, у царей. Он любит их, своих Вис и Рамина. Наше же дело: во всем следуя Гургани, уточнить некоторые подробности...

Нет, не называет Гургани царицу Шахру старухой, нежданно-негаданно родившей дочь. Он лишь поражается тому, что засохший ствол вдруг снова оделся листвой. А когда, озарив, как солнце ночь, появляется на свет Вис, он деликатно упоминает, что она как две капли воды была похожа на мать.

Так уж было принято тогда у царей, и Шахру сразу же отправила Вис на воспитание мамке-кормилице в Хузан. Известно, что в Хузане самые здоровые кормилицы, и никто лучше их не воспитывает девушек. Если прибавить к этому чистый сельский воздух, то можно понять Шахру.

Хоть и долго рассказывать, какой ослепительной выросла Вис, мы не можем пройти мимо этого... Прежде всего, она никогда не была одинаковой. Если с первого взгляда ее можно было сравнить с весенним цветником, в котором глаза — нарциссы и тюльпаны — щеки, то через минуту Вис превращалась в созревший плодовый сад с готовыми лопнуть гранатами. Легче тростника был ее серебряный стан. Самая богатая царская казна померкла бы рядом с ее рубиновыми губами и дивным перламутром зубов, а губы при этом были сладкие как сахар. И щеки у Вис были не просто красные. Цвета молодого вина пополам с молоком были они. Горным хрусталем сверкали ее руки. А завершали все десять пальцев из слоновой кости, и ногти на них были не ногти, а горсти лесных орешков!..

Мы специально так подробно останавливаемся на перечислении всех достоинств Вис, чтобы одного намека в дальнейшем было достаточно. И тем не менее нам каждый раз придется дополнять эту картину, потому что красота Вис была бесконечной.

Соответственно и воспитывалась Вис. Кормилица в ней души не чаяла. Парча, атлас, соболь, горностай — вот что было

---

[1] Фахриддин Гургани — автор знаменитой сатирической поэмы XI в. «Вис и Рамин», написанной по мотивам древнего парфянского предания.

[2] Дихкан — дворянин, правитель.

одеждой Вис. Ела и пила она, как и подобает, только из золотой посуды. И при всем этом оставалась хорошей, пока... Дело в том, что здесь, здесь в Хузане, у другой мамки воспитывался подросший к тому времени Рамин, младший брат шаханшаха. Мубад отправил его сюда сразу после знаменитого царского пира. И они каждый день видели друг друга — Вис и Рамин.

И вот однажды, когда Рамин подсаживал Вис на дерево за гранатами, зеленая ветка обломилась, и Вис сползла по гладкому стволу прямо в руки Рамина. Он долго, очень долго не разжимал рук, позабыв про гранаты, которые росли на дереве. Незнакомо пахли волосы и белая кожа Вис. Ни одного облачка не было в синем небе Хузана...

Мамка откуда-то позвала Вис, и она пошла, медленно переставляя отяжелевшие почему-то ноги. А Рамин в тот же день уехал в Мерв. Шаханшах Мубад требовал его ко двору, где он должен был служить в войске, чтобы стать настоящим витязем.

С того дня и переменилась Вис. Что с ней произошло, лучше всего видно из сохранившегося письма мамки царице Шахру. Пользуясь своим положением, мамка прямо обвинила Шахру, что она плохая мать. Ей, мамке, не совладать уже с Вис. Девушка полна причуд, все не по ней. Желтое она не хочет надевать, потому что этот вульгарный цвет впору потаскухам, белое — старит, в синем обычно ходят вдовы и уродки, в двухцветном — базарные бабы. Все она сразу стала понимать. То ей нужно не меньше восьмидесяти знатных девушек для услуг, то гонит всех и плачет. Сад созрел и нуждается в садовнике...

Шахру обрадовалась этому письму и немедленно вызвала дочь к себе. Увидев Вис, она тут же решила выдать ее замуж за своего сына Виру. Такие уж нравы были у зороастрийцев, и ничего тут не поделаешь...

Как само Солнце был красив и отважен Виру. А греки, считающие Венеру богиней красоты, не видели Вис. Лишь росписи художников Китая могли соперничать с ней в яркости Понятно, почему Шахру на старости лет захотела оставить в своей семье эти два сокровища. Мудрые астрологи поняли это, и вращенье светил совпало с замыслами царицы. Месяц Азармах, на который указали светила, обозначал начало весны и счастливую жизнь без войн и болезней. Когда наступило нужное число и прошло ровно шесть часов от начала темноты, Шахру соединила руки Вис и Виру. Этого было достаточно. Когда женится брат на сестре, не нужны жрец, печать и свидетели. Благословение Луны и Солнца тогда на них...

В тот ранний час, когда Луна бледнеет при виде Солнца, в махабадском дворце все было готово для свадебного пира. Были расстелены ковры во дворе, приготовлены котлы и жаровни, приглашены музыканты. Ночь уползала, укрываясь в горных ущельях. Светлый радостный день вставал над страной Мах. Как вдруг тень минувшей ночи наплыла со стороны реки. В черную тучу превратилась тень, гром срывающихся в пропасти камней стремительно приближался к Махабаду. И все увидели, что это не туча, а витязь на вороном коне скачет в горах, вздымая черный прах из-под копыт. Как черная гора был всадник, и плащ, сапоги, пояс, головная повязка были на нем тоже черные. Въехав на царский двор, он соскочил с коня, отбросил с лица накидку, и все узнали Зарда...

ПРЕВРАЩЕНИЕ МУБАДА

Как только Зард привез такой ответ,
Лег на лицо Мубада желтый цвет.
Гургани, «Вис и Рамин»

Да, это был могучий Зард — брат, вазир и военачальник шаханшаха. Глаза его были рубиновые от дорожной пыли, и гневные морщины бороздили темное лицо. Ни слова не говоря, он приблизился к Шахру и вручил ей свиток с большой государственной печатью. Царица, как принято, приложила письмо шаханшаха ко лбу, поцеловала печать и вскрыла его. А когда она прочла письмо, вид бедной Шахру стал как у ишака, завязшего в дорожной грязи перед самым въездом в Махабад...

Мы упоминали, что весь разговор Шахру с Мубадом на знаменитом шахском пиру много лет назад записан со слов самой Шахру. Но дыма без огня не бывает. Возможно, и пошутил тогда Мубад насчет будущей дочери Шахру, да и она шутя согласилась. Так или иначе, но в письме сейчас шаханшах самым серьезным образом требовал в жены Вис.

«Главное в жизни — это правда,— писал шаханшах Мубад.— И Бог всегда видит ее. Поэтому ты должна быть справедлива и выполнить свое обещание. Дороже всех жемчужин мне твоя дочь, и я хочу видеть ее в Мерве... Я-то не тороплюсь, но что ей делать в Махабаде? Ты же сама знаешь, какие там у вас в горах мужчины. Ни стыда, ни совести! Все развратники — старики и молодые. Ни одну женщину не пропустят!.. А женщины по природе своей мягкосердечны: первый встречный нашепчет ласковое слово, и сразу пускают в постель. Все они такие, даже

самые умные и достойные. На первый взгляд и не подходи, только и разговору — о любимом муже и своей честности. А попробуй сказать, что Луна и Солнце меркнут перед ее красотой,— и готово!.. А не готово, то нужно заплакать и сказать, что днем и ночью умираешь от любви. И только одна она может спасти тебя от смерти, дав ухватиться за свой подол. Самая непорочная не устоит перед такой отравой! И когда подумаю только, что какой-нибудь мерзавец... Нет, я знаю, что Вис хорошо воспитана и чужда порока, но все же лучше будет избавить ее от искушений. Дело уже сделано. Большие деньги розданы нищим в честь будущей свадьбы. Вис будет хорошо со мной, а тебе я дам столько золота, сколько пожелаешь. Что касается Виру, то ему я воздам почет, как сыну. Мой дом — его дом. Пусть берет из него любую жену!..»

Почти слово в слово пересказано здесь письмо Мубада к Шахру... Да, много лет прошло с того знаменитого пира. Совсем старый стал Мубад, а ничего на свете нет хуже старых шаханшахов. Они уже не могут с аппетитом есть, хорошо спать, громко смеяться... многого не могут они. И Ахриман прочно поселяется в их душах, вытесняя последние остатки Ормузда...

Шахру, прочтя письмо, так и не смогла вымолвить ни слова. Зато весь Махабад загудел от негодования. Все вокруг кричали, размахивали руками друг перед другом и подпрыгивали в ярости, хватаясь за кинжалы. Но Зард и бровью не шевелил. Он знал махабадцев...

Тогда подошла к нему сама Вис, царская дочь. Она обошла удивленного Зарда, осмотрела его со всех сторон.

Ты, я вижу, умный человек,— сказала Вис.— Все у вас в Мерве такие, да?

— Я — Зард, вождь и советник шаха, не ведающий страха,— ответил он гордо.— И конь мой — вороной!

— Ай молодец! — похвалила его Вис.— А не можешь ты мне сказать, что любезней молодой красивой девушке: упругий стройный кипарис или бесплодный дряхлый ствол?

Зард только хлопал глазами.

— Так садись на своего вороного коня, поезжай в свой Мерв и спроси это у того старого дурака, который тебя послал... Только пустись как стрела из лука, да! А то приедет с охоты мой дорогой муж Виру, и у нас двойной праздник будет: свадьба и похороны одного невежды!..

Зарду ничего не оставалось делать. Снова загрохотали камни в горах, поднялась пыль, и, когда она постепенно рассеялась, шаханшахский посол был уже далеко за пределами страны

Мах. А толпа царских гостей и родственников (в Махабаде все — родственники) уже рассаживалась по коврам, громко восхваляя необыкновенный ум и рассудительность Вис...

Нет, не желтым стало лицо шаханшаха Мубада, когда выслушал он своего брата и посла Зарда. Оно стало зеленым. Сначала закипел он, как струя неперебродившего вина в тазу, а потом зашипел, как парфянская кобра. И сразу слева и справа послышался скрип. Это скрежетали зубами от гнева шахские придворные...

Давно прошло время мудрых примирительных пиров в шахском саду, когда окружали Мубада веселые незлопамятные люди. Теперь он ел наедине, подозрительно принюхиваясь к пище. Вина и мяса Мубад и не видел. Один отварной рис без соли позволяли ему врачи. Спал он тоже плохо, а об остальном и говорить не приходится. Где уж тут было ждать от него доброты и государственного благоразумия!

Зато он нашел в другом удовлетворение и тут уже не знал воздержания. Слишком много злобы накопилось в нем от отварного риса. На золотом троне теперь сидел Мубад, и, чтобы зайти к нему, нужно было ползти на животе от самых ворот дворца. Одежду он тоже носил только золотую, и все окружающие были в золоте. А когда очень уж противным становился ему отварной рис без соли, он приказывал отрубить голову какому-нибудь врачу, и голый рис казался ему тогда душистым пловом...

Между тем скрежет вокруг шахского трона усиливался. И Мубад дал знак говорить.

— Шахру осмелилась нарушить слово, жену владыки выдать за другого! — начали слева.

— Звезду, что светит шахскому двору,— твою жену как мог отнять Виру! — подхватили справа.

— Не только брату не дадим сестру, но отберем и царство у Шахру! — угрожающе подсказали слева.

— На землю Мах, всесилен и жесток, из тучи грянет гибели поток! — перебили справа.

— Едва в ту землю вступит наша рать, начнем страну громить и разорять! — дрожа от преданности шаханшаху, взвизгнули слева.

— Повсюду будет литься кровь расплаты, все люди будут ужасом объяты! — рычали справа.

Так началась эта война. Мубад, может быть, и собрал бы

остатки своего благоразумия, но шаханшахов всегда окружают люди, стремящиеся доказать, что болеют за его дела больше самого шаханшаха. И поди разберись, кого теперь винить за это — шаханшаха или его окружение...

ВОЙНА

Мир заболел куриной слепотой,
Источник солнца был в пыли густой...

Велел, чтобы вышли с войском боевым
Табаристан, Гурхан и Кухистан,
Хорезм, и Хорасан, и Дехистан,
Синд, Хиндустан, Китай, Тибет, Туран,
И Согд, и земли сопредельных стран.
Гургани, «Вис и Рамин»

До нас не дошло, таким образом, войска каких еще сопредельных государств участвовали в походе шаханшаха Мубада на Махабад. Не сохранилось и подробностей похода: могли ли солдаты менять пропотевшее белье во время марша через пустыню, завелись ли у них нехорошие насекомые... и многое другое. Авторы того времени не акцентировали внимания читателя на трудностях войны. Известно только, что Мубад не застал врасплох махабадцев. Узнав о его замыслах, Виру выставил объединенные силы Истарха, Хузистана, Исфагана, Азербайгана, Рея и Гиляна.

Как две горных цепи встали войска друг против друга на отведенной для войны равнине. Удивление вызывало, как может земля вынести на себе столько людей и железа! В должном тактическом порядке построили свои армии Мубад и Виру: середина каждой была как булатный кинжал, а крылья напоминали рычащих львов.

И только первый луч Солнца ослепил темную землю, мир вздрогнул и отпрянул в ужасе. Это взревели боевые трубы! Все, что было живого на земле, попадало от их рева. Сама Природа пустилась бежать из этих мест. А трубам уже вторили грозные барабаны, вопили изумленные горны, плакали литавры, и жалобно стонал сантур [1].

Но все было ничего, пока с обеих сторон не приказано было поднять над войсками овеянные славой знамена со львами, орлами, симургами, павлинами и другими благородными живот-

---

[1] Сантур — струнный музыкальный инструмент.

ными. И тогда закричали в ярости воины, затрубили боевые слоны, зарыкали львы, заревели верблюды, заржали лошади и мулы. А опытные полководцы все еще не давали знака к битве. Они ждали, пока достаточно покраснеют глаза у солдат. По их приказу шум был усилен. И только когда глаза героев засверкали, как дорогие рубины на перстнях красавиц, Мубад и Виру махнули платками. Вздрогнула и пошатнулась земля, а пыль поднялась до самой Луны.

И ничего нельзя было уже разобрать в этой пыли. Она плотно забила рты, глаза и уши воинов. Но это не мешало им. Они выпускали стрелы, тыкали копьями, рубили саблями и делали многое другое. Первыми они убивали родных и соседей, которые стояли рядом, впереди или сзади. А потом уже бегали в пыли, находя друг друга по голосу. Точно страсть входило в грудь копье. Как портные иглой, трудились люди, прошивая им друг друга. Меч спешил добраться до мозгов быстрее мысли. И метались между людьми, не зная, куда убежать, трусливые львы и слоны.

Это была настоящая война! Жаль только, что из-за пыли не удалось увидеть всех совершенных в этот день благородных подвигов...

Но вот все постепенно стало затихать, пыль медленно опустилась, и полководцы увидели, что день был хороший. Ни одного лентяя не оказалось в их войсках. Земля на равнине была как виноград в давильне. Уцелевшие воины, затыкая пальцами раны, собрались возле своих полководцев, и армии двинулись каждая в свою сторону.

Когда все хорошо отдохнули и отпраздновали победу, Мубад и Виру снова повели своих витязей на войну. Но перед решающим сражением шаханшах Мубад узнал радостную новость. Хоть и женился Виру на Вис, но мужем так и не успел стать. Справедливая Луна помешала их замыслам, а жена зороастрийца, как известно, должна в этот период удалиться от супруга на целую неделю. Выяснив, что ничего не потеряно, шаханшах Мубад решил в таком деле посоветоваться со своими братьями: Зардом и Рамином.

Может быть, и оставалось в памяти Рамина воспоминание о синем небе Хузана, откуда как-то сползла по гранатовому стволу прямо в руки ему теплая большеглазая девочка с недетской грудью. Или вспомнил, как уходила она тогда от него на зов кормилицы?..

— Кто знает, что такое любовь! — задумчиво сказал он.— Ее нельзя завоевать или купить, как человека. При этом вспомни свои годы, шах и брат. Осень и весна — каждая имеет свои цветы. Ледяной коркой станешь ты для нее, и как первая весенняя трава будет рваться она к теплу из-под тебя. Бесполезным будет твой запоздалый плач, потому что нет лекарства от таких болезней...

— Ай, какая там любовь! — махнул рукой Зард.— Где видел ее? Какого она цвета?.. Не об этом речь. Совет мой настоящий, не ребячий. С одной стороны — пригрози гневом и окружи Махабад войсками, с другой — пошли Шахру хорошие подарки. Страх и золото — между ними качается мир!

Шаханшахи иногда принимают советы. И в этот же день неисчислимые войска мервского владыки со всех сторон окружили славный Махабад. К главным воротам города подошел караван, начало которого уже входило в Махабад, а конец еще не вышел из Мерва. Сто верблюдов с пышными шатрами, пятьсот верблюдов с жемчугом, пятьсот верблюдов с алмазами и рубинами, кроме того — еще двадцать тюков румийского жемчуга, отдельно сто ларцев с жемчугом, триста золотых венцов, семьсот хрустальных и золотых чаш, сто боевых коней, сто вьючных мулов и триста таких томных и красивых девушек, что, казалось, жемчуг катится из их уст,— вот лишь немногое из того, что посылал в подарок царице Шахру шаханшах Мубад. Вместе со всем этим добром он тайно передал ей и одно маленькое письмо...

И Шахру... Шахру не выдержала, увидев все это богатство. Она ведь не была уже той Шахру. Она тоже все забыла... Голова закружилась у нее от жемчуга. Ничего больше не могла она уже любить. А уговорить себя, что ей очень жалко тех молодых витязей, которые должны пасть завтра в битве, ей было нетрудно. Шахру велела позвать дочь и села писать тайный ответ шаханшаху...

Когда Виру узнал, что похищена его любимая жена Вис, у него из клеток мозга улетели все мысли. Скоро он пришел в себя, но было уже поздно. Шаханшах Мубад вместе со всем своим войском что есть духу скакал к Мерву, унося драгоценный рубин из чужого ларца...

РАМИН ВЛЮБЛЯЕТСЯ В ВИС

Шумит в его душе любви базар!..
Гургани, «Вис и Рамин»

Случилось это по дороге в Мерв. Рамин скакал рядом с верблюдом, на котором в золотом паланкине везли Вис. Беззаботно поглядывал он по сторонам, совсем забыв о маленькой девочке из Хузана, как вдруг легкий ветерок подергал и отбросил на мгновение парчовую занавеску...

Да, это была она! Но совсем не похожая на голоногую девочку, рвавшую гранаты. Все у нее было другое: матово-белое лицо, мягкий поворот плеч, открытая шея. И глаза... Совсем другие, непонятные глаза!.. Это уже потом он все пытался вспомнить. А тогда Рамин упал почему-то с коня и лежал без движений. Вся армия всполошилась и окружила его, не зная, что делать. Кто-то сказал, что брат шаханшаха заболел падучей.

Постепенно все же кровь начала возвращаться к лицу, с губ сошла синева, он кое-как вскарабкался в седло. Но теперь Рамин уже не ехал рядом с паланкином, а, испуганно поглядывая на него, плелся где-то сзади. Он и желал, и смертельно боялся, что снова налетит ветерок и качнет занавеску... Как полны тревог мы, как хлопочем, когда заболеет человек паршивой лихорадкой. И смеемся обычно, когда трясет его от настоящей любви!..

На нетронутый райский сад во времена первого человека был похож Мерв, встречающий победителей. Все крыши города почернели от народа. Играла музыка, пели и плясали молодые колдуньи из храмов Солнца. Для утехи народа знать щедро разбрасывала по улицам жемчуга, а чернь — яблоки, орехи и пряники.

Как щеки самой Вис, пламенели при въезде туда розы. Но не этой Вис, которую привезли в золотом паланкине с парчовой занавеской. Щеки у нее были от горя желтые как шафран, и дрожала она, как ветка на ветру...

И ничего не помогало, когда хотели развеселить ее. Не ела и не пила она. Тонким, как иглы хвои, стало ее тело. Только посмотрит на Мубада, как начинает громко кричать и рвать на себе волосы. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не мамка-кормилица. Та самая, из Хузана...

Мы уже знаем, чьего молока больше пошло на Вис. И как только узнала мамка о ее положении, так сейчас же приказала оседлать тридцать быстроходных верблюдов. Нагрузив их хорошим хузанским провиантом, она, ни часу не мешкая, отправилась

в Мерв и через семь дней была на месте. А увидев, в каком состоянии Вис, она тут же села на пол с ней рядом и, раздирая одежды, так заплакала, что весь Мерв притих.

— О поникший тюльпан! — плакала мамка.— Гиацинт в золе! Похитили тебя в глухую ночь,— украли у меня покой и дочь! Ты без родных осталась ночью темной,— без дочери я сделалась бездомной!..

И так горько причитала она, что Вис, совсем расстроившись, начала царапать себе лицо ногтями. Поплакав как следует, мамка вытерла слезы и придвинулась к Вис.

— Зачем царапаешь такое красивое лицо? — сказала она.— Чем же любоваться будут тогда витязи всего мира? Луной? Так она на печеное яблоко похожа рядом с тобой! И высуши глаза, а то веки отсыреют и станут красными, как у зайца... Что же, Виру, конечно, молод и красив. Но разве победишь судьбу! Да и не так уж она неблагодарна к тебе. Ты умна, красива, жена царя царей! А с Виру кем была бы? Паршивой махабадской царицей. Что толку в его длинных волосах, за которыми он лучше смотрит, чем за женой!.. Теперь зато ты — шахиня. Как говорится, серебряного яблочка лишилась — апельсин из золота нашла. Бог закрыл одну дверь — распахнул другую, задул свечу — зажег звезду... А счастья захочешь, так здесь его — полный дворец. Только выбирай, и каждый за пояс заткнет тысячу Виру. Стоит лишь услышать тебе их мольбы!..

Говоря так, мамка расчесывала Вис, клала холодные примочки на глаза, сурьмила ей брови. Попутно она испекла душистые пироги с красной хузанской тыквой, которую привезла с собой, потому что ее очень любила Вис. А когда кончила она разговор, у Вис уже порозовели щеки. Такая была она в шахском платье, что Солнце просило одолжить у нее немножко света. Но мамка видела, что Вис все думает о чем-то, и прямо спросила об этом.

— Ветка радости обломилась в моем сердце,— тихо сказала Вис.— И у судьбы нет запасных дверей. Об одном тебя прошу: сделай так, чтобы хоть один год не звал меня на свое ложе этот шаханшах, позвать бы ему лучше туда свою смерть. Пусть потеряет мужскую силу на это время. Зарежу себя, если приблизится он ко мне сейчас, да!..

Махабадцы всегда прибавляют к своим словам это певучее «да!», когда волнуются. И так сверкнули большие глаза Вис, что мамка не стала спорить. Поругав ее для приличия, она принялась за дело.

В Хузане ведь все — колдуньи. И мамка была не последняя среди них. Она быстренько разогрела кусочек бронзы и изваяла из него голую фигурку шаханшаха. Пошептав нужные слова, мамка надломила его мужскую силу. В темную глухую ночь отнесла она этот талисман к реке и зарыла в прибрежном холодном иле. «Пока будет лежать это в холоде,— объяснила она Вис,— шаханшах не запылает страстью. Холод — самое полезное в таком деле!..»

Мамка предпредила Вис, что это только на один месяц, а потом она достанет талисман и расколдует шаханшаха. Но бедная Вис и этому обрадовалась, дав слово, что будет веселой и любезной...

Так и случилось, что, когда вышла Вис к шаханшаху, погасив Луну и наполнив солнечный день сумраком своих кудрей, тот лишь мог смотреть на нее, как нищий на чужую золотую монету. Словно голодный лев на цепи, видящий перед собой сочную дичь, метался шаханшах. Но цепи такого страшного колдовства никому не расковать.

Это бы еще ничего. Но в ту самую ночь, когда закопала мамка шахский талисман в прибрежном иле, река вышла из берегов. То ли пошли сильные дожди, то ли снег начал быстрее таять в горах, но Мургаб вздулся, разлился по равнине, ломая дамбы, затопляя города и селения. Половина Мерва была смыта в одно мгновение. А уж куда вместе с илом был унесен жалкий маленький талисман, никому не известно. Так что положению шаханшаха можно было не завидовать!..

Мы склонны думать, что в беде шаханшаха было виновато не одно хузанское колдовство. Немалую роль сыграл отварной рис без соли. И нам кажется, что мамка учитывала это...

ВИС ВЛЮБЛЯЕТСЯ В РАМИНА

Я видела, что он со мной лежал,
В своей руке он грудь мою держал.

То страсть горит в глазах огнем безумья,
То в голову приходят ей раздумья.

Гургани, «Вис и Рамин»

Рамин давно уже не был мальчиком. Придя в себя от потрясения, он немедленно начал искать пути к излечению своего недуга. А на пути этом стояла мамка из Хузана, которая одна имела влияние на Вис, ела и спала с ней. И Рамин обратился к мамке.

За всю свою жизнь не слышал он столько проклятий, сколько высыпалось сразу ему на голову. Как только не называла она его: бесстыдником, вором, дураком, головорезом! В наши дни и произносить стыдно такие слова, какие говорила она ему. А потом выгнала вон и сказала, чтобы тени его больше не появлялось на камнях перед их домом. Но Рамин все ходил и ходил. И вот как-то...

Кто-нибудь может подумать, что если мамка, то обязательно — старуха. Ничего подобного: это была здоровая полнокровная хузанка с хорошими деревенскими ногами и будто молоком налитыми полными плечами. Однажды, уговаривая ее, Рамин задержал свой задумчивый взгляд на этих плечах. А Рамин носил уже тонкие черные усики над верхней губой. Как молодой гилянский дуб был он — узкий в талии, широкий в плечах, с мужественным румянцем на смуглом лице. Черные как ночь брови были у него и горячие голубые глаза. Но самое главное — усики! И когда положил он свои красивые сильные руки на эти теплые белые плечи, она... она уже не могла ему ни в чем отказать... Ох уж эти зороастрийцы!

А потом мамка пришла к Вис с разговором. Был этот хитрый разговор как ожерелье, рассыпавшееся по сердцу: что слышно от матери, пишет ли брат, почему скучная сидишь? И Вис рассказала, что снился ей Виру такой, каким никогда его не видела. Молодой, горячий как солнце, сильный. И был он ночью рядом, совсем рядом, обнимал и целовал ее всю!.. И она разрыдалась.

Мамка принялась утешать ее. Она сказала, что так уж мир устроен, в котором все влюбленные страдают, не одна Вис. Вот недавно она видела юношу. Кипарис на восходе солнца! Разъяренный трехлетний барс! Тончайший волос пробивает копьем! А только полюбил — лицо, как солома, пожелтело. Даже страшно становится за него. Дни и ночи тоскует. Землю целует, где проходит та счастливица...

Как ни грустно было Вис, она все же спросила, в кого мог так влюбиться несчастный витязь. Вроде нет таких уж красавиц при этом паршивом дворе. Только после долгих уговоров мамка сказала, что это Вис. Совсем не желая этого, мучит она бедного юношу. Имени витязя мамка так и не назвала.

Три дня Вис все заводила разговор о том, как изменчивы и вероломны мужчины. Хоть и не видела их близко она, но хорошо знает, чего стоят их уверения в любви. Тысячи сетей расставляют, чтобы уловить в них невинную девушку. Мольбами, грустными взглядами, искусной лаской, а чаще всего силой

добиваются они своего. И сразу не узнать их. Ее же и называют блудницей, потому что уступила. С презрением сторонятся они той, на которую вчера еще молились. Холодная зола там, где бушевало пламя... А женщина запуталась уже в цепях желаний. Как на медленном огне горит несчастная, и одно горе у нее от любви. Нет, не понимает она тех женщин, которые хоть на выстрел из лука подпускают к себе мужчин!..

Мамка слушала и молчала, пока Вис не рассердилась.

— Почему совсем не споришь со мной, да?! — спросила она. Но мамка отвечала, что согласна с ней.

Теперь о чем бы ни заходил разговор, Вис обязательно переводила его на мужское непостоянство. А заканчивала тем, что просила назвать того бедного витязя, который имел несчастье полюбить ее. Разве мало вокруг интересных молодых женщин, которые с радостью пошли бы на все? Как не повезло ему, что влюбился в такую порядочную девушку, как она! Нужно сказать ему, что это совершенно бесполезно!..

Много прошло времени, пока мамка согласилась. «Так и быть,— сказала она,— завтра на шахском приеме...»

На следующее утро Вис проснулась раньше мервских разносчиков воды. То она бледнела, как Луна на заре, а то вдруг струя молодого вина ударяла от ее сердца к щекам. Пять раз переодевала она платья в этот день...

Приемы у шаханшаха проходили теперь без угощений. Он терпеть не мог обжор и пьяниц, зато очень любил серьезную музыку. И Рамин в этот вечер пел, аккомпанируя на чанге[1]. Печальна была его песня, и слезы отчаяния стояли в прекрасных голубых глазах. А руки, смуглые, сильные руки, нежно перебирали струны, и благородный чанг плакал и жаловался на судьбу вместе с Рамином!

Не знал он, что Вис совсем близко. Дальними переходами привела ее сюда мамка. Чуть отведя балконный занавес, Вис посмотрела... Голубое небо Хузана качнулось, закружилось, и она начала медленно сползать вниз. Уже не детские, сильные мужские руки подхватили, понесли ее к Солнцу. И одна из этих рук властно и нежно легла ей на сердце...

Очнулась она в своей комнате, куда притащила ее мамка. Сильный жар был у Вис. Она металась по голубым шелковым подушкам и звала, звала... Вечером, когда мамка провела его в сад, Вис протянула свои хрустальные руки к Рамину...

---

[1] Чанг — древний музыкальный инструмент типа арфы.

ШАХАНШАХ УЗНАЕТ ОБ ИЗМЕНЕ

Но Вис от страсти так изнемогла,
Что стала и бесстрашна, и нагла...

Пусть буду заперта я на замок,
Но вор уже похитил все, что мог!
Гургани, «Вис и Рамин»

Три мешка золотых динаров, дорогой красивый ларец, шесть нитей жемчуга, пятнадцать золотых колец с крупными алмазами и два фунта мускуса дал Рамин мамке в благодарность за ее доброту. И еще сказал, что целует землю у нее под ногами и отдает ей свою душу до конца дней. Но мамка не взяла подарков, а лишь оставила себе на память недорогой перстень без рубина. «Ты как... как сын родной мне,— сказал она, всхлипнув,— и твой нежный взгляд для меня дороже золота!..»

Так хорошо распределились звезды на небе в это время, что шаханшах Мубад поехал в Кухистан на охоту. Рамин притворился больным. Он так сильно похудел, и такие большие синие круги были у него под глазами, что шаханшах приказал получше кормить Рамина в его отсутствие...

Что делали, как проводили время Вис и Рамин?.. Дни и ночи мелькали без перехода. Яркое Солнце стояло ночью у них в глазах, и прохладная черная ночь была в яркий день. Вот почему, только в третий раз перечитав письмо, понял Рамин, о чем пишет ему шаханшах. В Кухистан зовет его — стереть ржавчину с сердец веселой охотой. И Вис он требует захватить с собой, чтобы не скучала, бедная, без шаханшаха...

Легок и светел был путь их через пустыню. Они уходили ночами далеко от дымных походных костров и ложились на горячий песок. Звезды сыпались с теплого неба. Ухали песчаные совы, плакали шакалы, барсы мяукали возле самой их головы. Но никто не трогал их, потому что не трогают дикие звери людей в это время...

Когда приехали они в Кухистан, Мубад обрадовался веселому блеску в глазах Вис. Какой шаханшах не уверен, что все чахнет без него и расцветает от одного его присутствия. А Вис действительно стала похожа на хорошо ухоженный цветок. Рамин был худой, но веселый.

Поохотившись как следует в Кухистане, все они поехали в Махабад. Пора было уже мириться с родственниками. Еще когда Мубад тайно увез Вис, мудрые люди посоветовали Виру не связываться. «Умный царя не оскорбит,— сказали они.— Чего добивается петух, бросаясь на лисицу?..» А молодой Виру, хоть

и носил длинные волосы, был человек солидный и рассудительный. Вот почему он вместе с Шахру выехал навстречу шаханшаху с шахиней и поцеловал перед ними землю.

Много было тут радости, родственных объятий и поцелуев. День за днем шли праздничные игры и состязания, в которых всегда побеждали Виру и Рамин. Как-то вдвоем решили они съездить поохотиться в горы Армении. А Вис теперь дня не могла прожить, чтобы не видеть Рамина. И мамка побежала на рассвете разбудить ее.

— Скорей иди на крышу! — шепнула она Вис.— Оттуда все увидишь и сможешь помахать рукой своему Рамину. Только тише, чтобы твой старый лопух не услышал!..

Рев разъяренного слона оглушил вдруг их обоих. Это вскочил раздетый шаханшах, который не спал и все слышал.

— А-а-а! — кричал он, махая руками.— Старая собака, потаскуха, сводня проклятая! Пусть крепкий град упадет на поля Хузана! Страна греха и блуда — Хузан! Одни подлость и разврат царят там, и для злодейства рождены хузанцы! Пусть все молоко выльется у их кормилиц, потому что одна зараза от этого молока! Лучше слепого взять в сторожа, чем хузанку в воспитательницы! Куда, кроме кладбища, приведет ворон-поводырь!..

Так громко кричал шаханшах, что весь дворец сбежался в их спальню.

— Опозорила меня твоя дочь, Шахру! Бесстыдная сестра у тебя, Виру! — плакал в гневе шаханшах, раскачиваясь и дергая себя за усы.— Грязной изменой отплатила мне за мою доброту! Возьми ее, Виру, и пройдись хорошенько по ней утюгом, чтобы образумилась! И заберите скорей их обеих от меня, потому что, боюсь, изувечу подлых без всякой меры!.. Ослепить распутницу! На виселицу — мамку! Не брат мне Рамин! Выгнать за границу негодяя!..

Но тут вдруг Вис в одной нижней рубашке выпрямилась на ложе, ослепив всех своими хрустальными руками. И так бесстыдно посмотрела на шаханшаха, что тот замолчал от удивления. Она и не думала оправдываться.

— Ты прав во всем, что говоришь, могучий шах, да! — сказала Вис.— Тебе с Виру я принадлежу, и в вашей власти меня ослепить, отдать на корм диким зверям или с позором пустить босую по базару. Но ты только человек, хоть и шах. А может ли человек выколоть глаза любви? И что могут поделать с любовью дикие звери? Где ты видел, чтобы любовь испугалась стыда? Я люблю Рамина!..

Шаханшах крутил головой, ничего не понимая. Но тут разгневался Виру, схватил за волосы Вис и с криком потащил к Шахру.

— Весь наш род стыдом покрыла, проклятая! — разошелся он.— С самим шаханшахом, царем царей, как разговариваешь! Мужа не уважаешь! И себя, и меня на весь свет позоришь! При всех говоришь, что любишь этого Рамина!.. Да кто он такой, твой Рамин! Гуляка, пьяница, стихи только сочиняет. С евреями дружит, да!!!

Шахру, со своей стороны, набросилась на дочь, справедливо ругая ее за низкое поведение. Вис обвиняла во всем мать и брата, кляла шаханшаха. Такой шум стоял три дня в царском дворце, что невозможно было торговать на знаменитом махабадском базаре напротив...

Постепенно все успокоились, а пребывание шаханшаха в Махабаде закончилось старой конной игрой в мяч. Сам шаханшах Мубад участвовал в ристалище и, по единогласному мнению, играл лучше всех. Рамин и Виру не успевали почему-то к мячу, и шаханшах каждый раз опережал их. Мяч в этот день взлетал от его ударов до самого Сатурна. Даже Вис ласково махнула ему платком с крыши...

ИЗГНАНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИС

Отчаяние Рамином овладело.
Не знал покоя дух и ложа тело...

Не знала сна, ни пищи, ни надежды,
В ней страсть жила, сорвав свои одежды.
Гургани, «Вис и Рамин»

Прекрасен Хорасан! Тому, кто знает пехлеви, ясен смысл. **Хор и асан — Солнечный восход.** И тому, кто не знает, понятно это радостное слово: Хорасан!.. Если в раю синее небо, сладкий воздух, а трава и деревья полны свежей зеленой кровью, то здесь второй рай! А есть ли в первом раю такой матовый виноград, такой крупный белый урюк, такие дыни — бахрман?! И если носят в первом раю прозрачные и легкие, как мечта, шелковые платья, то это из хорасанского шелка. Если и там есть бедняки, которым не по карману натуральный шелк, то они надевают блузки из хорасанского тонковолокнистого хлопка. А уж если бывает в настоящем раю зима и приходится покупать пальто, то воротники на них, несомненно, из хорасанского каракуля. Разница только в цене: самый дорогой, конечно, сур — золотой каракуль, подешевле — серебряный, и для основной массы — обычный черный по полдирхема шкурка...

Неповторим Хорасан. Но есть в нем жемчужина, перед которой весь он со своими полями, садами и тучными пастбищами как сухая безжизненная пустыня. Эта жемчужина — Мерв!

Туда, в Мерв, и возвратился шаханшах Мубад с родней и советниками после поездки в Махабад. Со своей благородной женой Вис поднялся он на крышу большого шахского дворца. И сели они там на золотые стулья, как Сулейман с Балкис[1]. Солнце померкло от ослепительного величия шаханшаха, а Луна и не показывалась, боясь сравнений с Вис.

Весь Хорасан был виден отсюда. Зеленые волны садов заливали со всех сторон Мерв. Словно перегруженные белые корабли, плыли дворцы и библиотеки. Простых домов и видно не было, так глубоко утонули они. И совсем потерялся где-то скромный виновник этого праздника — ласковый Мургаб. Протянув друг другу самые большие ветки с обоих берегов, спрятали его от чужих глаз прижимистые карагачи. А может быть, принеся сюда жизнь с далеких Индийских гор, сам он захотел отдохнуть от горячего Солнца...

— Разве не велик Хорасан! Не лучше ли он, чем твой Махабат? — спросил шаханшах Мубад у Вис. На свое горе спросил!..

Не Хорасаном интересовалась Вис. Даже если бы настоящий рай можно было увидеть с этой крыши, она бы не взглянула в ту сторону. Лишь один раз за всю дорогу увидела она Рамина, и то издали. Он как будто избегал ее...

Совсем маленькими казались отсюда люди. Но большие глаза Вис сразу заметили молодого стройного всадника в мервском переулке, ведущем от базара. Он медленно ехал вдоль арыка, красиво положив руку на бедро и разговаривая с кем-то на теневой стороне. Ветки карагачей поредели, и в горящий уголь превратилось бедное маленькое сердце Вис. Он говорил с женщиной!!!

— Сто таких городов у меня, как Махабад! — не унимался шаханшах.— И мир лежит в прахе у моих ног, как твой Виру!..

Витязь остановился, погорячил коня и перескочил вдруг арык. Он спрыгнул на землю и взял ту, подлую, за руку! Зеленые круги завертелись перед глазами Вис, а когда они пропали, никого уже не было и у арыка...

— Что же ты молчишь? — взорвался шаханшах.— Опять об этом Рамине думаешь?..

Вис посмотрела на него. Так отвратительны вдруг сделались его большие крашеные усы, что она не выдержала. Ей было уже все равно.

— Кого хочу — того люблю, да! — закричала она.— Да!

---

[1] Сулейман и Балкис — библейские царь Соломон и царица Савская.

Да! Да! Из-за него и тебя терплю! Ты для меня как острые шипы на его розе! А он жестокий... он...

— Ах ты, сукина дочь, да! — захрипел шаханшах.— От вавилонских проституток твой род! И мать твоя Шахру тридцать ублюдков родила. Если есть среди них два от мужа, то хорошо!.. Вон видишь три дороги: одна в Гурган, другая в Демавенд, а третья — в Хамадан. По любой из них убирайся к чертовой матери! И пусть самые острые камни подвертываются тебе под ноги, и глаза твои пусть ослепнут от дорожной пыли!..

Вис не ругалась. Она вежливо поблагодарила царя царей и пошла собираться в дорогу. Легко и пусто было у нее на сердце.

— Есть ли на свете кто-нибудь несчастнее меня! — сказала она мамке, вздохнув.— У других женщин добрые, хорошие мужья. И любовники у других не такие!..

С шаханшахом она простилась по-хорошему.

— Одно горе было у тебя со мной! — честно признала Вис.— Найди себе любящую жену. Сто таких, как я, служанок, приставь к этой достойной женщине. Будь счастливым без меня, а без тебя и я буду счастливей...

Весь Мерв плакал, когда она уезжала. Кто знает, почему любили ее...

Что горе всего Мерва по сравнению с рыданиями Рамина, когда узнал он об отъезде Вис! Деревья вяли вокруг, и трава не росла там, где падали его слезы... Он действительно не подходил близко к Вис, чтобы не прогневить шаханшаха. И у такого витязя было, конечно, в Мерве немало хороших знакомых. Не мог же он так, сразу, порвать с ними...

Мир опустел без Вис. Такие же пушистые волосы и большие глаза были у его мервских знакомых. Так же светились их хрустальные руки, тот же был гранатовый сад, те же белые ноги. Может быть, даже лучшие ноги. Но только Вис была нужна Рамину... И уехала она не простившись. Значит, не имеет он для нее значения... И к кому она так торопилась?!

Словно большой майский скорпион заполз в его сердце. Днем и ночью не давал он ему спать, как художник рисуя в памяти все подробности свиданий с Вис. Только теперь не его, а чужие беззастенчивые руки ласкали ее. И Вис отвечала на эти ласки!.. Рамин вскакивал и бегал в отчаянии по комнате. А когда почувствовал он, что ни одной минуты не может больше быть без нее, сел и написал шаханшаху письмо.

«Шесть месяцев болел я, а теперь почти уже здоров,— было

сказано там.— И леопарды мои скучают без добычи. Соколы совсем разучились падать с неба на жирных куропаток.— Мой конь — верный Рахш — еле передвигает ноги. Сердце мое устало биться от безделья, а голова кружится от скуки. Нет счастья в неподвижности. Пусть разрешит мне великий и мудрый царь царей, гроза и услада Вселенной, поохотиться во славу его в Гаргане и Сари, где много пернатой дичи. Оттуда я поеду в Амуль, который славится дикими свиньями. На козлов и онагров я поохочусь в Кухистане, на ланей — в Азербайгане...»

Все поднебесные страны, кроме Махабада, перечислил Рамин, и всех зверей, кроме той серны, для которой готовил стрелу. Но не такой еще дурак был шаханшах, каким он стал потом. Пока не дал ему Рамин честное слово, что, как черную чуму, будет обходить Вис, шаханшах не отпускал его. На дорогу он посоветовал Рамину найти себе хорошую жену в Кухистане. Там, говорят, хоть и не очень красивые, но порядочные и домовитые женщины. Что еще надо молодому человеку, да?.. В Хорасане теперь все прибавляли к своим словам протяжное махабадское «да-а».

Как стрела, пущенная из лука метким стрелком в хорошую погоду, устремился Рамин прямо в Махабад. Всех леопардов и соколов отпустил он по дороге, чтобы не задерживали его. Черной чумы Рамин не боялся...

Ну, а Вис? Что она делала все это время?.. Родня есть родня. Поругав старого дурака за плохое отношение к молодой жене, да еще из такой хорошей семьи, ей выделили самую лучшую комнату в махабадском дворце. Окна ее выходили на Восток...

Совсем не узнать было Вис. Она уже не подводила бровей, не красила ногти, в тугую косу заплетала волосы. Платье носила простое, из махабадского полотна. Светлым стало ее лицо. Каждое утро садилась Вис у окна и смотрела на пылающий Хорасан. Первое, самое чистое Солнце видела она, и сердце ее нагревалось от радости и предчувствий.

И вот как-то не одно, а сразу два Солнца встали на Востоке, и Вис ослепла, задохнулась от счастья. Это был Рамин...

Семь месяцев они видели только друг друга и не устали. Все дело было в шах-туте, царском тутовнике, которым славится Махабад. Кто не знает его целебных свойств! Полные шапки

теплых фиолетовых ягод приносили им дети. Рты, подбородки, руки у Вис и Рамина уже ничем нельзя было отмыть. С утра до вечера и с вечера до утра ели они один шах-тут, и где только не оставалось у них сладких лиловых пятен! Солнцем и горами пахли Вис и Рамин...

Распивая крепкое, как огонь, тутовое вино, не заметили они, что пришла зима. Холодный порывистый ветер дул из Хорасана, горстями бросая в окно к ним то дождь, то мокрый снег. В один из таких дней, когда совсем черно было за окном от снега, страшно заревели невидимые трубы. Рамин едва успел натянуть рубашку и выскочить через заднюю дверь. Шаханшах приехал за Вис...

Очень удивился он, застав жену в простой домашней одежде, не накрашенную и с распущенными волосами. Даже не умыта была она: с испачканным синим ртом и руками. Вис спокойно пригласила сесть озябшего в дороге шаханшаха, приказала хорошо проварить для него рис и вела себя так, будто ничего не было между ними в Мерве. Не знал, что и подумать шаханшах, увидев Вис в такой обстановке. Проклятия, которые накопились в нем за дорогу, выветрились из головы. Так и не сказал он ни одного плохого слова...

Две недели назад получил шаханшах Мубад небольшое письмо без подписи. Какой-то хороший человек сообщал ему, что Рамин живет у Вис в Махабаде. Буквы были неровные, как будто пьяные. Кто мог написать такую клевету?! Когда шаханшах рассказывал об этом, у Виру все время вздрагивала от возмущения левая рука: Она у него дрожала потом всю жизнь. А на старости лет отсохла...

Как бы между прочим спросил шаханшах и о Рамине.

— Разве он в Махабаде?! — удивилась Вис, и глаза ее сделались еще больше.— Ах да, я его как-то осенью в окно видела. Некрасивый такой, усы сбрил.. Совсем мальчишка!

Шаханшах погладил свои пышные усы.

БЕГСТВО ВИС И РАМИНА

Не беспокойся ни о чем, живи
Лишь для любви, лишь для одной любви!
Гургани, «Вис и Рамин»

Только взяв клятву с шаханшаха, что не будет больше приставать с недостойными подозрениями, согласилась Вис поехать с ним обратно в Мерв. Шаханшах помолодел сразу от

радости. Взяли они с собой оказавшегося тут же в Махабаде Рамина...

Но все ту же рисовую кашу без масла продолжал есть шаханшах, и талисман его никак не находился. Поэтому не прошло и недели, как начал он себе в усы, а потом все громче говорить, что только ради проклятого Рамина сидела она так долго в Махабаде. Если бы Вис, как все порядочные женщины, любила мужа, то и половины того времени, которое провела она в Махабаде, хватило бы, чтобы соскучиться. Вис молчала и думала, что ему, наверно, легче бы стало от ее признания.

— Я решил тебя испытать! — сказал ей однажды утром шаханшах.— Все очищающий огонь есть частица самого Солнца. Лишь Ахриману страшен он, а честная и непорочная пройдет сквозь него, не закоптив носа...

Вис подумала сначала, что он шутит. Но когда увидела, что полсотни мулов с утра возят сухие дрова на площадь между дворцом и главным храмом, ей стало не по себе. А шаханшах собрал уже всех жрецов, военачальников и советников. Со всего города бежали люди посмотреть, кого собирается сжечь царь царей.

— Сначала дашь клятву верности, а потом не спеша пойдешь через огонь! — учил шаханшах жену.— Только не торопись. Как прохладный ветерок будет он для тебя, если ты невинна. Это самый удобный случай доказать, что неправду говорят о тебе с Рамином...

Шаханшах сам вынес их храма священный огонь и поджег костер. Камфарою разжигал он его, а чтобы Вис было приятней, подбрасывал сандал, амбру и мускус. Как вулкан разбушевался костер, и словно второй — огненный — небосвод встал над миром. Языки пламени лизали небо. А весь Мерв удивлялся, не понимая, что происходит. Культурные люди давно забыли этот варварский обычай.

— Видишь, что придумал старый болван, да! — сказала Вис Рамину.

— Не такой он болван, как тебе кажется! — ответил Рамин и внимательно посмотрел на шаханшаха. Радостный, возбужденный, как перед свиданием, ходил тот вокруг огня. Клочковатые усы его дымились, в слезливых глазах прыгали два сумасшедших костра. Чуть заметная улыбка кривила его губы.

— Так пусть сам сгорит от злобы царь царей! — сказала Вис.

Под видом того, что ей надо приготовиться, она пошла во дворец. Там у задней стены ее ждала мамка с хорошей шерстяной веревкой. Захватив золото и жемчуг из ларцов, они

перелезли на ту сторону, где стоял Рамин, переодетый женщиной.

Легче найти потерянную в море жемчужину, чем человека в мервских переулках. Одни сонные собаки встречались им по дороге. Все трое быстро дошли туда, где приготовлены были лошади. Когда шаханшах, удивленный долгим отсутствием Вис, пошел искать ее во дворец, они уже были далеко. Если бы шаханшаха не удержали, он сам бросился бы в свой костер...

Почему у таких, как Рамин, кругом бывают друзья?. Другие честно женятся, работают не покладая рук, не пьют и не курят, а люди почему-то обходят их. Вот Виру, например...

Один из самых лучших друзей Рамина жил в Рее. Звали его Бехруз, а все называли Шеру — Счастливым. К нему на десятую ночь постучались Вис и Рамин.

— Тебя ли вижу, дорогой Рамин! — вскричал толстый Бехруз, обнимая и целуя друга.— Сам не знаю, как захватил сегодня на ночь лишний кувшин вина из погреба. Сердце подтолкнуло руку!..

На ковре уже стояли стаканы, лежала различная еда и, словно для Рамина, валялся в стороне чанг. Омыв руки теплой водой, они через каких-нибудь десять минут с аппетитом ели и пили, поднимая стаканы за хорошую дорогу, за благополучный приезд, за хозяина дома, за его торговлю. Как всякий воспитанный человек, Бехруз не спрашивал, что за Луну привез с собой Рамин и почему сам он приехал в юбке и под покрывалом.

— Разве ты не знаешь, почему зовут меня Счастливым? — сказал Бехруз, когда Рамин рассказал ему все.— Потому что живу я для дружбы... Посмотри на людей. Одни блудливо поводят глазами и все время втягивают носом воздух. Это те, кого одолевает мелкая похоть. Возле каждой юбки задерживаются они, не интересуясь, какое лицо под покрывалом. Свое счастье они обычно находят там, где ищут... У других — недоверчивый взгляд и дрожащие руки. Счастье их в деньгах. А умирают они от запора... Но хуже всего тем, кто ищет счастья во власти над людьми. Они дальше всего от него. Посмотри в их угрюмые лица, в холодные неумные глаза. А если бы мог заглянуть в их сердца, то ничего не увидел бы там, кроме мокрой пакли. Нет у них друзей, и умирают они друг от друга... А я счастливый, когда у меня в доме друзья. И ничего больше мне не нужно. В моей маленькой лавке на базаре всегда много народу, потому что люди любят счастливых. В этом маленьком

саду ветки каждый год ломаются от тяжелых плодов, потому что земля радуется людям. И вино мое никогда не киснет, хлеб мой не черствеет, соль не бывает горькой. Все здесь — ваше. И чем вам приятней будет у меня, тем лучше проживу я свои дни!..

Сто дней играл Рамин на чанге для Вис и разговаривал о тайне жизни с Бехрузом. Тихая Луна плыла куда-то над ними. Глухая глиняная стена сада отгораживала их от беспокойного мира. Но на сто первый день опять заревели военные трубы.

— Сам Ахриман, я думаю, закричал, будь он проклят! — заметил Бехруз.— Теперь все коровы у нас перестанут молоко давать. Не любят они шума. Чем громче кричишь, тем хуже доятся...

Это снова был шаханшах Мубад... Через неделю после бегства Вис и Рамина удалился он в пустыню. Рассказывали, что там он плакал и стенал, проклиная себя за жестокое отношение к Вис. Но те, что лучше знали и шаханшаха, ничего не говорили. Он уже не раз удалялся в пустыню, и добром это не кончалось.

Так случилось и на этот раз. Вернувшись из пустыни, шаханшах решил начать новую войну. Все чаще вместо слабеющих мозгов в государственных делах участвовало у него пищеварение. Теперь он объявил поход в Гилян и Азербайган, обвинив их, что они скрывают Вис и Рамина.

Мир от войны спасла тогда старая мать шаханшаха. Она знала, где ее младший сын Рамин, и написала, чтобы он возвращался вместе с Вис. Шаханшах поклялся матери, что простит их и не будет больше злобствовать. Рамин согласился, но предупредил мать, что у него тоже есть голова и руки. Когда-нибудь и он будет шаханшахом, да!..

ВИС И РАМИН СНОВА ВОЗВРАЩАЮТСЯ В МЕРВ

Я пожелтел, как золото, гляди,—
Прижми меня к серебряной груди!..
Гургани, «Вис и Рамин»

Однажды сидели на пиру шаханшах Мубад с Вис. Тут же, конечно, играл на чанге Рамин. Шаханшах мало изменился за это время, зато Вис все больше напоминала молодую Шахру. Ее громадные темные глаза чаще и чаще приобретали спокойный

зеленоватый отлив, таинственные ямочки появились на округлившемся лице, царским стал уверенно очерченный рот. И грудь Вис уже не была острой, мягче и нежнее сделались ее белые плечи. А негромкий голос Вис, как сдержанный горный поток, волновал душу... Шаханшах теперь даже с некоторым испугом смотрел на ее властную красоту. И Рамин иногда не верил себе, что эту гордую женщину обнимал он здесь в саду, и в Махабаде, и у Бехруза за глиняной стеной. И еще в пустыне, когда падали звезды...

Теперь на шахских пирах снова было вино. Так приказала Вис, и шаханшах согласился. А сегодня ему взгрустнулось, и, плюнув на всех врачей, он налил и себе пару рогов вина...

И сразу прояснился ум шаханшаха, обострились слух и зрение. Он увидел, как смотрел Рамин, поднося к губам золотой рог, как вспыхнули и ответили ему глаза Вис. До конца выпила она свое вино... Шаханшах приказал налить себе еще. Уже не считаясь со стариком, коснулся Рамин руки Вис, и она не отняла ее.

— За то, что только мы с тобой знаем! — тихо сказал Рамин.

Она кивнула и опять медленно выпила, полузакрыв глаза.

— Побольше пой, поменьше говори! — заметил шаханшах.

Рамин взял чанг и заиграл так, как никогда еще не играл. Жадную песню любви пел он. Призыв и восхищение были в ней. Медленно поднималась и опускалась стянутая белым шелком грудь Вис, приоткрыты были ее губы. Шаханшах снова приказал налить вина...

Когда они шли к себе, Вис слегка опиралась на шаханшаха. Он мягко усадил ее, сам уложил в изголовье подушки. А она затуманенно смотрела на него и так была сейчас похожа на Шахру, что ему вдруг почудился аромат роз. Далеких роз из его сада.

— Я слышал, о чем говорил тебе Рамин! — сказал шаханшах.— Много знал я женщин. Таких красавиц нет теперь, которые любили меня. На край света ко мне прибегали от своих мужей, яд принимали, со скалы прыгали!..

Шаханшах ходил по комнате, размахивая руками. Вис сидела на постели прямо, опустив ресницы.

— Нет, не было раньше такого бесстыдства! — решил он и покачал головой.— Было, конечно... Но чтобы при муже, на глазах у всех...

— И никакой Рамин мне не нужен,— совсем трезвым голосом сказала Вис.— Никого не хочу, кроме тебя...

И она протянула свои белые руки, закрыла ему рот жадными влажными губами. Любопытство, нетерпение, восхищенная покорность были в ее туманных, золотых от гаснущего светильника глазах. Это была Шахру! И так обняла она его, что... что... Наверно, Солнце пригрело где-то в это время талисман...

Шаханшах сразу уснул, а она отрезвела. Глядя открытыми глазами в темноту, молча лежала Вис. На дворе был ветер, холодным дождем заливало окна. Здесь, на горе, ветер был особенно сильным. И вдруг чуткое ухо Вис уловило какой-то посторонний шум. Словно кто-то тихо ходил по крыше... Осторожно встав, она позвала мамку. У шаханшаха была нехорошая привычка вскакивать среди ночи и внимательно смотреть, на месте ли жена. Поэтому Вис попросила мамку лечь на шахскую постель и прикрыла ее до головы шелковым одеялом. Сама же набросила на голое тело широкую накидку из белых горностаев и пошла наверх.

Дождь с мокрым снегом залепил ей лицо. Рваные синие тучи неслись по черному небу, задевая крышу. На самом краю неподвижно стояла какая-то тень. Вис подошла и увидела Рамина. Он смотрел на нее и ничего не говорил. Она протянула руку к его глазам и увидела, что они мокрые. Это был не дождь... Рамин весь дрожал. Вис сняла с себя накидку и, обернувшись с ним вместе, легла на крыше. Он быстро согрелся. И на всей земле никому не было теплей и лучше, чем им...

Как убитый проспал шаханшах всю ночь. Под утро он проснулся и протянул руку жене. Нежно погладил он ее, но когда дошел до бедра, насторожился. Хузанки эти не какие-то там худосочные хорасанки! Шаханшах быстро взял ее за руку и почувствовал, что она литая как чугун и шершавая. Всю стирку для Вис приходилось делать мамке... так и не выпустив ее руки, страшный крик поднял шаханшах!..

Рамин вскочил и схватился за кинжал. Сейчас он готов был убить брата. Но Вис встала и, сделав знак Рамину, чтобы потише двигался, спокойно пошла вниз. Пройдя в темноте к постели, она села рядом с мамкой.

— Скорей зажигайте огонь! — ревел как тигр шаханшах.— Интересно посмотреть, какую ведьму бросил Ахриман в мои объятия!..

— Не пора ли залить водой рассудка костер твоей злобы! — негромко сказала Вис.

Шаханшах сразу замолчал от удивления и выпустил руку мамки. Когда он спохватился и снова нащупал в темноте руку, это была уже Вис. Мамки и след простыл.

— Что же ты молчала, когда я так нервничал? — спросил шаханшах упавшим голосом.

— Ты так сдавил мне руку, что было не до разговоров,— заплакала Вис.

Дорого обошлось шаханшаху в этот день его ночное поведение...

Может быть, и приплели эту историю к рассказу о Вис и Рамине. У кого теперь узнаешь?

ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА

Еще с войны, царю служить повинна,
Не возвратилась войска половина.

Не распустила поясов другая,
Повинность годовую отбывая...
Гургани, «Вис и Рамин»

Да, все чаще ревели теперь военные трубы над миром. На этот раз шаханшаху угрожал с Запада румийский кайсар[1]. Он обвинял царя царей, что тот хочет войны. Надо было убедить кайсара, что он ошибается. И шаханшах снова велел собирать войско.

Был бы шаханшах помоложе и не одолевали бы его домашние неприятности, он бы нашел способ договориться с кайсаром. Тем, у кого дома все в порядке, нет нужды гордиться... На беду, и у кайсара дома было не все благополучно. А преданные советники имелись у обоих. И такая гордость поднялась вокруг, что даже серых мервских ишаков ставили в пример белым румийским!

Слышались, правда, осторожные голоса, что воевать стало невозможно. В последнее время придумали наливать черное земляное масло в горшки, поджигать и бросать на врага. Это была уже не честная война с помощью львов и слонов, а сплошное убийство... Шептунов быстро переловили, понимая, из чьей реки песок, которым засоряют они чистые души.

Такое войско собрали шаханшах и кайсар, что целый год пришлось его избивать. В язвах от стрел, искусанные и обожженные вернулись солдаты домой. Не успели они сходить в баню, как опять загремели трубы...

---

[1] Румийский кайсар — византийский кесарь.

Чтобы узнать, почему случилось это, придется вспомнить о Вис и Рамине... После пьяной ночи шаханшах чуть не умер от сердечной слабости. Целый месяц его мучила изжога. И уже не отварной рис, а голый отвар прописали ему врачи.

Совсем сошел с ума шаханшах, и почти не осталось врачей в Хорасане. По два часовых с каждой стороны кровати ставил он теперь на ночь, а сам спал с острой саблей в руке. В это время и принесли ему письмо от кайсара, которое царь царей разорвал, плюнул на него и бросил обратно румийскому послу. При этом он посматривал на Вис и крутил усы. Но она ела орехи...

Самая большая в мире крепость Ишкафти Диван[1] была у шаханшаха. На высокой горе стояла она, недалеко от Мерва. Пять ворот надо было пройти, чтобы попасть туда. В этой крепости шаханшах и запер Вис с мамкой, уходя на войну. На десять лет обеспечил он их водой и припасами. Но лично закрыл все ворота, поставил на каждом замке большую государственную печать, а ключи вручил своему старшему брату и вазиру Зарду. Его он оставил с большой армией стеречь крепость.

Когда войско дошло до Гургана, неожиданно заболел Рамин. Пришлось его там оставить. Как только осела пыль за войском, Рамину стало лучше. Он сел на своего Рахша и помчался в обратную сторону от Рума...

Мы видели крепость Ишкафти Диван. Восемьдесят три метра высотой эта искусственная гора сейчас, на которой она стояла. А были на горе еще высокие стены, которые обвалились за две тысячи лет. Так что, если правда, что Рамин забросил туда четырехгранную киммерийскую стрелу со своей меткой, а потом влез по тонкому шелковому канату, сплетенному из ночных рубашек Вис, то он был храбрым витязем. И на войну не пошел, потому что был занят делами поважнее...

Рассказывают еще об одной молодой и красивой колдунье Заринги с, дочери туранского хакана[2]. Она при помощи ворожбы выведала о пребывании Рамина у Вис в Ишкафти Диване и рассказала все возвратившемуся с войны шаханшаху.

Возможно, и была в Мерве какая-то Заринги с, у которой имелись свои счеты с Рамином. Но скорей всего шаханшах сам решил двинуться к Ишкафти Дивану. До него ведь дошли неосторожные слова Рамина, которые он писал матери. А хорасанцы во время войны пекли хлеб из сочной зеленой травы, от которого в их душах было раздолье Ахриману. Иначе чем объяснить, что царь царей не распустил войско, а повел его к

[1] Ишкафти Диван — Волшебная крепость.
[2] Хакан — царь у тюркских племен.

своей же крепости? На такие дела у самых глупых шаханшахов ума хватает...

Так или иначе, но, придя к Ишкафти Дивану, шаханшах даже не посмотрел на приветствовавшего его Зарда. Он лишь пробормотал себе в усы что-то нехорошее, отчего у Зарда стало холодно в животе.

— А где наш дорогой брат Рамин? — спросил как ни в чем не бывало Зард, чтобы охладить гнев царя царей. Так охлаждают неопытные люди холодной водой горячую сковородку с маслом. Если правда все, что рассказывают, то от гнева шаханшаха потухло Солнце и звезды разбежались с неба.

Этим, очевидно, и воспользовался Рамин. В наступившей темноте он быстро спустился вниз, на другую сторону крепости, и убежал в горы. Ему нетрудно было это сделать, потому что Вис за всю войну так и не успела развязать уже известную нам веревку. Эта веревка и погубила ее.

— Что это такое, да?! — спросил шаханшах, показывая на связанные рубашки.

Но Вис не слышала. Сердце вырвал и унес с собой Рамин. Пустое окно видела она и ногтями царапала свое чистое лицо. Красная роса капала на ее грудь и живот, на голые ноги. Боли она не чувствовала.

И шаханшах пнул ногой в голый живот. А когда согнулась и упала на пол Вис, он начал бить ее в лицо и грудь. Но чаще всего он старался попасть в живот. От золотых подковок на сапогах царя царей большие пятна вспухали на теле Вис. Янтарными были эти пятна, а также цвета дорогой яшмы и рубина.

Не отрывая глаз от окна, доползла Вис до тахты с золотыми львиными ножками. Шаханшах сбросил ее оттуда и взялся за плетеный кнут с украшенной драгоценностями рукояткой. Чтобы не закрывала она свое лицо, он связал ей дорогим серебряным поясом руки за спиной. Почему не кричала глупая Вис?..

Зато закричала, заплакала, завыла вдруг мамка, которая пряталась все это время под тахтой. И шаханшах тогда бросил Вис и взялся за мамку. Хорошей железной кочергой прошелся он по ее плотной спине, кулаками подправил оба глаза, но быстро устал от ее крика...

В грязный сырой погреб под крепостью Ишкафти Диван бросил их обеих шаханшах, чтобы не видели они никогда Солнца. Черствый хлеб и неотстоявшуюся воду из арыка приказал давать им. А стражу сменил, потому что лучше волку доверить стадо, чем ослу. Так он сказал Зарду...

ПРОЩЕНИЕ ВИС

Подруги наши и грешны и хрупки,—
Всегда прощай возлюбленной проступки!
Гургани, «Вис и Рамин»

— Теперь воздух здесь очищен от разврата! — сказал шаханшах, войдя в свой мервский дворец.

Он отдохнул, попил рисовый отвар и приказал позвать гостей. Мудрейшие мужи, непобедимые витязи, самые тонкоголосые поэты собрались у него. Словно триста шестьдесят пять Лун сразу засветились придворные красавицы. Самый лучший в мире игрок на чанге был приведен к шаханшаху. Давно уже не было такого пира в Хорасане.

Как четыреста соловьев запел и заиграл знаменитый музыкант, но шаханшах махнул рукой, чтобы тот замолчал. Больной и грустный сидел царь царей. В глазах его была недостойная повелителя тоска, усы совсем повисли. Места не находил себе старик...

Как хорошо было раньше, подумал шаханшах. Здесь вот сидел Рамин, а не этот прилизанный горлодер. Напротив сидела Вис. Рамин красиво пел и шептал ей всякие нехорошие слова, а шаханшах делал вид, что не слышит. Но он внимательно следил за каждым их шагом... Нет, тогда ему не было скучно!..

Шаханшах сделал знак гостям, чтобы они шли домой. Долго ходил он по пустому дворцу, останавливался и вздыхал... Вот из-за этого угла он увидел однажды, как Рамин прижал Вис к белой колонне и полез к ней за пазуху... На тахте у окна он застал их целующимися. Вис объяснила тогда, что у нее закружилась голова и пришлось прилечь. А через другое окно Рамин залез как-то ночью и сказал, что торопится поздравить шаханшаха с победой над врагами...

Царь царей разделся, взял, как всегда, саблю в руки, но бессильно выронил ее. Зачем ему теперь сабля?.. Так и не уснул он в эту ночь. Даже спать ему было неинтересно. А утром, когда приехала извещенная обо всем Шахру и зарыдала, забилась на кирпичном полу, шаханшах заплакал вместе с ней...

Собрались люди, стояли в стороне и смотрели. А они горько плакали, взявшись за руки. О чем они плакали, шаханшах Мубад и царица Шахру?..

Потом привезли Вис и начался пир. Она умылась, причудрила синяки, подвела брови и еще ярче прежнего засияла над миром. Отыскался и Рамин, который прятался на чердаке для голубей. Он взял в руки чанг и сел по правую руку шаханшаха.

Вис села напротив, а шаханшах навострил уши. Все было на месте, хорошо, привычно. Давно уже не чувствовал себя царь царей таким счастливым. А ночью, взяв саблю в руку, он сразу заснул как убитый...

Было у них еще несколько скандалов. Последний случился, когда царь царей снова уехал на небольшую войну по соседству. Старые шаханшахи для того и затевают войны, чтобы увести подальше крепких витязей от своих молодых жен. Молодым витязям война не нужна. У них хороший аппетит, и им хватает любовных кровопролитий. Рамин сбежал, конечно, с первого привала и ночью был уже под окном у Вис.

Но шаханшах все предусмотрел на этот раз. Проходы, двери, окна во дворце были окованы решетками из крепкой хиндустанской стали. Лучших румийских мастеров вызвал шаханшах, чтобы они поставили кругом секретные замки. Собственной рукой закрыл он тяжелые литые ворота и навесил золотые печати.

Но это было еще не все. Ахриман давно уже стал верным другом старого шаханшаха. Он и подсказал, кому оставить ключи от дворца.

— Кто лучше вора постережет лавку! — сказал царь царей мамке-хузанке.— Видно, честные дураки не для государственных дел. Пусть они стихи сочиняют. Испытаю тебя, раз уж не обойтись без воров шаханшаху. А чтобы в голову плохие мысли не забрели, пересчитай пока жемчуг, который я дарю тебе вместе с этим сундуком. Только не сбейся со счета. Когда вернусь, скажешь, сколько его там. Правильно посчитаешь — дам еще столько же!..

Вот почему Рамин не мог достучаться в большие дворцовые ворота. Мамка внимательно считала жемчуг, а его как раз было на всю войну. Сколько ни пел за воротами Рамин, ничего на этот раз не помогло. Так и уснул он в саду под забором, где сросшиеся ветки карагачей закрывают небо, а из-за кустов инжира нельзя ничего разглядеть даже пригнувшись...

Но Вис.. Вис услышала зов Рамина. Как весенняя тигрица метнулась она вниз, к мамке. Но та посмотрела на нее такими пустыми глазами, что Вис отпрянула в страхе. Губы бедной хузанки шептали что-то, дрожащие руки она прятала в большом сундуке.

Вис побежала наверх, заметалась по комнатам. Кругом были глухие решетки, и даже руку нельзя было просунуть между ними. Вис села на пол и заплакала. Горько, как маленькая

девочка, плакала она. Потом вдруг вскочила и начала сдирать с себя платье, туфли, шелковые шаровары. Один жемчуг остался на ней. Она бросилась к окну и начала рваться через решетку...

Как уж это получилось, мы не знаем. Но брызнул, рассыпался под Луной крупный белый жемчуг, а Вис покатилась по крыше. Разрывая влажные ночные ветки карагачей и инжира, упала она в сад прямо на Рамина... Это — единственное место в повести, вызывающее у нас серьезные сомнения. Мы видели, какие в Мерве решетки на окнах... А впрочем, нужно было увидеть Вис в саду. Ободранная в кровь, простоволосая, босая, без единой жемчужинки на теле — что ей были какие-то решетки! Луна потемнела от зависти, увидев, как схватил ее Рамин. Ветер взметнулся над Хорасаном, унося в пустыню счастливый стон Вис...

Этот ветер и разбудил шаханшаха в походной палатке. Накануне светила полная Луна, а сейчас было темно, как в желудке у Ахримана. Шаханшах потрогал рядом походную постель, но Рамина на ней не было. Как тонущий в болоте осел заревел царь царей!..

Под утро вместе со всем войском он был уже в Мерве. Приказав не шуметь, шаханшах открутил золотые печати, снял сапоги и прокрался к мамкиной комнате. Там у него сразу отлегло от сердца. Все войско можно было заводить к ней, и она бы не услышала. Мамка считала жемчуг...

Уже не скрываясь, прошел шаханшах в спальню и стал на пороге. Вис не было. Он побежал обратно к мамке, но ключи были на месте. Не зная, что подумать, старик выругался и пнул ногой сундук с жемчугом. Он забыл, что был без сапог, бедный шаханшах. А сундук был кованый!..

Вся любовь вылетела из головы у Рамина, когда он услышал вой шаханшаха. В один миг перенесся он через стену и пропал в темном переулке. А Вис спокойно закрыла глаза и ждала, пока ее найдут.

Ждать ей пришлось недолго. Восток уже посветлел, а шаханшах помнил тихий уголок сада у самой стены. Без сапог, хромой, бросился он туда...

На мягкой зеленой траве, безмятежно, раскинувшись, спала Вис. Светлые холодные жемчужины были разбросаны вокруг. Прорвавшись через карагачи, ударил первый, самый чистый луч Солнца, и царь царей не посмел разбудить ее!..

Окаменелый, сидел он и смотрел на жену. Порозовели жемчужины в траве, теплее стал воздух. Вис сладко потянулась и открыла свои прекрасные зеленые глаза. Она улыбнулась шаханшаху, обняла его за сухую жилистую шею и поцеловала в крашеные усы.

Удивленно оглянулась Вис, когда шаханшах спросил, как она попала в сад. И он решил, что это дэвы перенесли ее спящую сквозь стену, чтобы испытать царя царей. Еще больше уверился в этом шаханшах, когда увидел Рамина. Во весь опор скакал Рамин ко дворцу на своем верном Рахше. Ехал он с той стороны, где ночевало войско, а к седлу был привязан убитый на охоте джейран...

Так и прошло бы это безнаказанным, если бы не певец Кусан. Они часто, певцы и поэты, подсказывают шаханшахам, где собака зарыта. Из самых добрых побуждений спел Кусан на шаханшахском пиру свою песню. А что получилось?

ПЕСНЯ КУСАНА

Я дерево увидел на вершине.
Взглянув на ствол, забыл я о кручине...

Под ним бежал родник прозрачный, чистый,
И были травы вкруг него душисты...

У родника, где так трава сладка,
Увидел я гилянского бычка...

Пусть вечно это дерево растет!
Да будет сень его — как небосвод!

Пусть вечно льется чистый родничок,
И пусть пасется рядом с ним бычок!

Гургани, «Вис и Рамин»
(Притча Кусана)

Дослушав до конца, шаханшах схватил Рамина за горло. Дело было еще в том, что царь царей снова решил перехитрить свой талисман. Он ведь не знал о кузанском колдовстве и подумал, что вино опять выручит его. Три полных рога, один за другим, опрокинул шаханшах. Но вместо юных соков забродила в нем одна горькая старческая безрассудность.

Пока шаханшах выпил свои три, Рамин успел задрать кверху девять рогов. И он так хватил старшего брата рогом по

носу, что тот упал и закатил глаза... О чем тут рассказывать дальше? Еще и не такое случалось у зороастрийцев!..

Жил в Хорасане звездочет, прозванный за красноречие Бехгуем — Убеждающим. Он не раз поил Рамина проточной водой мудрости. Но Рамин предпочитал устоявшееся вино греха. Теперь же ему ничего не оставалось делать, как послушать мудреца.

— Плетью обуха не перешибешь,— сказал великий звездочет.— Выше лба уши не растут. С сильным не борись!..

— А как же Вис? — уныло спросил Рамин.

— Мало других на свете, да?!

И Рамин сел писать письмо шаханшаху. Ничего, кроме усталости, не было в его сердце. Теперь уже не нужно будет красться ночью в чужой сад, ожидая стрелы в поясницу. И не надо будет все время смотреть в дорогие зеленые глаза. Солнце, ветреные сады, радостные улицы можно будет опять увидеть. Только вчера прошла мимо него одна колдунья с легкими, чуть двигающимися плечами. Она еще оглянулась... Когда Рамин кончил писать, мир для него уже сиял, как после тюрьмы или болезни.

И старый шаханшах вздохнул с облегчением, прочитав письмо. Рамин просил назначить его правителем в какую-нибудь дальнюю страну, где он делами своими смог бы прославить шаханшаха. Только Вис молчала...

Она хорошо приняла пришедшего проститься Рамина. Но когда, оглянувшись, он схватил ее, Вис спокойно освободила руку. О дорожных заботах проговорила она, приветливо кивнула головой на прощанье. Веселые переборы чанга доносились из ее окна, когда спускался Рамин по ступеням дворца...

ЖЕНИТЬБА РАМИНА

Что женская любовь? Пустой обман:
На камне разве вырастет тюльпан?

С хвостом ослиным их любовь сравни:
Не станет больше, сколько ни тяни!

Ослиный этот хвост я долго мерил...
Гургани, «Вис и Рамин»

Так думал Рамин, идя по потускневшему Мерву. Горько и обидно было ему. Она забыла его еще до отъезда...

Шла навстречу та самая колдунья с двигающимися плечами. Грустно посмотрел Рамин, и она закусила край покрывала.

Безучастный ко всему, пошел он домой и лег на тахту. Впервые увидел Рамин, что балки на потолке прогнулись. Слишком много земли клали на мервские крыши, чтобы не прогрело их Солнце...

Потолок темнел, расходились стены. Ослы в рабаде прокричали полночь. Мертвый свет упал на левое плечо — к болезни. Но Рамин не плюнул три раза налево — от острой молодой Луны. Не поблекнет еще она, и выедет он через желтые каменные ворота на пыльную хамаданскую дорогу. Когда подобреет и округлится эта Луна, где будет он?..

Рамин поднял голову. Кто-то тихо назвал его имя... Закутанный в покрывало, неслышно шел он за мамкой. Лунное лезвие кралось за ним между заборами. У Вис были холодные руки...

Нет, не дала ему радости эта ночь. Никогда не мешала ему раньше Луна. Вис молчала... Облегчение почувствовал он, когда выехал из узких ворот Мерва.

Почему Рамин женился на Гуль?.. Как цветущий сад были ее щеки. Тростниковым сахаром пахли губы. А когда она смеялась, звездный свет плеяд отражали ровные белые зубы. В быстрых глазах ее засело по смелому абхазскому лучнику. Золотая рыбка в чистой воде была Гуль!

Но не этим пленился Рамин. Простой тоненький поясок захлестнул его отдохнувшее сердце. Такой милый был поясок, так плотно стягивал гибкую талию, что хотелось взяться за нее сразу двумя руками. Не пошел бы уже Вис такой поясок...

Мы знаем, как ведут себя в Гурабе. Не успел Рамин открыть рот от восхищения, как Гуль подъехала и поцеловала его в губы. И он сразу почувствовал себя с ней легко и просто. Ему не пришлось придумывать всякие сложные слова для разговора. Они сами выскочили изо рта.

— Сколько стоит сахар на твоих губах? — весело спросил Рамин.— Жизнь возьмешь — продешевишь!..

Какая девушка в Гурабе устоит на ногах перед такими словами! К тому же по отъезде из Мерва Рамин снова отпустил красивые усики. Через три дня состоялась свадьба...

Кто не знает, что Гуль значит — Роза! Целый Гулистан достался Рамину. И не нужно было вечно прятаться, клясться в любви, по десять раз в день попадать из огня в прорубь и обратно. За месяц Рамин незаметно поправился. Рахш каждый раз недовольно поводил ушами, когда хозяин взбирался на него.

При Луне особенно пахнут розы. И Рамин каждую ночь считал их в цветнике Гуль.

— Разве это Луна, да?! — сказал он как-то.— Черной сковородкой кажется она мне рядом с твоим лицом. Как персик твои щечки, уста — рубины, полумесяцем бровь. На две половинки нужно разрезать самое сладкое яблочко, чтобы сравнить с твоей грудью. Совсем как Вис ты при этой Луне!

Кто не пожалеет розу под дождем, когда холодный ветер обрывает шелковые лепестки и бросает их в грязь! А что делать, если заплачет сразу целый цветник? Пришлось Рамину встать, зажечь светильник и писать письмо Вис. Розотелая Гуль стояла рядом и всхлипывала, когда он задумывался.

«Дурак я был, да! — писал Рамин.— Прельстившись твоим серебром, не знал я, что есть на свете золото. В Гурабе я нашел его полный кошелек. Кому нужно дырявое ведро, если есть дубовая бочка. Полжизни замазывала ты мне глаза. Теперь я понял, в чем настоящее счастье. И видеть тебя больше не хочу...»

А в конце письма Рамин написал такое нехорошее слово, что и переводить его с пехлеви не хочется.

В те времена не было всяких глупых законов, и письмо Рамина попало прямо шаханшаху. Весь дворец собрал царь царей и прочел его вслух. Особенно обрадовался он последнему короткому слову. На весь зал выкрикнул его тонким голосом шаханшах и посмотрел на Вис. Она смеялась...

Шаханшах вынул платок и протер глаза. Все смеялись уже вместе с ней. Пришлось посмеяться и царю царей.

Рассказывают, что десять писем отправила Вис Рамину. По ее поручению писал их самый грамотный в Хорасане человек — Мушкин, а отвозил быстрый Азин. Целый месяц плакала, глядя в сторону Гураба, Вис...

Не могло этого быть, потому что в ту же ночь Луна оказалась в созвездии Рака. Если бы не это обстоятельство, трудно было бы врачам определить, почему заболела Вис на следующее утро. Ведь накануне вечером она весело смеялась, а сейчас лежала с открытыми глазами и не слышала, когда говорили с ней...

То, что не ела ничего Вис, мамку не беспокоило. Больше всего испугали ее эти открытые глаза. Ни днем, ни ночью не закрывала их Вис...

И не посылала Вис мамку в Гураб. Мамка сама поехала на том старом хузанском верблюде, который привез ее в Мерв. И Рамину она ничего не сказала. Просто слезла с верблюда и стала молча у дороги, по которой ехал Рамин на охоту.

— Опять ты, старая ведьма! — налетел он и замахнулся плетью.— Мало твоей Вис, что говорят кругом про нас. На

базаре стыдно появиться... Нет, хватит позора и безрассудств. Скажи ей, что не дети мы уже. Пора жить, как все люди...

Рамин не ударил мамку. Еще что-то хотел он сказать, но только ожег плетью коня и ускакал прочь. А мамка взобралась на верблюда и поехала назад.

Когда мамка вернулась, Вис посмотрела на нее и впервые за много дней закрыла глаза. Полежав так немного, она встала и принялась за свои дела...

ВОЗВРАЩЕНИЕ РАМИНА

Стареет все, но манят вновь и вновь
Отечество и первая любовь!
Гургани,«Вис и Рамин»

Гуль теперь редко надевала поясок. А когда розы день и ночь перед глазами, рад будешь последнему чертополоху. Только бы не пахнул и покрепче кололся...

В это утро Рамин проснулся с привычной тростниковой сладостью на губах. Гуль, как всегда, была без пояска. Он посмотрел на персики, яблочки, рубины, полумесяцы и зевнул. Потом он увидел прекрасные синие горы Гураба. Белый пар лился над полями. Неподвижные гурабские кедры стыли у самой крыши, на которой они спали. Внизу слышался визгливый крик вперемежку с кашлем. Это Рафед, отец Гуль, ругал пастуха за горькое молоко. Бездельник гонял коров поближе к дому, где росла одна полынь...

И вдруг дрогнули кедры, зашевелилась трава на полях, вспыхнули и сразу прояснились горы. Гневным взмахом ресниц стер ночь с остывшей земли Хорасан!

Горячим светом обожгло Рамина. Было синее небо Хузана, теплая ночная пустыня с падающими звездами, мокрая крыша с белой горностаевой нежностью. Ветки карагачей трещали от летящей с неба любви...

Рамин недоуменно смотрел на женщину, спавшую рядом. Ничего не понимая, дотронулся он до чужой розовой груди. Она была холодная как пузырь. Перекрученный поясок валялся в изголовье...

Почему он здесь, что делает?! Рамин вскочил и, надевая на ходу одежду, скатился вниз. Рахш уже ждал, повернувшись к Хорасану. В пылающее Солнце помчался Рамин...

Сухая пыль дороги, ободранные карагачи, грязная вода в арыках — все было такое обычное, что Рамин заплакал. Едущие

с базара люди поглядывали на него, но ни о чем не спрашивали. Рахш стоял смирно...

Только когда закатилось за спину Солнце, тронул Рамин коня. Неслышно ступил Рахш на пыльные листья, нападавшие между заборами. Осень была в Хорасане...

Безлунная ночь пропитала Мерв сырым туманом. Темные переулки молчали. Упершись головой в холодную стену, остановился Рахш.

Рамин поднял голову. Слабая звезда расплывалась между оголенными ветками. Хриплым голосом позвал он Вис...

Голос тоже расплылся в тумане. Тогда он крикнул громче. Но как мокрая вата была ночь. Он кричал и плакал внизу, Рамин...

— Почему ты не слышишь меня, Вис?! — жаловался он.— Жизнь проходит. Пустая, холодная ночь вокруг. А я, усталый и растерянный, стою под твоим окном. Вспомни все и посмотри на мою голову. В серебряной паутине запуталась она. Я пришел к тебе, потому что некуда мне больше идти...

Молча плыла между ветками сырая звезда. Жались друг к другу птицы на деревьях. Рамин опустил голову...

Утром Вис впустила его. Она сидела на высоком троне и смотрела на приближающегося Рамина. Никогда не видел он ее такой: в золотом платье, с шахской короной на голове. Из алебастра было ее лицо, и холодные зеленые камни в глазах были прикрыты ресницами. Все это снилось ему: небо Хузана, пустыни и крыши, ночи белого горячего счастья. Рамин покосился на львиные лапы шахского трона. По широким ступеням поднялся он и протянул к ней руки. Но Вис толкнула его, и Рамин упал.

— Это не твое место,— сказала она.— Седой и плешивый, так и не стал ты мужчиной. В болтовне и изменах прошла твоя жизнь. Иди на базар и читай там свои слезливые стихи. Такие же седые толстые мальчики ждут тебя у винной бочки. Перебивая друг друга и заглядывая под каждое проходящее покрывало, вы будете крикливо ругать шаханшаха. А потом разойдетесь по своим цветникам, гордые и удовлетворенные. И будете разбивать фонари по дороге... Что еще тебе нужно?!

И Рамин ушел.

Кровью набухали синие дымные тучи. Рамин прошел к мамке и попросил у нее зеркало. Он долго смотрел на себя, потом вынул прямой парфянский нож и сбрил усики. Мамка испуганно шептала хузанские молитвы...

Рамин сбросил с себя рубашку с шелковыми шнурками и вышел на площадь перед дворцом. Там уже были люди. Откуда узнали они о его приезде и чего ждали?..

С шипением расползались тучи. От мелких холодных капель потрескивало пламя в храме Огня. Жрецы запели грозную песню Восхода. И когда кровь брызнула из Хорасана, Рамин поднял навстречу руки.

— Что ты сделал со мной, старый шаханшах! — сказал он.— Почему я всю жизнь должен красть то, что принадлежит мне по праву?.. Ты ограбил мою молодость. Съежилась любовь и увяла вера от твоего гнилого дыхания. Даже душу мою сделал такой маленькой, что смог заткнуть за свой блестящий сапог... Нет, я оторву твои мертвые пальцы от своего горла!

По праву шаханшаха зажег Рамин священный огонь. И молитву шаханшаха прочел он, объявляя день в Хорасане. Тогда вазир Зард подошел к Рамину и поднял меч, чтобы убить его. Но Рамин вырвал меч у брата и отсек ему голову. С кровью на руках вернулся он во дворец. И Вис протянула ему свою руку...

ЭПИЛОГ

Но тут клыки вонзил в него кабан
И распорол все сердце до утробы,—
И место для любви, и место злобы!
Гургани, «Вис и Рамин»

Да, не Рамин убил шаханшаха. Его и не было в то время во дворце. Между двумя войнами решил старик поохотиться. И вдруг большая свинья выбежала из камышей, опрокинула коня и распорола живот шаханшаху. Никто не видел этого, но так рассказывают...

ХАДЖ ХАЙЯМА

Откуда мы пришли? Куда свой путь
вершим?..
В чем нашей жизни смысл?..
Хайям

1

Мертвый камень отражался в глазах человека. Вздыхали, беззвучно плакали верующие. Губы их неслышно выговаривали знак Бога и имя пророка его...

Человек смотрел на камень. Всю жизнь знал он его тупую, беспощадную тяжесть. И вот наконец увидел прямо перед собой...

Было жарко, но камень был холодным. Или это только казалось ему... Когда же впервые почувствовал он этот проникающий холод?..

2

Растерянно, с немым вопросом поднял он тогда глаза к небу. Небо, как всегда, утонуло в его глазах. Но было оно уже не таким, как всегда.

Мальчик сидел на плоской, остывшей за ночь крыше... Даже сейчас, через столько лет, он отчетливо помнил вмазанные в крышу стебель джугары. Черно-красный муравей полз по желтому стеблю.

А в саду молился старик. Он стоял неподвижно. Потом опускался на колени, выбрасывал вперед руки и прижимался лицом к земле. Перед тем как осесть на колени, шейх привычно поворачивал голову: направо и налево. Пророк учил: прежде чем обращаться к Богу, следует посмотреть на созданный им мир...

Почему именно это далекое утро так четко вошло в жизнь человека?.. Да, если бы старик тогда просто забрал у них сад, это было бы только несправедливо. Мальчика уже били те, кто сильней. Но старик молился в их саду. Это была первая несправедливость именем Бога. Та, что раскалывает мир...

Другие дни плавали в прозрачном тумане. От них остались лишь припухшие рубцы в памяти...

Остался солнечный день с первой неясной тревогой.

Ученики сразу почувствовали это... Нет, огромный, плотный базар оглушал еще издали. Но был чуть тише обычного. И они пошли шагом.

На настиле большой чайханы сидели те же люди. Те же неторопливые слова выговаривали их губы. Но, выплескивая грязно-зеленые остатки из белых пиал, все они бросали какой-то очень уж равнодушный взгляд в сторону.

Мальчик повернулся и посмотрел. Темно-серые башни Шахристана[1] неподвижно висели в горячем воздухе...

Ах, да! Исказители слов Пророка убили младшего брата султана... Играть не хотелось, и он пошел домой. Это он точно помнил...

Когда люди из Шахристана увели гончара, у мальчика похолодело в груди... Гончар был маленький и близорукий. Ходил он мимо их дома и нес всегда завернутое в виноградный лист мясо. А учитель говорил о необыкновенных людях. Они не признавали единого Пророка и убивали правоверных...

Узнав о гончаре, отец покосился почему-то на соседний сад. За арыком молился старик... Он не был тогда очень уж старым, их сосед. Но мальчику шейх казался стариком...

Где услышал он это, в чьих глазах прочел? Или мысль сама пришла потом, когда он стал старше и несправедливость именем Бога перестала быть немыслимой... Младший брат мешал старому султану. Молодого, приветливого, его любили...

Отца забрали перед второй молитвой. Стражники были кафирами[2]. Один из них наступил на молитвенный коврик. Отец шел, согнув плечи. Черные капли крови остались в горячей пыли. Мальчик обошел эти капли...

В калитке отец обернулся и посмотрел на соседний сад. Шейх уже молился... И мальчик вспомнил. Это было сразу после того, как убили брата султана. Сосед говорил, что хочет купить часть их сада. Он любил розы, а в их саду они росли лучше. Отец почтительно склонял голову, но не продавал. Старик тогда досадливо скривил губы...

Днем, выйдя на улицу, мальчик встретил соседа. Большой, строгий шейх не посмотрел в его сторону. У него было плоское лицо. А вот какие глаза были у шейха?..

Кажется, в тот же день пошел мальчик к Шахристану. Он смутно помнил белые зубы всадников. Людей отгоняли от стены...

С каламом и свитком в кожаной сумке он пришел в школу.

---

[1] Шахристан — цитадель правителя в центре средневекового города.

[2] Кафир — неверный.

Кроме моргающих глаз учителя, он сейчас ничего не помнил. От этого дня остался лишь холодный голос длинного Садыка. Тот подговаривал закатать его в кошму и бить ногами. Так велит вера поступать с отродьем предателя...

Его не побили. Но когда Садык отобрал у него свиток, все вокруг скакали и смеялись...

Только на улице догнал его ясноглазый Бабур. Он потоптался в пыли босыми ногами, погладил его руку и побежал обратно в школу...

Мальчик все ходил к Шахристану. Люди старались передать еду тем, кто сидел в ямах под южной стеной. На ямах были решетки. Два раза его чуть не растоптали лошади. Может быть, это у лошадей так белели зубы?..

И вот сосед перешагнул арык. Пройдя из конца в конец по их саду, он показал прислужнику, где сажать розы... И снова в памяти выплыло плоское лицо.

Какие все же у шейха были глаза?.. От прошедших через жизнь людей остались руки, халаты, движения. Глаза были у немногих.

Потом пришло это утро... Отец уже вернулся. Приехал вазир, и всех, кто остался живой, выгнали из-под валов Шахристана...

Старик в саду стоял неподвижно. Снова опускался на колени, выбрасывал вперед руки и прижимался лицом к земле... Розы уже к тому времени выросли. Набухшие красные бутоны сочились вокруг разговаривающего с Богом шейха. Темные капли падали в серую пыль. Шейх молился по эту сторону арыка. Там, где всегда молился отец...

У отца жалко дрожали губы. Он расстелил свой коврик прямо на крыше. Суетливо огляделся и выбросил вперед руки...

Мальчик понимал Бога буквально. Он внимательно посмотрел направо и налево. Во дворах и садах, на бесчисленных крышах люди выбрасывали руки в ту же сторону. Где-то там был подаренный Богом Камень. Первый холод голой формы заставил поежиться мальчика...

Черно-красный живой муравей полз по желтому стеблю...

3

Что ушло с тех пор? Полвека? Жизнь?.. Когда, неистовый и покорный, уходил он по пустой хамаданской дороге, постаревший Бабур уже не догонял его. Невыносимо прямые линии сходились в пылающем горизонте. Он шел пыльным, избитым

миллионами ног путем хаджа. Шел сюда, к завещанному Пророком Камню...

Сзади стыли серые стены Мерва. Всю жизнь и сам он старался загнать своего Бога в каменный квадрат... Он вспомнил сейчас свой жалкий человеческий страх, когда, втянув голову и опустив плечи, выходил через узкие каменные ворота великого города. Они могли сомкнуться, уходящие в небо башни. Люди сами создавали камни для этих башен: заваренные на крутом белке желтые маленькие прямоугольники. Миллионы их давили один на другой, цепенея в тупой неподвижной тяжести... Нет, они не сомкнулись. Он должен был сам подавить своего Бога. Селение за селением, год за годом шел он сюда. Они хотели утвердить этим торжество своего Вечного Камня... Разве боги каменеют? Недаром же Пророк запретил называть само имя Бога!

Это для его маленького друга Бабура Бог на всю жизнь остался важным стариком в расшитом золотом халате. А он никогда не знал Бога геометрически точно. Даже мальчиком, в то бесконечно далекое утро, на крыше. Черно-красный муравей на сухом стебле прошел через всю его жизнь. Видения Бога не было...

Его всегда волновал Пророк. Человек со строгими глазами и высоким лбом, знающий истину и передавший ее людям... Он всегда понимал того Пророка, который реально проступал сквозь время и миражи чужой далекой пустыни.

Но Пророк менялся. Менялся с каждым прожитым мгновением. Борода его чернела, становилась обычной, в глазах загорались человеческий гнев и радость, резче поворачивалась голова, через поры на лбу проступали искринки пота... Не мог Пророк оставаться прежним, если сошлись в бесконечности параллельные линии, вошла в жизнь ничтожная и недосягаемая Рей, а холодный камень все острее проявлялся в своей вечной арифметической тупости...

Каким же был для него Пророк тогда, на крыше?.. Борода еще оставалась сказочно белой. Все склонялось в восхищенной гармонии.

В теплые нишапурские ночи мерещились мальчику туманные видения Хиджры[1]: гордый путь из Мекки в Медину. Потоки людей в белых одеяниях шли через пустыню в предчувствии истинной веры. Зажженный Пророком огонь горел в глазах. Он вел их к незыблемой справедливости. А острые камни ранили ноги лишь в мягком голубом отражении...

Но черно-красный муравей все полз по желтому стеблю.

[1] Хиджра — исход пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, с которого начинается мусульманское летосчисление (662 г. христианской эры).

4

Камень был послан людям в знак вездесущей реальности Бога. Но почему же Камень?! Зачем нужно было Пророку облекать истину именно в эту форму?

Человек посмотрел вокруг. О чем думали сейчас эти люди перед святым Камнем? Зачем шли сюда, сбивая ноги, через горы и пустыни? Что принесли своему ощутимому Богу?.. Каждый маленький бабур вспоминал здесь свою жизнь в принятом порядке, день за днем. Как впервые взял в руку кетмень или весы, познал женщину, поцеловал ребенка, убил человека... Но почему они плакали, о чем тосковали?..

Он снова смотрел на камень. Живые зрительные образы детства вспыхнули и погасли. В правильной временной связи замелькали понятные бабурам периоды. Нишапурская школа Насир ад-Дина Шейх Мухаммед Мансура[1], моргающие глаза учителя. Потом школа в Балхе, полные схваток отточенной мысли самаркандские диспуты, плавные уступчивые споры бухарских мудрецов, исфаганские попойки, интриги, друзья, враги... Это была оболочка жизни, от которой не осталось даже ясно запомнившихся звуков.

Жизнь была в другом. Привычные бабуровы реальности сразу теряли смысл. Все здесь было относительно: время, пространство, равновесие. Заискрились синие волны ассоциаций...

Две параллельные линии сошлись нескоро. Он всегда знал, что они сойдутся. Это было в нем...

Великие недоговоренности чисел! Он читал, ощущал их у всех больших учителей. Они заставляли кровь биться в голове, отрывали мысль от тела, уносили от земли...

Для него числа никогда не были неумолимыми. Первый же знак, который он записал когда-то, дрожа от неумения, никак не хотел каменеть. Сразу же дрогнула струна. Заиграл один из оттенков радуги. Числа утверждались потоками звуков, волнами красок. Надолго ли?.. Тот же знак, выведенный вторично, прозвучал совсем иначе, переместился через всю радугу...

Числа слагались в бесчисленные вариации, в неперечислимые гаммы красок. Они гремели, рвались за барьер жалкой точности. Бескрайнее синее небо, пылающее солнце, теплая земля, черно-красный муравей на желтом стебле выражались таинственной симфонией переменных величин. Живая кровь пульсировала в них...

Там, в бесконечности, за барьером симметрии, сошлись две параллельные линии. Отвлеченная алгебра смыкалась с геомет-

---

[1] Насир ад-Дин Шейх Мухаммед Мансур — знаменитый ученый и богослов XI века.

рией, утверждая поэзию непрерывного движения. Молнии диалектики взрывали арифметическую тупость!..

Этот холодный камень — и теория переменных величин, к которой он привел математику! Как совместить камень с идеей движения? Его алгебра была уже научным искусством. Мог бы он дать ей такое определение, если бы не разработал «Трактат по теории музыки»?.. А бесконечная математическая прелесть рубои![1] Такое понятное единство поэзии и математики!.. Рей была во всем: в музыке, радуге, переменных величинах.

Евклид не знал этой поэтической призмы. Большой грек не смог стать великим...

И разве можно было сказать, где и когда приходило к нему это. Где и когда — всегда было важно для маленького Бабура. Что же, стоя сейчас перед этим камнем среди сотен просветленных бабуров, он легко может призвать понятные им образы... Колыхание теплых листьев инжира, запах городской пыли, тахта над коричневым самаркандским арыком... Там за один день написал он «Трактат об объяснении трудного в заключениях в книге Евклида». И только через семь лет — два других: «Трудные вопросы математики» и «Необходимые предпосылки пространства». Как объяснить бабурам, чем занимался он эти семь лет, что делал следующие семь лет или предыдущие? Ведь они все это время изо дня в день ткали полотно, сидели за прилавками, переписывали законы. У них были свои бабуровы думы, радости и огорчения. Их пугали откровения рванувшегося в бесконечность разума. Непонятному они могли или молиться, или отвергать... Сослаться на ощутимо звонкие рубои?.. Маленький Бабур знал их на память, но в последнюю встречу искренне удивился, почему их так немного. Одного вечера хватило, чтобы перечитать их дважды...

Нет, для честных восторженных бабуров куда понятней был тот громадный с желтыми костяными подставками трон, на который сажал его когда-то рядом с собой в Шухаре легкомысленный хакан Шамс ал-Мулк[2], последний Караханид. И разве не потускнели сразу в глазах бабуров его рубои, когда недовольно скривились губы правителя Мерва. Страшнее всего была для них ответственность оценки... И все же, что тянуло их к рубои, кроме музыки и точности?..

Этот камень всегда был на его пути... Он радостно кричал свои откровения. Мысль была бесконечно щедрой. Эха не было. Камень тупо скрадывал музыку.

---

[1] Р у б о и — философско-лирические четверостишия.

[2] Шамс ал-Мулк-Бухори — караханидский принц (годы правления 1068—1079).

Он растерянно оглядывался... Глаза Бабура были ведь ясными. Почему они не рвались за барьер?!

Бабур и потом гладил его руку. Но уже не при всех. Все чаще прислушивался он к шагам длинного Садыка. Повзрослевший Садык мог отнять уже не только свиток... Это были каждый раз другие Бабур и Садык. Много прошло их через его жизнь...

Менялась оболочка. Сущность оставалась: мягкий Бабур, холодный Садык, радостно прыгающие вокруг дураки, черные капли крови в серой пыли... Излучение бесконечности в его глазах раздражало. Он не понимал этого и пытался руками расталкивать камни.

Что еще было?.. Черный провал в куполе крыши, тысячи ночей наедине с небом. В Мерве он вычислил самый точный в мире календарь!..

Сухие камни обсерватории. Слезящиеся глазки расцвеченных старцев, претворяющих арифметику неба в варварские видения. Скорпионы и Тельцы, определяющие маленькие бабуровы судьбы. Круглые бабуровы глаза, очарованные геометрией светил. Ведь им понятны и страшны были прямые линии. Шкурой своей знали они их тупую жестокость...

Что угадывалось там, за черным барьером неба?.. Да, Пророк всегда был самой большой его мукой. Ему не нужно было вспоминать книгу Пророка. Он изумлял бабуров, читая ее на память от начала до конца и с конца до начала... Что же обещал Пророк?..

...САДЫ, ПО КОТОРЫМ ТЕКУТ РЕКИ, РЕКИ ИЗ МОЛОКА И ВИНА, ИЗ МЕДА ОЧИЩЕННОГО... ЖЕМЧУГА, ЗОЛОТЫЕ ЗАПЯСТЬЯ, ЗЕЛЕНЫЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ШТОФА И АТЛАСА... БЛАГОУСТРОЕННАЯ ЖИЗНЬ, ПЛОДЫ И ВСЕ, ЧЕГО ТОЛЬКО ПОТРЕБУЮТ... ВИНО НАИЛУЧШЕЕ, ЗАПЕЧАТАННОЕ, ПЕЧАТЬ НА НЕМ — МОСХУС, ОНО РАСТВОРЕНО ВЛАГОЮ ХАСНИМА — ИСТОЧНИКА, ИЗ КОТОРОГО ПЬЮТ ПРИБЛИЖЕННЫЕ К БОГУ... ПОДНОСЫ С МЯСАМИ ПТИЦ, КАКИХ ПОЖЕЛАЮТ... ПОДКЛАДКА ИЗ ШЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ... ЛОТОСЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ШИПОВ... ТЕНИСТАЯ ТЕНЬ...

Смысл обещанного эдема! Ощутимые арифметические радости в квадрате?.. В кубе?!

Может быть, вечная Рей?..

У гурий зовуще розовели тела...

СКРОМНЫЕ ВЗГЛЯДАМИ, ВОЛООКИЕ, ПОДОБНЫЕ БЕРЕЖНО ХРАНИМЫМ ЯЙЦАМ... ДЕВАМИ ПРИХОДЯТ ОНИ К МУЖЬЯМ...

Рей с удовольствием купалась во всех трех источниках, сидела в тени, жадно перебирая сверкающие камни. А потом

вдруг рассмеялась. И арифметический рай рухнул до последней травинки!

Простейшее построение требовало закономерной для него противоположности...

РАСПЛАВЛЕННАЯ МЕДЬ В ЧРЕВЕ, КАК КИПИТ КИПЯЩАЯ ВОДА... КОГДА ОНИ БУДУТ УМОЛЯТЬ О ПОМОЩИ, ИМ ПОМОГУТ ВОДОЮ, ПОДОБНОЙ РАСТОПЛЕННОМУ МЕТАЛЛУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ЖЕЧЬ ИХ ЛИЦА...

Бог этот утверждался в прямой линии...

НИ ОДИН ЛИСТ ДРЕВЕСНЫЙ НЕ ПАДАЕТ БЕЗ ЕГО ВЕДОМА, ВСЯКОМУ ИМЕЮЩЕМУ ДУШУ НАДО УМЕРЕТЬ СООБРАЗНО КНИГЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ВРЕМЯ ЖИЗНИ...

Книга!.. А как же непрерывное движение? Не по прямой, а там, за барьером, где сходятся параллельные линии!..

Почему же тогда он все глубже верил Пророку? Не потому ли, что глаза Пророка становились человеческими? Где-то в глубине их угадывалось страдание...

Все резче проступали видения Хиджры. Пустыня делалась ощутимей. Белые одежды грубели, пыль садилась на лица, камни все больнее ранили ноги.

5

Сколько раз разбивал он руки о камни! Дробились пальцы, ногти срывались, открывая беззащитное мясо. Было больно, и он кричал... Что руки! Живой кровоточащий Бог бился в каменном квадрате!

Бог был вечным обновлением. Камни стыли...

Всю жизнь его обвиняли в безбожии. Революция бесконечности была недоступна прямой линии. Все, что не было твердым и холодным, не существовало. Противоположности сглаживались идеей Камня.

Бога не умели понимать? Или не хотели? Нет, кому-то нужен был каменный Бог. Он взглянул наконец в глаза Садыка!..

...БОГ КУПИЛ У ВЕРУЮЩИХ ЖИЗНЬ И ИМУЩЕСТВО ИХ, РАДУЙТЕСЬ О ВАШЕМ ТОРГЕ, КОТОРЫМ ВЫ СТОРГОВАЛИСЬ С НИМ, ЕСЛИ ВЫ ДАЕТЕ В ССУДУ БОГУ ХОРОШУЮ ССУДУ, ОН В ДВА РАЗА ВЕРНЕТ ВАМ... МЫ — САМЫЙ ВЕРНЫЙ ИЗ СЧЕТОВОДЦЕВ.

...ОНИ ХИТРИЛИ, И БОГ ХИТРИЛ, НО БОГ САМЫЙ ИСКУСНЫЙ ИЗ ХИТРЕЦОВ, БОГ БЫСТРЕЕ ВСЕХ В УХИЩРЕНИЯХ, ХИТРОСТЬ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ПОЛНОТЕ У БОГА...

Этому Богу удобно было в каменном квадрате. Прибыли надежно ограждались от людей. О, как бесконечно злобно ненавидел каменный идол настоящего Бога! Ведь живой Бог отрицал арифметического. А прибыли выражаются точными цифрами...

Садык был не дурак. Он быстро понял каменного Бога. В его холодной тени можно было отобрать свиток, изнасиловать, убить. И все прикрыть демагогией Необходимости... Этот свиток подарил отцу купец из Китая. Белая гладь светилась. Сколько свитков отбиралось потом каждое мгновение, но первая потеря была невосполнимой!..

Снова промелькнули далекие тени... В горячем воздухе висели башни Шахристана. Султан убивал брата, Садык вырывал свиток, сосед переступал арык...

Набухшие красные бутоны сочились вокруг разговаривающего с Богом шейха. Темные капли падали в серую пыль. Шейх молился по эту сторону арыка, в их саду...

Привычно поворачивалась голова шейха: направо и налево, равномерно подгибались колени, точным движением выбрасывались руки. Когда шейх прижимался лицом к земле, коврик не давал ему испачкаться...

Лицо у шейха было плоское. Бога в глазах не было. Они бы тогда запомнились... В тени вульгарной арифметики безбожники клялись именем Бога!

Кем же был тогда их пророк?.. Полный гнева и отчаяния, увидел он наконец неприкрашенную Хиджру!..

Пустыня каменела, на разбитых ногах гноились язвы, одежда воняла потом. Всклокоченная борода пророка стала серой от пыли... Но надо было идти вперед. Ятрибские разбойники вели нечестную игру. Они стали брать такой бакшиш, что честные купцы рвали на себе бороды. За прохождение одного верблюда с шелком приходилось отдавать сто сорок динаров! При одном воспоминании пламенели глаза пророка...

Последние караваны приходили, полные плача. В каждом шатре от Басры до Кульзума был свой Бог. И он разрешал грабить все и вся на три конных перехода вокруг. Треть шла ему. Какой Бог удержится!..

Пророк оглядывался назад... Глаза этих мекканских задолюбов заплыли жиром. Они не хотят видеть чего-нибудь, расположенного выше пояса. Боятся отвадить многобожников от

своей Каабы[1]! Паршивый камень ведь тоже приносит деньги. Как же, в своих вшивых караван-сараях они потом так обдирают этих многобожников, что возвращают все убытки. Разве не привезли ятрибцы в уплату за общение с Каабой тот шелк, который взяли с его каравана!.. Но у тех, кто идет сейчас за ним, нет караван-сараев. Они живут торговлей, и бакшиш ятрибцы сдирают с них!..

Нет, для честной торговли нужен один Бог. В каждом шатре он будет хозяином, этот Бог. И меч ему в правую руку. Десять молодых рабов в одной цене сейчас с верблюдом шелка. Или с тремя верблюдами шерсти. Или с двенадцатью верблюдами хлопка. Или с пятью верблюдами под седлом с твердыми ногами и влажными губами...

Чужие купола Медины синели впереди. Они были ниже куполов Мекки... Можно в конце концов передать Богу и Вечный Камень. Пусть успокоятся владеющие караван-сараями. Они тоже не останутся внакладе. Бог еще молод и не сообщил пока все свои веления людям... Пророк усмехнулся...

Сто сорок динаров за проходящего верблюда с шелком!..

Пророк яростно стегнул усталого коня.

Это тоже было правдой. Но разве только это?

Не таким был Пророк! За твердостью стиха угадывалось сомнение...

МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ...

Это повторялось из главы в главу Книги.

Арифметика и сомнение были несовместимы. В камне могла выражаться лишь точная уверенность смерти.

6

Это было в Исфагане. Полный сомнений, блуждал он в лабиринтах окраин. Как нигде утверждалось здесь отрицание камня. Покинутые людьми стены распадались, крошились. С тихим шорохом оплывали в ночи тяжелые глыбы. Камень оживал в своем разрушении...

Что-то все сильнее волновало его. Тьма дрогнула тревожным предчувствием. Впереди был огонь. Колеблющийся, бесконечно уходящий...

Перебираясь через камни, проваливаясь в прах, раздирая

[1] К а а б а — храм в Мекке, в стену которого вделан упавший с неба черный камень. Служил местом паломничества еще в домусульманский, а особенно в мусульманский период.

колючие переплетения, шел он вверх. Дорога становилась круче. Земля затихла где-то внизу. И вдруг он увидел Рей!..

Сколько стоял он? Вечность?!

Горение без начала и конца... Ее нежная грудь светилась навстречу огню. Тени менялись. Расплывалась геометрия тела. Бесконечно обнажаясь, оно каждое мгновение сбрасывало оковы классической точности. В задумчивых глазах ее непрерывно умирал и возрождался Бог...

Рей была там, за барьером...

Он вспомнил, как на следующий день нашел Рей. Она жила в развалинах старого города, где содержали приюты греха поклоняющиеся огню...

Он пришел молиться за нее, а Рей деловито отдала ему свое розовое, пахнущее пóтом тело. Грудь ее отбрасывала точные тени, бесстыдные руки притворялись, в глазах желтела примитивная хитрость. Она тут же почувствовала необычное и, воспользовавшись, стащила с его пальца тяжелое кольцо...

Потом он пошел на гору... Чадя, горел огонь. Старик огнепоклонник в заштопанном балахоне подливал в жертвенник маслянúстую вонючую жидкость. Где-то неподалеку ссорились женщины...

Долго смотрел он на огонь. Без Рей его не было...

Он видел узколобую Рей, продающуюся за хивинский платок слезливому старику, видел с испуганным юношей. Однажды она подралась с соседкой и долго ходила с расцарапанным лицом...

И снова возрождалась Рей!.. Безмерное солнце заливало остывшую за ночь землю. Теплым молоком струились поющие радостные блики. Ребенок жадно прильнул к ней, и грудь, руки, глаза Рей щедро излучали переполнившего ее Бога.

Снова расплывалась геометрия. Линии становились символами. Рей бесконечно обновлялась в своем падении...

Разве пророк не знал Рей?!

7

Он шел по лунным улицам Балха, Бухары, Самарканда. Светлыми ночами страшны были застывшие кубы мечетей. Скованные холодным камнем причудливые узоры кричали в немом бессилии. Резные орнаменты усложнялись, повторяясь от порогов до верхушек минаретов. Мысль билась в камне, не умея оставаться бесплодной...

Он хорошо помнил купца из древней великой страны на самаркандском базаре. У купца было неподвижное лицо и сухие искусственные косички. Шумел пыльный базар. Купец упорно раскладывал свой товар...

Он не мог отвести глаз от вынутого из мешка узорного белого камня на серебряной подставке. Миллионы тончайших линий симметрично закруглялись, создавая невыносимую иллюзию примирения мысли со смертью. Что ушло на выточку этих узоров? Человеческая жизнь?.. Что этим было доказано? Как ни истязала себя мысль, в камне она оставалась мертвой...

Купец раскладывал товар. Рисовое зерно с начертанной на нем поэмой, узкоглазого божка равновесия, тазик фокусника. Каменные болванчики в такт кивали головами, поднимали и опускали руки. Зачем? Чтобы создать иллюзию движения?.. Как будто можно обмануть Бога!..

Он чувствовал эту бесплодную в своей древности страну. Там пытались убить саму Рей. Маленькой девочке надевали на ноги деревянные колодки. Вырастая, она не могла двигаться... Вечный покой всегда был воинствующей философией этой усталой страны.

Кому же нужно было все это: скованная мысль, неподвижная девочка, в такт кивающие болванчики?

Садыку!..

С трудом он отвел глаза от резного камня, внимательно посмотрел вокруг. Те же узоры повторялись в коврах, халатах, тюбетейках. Камни притягивали бабуров...

Чем только не обманывал он себя!.. Блага... Опыт... Мудрость... Сколько раз сам он вписывал бессмысленные узоры в камень. Невозможное казалось достигнутым. Но в последний момент симметрия нарушалась, камень давал трещину, мысль вырывалась в бесконечность. Он так и не научился ползать...

Понимая нереальность воплощения Бога в камне, он все же начинал сначала. Разве сам он не объяснял когда-то зависимость истины от геометрии светил, не кивал головой в такт болванчикам, не грелся в тени каменного Бога?! Нет, не Бога он хотел обмануть. Садыка!..

Тем яростней ненавидел его Садык.

Камни, камни, камни!.. Они чудовищной тяжестью давили голову. Все чаще вызывал он иллюзию освобождения. Пустея, каменный кувшин становился легким, невесомым. В прокаленной огнем глине начинали позванивать отголоски неведомых жизней...

8

Фарси-дари, божественный язык фарси, они тоже одевали в камень!..

Слова-камни! Теплые когда-то, они быстро умирали, затер-

тые таблицей умножения. Цветистые и значительные, слова эти были бесплодны, как бумажные веера в руках болванчиков.

Он знал диалектику древних языков. Сначала каменели слова, потом фразы, цитаты, книги. Языки умирали. С ними умирали народы...

Языки могли жить только за тем барьером, где сходятся параллельные линии. Там терялись очертания, обновлялись формы, термины становились противоположностями. Чем больше слов вырывалось в бесконечность, тем уверенней был язык.

Слова давно ждали его. За внешней хрупкостью таилась бесконечная потенция сопротивления. Ободранные в кровь, слова выбирались из-под камней и тут же устремлялись в небо. Даже раздавленные, они кричали.

Кувшин пустел... Что могло быть точнее термина! Слова послушно укладывались в размеренные квадраты. Строфы, рифмы, ритмы выражали прямую линию. И обманутый каменный Бог благосклонно принимал их в свою тень...

Пройдя через все муки закованной мысли, он нашел наконец уязвимое место каменного Бога. Голая мысль была беззащитна перед его тупой тяжестью. Слово бросало ему вызов. Оно упорно просачивалось в камень, взрывая его изнутри. От волшебного слова раздвигались горы. Люди оживали, и это не было просто сказкой.

Сначала сам он не понимал этого. В слове виделось лишь убежище, где можно было успокоить разбитые пальцы, молиться Рей. И вдруг каждое слово молитвы стало безудержно преображаться. Внешне покорное, оно таило вулканическое сомнение. Камни плавились от его скрытого жара!..

Так нашел он выход. Мысль, краски, звуки освобождались в слове. Оно все принимало: бурю переменных величин, неиссякаемую Рей, вечное сомнение Бога...

Его рубои были просты как жизнь. Чем проще было слово, тем более лопались цветистые камни. От них ничего не оставалось в памяти. А ведь искусственные слова высекались на красивых твердых камнях. Чтобы время не стерло, их щедро освящали кровью!..

Нет, никогда не считал он рубои занятием. Вина и любви в них было неизмеримо больше, чем видел он в жизни. В последнюю их встречу седой Бабур с восторгом расспрашивал о пьяных любовных приключениях, и лицо его потело при этом.

Выражение радости жизни было понятно бабурам только в атрибутах, в форме, в камне. Они искренне считали его веселым пьяницей, ищущим мудрости в пивных. Чувствуя то неясное, бесконечное, что было скрыто за звонким барьером рубои, и не понимая, они понимающе переглядывались. Как обезьян к сетям, их влекла не мысль, а ее скандальность. И через тысячу лет бабуры разных стран будут в честь него создавать клубы,

пить там вино и, подвывая, читать рубои. По ним и угадывают его...

Каменный Бог молчал. Четкие квадраты рубои успокаивали его. Но был литературный Садык в безбожии своей злобной посредственности. Это он указывал на слово пальцем и, надрывая глотку, кричал о безбожии. И камень обрушивался всей своей тяжестью...

Что еще оставалось делать Садыку? Цветистые слова-камни ведь кормили его. Он торговал ими, как торговал бы халвой, если было бы выгодней.

Кувшин пустел...

9

Память посылала все это бескрайними приливными волнами. Вскипая, они разбивались о камень.

Камень требовал тишины. И когда он пошевелился, чтобы размять затекшие колени, худой желтый паломник слева яростно сузил глаза...

Сверкающие волны прилива растаяли где-то, оставив влажную лопающуюся пену. Уже в следующее мгновение память дала новую вспышку. Это были совсем другие отражения: неторопливые, перегруженные подробностями недавних событий...

«Он убоялся за свою кровь и схватил легонько поводья своего языка и пера и совершил хадж по причине боязни, а не по причине богобоязненности...»

Так оно и было, как напишет потом стремившийся к точности Ибн-ал-Кифти[1]. Настоящего Бога нечего было бояться. В страхе людском нуждаются выдуманные Боги...

Ослы взламывали черную тишину Мерва. Из рабада, со всех четырех сторон обрушивался на город самозабвенный хриплый рев. Ночь была полна им до предела...

Но вот рев начал стихать, все чаще слышались глухие страстные придыханья. Воздух успокаивался. Когда вернулась тишина, он встал, посмотрел на открытый сундук.

Чего он медлил? Никто из друзей не придет проститься. Бабуры вместе с ним успели вырасти и состариться. Он знал это и все-таки ждал...

Тишина становилась слышней... Он поднял и положил на плечо сумку, взял палку от собак. Вчера ее вырезал из ореха соседский мальчик.

---

[1] Ибн-ал-Кифти — ученый XIII века.

Еще раз посмотрев на сундук, он задул огонь. Перед дверью задержался...

Он давно ждал этого. С того самого дня, когда увидел глаза нового султана. Это были глаза Малик-шаха. Такие глаза были у всех Сельджукидов[1]: бешеные и неморгающие.

Бешенства во взгляде султана Санджара было меньше. Зато прибавилось что-то новое, чужое...

Малик-шах мог собственноручно перерезать горло невинному человеку, отобрать чужую жену, поджечь какой-нибудь город. Родился он в степи и был честным в своей ковыльной дикости. Так же просто он накормил и защитил бы гостя, не дал в обиду соседа, простил бы город...

Как-то он объяснял Малик-шаху пути светил. Тот, задрав голову, долго слушал. Потом вдруг зевнул, повернулся и ушел. Больше султан не заглядывал в обсерваторию. Небо было непонятным, а притворяться Малик-шах не умел.

Лучше всего старый султан чувствовал себя в степи. Там были джейраны, которых надо было догнать и убить. Можно было мчаться, не разбирая дороги!

Бог для Малик-шаха тоже был чем-то непонятным. Смутно помнились еще пестрые степные Боги, простые и незлопамятные. Их тоже не стоило обижать, тем более что они и немногого требовали. Ему и в голову не приходило смешивать чье-либо непочтение к нему с безбожием. Врагам он мстил открыто...

Новый султан начал с того, что, собрав надимов, принялся разъяснять им наиболее сложные, по его мнению, главы учения пророка. Мысли были беспредельно примитивны, язык мучил уши. Но какой восторженный шум подняли стосковавшиеся по премиям надимы! Сразу затерялся где-то сам пророк с его мудростью...

Они честно зарабатывали свой хлеб. «Надим должен быть согласным с правителем государства. На все, что произойдет или что скажет правитель, он должен как можно скорей отвечать словами «Отлично!», «Прекрасно!..». Так определил их необходимую для государства службу в мудрой «Сиасет-намэ» великий Низам-ал-Мулк.

Султан Малик-шах тоже любил речи дежурных надимов. Они способствовали пищеварению. Зато новый султан ревниво вслушивался в каждое их слово...

В «Сиасет-намэ» тонко говорилось и другое: «Кроме надим-

[1] Сельджукиды — династия из огузских племен. Султан Маликшах (1072—1092), султан Санджар — вначале правитель Мерва, а с 1118 по 1157 год — всего государства Сельджукидов.

мов прославляющих, умные правители государства делают своими надимами врачей и астрологов, чтобы знать не только свою мудрость, но и каково мнение каждого из них»... Когда он в первый раз показывал молодому султану пути планет, тот строго поправил его и дал свои указания. Для султана Санджара стихи корана были ясными и законченными. Осилив их четкую форму, узколобый варвар искренне уверился в своей власти над небом. Тем более что об этом днем и ночью кричат достаточно умные люди...

Что ему оставалось делать?.. Коснувшись рукой лба и поцеловав пальцы, он горячо восславил мудрость великого султана, которой подчиняются жалкие светила. Лишь на миг блеснули его глаза. Он ничего не мог поделать с ними. И в этот миг султан посмотрел...

Глаза всегда выдавали его!.. Сколько раз он притворялся дураком, подражал рабам с их мудростью молчания. Но дерзость мысли в глазах была ему неподвластна...

Дальше было то, что повторялось всю жизнь: настороженное молчание, ласковые усмешки врагов, ускользающие взгляды друзей. И конечно же толки о безбожии. Он чувствовал это привычное стягивающееся кольцо...

Дадут ли ему уйти?

Он переступил порог, прошел к невидимой калитке, вышел на улицу...

Скоро он стал различать заборы. Они темнели с обеих сторон, становились выше или ниже, но не кончались ни на мгновение. Заборы вели, не выпуская...

Уже через сто шагов он почувствовал, что спина становится влажной, холодной. Дыхание было прерывистым. С невеселой усмешкой подумал он, что у него совсем белые волосы, ссутуленная спина, сухие морщинистые руки. Как пройдет он долгий путь хаджа? Дадут ли ему начать этот путь?..

Заря застала его у большой мечети. Когда минарет стал розовым, он расстелил коврик. Сняв обувь, стал на него...

Сначала он смотрел прямо перед собой. Где-то там находился Вечный Камень. Кто знает, не шел ли он к этому камню всю свою жизнь...

Потом он плавно повернул голову направо... За глиняными переплетениями заборов поднимались к небу чудовищные валы Гяуркалы. Не верилось, что тысячу лет назад их строили маленькие земные люди. Еще выше, под синими облаками, коченела громада Цитадели. Это туда забрасывал письма своей Вис неистовый Рамин. Они летели, привязанные к стрелам... Солдаты

Искандара Двурогого проламывали и снова возводили эти стены. Утверждая единство Запада и Востока, справлялась там когда-то его свадьба с царицей Роушан...

Две точки показались на отрогах Цитадели. Так и есть: старый Махмуд со своим ишаком. На древних стенах хорошо росли дыни, только воду приходилось возить снизу...

Он повернул голову налево... Здесь, внизу, было еще темно. Из-за большой чинары выступал серый угол будущей гробницы султана Санджара. Дальше виднелись новые крепостные стены. Они были намного ниже старых. Зато хитрее располагались бойницы, больше было ловушек для тех, кто пришел бы их разрушать. Из века в век верили люди в прочность глиняных стен... Кто станет здесь сажать дыни? И какие стены придумают люди, когда освободятся от веры в эту прочность?..

Он снова смотрел вперед. Постояв, опустился на колени. Выбросил руки, прижался лицом к земле. От коврика пахло сундуком... Зачем все же он закрыл сундук перед уходом?..

Подняв коврик, он встряхнул его, аккуратно свернул и положил в сумку... Медленно приближались новые крепостные ворота. Они строились из маленьких прямоугольных кирпичиков. Глину замешивали на яичном белке, потом трижды обжигали.

Уже виден был каждый камушек!.. За воротами он начинает принадлежать Богу. На всем пути его уже не станут трогать. Сейчас решится, что они хотят с ним сделать!..

Надвигались, росли с обеих сторон глухие башни. Какой безмерной тяжестью становятся маленькие желтые кирпичики, если их все класть и класть друг на друга... Ноги его тоже стали словно каменные. Ему показалось, что башни сходятся!..

И лишь пройдя узкий качающийся мост, он все понял. Им нужна была его покорность, а не мимолетная жизнь. Непохожих так просто не убивают!..

10

Таял в горячем воздухе купол будущей гробницы, расплывались линии Цитадели. Ни разу не оглянувшись, уходил он по пыльной хамаданской дороге...

Дорога была древней и безлюдной. Она осела под тяжестью проходивших здесь армий и народов. Рядом с ним на уровне груди двигалась пустыня. Ровные, прямые края дороги сходились где-то там, куда погружалось солнце...

Когда стемнело, слева от дороги замигал огонек. Залаяла собака. Навстречу вышел худой скуластый человек, пригласил в дом...

Дав указания домашним, хозяин вёрнулся к гостю, молча сел на кошму. Мальчик принес медный кумган с чаем, выщербленные пиалы. Со двора падал свет от очага. Там возилась женщина, плакал ребенок...

Потом пришел сосед, высокий угрюмый старик с большими руками. Говорили о том, что лето прохладное, плохое для хлопка. Это легче огородникам и пастухам. Мясо будет дешевле, а пшеница снова подорожает. Сосед рассказывал про какого-то Расул-агу, с которым случилась беда: вспорол себе руку серпом...

Болели растертые с непривычки ноги, ныла поясница. Но ему было хорошо. Он жадно слушал забытые разговоры, беспокоился о ценах на хлеб, всём сердцем жалел незнакомого Расул-агу.

Ужинали во дворе на перекинутой через арык тахте. Лепешки были черные, с травяными примесями. Но никогда не ел он такого вкусного хлеба. Даже простой белый лук, который хозяин нарезал кружками к супу, был необычно сладким.

Нет, ему не улыбались, не прикладывали каждый раз руку к сердцу. Все было естественно: человек нуждался в еде, и его кормили...

Он лежал на тахте и смотрел в забытое небо... Вот уже двадцать лет из ночи в ночь он видел небо замкнутым в четыре стены Башни Наблюдения. Оно было со всех сторон опутано заборами, пахло печной глиной, железом, старыми книгами.

Настоящее небо было мягкое, бесконечно свободное. Ровный ветер пропитывал все запахом остывающего песка, терпким дымом далеких костров. Мерно шумела вода в арыке, чавкал верблюд, шелестела пустыня...

Слезы выступили на глазах, но он не заметил их. Неизмеримо далеки были каменные стены, блеклые страсти, призрачные друзья и враги. Может, они приснились ему?..

Не потому ли и хадж установлен Пророком? Вырвать человека из паутины повседневности, дать ему увидеть мир со стороны?.. Об этом он подумал, уже засыпая...

Впервые за много лет спал он крепким сном. Ему снился черно-красный муравей на желтом стебле... Мальчик посмотрел вниз. Шейха не было в их саду. Отец тряс урюк, и крупные белые плоды разбивались о землю, брызгая во все стороны душистым соком. Чистое раннее солнце било в глаза... Он проснулся.

11

Все так же плыли в горячем воздухе башни Шахристана, качался и гудел внизу базар. Стоя на каменном от зноя холме, он смотрел на свой Нишапур...

Сзади были спокойные, имеющие глубокий смысл дни и ночи дороги. Он весь был полон пустыней: ее запахами, звуками, невидимым дымом. Даже молитвенный коврик на самом дне сумки перестал пахнуть сундуком...

Вблизи все с каждым шагом становилось чужим... Не раз приходилось ему проезжать через этот город. Всегда он был занят какими-то делами, и некогда было возвращаться к своему детству. Сейчас время принадлежало только ему. Но он не пошел быстрее...

Под тутовником на школьном дворе сидел такой же учитель. И кошма была похожа... Он знал, что среди этих бритых мальчиков есть Бабур и Садык. Но это совсем другие Бабур и Садык. Может быть, этот Бабур будет умнее, а Садык — добрее...

А что стало с теми?.. Он поехал учиться дальше в Балх, а Бабура дядя увез в Герат. Там и прожил он жизнь, искренне радуясь и никого не обижая... Садык, говорят, был сборщиком налогов, потом стал купцом. Сейчас он уважаемый человек где-то в Казвине. Кажется, старшина духовной общины...

В базарной чайхане люди пили чай из белых пиал, выплескивали в пыль грязно-зеленые остатки. Он обернулся и посмотрел на Шахристан... Долго стоял он у высокой стены. Бородатый стражник — кафир не обращал на него никакого внимания. Лошадь лениво отгоняла хвостом мух. Зубы у стражника были желтыми от тертого наса[1]. Значит, все же у лошадей тогда белели зубы...

В груди была спокойная пустота, когда переступил он порог родного дома. Даже деревья здесь выросли другие... Разве он лежал на этой крыше и смотрел, как молится шейх?! Да, там сейчас высокий глухой забор. Тогда еще отгородил сосед захваченный участок. А отец умер вскоре: так и не оправился от Шахристана. Шейх донес, чтобы отобрать у них сад!..

Живущих здесь людей не было дома. Мальчик лет десяти с удивлением смотрел на чужого старика в полосатом дорожном халате. Старик зашел во двор и долго стоял, глядя на их крышу...

И только выйдя на улицу, он вздрогнул: у соседней калитки грелся на солнце человек. Волосы его потемнели от глубокой старости, воротник мягкой шубы поддерживал неподвижную

[1] Нас — размолотый табак с примесями.

голову. Это была лишь чудом сохранившаяся оболочка человека. Но он сразу узнал...

Когда он подошел, шейх не пошевелился: глаза его давно уже ничего не видели, уши не слышали. Шейху было холодно: ни солнце, ни шуба не могли уже согреть того, что осталось от этого человека.

Старец, видимо, почувствовал, что от него заслоняют солнце. Высохшие синие руки дрогнули, маленькая жилка забилась на тонкой шее...

Он повернулся и пошел. Ни минуты не мог он оставаться в этом городе!

Что-то непонятное происходило с ним... Оставив позади тесные улицы, он пошел тише. Сердце постепенно успокаивалось...

Откуда же вырвался вдруг этот бурный поток сил?! Тело стало гибким, невесомым, захотелось бежать с горы. Он остановился, не понимая...

Мальчиком он много раз бывал здесь, на окраине. Где-то совсем наверху чуть слышно шумели деревья, пели птицы, струйками лилось солнце. В световых проемах блестели паутинки. И вдруг он понял...

Деревья цвели!.. Тяжелая знойная осень усыпляла остывающую землю. Все сытое, расчетливое готовилось зарыться поглубже, уйти в небытие. А тугие радостные бутоны раскрывались навстречу тупому холоду. Тревожным соком бродили дерзкие молодые побеги, почки вот-вот должны были лопнуть...

На опушке садовник молча поливал цветы. Вода тяжело падала на светлые лепестки. Они лишь вздрагивали. Холодные капли скатывались вниз, на теплую землю. Пахло дождем, грозами. Пчелы двигались в неподвижном воздухе, неслышно опускались на тяжелые бутоны...

Здесь не было заборов, и деревья цвели дважды в году!

12

В Исфагане он пошел на гору, где молились когда-то поклоняющиеся Огню. Кумирня была разрушена. Грубым бурьяном поросли тропинки... Долго стоял он в отдалении, глядя на то место, где увидел когда-то Рей... Внизу, в старых трущобах, висели вниз головами летучие мыши. Местный дихкан повел жестокую войну с пороком. Дома греха были уничтожены, кувшины разбиты, безбожники изгнаны...

Черепки усеивали землю...

Уже уходя из города, он увидел в глухом переулке двух правоверных. Судя по чалмам и халатам, это были не простые люди. Ухватив собеседника за рукав, один из них что-то громко кричал о развратных безбожниках. Ноги его подгибались... Ветерок донес резкий запах. Да, он не ошибся: борцы с пороком были пьяны как свиньи!

13

Он уже привык к дороге... Одно и то же волновало невыдуманный мир: мясо стало дешевле, зато пшеница дорожает. Сначала это говорили круглолицые тюрки, потом рассудительные персы, подвижные армяне, смуглые узкоскулые арабы. И каждый печалился о своем Расул-аге, который ранил руку серпом, стоял у кузнечной печи, умирал, оставляя детей...

Это и было дорогой: долгой, полной высокой земной мудрости...

14

Он знал, что Мекка такая. Маленькие слепые улицы, своры голодных собак, крикливый базар. И пыль... Прямо в пыль клали торговцы пустые мешки. Сверху липкими кучками рассыпали изюм, колотые орехи, финики. Мелкие злые мухи прилипали к лицу. Лапки их были сладкими...

В караван-сарае купец ругался с хозяином. Купца с вечера напоили и обокрали. Хозяин кричал, что не отвечает за дураков, которые пьют с первым встречным в таком городе. Оба через слово поминали Бога...

На пути к Каабе он задержался... В пыли возились дети. Они весело бросали ею друг в друга, и пыль набивалась в глаза, нос, уши. Звеня колокольчиками, шли над ними тяжелые дикие верблюды. Мальчик закатился под широкую мохнатую ногу. Верблюд стоял с поднятой ногой. И не опустил ее, пока ребенок не выбрался...

Обычный камень, каких сотни падают с неба, был перед ним. Чтобы не оставалось и тени сомнения, камень был вправлен в геометрически точный куб храма. Трудно было найти более яркое воплощение мертвой Догмы!..

Это мог сделать лишь поэт... Через всю жизнь он должен был совершить свой трудный хадж, чтобы понять Пророка. Нет, не был Пророк только важным напыщенным патриархом, как и не был он только хитрым купцом. Человеком был Мухаммед,

сын Абдаллаха из Гашима — рода важных патриархов и хитрых купцов.

Не одни прибыли или слава вели Пророка из Мекки в Медину. Разве не пылала в его глазах всепобеждающая вера в любовь и братство, которые нес он людям? И пошли бы разве за ним без этой страстной веры? Никогда еще голая арифметика не вдохновляла людей!

В Ночь Предопределений — двадцать седьмую ночь месяца Рамадана — передал Мухаммеду божественное учение архангел Джебраил...

Пророк не лгал... Творчество — всегда чудо. Когда к нему самому приходили истины переменных величин, сходились параллельные линии, рождалось слово, не принимал разве он это за откровение самого Бога?!

Не злое и поддельное, обычное для его времени понятия добра и справедливости внушал Пророк. Любя и беспокоясь, заковывал он их в камень. Пророк хотел сделать людей счастливыми навеки!..

А Рей?.. В ней ведь отрицалось само понятие камня. Пророку казалось, что с камнем она погубит и человека. В своей наивности гения он закрыл лицо Рей...

Через сколько времени услышал Пророк, как, ругаясь в караван-сарае, купцы призывают Бога в свидетели?! Закованный в камень Бог сразу становился догмой. И как всякой догмой, ею тут же начинали спекулировать...

Вот когда появилось страдание в глазах Пророка! Пытаясь спасти учение, возводил он все новые стены, сам угрожал вечным страданиям, требовал покорности. Старые, давно знакомые людям догмы использовались как пугала и приманки... Это лишь ускорило крушение. Уже не купцы клялись в караван-сараях. Брат доносил на брата, оправдываясь затертым знаком Бога и именем еще живого Пророка его!

Мухаммед, сын Абдаллаха из рода Гашим, пытался расталкивать камни. Но было уже поздно: пальцы его дробились, ногти срывались. Умирая, Пророк кричал...

15

Паломники заволновались. Один за другим они поспешно стали уходить в пустыню. Ему кричали что-то, звали, но он не пошел... Из Мекки он нес большую тяжелую чалму. Кому нужна она?..

Задумавшись, сидел он под истертой верблюжьими боками пальмой. Неслышно текла вода из-под камня. В вязком горячем

воздухе висела тяжелая тишина. Узкие твердые листья скручивались в ожидании бури...

Послышался неясный шум, раскатистое ржание. Что-то зазвенело. Он поднял голову... Одетые в железо люди были уже близко. Железо держали их руки. Железом были закрыты тяжелые лохматые лошади. Все покрывали длинные белые плащи с красными крестами через всю спину...

Их было человек тридцать. Подъехав к воде, они начали помогать друг другу слезать с лошадей, расстегивать тяжелую одежду. Он с удивлением увидел белый сверток в руках одного..

Одетый в железо человек положил сверток на землю и направился к нему. Холодно смотрели синие немигающие глаза. Вились мягкие светлые волосы, окаймляя твердые скулы и широкий тупой подбородок. Постояв, варвар ударил его по лицу. Боли он не почувствовал, лишь вкус крови во рту.

Еще раз поднялся большой кулак. Одетый в железо человек смотрел ему в глаза...

Варвар не ударил его во второй раз... С ним уже бывало, когда готовый броситься бык мотал вдруг головой и отходил в сторону.

Он встал и пошел в пустыню. Кто знает, что заставило его остановиться... Видимо, белый сверток. Сев на камень, он стал издали смотреть на одетых в железо людей...

Они уже расседлали лошадей, напоили их. Воткнув в песок сбитый из дерева крест, варвары опустились на колени и хриплыми нестройными голосами запели что-то... Он слышал об этом прибитом к кресту Боге. Бог плакал от боли, а люди увековечивали его слезы в мертвом дереве. Воздух густел. Листья все скручивались.

Пение неожиданно оборвалось. Одетые в железо люди вскакивали с колен, что-то кричали, седлали лошадей. Выстроившись в плотный ряд, они опустили длинные железные копья...

Из-за холма выехали другие. Эти были смуглые, подвижные, на длинношеих лошадях. Они остановились напротив...

Один из одетых в железо людей, тот самый, оглянулся на свой сверток. Потом посмотрел по сторонам, нашел старика в чалме со странными глазами...

Духота стала невозможной. Высыхающий пот был липким и горячим. Листья скрутились в тонкие жесткие трубочки...

Дрогнула верхушка пальмы. Первый порыв бури сдвинул тяжелый воздух. В ту же минуту качнулись всадники. Исступленно выкрикивая своих Богов, они слепо мчались навстречу друг другу...

Пальма вдруг прогнулась, закачалась во все стороны. Налетевшим вихрем подняло, бешено закрутило раскаленную пыль. В самой середине этого грязного воющего кольца завертелся дикий клубок остервенелой человеческой плоти...

Пальма вздрогнула в последний раз, отряхиваясь от пыли. Словно после боя разворачивались твердые зеленые листья. Вихрь понесся дальше, оставив присыпанную пылью груду бесформенных человеческих тел. С ветром умчались и уцелевшие лошади...

Он медленно подошел... В лицо пахнуло застарелой грязью, пóтом, конским навозом. Но все перекрывал острый запах крови. Она еще не успела остыть и расползалась во все стороны, пропитывая песок. Было совсем тихо. Он наклонился, развернул белую ткань.

«Рыцарь Фицджеральд молит Бога об этом ребенке...» Он не понимал языка, но знал, что написано на плотном куске пергамента. Причем здесь были выдуманные Боги — каменные, деревянные. Или книжные... Размочив в роднике лепешку, он кормил ребенка. Мальчик жадно сосал хлебную кашицу, и в синих глазах его было удовольствие...

С ребенком на руках шел через пустыню человек. Тускло блестели каменные уступы. Холодно молчали звезды. Сгорающие камни чертили пустое небо...

Его звали Гияс-ад-Дин Абу-л-фатх Омар ибн Ибрахим. Он шел к своей юности — к черно-красному муравью на желтом стебле, к всепобеждающей мысли, к своей вечной Рей. Туда, где деревья цветут и осенью...

Хайям — Создающий шатры... Это арабское имя он сам придумал. Шатры нужны в дороге...

В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ

Дорогой памяти
Бориса Андреевича Лавренева

Пощади мое сердце
И волю мою укрепи.
Потому что мне снятся костры...

Эти кони истлели,
И сны эти очень стары.
Почему же мне снова приснились...

Нет, это сны революции!

Вл. Луговской

Глава первая

Комиссар Савицкий задумчиво смотрел в мерцавшую ночными светляками пустыню. Восемь дней и ночей по плоским такырам и сыпучим барханам гнался отряд за бандой. Сегодня ночью ее остатки укрылись за стенами старой крепости. Особый отряд атаковал ее на рассвете вместе с колючим ветром — «афганцем». Ворвавшись туда, увидели только стреляные гильзы да несколько трупов. Кровавого Шамурад-хана среди них не было. Главарь белобасмачей исчез вместе со своим помощником — жандармским приставом Дудниковым. Обыскали каждый могильник, каждый сухой кустик, но никого не нашли. Ровный упругий ветер пустыни быстро засыпал гильзы и трупы...

К вечеру «афганец» стих. Расставив секреты, отряд спал. Измученные кони всхрапывали у древней стены.

Комиссару не спалось. Нервное напряжение последних дней и глухой клокочущий кашель вызвали болезненную бессонницу. Не давала покоя мысль: куда мог деться Шамурад-хан? Но пустыня после песчаной бури дышала легко и спокойно. Вид темных крепостных стен на фоне мягкого бархатного неба успокаивал и заставлял думать о чем-то неведомом, давно минувшем.

— Шел бы спать, Григорий.

Комиссар оторвался от своих мыслей и повернулся к часовому. Плечистый сормовец Телешов называл его по старой партийной кличке, под какой знали его на заводе. А настоящее-то его имя — Николай.

Внизу, в покинутом разрушенном ауле, залаяла собака.

— Бедно тоже живут тут...— Телешов ткнул в темноту

спрятанной в рукав самокруткой.— Я думал, хуже, чем у нас, в Нижегородской, не найдется голи. А тут два барана да штаны — хозяин...

Комиссар молчал. Телешов уперся сапогом в отколовшийся кусок стены, и тот мягко покатился вниз, в темноту. Не успел затихнуть шорох от падающей глины, как оба насторожились. Возле большого могильника, где сложены были боеприпасы, послышался неясный шум. Крепость охранялась со всех сторон, и никого чужого здесь быть не могло...

Над могильником поднялся кто-то в мохнатой шапке и неслышными шагами двинулся в сторону, на мгновение остановился, потом направился прямо к ним.

— Стой! — негромко приказал Телешов и щелкнул затвором карабина. Человек остановился в трех шагах...

Комиссар зажег спичку. На него в упор смотрели черные немигающие глаза. Космы темной бараньей папахи свисали на лоб и узкие точеные скулы. Неизвестный стоял спокойно и ждал. Когда загорелась вторая спичка, он что-то коротко сказал. Комиссар уловил имя Шамурад-хана.

— Вот что, Степан: разбуди Рахимова, пусть с ним поговорит!..

Пока часовой ходил, ночной гость стоял как изваяние и смотрел куда-то в степь. Комиссара встревожил этот взгляд, и он правой рукой нащупал рукоятку нагана

Подошел взводный Рахимов с фонарем. Комиссар внимательно разглядывал гостя. Это был молодой туркмен, лет двадцати. Худое бесстрастное лицо его ничего не выражало. Такими же бесстрастными и холодными были глаза. Он смотрел прямо, не мигая.

Рахимов о чем-то спросил у него вполголоса. Тот, как бы нехотя, что-то ответил.

— Говорит, нет Шамурад-хана, бежал. А сам в наш отряд хочет...— перевел Рахимов. Пока он говорил, гость настороженно смотрел на него.

— Спроси его, как он попал в крепость,— сказал комиссар.

Гость, ничего не ответив, повернулся и пошел к могильнику. Телешов хотел его остановить, но комиссар сделал знак рукой и пошел за неизвестным.

В отряде уже никто не спал. Группа бойцов собралась возле могильника. Командир Пельтинь, высокий сухощавый латыш с рукой на свежей перевязи, как всегда, молчал и угрюмо смотрел на гостя. Тот уверенными движениями разбрасывал сухой бурьян у края древней полуразрушенной ниши. Под ним оказался узкий глубокий проход. Гость прыгнул туда и исчез в темной впадине. Бойцы переглянулись. Комиссар шагнул вперед.

— Давай я раньше!..— сказал Рахимов и, взяв фонарь в одну, а маузер в другую руку, полез вниз. Вслед за ним спрыгнул сменившийся с поста Телешов. Последним в темную дыру спустился комиссар.

Вниз вели неровные каменные ступени. Комиссар насчитал их уже двести, а конца спуска не было видно. Но вот он кончился. Теперь они шли по ровной, выложенной плоским желтым кирпичом галерее. Временами приходилось нагибаться. Вскоре начался подъем, и минут через пять они оказались в большой пещере. Перебравшись через камни, которыми был засыпан вход в нее, вышли к подножию скалы.

Крепость темным пятном выделялась на фоне пустыни. Рахимов осмотрелся, потом несколько раз поднял и опустил фонарь. Из крепости ответили тем же.

— А где же этот парень? — спросил комиссар.

— Вот... только был сейчас...

Телешов растерянно оглядывался и разводил руками.

— Эй, джигит! — позвал Рахимов.

Никто не отозвался. Комиссар озабоченно покачал головой, оглянулся на пещеру, и они медленно пошли к крепости. Пройдя полдороги, комиссар вдруг снова увидел молодого туркмена, который спокойно шел рядом с ним.

— Фу-ты черт! — выругался с сердцем Телешов.— Откуда это ты взялся?

Рахимов спросил по-туркменски. Тот что-то ответил.

— Говорит, все время там стоял,— перевел Рахимов.

— А почему не откликался?

— Молчит...

Командир развернул карту. Положение стало ясным. Шамурад-хан с тремя-четырьмя ближайшими приспешниками ушел по подземному ходу, прорытому еще во времена Сасанидов. Путь в горы был для него открыт.

Покамест командование отряда совещалось, молодой туркмен безучастно стоял в стороне. Перебросившись с ним несколькими фразами, Рахимов сказал, что он назвался Чары Эсеном, чабаном. Знает он ход под землей потому, что жил в этом ауле, возле крепости. Почему хочет в отряд, не говорит...

— Что ж, возьмем его? — спросил комиссар.

Рахимов пожал плечами. Командир молчал.

— Утро вечера мудренее...— подвел итог Телешов.

Отряд спал. Телешов предложил Чары лечь на солому

рядом с ним, но туркмен отошел в сторону и сел у стены. Часовому было приказано присматривать за ним.

Утром Телешов, как будто все уже было решено, подошел к командиру и спросил, какую лошадь выделить новичку. Командир кивнул на тонконогого красавца гнедого, захваченного вчера у басмачей. Телешов подвел коня к Чары Эсену и сунул ему в руку уздечку. Тот принялся подтягивать высокое туркменское седло, но, заметив серпообразную метку на ухе коня, опустил руку и отошел.

— Что, конь не нравится? — строго спросил Телешов.

Новичок молчал.

— Эх, хорош конек!..

Телешов потрепал гнедого по шее и неожиданно вскочил в седло. Конь сразу заплясал под ним.

Через полчаса отряд на рысях выходил из крепости. В последней паре первого взвода среди желтых кожанок и серых буденовок особистов выделялись черный тельпек[1] и перевязанный платком красный полосатый халат. Молодой туркмен ровно и привычно сидел на кауром иноходце. Бойцы подшучивали над Телешовым, не привыкшим к туркменскому седлу. Чары Эсен не захотел взять даже седло с гнедого.

Когда проезжали через развалины аула, взводный Рахимов попытался заговорить с новичком. Он что-то спросил, указывая на размытые дождями рухнувшие дувалы селения. Но тот молчал, как глухой.

Ишь ты, бирюк!..— сказал кто-то неодобрительно.

Новичок обвел смотревших на него кавалеристов холодным недобрым взглядом.

К полудню третьего дня подъехали к полотну железной дороги и свернули влево. Тут, на маленьком, разбитом снарядами полустанке, размещалась основная база отряда.

Откатываясь под ударами Закаспийского фронта к морю, белая армия разваливалась по дороге. От нее откалывались крупные и мелкие банды. Часть их ушла за горы через границу, другая объединилась с отрядами басмачей, которыми командовали местные феодалы. Для борьбы с белобасмаческими бандами, связанными с заграницей и ставшими серьезной угрозой, выделили несколько кавалерийских отрядов особого назначения. Отряду, которым командовал Пельтинь, было поручено разгро-

[1] Тельпек — туркменская папаха.

мить крупную басмаческую группу и во что бы то ни стало захватить главаря — поручика белой армии Ильясова, или шамурад-хана, как звали его в этих местах. Но Шамурад-хану удалось уйти, и бойцы вернулись на базу угрюмые и злые. В отряде знали, что не пройдет и двух недель, как снова начнутся бандитские налеты на полустанки, поезда и селения у подножия гор, жителям которых не мог простить кровавый хан захвата своих бесчисленных стад.

Сразу по возвращении новичку выдали новое обмундирование: широкие кавалерийские галифе, гимнастерку, кожанку и остроконечную буденовку. Все это взводный Рахимов положил перед Чары Эсеном, или Эсеновым, как записали его в списки отряда. Новичок ничего не говорил и переодеваться не собирался. Только когда взводный коротко пригрозил, что ему придется уйти из отряда, если не наденет обмундирования, Чары Эсен пошел за насыпь и быстро переоделся там.

— Вот теперь кавалерист как следует!..— попробовал кто-то подбодрить его, но тут же осекся под сумрачным, тяжелым взглядом новичка.

В отряде было четверо туркмен. Каждый из них по-своему отнесся к новичку. Взводный Рахимов, серьезный и рассудительный рабочий Кизыл-Арватских железнодорожных мастерских, казалось, не замечал Эсенова. Он никогда не смотрел в его сторону, не делал ему никаких замечаний. Если тот ошибался, взводный подходил, молча показывал, что нужно делать, и Эсенов повторял прием. Этим ограничивались их отношения.

Два брата Оразовы, лихие конники бывшей «дикой» дивизии, брошенные в семнадцатом году Корниловым на красный Питер и распропагандированные в пути, относились к новенькому немного свысока. За их спиной было три года мировой и пять фронтов гражданской войн. Они по справедливости считали, что ничего в своей жизни не видавший чабан из пустыни должен ловить каждое слово. Но Эсенов выказывал к обоим презрительное равнодушие, и они сами скоро перестали обращать на него внимание.

Правда, на пятый день пребывания в отряде, после каких-то шутливых слов одного из братьев, новичок вдруг побелел от гнева, потряс карабином и злобно выкрикнул что-то. Произошло это на плацу за полустанком. Оба брата сразу же подобрали поводья и отъехали от него.

— Что там случилось у вас? — спросил комиссар.

Младший брат посмотрел на старшего. Тот покачал головой.

— Что он кричал? — строго повторил комиссар.

— Не любит он всех в отряде... И нас еще больше не любит...— ответил он наконец.

Сколько ни допытывался комиссар, о чем кричал новичок, братья только вздыхали и молчали.

И лишь четвертый туркмен, разбитной красноводский грузчик-йомуд[1] Мамедов, сразу же резко враждебно отнесся к новичку. Он и не скрывал своих чувств. Уже на второй день явился он к комиссару и заявил, что если они с командиром хотят гибели отряда, то пусть держат змею под халатом.

— Он басмач, враг! — кричал Мамедов.— В этих местах все люди такие. Им старую уздечку нельзя доверить. Из них один только и есть хороший человек — Рахимов...

Когда Мамедов видел Эсенова на плацу, он дрожал от ярости, готов был броситься на новичка, и только авторитет командира и комиссара удерживал его.

Комиссар решил поговорить с Рахимовым.

— Правильно говорят о нем! — подтвердил взводный.— Не любит он нас, ненавидит...

— Так что же делать? — спросил комиссар.

— Ничего не делать... Пусть живет, служит...

Рахимов явно уклонялся от разговора на эту тему.

Неожиданную поддержку получил новичок со стороны командира Пельтиня. Суровый латыш, послушав разговоры о подозрительном поведении нового бойца, вдруг коротко бросил:

— Прекратить!

Бойцы удивленно переглянулись. Командир Пельтинь мог произнести одно слово за целую неделю. А с такими словами считаются.

Потянулись однообразные дни учебы. На рассвете — побудка. До обеда — занятия на плацу. После обеда — стрельбы и политчас.

Ездил и стрелял новичок хорошо. Уже на втором занятии он точно выполнял все сложные кавалерийские команды. Как-то на плацу к Телешову подъехал его старый приятель по Сормову взводный Димакин. Они несколько минут наблюдали, как Чары Эсенов в очередь рубит лозу.

— Уж больно у него выправка гвардейская...— сказал как бы невзначай Димакин.

Телешов нахмурился — он как раз подумал об этом.

---

[1] Йомуды — одно из туркменских племен.

— Я в семнадцатом в Питере одного котика зацепил,— продолжал между тем Димакин.— Сверху армячишко. Бороденка, лапти, как полагается: мужичок с рынка. Только гнуться никак не может, прям уж очень. И смотрю: лапоть-то лапоть, а ногу не сгибает и на всю ступню ставит. Я сам когда-то в лейб-гвардии был... Вот я спереди зашел, вытянулся перед ним и — парадным. Он от неожиданности — раз руку к голове: позабыл, что без погончиков...

Телешов угрюмо слушал. Отъезжая, они с Димакиным перехватили полный ненависти взгляд, каким смотрел на новичка Мамедов. Заметив, что за ним наблюдают, Мамедов выругался и, огрев коня камчой, ускакал с плаца.

Особый отряд был интернациональным. Основу его составляли сормовичи. Кроме них в отряде были мадьяры, чехи, татары, два австрийца и один китаец.. Людям рабочим, им не нужно было особенно хорошо знать русский язык, чтобы понять, о чем говорил комиссар на политзанятиях.

Чары Эсенов на политзанятиях сидел неподвижно, глядя в одну точку, иногда закрывал глаза, будто засыпал. Но комиссар угадывал, что он не спит.

— Ты бы переводил ему понемногу, поговорил бы с ним...— предложил комиссар Рахимову.

— Не надо,— ответил тот и поспешно добавил: — Ему не это нужно, он не хочет слушать...

Комиссар старался разгадать новичка, понять странные отношения, установившиеся между ним и Рахимовым, братьями Оразовыми, Мамедовым, но не мог. Среди русских все было как-то проще.

Не прошло и полумесяца, как в одну из темных ночей была вырезана охрана соседней небольшой станции. Просидевший всю ночь в сухом заброшенном арыке стрелочник рассказал, что среди басмачей он видел двух русских белогвардейцев и Шамурад-хана.

Когда командиру докладывали об этом. Димакин тронул комиссара за рукав и показал глазами на Эсенова. Неизвестно откуда взявшийся в эту минуту, он настороженно стоял у стены полустанка. Заметив взгляд комиссара, Эсенов спокойно повернулся и пошел к конюшням.

— Провалиться мне, если этот парень не понимает по-русски,— сказал Димакин.

Вскоре отряд на рысях шел вдоль линии. Через четыре часа подошли к разбитой станции. Мрачно чернели остовы обгоревших домов. Возле полотна лежали рядышком прикрытые брезентом трупы. Бойцы помрачнели, а новичок равнодушно проехал мимо... Отсюда свернули налево, в пустыню. Вчера только прошел дождь, и следы сотни басмаческих коней оставили четкие отпечатки на серой глине такыра.

До вечера прошли километров тридцать. Привал сделали у самой границы песков.

Костров не зажигали. Молча жевали сухари и курили, прикрыв огоньки полами шинелей. Спали на холодном песке. Кожанки и шинели не могли укрыть от осеннего сырого ветра, и бойцы жались друг к другу.

Комиссару снова не спалось. Он лежал на спине и смотрел в звездное, освободившееся на ночь от туманов небо. И то ли снится командиру, то ли нет, но он ясно видит свою комнату в Канавине, где он жил, бежав из омской пересыльной тюрьмы. В комнате собрались Димакин, Телешов и другие, называвшие его «товарищ Григорий». Распахнулась вдруг дверь, ветром задуло лампу, а Телешов, почему-то уже в кожанке, с маузером на боку, осторожно трясет его за плечо...

— Вставай, Григорий, дело есть!

Комиссар сразу встал на ноги.

— Что случилось?!

— Новенький исчез...— вполголоса сообщил Телешов.

Разбудили командира, обошли часовых. Никто из них не видел Чары Эсенова. Конь его стоял среди других со спутанными ногами.

— Что ж, утром разберемся...— сказал комиссар.

На всякий случай усилили охрану и легли спать. Уже под утро, перед самым рассветом, Телешов снова разбудил комиссара и сообщил, что новичок вернулся. Сделали вид, что никто ничего не заметил, и на заре Эсенов занял свое место в строю.

В этот же день произошла первая стычка с басмачами. Засада Шамурад-хана неожиданно обстреляла разведку отряда. На следующий день завязался настоящий бой. Засев за дувалами возле одного из колодцев, басмачи открыли частый ружейный и пулеметный огонь по наступающему отряду. Кавалеристы спешились. Появились первые раненые.

Задача была ясна. Нужно было охватить противника с фланга, замкнуть кольцо и постараться никого из него не выпустить. Но Шамурад-хан поставил на флангах два пулемета. Кроме того, он выслал по обе стороны в пески мелкие, по три-четыре человека, группы, которые тревожили наступающих

и сообщали о малейшем их передвижении. Шамурад-хану во что бы то ни стало нужно было задержать особый отряд, пока не будут угнаны к дальним колодцам в пустыню захваченные им стада. Именно там решил создать он основную базу для беспощадной, жестокой войны с новой властью.

В самый разгар боя Димакин, лежавший в цепи рядом с комиссаром, указал ему на новичка. Тот неотрывно глядел в сторону неприятеля. Вдруг он начал проявлять беспокойство, то поднимал, то опускал голову, потом встал во весь рост, снова лег и, ухватившись за бинокль Телешова, потянул его к себе. Телешов отдал ему бинокль, и Эсенов стал разглядывать ближайший бархан, который со стороны басмачей господствовал над местностью. И комиссар начал наблюдать за барханом. Он увидел, что там тоже мелькнул зайчик бинокля и на мгновение приподнялась голова в белом тельпеке. Еще кто-то в цепи, видимо, заметил это, потому что в ту же минуту над вершиной бархана взвилось несколько струек песка от ударившихся туда пуль.

Медленно, но упорно продвигались вперед особисты, оставляя в песке длинные взрытые полосы. Песок лез в глаза, рот, уши, набивался в карманы и сапоги. Часа через два Шамурад-хан понял, что колодец ему до вечера не удержать. Оставив небольшой заслон, он начал быстро уходить к северу, в глубь песков. Басмаческий заслон был немедленно сбит, и к вечеру отряд начал догонять банду. Ночью при проверке боеприпасов выяснилось, что Эсенов в этот день не сделал ни одного выстрела...

Весь следующий день продолжалась погоня. Кони еле вытаскивали ноги из сыпучего уплывающего песка. Если бы не прошедший накануне дождь, то двигаться здесь вообще было бы невозможно.

Басмачи явно нервничали. Они бросались то вправо, то влево, стремясь отвлечь отряд от огромной овечьей отары, которую они угоняли в пески. Но следы овец замести было невозможно.

Наутро третьего дня услышали далекую стрельбу. Она продолжалась часа полтора. Подъехав к небольшому такыру, бойцы остановились, пораженные страшным, невиданным зрелищем. Трупы многих тысяч овец устилали поле чуть ли не до самого горизонта. Кое-где слышались еще предсмертные овечьи крики. То один, то другой жирный курдючный баран начинал вдруг биться на земле в предсмертной агонии. Видя, что овец не угнать, басмачи уничтожили всю отару. Вместе с овцами они перестреляли чабанов. Люди лежали среди овец лицом вниз. По окровавленному полю бегали озверевшие лохматые овчарки с обрубленными ушами...

Дальше следы басмачей дробились. Разделившись на мелкие отряды, они разъехались в разные стороны, чтобы через несколько дней вновь собраться на каком-нибудь из дальних колодцев. Операция снова не удалась. Шамурад-хан накапливал силы и не рисковал вступать в открытый бой.

Еще один раз пропадал ночью Чары Эсенов. Случилось это на обратном пути, во время ночевки у заброшенного колодца. Так же, как и в прошлый раз, он ушел, когда все легли спать. Часовые его не видели. Не видели они и того, как ушел вслед за ним Мамедов. Часа через два новичок вернулся. А Мамедов пришел только на рассвете, обозленный до крайности.

Утром Димакин решил переговорить с комиссаром.

— Бойцы недовольны, Григорий. Больно уж носимся мы с этим!..— хмуро сказал он, кивнув в сторону Чары Эсенова.

Комиссар долго смотрел на новичка.

— Не то слово выбрал, Димакин,— сказал он наконец.— Здесь тебе не Сормово, где все уже давно ясно...

— Восточную политику ведешь! — усмехнулся Димакин.

— Что ж, политику... Это ты более подходящее слово нашел,— серьезно ответил комиссар.

На этот раз передышка была еще короче. Уже через два дня после возвращения отряда на базу пришло сообщение о нападении басмачей на большой аул, в предгорьях. На следующий день был обстрелян красноармейский обоз. А еще через два дня басмачи крупными силами напали на соседнюю станцию.

Предупрежденные о приближении Шамурад-хана, путейцы и бойцы железнодорожной охраны укрылись за насыпью и целый день отстреливались от басмачей. К вечеру «кукушка» подвезла два вагона особистов, и банда снова рассыпалась по пескам.

Ясно было, что Шамурад-хан затевает большую операцию. В предгорных аулах появились его агитаторы, которые призывали к священной войне против русских. Когда один старик спросил, почему же в отряде Шамурад-хана есть русские казаки, ему прострелили голову.

На совете командиров и партийцев отряда решено было отойти к аулу, который разграбил Шамурад-хан, и вести оттуда разведку.

Половина кибиток в ауле была сожжена. Шамурад-хан приказал мобилизовать здесь для пополнения своих сил сотню джигитов. Но большинство юношей из аула, узнав об этом, ушли в горы. Тогда басмачи сожгли их жилища и перебили всех родственников.

Отряд расположился в старых байских конюшнях на окраине аула. Оставшиеся в живых жители испуганно шарахались в сторону, когда кто-нибудь из бойцов отряда заговаривал с ними. Шамурад-хан предупредил, что головы полетят с плеч за разговоры с красными. Мрачными ходили по аулу Рахимов, братья Оразовы, Мамедов. А новичок спокойно смотрел на трупы и обожженные камни. Лицо его по-прежнему было бесстрастным.

Нетрудно было заметить, что Чары Эсенова в ауле знают. Жители смотрели на него не то со страхом, не то с тайным почтением.

Под вечер следующего дня, во время чистки коней, к Телешову подлетел Мамедов и зашептал что-то на ухо, указывая камчой в сторону гор.

— Ты не ошибся? — спросил Телешов.

— Не ошибся,— загорячился Мамедов.— Он с обеда собирался... Карабин проверял. Подпруги затягивал. Я давно за ним смотрю!..

По приказанию комиссара, Димакин, Телешов и Мамедов выехали из аула и поскакали к горам. Когда поднялись на первый пригорок, Мамедов показал вперед. В наступивших сумерках ясно был виден всадник, двигавшийся спокойной рысью вдоль ущелья. Подтянули поводья и поскакали вслед за ним. Когда стали нагонять его, Димакин придержал коня и сделал предупредительный знак рукой. Поехали тоже рысью, держались в полукилометре от Чары Эсенова. Луна вставала за их спиной, и он был виден как на ладони.

Так двигались часа полтора. Вдруг на одном из пригорков всадник остановился. Замерли и особисты. Слышался лишь далекий шакалий плач. Чары Эсенов в остроконечной буденовке отчетливо выделялся на пригорке.

Вдали послышался мерный стук копыт. Приближался еще один всадник. Он так близко проехал мимо застывших у подножия скалы особистов, что они ясно видели его лицо под космами белого как снег тельпека. Шагах в тридцати от них он сбросил с плеч чопан[1], вытянулся на стременах и тихо свистнул. Чары Эсенов съехал с пригорка и приблизился к нему. Они, не слезая с коней, стали о чем-то говорить.

Когда Чары Эсенов кончил разговор с неизвестным всадником и они начали разъезжаться, Мамедов огрел камчой коня, гикнул и вылетел из засады. В ту же секунду грохнул выстрел. Всадник в белом тельпеке стегнул коня, и тот, распластавшись, как громадная птица, понес его в степь.

— Стой,— взвизгнул Мамедов и стал посылать вслед бег-

[1] Чопан — туркменская бурка.

лецу одну за другой пули из карабина. Под тем был, видно, добрый конь. Наперерез ему вынеслись Димакин с Телешовым, но он легко проскочил мимо них. Через пять минут уже стало ясно, что погоня бесполезна. Неизвестный всадник растаял в ночной пустыне.

Бросились назад искать Чары Эсенова. Объездили все ближайшие холмы, прочесали долину между ними и, лишь когда начал сереть восток, оставили поиски.

В аул вернулись, когда солнце уже поднималось над горизонтом. Отряд строился повзводно возле конюшен. На левом фланге первого взвода спокойно стоял Чары Эсенов. Конь под ним был, как всегда, вычищен, амуниция в полном порядке... Мамедов, Димакин и Телешов, ни слова не говоря, разъехались по своим местам.

Доложили обо всем комиссару и командиру. Пельтинь лишь хмурил брови. Савицкий задумчиво барабанил пальцами по футляру бинокля.

— Разменять надо... Басмач...— настаивал Мамедов.

Димакин склонялся к тому же мнению. Но комиссар качал головой. Телешову с Мамедовым приказано было не спускать глаз с новичка. Особенно во время боя.

— А разменять в случае чего всегда успеем,— коротко закончил комиссар.

Мамедов даже плюнул с досады.

Уже к обеду Чары Эсенов, или человек, назвавшийся этим именем, стал проявлять беспокойство. Может, раньше этого и не заметили бы, но сейчас бойцы неусыпно наблюдали за ним.

С утра возле сухого арыка шли политзанятия. Новичок сидел, как всегда, с устремленными в одну точку глазами. Когда солнце встало над головой, он поднялся и, никого не спрашивая, пошел к конюшням. Пройдя за ним, Телешов увидел, что он седлает коня.

После занятий Чары Эсенов не пошел к полевой кухне, где бойцам раздавали обед. Он все стоял поблизости от комиссара, время от времени посматривая на восток. Казалось, он чего-то напряженно ждет. Когда, пообедав, бойцы разошлись — кто постирать портянки, кто написать письмо родным,— новичок еще больше заволновался. Раза два он подходил к комиссару и, потоптавшись на месте, уходил...

В полдень прискакал связной и доложил, что басмачи сделали налет еще на одну станцию и взорвали мост через широкий арык, перерезав железнодорожное сообщение. На стан-

ции разграблены два эшелона. То, что басмачи не успели унести с собой, они сожгли. Произошло это на рассвете. Сейчас с востока, в обхват Шамурад-хана, двинулся другой особый отряд. Басмачей нужно было взять в клещи.

Едва завидев связного, Чары Эсенов побежал в конюшню. Еще не было дано сигнала тревоги, а он уже сидел в седле в полном походном снаряжении. Теперь уже и Телешов не сомневался, что дело здесь нечисто. Новичок явно знал о готовящемся нападении басмачей...

На этот раз Шамурад-хану не повезло. Попытавшись уйти с награбленным в восточном направлении, он натолкнулся на отряд, авангард которого уже обходил басмачей с севера, отрезая им отступление в пустыню. Пельтинь двигался с запада. Два взвода под командой Димакина заняли горный проход на юге. Шамурад-хан заметался в кольце.

Банду неуклонно отжимали от гор к полотну железной дороги. Два дня шел жестокий бой у одного из полустанков. Около двухсот басмачей разбежались или сдались в плен. Главари с группой верных им людей бежали к холмам, где и были окружены.

Телешов с Мамедовым ни на шаг не отходили от Чары Эсенова. Как и в первом бою, он на все время не выпустил ни одной пули и опять раза два просил у Телешова бинокль.

Особую нервозность начал проявлять Чары Эсенов, когда стало ясно, что Шамурад-хану вряд ли удастся вырваться из окружения. Несмотря на частый огонь, который басмачи вели из засад на вершинах холмов, он то и дело вскакивал и напряженно всматривался в даль. Он, казалось, был уверен, что пули басмачей его не тронут, и это еще больше укрепило подозрения Телешова.

Во время одной из перебежек Телешов вдруг потерял из виду новичка. Он начал беспокойно оглядываться и тут заметил Мамедова, который что-то кричал, показывая на левый фланг басмачей. Телешов взглянул туда и оцепенел от неожиданности. Прямо у подножия холмов он увидел человека в буденовке. Тот бежал к басмачам, размахивая карабином. Приложившись к биноклю, Телешов узнал Чары Эсенова. В этот момент Мамедов с колена выстрелил по бегущему. Но было уже поздно. Тот прыгнул в какой-то ров и исчез из виду...

Вскоре остатки банды были атакованы с двух сторон. Басмачи встали из-за камней и подняли вверх руки. Их оказалось шестьдесят человек. Пленные были тут же обезоружены

и выстроены. Рахимов с двумя дайханами из разоренного аула прошел по рядам, заглядывая каждому в лицо, Шамурад-хана среди пленных не было. Не нашли особисты и нескольких его приспешников, в том числе двух русских и одного англичанина, которые, по совершенно точным сведениям, находились в банде.

— Где Шамурад-хан?..— Мамедов бросался от одного пленного басмача к другому. Он встречал равнодушно тупые, усталые взгляды. Лишь один из них, рябой детина со злыми глазами, коротко бросил:

— Нет Шамурад-хана, улетел!..— И насмешливо показал на небо.

Тогда вмешался Рахимов. Он приказал увести рябого и стал по одному опрашивать остальных. В отсутствие рябого пленные стали отвечать. Выяснилось, что Шамурад-хан приказал держаться до последнего, а сам с группой главарей ушел по высохшему руслу ручья, который от холмов прорезал долину. Рябой дал приказ усилить в этот момент огонь.

На вопросы о перебежчике в буденовке басмачи ничего определенного не сказали. Только один из них как будто видел, что тот тоже пошел вниз по ручью с Шамурад-ханом...

Группой, которая отправилась в погоню, командовал сам комиссар. Уже через двадцать шагов на дне оврага заметили следы подков нескольких лошадей. Проехав оврагом около двух километров, у выхода из него наткнулись на двух красноармейцев соседнего отряда. Один из них был мертв, другой оглушен. Оглушенный уже приходил в себя и, когда Телешов вылил ему баклажку воды на голову, совсем очнулся.

Он рассказал, что его с товарищем оставили здесь для наблюдения за местностью. Они слезли с коней и спокойно следили за боем на холмах. Вдруг из оврага выехали несколько всадников в тельпеках и начали стрелять по ним. Товарища в перестрелке убили, а он успел поймать коня и только хотел вскочить в седло, как кто-то дернул у него повод. Обернувшись, он увидел чернявого парня в буденовке, но повода не отдал. Тогда тот огрел его прикладом по голове, и он потерял сознание...

Следы еще некоторое время вели к северу, потом начали забирать к западу и наконец повернули в юго-западном направлении. Шамурад-хан явно хотел скрыться в горах. Басмачи, видно, очень торопились. Взрытые следы копыт говорили о том, что коней гнали галопом. Через полчаса прямо на пути заметили валяющийся бинокль. Видно, кто-то из басмачей уронил его, но так спешил, что не остановился поднять...

Еще через час увидели труп басмача в тельпеке и халате. Он

был убит выстрелом в лицо. Рядом лежал его винчестер. Шагов через триста наткнулись на другой труп. Под буркой на нем виднелся офицерский мундир.

Уже в предгорьях обнаружили сразу два трупа. Басмачи лежали недалеко друг от друга, оба простреленные в грудь навылет. В одном из них узнали англичанина, которого давно уже искали особисты.

Пятый труп нашли возле ущелья. В груди его торчала рукоятка прямого туркменского ножа. Мамедов соскочил с коня, вырвал нож и с явным удивлением принялся рассматривать рукоятку. Потом он обтер нож полой халата убитого и спрятал его в карман... В убитом опознали ближайшего помощника Шамурад-хана.

Дальше следы пошли вдоль цепи гор. Показались развалины аула и старая полуразрушенная крепость на кургане. Следы вели прямо туда...

Въехав в источенные временем ворота, увидели еще двух убитых. Один, в красном халате, лежал лицом вниз. Другой — это был Чары Эсенов — лежал на спине с двумя пулевыми отверстиями в боку и в груди. По краям раны на груди опалилась гимнастерка: выстрел был сделан в упор. Глаза были заклеены зеленой от наса слюной.

Все спешились и стояли вокруг убитых. Молчание нарушил Мамедов. Он вынул из кармана найденный нож и положил возле Чары Эсенова.

— Это его нож...— тихо сказал Мамедов и отошел в сторону.

Телешов вдруг нагнулся, стал на колени и приложил ухо к груди Эсенова.

— А ведь он, братцы, еще дышит!..— дрогнувшим голосом сказал Телешов.

Глава вторая

Буйная зелень раньше всего пробивается между камнями Карры-кала[1]. Еще жмутся к Копетдагу гонимые ветром с севера орды угрюмых туч, а уже нет-нет да прорвется между ними яркий столб солнечного света. И склоны старой крепости покрываются кудрявым зеленым каракулем.

А еще через несколько дней, когда отгремят последние ливни, вся пустыня, насколько хватает глаз с высокой крепостной стены, превращается в бескрайнее зеленое море. Оно шумит и волнуется. Кто назовет сейчас эту степь пустыней, а тем более Черными Песками?!

---

[1] Карры-кала — старая крепость.

В одно голубое утро цвет степи меняется, как в сказке. Она становится багряной, кроваво-красной. И старая бабушка Аннагуль, кряхтя и охая, взбирается на крепостной вал и долго глядит вдаль неподвижным зорким взглядом. Отсюда кажется, что какой-то сказочный див вылил в пустыню живую горящую кровь, плеснул ею на скаты кургана, облил горные склоны.

Каждую весну приходит сюда Аннагуль в день цветения маков и тюльпанов. Потом, когда солнце выжигает степь, превращает ее в пустыню, Аннагуль сидит за ковровой рамой вместе с внучкой Бибитач. А когда пустыня становится белой от мягкого мокрого снега, приезжает торговец Ибрагим.

— Ибрагим — свой человек. Он, слава Аллаху, дает за ковер шерсть, краски и списывает с семьи часть старого долга в сто двадцать рублей, которые взяли они в год удачной покупки жены для ее сына Эсена.

Не один торговец Ибрагим был хорошим человеком. Первый защитник рода людей, живущих у Карры-кала,— всеми уважаемый и почтенный Ильяс-хан. Он богатый, очень богатый и значительный человек. Не раз приезжал к нему в гости пристав. Два раза он принимал у себя самого начальника области, когда тот с группой офицеров объезжал границу. Для русских гостей в его желтом каменном доме отведены отдельные комнаты с кроватями, диванами и столами. Сам же он простой, хороший человек и, не в пример многим другим богатым людям, принимает с почетом каждого, кто приходит к нему в дом.

Рвутся на толстой цепи звероподобные собаки. Сам Ильяс-хан выходит унять их и сердечно здоровается с Эсеном. После установленных приветствий он приглашает его в дом, и тот, снимая чарыки, заходит. Снимает свои маленькие галоши и Чары.

— Большой у тебя джигит! — хвалит его Ильяс-хан.

Эсен, рослый широкоплечий мужчина, смущенно улыбается. Он очень любит своего младшего сына. Старший, Берды, уже вырос и сам скоро станет хозяином. Кстати, о нем-то и пришел говорить Эсен.

Но начинать разговор рано. Они сидят и беседуют о самых различных вещах: о последних скачках на празднике, о новом ишане, что приехал вместо умершего, о том, что падают нравы и находятся уже люди, которые забывают старые обычаи.

— Все это с тех пор, как пришли русские! — вздыхает Ильяс-хан. Он не любит русских, но говорит, что нужно уметь с ними ладить. Поэтому и отправил он своего младшего сына Шамурада в Петербург, где он учится на офицера вместе с сыном самого начальника области. Шамурад ему рассказывал, что два раза видел самого царя...

Входит Мухамед, старший сын Ильяс-хана. Говорят, он пьет водку и гуляет в городе с русскими женщинами.

Не в отца пошел Мухамед-хан. Он едва поздоровался с гостем и, даже не взглянув на него, сел в углу прямо на подушку. Лицо у него зеленое. Ночью его привезли со станции еле живого от Белого Мамеда, как называют в ауле русскую водку.

Не любит Мухамед-хан кулов. Он считает, что иг[1] не должен даже рядом сажать возле себя полукровок. Их всего пять семей в ауле — чистых игов, и они быстро потеряют авторитет, если будут якшаться с кулами. Так, пожалуй, дойдет до того, что какой-нибудь кул захочет взять в жены девушку из семьи игов, как случилось в соседнем ауле. Но там быстро осадили наглеца. Воспитанные кулы сами знают свое место в жизни. Тем более должны знать его иги.

Ильяс-хан не спорит с этим. Но он мудр и считает, что лаской и хорошим обращением всегда большего добьешься, чем криком и угрозами. Вот, например, Эсен. Он знает и понимает, что Ильяс-хан неизмеримо выше его не только потому, что богаче, но и потому, что Ильяс-хан — иг. И любое слово Ильяс-хана — закон, которого Эсен никогда не переступит. А хорошим обращением укрепишь это уважение.

Сначала пьют геок-чай. Потом Курт, счетовод Ильяс-хана, вносит в большой глиняной миске шурпу[2]. По указанию хозяина он специально для маленького Чары приносит желтовато-коричневый сахар. Хозяин с гостем выкладывают на лепешки куски мяса и начинают есть шурпу деревянными ложками. Мухамед-хан не ест.

Снова пьют чай. То, что осталось в миске, передается для женщин, на их половину. Не потому, что у Ильяс-хана мало шурпы — так требует старый закон.

Теперь можно поговорить и о деле. Эсен начинает издалека. Он говорит о своей семье. Не дал Аллах ему возможность иметь двух или трех жен, а дал одну. Но он доволен ею. Она родила ему двух сыновей и лишь одну дочку. Два сына — это не так много для мусульманина, но и на том спасибо. Каждый корень пускает побеги. Даже колючка в пустыне и та разбрасывает семена.

Долго говорит Эсен. Терпеливо слушает его Ильяс-хан. Он знает, зачем тот пришел к нему. Недаром каждое утро услуж-

---

[1] И г и — потомки завоевателей, некогда пришедших из северных степей и покоривших оседлое земледельческое население оазисов в Каракумах. К у л ы — потомки древнего населения этих оазисов, смешавшиеся с победителями.

[2] Ш у р п а — бульон из баранины.

ливый Курт докладывает ему не только о его делах, но и о делах каждого жителя аула.

Все законы вежливости соблюдены. Можно переходить к самой сути. И Эсен говорит о том, что пора ему женить старшего сына — Берды. Не говоря уже о том, что ему минуло двадцать лет, их семья нуждается в воде. Достойный Ильяс-хан ведь знает: норма воды стала в два раза меньше, чем в старые годы. Ее едва хватает на огород и десяток лоз винограда. О пшенице и говорить не приходится: нужно покупать. А семья у Эсена немалая. Более зажиточные люди в ауле женили своих сыновей сразу после их рождения и тут же стали получать на них «никах-су» — норму воды на женатого человека. Но у него после рождения сыновей не было денег на покупку для них жен. Если вода вздорожала вдвое, то и жена, приносившая с собой в семью лишнюю долю воды, тоже вздорожала вдвое...

Но сейчас уже деваться некуда. Он, Эсен, не бедняк. У него есть собранные им и старой Аннагуль сто двадцать рублей, есть десяток баранов. Если достать еще рублей сто пятьдесят, можно купить неплохую девушку. Шахскую дочь на эти деньги, конечно, не купишь, но им ее и не надо.

Ильяс-хан прекрасно знает, в каком ауле и у кого собирается приобрести жену для сына простодушный Эсен, но он молчит и сосредоточенно о чем-то думает. Эсен — воспитанный человек. Он ждал ответа с видимым равнодушием.

Ильяс-хан наконец берется рукой за бороду.

— Вот какой ответ я дам тебе, Эсен. Другому, может быть, и не дал бы я денег. Но тебя я знаю и уважаю. Ты человек достойный доверия. Можешь взять эти деньги, и да поможет тебе Аллах в твоих начинаниях.

Ильяс-хан делает знак рукой Курту, и тот приносит из другой комнаты сто пятьдесят рублей. Пока он ходит за ними, все молчат. Хозяин берет их у Курта и передает Эсену. Тот с почтением принимает двумя руками зеленоватые бумажки. Завязывает их в платок и кладет за пазуху праздничного халата.

— А условия мои не трудные,— продолжает Ильяс-хан.— Эти деньги будут платой за ту долю воды, что получишь ты на жену своего сына. Считай, что ты продал мне эту воду.

— Но ведь по адату нельзя человеку продать отпущенную ему воду,— говорит смущенно Эсен, но тут же спохватывается и опускает голову. Ему становится мучительно стыдно. Он просто забыл, что в последние пять лет Ильяс-хан скупил половину воды у жителей аула. Не подумав, он невольно обидел хозяина в его собственном доме.

Ильяс-хан читает мысли гостя. Он ободряюще треплет Эсена по плечу.

— Этот старый закон до сих пор неправильно толковали,— говорит он ласково.

Эсен задумывается. Что же они будут делать в увеличенной семье без той доли воды, на которую они так рассчитывали? Но Ильяс-хан успокаивает его.

— Я дам тебе свою землю и воду в пользование,— говорит он.— А ты будешь сеять, что я скажу, и половина полученного тобой будет моя. Лет за пять подработаешь деньги и купишь лишнюю долю воды. И Аллах не все создавал сразу...— Ильяс-хан долгим оценивающим взглядом смотрит на мальчика, прижавшегося в углу.— Сколько ему лет?

— Десять, яшули[1],— отвечает отец.

— Что ж, пусть пойдет помогать моим чабанам, и каждый год в моем стаде будет прибавляться по три твоих овцы. А там и его, молодца, женим...

Небо белое-белое, а песок такой горячий, что даже собаки не рискуют на него ложиться. У собак квадратные морды, обрубленные уши и хвост и такая густая шерсть, что самому зубастому волку не добраться до шкуры. Волки и не пытаются этого делать. Волчья голова вся без остатка спрячется в страшной пасти чабанской овчарки. Редкий барс отважится выйти против нее один на один.

Собакам не нужно подниматься на бархан, чтобы увидеть чужого. Они и без того узнают о его приближении за много верст. Пустыня вокруг пахнет лишь высохшей до звона колючкой и овечьим пометом. Любой посторонний запах заставляет собак глухо ворчать.

Огромная отара рассыпалась по пустыне. Кажется, что могут найти здесь овцы, среди раскаленной пыли и безжизненных, мертвых колючек? Но к осени они нагуливают такие курдюки, что им трудно двигаться.

На песчаном пригорке воткнута в землю длинная палка. На ней висит старая кошма. В тени ее на другой кошме сидит старый Аллаяр и пьет чай. На нем толстый стеганый халат и густой тельпек, которые спасают тело от жгучего воздуха пустыни. Когда-то и он бегал в одних штанах, не боясь солнца, как делает это Чары. И у него было ловкое загорелое тело. Таким же мальчиком купил и отправил его в пустыню дед Ильяс-хана, и с тех пор он не покидает ее... Годам к сорока отец Ильяс-хана купил ему жену: одноглазую, рябую и злую, как дух тьмы. Но, видно, продешевил хозяин. Через два года она умерла. Аллаяр

[1] Яшули — обращение к старику и уважаемому человеку.

прожил еще сорок лет, но больше никогда уже не просил хана о новой жене.

Мальчик подбегает к старику и просит разрешить ему съездить на коне в соседнюю отару... Быстрее ветра летит тонконогий ахальский конь. А Чары видит себя то Кеймир-Кером[1], то грозным, непобедимым сердаром разбойников из старых сказок.

Ох эти сказки!.. Каждый вечер, когда большой красный шар солнца касается земли, высокие темные столбы встают над пустыней. Издали кажется, что невиданные пожары охватили весь горизонт. Но это не дым. Это высоко в небе стоит в неподвижном воздухе черная каракумская пыль, поднятая многими тысячами острых овечьих копыт. Неистово блея, валит к воде овечья стена. В двух шагах ничего не видать. Горло, нос, уши забиваются сухими непробиваемыми пробками.

А вот и колодец. Глубину его легче всего измерить по узкой верблюжьей тропе. С восхода до заката ходит по ней впряженный в веревку тощий, облезлый верблюд. Никто не смотрит за ним, никто не направляет. Вот он идет от круглой дыры в песке: двадцать шагов, тридцать, сто, сто пятьдесят, пока не показывается из колодца пузатый кожаный мешок. Булькая, течет прозрачная вода в деревянный желоб. Верблюд знает, сколько нужно на это времени. Вот он уже идет обратно. Тонкая веревочная змея локоть за локтем исчезает в колодезной яме. И так все время: туда и обратно, туда и обратно.

Сухой воздух пустыни свободно пропускает звездный свет. Поэтому небо здесь кажется темнее, а звезды ярче и ближе. И до глубокой ночи с другими чабанами слушает мальчик сказки старого Аллаяра о злых падишахах, бедных влюбленных, горячих сердцах и мудрых хитростях вечно юного бедняка поэта...

Зимой холодный мокрый ветер гонит по пустыне низкие туманы. Они насквозь пронизывают старый чопан, обнимают посиневшие голые ноги в размокших от грязи чарыках. И негде укрыться от беспощадного порывистого ветра, проникающего, кажется, в самое сердце...

Пять лет пасет уже Чары хозяйских овец. Он вытянулся, стал почти взрослым. Исчез из глаз веселый, живой огонек: Черные Пески с детских лет приучают быть молчаливым и замкнутым.

А дома плохо. Вчера только приехал с колодцев Чары и не узнал родной кибитки. Три года подряд был неурожай. Хозяин в последнее время заставляет своих арендаторов сеять

[1] Кеймир-Кер — герой туркменских народных сказаний.

один лишь хлопок, а его почти начисто выедала тля. Потом пошел мор на овец. Прошлой зимой, закончив последнюю стежку на громадном ковре, тихо скончалась старая Аннагуль. Денег теперь ждать неоткуда. Но хуже всего с водой. Все меньше становится су — норма воды на кибитку. С тех пор как пришли русские, кончились войны. Сеять стали больше, а воды не прибавилось. Из соседних аулов власти переселили уже часть людей в другие края...

Еще раз идет к Ильяс-хану Эсен, взяв с собой младшего сына. Все повторяется, как в прошлый раз. Таким же приветливым и добродушным остался хозяин. Он нисколько не переменился за эти годы. Все то же расположение светится в его глазах. Зато переменился Эсен. Плечи его теперь сильно согнуты, а борода поредела и побелела. Снова идет разговор о старых обычаях, о добрых временах, когда жить было легче. Снова едят шурпу. Только Чары замечает, что, когда отец берет мясо, руки его дрожат, а во взгляде светится голодная жадность.

Замечает это и хозяин. И когда речь заходит о делах, он предлагает Эсену самый простой выход из положения. Пусть продаст ему, Ильяс-хану, право на свою последнюю долю воды. Хан не даст ему умереть с голоду. Всей семье Эсена найдется что делать в хозяйстве Ильяс-хана.

Опустив голову, долго думает об этом страшном предложении Эсен. Но хозяин легко развеивает его сомнения. Когда улучшится положение и у Эсена появятся деньги, он легко выкупит обратно свой су...

Слова отца слышит появившийся на пороге Мухамед-хан. Он раскатисто смеется и, не здороваясь, уходит обратно. Старший сын хана теперь всегда пьян...

Через неделю Чары снова в песках. Летом его опаляет горячий, как из тамдыра, ветер пустыни, и поднятая овцами пыль заслоняет от него свет. Зимой он дрожит от стужи и сырости. Но теперь ему легче переносить все это. У Чары появился друг — смелый и отзывчивый Таган, внук брата старого Аллаяра. Они похожи друг на друга, Таган и Чары, им нельзя было не сдружиться. Оба они пасут тех же овец, оба едят одну лепешку и оба слушают сказки старого чабана.

Для кого это сказки, а для них — вся жизнь, великолепная, огромная, сверкающая изумрудами халифских дворцов, пленительными улыбками шахских дочерей и эмирских наложниц. И они мечтают о том времени, когда подрастут и с шайкой верных друзей-разбойников уйдут на быстрых, как ветер, конях

в смелый аламанский[1] набег. И откроются перед ними халифские клады сокровищ, будут робко и застенчиво улыбаться им шахские дочери, а они, гордые, непобедимые,с нескончаемым караваном награбленного добра, вернутся в родной аул. И все будут удивляться их силе и храбрости и будут с почтением кланяться им. Даже сам Ильяс-хан с сыновьями...

Не смог уже больше вернуть свою воду Эсен. Два года он кое-как перебивался. Но на третий год случилось непоправимое.

За неделю до этого коровы и овцы стали проявлять беспокойство. Собаки тоскливо выли, повернув к юго-востоку лохматые головы. Тревожно посматривали туда и люди. Самые невероятные слухи бродили по предгорным аулам.

Буря налетела неожиданно, среди бела дня. Могучее черное облако грозной тенью надвинулось на солнце. Стало темно и страшно. И в ту же минуту сотни тысяч тонн мягкой зеленой слизи обрушилось на поля, сады и виноградники.

Эсен со старшим сыном, женой, невесткой, дочерью и внуками метались у хлопкового поля. Они жгли сухой бурьян, пускали в канавы воду. Но неумолимая свирепая масса в пять минут засыпала все. Зашипели и погасли костры. Всепожирающая саранча навалилась на узкие зеленые полоски. На глазах оголялись ветви. От развесистых свежих кустов оставались лишь прутья, негодные даже на то, чтобы истопить тамдыр.

Но его и не нужно будет топить. Не к чему будет примешивать растущую в заброшенных арыках и вязнущую на зубах траву, которую вот уже два года мелко рубит и запекает в лепешки жена Эсена, верная и работящая Нургозель.

И на этот раз не оставил в беде, выручил Ильяс-хан. Он дал денег и муки. Но закон есть закон. Недаром тысячи лет назад его устанавливали мудрые предки. Взявший в долг и не вернувший в срок обязан со всем своим родом бесплатно работать на того, кому он должен. Рабство длится до тех пор, пока сполна с процентами не будет заплачен долг... Уже следующей весной вся семья Эсена сажала хлопок на хозяйском поле. И уже не половина, а весь урожай шел Ильяс-хану. Год был удачный, и они почти сполна расплатились за наросшие за зиму, весну и лето проценты.

Совсем не узнал сына Эсен, так переменился и возмужал Чары. Он стал крепким и стройным джигитом, с красивыми серьезными глазами... И Чары, приехав из песков, не узнал отца.

---

[1] Аламаны — разбойники, нападавшие на соседей с целью грабежа и кражи женщин. Аламаном также назывался самый набег.

Согнутый седой старик кряхтел, охал и все жаловался на боль в пояснице и в ногах, которые так много ходили по топкой грязи политого поля.

В семье оставалась единственная надежда. Пятнадцатый год уже живет на свете дочь Эсена — красавица Бибитач. Немалый калым можно получить за такую девушку, и это, как думает отец, может поправить дела. В соседних аулах знают о красоте Бибитач. Два раза уже приходили с предложениями к старому Эсену. Но он отговаривался, боясь продешевить. Да и не в каждую семью можно продать девушку из их рода!

Наконец он согласился. Жил в соседнем ауле дальний родственник Эсена — Овезкурбан, состоятельный и уважаемый человек. Он собирался женить своего единственного сына — Халлы. Несколько раз приезжал он на белом ишаке к Эсену и вел переговоры, к которым допускались и жена Эсена — Нургозель. В один из таких приездов позвали Бибитач и надели ей на шею кольцо из тонкой серебряной проволоки. Отныне она считалась обрученной, и если должна была кому-нибудь принадлежать, то только Халлы или Богу. Горе ей, если будет нарушен этот договор. Горе тому мужчине, кто посмеет нарушить его!

Началось все с того, что шла Бибитач по тропинке с поля и несла на голове миску с зернами молодой джугары. Сзади послышался мерный лошадиный топот. Нельзя женщине идти по дороге впереди мужчины хотя бы за сто шагов. Девушка сбежала с тропинки и взяла в рот край платка.

Но всадник не проехал мимо. Он тоже свернул с дороги и наклонился к Бибитач. От него пахнуло перегаром. Лишь на миг подняв длинные ресницы, она увидела мутные, с кровяными прожилками глаза Мухамед-хана. Ничего не сказал ханский сын. Лишь тронул камчой коня и поехал дальше.

Недели через две праздновал Ильяс-хан приезд на побывку младшего сына. Ловкий и исполнительный, Шамурад-хан, несмотря на молодость, получил уже чин гвардейского поручика и состоял в личной охране дворца. По старой романовской традиции, приближали к себе цари княжеских, эмирских и ханских сыновей.

Большой той устроил старый хан. Было чинно и тихо, пока не приехали со станции городские друзья Мухамед-хана: несколько молодых офицеров, господин пристав и трое сыновей самого богатого в области купца. Ящик за ящиком вносились в комнаты. Пустые бутылки выбрасывались прямо из окна.

Вечером озверевший от водки Мухамед-хан заявил, что ему не хватает женщины и он должен немедленно ехать на станцию и в город.

— Неужели не завели себе здесь штучки?.. Не верю-с... Не верю-с!..— Толстый и самодовольный господин пристав погрозил пальцем Мухамед-хану.

Тот вдруг вспомнил о чем-то и, шатаясь, пошел к выходу. За ним по его знаку вышел ханский счетовод Курт.

В ауле почти все уже спят. Только женщины кое-где заканчивают домашнюю возню. Не спит и Бибитач. Большой трехведерный кувшин с надбитым горлышком стоит в углу глиняной мазанки. За день накаляются горы и воздух. Тяжело становится дышать даже в густой тени. А кувшин в сыром углу сохраняет воду прохладной и чистой. Но заполнять его нужно с вечера. И, взяв другой кувшин поменьше, идет Бибитач к потоку.

На самом краю аула живет семья Эсена. Шакалы порой дерутся за отбросы у самой кибитки. Мимо оставшихся еще у них шести лоз винограда идет за водой девушка в тень шелковицы, растущей возле потока.

Спокойно шелестят кусты. Бибитач наклоняется к воде. Тихим звоном отвечает кувшин на удар холодной струи. Все глуше становится этот звон, пока совсем не замирает. Ловким движением вытаскивает девушка полный кувшин. И в этот момент ее хватают сильные руки. Она вскрикивает. Но большая рука с платком зажимает ей рот, нос, глаза. Ее бросают через седло, и она теряет сознание от удушья.

Просыпается она от предутреннего холода и видит вокруг темнеющие громады башен. Бибитач встает, придерживает на себе изорванное в клочья платье, выходит из старой крепости и медленно спускается к дому. Она не заходит ни в мазанку, ни в кибитку, а забивается в проход между кучей сухой колючки и стеной сарая. Там она дожидается первых лучей солнца. Ласково согревает оно остывшую за ночь землю, брызжет ослепительным светом на деревья, траву, овец, собак. Не всходит оно для одной лишь маленькой девочки Бибитач...

Отец, согнувшись, проходит в сарай. Суровый и замкнутый, берет он кетмень, лежащий возле колючки, но не видит ее... Он знает, что она здесь, та, что звалась его дочерью и даже носила женское имя. Но он уже знает и то, что произошло этой ночью. У него уже нет дочери. Нет ее и у Нургозель, как нет сестры у Чары и Берды. Законы Черных Песков неумолимы... Понимает

это спрятавшая в коленях голову и закрывшая ее обеими руками Бибитач. Поэтому она ни на что не жалуется и только тихо, про себя, стонет...

В разговорах, которые пошли по аулу, был упомянут Сангар даш — Камень проклятия. Виновата девушка или нет — неважно. Договор обручения нарушен — земля и небо должны отвернуться от нее.

Под вечер вышел из своего большого дома Ильяс-хан. Медленной, степенной походкой идет он по аулу, вежливо здороваясь со встречными. Провожаемый любопытными женскими взглядами, тяжело поднимая ноги из пыли, направляется старый хан к жилищу своего должника и батрака Эсена.

Пригнувшись, входит он в кибитку. Хозяин молча указывает ему место на кошме. Потом Эсен выходит и что-то говорит старшему сыну. Через несколько минут бьется в предсмертных судорогах последний баран, оставшийся у семьи. Перед гостем ставят полную миску жареного мяса, ломают и кладут половинки только что испеченных лепешек. Хозяин съедает первый кусок и больше не ест. Гость съедает два-три куска и тоже отстраняется. Он пробует завязать разговор, но хозяин молчит. Ни слова не слышит от него Ильяс-хан, кроме приглашения есть. Озабоченный, но внешне спокойный, покидает хан кибитку Эсена...

А Бибитач уже не живет на этом свете. Только руки ее еще шарят каждую ночь в отбросах, чтобы продлить ток крови в теле до тех пор, пока совершит она предрешенное. Каждую ночь приходит к сарайчику высокий суровый старик с длинной бородой и направляет ее мысли. Он говорит страшные слова, и, сжавшись в комочек, слушает его девочка. Она готовит себя к необыкновенному дню.

И день этот наступает. С утра, когда все уходят в поле, она собирает у кибитки обрывки старых тряпок и ваты. Все это она навязывает на свое худое, грязное, посиневшее от холода тело. Дико спутаны ее черные волосы. Добела сжаты губы.

Еле хватает в тоненьких руках сил поднять над головой большой жестяной бидон. Противная желтая струя бьет ей в рот и уши, ослепляет и оглушает ее. Ничего, это недолго... Шатаясь, подходит она к горке высыпанных из тамдыра углей и тычет туда кусок ваты...

Страшный живой факел загорается над аулом. Ветер рвет

и гонит поверху клочья синего дыма. Дикий, заставляющий дрогнуть и каменное сердце вопль проносится над полями, перелетает стены крепости, достигает гор, ударяется о них и катится над пустыней. Факел бежит через поле, падает и догорает куском черного спекшегося мяса...

А на следующую ночь пропадает из дому старший сын Эсена — Берды. Не ночует дома и Халлы — человек, кому предназначалась в жены Бибитач.

Еще через день привозят Ильяс-хану труп его старшего сына. Сердце его насквозь пробито длинным туркменским ножом. Нашли Мухамед-хана недалеко от станции.

В эту же ночь исчезает из аула семья Эсена. На месте, где стояла его кибитка, валяются лишь старые тряпки и обрывки веревок. Неизвестно, где взял Эсен верблюда, но крупные верблюжьи следы ведут от покинутого дома в пески. По этим следам и бросился десяток всадников во главе с поручиком Шамурад-ханом.

Чары торопит коня. Тревожное предчувствие стискивает грудь. Конь выносит его на бархан и вдруг оседает назад, беспокойно поводя ушами. Справа слышатся выстрелы и одинокий крик. Конь заржал и тронулся. Где-то рядом ему отвечает другой конь. Вот и сам он вылетает из-за бархана и галопом несется к такыру...

Но что это? На длинном ремне волочится за белым красавцем конем человеческое тело. Не думая, гонит вслед своего коня Чары и с налету острым, как бритва, чабанским кинжалом перерезает ремень.

Человек связан по рукам и ногам. Чары разрезает кожаные путы и поворачивает труп на спину. Пустыми кровавыми глазницами смотрит в синее небо старый Эсен, его отец.

Минуту, час или день сидит Чары над мертвым отцом, он не знает. Кто-то трогает его за плечо. Вздрогнув, он медленно поворачивает голову и видит морду белого коня, вернувшегося к своей страшной ноше. На ухе белого — косой серп. Такая ж метка на ухе коня Чары. Ведь кони чабанов тоже из ханских табунов...

Чары молча укладывает труп отца на высокое степное седло и тихо едет рядом. Следы белого коня приводят к высохшему озеру. Ровным ослепительным блеском сверкает на солнце соль. Прямо на белой ее пудре лежит убитый верблюд. Рядом валяются поломанные стойки кибитки, черепки разбитой посуды, старый почерневший казан. А вокруг лежит весь род Чары.

Стянутый ремнями труп Берды, догола раздетая и окровавленная его жена, двое мальчиков с переломанными спинами и старая Нургозель с рассеченной надвое головой. Высоко в небе парил над пустыней белоголовый когтистый гриф...

Сбылись мечты юности. В смелый аламанский набег идет джигит Чары. Полсотни крепких, выносливых коней поднимают пыль над пустыней...

Не помнит он, сколько дней и ночей провел на соленом озере. Ганлы — долг кровью до седьмого колена — будет платить ему род Ильяс-хана. Иначе Чары недостоин будет ходить по земле, дышать, смотреть на небо, называться мужчиной. Закон Черных Песков ждет от него, единственного живого представителя рода, получения кровавого долга от рода врага. Отныне не съест он куска хлеба спокойно, не выпьет спокойно глотка воды, пока собственной рукой не зарежет последнего представителя рода Ильяс-хана. А последний представитель этого рода — Шамурад-хан...

Большую облаву устроили на Чары родственники и приспешники Ильяс-хана. Все в ауле понимали, что, пока жив сын Эсена, не может спокойно ходить по земле ни один человек из ханского рода.

Два раза стреляли в Чары, когда он прятался в горах. Один раз чуть не убили его на пороге кибитки старого друга их семьи. И Чары пришлось на время уйти из этих мест.

В соседних краях связался пастух Чары с бандой лихих аламанов. Далекий поход через пустыню на север задумали они. И вот, растянувшись длинной цепочкой, уже скачут через Черные Пески аламаны.

Скачут день, другой, третий... И вот уже усталые до смерти кони еле вытягивают ноги из плывущего песка. Уже кончилась вода в притороченных к седлам кожаных хуржумах, уже видятся им за каждым барханом бескрайние водные глади.

В темную беспросветную ночь доскакали до цели аламаны. Жарко пылают в ночи сухие кибитки. Стон, плач, дикие, истошные вопли. В щепки разбиваются раскрашенные плоские сундуки, вытряхиваются из них праздничные халаты, кетене и серебряные браслеты, бросаются поперек седел рыдающие женщины... А мужчинам нет пощады. Чем больше останется здесь трупов, тем меньше всадников уйдет в погоню за аламанами. И со свистом падают удары направо и налево.

Лежит с рассеченной головой полураздетый дайханин, рядом валяются два его мертвых сына. А там, вдоль горящих кибиток, несется всадник, волоча на аркане задушенного старика.

Нет, не такими представлял себе Чары смелых аламанов,

когда слушал у колодца сказки старого Аллаяра! И, закрыв лицо руками, без дороги скачет он от пожаров, крови и проклятий прямо в ночную тьму. Скачет, сам не зная куда, лишь бы уйти поскорее от этой страшной ночи...

Глава третья

Веселый усатый хирург Демидко в ярко-красных щегольских галифе носит в боковом кармане гимнастерки две пули, вынутые из тела Эсенова. Пули у него хранились во всех карманах. Когда раненый выздоравливал и выписывался, Демидко вручал ему на память маленький кусочек металла, выплавленный чаще всего на заводах Бирмингема.

Но особисту Эсенову еще не скоро выписываться: пуля прошла на полпальца от сердца. Только сегодня он пришел в себя.

Сестра милосердия сидела, свесив побелевшие за зиму босые ноги с порога санитарной теплушки, и задумчиво глядела на мятежное весеннее небо. Вдруг она почувствовала на себе упорный взгляд. Только один раненый, самый тяжелый, остался у них с последнего басмаческого набега. Обернувшись, сестра увидела, что он смотрит на нее в упор серьезными немигающими глазами. От неожиданности она растерялась, и они с минуту молча смотрели друг на друга.

— Ну вот видишь!..— сказала она ему, как будто он о чем-то спорил с ней. Когда сестра подошла, раненый закрыл глаза.

Чары всей грудью вдохнул свежий весенний воздух и сразу открыл глаза. Через прорезанные в стенах закрытые марлей окна лился ровный дневной свет. А в раздвинутую настежь дверь теплушки вырвалось яркое солнце и буйные запахи цветущей степи... Свет ослепил его. Он на миг зажмурил глаза, но, испугавшись, что снова вернутся мучившие его сны, быстро открыл их. В два ряда стояли восемь, крытых белым, упругих кроватей с никелированными шарами, реквизированных в одном из веселых домов Ташкента. Прямо перед дверью стоял крепкий дубовый стол из конторы торгового дома братьев Чибисовых, на котором усатый Демидко делал свои операции. А в дверях спиной сидела женщина. Волосы у нее были темно-русые. Солнце золотило их, а ветер трепал вместе с рукавом белого халата.

Вдруг она обернулась и быстро встала на ноги. Он еще не встречал в пустыне женщин, которые бы так прямо смотрели

на него, да еще такими большими серыми глазами. Это поразило его, и он подумал было, что начался другой сон. Но она подошла к нему и что-то сказала очень звонким голосом. Тогда он закрыл глаза.

Потом приходил высокий усатый мужчина, которого он раз уже видел в штабе отряда, спрашивал его о здоровье, а он молчал и смотрел в потолок...

Раненый снова заснул, а когда проснулся, был теплый весенний вечер. В тупик, где стояла теплушка, долетали с полустанка слова кавалерийской команды. Задрожали пол и стены. Осветив на минуту ярким светом окна, прогромыхал тяжелый товарный поезд с побитыми, расшатанными вагонами. А раненый лежал, смотрел в темный потолок и вспоминал...

Много дней блуждал он по пустыне после аламана. Сначала пал под ним конь. Потом сам он едва не погиб от голода и жажды. Почерневший, обессиленный, лежал он под барханом, когда наткнулись на него кочевники-казахи. Семейств пятнадцать их с верблюдами и кибитками заготовляли в песках саксаул и отвозили в город на продажу. Так, привязанным к связке саксаула, чтобы не упал с верблюда, и привезли его на городской базар.

Чары долго ходил по городу, пугаясь встречных. Потом он приспособился помогать сгружать ящики на складе у богатого купца. За это его кормили. Ночевать он ходил на станцию, где паровозы выбрасывали отработанный шлак. Там было тепло и сухо.

Чары рассчитывал пережить тут зиму, а потом вернуться в родные места и ждать своего часа. Но вышло иначе. Однажды днем увидел его на базаре ханский счетовод Курт, приехавший в город за покупками. Через полчаса Чары арестовали, и дородный жандарм с шашкой на боку отвел его в участок. Сам пристав допрашивал его несколько раз, обвинял в убийстве Мухамед-хана. Там, в участке, и выбили у него несколько зубов.

Голодный, избитый, лежал он на тюремных нарах и так же, как теперь, молча глядел в потолок. Он давно погиб бы от лишений и побоев, если бы не поддерживала его память о кровавом долге, не оплаченном еще родом Ильяс-хана. Серым степным волком видел себя в мечтах Чары. Это давало ему силы не умирать и страшно, по-волчьи, смотреть на допросах в глаза пристава.

— Я тебя все равно убью, зверское отродье!..— кричал ему белый от гнева пристав, встречая этот упорный взгляд.

Возможно, что пристав и выполнил бы свое обещание, но ему помешали

Как-то ранним утром до камеры, где лежал Чары, долетели с улицы незнакомые звуки. Играла музыка, громко кричали по-русски. Вскоре двери тюрьмы открылись, и арестанты бросились к выходу. На улице толпились люди. Махали шапками, пели и обнимались. Над толпой горели красные флаги. Господин пристав исчез. Пришел февраль семнадцатого года.

Пока говорились жаркие речи, ничего не понимавший Чары прокрался вдоль забора и, волоча ноги, побрел прочь из города в пески.

В первом же ауле он нанялся в чабаны и ушел на дальние колодцы. Окрепнув за лето и осень, он зимой купил себе коня и подался в родные края.

В мире творилось что-то непонятное. Перестали подвозить в аулы керосин, соль и спички. Ходили слухи, что будут увеличивать нормы воды, раздавать народу коней и баранов. И действительно, пришли в аулы туркмены из города и стали делить государственные земли. К тому времени почти вся вода в соседних аулах принадлежала Ильяс-хану. Эту воду распределили между всеми дайханами. Сам Ильяс-хан поступил, как всегда, мудро. Он собрал свои пожитки и, оставив дом на попечение Курта, ушел через горы в Персию к своим дальним родственникам. Большой караван верблюдов, груженных ханским добром, отправился вместе с ним. Но когда стали перегонять с колодцев громадные ханские стада, люди из города запретили это.

Чары добрался до знакомых мест, когда Ильяс-хан был уже за горами. Шамурад-хана тоже не было.

Долго стоял Чары у старой развалленной мазанки и смотрел на шесть высохших лоз винограда. Потом медленно пошел в крепость и сел на валу... Нет, не ослабевала в нем старая, не знающая пощады ненависть. Окрепшая в тяжких испытаниях, она разрослась в груди и холодным лезвием колола сердце. Скорей умрет он, чем простит врагам кровь своего рода... Терпеливо будет ждать он их возвращения.

На другой день встретил Чары своего друга Тагана. В белом тельпеке и дорогом халате ездил он на чистокровном ахальском коне. Таган рассказал, что недалеко отсюда один из соседних ханов собирает удалых молодцов. Они теперь правят там и делают что хотят.

Такая жизнь, как у нас, тебе понравится!.. сказал Таган.

Но Чары отверг его предложение и снова пошел в чабаны.

А события шли своим чередом. На станции громыхали пушки. Далекий гул их долетал до старой крепости и эхом отдавался в горах. В один из жарких летних дней появился в ауле Шамурад-хан в парадном халате поверх гвардейского мундира. С ним было несколько русских офицеров. По станции ходили британские колониальные солдаты в светлых гетрах. Один за другим проходили на восток эшелоны с длинноствольными английскими пушками.

Шамурад-хан послал гонцов по аулам с требованием дать джигитов. В приказе о мобилизации говорилось про «священную войну за свободу». Первое, что сделал Шамурад-хан,— снова отобрал воду и в наказание разорил у Карры-кала больше половины дайханских кибиток. В память о брате Мухамед-хане вырезал он весь род Халлы, бывшего жениха Бибитач. Самого Халлы привязали за руки и ноги к хвостам четырех ахальских коней и стегали их камчами до тех пор, пока они не разорвали Халлы на части.

Целый отряд послал Шамурад-хан для поимки Чары, но, предупрежденный соседями, Чары вовремя ушел с колодцев.

Снова блуждал он в горах, гонимый, как зверь, людьми Шамурад-хана. Ему нельзя было показаться ни в одном из аулов. Как-то поутру выследили его два родственника ханского счетовода Курта. Целый день гнались они за ним по осыпающимся горным кручам. Под вечер им удалось ранить его в ногу. Забившись в узкую шакалью расщелину, он ждал их приближения. И когда один из них полез было вверх по скале. Чары коротким ударом ножа в шею зарезал его, как барана. Забрав у убитого винтовку, он тут же, в темноте, прострелил голову и другому,— глаза чабана привыкают видеть и ночью.

И снова, волоча раненую ногу, ходил он по горам, как одинокий барс, такой же злой, голодный и страшный...

Нога постепенно зажила. Он нашел далеко в горах небольшую пещеру и там устроил себе логово. О нем знал один лишь Таган, который время от времени приезжал в горы и привозил ему лепешки, геок-чай и патроны.

Почти год прожил в горах Чары. Лишь два раза спускался он в аулы. По непреложному закону, дайхане принимали его, кормили и высказывали добрые пожелания. Но сам он хорошо знал, что́ грозит каждому из них, если всесильный Шамурад-хан узнает об этом. А ханские соглядатаи были на каждом шагу.

Снова гром пушек отдавался в горных ущельях. На этот раз эшелоны везли солдат в белых гетрах в обратном направлении. В аулы группами и в одиночку возвращались джигиты, мобилизованные на фронт Шамурад-ханом. Однажды ночью сам он

исчез неизвестно куда вместе со своими друзьями, предупредив напоследок, что «священная война» не кончилась. Она только начинается.

Вскоре по мало кому известным тропам пошли через горы караваны. Вместе с терьяком и сушеными финиками везли они новенькие винчестеры, разобранные трехногие пулеметы и тяжелые светло-желтые обоймы, аккуратно уложенные в длинные, наглухо забитые ящики. И запылали непокорные аулы, в страшных мучениях умирали привязанные к конским хвостам дайхане, которые осмелились коснуться ханского добра.

Тогда и выделены были отряды особого назначения для борьбы с басмачами.

Чары спустился с гор... В одном из своих набегов Шамурад-хан окончательно разорил аул возле старой крепости и взорвал водораспределители.. Дайхане собрали свой скарб и откочевали: кто в пески, кто в соседние аулы. Полуразрушенные мазанки присыпало песком. Сиротливо торчали из земли обгоревшие колья. Здесь, на развалинах родного аула, еще раз встретился Чары с Таганом. Пока в аулах было безвластье, соседний хан, в отряде которого служил Таган, враждовал с Шамурад-ханом. Они не признавали друг друга. Теперь же, с возвращением красных, он по чьей-то команде из-за гор подчинился Шамурад-хану. Таган сейчас сам командовал басмаческой полусотней у Шамурад-хана.

Но дружба двух джигитов крепче дамасской стали. До Шамурад-хана добраться сейчас Чары невозможно. Единственный путь, который одобрял Таган,— пойти в один из красных отрядов и в стычке взять хана за горло. Он, Таган, поможет ему в этом. Тагану в конце концов нет дела до Шамурад-хана. У него есть свой сердар, которому он будет верен, пока служит у него.

Всю ночь проговорили друзья. Они условились о способах, которыми будут связываться друг с другом, о местах встреч. Наутро Таган ускакал, а Чары принялся ждать очередного набега басмачей и прихода красного отряда. Таган сообщил ему, что уходить от преследования Шамурад-хан будет этой дорогой, мимо Карры-кала, в ущелье...

Чары не представлял себе, что такое красный отряд и как он туда придет. Таган только сказал ему, что там все русские. А охотятся они в первую очередь за Шамурад-ханом и русскими офицерами, что помогают ему.

Чары до сих пор почти не знал русских. Они были для него чужими. Первым русским, с которым свела его близко судьба, был господин пристав. Память об этой встрече осталась у него навсегда. Помнил он хорошо и другого русского — соседа по

тюремной камере, бандита-рецидивиста Тришку Шпандыря, как звали его друзья. Когда в первый раз втолкнули Чары в камеру, жандарм подмигнул Тришке, и тот устроил новичку «крещение с вышибанием под нары».

И вот теперь он должен будет пойти в русский отряд. Но он пойдет и туда, если там проходит ближайший путь к горлу Шамурад-хана! И Чары терпеливо ждал.

На десятый день с севера послышалась стрельба. Чары засел в разваленной мазанке и наблюдал оттуда.

Сначала промчалась к крепости группа всадников в халатах и тельпеках. Следом за ними с двух сторон подошел большой кавалерийский отряд. Солдаты в остроконечных шапках проскакали так близко, что ему пришлось лечь на землю.

Пули свистели над самой головой Чары и глухо ударялись в сухую глину дувалов. Совсем рядом с ним громко и четко заговорил пулемет. С флангов ответили другие. Выглянув из-за укрытия, Чары увидел, как заволакиваются ровными строчками пыли верхушки знакомых крепостных стен. Кое-где обрывались вниз большие глиняные глыбы. Желтые кирпичики разлетались мелкими брызгами.

Стрельба стихла сразу, как по команде. Солдаты двумя цепочками въезжали в крепость... Когда стемнело, над крепостью замигали отсветы костра. Чары встал и пошел им навстречу. Но вдруг кто-то крикнул по-русски и два раза выстрелил в его сторону. Тогда, далеко обходя крепостные башни, он двинулся к заваленной камнями пещере. Здесь ему было все знакомо. Отвалив камни, он вошел и начал спускаться вниз.

Выход из-под земли в крепость был разрыт. Кто-то, видимо, надавно воспользовался им. Чары выбрался наружу и, присыпав ход сухим бурьяном, пошел к догоравшему костру. Рядом щелкнули затвором. Чары увидел на валу две тени и направился прямо к ним. Ему приказали остановиться. Он остановился и сказал, что хочет поступить в отряд, чтобы убить Шамурад-хана.

Они не поняли его. Один из них ушел и вскоре вернулся С ним пришел третий, который заговорил вдруг с Чары на чисто туркменском языке. Это его удивило. Он повторил свои слова о том, что хочет поступить в их отряд, а когда спросили, как он попал в крепость, повернулся и пошел к могильнику, чтобы показать подземный ход.

Выйдя из пещеры, Чары заметил у края скалы лоскут от халата. Зоркие чабанские глаза его рассмотрели в темноте след бескаблучного кавалерийского сапога. Это была нога Шамурад-хана. Такой же след, маленький, твердый, прямой, он видел там, на соленом озере, где пал весь его род. След этот он узнал бы

днем и ночью среди тысячи других... Чары долго смотрел на этот след и молчал. Из ущелья доносился до него лишь ровный глухой шум потока.

Обернувшись, он увидел, что фонарь русских, следовавших за ним, удаляется в сторону крепости. Бесшумно прыгая через камни, он скоро догнал их...

На полустанке, куда прибыли они на третий день, ему принесли такую же одежду, какую носили все в отряде. Чары не хотел ее надевать. Тогда командир, говоривший на туркменском языке,— его звали Рахимов,— коротко сказал, что, если он не переоденется, ему придется убраться из отряда. Чары переоделся Свой старый халат и тельпек он аккуратно свернул и отдал на хранение в склад отряда. Он не думал долго задерживаться здесь.

Оказалось, что Рахимов не единственный туркмен в отряде. Другим был Мамедов, который так зло посмотрел на него, что Чары ощупывал у пояса нож. Один раз Мамедов сквозь зубы сказал, что видит его мысли, как в чистой воде и все равно до него доберется. Чары ничего не ответил. У него была своя цель, и он не хотел отвлекаться от нее Ради нее он переживет все

Но в соседнем взводе неожиданно увидел Чары двух братьев-туркмен. Они были чистые иги; прямые, с ровной походкой, несросшимися бровями, белолицые и крутолобые. Братья были, пожалуй, еще большие иги, чем род Ильяс-хана.

Вопреки законам пустыни, Чары возненавидел всех игов. Впервые это чувство возникло у него там, на соленом озере, и окрепло во время долгих одиноких скитаний в горах. И когда давно позабывшие в Красной Армии о своем превосходстве братья Оразовы подъехали к нему и весело его приветствовали. Чары не сдержался и угрожающе потряс карабином.

Братья отъехали от него и больше с ним не говорили. Но Чары ждал теперь от них мести. Он знал, что проявил невоспитанность, грубо говоря с игами, и что рано или поздно по закону пустыни последует возмездие В этом Чары не сомневался

Прошло еще несколько дней Нетрудно было выросшему в седле человеку научиться кавалерийскому строю Он сидел как влитой в седле, а лоза ложилась у него как срезанная молнией. Стрелял он, пожалуй, лучше всех в отряде.. Что же касается рассказов высокого командира, то они не интересовали Чары. Раз нужно ходить в строю, стрелять, стоять на перекличке, он будет это делать Остальное его не касается. К тому же он по-русски понимал лишь несколько слов На политзанятиях Чары уходил в свои мечты

Присмотревшись, заметил он в отряде кроме туркмен много других нерусских людей. Первым он выделил китайца Чена, маленького белозубого и черноглазого пулеметчика. Тот всегда приветливо улыбался всем. Чары не отвечал на его улыбки, ему не было дела ни до кого, но терпеливый китаец, казалось, не замечал этого и продолжал при встрече улыбаться, показывая все свои зубы.

Чары не понимал, что понадобилось всем этим разным людям в Черных Песках, зачем они собрались сюда и лезут под пули, если даже халаты и тельпеки не делят между собой. Но он не стал думать об этом. У них было какое-то свое дело, а у него — свое.

Из русских больше всего обращал на него внимание тот широкоплечий плотный человек, что задержал его ночью в крепости. В отряде его называли Телешовым, а красноармейцы помоложе — дядей Степаном. Этот все пытался о чем-то говорить с Чары, старался помочь ему.

Вообще все они как будто чего-то ждали от него. Чары это хорошо чувствовал. Но он не мог забыть пристава, крещения под тюремными нарами. Он не доверял доброте этих людей, как не доверял всему миру. За их добротой крылось что-то непонятное. Он, Чары, им явно для чего-то нужен. А ему, кроме крови Шамурад-хана, ничего не нужно.

В поход Чары пошел с радостью. Равнодушно смотрел он на прикрытые брезентом изуродованные трупы на станции,— что ему до каких-то чужих убитых людей!

В одном из дайхан, укладывающих рельсы на разгромленной басмачами станции, Чары узнал переодетого Тагана, ханского разведчика.

— На первой стоянке сделаешь ночью тысячу шагов к востоку...— шепнул ему Таган.

Ночью, на привале, Чары виделся с Таганом. Тот рассказал ему о планах Шамурад-хана.

У Чары не было никаких счетов с басмачами. Его интересовал лишь один из них. На следующий день Чары увидел своего врага. Его зоркие чабанские глаза заметили белый тельпек Шамурад-хана. Но он не стрелял. Отсюда было очень далеко, а Чары хотел бить наверняка, и не из карабина, а ножом.

Он чувствовал на себе подозрительные взгляды, слышал разговоры о себе, хоть и не все понимал по-русски. Возможно, это и заставило бы его уйти, если бы в отряде не было людей, которые верили ему. Когда Телешов, комиссар или Чен смотрели на него, Чары казалось, что они откуда-то знают всю его историю. Командира он не понимал. Пельтинь холодно смотрел

на Чары своими серыми глазами. И тот, давно уже не боявшийся ничего на свете, побаивался взгляда командира.

Однажды Чары стоял за углом казармы и смотрел в сторону гор. Было уже темно. Лишь едва заметная светлая полоска подчеркивала далекие черные вершины.

И вдруг чья-то большая рука ласково погладила его голову. Чары вздрогнул, поднял глаза вверх и увидел командира. Здесь, в темноте, он впервые заметил, что у командира совсем седые виски.

Пельтинь постоял немного, потом повернулся и ушел своим тяжелым размеренным шагом.

Еще два раза виделся Чары с Таганом. Во второй раз их неожиданно обстреляли неизвестные люди, в которых Чары узнал особистов. Но он не чувствовал за собой никакой вины и вернулся в отряд.

И вот остатки банды прижаты к холмам. Все туже сжимается петля на шее Шамурад-хана. Чары лежит в цепи. Здесь не раз перегонял он по весне отары с зимних пастбищ на летние. Вон там, на большом холме, зажигал всегда старый Аллаяр свой костер, а внизу проходил овраг. Буйные весенние воды неслись по нему с гор. Но теперь овраг должен быть сухим. Его отсюда не видно. Особисты и не подозревают, что осталась еще одна узкая лазейка для Шамурад-хана... Что это мелькнуло над оврагом? Не белый ли тельпек? Чары выхватывает бинокль у Гелешова, встает во весь рост и смотрит туда... Так и есть. У самого подножия холма видны конские спины и тельпеки. И, бросив бинокль, Чары бежит прямо туда, к уходящему от него врагу.

Ему что-то кричат сзади, но он не слышит. Взвизгнув, скрежетнула о камень пуля, но Чары уже спрыгнул в овраг. Бегом за Шамурад-ханом, пока тот не унес свою голову!..

Трудно угнаться за конными. Когда Чары наконец выбегает из оврага, он видит вдали только семь или восемь скачущих всадников... Чары бросается к оседланной лошади, рвет повод из рук у какого-то человека. Тот не дает ему... Тогда он с маху бьет его карабином по голове и вскакивает в седло.

Кони летят по пустыне. Всадники заметили погоню и хлещут по их гладким, блестящим от пота спинам. Но упорный одинокий преследователь не отстает. Именно потому, что тот один, он вселяет в них суеверный ужас.

От группы отделяется всадник с винчестером наперевес и движется навстречу Чары. Как скошенный валится он из седла,

выбитый меткой пулей, а конь, заржав, уносится в степь. Никакого зла не имеет Чары к этим людям, окружающим Шамурад-хана, но пусть не мешают они ему свершить правосудие.

Второй всадник поворачивает назад. Серые глаза смотрят так же холодно, как дуло нагана в его руке. Спокойно поднимая наган, он чуть-чуть усмехается, презирая этих дикарей, испуганных одиноким преследователем... Но потухает улыбка, валится из рук наган, а вслед за ним падает на сухой куст колючки обмякшее тело. Распахивается красный полосатый халат и открывает старый офицерский мундир.

Но вот сразу двое завертелись на месте и понеслись: один навстречу, другой в обход. Первого, чернобородого туркмена со свирепыми глазами, Чары снял сразу. Второй, видно, хочет уйти в сторону. Чары не знает этого бледнолицего с темными усиками, но тот дружит с Шамурад-ханом, а от друзей врага всего можно ждать, и его пуля сбивает с коня второго.

Еще один всадник поворачивает коня.

Не стреляй, Чары, дорогой!..— кричит он, спешившись и протягивая вперед обе руки.

Чары узнает Курта, ханского счетовода. Тот виноват перед ним, но расчетов кровью между ними нет. Пусть живет!

В ту минуту, когда Чары пролетает мимо него, Курт прыгает вперед, виснет всей тяжестью на его руке и тянет на землю. Свободная рука Чары нащупывает у пояса нож брата и вгоняет его по рукоятку в грудь предателя.

Родные горы, они уже близко. Через разрушенный аул Шамурад-хан несется прямо к крепости Карры-кала. С ним остался только один... По родному заброшенному полю стучат копыта коня. Чары выносится к насыпи и с ходу влетает в древние ворота.

Шамурад-хана не видно. Но против ворот стоит басмач и целится в Чары из винтовки. Пуля срывает с него буденовку. Подскакав, Чары стреляет в упор в басмача. И тут же хватается за бок и падает с коня. Из-за камня выходит его кровный враг с пистолетом в руке. Он медленно подходит, и они долго — кажется, целую вечность — смотрят в глаза друг другу.

— Что, грязный раб, безухая собака, дождался своего конца?! — говорит Шамурад-хан.— Вот этой рукой я убил твоего отца, твоего брата, всех змеенышей из твоего подлого рода... Я бы тебя тоже привязал к хвосту коня, но у меня нет времени и желания пачкаться о твою нечистую шкуру нюхать твой

вонючий пот... Я сейчас с наслаждением убью тебя. Но прежде я плюну в твои глаза!..

Он плюет зеленым пасом прямо в широко открытые глаза Чары. Потом он приставляет пистолет к груди и стреляет прямо в сердце...

Глава четвертая

Бесшумно поползла вправо вагонная дверь. Утренняя свежесть сразу вытеснила аптечные запахи. Подобрав одной рукой полы белого халата, держась другой за железную скобку, поднялась в теплушку сестра милосердия. Чары прямо, не мигая смотрел на нее. Сестра улыбнулась ему, как старому знакомому, и вынула из кармана халата бутылку с молоком, заткнутую бумагой.

Будем пить молоко... сказала она и, приподняв сильной рукой его плечи и голову, взбила подушку

Чары не хотел молока, но невольно стал пить, не спуская глаз с ее белой руки, твердо держащей чашку

— Вот и все!

Поставив на стол чашку, сестра села на койку возле двери и стала смотреть наружу. Послышались голоса.

— Тут пришли к тебе!

Она шагнула в сторону и пропустила в вагон двоих: Мамедова и Телешова. Это были люди, которых он видел когда-то в тревожном сне.

— Ну, как самочувствие? — спросил Телешов, присев на край стула.

Чары молчал и смотрел в потолок.

— Ведь ты геройский парень, прямо тебе скажу. Наши ребята одобряют тебя. Вот хоть его спроси...— Телешов ткнул пальцем в Мамедова.— Говорят: свой, пролетарский, значит, человек...

Они посидели немного. Телешов, положив свою чугунную руку на руку Чары, попрощался и сразу ушел, а Мамедов задержался. Раненый настороженно смотрел на него. Он помнил его злобу и вражду. Мамедов за все время не сказал ни слова. Он мялся, тер себе руки и только после ухода Телешова вытащил из кармана платок, развернул его и положил возле Чары так хорошо знакомый ему нож с костяной, правленной серебром рукояткой. У Чары загорелись глаза. Мамедов радостно улыбнулся и, пожелав здоровья и успехов, как желают очень уважаемому человеку в пустыне, выпрыгнул из теплушки.

В полдень Чары перебинтовали. Сестра легко касалась его

груди кончиками теплых пальцев, и он каждый раз вздрагивал при этом. Демидко осмотрел раны и уверенно сказал:

— Теперь, хлопец, дело пойдет на поправку!..

Вечером пришел пулеметчик Чен. Он, как всегда, скалил зубы в ослепительной улыбке и смешно сутулил плечи. Слова он сыпал быстро, как горошины, так что слышались только отдельные слоги.

— Молодес, товалиса!..— выкрикнул он, рассекая воздух маленьким кулачком.— Стреляй холосо... Ко мне плиходи... Пулемет учи мала... Настояси класнолмейса будес!..

Вечером его посетил Рахимов. Этот спокойный человек, никогда не надоедавший ему никакими вопросами, молча сел на табуретку у постели. Чары лежал и глядел в потолок. Казалось, он что-то вспоминал. Может быть, своего отца, брата Берды, шум потока за садом, старую Аннагуль, греющуюся на солнце... Рахимов посидел и ушел, так и не сказав ни единого слова. Скорее всего их и не нужно было ему говорить.

На другое утро, вскоре после сигнала побудки, прибежал Мамедов. Он передал сестре милосердия большую пачку зеленого чая, ставшего к тому времени редкостью, и две большие белые лепешки, завернутые в кусок новехонькой портяночной фланели. Кивнув головой раненому, Мамедов убежал на занятия.

В этот день в теплушке перебывало много народу. Все задавали Чары один и тот же вопрос — о здоровье. Потом чаще всего молча сидели и, проговорив на прощанье несколько одобряющих слов, уходили.

Зашел и командир Пельтинь. Он не присел, как другие, а ходил из угла в угол. От его тяжелых шагов вздрагивали все предметы на столе. Подойдя наконец к кровати, он положил возле подушки раненого большие серебряные часы с тройной крышкой и, пробормотав что-то, вышел таким же ровным тяжелым шагом. Так и не узнал никогда Чары, что часы эти принадлежали лучшему другу командира Августа Пельтиня, убитому в бою под Орлом, когда они вместе в цепи красных латышских стрелков шли в атаку на деникинские позиции.

И в следующие дни раненый редко оставался один.

Мамедов забегал к нему по нескольку раз на день, приносил лепешку, каурму и смотрел на Чары восторженным преданным взглядом. Часто заходил и Телешов. Ни разу не пришли к раненому только братья Оразовы.

На все знаки внимания к нему со стороны бойцов отряда Чары отвечал холодным, сумрачным взглядом.

До сих пор он никому не был нужен. И никто, кроме отца и друга Тагана, не заботился о нем.

Чары упорно думал над тем, зачем он понадобился этим людям. Почему они ходят к нему, говорят с ним, дарят часы? Зачем подобрали его, полумертвого, и лечат теперь. Так или иначе, они все еще были для него чужими людьми, у которых есть свои какие-то цели. А он, Чары, не желает знать об этом. У него есть одна цель, свой долг, который он выполнит или умрет...

Комиссар в эти дни отсутствовал. Когда он наконец появился в вагоне санчасти, Чары мог уже сам поднимать голову с подушки. Но он не поднял ее навстречу комиссару, а продолжал лежать, угрюмо глядя в стену.

Комиссар пришел вместе с Телешовым. Они посидели, поговорили с сестрой. И вдруг комиссар понял, что новичок необыкновенно красив. Раньше он не обращал на это внимания. И сейчас не думал об этом. Просто комиссар вдруг перехватил взгляд сестры милосердия, смотревшей на раненого...

Болезненно бледное лицо Чары Эсенова поражало правильностью своих черт, тонких и мужественных. Все портили лишь глаза. Тоже необыкновенно красивые, они горели таким зловещим, холодным огнем, что хотелось поскорее выйти из теплушки в живой весенний мир.

Но смотревшую на Чары девушку как будто не пугал этот холод.

Чары, должно быть, сам не знал, что с ним творится. Он был спокоен, если сестра милосердия была рядом. Когда она хоть на минуту отлучалась, он начинал нервничать, прислушиваться к малейшим посторонним звукам и чего-то ждать. Когда она возвращалась, раненый смотрел на нее. За все время он не сказал ей ни слова...

Однажды вечером у него поднялась температура. Пришел Демидко, осмотрел рану, успокоил сестру и ушел. Температура скоро упала, и Чары заснул. Проснулся он неожиданно, как будто что-то толкнуло его. Чуть приоткрыв ресницы, Чары увидел, что сестра сидит за столом и, отодвинув в сторону лампу и книгу, которую читала с вечера, смотрит на него странным затуманенным взглядом. Она долго сидела так, потом встала и подошла к кровати. Чары лежал не шевелясь. Вдруг он услышал ее дыхание... Все ближе, и он почувствовал едва ощутимое прикосновение к своему лбу теплых девичьих губ.

Сестра тихо отошла и села на свое место. Подняв голову,

она увидела, что раненый смотрит на нее расширенными, черными как уголь глазами. Она вспыхнула и быстро отвернулась. Потом прикрутила лампу и вышла из теплушки.

Все утро Чары настороженно наблюдал за нею. Но она не смотрела в его сторону, а потом ушла, чего не было за все эти дни.

Вечером к теплушке подошли два особиста. Сестра звонко смеялась вместе с ними. Раненый лежал, стиснув зубы.

Проходили дни. Сестра вовсе не обращала на него внимания. Она даже стала грубоватой с ним.

Раненый уже вставал. Вечерами он выбирался из теплушки и садился на старую прогнившую шпалу. Со станции доносились протяжные волжские песни. Порой в песню входил звонкий женский голос, и Чары вздрагивал. Так сидел он, пока она не возвращалась. Каждый раз кто-то провожал ее до теплушки. Завидев издали сестру, раненый уходил в вагон...

Однажды вечером сидел он, как всегда, возле вагона и вдруг увидел, что от станции идут двое: часовой и с ним какой-то туркмен. Присмотревшись, Чары узнал своего друга Тагана.

— Вот, знакомый ищет тебя! — сказал часовой и, подозрительно посмотрев на Тагана, ушел.

Они остались вдвоем...

Утром сестра милосердия не нашла раненого. Постель была аккуратно прикрыта синим госпитальным одеялом. На столе лежали большие серебряные часы с тройной крышкой.

Телешов и Мамедов побежали к комиссару.

— Что же делать будем?..— растерянно спросил Телешов.— Ведь пропадет парень. Он же еле ходит. Искать надо...

— Не надо искать...— заговорил вдруг Рахимов и убежденно добавил: — Не надо!

— Это вчера того басмача нелегкая принесла! — с сердцем сказал Димакин.— Провалиться мне, если я его у Шамурад-хана не видел...

По гладкому такыру, опустив поводья, едут всадники. Они направляются к горам, стеной встающим на пути горячих северных ветров. Один из них заботливо поддерживает другого. Чары еле сидит в седле. Под халатом видны белые полосы бинтов, переклестнувшие грудь и плечи. Едут они долго, пока горы не закрывают полнеба. У подножия их выступает вперед

холм с полуразрушенными башнями наверху — часовой, принимающий на себя первые удары песчаного моря.

Чары больше нечего было делать в отряде. Таган сообщил ему, что Шамурад-хан уехал далеко за горы, а может быть, еще дальше, и теперь не скоро вернется. Чары решил уйти из отряда.

Отец Тагана вернулся с семьей в разоренный аул возле крепости. Таган предложил другу пожить у него, а потом податься к старому сердару Тагана, который нуждался в таких молодцах. Там он и дождется возвращения Шамурад-хана, чтобы сполна получить с него долг. Тем более что сердар сам ненавидит Шамурад-хана не меньше, чем русских.

Чары согласился пожить в семье Тагана, но пойти к басмачам он отказался. Может быть, придется столкнуться сердару Тагана с особым отрядом. А стрелять в Рахимова, Телешова, китайца Чена, командира Пельтиня Чары никогда не станет. Он подлечится, отдохнет и будет искать Шамурад-хана.

Каждый день ходит Чары в Карры-кала, стоит и долго, часами, смотрит на то место, где лежал он и враг плевал ему в глаза. Страшно в это время смотреть на него...

Потом он выходит на крепостной вал и сидит там до самого вечера. Издали кажется, что неподвижная фигура в тельпеке тоже высечена из камня.

Чары видит перед собой разрушенные дувалы аула. Вон там, у самого края, стояла их кибитка... Вечерний, приторно-сладкий дым родного тамдыра снова щекочет его ноздри. Одинокая, горькая, как сок зеленой колючки, слеза выкатывается из глаз и, скользнув по окаменевшим скулам, падает в пыль.

Быстро темнеет в пустыне. Вот уже сидит Чары в кибитке, глядя через откинутую дверь на веселые отсветы очага. Отец Тагана, высокий мудрый старик, не одобряет образа жизни, выбранного сыном. Помолившись, входит он в кибитку и садится напротив.

— Аллах все создал для жизни...— говорит он Чары.— Земля, вода и воздух нужны всему живущему, и великий грех совершает тот, кто хочет отнять у другого эту милость Аллаха...

Наперекор пескам, уже хлынувшим на заброшенный аул, очистил старик клочок своей земли, пробил в глине узкий арык и снова посадил здесь несколько лоз винограда. Они дали уже свежие зеленые побеги.

— Самый почетный, самый угодный Аллаху труд — это труд земледельца...— так говорит старик.

Быстро заживают раны. Грудь совсем уже не болит. Чары снял грязные бинты. Теперь он каждый день понемногу помогает старику в хозяйстве. Жизнь вокруг кажется мирной и тихой. Никто не появляется возле древних стен Карры-кала.

Вечерами сидит Чары у огня и слушает мудрого старика.

А ночами он разговаривает во сне с Рахимовым, Телешовым, Мамедовым, командиром Пельтинем и комассаром Савицким. Он им что-то объясняет, доказывает.

Однажды утром Чары седлает коня и, попрощавшись со стариком, уезжает.

Еще издали Чары заметил, что на станции не все как обычно. Он увидел нескольких особистов, быстро едущих через плац к тому месту, где проводятся политзанятия. Там собралась большая толпа. Серо-зеленые гимнастерки перемешались с красными халатами.

Чары едет мимо караульного помещения и вдруг застывает на месте. Открывается дверь, и, жмурясь от солнца, выходит... господин пристав!

Они смотрят друг на друга. Пристав как будто узнает его и отводит глаза в сторону. Позади пристава блестит штык часового.

Господина пристава ведут туда, где волнуется толпа. Чары едет сбоку. Он видит, что грозный начальник постарел, обмяк и осунулся. На плечах его болтается потертая офицерская шинель со споротыми погонами. Он не знает, куда деть свои длинные руки, и нервно сует их то в карманы шинели, то за спину.

Чары садится на то самое место, где сидел он с закрытыми глазами на политзанятиях. Но теперь глаза у него широко открыты. Чары не спускает их с пристава, который сидит перед ним под охраной часовых.

Комиссар на своем всегдашнем месте. Он входит в состав особого трибунала, который рассматривает дело бывшего полицейского пристава Дудникова.

Все как на политзанятии. Только стол накрыт красной материей и рядом с комиссаром сидят четверо. Один из них в бараньем тельпеке. Да еще сзади, за спиной Чары, больше людей, чем обычно. Из всех окрестных аулов приехали сюда представители.

Один за другим выходят свидетели в ватниках и халатах. Отвечая на вопросы переводчика, они говорят тихими голосами, недоверчиво поглядывая то на подсудимого, то на судей. Говорят

о сожженных аулах, вырезанных семьях, привязанных к конским хвостам дайханах... Все это делал Шамурад-хан рука об руку со своим верным помощником, вот этим самым, который сидит сейчас, втянув голову в плечи, нервно сжимая и разжимая кулак с рыжими волосами на пальцах.

Чары, конечно, помнит этот кулак; может быть, он даже ощущает во рту привкус крови от выбитых зубов. Подсудимый время от времени ловит на себе тяжелый взгляд Чары, и в его глазах мечется страх.

Подсудимому предоставляется последнее слово. Он встает, моргает и тупо молчит. Ему нечего сказать.

Председатель читает приговор: «...именем Революции, освободившей народ от гнета царских палачей... к смертной казни».

— Расстрелять в двадцать четыре часа! — добавляет председатель уже от себя.

Всю ночь Чары сидит против караульного помещения и смотрит на дверь.

Не он один не спит в эту ночь. Вокруг станции горят костры. Дайхане хотят увидеть своими глазами, действительно ли расстреляют русские господина пристава...

Когда сереет рассвет, Телешов выстраивает отделение, Дудникова выводят на пустырь за станцией и ставят к старому дувалу. Чары стоит в десяти шагах и ждет.

Жесткий, незнакомый голос у Телешова. Таким голосом он никогда не разговаривал с Чары.

— По классовому врагу...— говорит Телешов.

Короткое: «Пли!» — и господин пристав, дернувшись, валится на землю. Чары подходит, смотрит и отходит в сторону Примолкшие, задумавшиеся дайхане разъезжаются по аулам.

— Вернулся? — спрашивает сестра.— Ты чего же, не долечившись, удрал?! Дурачок...

Она ведет Чары в санитарную теплушку, и он послушно идет за нею. Демидко осматривает рубцы и хлопает его здоровенной ладонью по плечу.

— Здоров як бык!..

После этого он дает Чары два маленьких кусочка металла.

Совсем по-другому встретили Чары в отряде. Командир Пельтинь отвернулся от него. Комиссар строго смотрел прямо в глаза.

— Вот что, джигит,— сказал ему Рахимов.— Если ты хочешь служить рабочим и крестьянам, служи как нужно. У нас тут

не аламаны! А за самовольную отлучку из отряда командир дает тебе десять суток ареста. Повторишь — пойдешь под трибунал. Иди переоденься!..

Чары надевает свое армейское обмундирование, тут же отдает пояс, и его ведут в караульное помещение. Он лежит на тех самых нарах, где сутки назад лежал господин пристав.

Не спится Чары. Мерные шаги часового за стеной такие же, как и там, в городской тюрьме. Но это совсем не то. Ведь только прошлой ночью лежал здесь и слушал их господин пристав, которого утром расстреляли. А там, в тюрьме, он выбил Чары зубы...

По классовому врагу?.. Где Чары слышал эти слова? Ах да, их много раз повторял комиссар в то время, когда Чары сидел с закрытыми глазами... Господин пристав — классовый враг. И еще Шамурад-хан. Но с Шамурад-хана раньше всех получит свой долг он, Чары.

Утром Мамедов приносит свежую лепешку. Но начальник караула Телешов забирает ее.

— Служба есть служба...— говорит он строго.— Не царю служим!

Всегда горячий и задиристый Мамедов на этот раз опускает голову и отходит, не сказав ни слова. А через минуту Чары ловит на себе теплый, как всегда, взгляд Телешова.

Встретившись глазами с Чары, Телешов отворачивается. Он по-прежнему суровый и строгий начальник караула. Но Чары не боится его.

Днем Чары работает: чистит картошку на кухне, моет полы в казарме, убирает конюшни, а ночью думает...

Шамурад-хан объявился так же внезапно, как в прошлый раз. Банда у него значительно меньше. Больше он не рискует нападать на железнодорожные станции.

Шакалом петляет он по пустыне, угоняя и уничтожая стада. Где-то в глубине Черных Песков создал он свою базу. И особый отряд уже две недели кружит по его следам.

Неверны эти следы. Вот ступил конь на мягкий сыпучий песок. С верха потревоженного бархана бесшумно оплывает песчаная лавина. Ветер разравнивает ее. И никто никогда не догадается, что здесь только что проехал всадник.

Кони и люди долго пьют холодную и чистую, как слеза, воду. Верблюд сегодня ходит по своей тропе дольше, чем обычно. На этом колодце отряд будет ждать рассвета.

Комиссар замечает, что чабаны здесь хорошо знают Чары Эсенова. Они сидят рядом, задают ему односложные вопросы. Он так же коротко отвечает. Когда заканчивают ужин, один из стариков достает дутар. Он трогает струны, слегка касаясь их всеми пальцами, и вдруг начинает петь резким, сильным голосом песню, совсем не похожую на широкие, протяжные песни русской равнины.

И в этот момент громко смеется молодой красноармеец Копылов. Улыбка появляется еще на двух-трех лицах.

Комиссар внимательно оглядывает всех. Он видит, что внешне спокойный Чары Эсенов натянут сейчас, как струна. Чары смотрит на Копылова, потом переводит тревожный вопросительный взгляд на комиссара. Взгляд этот перехватывает Телешов.

— Ты чего это зубы скалишь? — спокойно спрашивает он у Копылова.— У одного над песней посмеешься, у другого тебе нос не понравится. А человечества — вон их сколько, не одна Рязань...

— Так я ничего, дядя Степан...— У Копылова сползает с лица улыбка.

— То-то же! Не нравится — не слушай. А смеяться нечего. Тебе смешно, а человека так можешь обидеть, что всю веру у него подорвешь...

Комиссар не спускает глаз с Чары Эсенова. Разговор идет по-русски — понимает ли он? Чары уже понимает.

Шамурад-хан затерялся в песках. Может быть, погиб он где-нибудь, засыпанный ими, а может, снова перебрался на ту сторону гор и залечивает там свои раны... Так или иначе, слухи о нем перестали гулять по пустыне. Захватив в разных местах два десятка его приспешников, отряд вернулся на базу.

Там уже ждали его новый приказ и эшелон. Отряду предписано было погрузиться в течение суток для отправки на большую операцию в район Ферганской долины.

Тридцать человек должны были остаться на месте. Чары Эсенов полдня беспокойно ходил вокруг штаба, потом зашел и, увидев Рахимова, попросил оставить его здесь.

— Я не буду говорить комиссару об этом,— ответил Рахимов.— Ты записан в список отъезжающих и поедешь с нами. Не хочешь — уходи сразу и не возвращайся!..

Понурив голову, пошел Чары в конюшню, вывел коня и повел к вагону.

— Чего нос повесил? Заходи на остановках чай пить! — крикнули ему из санитарной теплушки.

Он посмотрел туда отсутствующим взглядом и ничего не ответил.

После многих рывков и толчков эшелон тронулся наконец с места. Чары, сидя на корточках у отодвинутой двери, тоскливо смотрел на далекие горы. Он оставлял здесь родной курган с крепостью и неотмщенные могилы своего рода. И Чары, качая головой в такт колесам, едва слышно, почти про себя, запел песню, что пел у колодца старый бахши...

Ничего, он уже уезжал отсюда и возвращался. И на этот раз вернется. Не уйти Шамурад-хану от его справедливой мести.

Глава пятая

Уже полгода носится Чары Эсенов по зеленой Ферганской долине, глотает красную пыль Кызылкумов; держа коня в поводу перебирается через белые ледники Памиро-Алая. Только сегодня проделал особый отряд добрых полторы сотни верст вдоль буйной Карадарьи и вышел к Андижану, где ждал его бронепоезд «Роза Люксембург».

Комиссар, обходя эшелон, в котором базировался отряд, остановился, привлеченный резким гортанным голосом Чена. Китаец быстро жестикулировал, объясняя что-то Эсенову. Оба они сидели на корточках между путями. Напротив них на стрелке устроился Телешов. Он курил и внимательно слушал китайца, время от времени одобрительно кивая головой. Рядом стоял Мамедов. Этих четверых теперь всегда видели вместе...

Но вот китаец вскочил, и комиссар увидел в его руках грифельную доску из штабного вагона. На ней с большой точностью был изображен дайханин с кетменем, по колено в воде, каких ежедневно видели бойцы по обе стороны от дороги. Еще несколько быстрых штрихов — и верхом на изможденном земледельце уселся толстый самодовольный бай в дорогом халате с пиалой в руках.

— У-у! Классовый враг!.. Стреляй будем!.. — выкрикнул Чен и погрозил баю кулаком.

— Классовый враг! — четко повторил Чары Эсенов и вдруг, забрав у китайца мелок, начал по-своему дорисовывать фигуру бая.

Чары не сидит уже на политзанятиях с закрытыми глазами. Все больше понимает он беседы комиссара. Сама жизнь помогает ему понять их. Повидал он много чужого горя. Немало видел сожженных аулов. Были они узбекские, таджикские, киргизские, но большой разницы между ними не было. И люди, за которыми

гонялся теперь Чары по горам и долинам, хотя носили другие халаты и тюбетейки, но злыми делами были похожи на Шамурад-хана, его кровного врага...

Как только возвращается отряд в Андижан, Чары каждый вечер приходит к санитарной теплушке. Они сидят и подолгу смотрят друг на друга.

— Ну что молчишь?! — бойко спрашивает она. А он молчит и не знает, что ей сказать...

На вокзале, в буфете, работает Машенька, смешливая, курносая и задиристая. Она густо красит брови и при встречах с командирами томно щурит глаза. Проходя как-то ночью мимо сложенных штабелями бревен, Чары услышал глубокий вздох. При ярком свете ферганской луны он увидел за бревнами Машеньку. Рядом сидел здоровенный парень, командир взвода из расквартированного в Андижане Казанского полка, тискал ее... Чары круто повернулся и пошел к своему вагону. До него долетел сзади возбужденный, счастливый смех женщины...

Всю ночь не мог заснуть Чары. На следующий вечер он пошел, как всегда, к санитарной теплушке, где столько дней провел между жизнью и смертью.

Он долго смотрел на полураскрытую дверь теплушки и вздрогнул, когда в ней появилась сестра. Она спрыгнула к нему на полотно дороги.

— Что же ты молчишь?! — спросила она.

— Аня!..— сказал он тихо.

Она широко открыла глаза. Он впервые назвал ее по имени.

Кофточка на ней была точно такая же, как у буфетчицы Машеньки... Он неожиданно протянул руку и тронул ее грудь... Она, оторопев, смотрела на него...

И вдруг он почувствовал сильный толчок и резкий удар по лицу.

— Ты!.. Ты! — всхлипывала она; потом, расплакавшись навзрыд, бросилась в вагон. В соседних теплушках послышались голоса.

Чары повернулся и, пошатываясь, пошел от вокзала по пыльной андижанской улице.

Густо задымив, бронепоезд «Роза Люксембург» начал набирать скорость. Особый отряд вместе с другими частями рассыпался по степи...

Все было закончено в несколько дней. Бухарский эмират рухнул, как старый, подточенный временем дувал. Кто куда разбежались гвардейские офицеры в высоких белых тюрбанах,

заплывшие салом чиновники, изнеженные и сварливые эмирские жены.

Когда атаковали дворцовые укрепления, Чары зацепило левую руку. Пуля пробила мякоть чуть выше локтя. Телешов туго обмотал ему рану бинтом, а сверху — разорванной на полосы гимнастеркой.

Группа особистов стояла у ограды дворца. Курили, смеялись, делились впечатлениями боя. Мимо галопом проносились повозки армейского обоза. Одна из них на минуту задержалась. С нее соскочила сестра милосердия и побежала к особистам.

— Кто... как ранен?! — спросила она, тяжело дыша.

Увидев сидящего на краю арыка Чары, сестра бросилась к нему.

— В руку? А мне сказали...

И, не договорив, принялась разматывать телешовскую повязку. Осмотрев рану, она совсем успокоилась, ловко наложила новую повязку и повесила ему руку на перевязь.

— Утром зайдете...— сказала она, не глядя на него.

Но он смело взял ее за руку.

Недели через две, когда ликвидированы были оставшиеся от эмира банды, отряд получил приказ о возвращении на прежнюю базу. В Черных Песках снова свирепствовал Шамурад-хан.

Сидя на корточках перед открытой настежь дверью теплушки, Чары Эсенов напевал про себя все ту же старую песню. В вагон задувал теплый, ласкающий ветерок. Он нес с собой пьянящий запах емшана, горький дымок от горящей колючки и едва уловимый привкус соли... По всей пустыне разбросаны высохшие за лето озера. На дне тонким сверкающим слоем лежит белая соленая пудра. Ветерок подхватывает легкие невидимые кристаллики, и они гуляют с ним из края в край над тяжелыми песками. Вот почему появляется иногда на обветренных губах привкус соли.

Отряд атаковал колодец, который пришлось уже однажды брать ему весной. Басмачи теперь не принимали открытого боя. Рассыпавшись за барханами, они время от времени открывали редкий прицельный огонь.

Чен сидел, как всегда, за «максимом». Кто-то в желтой кожаной куртке полез к нему сзади. Чен махнул рукой, показывая на простреливаемый противником участок, и снова стал наблюдать за боем. Подобравшись сзади, переодетый басмач выпустил ему в спину три пули...

На площадке возле старого засыпанного колодца лежал пулеметчик Чен. Он умирал в полном сознании. Молча стояли вокруг бойцы отряда. Телешов, Чары и Мамедов были рядом с комиссаром и командиром возле умирающего. Чен улыбался им своей ослепительной улыбкой. Но черные раскосые глаза его уже смотрели в лицо смерти. В последний раз взглянул он на всех и закрыл веки.

Еще долго стояли все, не веря в смерть. Потом Телешов наклонился и поцеловал Чена. Вслед за Телешовым стал на колени Мамедов. И весь отряд, один за другим, прошел мимо наклоняясь и целуя товарища Чена

А Чары стоял и смотрел на суровых людей с буденовками в мозолистых руках. Когда все прошли, Чары наклонился и последним поцеловал мертвого друга. Выпрямившись, он долго смотрел в ту сторону, куда через пески и топкие солончаки ушел Шамурад-хан...

Трижды полоснул воздух сухой залп. Четкой дробью попрощался с хозяином старый «максим». Отряд ушел дальше на север. А посреди пустыни остался одинокий холмик, сложенный из кусков старого дувала. Сверху лежала краснозвездная буденовка. Ветер уже успел занести за ее отвороты первые песчинки На два метра ниже с тремя пулями в спине лежал в сухом каракумском песке китаец Чен, сын рыбака Вана, приехавший сюда с берегов Желтого моря воевать за революцию

Хотя Чары оставался замкнутым и неприветливым, но как-то незаметно для себя он сблизился почти со всеми особистами. И только двоих не мог он терпеть. Братья Оразовы лучше других понимали это и сами сторонились его.

И вот, уйдя в разведку, старший брат не вернулся. Три дня искал его отряд. Три дня не ел ничего младший Оразов, никогда в жизни еще не садившийся есть без старшего. На четвертый день разведка наткнулась в песках на пропавшего.

Через полчаса весь отряд подошел к этому месту Оразов лежал раздетый, с отрезанными ушами и выколотыми глазами. Темно-багровая от спекшейся крови пятиконечная звезда была вырезана от одного плеча к другому Кровавая корка еще больше подчеркивала белизну тела.

Над трупом, глядя прямо в лицо ему, неподвижно сидел младший Оразов. Вырыли в песке могилу, обложили ее бурым саксаулом, а он все сидел и держал руку брата. Никто не решился подойти к нему.

Тогда вышел вперед Чары Эсенов, мягко тронул за плечо Оразова, сказал два слова на родном языке. И тот вместе с ним

отошел в сторону. Так и стояли они рядом, пока над завернутым в брезент старшим Оразовым не выросла песчаная горка.

И снова долго смотрел Чары в ту сторону, куда ушел Шамурад-хан...

Отряд возвращался к югу. Справа, крайним в боковом охранении, ехал Чары Эсенов. И вдруг зоркие глаза его разглядели далеко в стороне белую точку. Не говоря никому ни слова, он повернул коня.

Белая точка замерла на месте. Подъехав ближе, Чары заметил, что точек три: одна белая и две черные. Они начали быстро удаляться. Чары погнал коня. Неожиданно точки разошлись в разные стороны. Но сердце не обмануло его. Он повернул влево, наперерез белой. Минут через двадцать Чары разглядел белоснежный тельпек и прибавил ходу. Передний всадник выехал на высокий бархан, покрутился там, подняв облачко пыли, и погнал коня напрямик к завешенной утренним туманом цепи гор. Чары уже знал, кто впереди.

Далеко позади остался отряд. Давным-давно пропали за горизонтом и черные точки. Еще раз выехал на бархан всадник в белом тельпеке. Теперь он был куда ближе... Сверкнули зайчики бинокля, и тут же полоснул выстрел. Шамурад-хан тоже узнал Чары.

Они гнали коней ровным шагом. Оба они были опытными кавалеристами.

Солнце описало в небе полукруг. Горы поднимались над горизонтом сплошным широким массивом. А Шамурад-хан и Чары все мчались, не сбавляя шага.

Медленно сокращалось расстояние между ними, но все же сокращалось. Это знали они оба. И вдруг Шамурад-хан исчез.

Но Чары на этот раз не бросился напрямик. Он объехал бархан с другой стороны и осторожно спустился к такыру. Еще не расслышав выстрела, он лежал на песке. Пуля свистнула над самой головой. И снова понеслись всадники уже по ровному такыру. На один-два пальца был размашистей шаг коня у Чары но это давало себя знать. Он уже видел, как топорщатся складки халата Шамурад-хана. Тот начинал нервничать. Пять раз он оборачивался, и пять раз гремел короткоствольный английский карабин. Чары не отвечал.

Кончился такыр. Опять пошли пески. Каменное дно неук лонно поднималось.

Как только начались пески, расстояние между всадниками сразу сократилось. Шамурад-хан больше не оборачивался. Со лнце било в глаза и мешало выбирать дорогу Загнанные кони

спотыкались о крученые корни саксаула. Неожиданно Шамурад-хан выбросился из седла и, став на колено, выстрелил. Дико заржал и забился всеми четырья ногами на песке конь Чары. Шамурад-хан засмеялся и, вскочив в седло, перетянул камчой своего мокрого коня. Но не проехал он и сотни шагов, как конь осел на задние ноги и повалился на бок. Только после этого прокатилось по пескам эхо выстрела.

Теперь они шли к горам, тяжело вытаскивая ноги из плывущего песка.

Зем-зем застыл, слегка повернув свою страшную, но без обидную голову. Теперь этот громадный ящер Черных Песков еще больше напоминал крокодила. Из-под старого корня струйкой скользнула змейка со светлой отметинкой на голове. Увидев зем-зема, она окаменела от ужаса. Но тому было не до нее... Он вдруг рванулся и пропал в старых корнях. Только яростное шипение говорило о его присутствии. Сверкнув черной молнией на солнце, пропала змейка. Сухо треснул пистолетный выстрел, и послышались тяжелые торопливые шаги человека.

Они были одни в огромной безбрежной пустыне. Два затерявшихся в песках человека, два последних представителя двух родов.

На Шамурад-хана напал панический страх. Он расстрелял две обоймы из карабина и швырнул его в сторону. Потом сорвал с головы и отбросил легкий белый тельпек. Каждую секунду ждал он выстрела сзади и бежал зигзагами, как затравленный джейран. Но Чары не стрелял. Сдвинув брови, шел он упорно вперед. Между ними оставалось теперь шагов пятьдесят. Оглянувшись, передний ясно увидел лицо того, кто шел за ним. Он дико закричал, выхватил пистолет и начал стрелять с лихорадочной быстротой. Пистолет прыгал в его руке. А Чары все шел...

Вяло щелкнул боек, не найдя очередного патрона. Тогда Шамурад-хан бросил пистолет и кинулся бежать, не выбирая дороги. Там, впереди, уже ясно вырисовывались древние башни и стены.

До них оставалось немного. Солнце все быстрее скатывалось к западу. Шамурад-хан несколько раз падал и лежал все дольше, хватая ртом теплый осенний воздух. Когда он падал, Чары садился и тяжело дышал, не спуская с него глаз.

Так и подошли они к крепости. Когда длинная тень угловой башни слилась с их тенями, между ними не было и двадцати

шагов. Тогда, собрав последние силы, Шамурад-хан пошел вверх. У ворот он упал и, обдирая руки, пополз вперед, оставляя в древней пыли капли крови.

Чары встал, глубоко вздохнул и пошел за ним, упираясь в землю прикладом карабина. Взобравшись наверх, он передохнул и двинулся прямо в ворота. На тех самых камнях, где остался он когда-то умирающий, с заплеванным лицом, лежал теперь его кровный враг, убийца всего его рода.

Шамурад-хан приготовился к смерти. Сложив руки на животе, он смотрел безразличным взглядом в багровое от заката небо. Чары медленно подошел и, чтобы не упасть, оперся о карабин.

Он долго стоял так и смотрел в лицо врага. Взгляды их встретились.

— Убивай, собака, раб!..— хрипло прошептал Шамурад-хан и закрыл глаза.

Чары сунул руку за пояс и вытащил острый нож с серебряной насечкой, заправленный в узкие кожаные ножны. Нож его брата Берды... Чары посмотрел на нож и сунул его в карман. Потом прикладом толкнул лежащего.

— Встать! — коротко сказал он по-русски.

Они шли обратно через пустыню. Руки Шамурад-хана были спутаны за спиной толстым кожаным ремнем, как ноги пасущегося верблюда. Было темно и тихо. Туманная мгла заволокла звезды. Но оба они хорошо знали эти места.

В полночь завыли шакалы. Тогда они сделали привал. До самого рассвета Шамурад-хан лежал, а Чары сидел рядом и держал обмотанный вокруг руки конец ремня. Потом они пошли дальше. И когда солнце стояло высоко над головой, вдали сверкнула белая гладь. Казалось, раздвинулись пески и легкие волны ходят по чистой воде. Минут через двадцать они уже рвали сапогами застывшую корку соли. Здесь они сделали привал. Это было то самое озеро. Увязнувшие в соли, торчали поломанные стойки кибитки, валялись черепки посуды.

Шамурад-хан лежал не двигаясь. Чары подошел к нему.

— Встать! — приказал он.

И они пошли дальше.

Во фляге оставалось немного воды. Слюна у них стала липкой и тяжелой. Язык прилипал к губам. Они все чаще садились отдыхать. Но вот Шамурад-хан попробовал встать и, приподнявшись, тяжело повалился на песок. Тогда Чары отстег-

нул от пояса фляжку и приставил ко рту пленника. Тот жадно глотал воду, а когда напился, выбил вдруг головой фляжку из рук Чары. Песок впитал остатки воды. Шамурад-хан радостно за смеялся. Чары, ни слова не говоря, подобрал пустую фляжку и снова пристегнул к поясу

К вечеру Шамурад-хан совсем выбился из сил. Тогда Чары повесил на грудь карабин и взвалил пленника на плечи.

Сырой ночной туман спустился на Черные Пески. Разрывая его, тяжело шагал человек, неся на спине другого. Он опускал его на землю и подолгу лежал рядом, прижимаясь твердыми потрескавшимися губами к отсыревшему песку. Потом снова вставал, взваливал лежащего на спину и, шатаясь, шел дальше.

Отряд строился на поверку. Держа в поводу коней, особисты равняли ряды взводов. Вдруг все замерли. Из-за конюшни бежал подчасок. Он еще издали что-то крикнул командиру. Все разом повернулись к конюшне.

Из-за длинного приземистого здания вышли двое. Передний, в порванном запачканном халате, ковылял, втянув в плечи голову. Задний был бойцом отряда. Пояс туго стягивал статную фигуру. Но такое черное, изменившееся лицо было у него, что только по горевшим лихорадочным огнем глазам узнали рядового Чары Эсенова.

Подойдя к командиру, он приказал переднему остановиться. Потом круто повернулся.

— Товарищ командир! Классовый враг Шамурад-хан.. Взят в Карры-кала!..— доложил он четко. И тут только устало опустился на землю.

СОДЕРЖАНИЕ

Маздак	5
Искупление Дабира	187
Повести Черных и Красных песков	321
Емшан	322
Искушение Фраги	349
Парфянская баллада	373
Хадж Хайяма	417
В Черных Песках	441

Морис Давидович Симашко

ИЗБРАННОЕ В ТРЕХ ТОМАХ

Том первый

Редактор *А. П. Тимофеева*
Художники *К. Абдикаримов, Л. И. Тетенко*
Художественный редактор *Л. И. Тетенко*
Технический редактор *Н. Б. Галицкая*
Корректоры *Н. Г. Толстова, А. Г. Ракишева*

ИБ № 4974

Сдано в набор 17.09.90. Подписано в печать 25.04.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3 Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. п. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 30,60. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1536 Цена 2 р. 20 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93

Набрано ВЦКП Госкомпечати СССР с использованием АСУТП «Союз»